

ы ФАНТАСТИКИ ШЕДЕВРЫ ФАНТАСТИКИ ШЕДЕВРЫ ФАНТА

Клайв Стейплз
ЛЬЮИС

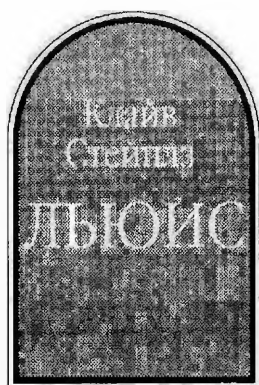


*Космическая
трилогия*

ы ФАНТАСТИКИ ШЕДЕВРЫ ФАНТАСТИКИ ШЕДЕВРЫ ФАНТА

Князь
Сергей
АБЛОС

Космическая
трилогия



Космическая трилогия:

•

*За пределы
Безмолвной планеты*

•

Переландра

•

Мерзейшая мощь



ЭКСМО
Москва
Домино
Санкт-Петербург
2011

Клайв Стейплз
ЛЬЮИС

*Космическая
трилогия*



ЭКСМО
Москва
Домино
Санкт-Петербург
2011

УДК 82(1-87)
ББК 84(4Вел)
Л 91

Clive Staples Lewis
THE COSMIC TRILOGY

The Cosmic Trilogy by C.S. Lewis
© C.S. Lewis Pte Ltd 1938, 1944, 1945;
Out of the Silent Planet by C.S. Lewis © C.S. Lewis Pte Ltd 1938;
Perelandra by C.S. Lewis © C.S. Lewis Pte Ltd 1943;
The Hideous Strength by C.S. Lewis © C.S. Lewis Pte Ltd 1945.
Публикуется по соглашению с The C.S. Lewis Company Ltd.

Составитель серии А. Жикаренцев

Серия основана в 2001 году

Оформление серии А. Саукова

Оригинал-макет подготовлен ООО «ИД «Домино».

Л 91 **Льюис К. С.**
Космическая трилогия / Клайв Стейплз Льюис. — М. :
Эксмо ; СПб. : Домино, 2011. — 672 с. — (Шедевры фантастики).
ISBN 978-5-699-46484-5


Друг и соратник Толкина в великом деле создания фантастических миров. Клайв Стейплз Льюис подарил читателям множество замечательных книг — от сказочно-аллегорических повестей о королевстве Нарния до романов о путешествиях и другие миры Вселенной.

«Космическая трилогия» считается одной из вершин творчества писателя. Если в мире о королевстве Нарния битва между добром и злом происходит в вымышленной стране, то в «Трилогии» поле сражения — вся Солнечная система.


УДК 82(1-87)
ББК 84(4Вел)

- © С. Кошелев (За пределы Безмолвной планеты, главы I–XII), М. Мушинская (За пределы Безмолвной планеты, главы XIII–XVIII).
А. Казанская; под ред. Н. Трауберг (За пределы Безмолвной планеты, главы XIX–XXII).
Постскриптум), перевод с английского, 2010
© Л. Сумм (Переландра), перевод с английского, 2010
© Н. Трауберг (Мераеинная мощь), перевод с английского, 2010
© И. Кормильцев, комментарии, 2010
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2011

ISBN 978-5-699-46484-5



*За пределы
Безмолвной планеты*



I

Не успели последние капли грозы простучать по листьям, как путник засунул карту в карман, устало поправил рюкзак за плечами и вышел на дорогу из-под раскидистого каштана, под ветвями которого укрывался от дождя. Оранжевый поток солнечных лучей еще лился в прореху между тучами на западе, но впереди, над холмами, небо уже потемнело. С каждого листа, с каждой травинки стекали капли, а дорога сверкала, словно ручей. Однако путник не стал любоваться пейзажем. Он решительно зашагал вперед с видом доброго ходока, который понял, что путь еще неблизок. Впрочем, так оно и было. Оглянувшись назад, он увидел бы в отдалении шпиль церкви в Наддерби и, верно, помянул бы недобрым словом негостеприимную маленькую гостиницу. От постояльцев она явно не ломилась, но в ночлеге ему все же отказали. Когда-то, во время одного из своих предыдущих походов, он уже бывал в этих краях, но с тех пор гостиница перешла в другие руки. Знакомый ему добродушный старик куда-то исчез, и теперь у руля — по словам официантки в баре — стояла некая «хозяйка». Эта особа, несомненно, принадлежала к той ортодоксальной британской школе содержателей постоялых дворов, для которых постояльцы — одна морока. В результате ему ничего не оставалось, как примириться с необходимостью прошагать еще добрых шесть миль до Стерка по ту сторону холмов, где, если верить карте, тоже имелась гостиница. Правда, богатый опыт подсказывал путнику, что не стоит возлагать на нее особые надежды, но выбора у него не было.

© Перевод С. Кошелева, М. Мушинской, А. Казанской под ред. Н. Трауберг.

Высокий, немного сутуловатый, он шел быстрым решительным шагом, почти не глядя по сторонам, погруженный в свои мысли, помогавшие скоротать дорогу. На вид ему было лет тридцать пять — сорок; потертая одежда выдавала работника умственного труда, привыкшего проводить отпуск в пенном походе. Его легко было бы принять за врача или учителя, но ему не доставало добродушной снисходительности медика или безусловной учительской жизнерадостности. На самом деле это был кембриджский ученый-филолог по имени Рэнсом.

Уходя из Наддерби, он рассчитывал, что по пути к Стерку набредет на какую-нибудь ферму и гостеприимные хозяева предложат ему заночевать. Но местность по эту сторону холмов оказалась почти необитаемой. Вдоль дороги за чахлой живой изгородью тянулись плоские, унылые поля капусты и турнепса. Даже деревья попадались редко. К югу от Наддерби места были плодороднее, там часто встречались приезжие, а впереди, за холмами, лежал густонаселенный промышленный район. Но здесь царило запустение. Уже спустились сумерки, птичий гомон смолк, и Рэнсома окружила тишина, необычная даже для сельской Англии. Хруст щебня под башмаками назойливо отдавался в ушах.

Мили две уже осталось позади, когда в глаза ему бросился огонек. Здесь, в тени холмов, уже почти стемнело, но надеждам на большой фермерский дом и ночлег не суждено было сбыться: подойдя поближе, он обнаружил крошечный коттедж постройки девятнадцатого века, уродливо сложенный из красного кирпича. Вдруг дверь коттеджа распахнулась и какая-то пожилая женщина выбежала навстречу Рэнсому, чуть не сбив его с ног.

— Ой, сэр, извините! — воскликнула она, увидев перед собой незнакомца. — Я думала, это мой Гарри идет.

Воспользовавшись случаем, Рэнсом справился, нельзя ли где-нибудь поблизости устроиться на ночь.

— Нет, сэр, только в Стерке. А что же вы не остались в Наддерби? — В ее робком голосе звучала тревога, и мысли явно были заняты чем-то другим.

Рэнсом поведал о своей наддербийской неудаче.

— Тогда, ей-богу, сэр, не знаю. Тут до самого Стерка такого дома не сыщешь, чтобы вам подошел. Поблизости и нет ничего, кроме «Склонов», — это где мой Гарри работает. Я как услышала, что идут, так и выскочила — думала, может, это Гарри. Ему бы давно пора дома быть.

— «Склоны»? — заинтересовался Рэнсом. — Это что — ферма? Меня там не пустят переночевать?

— Да что вы, сэр! Конечно нет. С тех пор как мисс Элис умерла, там и не живет никто — только профессор и еще один джентльмен из Лондона. Они вас ни за что не примут. Они даже слуг не держат — только Гарри у них навроде истопника и то его, считай, в дом не пускают.

— А как зовут профессора? — спросил Рэнсом со слабой надеждой.

— Вот, ей-богу, сэр, не скажу. Другой джентльмен — тот мистер Дивайн, а Гарри говорит, что тот, первый, — профессор. Гарри в этом во всем мало что смыслит: он у меня, понимаете ли, придурковат, я потому и боюсь. Если он поздно домой приходит, а они его обещали каждый день отпускать в шесть. И так-то он целый божий день работает.

При таком скудном словарном запасе женщине с ее монотонным голосом непросто было выразить свои чувства, но Рэнсом, стоявший совсем рядом, видел, что она вся дрожит и вот-вот расплачется. Стоило бы повидать этого таинственного профессора, подумал он, и напомнить, что мальчику пора домой. Ему тут же пришло в голову, что, очутившись среди собратьев по профессии, он вполне сможет принять приглашение провести ночь под их кровом. Воображение нарисовало такую яркую картину посещения «Склонов», что он понял: это дело решенное. Рэнсом поспешил сообщить женщине о своих планах.

— Ох, сэр, ей-богу, не знаю, как вас и благодарить, — обрадовалась она. — Только, если можно, вы его проводите до ворот и посмотрите, чтобы он домой пошел. А то ведь он так профессора-то боится, что назад шмыгнет, только вы голову повернете, — это если они сами-то его домой не отошлют.

По ее словам, «Склоны» находились слева от дороги. минут в пяти ходьбы. Постаравшись, как мог, обнадежить хозяйку коттеджа, Рэнсом распрощался.

За разговором он не заметил, как одеревенели суставы, и теперь с трудом переставлял ноги. Слева от дороги не было ни огонька — только ровные поля да какая-то темная масса, которую Рэнсом принял за перелесок. Прошло, казалось, гораздо больше пяти минут, когда он наконец добрался до нее и понял, что ошибся. Роши здесь не было: деревья, поднявшиеся над головой, росли нешироким поясом, и меж ветвей проглядывало небо. От дороги их отделяла густая живая изгородь с белыми воротами. Без сомнения, это и были «Склоны», а за поясом деревьев скрывался дом с садом. Рэнсом толкнул ворота, но они не поддались. На минуту тишина и густеющая тьма вселили в него нерешительность. Первым побуждением было, несмотря на усталость, идти дальше, в Стерк. Но он обещал старой женщине. К тому же при желании сквозь изгородь явно можно было прорваться. Правда, желания такого Рэнсом не ощущал. Представить только, как он — дурак дураком — выползет из кустов прямо на чудака-пенсионера (кому еще прилет в голову в этих местах держать ворота на запоре!) и поведаст ему идиотскую историю о несчастной матери, заливающейся истерическими рыданиями, потому что ее слабоумный сынок на полчаса задержался на работе! Но — куда денешься — обещания нужно выполнять. Ползти сквозь живую изгородь с рюкзаком на спине невозможно, поэтому Рэнсом скинул рюкзак и перебросил его через ворота. Если до этой минуты он пребывал в нерешительности, то теперь сам отрезал себе путь к отступлению: в сад нужно было пробраться хотя бы за рюкзаком. Браня последними словами и себя и старуху, Рэнсом опустился на четвереньки и пополз в кусты.

Изгородь оказалась неожиданно густой, и только через несколько минут, весь в царапинах и крапивных ожогах, он выбрался в сырую мглу под деревьями. На ощупь вернувшись к воротам, Рэнсом подобрал рюкзак и осмотрелся по сторонам.

Здесь было светлее, и он без труда разглядел дорогу, которая пересекала запущенный и неопрятный газон и вела к большому каменному дому. Здесь дорога раздваивалась, причем правая ветка плавным изгибом выводила к парадному крыльцу, левая же шла прямо и скрывалась за домом, где, вероятно, находились надворные постройки. Глубокие колеи на ней, наполненные водой после дождя, наводили на мысль о тяжелых грузовиках. Напротив, правая ветка, по которой Рэнсом и направился к крыльцу, заросла мхом. Ни одно окно в доме не светилось: некоторые были закрыты ставнями, другие зияли черными провалами без ставней и штор, но все казались одинаково безжизненными и негостеприимными. Только густой столб дыма, поднимавшийся из-за дома и рождавший мысль скорее о фабричной трубе, чем о кухонной печи, говорил о том, что здесь есть люди. «Склоны» вовсе не походили на место, где незнакомцев приглашают остаться на ночь, и Рэнсом, конечно, повернул бы назад, если бы не был связан обещанием.

Он поднялся по трем ступенькам на крыльцо, позвонил; не дождавшись ответа, позвонил снова и устало опустился на деревянную скамью возле двери. Ждать пришлось так долго, что, хотя ночь стояла ясная и теплая, пот у него на лице высох и он начал слегка зябнуть. Рэнсом очень устал и, вероятно, поэтому не стал подниматься и звонить в третий раз. Кроме того, умиротворяющая тишина в саду, красота летнего неба, уханье совы, время от времени звучащее неподалеку, — все вокруг дышало покоем. Он уже начинал дремать, как вдруг какой-то шум заставил его открыть глаза. До него донеслись беспорядочные, прерывистые звуки, чем-то напоминавшие о схватке в регбийном матче. Рэнсом вскочил. Шум нарастал: где-то за домом люди в тяжелых башмаках то ли дрались, то ли боролись, то ли играли в какую-то игру. Теперь стали слышны и крики. Слов, правда, было не разобрать, но явственно звучали резкие выкрики обозленных, тяжело дышащих людей. Рэнсому вовсе не улыбалось оказаться замешанным в темную историю, но надо же было разобраться, что тут происходит! И в эту минуту из-за

дома донесся особенно пронзительный крик, в котором можно было различить слова:

— Пустите! Пустите! — И секундой позже: — Я туда не пойду! Отпустите меня домой!

Бросив рюкзак, Рэнсом сбежал с крыльца и кинулся вокруг дома, напрягая одеревеневшие, натруженные ноги. Разбрызгивая грязные лужи, он влетел на задний двор, где оказалось неожиданно много построек. Краем глаза он заметил высокую трубу, низенькую дверь, освещенную изнутри красными бликами, и какую-то огромную черную сферу, закрывающую звезды, которую принял за купол небольшой обсерватории. Но все это тут же вылетело из головы, потому что внезапно перед ним возникли три сцепившиеся фигуры и он едва не врезался в них. С первого взгляда было ясно, что это старухин Гарри тщетно пытается вырваться из рук двух крепких мужчин. Рэнсом хотел было загреметь: «Вы что делаете с мальчиком?!» — но сумел только неубедительно воскликнуть не слишком внушительным голосом:

— Эй, послушайте!..

Двое поспешно отскочили от заходящегося в плаче мальчишки. Один из них — тот, что был выше и плотнее — заревел как раз таким голосом, какого Рэнсому не доставало:

— Кто вы такой, черт побери? Чего вам здесь надо?

— Я в этих краях в походе. Но я обещал бедной женщине...

— К черту бедную женщину! — перебил тот. — Как вы сюда попали?

На помощь Рэнсому пришло раздражение, и он резко ответил:

— Пролез сквозь изгородь. Мне неизвестно, что вы тут делаете с мальчиком, но...

— Надо было нам завести собаку, — не слушая Рэнсома, бросил толстяк своему компаньону.

— Была у нас собака. Вы же сами пожелали использовать ее для опыта, — впервые подал голос второй. Он был немного ниже толстяка, но гораздо стройнее и моложе, голос его показался Рэнсому смутно знакомым.

Рэнсом попытался еще раз начать сначала:

— Послушайте, я не знаю, что вы делаете с мальчиком, но его рабочий день давно кончился. Вам пора отослать его домой. Мне вовсе не хочется вмешиваться в ваши дела, но...

— Кто вы такой? — взревел толстяк.

— Если вас интересует имя, меня зовут Рэнсом. Так вот...

— Погодите, — встрепенулся худошавый, — вы, случайно, не учились в школе Уэденшоу?

— Учился.

— То-то мне показалось, что я узнал ваш голос, — улыбнулся тот. — Моя фамилия Дивайн. Помните меня?

— Ну конечно. Еще бы нет! — воскликнул Рэнсом, пожимая ему руку с несколько вымученной сердечностью, обычной для подобных встреч. По правде говоря, из всех соучеников Дивайн оставил у него самые неприятные воспоминания.

— До чего трогательно, — ухмыльнулся Дивайн. — Негасимый свет школьных дней сияет даже на пустошах между Наддерби и Стерком. Самое время нам ощутить комок в горле и вспомнить воскресные проповеди в милой сердцу школьной часовне! Вы, кажется, не знакомы с Уэстоном? — Дивайн указал на своего внушительного и громогласного компаньона. — Не какой-то там, а знаменитый Уэстон. Великий физик. Режет Эйнштейна на части и кушает Шредингера с маслом. Уэстон, позвольте вам представить моего однокашника Рэнсома. Доктор Элвин Рэнсом. Знаменитый Рэнсом. Великий филолог. Режет Есперсена на части и кушает...

— Знать об этом ничего не знаю, — заявил Уэстон, который все еще держал за шиворот несчастного Гарри. — Если вы ждете, что я буду расточать любезности субъекту, который только что вломился ко мне в сад, так я вас разочарую. Мне наплевать, в какой школе он учился и на какое шарлатанство сейчас тратит деньги, так необходимые науке. Я желаю только знать, чего ему здесь надо, а потом пусть убирается, чтобы я его больше не видел.

— Не будьте ослом, Уэстон. — Голос Дивайна посерьезнел. — Рэнсом заглянул к нам очень кстати. Рэнсом, не обижайтесь на

его манеры. Как говорится, под внешней суровостью скрывается благородное сердце. Вы, конечно, не откажетесь чего-нибудь выпить и поужинать?

— Очень любезно с вашей стороны, — отозвался Рэнсом. — Но как насчет мальчика...

— Он чокнутый, — зашептал Дивайн, увлекая Рэнсома в сторону. — Обычно работает как вол, но иногда бывают вот такие припадки. Мы просто хотели отвести его в душевую и подержать там часок, пока не придет в себя. Все равно в таком состоянии домой его отпускать нельзя. Мы это делаем по доброте душевной. Если захотите, чуть погодя сами отведете его домой. А потом возвращайтесь, здесь и переночуете.

У Рэнсома голова шла кругом. Все происходящее было неприятно и подозрительно, он чувствовал, что творится нечто незаконное. С другой стороны, подобно всем своим современникам и собратьям по классу, он был глубоко, хотя и иррационально убежден, что с подобными событиями обычный человек сталкивается только в книжках и они, во всяком случае, уж никак не связаны с профессорами и старыми школьными товарищами. Так или иначе, Рэнсом понимал: даже если здесь что-то нечисто, отбить мальчишку силой не удастся.

Тем временем Дивайн что-то негромко втолковывал Уэстону. Впрочем, вел он себя вполне естественно: просто хозяин в присутствии гостя обсуждает, как бы поудобнее его устроить. В конце концов Уэстон издал невнятное ворчание в знак согласия. Рэнсом, кроме всего прочего, теперь испытывал еще и обычную неловкость человека, набивающегося в гости; он повернулся к ним и хотел заговорить. Но Уэстон уже обратился к мальчику:

— Намучились мы с тобой сегодня, Гарри. Будь в нашей стране нормальные законы, я бы с тобой разобрался. Замолчи! Утри сопли! Так и быть, в душевую тебе идти не обязательно...

— Это не душевая, — захныкал слабоумный, — совсем не душевая. Я не хочу снова в эту штуку...

— Это он про лабораторию, — перебил Дивайн. — Он как-то гуда залез, и его случайно заперли на несколько часов. От-

чего-то он перетрусил там, как заяц. Как говорится, бедный робкий индеец! — Дивайн повернулся к мальчику: — Слушай, Гарри. Этот добрый джентльмен отведет тебя домой, только сначала немного отдохнет. Зайди-ка в дом и посиди тихонько в прихожей, а я тебе дам чего-то вкусенького.

И он очень похоже воспроизвел чмокание пробки, извлекаемой из бутылки. Гарри понял и радостно захохотал, а Рэнсом вспомнил, что этот трюк Дивайн проделывал еще в школе.

— Пусть заходит, — буркнул Уэстон, повернулся и исчез в доме. Рэнсом заколебался было, но Дивайн стал его уверять, что Уэстон будет просто счастлив провести с ним вечер. Конечно, это была неприкрытая ложь, но Рэнсому так хотелось отдохнуть и чего-нибудь выпить, что он отбросил все мысли о приличии. Он последовал за Дивайном и Гарри в дом и минутой позже уже сидел в кресле, поджидая Дивайна, который отправился за виски.

II

В комнате, где оказался Рэнсом, странным образом совмещались убожество и роскошь. Окна без штор были наглухо закрыты ставнями, голый пол усеян пустыми коробками, стружкой, газетами и книгами, а на обоях виднелись пятна там, где у прежних хозяев висели картины и стояла мебель. Однако посреди всего этого разгрома стояли два очень дорогих кресла. А в мусоре на столе среди жестянок из-под сгущенного молока и сардин, сухих кусков хлеба, дешевой посуды, недопитых чашек чая и сигаретных окурков валялись сигары, устричные раковины и бутылки из-под шампанского.

Дивайн все не возвращался, и Рэнсом невольно задумался о нем. Дивайн вызывал у него особое чувство — неприязнь, какую мы испытываем к человеку, которым когда-то в детстве восхищались, пока не поумнели. Дело в том, что Дивайн на полсемастера раньше, чем соученики, освоил разновидность юмора, которая заключалась в постоянном пародировании сентиментальных и патетических штампов, звучащих в речи взрослых.

Несколько недель вся школа, включая Рэнсома, покатывалась от хохота, когда он рассуждал о Незабвенных Школьных Годах, необходимости Хранить Честь и Совесть, о Бремении Белого Человека и Духе Честной Борьбы. Но продолжалось это недолго. Уже в Уэденшоу Рэнсом понял, что Дивайн — зануда, а в Кембридже попросту избегал его и только удивлялся издали, почему другие не замечают, как он безвкусен и банален. Потом Дивайна совершенно неожиданно избрали в совет Лестерского колледжа, и он начал непонятным образом богатеть. Вскоре он уехал в Лондон, где, по слухам, «вращался в деловых кругах». Иногда его имя всплывало в разговорах, и собеседник Рэнсома обычно заканчивал свой рассказ о Дивайне так: «Никуда не денешься, по-своему он чертовски умен», — или жалобно заявлял: «Никогда мне не понять, как этот тип ухитрился так высоко взлететь». Насколько можно было судить по краткому разговору во дворе, старый однокашник Рэнсома почти не изменился.

Возвращение Дивайна прервало цепь воспоминаний. В руках у него был поднос с бутылкой виски, стаканом и сифоном.

— Уэстон там соображает чего-нибудь на ужин.

Он опустил поднос на пол рядом с креслом Рэнсома и занялся бутылкой. Рэнсом, у которого совсем пересохло в горле, тоскливо отметил, что хозяин его не из тех, кто умеет одновременно говорить и заниматься делом: Дивайн подцепил было штопором серебристую фольгу на горлышке, но тут же забыл о ней.

— Откуда вы взялись в этой глуши?

— Просто отправился в поход, — отозвался Рэнсом. — Вчера переночевал в Стоук Андервуде, а сегодня надеялся остановиться в Наддерби. Но там меня не приняли, пришлось идти в Стерк.

— Бог ты мой! — изумился Дивайн, по-прежнему игнорируя бутылку. — Вам что, за это деньги платят или это чистый мазохизм?

— Я этим занимаюсь для собственного удовольствия. — Рэнсом демонстративно уставился на бутылку.

— А непосвященный способен понять, что в этом привлекательного? — Дивайн наконец вспомнил о своих обязанностях и оборвал крошечный клочок фольги.

— Не знаю, как вам объяснить. Ну, во-первых, мне нравится сам процесс ходьбы...

— Боже! Вам, наверное, и армия была по душе. Как там говорится — шагом марш куда не знаю!

— Нет, что вы! В армии все наоборот. Там ты ни минуты не бываешь один, там за тебя другие решают, куда тебе идти, ты даже не можешь выбрать, по середине дороги шагать или по обочине. А в походе ни от кого не зависишь. Захочешь — остановишься, захочешь — пойдешь дальше. Кроме себя, спрашивать разрешения не у кого.

— А потом однажды вечером в гостинице вас поджидает телеграмма: «Возвращайтесь немедленно!», — улыбнулся Дивайн, сдирая наконец остатки фольги.

— Ну, такое может случиться, только если по глупости оставишь кому-нибудь свой маршрут, да еще и не будешь от него отклоняться. Меня, самое худшее, начнут разыскивать по радио: «Внимание доктора Элвина Рэнсома, который, по-видимому, находится где-то в Центральных графствах...»

— Начинаю понимать, — протянул Дивайн. Он уже начал вытаскивать пробку, но остановился на полпути. — Если б вы занимались бизнесом, этот номер бы не прошел. Везет же некоторым! Неужели вы можете просто так вот взять и исчезнуть? А как же жена, дети, горячо любимые престарелые родители?

— У меня никого нет — только замужняя сестра в Индии. А кроме того, я же кембриджский преподаватель. Вы, наверное, помните, что стоит преподавателю уйти в длительный отпуск, он все равно что перестает существовать. Даже в колледже никого не волнует, где он и что с ним, а уж за стенами колледжа — и подавно.

Пробка наконец выскочила из бутылки с многообещающим чмоканием. Рэнсом подставил стакан.

— Скажете, когда хватит, — предупредил Дивайн. — Нет, все-таки должна быть какая-то зацепка. Неужели действитель-

но никто не может с вами связаться и не знает, где вы и когда вернетесь?

Рэнсом покачал головой. Дивайн, взявшись за сифон, вдруг чертыхнулся.

— Боюсь, содовая кончилась. Давайте я налью воды. Только придется сходить на кухню. Сколько вам?

— Долейте доверху, пожалуйста.

Еще пара минут — и Дивайн вручил Рэнсому долгожданный стакан. Наполовину его опорожнив и откинувшись на спинку кресла, Рэнсом удовлетворенно вздохнул и заметил, что жилище Дивайна вызывает не меньше вопросов, чем его собственный способ проводить отпуск.

— Это верно, — согласился Дивайн. — Но если б вы знали Уэстона, то поняли бы: лучше с ним не спорить, а просто поехать туда, куда он захочет. Что называется, коллега с сильным характером.

— Коллега? — удивился Рэнсом.

— В каком-то смысле. — Дивайн бросил взгляд на дверь, придвинул свое кресло поближе к Рэнсому и заговорил доверительным тоном: — Зато уж в своем деле он мастак. Строго между нами: я вкладываю кое-какие деньги в его исследования. Тут все чисто, комар носа не подточит — идет путем прогресса для блага человечества и тому подобное. Но дело может пойти и до промышленного производства, так что мы стараемся держать все в секрете.

С Рэнсомом тем временем происходило нечто странное. Сначала ему послышалось, что Дивайн несет околесицу, что-то вроде того, что промышленность производит его в секрете, но исследования в Лондоне на себя не натянешь. Тут он понял: слова Дивайна непонятны потому, что их просто не слышно. В этом не было ничего удивительного, ибо и сам Дивайн вдруг удалился на добрую милю, словно Рэнсом видел его четкое изображение в перевернутом бинокле. Из этого далека, из своего крошечного кресла Дивайн пристально смотрел на Рэнсома с каким-то новым выражением на лице. Под его взглядом Рэнсом забес-

покоился, попытался пошевелиться, но обнаружил, что полностью утратил власть над своим телом. Он не ощущал неудобства, но руки его и ноги словно кто-то прибинтовал к креслу, а голову сжимали восхитительно мягкие, но не поддающиеся усилиям тиски. Страха он не испытывал, хотя знал, что должен испугаться и скоро непременно испугается. Постепенно комната померкла в его глазах.

Впоследствии Рэнсом так и не смог решить для себя, было ли пригрезившееся ему видение просто сном или каким-то таинственным образом предвещало события, описанные далее в этой книге. Он увидел себя, Уэстона и Дивайна в небольшом садике, окруженном стеной, по верху которой торчали осколки стекла. Здесь ярко светило солнце, но за стеной все окутывала тьма. Они старались перелезть через стену, и Уэстон просил подсадить его. Рэнсом все повторял, что лучше не лезть, что по ту сторону слишком темно, но Уэстон настаивал, и в конце концов все трое стали карабкаться на стену. Рэнсом лез последним. Он взобрался наверх и уселся на стену верхом, подвернув под себя пиджак, чтобы не пораниться о битое стекло. Уэстон и Дивайн уже спрыгнули наружу, в темноту, но не успел он последовать за ними, как вдруг в стене отворилась никем не замеченная дверь и Уэстона с Дивайном ввели в сад небывало диковинные существа, оставили их в саду, а сами вернулись во тьму и заперли за собою дверь. Рэнсом обнаружил, что не может слезть со стены. Он, правда, не испугался, но сидеть на стене было очень уж неудобно, потому что левой ногой было очень светло, а правой — ужасно темно. «Если еще стемнеет, у меня нога отвалится, — заявил он, потом взгляделся в темноту и спросил: — Кто вы?» Должно быть, Диковинные Существа еще не разонялись, потому что заухали в ответ многоголосым эхом: «А вы, а вы, а вы?»

Рэнсом начал понемногу осознавать, что нога у него болит не столько от темноты, сколько от холода и усталости, потому что на ней давно уже покоится другая нога. Появилось сознание, что он сидит в кресле в освещенной комнате, а рядом уже

довольно давно разговаривают двое. Голова немного прояснилась. Рэнсом понял, что его загипнотизировали или чем-то ополчили, а может, и то и другое вместе. Он все еще чувствовал крайнюю слабость, но телом мало-помалу начинал владеть. Он прислушался, стараясь не выдать себя ни одним движением.

— Мне это начинает надоедать, Уэстон, — звучал голос Дивайна, — особенно если вспомнить, что это я рискую своими деньгами. Говорю вам: он годится не хуже мальчишки, в некотором отношении даже лучше. Но он вот-вот придет в себя. Нужно его немедленно перенести на борт. Лучше б мы это сделали час назад.

— Лучше мальчишки было не придумать, — пробурчал Уэстон. — Для человечества он бесполезен да еще и наплодит идиотов. В цивилизованном обществе такого мальчишку сразу перелали бы для опытов в государственную лабораторию.

— Очень может быть. Но в Англии его исчезновением может заинтересоваться Скотленд-Ярд. Зато этого любителя совать нос куда не следует не хватятся несколько месяцев, да и потом никто не узнает, где он исчез. Пришел он один, адреса не оставил, семьи у него нет. В конце концов, никто его не заставлял лезть не в свое дело.

— По правде говоря, не нравится мне это. Все-таки он человек. Мальчишка — дело другое, все равно что... лабораторный препарат. Но если подумать, и этот — всего лишь индивид, да к тому же, наверно, совершенно бесполезный. Мы ведь и сами рискуем жизнью. Когда речь идет о великой цели...

— Ради бога, давайте без этого! У нас нет времени.

— Я думаю, — торжественно произнес Уэстон, — если бы он был способен понять, он бы согласился.

— Берите его за ноги, а я возьму за голову.

— Если он должен скоро прийти в себя, неплохо бы добавить еще одну дозу, — предложил Уэстон. — До рассвета мы в путь все равно не отправимся. Ничего хорошего, если он будет три часа буйнить там, внутри. Пусть лучше проснется, когда мы будем уже в пути.

— Это верно. Присмотрите за ним. Я сбегаю наверх, принесу все, что нужно.

Дивайн вышел. Сквозь полуприкрытые веки Рэнсом видел нависшего над ним Уэстона. Он не знал, сможет ли сделать резкий рывок, но это был его единственный шанс. Только дверь за Дивайном закрылась, как он, собрав все силы, бросился в ноги Уэстону. Физик повалился через него грудью на кресло, и Рэнсом, с трудом стряхнув его ноги, вскочил и кинулся в прихожую. Слабость одолела его, и он упал; однако, подгоняемый ужасом, нашел силы подняться, отыскал наружную дверь и стал отчаянно дергать засовы. Но руки дрожали, в темноте он не мог ничего разглядеть. Кто-то схватил его за плечи и за ноги. Рэнсом лягался, извивался, обливался потом и орал во весь голос, слабо надеясь на чью-нибудь помощь. Он и сам бы не поверил, что способен на такое отчаянное сопротивление. На какую-то секунду он, торжествуя, распахнул дверь, ощутил на лице свежий ночной ветерок, увидел спокойные звезды и даже собственный рюкзак на крыльце. В следующее мгновение на голову обрушился тяжелый удар. Сознание померкло, и в последний миг он услышал стук захлопнутой двери и почувствовал, как сильные руки тащат его назад, в темный коридор.

III

Сознание понемногу возвращалось, но со всех сторон Рэнсома по-прежнему окружала тьма. Жестокая головная боль и крайняя слабость долго не позволяли ему определить, где он находится. Все же он обнаружил, что лежит в постели, а вытерев обильный пот со лба, заметил, что в помещении жарко. Рэнсом сбросил простыни и при этом коснулся правой рукой стены — от нее полыхало жаром. Помахав левой рукой в пустоте, он заключил, что воздух здесь прохладнее: стало быть, жар шел от стены. Рэнсом оцупал лицо и почувствовал над левым глазом здоровенную шишку. Он тут же вспомнил схватку с Уэстоном и Дивайном. Должно быть, они заперли его в сарае позади плавильной печи. Подняв глаза, он обнаружил, что сверху стру-

ится тусклый свет, и понял, что, сам того не замечая, с самого начала различал движения своих рук в темноте.

Прямо над головой у него располагался как бы световой люк — квадрат усеянного звездами ночного неба. Ночь, как видно, стояла небывало морозная. Плавающие звезды бились в конвульсивной пульсации, словно охваченные нестерпимой болью или блаженством. Бессчетные, беспорядочно разбросанные в густой черноте мириады солнц, ярких, как во сне, приковали к себе Рэнсома, заставили сесть на кровати, взволновали и расстрожили его душу. В такт их мерцанию быстрее забился пульс боли у него в висках. Тут Рэнсом вспомнил, что его чем-то ополжили.

«Наверное, — подумал он, — это зелье как-то воздействует на зрачки, отсюда и небывалое великолепие небес». Но тут его взгляд привлекло появившееся в углу люка серебряное свечение, напоминавшее чуть ли не восход солнца в миниатюре. Еще несколько минут — и в поле зрения вполз край полной Луны. Рэнсом застыл в недоумении. Такой ослепительно-белой, огромной Луны ему никогда не доводилось видеть.

«Как будто большой футбольный мяч прямо за стеклом», — подумал он, но тотчас же понял, что диск гораздо больше. Без сомнения, с его глазами что-то случилось: Луна никак не могла быть таких размеров.

Сияние этого непонятного гигантского небесного тела проникло во все уголки помещения, словно наступил день. Рэнсом обнаружил, что находится в престранной комнате. Внизу она была такой тесной, что кровать и приставленный к ней столик занимали ее почти целиком; однако стены шли от пола под тупым углом, и потолок казался вдвое шире пола. Создавалось впечатление, что лежишь на дне узкой и глубокой тачки. Рэнсом уверился окончательно, что зрение его серьезно расстроилось — может быть, на время, а может, и навсегда. Но в остальном он быстро приходил в себя и даже начал ощущать какую-то особую легкость на сердце и приятное возбуждение. Правда, по-прежнему было очень жарко, и, прежде чем встать и осмот-

реть комнату, он сбросил одежду, оставшись в брюках и рубашке. Когда же наконец он решился встать, произошло нечто настолько не лезущее ни в какие рамки, что Рэнсом с еще большей тревогой вспомнил о снадобье, выпитом по милости Дивайна. Хотя Рэнсом не прилагал никаких особых усилий, он взмыл над кроватью, сильно ударился головой о верхний люк и, как мешок, свалился на пол у противоположной стены. Если верить его прежним впечатлениям, стена должна была отклоняться наружу, как боковина тачки. Ничего подобного! Он осмотрел ее, ощупал... сомнений быть не могло: стена образовывала с полом прямой угол. Соблюдая на этот раз максимальную осторожность, Рэнсом поднялся на ноги. Тело его было таким легким, что стоило немалых усилий не отрываться от пола. Впервые Рэнсом заподозрил, что уже умер и стал призраком. При этой мысли он задрожал; но укоренившаяся привычка мыслить рационально взяла верх, и он запретил себе даже думать об этом. Взамен он продолжил осмотр своей тюрьмы. Результат был несомненным: все стены казались расположенными под тупым углом к полу, но стоило приблизиться к стене — и обнаруживалось, что она поднимается строго перпендикулярно: это подтверждало и зрение, и осязание. Кроме того, наблюдения Рэнсома пополнились еще двумя любопытными фактами. Во-первых, и пол и стены комнаты были металлическими и почти незаметно беззвучно вибрировали. Необычная эта вибрация отличалась от механической дрожи моторов или станков; скорее она наводила на мысль о живом организме. Во-вторых, тишину постоянно нарушали какие-то мелодичные постукивания и позвякивания, несущиеся с потолка. Уловить в них правильный ритм не удавалось; было похоже, будто кто-то обстреливает металлическую камеру маленькими звенящими снарядами.

К этому времени Рэнсом ощущал уже сильный страх. Это не был прозаический испуг человека на войне. Страх кружил ему голову, как вино, и был почти неотделим от общего нервного возбуждения. Рэнсом словно балансировал между чудовищным ужасом и экстатической радостью и каждую секунду был

готов рухнуть в пропасть — или вознестись в небеса. Теперь он понял, что место его заключения — не подводная лодка. В то же время едва заметная вибрация стен вряд ли могла быть вызвана передвижением на колесах. Скорее уж это корабль или какой-нибудь летательный аппарат... Но и эти предположения никак не объясняли странного самочувствия и ощущений. Так и не придя ни к какому выводу, он сел на кровать и уставился на зловещий лик Луны.

Пусть даже это летательный аппарат... Но откуда такая огромная Луна? Она еще больше, чем ему сперва показалось. Луна такой вообще не бывает... Тут он понял, что знал об этом с самого начала, но ужас заставил его лгать самому себе. И в ту же минуту Рэнсом задохнулся от внезапной мысли: полной Луны в эту ночь быть не могло! Когда он шел из Наддерби, ночь была безлунной. Даже если от его внимания и ускользнул тоненький серпик месяца, не мог же он за несколько часов превратиться в это чудовище! Да никогда месяцу не превратиться в этот невиданный диск, одержимый манией величия! Какой уж там футбольный мяч — он же закрывает полнеба! А кроме того, куда подевались знакомые пятна на Луне, напоминающие человеческое лицо, — все люди от начала времен их видели, а теперь Рэнсом их не обнаруживал?! Это вовсе не Луна, подумал Рэнсом и почувствовал, как волосы у него встают дыбом.

Раздавшийся за спиной звук заставил его резко оглянуться. Дверь открылась, впустив в комнату рой слепящих лучей, и тут же хлопнулась снова. Перед Рэнсомом стоял грузный обнаженный мужчина. Это был Уэстон. Может быть, похититель ждал, что пленник набросится на него с упреками или потребует объяснений. Но для Рэнсома в эту минуту существовал только чудовишный шар над головой, Уэстон же был сейчас просто человеком, спасителем от одиночества, и нервное напряжение, которое поддерживало его в борьбе с бездонным отчаянием, разрешилось слезами. Всхлипывая и задыхаясь, он прокаркал сведенным судорогой горлом:

- Уэстон! Уэстон! Что это? Вель не бывает же такой Луны?!
- Это не Луна, — ответил Уэстон. — Это Земля.

Ноги Рэнсома полломились, и он упал на кровать, но не заметил этого. Ужас затопил все его существо. Он не знал даже, чего страшится: это был бесформенный, беспредметный, беспредельный страх. Даже потерять сознание было ему не дано, как он этого ни хотел. Умереть, уснуть, а еще лучше — проснуться и обнаружить, что все это было сном, все, что угодно, только не этот тошнотворный ужас. Но вскоре к нему начало возвращаться самообладание — эта полулицемерная добродетель, без которой невозможно общение между людьми, — и он сумел обратиться к Уэстону без постыдной дрожи в голосе:

— Это правда?

— Безусловно.

— Где же мы находимся?

— Приблизительно в восьмидесяти пяти тысячах миль от Земли.

— Так значит, мы... в космосе? — Рэнсом с трудом вылавил это слово — так испуганный ребенок говорит о привидениях, а взрослый — о раковой опухоли.

Уэстон кивнул.

— Но зачем? Чего ради вы меня похитили? И как вам все это удалось?

На секунду Рэнсому показалось, что Уэстон не намерен отвечать. Но видимо, физик передумал и, опустившись на кровать рядом с Рэнсомом, заговорил:

— Полагаю, лучше уж мне сразу покончить с этими вопросами, а то вы целый месяц проходу нам не дадите. Как нам это удалось? То есть, вероятно, вы хотите узнать, как действует космический корабль? Это вам объяснять бесполезно. Разобраться в этом могли бы человека четыре-пять — настоящие физики. Впрочем, будь вы способны понять, я бы тем более ничего вам объяснять не стал. Могу сказать — если вам от этого станет легче, — что мы используем малоизвестные свойства излучения Солнца. Сказать так — значит ничего не сказать, но для профана в науке и такого объяснения вполне достаточно. Второй

вопрос: зачем мы здесь? Отвечаю: мы направляемся на Малакандру...

— Малакандра — это звезда?

— Даже вам едва ли может прийти в голову, что мы летим за пределы Солнечной системы! Нет, Малакандра гораздо ближе. Мы доберемся до нее дней за двадцать восемь.

— Но ведь нет такой планеты — Малакандра, — возразил Рэнсом.

— Я употребляю настоящее название, а не то, которое изобрели земные астрономы, — пояснил Уэстон.

— Что за ерунда! Откуда вам известно, что это «настоящее название»?!

— От обитателей планеты.

Это заявление было не так-то просто переварить.

— Вы что, хотите сказать, что уже были на этой звезде... то есть планете... в общем, там, куда мы летим?

— Вот именно.

— Но в это же невозможно поверить, — возмутился Рэнсом. — Черт побери, ведь такие вещи не каждый день случаются! Почему об этом никто знать не знает? Почему в газетах не было ни слова?

— Потому что мы еще не совсем спятили, — резко бросил Уэстон.

Наступило молчание, но вскоре Рэнсом заговорил снова:

— А как у нас называется эта планета?

— Зарубите себе на носу: этого я вам не скажу. Если сумеете узнать сами, когда мы доберемся до места, ради бога: думаю, что нам от ваших ученых изысканий вреда не будет. А пока что вам знать ни к чему.

— Но, по вашим словам, планета обитаема?

Уэстон как-то странно взглянул на него и кивнул. Рэнсому стало не по себе, но он тут же ощутил, как из хаоса противоречивых чувств, обуревавших его, вырастает гнев.

— Но я-то здесь при чем? — взорвался он. — Вы на меня напали, опоили, засунули в свою адскую машину и теперь везете невесть куда! Что я вам сделал? Как вы все это объясните?

— Я мог бы ответить, что вы, как тать, прокрались ко мне во двор. Если б не лезли не в свое дело, не оказались бы здесь. Впрочем, нам действительно пришлось посягнуть на ваши права. Однако скажу в свое оправдание, что все мелкое должно отступить перед великим. Насколько нам известно, то, что мы делаем, совершается впервые в истории человечества, а то и в истории Вселенной. Мы сумели покинуть пылинку материи, где появился на свет наш род, и теперь в руках человека бесконечность, а может быть, и вечность. Неужели вы настолько ограничены, чтобы перед лицом этого небывалого свершения вспоминать о жизни и правах отдельной личности — или даже миллиона личностей?

— Вот именно, вспоминаю, — твердо ответил Рэнсом. — Для меня жизнь священна, я всегда выступал даже против вивисекции. Но вы не ответили на вопрос. Зачем я вам нужен? Как я могу вам пригодиться там — на Малакандре?

— Это мне неизвестно, — сказал Уэстон. — Идея принадлежит не нам. Мы только выполняем приказ.

— Чей?

Уэстон ответил не сразу.

— Послушайте, — произнес он наконец, — продолжать этот перекрестный допрос бесполезно. Каких-то ответов на ваши вопросы я и сам не знаю, а других вы не поймете. Наше путешествие будет гораздо приятнее, если вы смиритесь со своей судьбой и перестанете мучить и себя и нас. Все было бы проще, не будь вы таким узколобым индивидуалистом. Мне-то думалось, что роль в таком спектакле воодушевит кого угодно. По моему, даже червяк согласился бы на эту жертву, если бы мог соображать. Не поймите меня превратно: я хочу сказать, что пожертвовать придется временем и свободой. Конечно, есть и риск, но он невелик.

— Ну что ж, — отозвался Рэнсом, — козыри на руках у вас. Придется сыграть в вашу игру. Впрочем, если я подхожу к жизни как узколобый индивидуалист, то вы — как буйнопомешанный. Все ваши разглагольствования насчет бесконечности и вечности только и означают, что вы считаете себя вправе тво-

рить все, что угодно, здесь и сейчас, а в оправдание приводите сомнительное соображение. будто некие существа, ведущие свой род от человека, в каком-нибудь уголке Вселенной протянут на пару тысячелетий дальше.

— Именно так: ради этого можно пойти на что угодно! — загремел физик. — И все, кто чтит истинную науку, а не белиберду вроде латыни и истории, будут на моей стороне. Хорошо, что вы об этом заговорили, советую запомнить мой ответ... А сейчас давайте пройдем в соседнюю комнату и позавтракаем. Вставайте осторожно: по сравнению с Землей, здесь вы почти невесомы.

Рэнсом поднялся, и Уэстон распахнул дверь. Комнату тут же залил поток спящего золотого сияния. совершенно затмивший бледный свет Земли.

— Сейчас я вам дам темные очки, — сказал Уэстон, проходя в комнату, откуда лилось сияние.

Рэнсому показалось, что Уэстон поднимался в гору до самой двери, а сразу за ней исчез куда-то вниз. Он осторожно последовал за ним. Его охватило странное ощущение, будто он приближается к краю обрыва. Комната за дверью словно лежала на боку, ее дальняя стена была почти параллельна полу комнаты с кроватью. Но, с опаской перенеся ногу через порог, он обнаружил, что никакого излома в полу нет. Едва дверь осталась позади, как стены внезапно выпрямились и закругленный потолок оказался над головой. Оглянувшись, Рэнсом увидел, что теперь уже спальня встала на попа — потолок превратился в стену, а одна из стен — в потолок.

— К этому скоро привыкнете, — успокоил Уэстон, перехватив его взгляд. — Корабль имеет форму сферы, и теперь, когда мы вышли за пределы земного тяготения, центр притяжения совпадает с центром корабля. Конечно, мы это предусмотрели и построили корабль именно с таким расчетом. Его сердцевиной — полый шар, там у нас склад припасов, а поверхность этого шара — пол у нас под ногами. Вокруг внутреннего шара расположены каюты, и их стены поддерживают внешний шар — с нашей точки зрения, это потолок. Поскольку центр всегда опущен

щается «внизу», любой участок пола, где вы стоите, кажется горизонтальным, а ближайшая стена — вертикальной. С другой стороны, внутренний шар достаточно мал, чтобы всегда можно было заглянуть за его край — будь вы блохой, этот край показался бы вам горизонтом. Поэтому видно, что пол и стены соседней каюты расположены в иной плоскости. На Земле дело обстоит точно так же, просто мы слишком малы, чтобы увидеть это своими глазами.

Покончив с объяснениями, Уэстон без особых церемоний предложил Рэнсому раздеться донага, чтобы не страдать от жары. Вместо одежды Рэнсом надел по его совету тонкий металлический пояс, увешанный тяжелыми грузами, чтобы по возможности компенсировать непривычную легкость тела. Кроме того, Уэстон выдал ему темные очки. Вскоре они уже сидели за маленьким столиком, накрытым к завтраку. Проголодавшийся Рэнсом с жадностью набросился на еду: мясные консервы, галеты, масло и кофе.

Но все эти действия Рэнсом совершал механически, сознание его не зафиксировало ни новой экипировки, ни подробностей завтрака. Единственное, что накрепко врезалось ему в память, — всепроникающий свет и жара. На Земле они были бы невыносимыми, но здесь обладали особыми качествами. Свет был не такой резкий, как на Земле, — не чисто-белый, а бледно-бледно-золотистый, — но при этом отбрасывал четкие тени, словно прожектор. Совершенно сухой жар проходил по коже, как руки гигантского массажиста, и вызывал не сонливость, а возбуждение. Головная боль прошла. Рэнсом как никогда ощущал бодрость, отвагу и воодушевление. Вскоре он даже осмелился поднять глаза к прозрачному потолку. Стальные заслонки оставляли свободным лишь маленький стеклянный просвет, который, в свою очередь, прикрывала шторка из плотной темной материи; и все же Рэнсом был ослеплен и поспешно отвел взгляд.

— Мне всегда казалось, что в космосе мрак и холод, — нерешительно побормотал он.

Уэстон презрительно усмехнулся.

— А про Солнце забыли?

Несколько минут Рэнсом молча поглощал еду. Потом сделал еще одну попытку.

— Если здесь уже рано утром такое творится... — начал было он, но тут же замолк, увидев, что лицо Уэстона складывается в презрительную гримасу. Его охватило изумленное благоговение: ведь здесь не было ни утра, ни вечера, ни ночи — здесь царил вечный полдень, наполнявший бесконечное пространство на протяжении бесчисленных столетий. Он снова взглянул на Уэстона, но тот жестом заставил его молчать.

— Ни слова больше. Все необходимое мы обсудили. На корабле слишком мало кислорода, чтобы заниматься чем-нибудь лишним — даже разговорами.

Вслед за этими словами он встал и, не приглашая Рэнсома последовать за собой, вышел в одну из многочисленных дверей, которые до сих пор были закрыты.

V

Казалось бы, перелет к Малакандре должен был пройти для Рэнсома в ужасе и тревоге. Астрономическое расстояние отделяло его от человечества, а тем двоим, которые находились рядом, он имел все основания не доверять. Его везли неведомо куда, и к тому же похитители наотрез отказались объяснить, зачем он им понадобился. Дивайн и Уэстон посменно несли вахту в отсеке, куда Рэнсома не допускали, — по-видимому, там располагался центр управления кораблем. Уэстон, сменившись с дежурства, не произносил почти ни слова. Дивайн был более разговорчив и часто болтал с пленником, при этом громко хохоча, пока Уэстон не начинал колотить в переборку, крича, что они тратят воздух. Но стоило разговору достичь определенной точки — и Дивайн таинственно замолкал. Впрочем, он всегда с готовностью высмеивал Уэстонову «святую веру в идеи науки». По его словам, ему было наплевать и на будущее рода человеческого, и на контакт двух миров.

— На Малакандре сыщется и еще кое-что, — с хитрецей подмигивал он Рэнсому.

Но когда тот требовал разъяснений, Дивайн, ухмыляясь, начинал иронически разглагольствовать о «бремени белого человека» и «благах цивилизации».

— Так значит, там действительно есть жители? — не сдавался Рэнсом.

— О, в таких делах туземный вопрос всегда стоит на повестке дня, — отвечал Дивайн.

Главным же образом он болтал о том, чем займется, вернувшись на Землю; в его речах то и дело упоминались океанские яхты, женщины, которые другим не по карману, и роскошная вилла на Ривьере.

— Попусту я бы рисковать не стал, — добавлял он.

Если Рэнсому случалось впрямую спросить, какую роль отведи ему, Дивайн предпочитал просто промолчать. Лишь однажды, будучи не слишком трезвым, он признал, что они с Уэстоном в общем-то хотят «проехать за его, Рэнсома, счет».

— Но я уверен, — прибавил Дивайн, — вы не посрамите добрую старую школу!

Все это, как я уже сказал, могло растревожить кого угодно. Однако, как ни странно, Рэнсом особой тревоги не ощущал. Не так-то просто с сомнением вглядываться в будущее, когда чувствуешь себя так необыкновенно хорошо, как Рэнсом во время перелета. С одной стороны корабля была бесконечная ночь, с другой — бесконечный день; и Рэнсом, полный восторга, по своей воле мог сменить одно чудо на другое. Одним поворотом дверной ручки он творил ночь и часами лежал, созерцая небо сквозь прозрачный корпус корабля. Диск Земли давно исчез из виду, и повсюду царили звезды, бесчисленные, как маргаритки на нескошенном лугу. Не было ни Солнца, ни Луны, ни облаков, чтобы поспорить с ними за власть над небесами. Перед Рэнсомом в ореоле величия проходили планеты и неведомые созвездия, небесные сапфиры, рубины, изумруды и зерна расплавленного золота; в левом углу картины висела крошечная, невероятно удаленная комета; и фоном для этого великолепия служила бездонная, загадочная чернота, куда более яркая

и осязаемая, чем на Земле. Звезды пульсировали и, казалось, становились тем ярче, чем дольше он в них вглядывался. Обнаженный, раскинувшись на кровати, как некая вторая Даная, Рэнсом с каждой ночью все больше проникался верой в учение древних астрологов. Он то ли воображал, то ли действительно чувствовал, как звездные токи вливаются — даже вонзаются в тело, отдавшееся их власти. Вокруг царил тишина, если не считать неритмичного позвякивания. Теперь он знал, что его производили метеориты — мельчайшие летучие частицы мирового вещества, которые постоянно бомбардировали пустотелый стальной шар. Более того, он догадывался, что в любую секунду они могут столкнуться с объектом, достаточно большим, чтобы превратить в метеориты и корабль, и путешественников. Но страх не приходил. Теперь, вспоминая, как Уэстон в ответ на его панический ужас назвал его ограниченным, Рэнсом готов был с ним согласиться: воистину это небывалое путешествие в обрамлении торжественно застывшего мироздания вызывало не ужас, а глубокое благоговение. Но лучше всего был день — то есть часы, проведенные в обращенном к Солнцу полушарии их крохотного мирка. Часто Рэнсом, отдохнув всего несколько часов, возвращался в страну света, куда его неудержимо влекло. Он не уставал удивляться, что полдень ожидает его в любой час — стоит только пожелать. Он с головой окунался в волны чистого, неземного, невероятно яркого, но не режущего света. Полуприкрыв глаза, он подставлял тело и сознание лучам и чувствовал, как день за днем они сдирают с него грязь, оттирают дочиста, наполняют жизненной силой, — а чудесная колесница, чуть подрагивая, влекла его все дальше по тем краям, где не властна ночь. В ответ на его вопросы Уэстон как-то раз нехотя пояснил, что эти ощущения легко объяснимы с точки зрения науки: на людей в корабле воздействуют различные формы излучения, для которых земная атмосфера непрозрачна.

Однако мало-помалу Рэнсом осознал, что есть и другая, духовная причина, благодаря которой на сердце у него становилось все легче, а в душе царил ликование. Он постепенно освобождался от кошмара, наведенного на сознание нынешнего

человека мифами современной науки. Ему приходилось читать о космосе, и в глубине его души сложилась мрачная фантазия о черной, безжизненной, скованной морозом пустоте, разделяющей миры. До сих пор он и не подозревал, как мощно эта картина влияла на все его мысли. Но теперь, по отношению к океану небесного сияния, в котором они плыли, само название «космос» казалось богохульной клеветой. Как можно было говорить о безжизненности, если каждое мгновение пространство вливал в него новую жизнь? Иначе и быть не могло: ведь из этого океана возникли и миры, и жизнь на их поверхности. Напрасно считал он пространство бесплодным — нет, оно породило все бесчисленные плавающие миры, что глядят по ночам на Землю. А здесь он увидел, что миров во сто крат больше! Нет, назвать все это «космосом» невозможно. В старину мудрецы поступали верно, говоря просто о «небесах» — о небесах во славу своей, о

...благословенных краях,
Где день не смыкает очей
В высоких просторах небесных полей.

Часто Рэнсом с любовью повторял про себя эти строки Мильтона.

Но конечно, Рэнсом не только нежился на солнце. Насколько ему позволялось, он обследовал корабль, проплывая из комнаты в комнату, как в замедленной съемке, поскольку Уэстон предупредил спутников, что, двигаясь медленно, они расходуют меньше воздуха. Из-за сферической формы на корабле было много неиспользуемых отсеков; впрочем, Рэнсом был уверен, что его похитители — по крайней мере, Дивайн — рассчитывают на обратном пути превратить их в трюмы для какого-то груза. Кроме того, как-то само собой получилось, что он стал выполнять обязанности стюарда и кока. С одной стороны, ему казалось естественным делать хоть какую-нибудь работу: ведь в рубку управления его так и не допускали. С другой же, Уэстон так или иначе превратил бы его в слугу — его поведение ясно об этом говорило, — а Рэнсом предпочитал скорее работать доброволь-

но, чем по принуждению. Да и готовил он гораздо лучше спутников.

Именно работа в кухне позволила ему невольно подслушать разговор, который сильно его встревожил. Произошло это, по его подсчетам, недели через две после начала путешествия. В тот день Рэнсом, как всегда, вымыл после ужина посуду, принял солнечную ванну, поболтал с Дивайном, который был куда разговорчивее Уэстона, хотя, по мнению филолога, и гораздо более омерзительным, и в обычное время лег в постель. Но ему не спалось, и час-другой спустя он вдруг вспомнил, что не сделал в камбузе кое-какие мелкие приготовления к завтраку. Дверь в камбуз находилась в кают-компании, где всегда был день, рядом с дверью в рубку управления. Не медля, Рэнсом отправился туда, беззвучно ступая босыми ногами.

Потолок камбуза выходил на ночную сторону, но зажигать свет Рэнсом не стал, так как в приоткрытую дверь вливался поток солнечного сияния. Каждый, кому приходилось вести домашнее хозяйство, легко представит себе, что дел оказалось гораздо больше, чем думал Рэнсом. Привычные действия почти не производили шума. Закончив все, Рэнсом уже вытирал руки полотенцем, висевшим за дверью, как вдруг услышал, что открывается дверь рубки, и увидел силуэт человека — судя по всему, это был Дивайн. Тот не вошел в кают-компанию, а остался стоять в дверях, в то время как Уэстон находился в рубке. Таким образом, получилось, что Рэнсом ясно слышал слова Дивайна, но реплики Уэстона разобрать не мог.

— По-моему, дурацкий план, — раздраженно произнес Дивайн. — Одно дело, если бы эти твари поджидали нас на месте посадки, — а если придется их искать? Вы считаете, лучше его усыпить, а потом тащить на себе вместе с рюкзаком? Нет уж, пусть идет сам и несет свою долю груза.

Уэстон что-то ответил.

— Да откуда же он узнает? — парировал Дивайн. — Мы же не дураки, чтобы ему сказать! Но даже если он что-нибудь заподозрит, у него кишка тонка сбежать на чужой планете. У него

же нет ни еды, ни оружия. Вот увидите, стоит ему углядеть первого сорна, он у вас в ногах будет валяться!

И снова послышался неразборчивый голос Уэстона.

— А мне откуда знать? — ответил Дивайн. — Может быть, тамошний вождь, а скорее, какой-нибудь местный божок.

На этот раз из рубки допелся односложный вопрос. Дивайн тут же отозвался:

— Тогда понятно, зачем он им нужен.

Уэстон вновь что-то спросил.

— Я думаю, человеческое жертвоприношение. Но ведь для них жертва не будет человеческой — я думаю, вы меня понимаете.

Уэстон разразился целой тирадой, вызвавшей у Дивайна характерный иронический смешок:

— Безусловно, безусловно! Я прекрасно понимаю, что вы идете на это из высших побуждений. Продолжайте в том же духе, пока они не мешают моим побуждениям.

Уэстон все не умолкал, и на этот раз Дивайн его перебил:

— Вы сами-го не собираетесь праздновать труса? — И, послушав еще немного, резко заключил: — Если вам эти твари так по душе, можете оставаться там и породниться с ними — хотя мы еще не знаем, обладают ли они полом. Вам нечего беспокоиться. Когда придет время, мы для вас парочку сохраним. Можете их держать дома вместо собаки, анатомировать или спать с ними — как вам больше нравится... Это я знаю не хуже вас. Абсолютно омерзительны. Ну, я же просто пошутил. Спокойной ночи.

Дивайн захлопнул дверь рубки, пересек кают-компанию, вошел в свою каюту и, как всегда, неизвестно зачем запер дверь. Рэнсом почувствовал, как отпускает его напряжение. Он слушал, затаив дыхание, и только теперь осмелился сделать глубокий вдох. Наконец он осторожно вышел из камбуза.

Благоразумие призывало Рэнсома как можно скорее вернуться в постель, но он все стоял в кают-компании, вбирая знакомый солнечный свет с каким-то новым, мучительным чувством.

С этих небес, из этих счастливых сфер им предстояло опуститься — но куда? Что его ожидает? Сорны, человеческие жертвы, омерзительные бесполое чудовища! Что такое «сорн»? Теперь перед ним явственно вырисовалась его собственная роль во всем этом деле. Кто-то послал за ним. Конечно, не за ним лично. Кому-то понадобилась жертва — любая жертва — с Земли. Выбрали именно его, потому что выбирал Дивайн: только теперь он с изумлением понял, что все эти годы Дивайн так же ненавидел его, как он ненавидел Дивайна. Но что же такое «сорн»? Увидев их, он повалится в ноги Уэстону... В сознании Рэнсома, как и у других людей его поколения, не было недостатка в кошмарных чудовищах. Он читал и Уэлса, и другие книги. Его вселенную населяли монстры, рядом с которыми бледнели химеры древней и средневековой мифологии. Чужой мир он всегда был готов заселить насекомоподобными, пресмыкающимися или ракообразными страшилищами с дергающимися усиками, кожистыми крыльями, слизистой шкурой, жадными щупальцами — а главное, эти богомерзкие твари противоестественно соединяли в себе сверхчеловеческий интеллект и ненасытную кровожадность. Сорны, должно быть... но нет, он не решался представлять их себе. И его собираются им отдать! Почему-то это казалось еще более ужасным, чем если бы сорны его изловили. Отдать, вручить, предложить! Его воображение рисовало какие-то тошнотворные, несовместимые детали: выпученные глаза, острозубый оскал, рога, хоботы, жвала. Омерзение к насекомым, змеям, к бесформенной, хлопающей, засасывающей протоплазме играло на его нервах симфонию ужаса. Но он знал, в действительности все будет еще хуже: то, что он встретит, будет чуждо земному сознанию и потому непредставимо! И в эту минуту Рэнсом принял решение. Пусть смерть, но только не сорны. На Малакандре он использует любую возможность для побега. Лучше он будет голодать, лучше сорны будут охотиться за ним, но он не позволит Дивайну и Уэстону просто отдать его чудовищам. Если же бежать не удастся, придется покончить с собой. Рэнсом был набожным человеком и в этом случае надеялся, что будет прощен. Другого решения он не мог бы принять, как

не мог отрастить себе третью руку. Не раздумывая больше, он прокрался назад в камбуз и выбрал самый острый нож. Больше он с ним не расстанется, пообещал себе Рэнсом. Ужасные переживания последних минут так изнурили его, что, добравшись до кровати, он тут же провалился, как в пропасть, в крепкий сон без сновидений.

VI

Он проснулся отдохнувшим и даже испытал что-то вроде стыда за свой испуг прошлым вечером. Конечно, он попал в серьезную переделку, и шансов живым вернуться на Землю не было почти никаких. Но с обычным страхом смерти можно справиться и ожидать ее с гордо поднятой головой. Куда более сложную проблему представлял иррациональный, идущий из глубин организма ужас при мысли о чудовищах. Но и с ним Рэнсом сумел в какой-то мере совладать, когда принимал солнечную ванну после завтрака. К нему пришло чувство, что существу, парящему в небесах, не пристало унижать себя страхом перед теми, кто прикован к планетам. Он подумал даже, что нож годится не только для самоубийства. Вообще говоря, такое воинственное настроение лишь изредка посещало Рэнсома. Подобно многим современникам, он не слишком высоко ценил свое мужество. Конечно, мальчишкой и он мечтал о доблести в бою, но, когда ему самому пришлось понюхать пороха на войне, он стал совсем иначе — и, может быть, слишком низко — оценивать свою способность к героизму. Вот и сейчас Рэнсом побаивался, что пришедшей было твердости духа хватит ненадолго, но все же готов был побороться с врагами. Час проходил за часом, Рэнсом то засыпал, то вновь бодрствовал, а Солнце все сияло в небе, и долгий-долгий день не кончался. Но вот что-то стало меняться. Мало-помалу начала спадать жара. Путникам пришлось снова облачиться в одежду, а потом и надеть теплое белье. Вскоре понадобилось даже включить электрическое отопление в центре шара. Одновременно стало заметно, что солнечный свет как-то трудноуловимо слабеет. Срав-

нивая его с всепроникающим сиянием начала путешествия, Рэнсом это отчетливо понимал, но его привычные к Земле чувства отказывались свидетельствовать, что света стало меньше и, тем более, что вокруг «стемнело». Ведь свет оставался таким же «неземным», как и в первые минуты. На Земле, когда солнце клонится к закату, тело охватывает влажная прохлада, а в воздухе играют призрачные цветные переливы. Но здесь, как понял Рэнсом, сила света могла уменьшиться вполтину — и оставшаяся половина не изменила бы своей природы. Пока солнечный свет вообще воспринимался глазом, он оставался самим собой — вплоть до невероятно дальнего предела, где терял последние силы. Рэнсом как-то заговорил об этом с Дивайном.

— Вот-вот! — ухмыльнулся тот. — Все равно как мыло останется мылом до последнего клочка пены!

Минуло еще несколько суток, и привычная рутина корабельной жизни изменилась. Уэстон объяснил, что они скоро войдут в пределы гравитационного поля Малакандры.

— Это значит, что «низ» у нас будет по направлению не к центру корабля, а к Малакандре — то есть, с нашей точки зрения, в рубке управления. Соответственно, в большинстве отсеков пол станет стеной или потолком, а одна из стен превратится в пол. Радости вам от этого будет мало.

Теперь блаженное созерцание сменилось изнурительной работой. Часами Рэнсом вдвоём с тем из спутников, кто был свободен от вахты в рубке, готовил корабль к новому испытанию. Металлические бочонки с водой, кислородные баллоны, оружие, боеприпасы, коробки с продуктами — все нужно было аккуратно сложить на боку у соответствующей стены, чтобы снаряжение не пострадало, когда эта стена станет полом. Не успели они закончить свой труд, как Рэнсом с тревогой почувствовал нарастающую тяжесть в ногах. Сначала он подумал, что виною усталость, но отдых не принес облегчения. Ему объяснили, что корабль уже пойман гравитационным полем планеты, и потому тело с каждой минутой набирает вес, причем каждые 24 часа вес удваивается. Ощущение, испытываемое при этом, можно

было сравнить с ощущениями беременной женщины, только невыносимо усиленными.

И в то же время их вестибулярные аппараты, и так-то не слишком уверенные в себе, казалось, окончательно сошли с ума. Внутреннее пространство корабля наполнилось загадками. С самого начала пол любого соседнего отсека представлялся спускающимся под углом, но стоило перейти туда, и пол оказывался ровным. Теперь же спуск был не только виден, но и чуть-чуть, самую малость, ощутим. Переходя из отсека в отсек, человек неожиданно для себя пускался бегом. Подушка, брошенная на пол в кают-компанию, через несколько часов сползала на пару дюймов к стене. Путники страдали от тошноты, головной боли и сердцебиения.

С каждым часом на корабле становилось все хуже. Представления о верхе и низе головокружительно перепутались. Некоторые отсеки перевернулись вниз головой, и по полу в них могла бы разгуливать разве что муха. Рэнсом не смог бы назвать ни одной каюты, где пол несомненно оставался бы полом. То и дело возвращалось ощущение, что они падают с невероятной высоты. — в небесах оно не приходило ни разу. Камбуз был давно заброшен. Подкреплялись чем могли и как могли. Особенно сложно было с питьем: никогда не было уверенности, что бутылка расположена надо ртом, а не рядом с ним. Уэстон стал еще более мрачным и неразговорчивым. Дивайн, не расстававшийся с фляжкой виски, изрыгал гнусные ругательства и призывал силы ада на голову Уэстона, втравившего его в эту затею. Рэнсом, перемогая боль в истерзанном теле и облизывая пересохшие губы, молился о конце.

Наконец настала минута, когда одна из сторон шара несомненно стала нижней. Привинченные к полу койки и столы теперь бесполезно торчали на стенах и потолках. Двери превратились в люки, воспользоваться которыми было почти невозможно. Тела налились свинцовой тяжестью. Дивайн распаковал гюк с одеждой, которую им предстояло надеть на Малакандре. Все это, как заметил Рэнсом, были теплые вещи: толстое шерстяное белье, овчинные куртки, меховые перчатки и ушанки. На

его вопросы Дивайн не обратил внимания. Присев на корточки, он пристально вглядывался в термометр, укрепленный на стене в кают-компании, которая теперь стала полом, и кричал Уэстону в рубку:

— Тормозите! Тормозите, кретин вы этакий! Мы вот-вот войдем в атмосферу! — Он обозленно вскочил. — Передайте управление мне!

Уэстон не откликнулся. Дивайн расточал свои советы попусту, и это было вовсе на него не похоже: видимо, он не помнил себя то ли от страха, то ли от возбуждения.

Вдруг небесное сияние словно отключили, как будто некий демон провел по лику Солнца грязной губкой. Золото лучей, так долго омывавшее их тела, померкло и превратилось в бледный, безотрадный, жалкий серый полусвет. Дотянуться до занавесок и шторы, открыть их и осветить кают-компанию поярче Рэнсом не мог. Великолепная колесница, скользящая по небесным лучам, за одно мгновение превратилась в стремительно низвергающийся стальной контейнер, внутренность которого едва освещалась узеньким окошком. Они падали с небес на планету. За все время приключений Рэнсома не было у него минуты горше. Как мог он когда-то думать, что планеты и Земля — островки жизни и смысла, плавающие в мертвой пустоте? Теперь он понял (и уверенность в этом навсегда осталась с ним), что планеты, или «земли», как он их мысленно называл, — это просто провалы, разрывы в живой ткани небес. Эти мусорные кучи, слепленные из измененного вещества и мутного воздуха, были навсегда отвержены, оторгнуты от мирового сияния. Они — продукт не приумножения, а умаления небесной славы. Но ведь за пределами Солнечной системы сияние кончается? Что там — истинная пустота, истинная смерть? Но, возможно... он изо всех сил пытался поймать свою мысль... возможно, видимый свет — это тоже провал, разрыв, умаление чего-то иного... Чего-то такого, что соотносится с сияющими неизменными небесами, как небеса с темными, тяжелыми землями.

Жизнь таит немало неожиданностей. Рэнсом опустился на поверхность незнакомого мира, с головой погрузившись в философские раздумья.

VII

В наступившей тишине раздался насмешливый голос Дивайна:

— Вы что, уснули? Новые планеты успели вам поднадоесть?

— Вам что-нибудь видно? — перебил Уэстон.

— Не могу справиться с заслонками, черт их дери! Давайте лучше откроем люк.

Рэнсом с трудом очнулся от грез. Рядом с ним в полутьме копошились спутники. Он замерз. Тело все еще казалось невыносимо тяжелым, хотя на самом деле было куда легче, чем на Земле. Рэнсом вновь подумал о своем необычайном приключении и ощутил огромное любопытство, смешанное с малой долей страха. Может быть, его ожидает смерть, но каков эшафот! Холодный воздух и луч света уже проникали в корабль снаружи. Рэнсом нетерпеливо заерзал, пытаясь что-нибудь разглядеть в щель между Дивайном и Уэстоном. Наконец-то отвинчен последний болт. Люк открылся.

Естественно, через отверстие было видно только почву. Перед Рэнсомом было круглое пятно чего-то бледно-розового, почти белого; он не мог разобрать, то ли это густая короткая растительность, то ли неровный, покрытый трещинами камень. Тут же в люк протиснулась темная фигура Дивайна, Рэнсом заметил у него в руке револьвер и успел подумать: «В кого он собирается стрелять? В сорнов или в меня?»

— Теперь вы, — бросил Уэстон.

Рэнсом сделал глубокий вдох, рука непроизвольно нащупала нож, заткнутый за пояс. Он просунул в люк голову и плечи и уперся руками в Малакандру, в розовый ковер, который оказался растительностью: он был мягким и слегка пружинил, как каучук. Рэнсом поднял глаза. Над ним было бледно-голубое не-

бо, как в ясное морозное утро на Земле. На его фоне подымался огромный розовый массив, который Рэнсом принял за фронт кучевых облаков.

— Поживее! — подтолкнул его Уэстон.

Рэнсом выполз наружу и поднялся на ноги. Было довольно холодно. От здешнего воздуха слегка запершило в горле. Он жадно оглядывался по сторонам, но само желание как можно скорее увидеть и понять новый мир словно сыграло злую шутку с его глазами: он видел только переливы цвета, которые никак не складывались в пейзаж. Для того чтобы увидеть что-либо отчетливо, нужно иметь о нем хотя бы минимальное представление; землянину же все здесь было незнакомо. Первым впечатлением Рэнсома было, что он смотрит на ярко освещенный мир бледных красок, словно нарисованный детской акварелью. Через минуту он понял, что светло-голубая полоса, доходящая почти до его ног, — это поверхность воды или чего-то похожего на воду. Корабль опустился на берегу реки или озера.

— Посторонитесь! — Уэстон тоже выбрался из люка.

Рэнсом повернулся и, к своему изумлению, увидел прямо перед собой хижину, ничем не отличающуюся от земных, если не считать того, что стены были сложены из незнакомого материала.

— Здесь живут люди? — в смятении пробормотал он. — Они строят дома...

— Не угадали, — хохотнул Дивайн. — Это мы строим дома.

Он вытащил из кармана ключ и отомкнул самый обычный всяческий замок на двери хижины. Рэнсом понял, что его похитители просто вернулись на место своей предыдущей стоянки. Он не мог бы точно сказать, что испытал при этом: облегчение или разочарование. Уэстон и Дивайн вели себя совершенно как на Земле. Они вошли в домик, сняли щиты, закрывавшие окна, принюхались к стоялому воздуху, подивились, что оставили после себя столько грязи, и снова вышли наружу.

— Теперь займемся припасами, — сказал Уэстон.

Скоро оказалось, что у Рэнсома нет времени любоваться Малакандрой, не говоря уже о возможности побега. В течение сле-

дующего часа он вместе со своими похитителями перетаскивал с корабля в хижину продукты, одежду, оружие и множество ящиков с неизвестным содержимым. На это уходили почти все силы и внимание. Но кое-что он все-таки увидел и понял. Прежде всего, он понял, что Малакандра прекрасна — странно, но такая возможность никогда не приходила ему в голову. Игра воображения, заставлявшая его населять вселенную чудовищами, одновременно рисовала ландшафт неведомой планеты как беспорядочное нагромождение голых скал или пустыню, где господствуют кошмарные механизмы. Теперь Рэнсом и сам не мог бы это объяснить. Кроме того, он обнаружил, что вода окружает их по меньшей мере с трех сторон: четвертую закрывал от него громадный стальной шар, на котором они прибыли. Хижина стояла то ли на оконечности полуострова, то ли на берегу острова. Мало-помалу он пришел также к заключению, что вода здесь не просто казалась голубой при определенном освещении, как на Земле, но действительно была окрашена в голубой цвет. Под дуновением легкого ветерка она вела себя как-то странно, и Рэнсом с недоумением отметил неестественную форму волн. Во-первых, они поднимались слишком высоко для такого слабого ветра, но это было еще не все. Глядя на них, Рэнсом припомнил картины, изображающие морские сражения, где разрывы снарядов взметают вверх массы воды. И тут он понял — эти волны словно неумело нарисованы: их высота не соответствует длине, они слишком крутые, слишком узкие у основания. Вот так у кого-то из современных поэтов, подумал Рэнсом, морская волна описана как «крепостная стена, увенчанная башнями».

— Ловите! — крикнул Дивайн.

Рэнсом поймал мешок и перебросил его Уэстону в дверях хижины.

По одну сторону суши полоса воды, как отметил про себя Рэнсом, была шириной с четверть мили, хотя в этом непривычном мире определить расстояние было нелегко. По другую сторону был лишь узкий рукав футов в пятнадцать от берега до берега. Здесь вода текла по отмели, судя по тому, как она бур-

лила, хотя шума от этого было гораздо меньше, чем на Земле, и какой-то неясный присвист. У противоположного берега, где бело-розовая растительность спускалась к самому урезу воды, лопались пузыри и мелькали солнечные блики — видимо, выделялся газ. В редкие мгновения, когда Рэнсом мог оторваться от работы, он старался получше разглядеть тот берег. Его глазам предстал лиловый массив, столь огромный, что Рэнсом принял его за покрытую вереском гору. За широкой полосой воды виднелось что-то в этом же роде, а еще дальше вздымались странные бледно-зеленые монолиты, слишком неровные и зазубренные, чтобы быть зданиями, но в то же время чересчур тонкие и крутые для гор. За ними возвышался уже виденный им розовый массив, напоминающий гряду облаков. Возможно, это и были облака, но выглядели они необычно плотно для скопления паров и к тому же не сдвинулись с места с тех пор, как Рэнсом впервые заметил их из люка. Они поражали изысканной красотой цвета и формы и более всего напоминали — если прибегнуть к земным аналогиям — гигантскую розовую цветную капусту или огромный чан с розовой мыльной пеной.

Отчаявшись разобраться во всем этом, Рэнсом вновь обратился к ближайшему берегу. Лиловая стена сперва представилась ему зарослями органных труб, потом напомнила рулоны ткани, поставленные вертикально вплотную друг к другу, наконец показалась лесом гигантских вывернутых зонтов. По ней как будто пробегало слабое волнение. И вдруг у Рэнсома словно открылись глаза. Он понял, что лиловая стена состоит из растений. Хотя они и были вдвое выше земных вязов, слово «деревья» к ним не подходило: на вид они были слишком мягкими и хрупкими. Круглые, гладкие, удивительно тонкие стебли (стволами их никак нельзя было назвать) поднимались на высоту до сорока футов и здесь выбрасывали сноп полупрозрачных листьев, каждый размером со шляпку. Примерно так Рэнсом представлял себе подводный лес: удивительно было, что такие огромные и в то же время такие хрупкие растения стоят выпрямившись и не рушатся под собственной тяжестью. Меж-

ду стеблями висели плотные лиловые сумерки, кое-где разорванные бликами бледного солнечного света.

— Время обедать! — неожиданно провозгласил Дивайн.

Рэнсом разогнул усталую спину и почувствовал, что, несмотря на холод и разреженный воздух, по лбу у него стекают капли пота. Поработать пришлось изрядно, и теперь он никак не мог отдышаться. В дверях хижины появился Уэстон и пробормотал, что неплохо бы сначала покончить с делами. Но Дивайн отменил его возражения. На свет появилась банка консервированной говядины и галеты, и все расселись на ящиках, все еще во множестве валявшихся между кораблем и домиком. Не обращая внимания на ворчанье Уэстона, Дивайн разлил по кружкам виски, причем добавил воды не из озера, а из собственных запасов.

Как нередко случается, Рэнсом только теперь, оторвавшись от работы, заметил, в каком возбуждении он пребывает с самого момента посадки. Ему и думать не хотелось о еде. Но, помня, что может представиться возможность обрести свободу, он заставил себя съесть гораздо больше, чем обычно, и во время еды пришел аппетит. Он жадно съел и выпил все, что пришлось на его долю. Впоследствии вкус этой первой трапезы на Малакандре всегда был связан в его памяти с изумлением, которое он испытывал, созерцая ярко освещенный, неподвижный, непонятный, неземной пейзаж: бледно-зеленые иглы, вонзающиеся в небо на тысячи футов, ослепительные блики на поверхности синей, шипящей, как шампанское, воды и бесконечные пространства розовой мыльной пены. Он немного опасался, что спутники заметят его необычное обжорство и что-нибудь заподозрят. Но им было не до него: они все время оглядывались по сторонам, едва слушали друг друга и то и дело бросали взгляд через плечо или пересаживались на другое место. Рэнсом уже почти покончил с обедом, как вдруг Дивайн застыл, как собака, делающая стойку, и молча положил руку на плечо Уэстону. Они кивнули друг другу и поднялись с ящиков. Рэнсом, допив последний глоток виски, тоже встал. Он оказался между похи-

тителями. В руках у них неизвестно откуда появились револьверы. Они плечами подталкивали Рэнсома к берегу узкой протоки, не отрывая глаз от противоположного берега.

Рэнсом не сразу разглядел, что привлекло их внимание. Ему показалось, что среди лиловых растений появились какие-то новые, бледные и тонкие стебли, но он лишь скользнул по ним взглядом и уставился на почву, где, как подсказывало ему подстегнутое страхом воображение, должно было появиться насекомоподобное или пресмыкающееся страшилище. Неожиданно глаза его натолкнулись на отражения белых стеблей в бегущей воде — четыре, пять... нет, шесть длинных, тонких, неподвижных отражений. Он поднял взгляд. На берегу действительно возвышались на два или три человеческих роста шесть белых, хрупких на вид предметов. Он подумал было, что это изваяния людей, высеченные первобытным скульптором: ему приходилось видеть подобные в книгах по археологии. Но как они держатся на таких ненатурально длинных и тонких ногах — ведь непомерно широкая грудная клетка должна их опрокинуть?! Они, словно отражение земных двуногих в кривом зеркале, кажутся гибкими, как стебли. И из чего они сделаны? Ясно, не из камня и не из металла: они слегка колеблются под ветром... И вдруг Рэнсом смертельно побледнел. Фигуры на берегу двинулись прямо на него. Это были живые существа! Секунду, скованный ужасом, он смотрел на их тонкие, невозможно длинные лица. Висячий нос и унылая линия губ придавали им мрачный и надутый вид, заставляя думать о слабоумных привидениях. В следующее мгновение Рэнсом рванулся прочь, но его перехватил Дивайн.

— Пустите! — заорал Рэнсом.

— Бросьте эти глупости! — прошипел Дивайн, тыча в него дулом револьвера.

Рэнсом тщетно пытался вырваться. Вдруг одно из существ издало какой-то звук; его громовой голос, подобный призыву рога, пронесся над их головами.

— Они зовут нас на тот берег! — Уэстон тоже ухватился за Рэнсома.

Теперь враги уже влоем тащили его к воде. Рэнсом весь скрючился, уперся ногами в землю и не двигался с места, как упрямый осел. Дивайн и Уэстон уже ступили в воду и старались стащить его за собой, но Рэнсом, визжа, все еще цеплялся ногами за берег. Неожиданно существа на том берегу испустили еще один звук — не такой членораздельный, но еще более оглушительный. Уэстон тоже закричал, отпустил Рэнсома и вдруг выпалил из револьвера куда-то в воду. В ту же секунду Рэнсом увидел и мишень.

К ним приближалась пенная дорожка, похожая на след торпеды. Воду стремительно разрезало блестящее тело какого-то крупного зверя. Дивайн отчаянно выругался, поскользнулся и забарахтался в воде. Совсем рядом мелькнули ужасные остро-зубые челюсти. Рэнсома чуть не оглушили громовые раскаты выстрелов Уэстона. Страшилища на том берегу тоже подняли громкий гам и ступили в воду.

Рэнсому не нужно было принимать решения, он действовал под влиянием момента. Как только враги отпустили его, он нырнул им за спины, обогнул корабль и со всех ног кинулся бежать навстречу неведомому. По ту сторону стального корпуса перед ним открылся сине-лилово-розовый хаос, но он ни на миг не замедлил бега. В следующую секунду ноги его зашлепали по воде, и он издал изумленное восклицание, почувствовав, что вода теплая. Не прошло и минуты, как он снова выбрался на сушу, вскарабкался на крутой склон и скрылся в лиловом полумраке меж стеблей гигантских растений.

VIII

Не так-то просто бежать бегом в незнакомом мире, да еще после месяца, проведенного в космическом корабле, и плотного обеда. Полчаса спустя Рэнсом уже шел шагом, прижимая ладонь к разболевшемуся боку, и напряженно прислушивался, нет ли погони. Но вокруг стояла полная тишина. Грохот револьвера и человеческие и нечеловеческие голоса позади сначала сменились одиночными винтовочными выстрелами и редки-

ми криками, а потом все затихло. Насколько хватало глаз, вокруг него были только стебли огромных растений, постепенно сливающиеся с фиолетовой тенью. Крыша гигантских полупрозрачных листьев, пропуская лишь малую часть солнечного света, окутывала лес торжественными сумерками. Немного отдохнув, Рэнсом снова пускался бегом; ноги легко отталкивались от мягкого пружинистого травяного ковра, который он потрогал еще у люка корабля. Пару раз дорогу ему перебежали маленькие рыжие зверьки, но в остальном лес не подавал признаков жизни. Похоже, никакая опасность ему не грозила — если не считать того, что он оказался один, без пищи и воды, среди неведомых растений в тысячах или миллионах миль за пределами изведенного человеком.

Но Рэнсом думал не об этом. Он вспоминал сорнов — ведь несомненно существа, которым его хотели выдать, были сорнами. Они вовсе не походили на те ужасы, которые рисовало ему воображение, и потому он был совершенно не готов к их появлению. Фантазии Уэллса не имели к ним никакого отношения, зато при виде их наружу выплыли страхи детского сознания, образы великанов, людоедов, призраков, скелетов. Привидения на ходулях, подумал Рэнсом, длиннолицые пугала, словно написанные кистью сюрреалиста. Но сковавшая его в первые минуты паника проходила. Он отбросил мысль о самоубийстве и решил держаться до конца. Молитва сняла тяжесть с души, а нож за поясом придал уверенности. Рэнсома охватило странное чувство братской близости к себе самому, и он чуть было не сказал: «Будем держаться вместе!»

Но тут началась более пересеченная местность, и Рэнсому стало не до размышлений. Уже несколько часов он поднимался по пологому склону. Справа от него почва резко уходила вверх, так что он, по-видимому, огибал холм, одновременно понемногу на него взбираясь. Теперь же на его пути стали то и дело попадаться невысокие гребни, которые ответвлялись от возвышенности, лежащей по правую руку. Без всякой особой причины он не пытался их обогнуть, а перебирался через них и шел

дальше. Может быть, подсознательные воспоминания о земной географии подсказывали ему, что если он спустится ниже, то наткнется на безлесные участки возле воды, где его могут поймать сорны. Перебираясь через гребни и спускаясь в лощины, Рэнсом поражался необычной крутизне склонов; но, как ни странно, преодолевать их было не так уж сложно. Он заметил также, что даже самые небольшие холмики по форме не походили на земные: и так неестественно тонкие у основания, они еще заострялись кверху. Рэнсом припомнил, что и волны голубого озера отличались теми же особенностями. Бросив взгляд на лиловые листья, он нашел, что и они играют вариацию на ту же тему порыва к небу. Несмотря на величину, они не обвисали на конце. Воздух служил для них достаточной опоркой, и лес, вероятно, выглядел сверху как море раскрытых вееров. Да ведь и сорны, вспомнил он, передернувшись, тоже извращенно вытянуты в высоту!

Рэнсом достаточно разбирался в физике, чтобы догадаться, что находится на планете, которая легче Земли. Здесь природе было проще реализовать свое стремление вверх, к небу. Эта мысль заставила его задуматься, куда же он попал. Сначала он вспомнил о Венере, но не был уверен, больше она Земли или меньше; кроме того, температура там вроде бы должна быть повыше. Может быть, он очутился на Марсе или даже на Луне. Сначала он отверг последний вариант, поскольку при посадке не видел Земли, но потом вспомнил, что как-то слышал об обратной стороне Луны, откуда Земли не видно никогда. Вполне могло случиться, что он сейчас скитается по обратной стороне Луны! При этой мысли он еще острее, чем раньше, ощутил одиночество, хотя разум подсказывал, что в его положении Луна и Марс мало чем отличаются друг от друга.

Во многих лощинах Рэнсому встречались голубые ручейки, которые с шипением спешили к низине по левую руку. Вода в них, как и в озере, была теплой, воздух над ними также нагревался, и Рэнсом, карабкаясь вверх и вниз по склонам, как будто постоянно попадал из одной климатической зоны в дру-

гую. Именно по контрасту с теплой ложиной он, поднявшись на очередной гребень, обратил внимание, что в лесу становится все холоднее. Рэнсом огляделся и обнаружил, что и свет явственно ослабевает. В своих расчетах он совсем упустил из виду ночь, и притом понятия не имел, что такое ночь на Малакандре! Полумрак сгущался. Вздых холодного ветра пронесся меж лиловых стеблей, и они заколебались, снова напомнив о своей легкости и гибкости, столь неожиданных при огромной высоте. До сих пор страх и ощущение необычности всего происходящего помогали Рэнсому забыть о голоде и усталости, но теперь они напомнили о себе. Подавив дрожь, он заставил себя итти вперед. Ветер усиливался. Громалдые листья поплыли над ним в медленном танце. Меж ними то и дело мелькал просвет все бледнеющего неба, и вот уже на нем зажглись первые звезды. Безмолвие покинуло лес. Рэнсом тревожно озирался, боясь неожиданного нападения, но видел только быстро наступающую темноту.

Теперь он радовался теплу, висящему над ручьями. Здесь можно было укрыться от крепчающего мороза. Дальше идти не стоило: так или иначе, он не знал, уходит от опасности или приближается к ней. Опасность была повсюду, двигался ли он вперед или стоял на месте. Зато у ручья можно устроиться в тепле. Рэнсом устало тащился вперед в поисках очередной ложины. Ее долго не было, и он перепутался, что все они остались позади. Он уже собирался повернуть назад, как вдруг перед ним возник крутой спуск; Рэнсом поскользнулся, съехал вниз и очутился на берегу потока. Деревья (вопреки себе он называл гибкие растения «деревьями») оставляли над ручьем просвет, вода слабо фосфоресцировала, так что здесь было немного светлее. Русло ручья шло справа налево под сильным уклоном. Рэнсом, как некий турист в поисках «местечка получше», немного поднялся вверх по течению. Склон стал еще круче. Ручей здесь обрывался вниз небольшим водопадом. У Рэнсома появилась была смуглая мысль, что вода падает слишком медленно, но он чересчур устал, чтобы задумываться об этом. Температура

воды была явно выше, чем в озере: может быть, неподалеку находился подземный источник тепла. Но путника гораздо больше интересовало, можно ли ее пить. Его мучила жажда, но вода на вид была непохожа на воду. Вдруг она ядовита? Он постарается не пить ее. Может быть, он достаточно устал, чтобы заснуть, несмотря на жажду. Рэнсом опустился на колени и сполоснул руки в теплом ручье, потом перекатился в выемку рядом с водопадом и зевнул.

Звук собственного зевка, столько раз слышанный в детской, в школьном общежитии, во множестве спален, вдруг пробудил в нем острую жалость к себе. Он подтянул колени к груди и обхватил себя руками. Его захлестнуло чувство чуть ли не сыновней любви к собственному телу. Часы у него на запястье молчали, и он завел их. Что-то бормоча, тихонько похныкивая, он думал о том, как на далекой планете Земля люди ложатся в постель — в домах, океанских лайнерах, гостиницах, супруги, маленькие дети под присмотром нянюшек; сгрудившиеся вместе для тепла, пропахшие табаком мужчины в кубриках и окопах. Он не мог больше сопротивляться желанию заговорить с собой: «Мы позаботимся о тебе, Рэнсом... мы будем держаться вместе, старина!..» Вдруг он подумал, что в ручье может обитать острозубое страшилище вроде того, в озере. «Верно, Рэнсом, — пробормотал он. — Не годится здесь оставаться на ночь. Немного отдохнем и пойдем дальше. Но не сейчас. Чуть погодя».

IX

Рэнсом проснулся от жажды. За ночь он не замерз, хотя одежда и отсырела. Теперь на него падали лучи солнца и рядом весело плясал водопад, искрясь всеми оттенками голубизны и отбрасывая бегущие отблески на нависшие сверху листья. Но, вспомнив свое положение, Рэнсом ощутил почти невыносимую тяжесть. Ах, если бы он только не потерял самообладания! Сейчас сорны уже убили бы его, и смерть была бы избавлением. Тут же с невыразимым облегчением он вспомнил, что в лесу

скитается человек. Хорошо бы его встретить. Он подошел бы к бедняге и сказал: «Привет, Рэнсом!..» Нет, тут что-то не то. Ведь Рэнсом — это он сам! Или нет? Кто был тот человек, которого он привел к теплому ручью, уложил спать и посоветовал не пить незнакомую воду? Наверное, какой-нибудь новичок, который здесь еще не разобрался, что к чему. Ладно, что бы там ни говорил Рэнсом, теперь пора выпить. Он лег на берег и окунул лицо в теплые струи ручья. Как хорошо пить! Вода была с сильным минеральным привкусом, но невероятно вкусная. Он сделал еще несколько глотков и почувствовал, как проясняется разум и в тело вливаются силы. Все это чепуха, нет никакого второго Рэнсома. Теперь он отдавал себе отчет, что ему угрожает безумие. Чтобы отвлечься, он вознес горячую молитву и начал приводить себя в порядок. Впрочем, не так уж важно, сойдет он с ума или нет. Может быть, это уже произошло, и он вовсе не на Малакандре, а лежит в постели в какой-нибудь английской психиатрической лечебнице. Как было бы хорошо! Он тогда спросил бы Рэнсома... черт побери, снова начинается!.. Беглец поднялся и торопливо пошел прочь.

Приступы умопомрачения повторялись каждые несколько минут. Но Рэнсом придумал своеобразный трюк: он словно останавливал мыслительную деятельность и давал приступу, как волне, перекатиться через сознание. Терзать себя по этому поводу было бессмысленно, зато после приступа он снова становился нормальным человеком. Куда больше опасения вызывала проблема пищи. Рэнсом попробовал отрезать кусок от «дерева». Как он и ожидал, стебель оказался полатливым, вроде овоща, а не жестким, как древесина. Когда он вонзил в него нож, весь гигантский организм задрожал до кончиков листьев, как если бы Рэнсом одной рукой расшатал мачту корабля под всеми парусами. Отрезанный кусок оказался почти безвкусным, но неприятных ощущений не вызывал. Несколько минут Рэнсом удовлетворенно жевал мягкую клетчатку, но проглотить так и не смог: она голилась только как жвачка. Все же, то и дело отрезая от стеблей новые куски и засовывая в рот, он испытывал некоторое облегчение.

Сегодня уже не было необходимости удирать от погони, и Рэнсом просто блуждал по лесу, надеясь отыскать какую-нибудь пищу. Впрочем, поисками это было трудно назвать, поскольку он не имел понятия, есть ли на Малакандре подходящая для человека еда, и не узнал бы ее, если б нашел. Во время этих беспельных блужданий произошел эпизод, сильно перепугавший беглеца. Он вышел из леса на небольшую прогалину и не успел толком оглядеться, как вдруг увидел, что на него надвигается огромная желтая туша, рядом — еще одна, а вокруг — целое стадо. Рэнсом хотел было обратиться в бегство, но его уже окружили со всех сторон покрытые блекло-желтым мехом существа. Больше всего они напоминали жирафов, но временами поднимались на дыбы и даже делали несколько шагов на задних ногах. К тому же они были стройнее и гораздо выше, чем жирафы, и объедали самые верхние листья лиловых растений. Заметив Рэнсома, громадины уставились на него влажными глазами, зафыркали глубоким басом, но враждебных намерений у них явно не было. Их прожорливость поражала: минут за пять они изуродовали верхушки нескольких сотен деревьев, впустив в лес столбы солнечного света, и двинулись дальше.

По трезвому рассуждению, этот эпизод даже успокоил Рэнсома: он уже начинал бояться, что сорны — единственная форма жизни на планете. Теперь же он познакомился с вполне достойными представителями животного мира, которых, вероятно, можно приручить. Скорее всего, то, что они едят, годится и для человека — нужно только взобраться на «дерево»! Рэнсом искал взглядом подходящий стебель и заметил, что, объев листья с верхушек, желтые животные открыли его глазам широкую панораму. Над «деревьями» возносились все те же бело-зеленые пики, что он увидел вчера от корабля на дальнем берегу озера.

Сегодня они были гораздо ближе. Вершины их, казалось, упирались в небо, и Рэнсому пришлось откинуть голову, чтобы рассмотреть, что они разной высоты. Они напоминали столбы, расставленные как попало, без всякого плана. Некоторые заострялись кверху и заканчивались настоящими шпильями;

другие, сужаясь снизу вверх, на вершине вновь расширялись и образовывали своего рода платформы, которые, как показалось Рэнсому, каждую секунду грозят обвалиться. Он отметил, что обрывистые склоны изрезаны трещинами и неровностями, как сетью морщин. Между двумя пиками, словно приклеенная, висела неподвижная голубая лента — несомненно, водопад. Это окончательно убедило Рэнсома, что перед ним горы — горы совершенно невероятных очертаний. Изумление в его душе уступило место возвышенному восторгу. Он понял, что эти горы — самое полное выражение идеи перпендикуляра, которой подчинялось все на Малакандре: звери и растения, волны и холмы. По сравнению с этим буйством камня, взметнувшегося вверх, как струя фонтана, и застывшего в воздухе, любые земные горы казались лежащими на боку. Сердце Рэнсома забило сильнее от восхищения и восторга.

Но в следующий миг оно словно замерло в груди. На бледно-зеленом фоне горы, совсем недалеко (сами горы были от Рэнсома всего в четверти мили) в разрыве между верхушками растений появилась движущаяся фигура. Она, казалось, подкрадывалась к беглецу, и он сразу ее узнал. Огромный рост, смертельная худоба, крючковатый, как у злого колдуна, нос — это был сорн. У него была узкая голова с конической макушкой. Тонкими до прозрачности, подвижными, похожими на паучьи лапы руками сорн раздвигал перед собой стебли. Бессознательная уверенность, что чудовище разыскивает его, охватила Рэнсома. Все заняло лишь долю секунды — не успел образ ужасного противника запечатлеться в сознании, как беглец уже несся огромными скачками в чащу леса.

У него не было плана спасения. Он просто хотел как можно дальше оторваться от сорна. На бегу он молил Бога, чтобы враг был один — а вдруг лес кишит ими, вдруг они достаточно умны, чтобы взять его в кольцо! Но сейчас это безразлично — нужно просто бежать, бежать, сжимая в руке нож. Страх растворился в неистовом беге и уступил место хладнокровной осторожности. Рэнсом был как никогда готов к последнему испытанию.

Он все быстрее несся вниз по склону. Скоро спуск стал таким крутым, что, будь Рэнсом на Земле, ему бы пришлось сползать на четвереньках. Впереди что-то блеснуло. Еще минута — и лес остался позади. Рэнсом зажмурился: в глаза ему брызнули солнечные блики с поверхности реки. Перед ним расстилалась равнина, покрытая реками и озерами с островами и полуостровами. В такой же местности они высадились на Малакандре.

По-видимому, его никто не преследовал. Рэнсом лег на берег и напился. Черт побери, похоже, на этой планете холодной воды вообще не бывает! Он прислушался, в то же время стараясь отдышаться. Вдруг он заметил, что ярдах в десяти от него на поверхность воды вырываются пузырьки и от них расходятся круги. Неожиданно вода раздалась в стороны, и на поверхность, словно пушечное ядро, взметнулось что-то круглое, черное и блестящее. Рэнсом увидел два глаза, а под ними — отдувающийся рот, окаймленный бородой пузырьков. Поднимая тучу брызг, на берег выбиралось странное существо. Когда оно встало на задние лапы, оказалось, что в нем шесть или семь футов, но при этом солидном росте оно отличалось уже привычной Рэнсому малакандрийской стройностью и хрупкостью. Его покрывала густая черная шерсть, блестящая, как котиковый мех. Длинное тело опиралось на коротенькие перепончатые лапы и широкий хвост, как у бобра или у рыбы. Пальцы мускулистых передних конечностей тоже соединяла перепонка. Посреди живота животного было какое-то утолщение сложной формы, которое Рэнсом принял за половые органы. Существо одновременно напоминало пингвина, выдру и тюленя, а гибкостью тела даже горностая. Венчала его большая круглая тюленья голова с густыми усами, но лоб был выше, чем у тюленя, а рот — меньше.

Бывают минуты, когда действия, вызванные страхом или осторожностью, совершаются совершенно рефлекторно, и человек не связывает с ними ни ужас, ни надежду. Рэнсом лежал неподвижно, изо всех сил вжавшись в траву, как будто мог остаться незамеченным. Его охватило усталое спокойствие. Словно глядя на себя со стороны, он невозмутимо подумал,

что его приключения, видимо, подошли к концу. С суши ему угрожал сорн, а от воды — большой черный зверь. Правда, у него мелькнула мысль, что такой рот и челюсти вряд ли могут принадлежать хищнику. Но он слишком плохо разбирался в зоологии, чтобы быть в этом уверенным.

И вдруг случилось нечто, совершенно изменившее ход его мыслей. Животное все еще его не заметило. Оно усердно отряхивалось, и от него веером летели брызги и поднимался пар после купания в теплой воде. Неожиданно оно открыло рот и издало серию звуков. В этом не было бы ничего удивительного, но Рэнсом, посвятивший жизнь языкознанию, сразу понял, что звуки членораздельные. Существо говорило на каком-то языке! Если вы не филолог, вам, боюсь, придется принять на веру, как сильно подобное открытие может подействовать на лингвиста. Он уже познакомился с новым миром — но новый, нечеловеческий, внеземной язык представлял для него куда больший интерес. Раньше, когда он услышал голоса сорнов, это почему-то не пришло ему в голову. Зато теперь на него словно снизошло откровение. Любовь к знаниям — это род безумия. Зная, что его, возможно, ожидает скорая смерть, он в долю секунды забыл о своем отчаянном положении, отбросил все страхи. Его воображение нарисовало блестящую перспективу: он пишет первый учебник малакандрийского языка! «Начальный курс малакандрийского языка»... «Лунный глагол»... «Краткий марсианско-английский словарь» — целый рой заголовков закрубился в его сознании. Какие великие открытия ожидают специалиста по внеземному языку! В его руках может оказаться первичная форма любого языка, принцип, лежащий в основе всех языков! Не помня себя, Рэнсом приподнялся на локтях и вперил взгляд в черное существо. Оно умолкло. Шарообразная голова повернулась к Рэнсому и уставилась на него блестящими янтарными глазами. Ветер стих. На озере и в лесу царил полная тишина. Шли минуты, а представители двух чуждых рас все не могли оторвать взгляд друг от друга.

Рэнсом поднялся на колени. Чужак отпрыгнул, не спуская с него глаз, и снова замер. Потом он сделал шаг вперед, и те-

перь уже Рэнсом, вскочив на ноги, отбежал назад, но недалеко: его удерживало любопытство. Собрав все свое мужество, он приблизился к существу, протягивая открытую ладонь. Чужак неверно истолковал этот жест и отступил на мелководье. Рэнсом видел, как под гладкой шерстью напряглись мускулы. Но и чужака, видимо, снесло любопытство: в двух шагах от берега он остановился. Оба боялись друг друга, и в то же время каждый хотел подойти поближе и попытаться это сделать. В их душах неразумный, подсознательный страх накрепко переплелся с экстатическим, невыносимым стремлением друг к другу. Это было не просто любопытство. Скорее это напоминало любовную игру, словно встретились первый мужчина и первая женщина в мире. Но и такое сравнение не передаст всей первозданности этой минуты. Встреча мужчины и женщины естественна; им нужно сделать лишь небольшое усилие, разрушить непрочный барьер, чтобы броситься друг другу в объятия. Но здесь впервые сошлись в восторженно-боязливом контакте представители двух различных — и разумных — форм жизни.

Вдруг малакандриец повернулся и пошел прочь. Разочарование обрушилось на Рэнсома, как приступ отчаяния.

— Вернись! — с мольбой закричал он по-английски.

Чужак обернулся, развел руки в стороны и что-то сказал на своем непонятном языке, а затем двинулся дальше. Но, не пройдя и двадцати ярдов, он нагнулся и что-то подобрал. Когда он снова подошел ближе, в руке у него (Рэнсом уже мысленно называл его перепончатую верхнюю лапу рукой) оказалась раковина, похожая на устричную, но более округлая и глубокая. Чужак набрал полную раковину воды из озера, поднес ее к животу и, как показалось Рэнсому, начал в нее мочиться. Землянина охватило отвращение, но тут же он понял, что утолщение на животе малакандрийца — вовсе не половые органы и вообще не часть тела. Это был пояс, увешанный мешочками, и сейчас чужак добавлял из такого мешочка в воду несколько капель какой-то жидкости. Затем он поднес раковину к черногубому рту и стал пить — не откидывая голову, как человек, а наклонившись к воде и всасывая ее, как лошадь. Выпив воду, он повторил всю процедуру:

наполнил раковину, добавил несколько капель жидкости из мешочка (судя по всему, это было что-то вроде кожаной бутылки) и обеими руками протянул сосуд Рэнсому. Не понять его было невозможно. Нерешительно, почти боязливо Рэнсом сделал несколько шагов и принял раковину. Кончиками пальцев он коснулся перепонки между пальцами чужака, и по телу его словно пробежал разряд отвращения, смешанного с восторгом. Рэнсом поднес раковину к губам. Добавленная к воде жидкость, несомненно, содержала алкоголь. Рэнсом никогда еще так не радовался вовремя поднесенной рюмке.

— Спасибо! — произнес он по-английски. — Огромное спасибо!

Чужак ударил себя в грудь и что-то сказал. Сначала Рэнсом не понял, в чем дело, но тут же догадался, что малакандриец старается сообщить свое имя — или, скорее всего, название своего народа.

— Хросс! — раз за разом повторял он. — Хросс! — И при этом хлопал себя по груди.

— Хросс! — произнес и Рэнсом, указывая на него. Потом подумал и добавил:

— Человек! — И ударил себя в грудь.

— Чел... челх... челховек! — повторил за ним хросс. Затем он подобрал горсть земли с берега, между сплошным травяным ковром и кромкой воды:

— Хандра!

— Хандра! — откликнулся Рэнсом.

Тут в голову ему пришла любопытная мысль.

— Малакандра? — вопросительно произнес он.

Хросс принялся вращать глазами и размахивать руками, явно пытаясь указать на всю округу.

«Кое-что уже ясно, — подумал Рэнсом с удовлетворением. — “Хандра” — это земля как грунт; “Малакандра” — “Земля”, то есть планета как целое. Потом можно будет выяснить, что значит “Малак”. После “к” не произносится “х”», — отметил филолог, сделав первый шаг в изучении малакандрийской фонетики.

Хросс тем временем пытался объяснить ему, что такое «хандрамит». Рэнсом узнал корень «хандра» и заметил, что в местном языке есть и приставки, и суффиксы. Но жесты храсса на этот раз остались для него загадкой, и значение слова «хандрамит» не прояснилось. Землянин решил сменить тему. Он открыл рот, ткнул в него пальцем и сделал вид, что жует. Хросс ответил словом, которое, должно быть, означало «есть» или «пища». Оно содержало согласные звуки, на которых человек мог бы сломать язык, но интересы Рэнсома в этом случае были скорее гастрономическими, чем фонетическими, о чем он и постарался сообщить храссу. Тот наконец понял, в чем дело, и жестами пригласил Рэнсома следовать за ним.

Там, где хросс недавно взял раковину, Рэнсом к своему, может быть, неоправданному изумлению, увидел привязанную лодку. Она больше, чем что бы то ни было, убедила его в том, что хросс разумен, — таков уж человек. Еще выше Рэнсом оценил разум своего нового знакомого, когда оказалось, что лодка очень похожа на земную, хотя борта у нее были выше и вся она казалась очень хрупкой, как и все на Малакандре. Лишь спустя некоторое время он понял, что лодка на любой планете просто не может быть иной. Хросс достал овальную тарелку из какого-то прочного, но эластичного материала и положил на нее несколько оранжевых кусков, на вид напоминавших губку. Рэнсом вытащил нож, отрезал кусочек и с некоторым сомнением положил на язык. Через несколько секунд он уже с волчьим аппетитом набросился на еду. Оранжевая масса напоминала бобы, но имела сладковатый привкус. Изголодавшийся Рэнсом был донельзя рад и такой еде. Но вот он утолил первый голод, и снова на него обрушилась вся тяжесть его положения. Огромное тюленеобразное существо показалось невыносимо зловещим. Может, у него и нет дурных намерений. Но ведь оно ужасно большое, ужасно черное, и он ничегошеньки о нем не знает! В каких оно отношениях с сорнами? А может статься, оно вовсе не так разумно, как кажется...

Лишь много дней спустя Рэнсом научился бороться с такими приступами неуверенности. Они возникали, когда разум

храсса заставлял думать о нем как о человеке. Тогда малакандриец вызывал отвращение: попробуйте-ка представить себе человека семи футов роста, с гибким, как у змеи, телом, с ног до головы покрытым густой черной шерстью, и с кошачьими усами! Но если посмотреть на храсса с другой стороны, то это — великолепное животное с блестящим мехом, влажными глазами, благовонным дыханием и белоснежными зубами. Но это животное — и тут было его особое очарование — обладало разумом и умело говорить, словно человек не был изгнан из рая и все его исконные мечты сбылись. Как человек храсс был омерзителен; как животное вызывал восхищение и восторг. Тут уж все зависело от точки зрения.

Х

Рэнсом плотно поел, выпил еще немного крепкого малакандрийского напитка. После чего храсс, видимо, решил, что пришла пора перебраться в лодку. Сделал он это весьма своеобразно, как четвероногое. Используя гибкость тела, храсс уперся руками в дно лодки, в то время как ноги его оставались на берегу, затем оттолкнулся ногами так, что крестец взлетел футов на пять в воздух, — и оказался на борту. Вся операцию он проделал с ловкостью, немыслимой для такого крупного животного на Земле.

Однако храсс тут же вылез обратно на берег и указал на лодку рукой. Рэнсом понял, что его приглашают последовать примеру хозяина. Его так и подмывало задать один вопрос: какой вид разумных господствовал на Малакандре? Может быть, храсса (так образуется множественное число от «храсс», как он узнал позднее) — хозяева жизни, а сорны, хоть и больше напоминают людей, — всего лишь полумразумный скот? Рэнсом искренне надеялся, что так и есть. Но ведь возможен и другой вариант: храсса — домашние животные сорнов, и в этом случае последние обладают сверхразумом. Развитое земной культурой воображение подсказывало Рэнсому, что сверхчеловеческий разум должен обладать безжалостной волей и чудовишным обликом.

Если он войдет в лодку хросса, то, может статься, в конце пути попадет в лапы к сорнам. С другой стороны, это, возможно, единственный шанс убраться подальше от леса, где бродят сорны... Хросс тем временем начал проявлять признаки нетерпения. Он жестаами торопил Рэнсома, и тот наконец решился. Так или иначе, нечего было и думать о том, чтобы расстаться с хроссом. Конечно, его сходство со зверем по-прежнему неприятно поражало Рэнсома. Но желание изучить местный язык, а более всего — робкая, но настойчивая тяга к незнакомому разуму, ощущение, что перед ним открывается небывалое приключение, — все это привязывало землянина к малакандрийцу узам, о крепости которых он и сам не догадывался. Рэнсом ступил в лодку.

Сидений в суденьшке не было. Его нос и борта поднимались высоко над водой, зато осалка была крайне малой. По существу, большая часть днища вообще не касалась воды, и лодка напоминала этим современный скоростной глиссер. У берега ее удерживало что-то вроде веревки, но хросс не стал ее развязывать, а просто разъял пополам, словно пластилиновую колбаску. Он уселся на корме и взял в руки весло с такой широченной лопастью, что Рэнсом усомнился, можно ли им вообще грести. Однако землянин тут же вспомнил, что находится на легкой планете. Благодаря своему длинному телу хросс легко перебросил весло через высокий борт и быстро отвел лодку от берега.

Первые несколько минут они плыли по протоке шириной не более сотни ярдов, по берегам которой росли лиловые деревья, затем обогнули мыс и вышли на широкое водное пространство. Перед Рэнсомом открылось огромное озеро, чуть ли не море. Хросс направил лодку прочь от берега, внимательно оглядываясь по сторонам и то и дело меняя курс. Вокруг них все шире и шире раскидывался голубой простор. Солнечные блики слепили глаза. От воды поднималось душное тепло. Скоро Рэнсому пришлось снять шапку и куртку, чем он несказанно удивил хросса.

Рэнсом осторожно поднялся на ноги и окинул взглядом малакандрийский пейзаж. Прямо по курсу и позади расстиралось

сверкающее озеро, посылающее улыбку бледно-голубому небу. Кое-где оно было усеяно островами. Солнце стояло почти в зените: стало быть, они находились в тропической области Малакандры. По периметру озера располагался настоящий лабиринт островов и проток, оперенный гигантскими лиловыми растениями. За этой заболоченной цепью архипелагов кольцом вздымались зубчатые стены бледно-зеленых гор (Рэнсому все еще трудно было называть их горами — слишком они были тонкими, острыми и неустойчивыми на вид). Со штирборта до них было не более мили, и от воды их отделяла лишь узкая полоска леса. По левому борту они были гораздо дальше, милях в семи, но и здесь не теряли своей величавости. Горы тянулись по обеим сторонам озера, насколько хватало глаз, и впереди и позади. В сущности, лодка плыла по затопленному дну величественного каньона шириной почти в десять миль. О длине его судить было невозможно. За горными пиками, а кое-где и выше них, Рэнсом во многих местах различал огромные волнообразные нагромождения розового цвета, которые накануне ошибочно принял за облака. Похоже было, что за цепью гор нет других долин. Эти цепи скорее окружали, как частокон пик, беспредельное плоскогорье, местами поднимающееся выше их вершин. И справа, и слева этим плоскогорьем замыкался горизонт Малакандры. Только впереди и позади планета была рассечена громадным ущельем, которое теперь представлялось Рэнсому трещиной в поверхности плато.

Он попытался знаками спросить хросса, что представляют собой похожие на облака розовые образования. Но вопрос был слишком сложен, чтобы передать его жестикующей. Судя по ответным знакам хросса (его гибкие руки металась в воздухе, как два хлыста), он решил, что Рэнсома интересует вся область возвышенности. Называлась она «харандра». Залитая водой низменность — ущелье или каньон — носила название «хандрамит». Рэнсом понял значение этих слов так: «хандра» — земля, «харандра» — высокая земля, горы, «хандрамит» — низкая земля, долина. Короче говоря, возвышенность и низменность.

Позднее ему предстояло узнать, как много значит это географическое отличие для жителей Малакандры.

К этому времени хросс достиг места, куда так тщательно правил. Примерно в двух милях от суши он вытащил весло из воды и весь как-то подобрался. В ту же минуту лодка задрожала и стрелой полетела вперед. Несомненно, хросс воспользовался течением. Скорость достигала пятнадцати узлов. При этом лодка скакала вверх и вниз на перпендикулярной волне какими-то дикими рывками. Это было похуже самой неприятной зыби на Земле. Рэнсом вспомнил, как несладко ему приходилось на военной службе верхом на лошади, идущей рысью. Он вцепился в планшир, другой рукой утирал пот со лба: от воды поднимался гнетущий жар. Может быть, местная еда и тем более питье все-таки не подходят человеческому желудку? Слава богу, он не подвержен морской болезни! Ну, скажем, не очень подвержен... Ну...

Он поспешно свесился за борт. Жар ударил ему в лицо. Почудилось, будто в толще воды играют длинные серебряные угри. Раз за разом постыдные приступы повторялись. Несчастный Рэнсом отчетливо вспомнил, как сгорал со стыда, когда его стошнило на детском утреннике — давным-давно, на планете, где он родился. Сейчас было так же стыдно. Подумать только, в каком виде первый представитель человечества явился перед инопланетянином! Понимает ли хросс, что с ним происходит? Знакомы ли они вообще с тошнотой? Трясаясь всем телом и постанывая, Рэнсом перевалился обратно в лодку. Хросс смотрел на него, но Рэнсом не мог ничего прочесть на усатой морде. Лишь много дней спустя он научился разбираться в мимике малакандрийцев.

Тем временем течение становилось все быстрее. Описав огромную кривую, они подошли почти вплотную к дальнему берегу, потом опять пересекли озеро, продвигаясь головокружительными спиралями и восьмерками. Вокруг метались зубчатые горы и лиловый лес. В затуманенном сознании Рэнсома этот криволинейный маршрут накрепко сплелся с тошнотворными

извивами серебряных угрей в глубине. Он быстро терял интерес к Малакандре. Что значит разница между Землей и другими планетами по сравнению с ужасным отличием воды от суши! А вдруг хроссы вообще живут на воде, подумал он в отчаянии. Если придется провести ночь в этой мерзкой лодчонке...

К счастью, мучиться ему пришлось недолго. Вскоре лодка прекратила подпрыгивать на зыби, скорость упала, и Рэнсом увидел, что хросс табанит веслом. Берега придвинулись совсем близко; они находились в узкой протоке, и вода яростно шипела на мелководье. Хросс выпрыгнул за борт, окатив лодку целым водопадом теплой воды. Рэнсом, все еще дрожа, осторожно последовал за ним. Вода доходила ему до колен. К его изумлению, хросс без всякого видимого усилия поднял лодку из воды, опустил себе на голову и, придерживая одной рукой, пошел к берегу, прямой, как греческая кариатида. Они зашагали по берегу протоки — хотя, конечно, широкие дуги, что выписывали коротенькие ноги хросса благодаря подвижным суставам, трудно было назвать обычными шагами. Через несколько минут перед Рэнсомом открылся новый пейзаж.

Впереди, на протяжении полумили, вода бурлила на порогах и низвергалась чередой водопадов. Уровень почвы здесь резко понижался. За этим склоном дно хандрамита снова выравнилось, но уже гораздо ниже того места, где они сейчас находились. Стены каньона, однако, оставались все такими же высокими, благодаря чему Рэнсом сумел теперь лучше рассмотреть окружающую местность. Отсюда были видны широкие пространства плоскогорья по левую и правую руку. Местами на них поднимались облакоподобные розовые образования, но по большей части они были ровными, бледными и голыми до самого горизонта. Горные пики понизу окаймляли высокое плато, сгрудившись вокруг него, как нижние зубы вокруг языка.

Рэнсома поразила резкий контраст между харандрой и хандрамитом. Ущелье протянулось перед ним, как драгоценное ожерелье: игра лилового, сапфирового, желтого, бело-розового — богатый многоцветный орнамент, составленный из покрытой лесом суши и играющей, бегучей, вездесущей воды. Малаканд-

ра гораздо меньше напоминала Землю, чем ему поначалу казалось. Хандрамит не был обычной долиной, дно которой поднимается и опадает вместе с горным хребтом: он вообще не имел отношения к горам. Скорее это была огромная трещина или расселина переменной глубины, рассекающая плоскую возвышенность харандры. Именно харандра, как теперь представлялось Рэнсому, была настоящей «поверхностью» планеты; во всяком случае, так ее обозначил бы любой земной астроном. Что же до хандрамита, он казался бесконечным; насколько хватало глаз, он убегал вдаль по прямой, как разноцветная лента, сужаясь в перспективе, пока наконец не вырезал в линии горизонта аккуратную букву «V». Хандрамит был виден на добрую сотню миль; кроме того, подумал Рэнсом, со вчерашнего дня он оставил позади еще миль тридцать — сорок.

Тем временем они спускались мимо порогов и водопадов туда, где можно было снова опустить лодку на воду. Рэнсом продолжал изучать малакандрийский язык. Он узнал, как переводятся слова «лодка», «порог», «вода», «солнце» и «нести», последнее особенно его заинтересовало, поскольку для него это был первый местный глагол. Кроме того, хросс долго втолковывал ему некое соотношение, содержащееся в контрастных парах слов «хросса — хандрамит» и «серони — харандра». Рэнсом решил, что, по-видимому, хросса живут внизу, в хандрамите, а серони — наверху, на харандре. Но кто такие «серони»? Сомнительно, чтобы голые просторы харандры могли поддерживать жизнь. Возможно, подумал Рэнсом, у хросса есть мифология (он не сомневался, что они находятся на первобытном уровне развития), и «серони» — это божества или демоны.

Они снова сели в лодку и поплыли дальше. Приступы тошноты, хотя и не такие мучительные, как первый, по-прежнему часто одолевали Рэнсома. Лишь через несколько часов он догадался, что слово «серони» вполне может быть множественным числом от «сорн».

Справа от них солнце клонилось к закату. Оно опускалось быстрее, чем на Земле (по крайней мере, в земных широтах, знакомых Рэнсому), и закат в безоблачном небе не мог соперни-

чать красками с земным. Было и еще какое-то труднодостижимое отличие; но не успел Рэнсом разобраться, в чем тут дело, как иглы черных пиков черными силуэтами перерезали солнечный диск и в хацрамите стемнело. По левую руку, на востоке, бледно-розовая харандра еще была освещена. Она уходила к горизонту — далекая, гладкая, безмятежная, как некий возвышенный мир духа.

Они вновь пристали к берегу и на этот раз направились в чащу лилового леса. Голова у Рэнсома все еще кружилась после долгого плавания, и земля, казалось, покачивалась под ногами. Он очень устал и шел сквозь сумерки в каком-то смутном полусне. Вдруг между деревьями пробился свет, и они вышли к костру. Пламя отбрасывало блики на огромные листья над головой, а между ними виднелись звезды. Рэнсому показалось, что его окружили десятки хроссов. Теперь, когда их было много и они обступили его со всех сторон, они куда больше напоминали животных, чем его одинокий проводник. Он испугался было, но сильнее страха оказалось чувство, что здесь он абсолютно чужой. Ему нужны были люди — любые люди, пусть даже Уэстон и Дивайн. Рэнсом слишком устал, чтобы как-то реагировать на эти круглые головы и покрытые шерстью морды — все вокруг казалось бессмысленным кошмаром. Но вдруг между ног взрослых зверей к нему пробрались юркие детеныши, щенки, молодняк — как бы их ни называть. И стало легче: малыши были очаровательны. Он опустил руку на черную головку и заулыбался. Напуганный детеныш кинулся прочь.

Рэнсом почти ничего не запомнил об этом вечере. Он что-то ел и пил, вокруг него все время перемещались черные фигуры, пламя костра отражалось в странных глазах. Наконец он оказался в каком-то темном закрытом помещении и уснул.

XI

С тех самых пор, как Рэнсом очнулся на космическом корабле, он не уставал думать о своем невероятном межпланетном путешествии и о том, есть ли у него шансы вернуться. Но

мысль о пребывании на чужой планете просто не приходила ему в голову. И теперь каждое утро он бывал изумлен, когда обнаруживал, что он не летит на Малакандру и не бежит с нее, а просто живет на ней: спит, ест, гуляет, купается и даже разговаривает (ему понадобилось немного времени, чтобы изучить язык). Особенно остро он это почувствовал, когда недели через три после прибытия взял и отправился на прогулку. Еще через пару недель у него уже были любимые уголки, а также любимые блюда. Начали появляться и новые привычки. С первого взгляда он уже мог отличить хросса-самца от самки, да и морды — или, скорее, лица — хроссов перестали казаться одинаковыми. Хьои, который когда-то обнаружил его далеко к северу отсюда, был совсем не похож на седолицего почтенного Хнохру, ежедневно дававшего Рэнсому уроки языка. Особенно привлекала его детвора. Общаясь с детьми, Рэнсом забывал о мучительной для него загадке природы, поместившей разум в нечеловеческое тело: они были слишком малы, с ними можно было не думать о том, что хроссы — разумные существа. С детьми ему было не так одиноко, словно он привез с собой с Земли несколько верных друзей-собак. Со своей стороны, молодняк испытывал живейший интерес к безволосому чудищу, так неожиданно появившемуся среди них. Таким образом, у детей, а значит, и у их матушек, Рэнсом пользовался большим успехом.

Первоначальные впечатления землянина об особенностях общины хроссов постепенно изменялись. Сперва он решил, что их культура находится на стадии палеолита. Орудий у них было немного — в основном, каменные ножи. Судя по неуклюжим сосудам для варки пищи, гончарное искусство только зарождалось. Ни жареной, ни печеной пищи они не знали. В качестве чашек, тарелок и черпаков использовались раковины, из какой Рэнсом впервые испробовал местный напиток, а моллюски, живущие в этих раковинах, были единственной животной пищей. Зато растительные блюда оказались многочисленными и разнообразными, а некоторые из них — просто настоящими деликатесами. Даже бело-розовая трава, покрывавшая весь хандрамит, была съедобна, так что если бы Рэнсом не встретил Хьои

и умер от голода, это была бы голодная смерть за богатым столом. Однако хроссы эту траву («хондраскруд») не любили и питались ею только во время длительных путешествий, когда не было выбора. Жили они в шалашах из жестких листьев, по форме напоминающих улы. В округе было несколько деревень. Все они стояли на берегах рек, чтобы использовать тепло, идущее от воды, и располагались недалеко от стен хандрамита, где температура воды была выше. Хроссы спали на земле. Единственным видом искусства у них оказалась поэзия, соединенная с песней. Исполняла ее группа из четырех хроссов, и представления случались почти каждый вечер. Солист декламировал мелодичным речитативом, а остальные трое время от времени перебивали его песней то по одному, то перекликаясь между собой. Рэнсому так и не удалось выяснить, были ли эти песни просто лирическими вставками или драматическим диалогом, вырастающим из повествования солиста. Музыки же он просто не понимал. Голоса у хроссов были приятные, и гармония не резала человеческое ухо, но ритм совершенно не согласовался с земными представлениями. Не мог он поначалу разобраться и в том, чем вообще занимается племя (или семья). То одни, то другие хроссы то и дело исчезали на несколько дней, а потом снова появлялись. Время от времени кто-нибудь отправлялся собирать моллюсков. Часто кто-нибудь уплывал на лодке — но куда и зачем, Рэнсом не знал. Однажды он увидел, как целый караван хроссов направился куда-то по суше, причем каждый нес на голове груз растительной пищи. Очевидно, на Малакандре существовала торговля.

Уже в первую неделю Рэнсом познакомился с сельскохозяйственными угодьями хроссов. Примерно в миле вниз по хандрамиту от поселка лежали широкие безлесные пространства, покрытые низкой мясистой растительностью, главным образом желтого, оранжевого и синего цвета. За ними поднимались салатоподобные растения высотой с земную березу. Там, где они нависали над теплой водой, на нижних листьях можно было лежать, как в гамаке, слегка покачиваясь и вдыхая их нежный запах. Вообще, долго оставаться в неподвижности в хан-

драмите можно было только возле воды: в других местах было слишком холодно, как на Земле ясным зимним утром. В обработке «полей» участвовали жители всех близлежащих деревень, причем существовало довольно отчетливое разделение труда. Хроссы не только срезали созревшие растения, но и сушили урожай, переносили в хранилища и даже чем-то удобряли свои угодья. Более того, Рэнсом заподозрил, что если не все, то некоторые водяные протоки имеют искусственное происхождение.

Но настоящий переворот в его взглядах на хроссов произошел, когда он достаточно изучил язык, чтобы объяснить им все про себя. В ответ на их вопросы он заявил, что спустился с неба. Хнохра тут же переспросил, с какой он планеты (или «земли» — хандры). Рэнсом специально давал «детское» объяснение, считая, что имеет дело с примитивным и невежественным народом, и был немало смущен. Хнохра подробно разъяснил ему, что жить на небе нельзя, потому что там нет воздуха. Вероятно, он пролетел сквозь небо, прибавил хросс, но ведь вылетел он с какой-то хандры? Оказалось, что Рэнсом не может указать Землю на звездном небе. Удивленные хроссы сами обратили его внимание на яркую планету, стоявшую невысоко на западе — немного левее, чем село солнце. Рэнсома изумило, что они уверенно выбрали именно планету, а не звезду. Неужели они что-то понимают в астрономии? К несчастью, он еще слишком плохо знал язык, чтобы выяснять такие подробности, но поинтересовался, как называется эта планета.

— Тулкандра, — ответили хроссы, — Безмолвный мир, Безмолвная планета.

— Почему «Тулк»? — удивился Рэнсом. — Почему «Безмолвная»? — Но этого никто не знал.

— Это знают серони, — сообщил Хнохра. — Такие вещи знают именно они.

Рэнсома спросили, как он добрался до Малакандры. Он попытался описать космический корабль, не сумел и снова услышал:

— Такие вещи знают серони.

Были ли у него спутники? Да, с ним прилетели еще двое таких, как он, но они оказались дурными людьми (на языке хроссов это звучало как «порченные люди»). Они хотели его убить, но он убежал. Из объяснений Рэнсома хроссы поняли далеко не все и, обсудив, решили, что ему следует отправиться к Уарсе. Уарса его защитит. Рэнсом спросил, кто такой Уарса, но понял только, что, во-первых, живет Уарса в Мельдилорне, во-вторых, знает все и правит всеми, в-третьих, всегда там пребывал и, в-четвертых, не является ни хроссом, ни одним из серони. Оставаясь в плену своих представлений, Рэнсом спросил, не Уарса ли сотворил мир. Хроссы ужасно запротестовали, зашумели. Неужели на Тулкандре не известно, что мир сотворил Малельдил Юный и он же правит миром? Это знает любой малыш! А где живет Малельдил, поинтересовался Рэнсом.

— Вместе с Древним.

— Кто же такой Древний? — Ответа Рэнсом не понял. Он попытался спросить по-другому: — Где живет Древний?

— Древний — не такой, — ответил Хнохра, — ему нет нужды жить где-нибудь.

Из дальнейших разъяснений Рэнсом понял мало, но все же достаточно, чтобы почувствовать раздражение. Он был намерен обращать этих примитивных, но разумных существ в лоно истинной веры, а вышло так, что это он — дикарь и ему дают необходимые начальные представления о цивилизованной религии. Череду вопросов и ответов напоминала краткий катехизис. Он уяснил, что Малельдил — неделимый дух, лишенный тела и страстей.

— Он — не хнау, — объяснили хроссы.

— Что такое хнау? — спросил Рэнсом.

— Ты — хнау. Я — хнау. Серони — хнау. Пфифльтригги — хнау.

— Пфифльтригги? — удивился землянин.

— В десяти и больше дней пути к западу, — ответил Хнохра, — харандра переходит не в хандрамит, а в широкое пространство, открытое со всех сторон. С севера на юг в нем пять дней

пути, с востока на запад — десять. Там леса не такие, как здесь, другого цвета — синие и зеленые. Это очень глубокая впадина, до самых корней земли. Там много твердого вещества, и там живут пфифльтригги. Они любят копать землю, а то, что добудут, размягчают на огне и делают из него разные вещи. Пфифльтригги — маленький народец, меньше тебя. Цветом они бледнее, с длинной мордой, и все время хлопочут. У них длинные руки. Они делают вещи лучше, чем все остальные хнау, так же как мы лучше всех поем. Пусть человек убедится сам.

Он сказал непонятные слова молодому хроссу, и тот принес небольшую чашу. Рэнсом осмотрел ее при свете костра. Чаша была золотая. Вот почему Дивайна так интересовала Малакандра.

— Здесь много этого вещества? — спросил Рэнсом.

Да, ответили ему, его можно намыть чуть ли не в каждой реке. Но больше всего его у пфифльтриггов; там оно самое лучшее, и пфифльтригги — большие мастера его обработки. Они зовут его «Арбол хру» — «кровь Солнца».

Рэнсом стал разглядывать чашу. Ее покрывала искусная гравировка. Он увидел изображения хроссов, а также животных поменьше, похожих на лягушек, и, наконец, сорнов. Указав на последних, он получил ответ, подтвердивший его подозрения:

— Это — серони. Они живут почти на самой харандре, в больших пещерах.

Животные, похожие на лягушек — точнее, с лягушечьим телом и головой тапира, — оказались пфифльтриггами. Здесь было чему удивиться. Судя по всему, на Малакандре разумом обладали три различные расы, и ни одна из них до сих пор не истребила другие. Для Рэнсома было очень важно, какая раса занимает господствующее положение.

— Которые хнау правят? — спросил он.

— Правит Уарса, — ответили ему.

— Он — хнау?

Хроссы пришли в замешательство. По их мнению, такой вопрос лучше было бы задать серони. Возможно, Уарса — хнау, но он не похож на других хнау: он не умирает, у него нет детей.

— Так значит, серони знают больше, чем хроссы?

Хроссы заспорили между собой. Никто не мог дать ясного ответа. С одной стороны, серони (то есть сорны) совершенно беспомощны в управлении лодкой, не сумеют добыть моллюсков, даже если будут погибать от голода; почти не способны плавать; лишены поэтического дара, и даже когда хроссы сочиняют для них стихи, сорны понимают только простейшие из них. С другой стороны, серони лучше всех изучили звезды, толкуют самые непонятные высказывания Уарсы и от них можно услышать о том, что происходило на Малакандре в давние времена, про которые все уже забыли.

«Ага, значит, серони — интеллигенция, — заключил Рэнсом. — Должно быть, они и есть настоящие правители, хотя и скрывают это».

Он попытался узнать, что будет, если сорны воспользуются своей мудростью и заставят хроссов работать на себя. Яснее выразить свою мысль по-малакандрийски Рэнсом не смог (на Земле это бы звучало: «используют свои научные достижения для эксплуатации соседей, стоящих на более низкой ступени развития»). Впрочем, он зря старался: как только было упомянуто, что сорны плохо воспринимают поэзию, хроссы немедленно перешли на литературную тему. И из последовавшего горячего обсуждения — по-видимому, вопросов поэтического мастерства — Рэнсом не понял ни слова.

Естественно, не все его беседы с хроссами были о Малакандре. Приходилось расплачиваться сведениями о Земле, что было не так-то просто. Во-первых, к своему стыду, он обнаружил, что о родной планете знает слишком мало, а во-вторых, часть правды он предпочел скрыть. Ему вовсе не хотелось слишком распространяться о войнах или уродстве современного промышленного века. Рэнсом помнил, чем кончились лунные приключения уэллсовского Кейвора. Когда хроссы настойчиво спрашивали его о людях (они называли их «челховеки»), какое-то чувство стыда охватывало его, словно он должен был прилюдно раздеться. В придачу он не собирался рассказывать, что его при-

везли на Малакандру, чтобы отдать сорнам, поскольку с каждым днем все больше убеждался, что сорны — правящая раса. Но даже того малого, что он рассказал, оказалось достаточно, чтобы воспламенить воображение хроссов. Все поголовно начали слагать поэмы о странной «хандре», где растения тверды, как камень, а трава зелена, как горы, где вода холодная и соленая, а «челховеки» живут прямо на «харандре».

А еще больше их заинтересовал рассказ о водяном хищнике с огромными зубами, от которого Рэнсом бежал уже в их мире и даже в их хандрамите. Все хроссы сошлись на том, что это «хнакра», и необычайно разволновались. Рэнсом узнал, что уже много лет в долине не появлялась ни одна хнакра. Молодые хроссы теперь всегда держали наготове оружие — примитивные гарпуны с костяными наконечниками. Обеспокоенные матери старались держать детей подальше от воды. А детишки постарше стали играть на мелководье в охоту на хнакру. В общем, сообщение о хнакре оживило жизнь.

Хьои отправился подправить лодку, и Рэнсом увязался за ним. Ему хотелось быть полезным, и с примитивными инструментами хроссов он уже немного научился управляться. Вдвоем они направились к протоке, где стояла лодка, недалеко от поселения.

Рэнсом шел за Хьои по узкой тропе, когда им встретилась юная самка-хросс, еще совсем подросток. Она что-то говорила, но не им: ее глаза были устремлены в какую-то точку ярдах в пяти в сторону.

— С кем ты разговариваешь, Хрикки? — удивился Рэнсом.

— С эльдилом.

— Где он?

— Разве ты не видишь?

— Нет, ничего не вижу!

— Да вот же он! — воскликнула она. — Ну вот, исчез. Неужели ты не видел?

— Нет...

— Эй, Хьои! — поразилась девочка. — Челховек не видит эльдила!

Но до Хьои ее слова уже не долетели — он шел дальше и ничего не заметил.

Рэнсом решил, что Хрикки разговаривала «понарошку» — совсем как дети на Земле. Через минуту он снова был рядом с Хьои.

XII

Они трудились над лодкой до полудня, а потом растянулись на граве рядом с теплым потоком и принялись за обед. Подготовка к боевым действиям против хнакры позволяла Рэнсому заговорить на интересующую его тему. Он не знал местного слова со значением «война», поэтому спросил, как сумел:

— Бывает ли у вас, чтобы серони, или храсса, или пфиффильтригги вот так, с оружием в руках, шли друг против друга?

— А зачем? — удивился храсс.

Объяснить оказалось не так-то просто.

— Например, — наконец сказал Рэнсом, — у одного народа что-то есть, а другой народ хочет забрать это себе, но первый народ не соглашается отдать... Могут тогда другие применить силу? Могут сказать: «Отдайте, или мы вас перебьем?»

— Что же они могут потребовать?

— Ну, например, еду.

— Если другим хнау нужна еда, почему же не дать? Мы часто так и делаем.

— А если вам самим не хватает?

— Волею Малельдила еда произрастает постоянно.

— Но послушай, Хьои, если у вас будет все больше и больше детей, можно ли надеяться, что Малельдил расширит хандрамит и вырастит достаточно пищи для всех?

— О таких вещах знают серони. Но зачем нам больше детей?

Рэнсом не знал, что и сказать. Но все же решился.

— Разве для храссов зачинать детей — не наслаждение?

— Одно из самых великих, челховек. Мы зовем его любовью.

— У нас бывает так: испытав наслаждение, человек хочет, чтобы оно повторилось. И может родиться столько детей, что пищи на всех не хватит.

Хьюи не сразу понял, о чем толкует Рэнсом.

— Ты хочешь сказать,— протянул он,— что человек может это делать не год-два в жизни, а снова и снова?

— Вот именно!

— Но зачем? Не понимаю... Разве можно хотеть есть, когда пообедал, или спать, когда выспался?

— Но ведь обедаем мы каждый день! А любовь, по твоим словам, приходит к хросса лишь один раз в жизни.

— Зато наполняет всю жизнь. В юности он ищет себе пару, потом ухаживает за избранницей, родит детей, воспитывает их, а потом вспоминает обо всем этом, переживает заново и обращает в поэзию и мудрость.

— Так неужели ему довольно всего лишь вспоминать о наслаждении?

— Это все равно что сказать: «Неужели мне довольно всего лишь есть мою еду?»

— Не понимаю...

— Наслаждение становится наслаждением, только когда о нем вспоминаешь. Ты говоришь так, будто наслаждение — это одно, а память о нем — совсем другое. Но ведь они неразделимы. Серони могли бы объяснить это лучше, чем я объясняю. Но в песне я сказал бы лучше, чем они. То, что ты зовешь воспоминанием, довершает наслаждение, как «края» завершает и довершает песнь. Когда мы с тобой встретились, момент встречи был и прошел. Сам по себе он ничто. Теперь мы вспоминаем его, и он понемногу растет. Но мы все еще знаем о нем очень мало. Истинная встреча с тобой — это как я ее буду вспоминать, когда придет время умирать. А та, что была,— только ее начало. Ты говорил, на твоей хандре есть поэты. Разве они не учат вас этому?

— Некоторые, возможно, учат...— задумчиво проговорил Рэнсом.— Но даже если говорить о песнях... неужели хроссу

никогда не хочется снова услышать какую-нибудь великолепную строку?

К несчастью, ответ Хьюи опирался на тонкий семантический нюанс, в котором Рэнсом так и не разобрался. В языке хроссов было два глагола, оба для него означали «стремиться», «страстно желать». Хроссы, однако, их отчетливо различали и даже противопоставляли. Поэтому, с точки зрения землянина, Хьюи попросту сказал, что любой бы к этому стремился («уонделоне»), но никто в здравом уме не стал бы к этому стремиться («хлантелине»).

— Поистине, — продолжал хросс, — ты вовремя заговорил о песнях. Это хороший пример. Ибо самая великолепная строка обретает полное значение лишь благодаря всем строкам, следующим за ней. Если же вернуться к ней снова, обнаружится, что она вовсе не так хороша, как казалось. Возвращением можно ее уничтожить. Так бывает в хорошей песне.

— А в порченной песне, Хьюи?

— Порченные песни слушать ни к чему, челховск!

— А что ты скажешь о любви в порченной жизни?

— Может ли быть порченной жизнь хнау?

— Не хочешь же ты сказать, что порченных хроссов нет вообще!

Хьюи задумался.

— Мне приходилось слышать о чем-то подобном, — сказал он наконец. — Говорят, иногда детеныш определенного возраста начинает вести себя как-то не так. Был один такой, он, по слухам, испытывал желание есть землю. Может статься, где-нибудь существовал и хросс, который хотел, чтобы голы любви у него продлились. Я о нем не слыхал, но все может быть. Зато я слышал песнь о еще более странном хроссе, который жил давным-давно и не в нашем хандрамите. Он видел все в двойном размере: два солнца в небе, две головы на шее. И в конце концов, говорят, он впал в такое помрачение, что возжелал иметь двух подруг. Ты можешь мне не верить, но в песне говорится, что он любил двух хрессни.

Настал черед Рэнсома задуматься. Если Хьои говорит правду, он столкнулся с естественно добродетельной, от природы моногамной расой. Хотя что в этом такого уж странного? Известно, что у многих животных сексуальные инстинкты проявляются лишь в сезон свадеб. Кроме того, если уж природа сотворила такое чудо, как половой инстинкт, почему она не могла пойти еще дальше и предписать влечение лишь к одной особи противоположного пола? Ему даже смутно припомнилось, что кое-какие «низшие» земные организмы естественно моногамны. Так или иначе Рэнсому стало ясно, что среди хроссов неограниченная рождаемость и супружеская неверность невозможны. И тут его осенило: не в хроссах, а в людях таится главная загадка. Конечно, инстинкты хроссов удивительны. Но куда удивительнее, что именно они — недостижимый пока моральный идеал далекой земной расы! Ведь собственный половой инстинкт человека находится в таком плачевном разладе с идеалом, что вся история человечества не есть ли постоянная борьба между тем и другим?

Хьои снова прервал молчание:

— Несомненно, нас сделал такими Малельдил. Где бы мы брали еду, если бы у каждого было двадцать детей? И подумай, ведь жизнь стала бы невыносимой, каждый миг наполнился бы страданием, если б мы все время призывали вернуться какой-нибудь день или год. Но мы знаем, что каждый день жизни полон предвкушением и памятью — из них-то и состоит каждый миг.

В глубине души Рэнсом был уязвлен тем, что его собственный мир явно проигрывает на этом фоне. Он буркнул:

— И все-таки Малельдил подsunул вам хнакру!

— Ну, это же совсем другое дело! Я жажду убить хнакру, как и она жаждет убить меня. Я мечтаю быть первым на первой лодке, первым ударить копьём, когда лязгнут черные челюсти. Если она убьет меня, мой народ меня оплачет и на мое место встанут мои братья. Но никто не хочет, чтобы все хнераки исчезли. Не хочу этого и я. Как тебе объяснить? Ведь ты не пони-

маешь наших песен! Хнакра — наш враг, но и наша возлюбленная. Когда она смотрит вниз с водяной горы на севере, где она родилась, в наших сердцах живет ее радость. Она летит в потоке водопада — и мы летим с ней. А когда приходит зима и озера скрывает от наших глаз густой пар, — мы смотрим ее глазами, чувствуем, что ей пришла пора отправиться в путь. Изображения хнакры висят в наших жилищах. Хнакра — знак всех хросса. В ней живет душа долины. Наши дети начинают играть в хнакру, как только научаются плескаться на отмели.

— И тогда она их убивает?

— Очень редко. Хросса были бы порченными, если б позволили ей подобраться так близко. Мы выслеживаем ее задолго до этого. Да, челховек, в мире есть опасности, грозящие смертью, но им не сделать хнау несчастным. Только порченный хнау мрачно смотрит вокруг. И вот что я еще скажу. Не будет лес веселым, вода — теплой, а любовь — сладкой, если исчезнет смерть из озера. Я расскажу тебе про день, который сделал меня тем, что я есть. Такой день бывает раз в жизни, как любовь или служение Уарсе в Мельдилорне. Я был тогда молод, почти детеныш. Но я отправился в далекое-далекое путешествие вверх по хандрамиту в ту страну, где звезды сияют и в полдень и даже вода холодна. Я вскарабкался по уступам к вершине огромного водопада и оказался на берегу заводи Балки, где трепет и благоговение охватывают хнау. Стены скал уходят там к самым небесам. Еще в древности на них были высечены гигантские священные знаки. Там и грохочет водопад, именуемый Водяной Горой. Я был один наедине с Малельдилом, ибо даже слово Уарсы не достигало меня. И с тех пор во все мои дни сердце мое бьется сильнее, а песнь звучит громче. Но скажу тебе: все мои чувства были бы иными, если б я не знал, что в Балки живут хнераки. Там я пил жизнь полной чашей, ибо в заводи таилась смерть. И это был наилучший напиток, не считая лишь одного.

— Какого?

— Напитка самой смерти в тот день, когда я выпью ее и уйду к Малельдилу.

Через несколько минут они снова принялись за работу. Солнце уже опускалось, когда они возвращались через лес к селению. Тут Рэнсом вспомнил о странной сцене по пути к берегу.

— Хьои, — заговорил он, — я вспоминаю: когда мы с тобой встретились, но ты меня еще не заметил, ты все же заговорил. Потому я и понял, что ты — хнау, иначе бы принял тебя за зверя и убежал. Но к кому ты обращался?

— К эльдилу.

— Кто это? Я никого не видел.

— Разве в твоём мире нет эльдилов, челховек? Трудно поверить.

— Но кто они такие?

— Они приходят от Уарсы. Думаю, что они — хнау.

— По пути к берегу мы встретили девочку. Она сказала, что разговаривает с эльдилом, но я никого не заметил.

— Твои глаза, челховек, устроены не так, как наши. Но эльдилов вообще трудно углядеть. Они не похожи на нас: свет проходит сквозь них. Эльдила можно увидеть, если смотреть в нужное место в нужный момент, да и то если он сам этого пожелает. Бывает, что его принимаешь за солнечный луч или даже покачивание листьев, но, присмотревшись, понимаешь, что здесь только что был эльдил — и уже исчез. Не знаю, можно ли увидеть их твоими глазами. Такие вещи известны серони.

XIII

На следующее утро вся деревня была на ногах еще до рассвета. Солнце уже осветило харандру, но лес тонул в ночной тьме. Шли приготовления к завтраку; хроссы сновали взад-вперед при свете костров. Женщины разливали из горшков дымящуюся еду, мужчины под руководством Хнохры перетаскивали в лодки охапки дровишек; самые опытные охотники собрались вокруг Хьои и слушали его объяснения, слишком быстрые и слишком специальные для Рэнсома. Стягивался народ из соседних деревень; детеныши с восторженным визгом носились под ногами у взрослых.

Рэнсом понял, что его участие в охоте разумеется само собой. Ему отвели место в лодке Хьои и Уина. Те решили грести по очереди, а Рэнсома посадить на нос, рядом с отдыхающим напарником. Рэнсом уже хорошо знал хроссов и потому понимал всю почетность предоставленного ему места — ведь и Хьои и Уин больше всего на свете не хотели оказаться на веслах, когда появится хнакра. Не так давно, в Англии, идея принять на себя почетную роль при нападении на неведомое, смертельно опасное водяное чудовище показалась бы Рэнсому совершенно дикой. Еще совсем недавно, когда он спасался от сорнов или лежал ночью в лесу, разрываясь от жалости к самому себе, такой подвиг был бы ему не по силам. Но сейчас его решимость была твердой. Что бы ни случилось, он постарается доказать, что человеческий род ничем не хуже других хнау. Он прекрасно понимал, что истинная цена таких решений узнается только в деле, но в то же время чувствовал странную уверенность, что как-нибудь справится. Ведь это было необходимо, а необходимое всегда осуществимо. Кроме того, воздух ли Малакандры был тому причиной или жизнь среди хроссов, — но за последнее время он заметно переменялся.

Когда первые лучи солнца заскользили по поверхности озера, Хьои уже выводил свою лодку из заводи. Рэнсом сидел на указанном ему месте рядом с Уином, зажав дротик в правой руке и еще несколько между колен, и изо всех сил старался держаться прямо, когда лодка особенно высоко взлетала на волнах. В охоте участвовало не меньше сотни лодок, они разбились на три отряда. Центральный, самый малочисленный, состоял из больших восьмивесельных лодок и должен был подниматься против течения, по которому Рэнсом и Хьои плыли в день знакомства. Хнакра обыкновенно дрейфовала в границах течения, и хроссы рассчитывали, что, наткнувшись на лодки, чудовище метнется в стоячие воды слева или справа от потока. Поэтому, пока центральный отряд медленно прочесывает течение, легкие лодки, гребя гораздо быстрее, будут свободно курсировать с обеих сторон, чтобы встретить жертву, как только она поки-

нет свое, если можно так выразиться, логово. В этой игре хроссы полагались на численный перевес и тонкую стратегию; преимущество врага состояло в быстроте и невидимости: он мог плыть под водой. Кроме того, поразить его можно было только через открытую пасть, так что если оба охотника той лодки, на которую нападала хнакра, промахивались, это означало почти верную гибель всего экипажа.

В отрядах легких стрелков наиболее отважные охотники могли выбрать одну из двух тактик: держаться вблизи длинных лодок, там, где хнакра, скорее всего, пересечет границу течения, или заплыть далеко вперед, чтобы застать чудовище врасплох, когда оно будет двигаться на полной скорости, и прямо там, задев его метким дротиком, выманить в спокойные воды. Так они могли опередить забойщиков и — если повезет — прикончить зверя самостоятельно. Именно об этом мечтали Хьои и Уин, а вслед за ними и Рэнсом, зараженный их желанием. Как только корабли выстроились в боевой порядок и тяжелые лодки, окруженные целой стеной пены, двинулись вверх по течению, Хьои изо всех сил налег на весла, и они помчались к северу, чтобы обогнать флотилию. От скорости захватывало дух. Воздух был холодный, как всегда утром, но от синей глади, по которой они неслись, поднималось приятное тепло. Позади слышался гул, будто бой колоколов, усиленный эхом от дальних островерхих скал, обрамлявших долину; то были голоса двух или трех сотен хроссов, похожие на лай охотничьих собак, но более мелодичные. Чувство, дремавшее годами, пробуждалось в крови Рэнсома.

«Ведь может статься, что я окажусь победителем хнакры, — подумал он, — что в этом мире я — единственный представитель человеческого рода — останусь в памяти будущих поколений как Челховек хнакрапунт».

Но он уже по опыту знал, чем оборачиваются подобные мечты, и поэтому, смирив разыгравшееся воображение, устремил взгляд на бурные воды потока, по краю которого плыла лодка.

Долгое время ничего не происходило. Рэнсом вдруг ощутил напряженность своей позы и заставил себя расслабиться. Вско-

ре Уин нехотя сел на весла, а Хьои занял его место на носу. Почти сразу после того, как они пересели, Хьои вполголоса проговорил, обращаясь к Рэнсому и не отрывая взгляда от течения:

— К нам приближается эльдил.

Рэнсом повернул голову — но то, что он увидел, показалось лишь причудливой игрой лучей на поверхности озера. Хьои снова заговорил, на этот раз не с ним:

— В чем дело, сын небес?

И тут произошло самое невероятное из всего, что Рэнсому довелось до сих пор испытать на Малакандре. Он услышал голос. Голос словно шел из воздуха, примерно в метре над его головой. Он был почти на октаву выше голоса хросса, даже выше человеческого. Будь слух Рэнсома хоть чуть-чуть менее острым, он бы не смог услышать эльдила.

— Человеку нельзя оставаться с вами, Хьои,— произнес голос.— Его нужно послать к Уарсе. За ним гонятся порченые хнау. Если его настигнут, прежде чем он придет к Уарсе, будет беда.

— Он слышит тебя, сын небес,— сказал Хьои.— А для моей жены у тебя нет ничего нового? Ты знаешь, каких вестей она ждет.

— У меня есть вести для Хлери,— ответил эльдил.— Но я не могу передать их через тебя. Я иду к ней сам. С этим все хорошо. Пусть только человек пойдет к Уарсе.

Голос смолк.

— Его уже нет здесь,— сказал через минуту Уин.— Теперь мы пропустим охоту.

— Да,— вздохнул Хьои.— Придется высадить человека на берег и объяснить ему, как добраться до Мельдилорна.

Не то чтобы Рэнсому изменило мужество, но, поняв, что не сможет участвовать в охоте, он почувствовал мгновенное облегчение. В то же время некий внутренний голос, совсем недавно пробудившийся в нем, твердил: не отступайся от начатого; только теперь, только с этими спутниками ты сможешь совершить поступок, о котором с гордостью будешь вспоми-

нать; иначе — еще одно пустое мечтание. И, повинувшись этому голосу, Рэнсом воскликнул:

— Нет, нет! Незачем так спешить. Сначала нужно убить хнакру.

— Когда говорит эльдил... — начал Хьои, как вдруг Уин издал громкий вопль (еще три недели назад Рэнсом сказал бы «лай») и указал на течение. Примерно в фарлонге от лодки двигалась пенная полоса, будто след торпеды, а в следующее мгновение блеснуло металлическим отливом тело чудовища. Уин яростно греб. Хьои метнул и промахнулся. Первый дротик не успел еще коснуться воды, как Хьои бросил следующий. На этот раз снаряд, видимо, залел хнакру. Зверь резко вывернул из течения. Дважды разверзлась и захлопнулась пасть с чудовищным оскалом. Тогда метнул свой дротик и Рэнсом — торопливо, немелой, дрожащей от возбуждения рукой.

— Назад! — прокричал Хьои Уину, когорый и так уже греб назад, наваливаясь на весла всей тяжестью своего могучего тела. Потом все смешалось.

— Берег! — закричал Уин.

Рэнсом почувствовал мощный толчок, швырнувший его вперед, чуть ли не в самую пасть хнакры, и оказался по пояс в воде, прямо перед лязгающими челюстями. Он бросил один за другим еще несколько дротиков в громадный зияющий зев и вдруг с изумлением увидел, что Хьои сидит верхом на спине гада — карабкается на морду — наклоняется вперед и разит сверху. В следующий миг хросс отлетел на несколько метров в сторону и упал, подняв тучи брызг. Но хнакре пришел конец. Она повалилась набок и билась, изрыгая вместе с остатками жизни смрадную черную пену.

Когда Рэнсом пришел в себя, все трое были на берегу, в объятиях друг друга. От их мокрых, дрожащих от напряжения тел валил пар. Ему уже не казалось странным или неприятным прижиматься к груди, покрытой влажной шерстью, чувствовать дыхание, пусть свежее, но все-таки не человеческое. Он стал своим среди них. Он преодолел ту преграду, которой для хроссов, привыкших иметь дело с разными видами разумных существ, на-

верное, вообще не существовало. Все они были хнау, и разве значила что-нибудь разница в форме голов по сравнению с тем, что они вместе выдержали натиск врага. И даже он. Рэнсом, с честью вышел из этого испытания. Он чувствовал себя возмущавшим.

Они находились на небольшом безлесом мысу, куда их выбросило в пылу сражения. Рядом, в воде, под обломками лодки лежал труп чудовища. Остальные охотники остались почти в миле позади, даже их голоса сюда не доносились.

Все трое сели, чтобы перевести дыхание.

— Теперь мы — хнакрапунти,— сказал Хьои.— Об этом я мечтал всю жизнь.

В то же мгновение раздался оглушительно громкий звук, который Рэнсом тотчас узнал, хотя это было последним, что он готов был здесь услышать. Совершенно земной, человеческий, по-европейски цивилизованный звук: выстрел английской винтовки. Хьои забился у его ног, ловя ртом воздух и пытаясь подняться. Белая трава вокруг него окрасилась кровью. Рэнсом опустился на колени, попробовал перевернуть Хьои на спину. Тело хресса было для него слишком тяжелым. Уин бросился помогать.

— Ты слышишь меня, Хьои? — спросил Рэнсом, склонившись к круглой, как у тюленя, голове.— Хьои, это все из-за меня. Это другие челховеки — те двое, порченные, которые привезли меня на Малакандру, они тебя ранили. Я должен был предупредить. Мы все порченные, весь наш род. И на Малакандру мы принесли зло. Мы только полухнау, Хьои...

Он замолчал, не в силах продолжать, не зная слов «стыд», «вина» или хотя бы «прости»; он только вглядывался в искаженное лицо Хьои в бессильном раскаянии. Но хресс, видимо, понял, он силился что-то сказать. Рэнсом даже теперь не мог ничего прочитать в тускнеющих глазах и приник ухом ко рту умирающего.

— Челх... Челх...— задыхался Хьои и наконец проговорил: — Челховек хнакрапунт.

По телу его пробежала судорога, изо рта хлынула кровавая слюна. Запрокинутая голова вдруг невероятно отяжелела, так что Рэнсом не смог удержать ее руками. Лицо Хьои стало таким же чужим и животнo-бесмысленным, каким оно показалоcь Рэнсому при их первой встрече. Остекленевшие глаза, мокрая, постепенно смерзающаяся шерсть — так выглядел бы любой мертвый зверь в каком-нибудь лесу на Земле.

Рэнсому хотелось закричать, осыпать Уэстона и Дивайна проклятиями — но разве поправишь случившееся?! Подняв голову, он встретился взглядом с Уином, который присел по другую сторону Хьои (хроссы не умеют вставать на колени).

— Уин, я в ваших руках, — сказал Рэнсом. — Я не знаю, как вы поступите. Разумнее всего будет убить меня — и, конечно, тех двоих.

— Нельзя убивать хнау, — ответил Уин. — Это может сделать только Уарса. А где те двое?

Рэнсом посмотрел вокруг. Там, где голый мыс переходил в берег, ярдах в двухстах, начинался густой лес.

— Прячутся где-то в лесу, — сказал он. — Ложись сюда, Уин, в эту ложбину. Может быть, они опять бросят смерть из своей штуки.

Он не без труда убедил Уина послушаться. Они легли на траву, почти касаясь ногами воды, и хросс снова спросил:

— Почему они убили Хьои?

— Они не могут знать, что он — хнау. Я говорил — в нашем мире только один вид хнау. Они, наверное, думали, что он — зверь. И убили его просто так, для развлечения, или из страха, или... — тут он замаялся, — потому что были голодны. А кроме того, я должен сказать тебе правду, Уин. Даже когда они понимают, что перед ними хнау, они все равно могут убить его, если это им зачем-то понадобится.

Уин ничего не отвечал.

— Интересно, видели они меня или нет, — продолжал Рэнсом после минутной паузы. — Ведь они пришли сюда, на вашу землю, чтобы найти меня. Может быть, мне нужно пойти к ним,

чтобы они больше не тревожили вас. Только почему же они не выходят из леса, чтобы посмотреть, кого убили?

— Наши уже здесь, — сказал Уин, оглянувшись.

Рэнсом тоже обернулся — остальные лодки уже достигли озера. Через несколько минут к ним подплывет основной отряд охотников.

— Они боятся хроссов, — сказал Рэнсом, — потому и не выходят из леса. Я пойду к ним, Уин.

— Нет, — возразил Уин. — Я думал об этом. Все случилось оттого, что мы не послушались эльдила. Он сказал, что ты должен идти к Уарсе. Ты должен бы уже быть в пути. Ты пойдешь сейчас.

— Но тогда порченые человеки останутся здесь. Они могут натворить еще больше зла.

— Ты же сам сказал, что они боятся хроссов. Нет, человеки нас не тронут — возможно, это мы, наоборот, нападём на них. Но не пугайся, они нас не увидят и не услышат. Мы просто приведем их к Уарсе. А теперь ты должен идти, как велел эльдил.

— Все подумают, что я сбежал, потому что после смерти Хьои мне стыдно смотреть им в глаза.

— Важно не то, что они подумают, а то, что сказал эльдил. Главное — слушаться его. Ты же не ребенок. А теперь я объясню дорогу.

По словам хросса, в пяти днях ходьбы к югу их хандрамит соединяется с другим таким же, по которому еще три дня пути к северо-западу до Мельдилорна и Уарсы. Но лучше идти коротким путем — он лежит через горы, пересекая выступ харандры между двумя каньонами, и приводит к Мельдилорну на второй день. Рэнсом должен войти в лес и идти, пока не упрется в сплошную стену скал на краю хандрамита, а оттуда нужно двигаться между горными отрогами к югу. Там он увидит дорогу, пойдет по ней вверх и, миновав горные вершины, окажется возле башни Эликана. Эликан ему поможет. Перед тем как начать подъем, можно запастись едой — нарезать в лесу травы. Уин понимал, что, как только Рэнсом войдет в лес, ему грозит встреча с другими человеками.

— Если тебя схватят, — сказал он, — они уже не пойдут, как ты говорил, дальше на наши земли. Но лучше, чтоб это случилось не здесь, а когда ты будешь идти к Уарсе. Я думаю, он не позволит порченным помешать тебе, если ты уже будешь на пути.

Рэнсом вовсе не был уверен, что это лучшее решение как для него, так и для хроссов. Но смерть Хьои поразила, просто раздавила его, и возражать он не мог. Теперь он стремился делать лишь то, что от него хотят хроссы, и не доставлять им больше неприятностей, насколько это возможно. А главное — оказаться где-нибудь подальше.

Что чувствует Уин, понять было невозможно. Рэнсому очень хотелось услышать хоть слово прощения, но он решительно остановил новый поток сетований и самообвинений. Ведь, испуская последний вздох, Хьои назвал его победителем хнакры — это ли не великодушное прощение? Запомнив подробности пути, он попрощался с Уином и двинулся по направлению к лесу.

XIV

Расстояние до леса Рэнсом преодолел машинально, каждую секунду ожидая нового ружейного выстрела. Ему пришло в голову, что Уэстон и Дивайн, возможно, хотят взять его живым; кроме того, хросс еще видел его, и хотя бы видимость спокойствия Рэнсом сохранил. Но в лесу он не мог чувствовать себя в безопасности. Длинные стебли без ветвей служили бы прикрытием, только если б враг находился достаточно далеко, а на это рассчитывать не приходилось. Рэнсома охватило сильнейшее желание закричать и слаться на милость неприятеля; наготове было и разумное объяснение — он избавит хроссов от присутствия Уэстона и Дивайна, которым придется уйти из этой местности, чтобы выдать его сорнам.

Но Рэнсом немного разбирался в психологии и знал, что у беглецов нередко возникает такое иррациональное чувство; ему и самому случалось испытывать нечто подобное во сне. Наверное, подумал он, просто нервы не выдерживают. Во всяком

случае, впредь он будет немедленно подчиняться хроссам или эльдилам. На Малакандре все его попытки действовать на свой страх и риск до сих пор заканчивались весьма плачевно. И Рэнсом запретил себе поддаваться каким бы то ни было настроениям, твердо решив сделать все от него зависящее, чтобы добраться до Мельдилорна.

Он был уверен, что решение его правильно, ибо мысль о путешествии вызывала в нем самые мрачные предчувствия. На харандре, которую ему предстояло пересечь, обитали сорны. Таким образом, теперь он добровольно направлялся в ту самую ловушку, которой столь упорно избегал с того момента, как оказался на Малакандре. (Тут подкатил было новый приступ ужаса, но Рэнсом осадил его.) Пусть даже он благополучно минует сорнов и достигнет Мельдилорна, но сам Уарса — кто или что это такое? Уарса, как зловеще обмолвился Уин, не думает, в отличие от хроссов, что нельзя убивать хнау. И потом, Уарса правит сорнами, как и хроссами, и пфифльтриггами. Возможно, он просто верховный сорн.

Рэнсома опять охватила тревога. В душе поднимался, настойчиво заявляя о своих правах, древний страх землян перед чуждым, холодным разумом, сверхчеловеческим по силе, нечеловеческим по жестокости. Но он продолжал идти вперед, к Мельдилорну. Все-таки ему не верилось, что хроссы могут подчиняться злему чудовищу; кроме того, хроссы говорили — или ему это только кажется? — что Уарса не сорн. Но тогда что же он такое — божество? Тот самый идол, в жертву которому сорны хотели принести его, Рэнсома? Нет, хотя многое в объяснениях хроссов оставалось непонятным, они определенно отвергли его предположение, что Уарса — бог. Как следовало из их слов, бог только один — Малельдил Юный. Да и немислимо, чтобы Хьои и Хнохра поклонялись обогренному кровью идолу. Или сорны, уступая хроссам во всем, что ценится среди людей, установили свое господство, пользуясь интеллектуальным превосходством? Довольно странное устройство мира, но ничего невозможного в этом нет: на нижней ступени — героизм и поэзия,

выше — холодный научный интеллект, в свою очередь безвольный и бессильный перед диктатом какого-то мифического существа — мечь восставших эмоциональных глубин за пренебрежение ими. Этаким истукан... Но Рэнсом опять осадил себя. Он уже слишком много знал, чтобы так рассуждать. Если бы раньше Рэнсому рассказали про эльдила, он, как и любой человек на его месте, счел бы это суеверием, но теперь он сам слышал голос. Нет, Уарса — реальная личность (если только к нему применимо это понятие).

Рэнсом был в пути уже около часа; время приближалось к полудню. Он не сомневался, что держится правильного направления: нужно было просто идти все время вверх, и тогда рано или поздно лес кончится и покажутся горы. Чувствовал он себя превосходно, хотя голова была как после холодного душа. Лес заливал неподвижный, слабый бледно-лиловый свет, как и в его первый день на Малакандре; и тем не менее все стало другим. Теперь он вспоминал то время как страшный сон, свое тогдашнее состояние как род недуга: все превратилось в безотчетный, воющий, сам себя пугающий и пожирающий ужас. Теперь, в ясном свете осознанного долга, он хотя и чувствовал страх, но вместе с ним — спокойное доверие к себе и окружающему миру и даже некоторое удовольствие. Разница была такая же, как между неопытным моряком на тонущем корабле и всадником, у которого понесла лошадь: обоим грозит гибель, но всадник знает, как нужно действовать.

Около часа пополудни он неожиданно вышел из леса и оказался на залитой солнцем поляне всего в каких-нибудь двадцати ярдах от подножия гор — так близко, что ему не видны были вершины. Прямо перед ним горные отроги, как вставным углом, разделялись долиной и глубоко врезались в сплошную стену почти отвесных скал, образуя изогнутую каменную поверхность, взобраться на которую было невозможно: внизу она была поката, как крыша дома, выше — почти вертикальная, а на самом верху даже выдавалась вперед, как гребень готовой обрушиться гигантской волны. Последнее, впрочем, могло быть и обма-

ном зрения. Что же такое дорога в понимании хроссов? — подумал Рэнсом.

Он двинулся к югу по узкой неровной полоске земли между лесом и горой. Приходилось то и дело преодолевать высокие скалистые уступы, что при всей легкости этого мира было чрезвычайно утомительно. Примерно через полчаса тропинку пересек ручей. Рэнсом зашел в лес, нарезал вдоволь травы и сел завтракать на берегу ручья. Поев, он наполнил карманы оставшейся травой и отправился дальше.

Дорога все не показывалась, и Рэнсом встревожился. Если подъем на гору вообще возможен, то только засветло, а день уже близится к середине. Но опасения оказались напрасными. Когда он наконец вышел к дороге, не заметить ее было нельзя. Слева лес прорезала просека, видимо идущая к деревне хроссов, а справа начиналась дорога, которая шла то накатами, то впадинами, наискось поднимаясь по склону такой же долины, какую он видел раньше. У Рэнсома даже дыхание перехватило при виде этой безумно кругой, безобразно узкой лестницы без ступеней, которая вела на головокружительную высоту и там превращалась в тонкую нить, едва различимую на бледно-зеленой скале. Впрочем, разглядывать было некогда: Рэнсом был не мастер оценивать расстояния, но не сомневался, что высота, которую ему предстоит одолеть, гораздо выше альпийской и в лучшем случае он окажется наверху к заходу солнца. Не медля ни минуты, он начал подъем.

На Земле подобное путешествие было бы невысказано; человек сходного с Рэнсомом сложения и возраста через четверть часа упал бы без сил. Сначала Рэнсом наслаждался легкостью продвижения, но постепенно, несмотря на малакандрийские условия, крутизна и нескончаемость пути начали сказываться: спина у Рэнсома согнулась, грудь начала болеть, ноги — дрожать. Но это было еще не самое худшее. Рэнсом почувствовал звон в ушах и заметил, что совсем не вспотел, хотя и очень устал. С каждым шагом усиливался холод, он отнимал силы быстрее, чем самая невыносимая жара. Уже потрескались губы, изо рта с каждым выдохом вырывались клубы пара, пальцы заоченели.

Рэнсом понял, что впереди его ждет безжизненная арктическая страна. Он уже миновал английскую зиму и вступил в лапландскую. Рэнсом испугался; он решил, что должен немедленно передохнуть: если он пройдет еще сотню шагов и сядет, то подняться уже не сможет. Он присел на корточки и несколько минут похлопывал себя по бокам. Пейзаж был жуткий. Хандрамит — мир, к которому он за несколько недель успел привыкнуть, — стал узкой лиловой прорезью в бескрайней пустынной равнине харандры, которая теперь ясно выделялась в просветах между горными пиками и выпше над ними. Рэнсом поднялся, несколько не отдохнув: он понял, что погибнет, если не будет все время идти вперед.

Окружающий мир становился все более странным и чуждым. Среди хроссов Рэнсом почти забыл, что находится на чужой планете; сейчас это чувство опять вернулось к нему с новой опустошающей силой. То, что он видел вокруг, уже не походило на мир, понятный или чуждый, — вообще на «мир»; это была планета, звезда, островок пустыни во вселенной, в миллионах миль от мира людей. Он уже не мог вспомнить тех чувств, которые испытывал к Хьои или Уину, эльдилам или Уарсе. С чего он взял, что имеет какие-то обязательства перед этими смешными уродами (если только они все — не галлюцинация), которые повстречались ему в пустынных даялах космоса? Он — человек и не имеет с ними ничего общего. Почему Уэстон и Дивайн бросили его?

И тем не менее первоначальное решение, принятое, когда он еще не утратил способности рассуждать, все время гнало его вверх. Порой он забывал, куда и зачем идет. Его движения подчинялись теперь механическому ритму: от усталости он замедлял шаг, замерзал и снова шел быстрее. Он заметил, что над хандрамитом, который превратился в незначительную часть пейзажа, висит дымка. Ни разу за все время, пока он жил там, Рэнсом не видел тумана. Может быть, так выглядит сверху воздух в хандрамите. Здесь, в горах, он совсем другой. То, что происходило с его легкими и сердцем, нельзя было объяснить одним лишь действием холода и усталостью. Хотя не было снега, все

заливал ярчайший свет и становился все сильнее, резче и белее, а такого густо-синего неба он на Малакандре не видел ни разу. И на этом темно-синем, почти черном небе с уже проступившими звездами вырисовывались зазубренные скалистые хребты — именно таким Рэнсом представлял себе лунный пейзаж.

Внезапно Рэнсом все понял. Он приближается к границе, за которой воздуха нет. Видимо, на Малакандре атмосфера сосредоточилась главным образом над впадинами хандрамита, а собственно поверхность планеты покрыта лишь тонким слоем воздуха или вовсе лишена его. Ослепительный свет и чернота над головой указывали на близость «небес», откуда Рэнсом упал на Малакандру и от которых его отделял лишь тончайший воздушный покров. Если до вершины остается больше ста футов, значит, на ней человек не может дышать. Что, если у хроссов иначе устроены легкие и, указав эту дорогу, они обрекли его на верную гибель? Но едва Рэнсом подумал об этом, как заметил, что зазубренные пики, сверкающие вдали на фоне черно-синего неба, находятся уже вровень с ним. Подъем закончился. Дальше дорога шла по дну неглубокой ложины, ограниченной по правую руку остриями высоких гор, а слева — покатым каменистым склоном, поднимающимся уже к самой харандре. И здесь Рэнсом, пусть с трудом, но все еще мог дышать, несмотря на головокружение и боль в легких. Садилось солнце. Наверное, хроссы все это предвидели: ночь на харандре означала для них смерть, так же как и для него. Шатаясь, он продолжал идти вперед, ища взглядом башню Эликана, кем бы этот Эликан ни оказался.

Безусловно, Рэнсом утратил правильное представление о времени. Вряд ли он долго блуждал среди удлиняющихся теней, когда увидел впереди огонек. Только тут он понял, как сгустилась вокруг темнота. Он бросился было бежать, но тело его не слушалось. Спотыкаясь от нетерпения и слабости, он рвался к свету; решил, что уже рядом, но нет — огонь гораздо дальше, чем ему показалось; совсем отчаялся — и снова заковылял; и наконец оказался перед входом в пещеру. Изнутри лился не-

ровный свет. Рэнсома обдало волной благословенного тепла. Свет шел от костра. Нетвердо ступая, он вошел в пещеру, обогнул костер, сделал еще несколько шагов вглубь и остановился, моргая от яркого света. Когда глаза к нему привыкли, Рэнсом увидел вокруг стены высокого зала из зеленого камня. В зале находились двое. Один, громадный и угловатый, пляшущий на стенах и своде, оказался тенью сорна, другой сидел скрючившись у его ног. Это был сам сорн.

XV

— Подойди ко мне, Коротыш, — прогудел сорн, — я хочу посмотреть на тебя.

Итак, Рэнсом видел перед собой того, чей жуткий образ преследовал его с тех пор, как он ступил на землю Малакандры, и, как ни странно, не испытал при этом ни малейшего страха. Он совершенно не представлял, что его ждет здесь, но был полон решимости не отступать; а тепло и воздух, которым почему-то стало легче дышать, сами по себе были блаженством. Он продвинулся дальше, в глубь пещеры, встал спиной к огню и ответил сорну. Собственный голос показался ему пронзительным дискантом.

— Хроссы послали меня к Уарсе, — сказал Рэнсом.

Сорн внимательно рассматривал его.

— Ты не из нашего мира, — заявил он вдруг.

— Да, — согласился Рэнсом, садясь на пол. У него не было сил объяснять.

— Ты, наверное, с Тулкандры, — сказал сорн.

— Почему? — спросил Рэнсом.

— Потому что ты маленький и плотный — именно так должны быть устроены существа в более тяжелом мире. Но ты не с Глундандры: там такая сила тяжести, что даже тебе ее не выдержать. Если там и есть животные, они должны быть плоскими, как тарелки. Вряд ли ты с Переландры, ведь там очень жарко и существа оттуда не смогли бы здесь жить. Из чего я и заключаю, что ты с Тулкандры.

— Я явился из мира, который называется Земля,— сказал Рэнсом.— Там гораздо теплее, чем здесь. Я чуть не умер от холода и недостатка воздуха, пока шел к твоей пещере.

Сорн сделал резкое движение своей длинной передней конечностью. Рэнсом напрягся, еле удержавшись, чтобы не отскочить,— он подумал, что страшилище собирается схватить его. Однако у сорна и в помине не было злых намерений. Он потянулся назад и снял с полки предмет, напоминающий чашку. Рэнсом заметил, что к нему прикреплена длинная гибкая трубка.

— Вдохни,— сказал сорн, вкладывая предмет в руки Рэнсома.— Когда сюда попадают хроссы, им это тоже необходимо.

Рэнсом сделал вдох и сразу почувствовал себя гораздо лучше. Дышать стало легче, и глубокий вдох не причинял больше боли в легких и груди. Сорн и освещенная пещера, как в тумане плывшие перед глазами, приобрели реальные очертания.

— Кислород? — догадался Рэнсом. Но для сорна английское слово, естественно, ничего не значило.— Тебя зовут Эликан? — спросил Рэнсом.

— Да,— ответил сорн.— А тебя?

— Такое существо, как я, называется человек, хроссы зовут меня человеком. Но имя мое — Рэнсом.

— Че-ло-век... Рен-сум,— повторил сорн.

Рэнсом заметил, что он говорит иначе, чем хроссы,— без намека на их неизменное начальное «Х».

Сорн сидел, упираясь в пол продолговатыми ягодицами и притянув к себе ноги. В такой же позе человек мог бы положить подбородок на колени, но у сорна были для этого слишком длинные ноги. Он свесил голову между колен, которые торчали высоко над плечами, напоминая громадные уши на карикатурах, и подбородком касался выпирающей груди. У него была борода, а может быть, двойной подбородок — при свете костра Рэнсом не мог рассмотреть. Тело сорна, белое с кремовым оттенком, было покрыто как бы длинным одеянием из какого-то мягкого материала, отражавшего свет. Вглядевшись в тонкие и хрупкие

голени существа, Рэнсом решил, что это естественный покров, больше похожий на оперение, чем на мех. Да, пожалуй, в точности как птичьи перья. Вообще, существо оказалось вблизи вовсе не таким страшным, как Рэнсом предполагал, и даже как будто меньше ростом. Правда, требовались немалые усилия, чтобы привыкнуть к его лицу: слишком длинное, серьезное и совершенно бесцветное, это нечеловеческое лицо неприятно напоминало человеческие черты. Как у всех больших существ, глаза казались непропорционально маленькими. Но в целом он производил впечатление скорее гротескное, чем жуткое. В сознании Рэнсома первоначальное представление о сорнах как о призрачных великанах или волотах уступило место образу неловкого домового.

— Вероятно, ты голоден, Коротыш, — произнес сорн.

Рэнсом не мог этого отрицать. Сорн поднялся, странно, по паучьи перебирая конечностями, и стал ходить по пещере, сопровождаемый тонкой фантастической тенью. Кроме обычной на Малакандре растительной пищи он предложил гостю какой-то крепкий напиток и закуску — гладкий коричневый продукт. Исследовав его на вид, запах и вкус, Рэнсом с радостным изумлением обнаружил, что он очень похож на наш сыр. Рэнсом спросил, что это такое.

С трудом подбирая слова, сорн начал объяснять, что у самок некоторых животных выделяется особая жидкость для кормления детенышей, и Рэнсом, понимая, что за этим последует описание процессов доения и изготовления сыра, прервал его.

— Да, да, — сказал он. — Мы на Земле тоже так делаем. А каких животных вы используете?

— Это такие желтые животные с длинной шеей. Они питаются побегами в лесах хандрамита. Утром их собирают и гонят вниз, пасут там до вечера, а на ночь возвращают назад и размещают в пещерах. Этим занимаются подростки, которые не научились еще ничему другому.

Выходит, сорны — пастухи. В первый момент это открытие показалось Рэнсому утешительным, но он тут же вспомнил, что гомеровский циклоп занимался тем же ремеслом.

— По-моему, я видел одного из ваших за этим занятием,— сказал он.— Но как же хроссы, разве они позволяют вам опустошать их леса?

— А что они могут иметь против?

— Хроссы подчиняются вам?

— Они подчиняются Уарсе.

— А вы кому подчиняетесь?

— Уарсе.

— Но вы же знаете больше, чем хроссы?

— Хроссы умеют только сочинять стихи, ловить рыбу и выращивать растения. Больше они ничего не знают.

— А Уарса — тоже сорн?

— Да нет, Коротыш. Я уже говорил тебе, что ему подчиняются все нау,— (так он произносил слово «хнау»),— и вообще все на Малакандре.

— Я ничего не понял про Уарсу. Объясни мне,— попросил Рэнсом.

— Уарса, как и подобные ему, не может умереть,— начал сорн,— и не может рождать детей. Когда была создана Малакандра, его назначили управлять ею. Его тело совсем не такое, как у нас или у тебя: сквозь него проходит свет и его трудно увидеть.

— Как эльдила?

— Да. Он величайший из всех эльдилов, которые могут находиться на хандре.

— А что такое эльдилы?

— Неужели ты хочешь сказать, что в вашем мире нет эльдилов?

— Насколько я знаю, нет. Так что такое эльдилы и почему я их не вижу? У них нет тела?

— Конечно, у них есть тела. Существует множество тел, которые нельзя увидеть. Глаза любого животного видят одно, не видят другого. Вы на Тулкандре не знаете, что есть разные виды тел?

Рэнсом попытался, как мог, объяснить сорну, что на Земле все тела состоят из твердых, жидких и газообразных веществ. Тот слушал с огромным вниманием.

— Ты неправильно об этом говоришь, — сказал он наконец. — Тело — это движение. При одной скорости ты чувствуешь запах, при другой — уже слышишь звук, при третьей — ты видишь. А бывает такая скорость, при которой у тела нет ни запаха, ни звука и его нельзя увидеть. Но заметь, Коротыш, что крайности сходятся.

— Что это значит?

— Если движение станет быстрее, то движущееся тело окажется сразу в двух местах.

— Да, это так.

— Но если движение еще быстрее — это трудно объяснять, потому что ты не знаешь многих слов, — понимаешь, Коротыш, если бы оно делалось быстрее и быстрее, в конце концов то, что движется, оказалось бы сразу везде.

— Кажется, я понимаю.

— Так вот, это и есть высшая форма тела, самая быстрая, настолько быстрая, что тело становится неподвижным; и самое совершенное, так что оно перестает быть телом. Но об этом мы не будем говорить. Начнем с того, что ближе к нам. Самое быстрое из того, что достигает наших чувств, — это свет. На самом деле мы видим не свет, а более медленные тела, которые он освещает. Свет находится на границе, сразу за ним начинается область, в которой тела слишком быстры для нас. Тело эльдила — это быстрое, как свет, движение. Можно сказать, что тело у него состоит из света; но для самого эльдила свет — нечто совсем другое, более быстрое движение, которого мы вообще не замечаем. А наш «свет» для него — как для нас вода, он может его видеть, трогать, купаться в нем. Более того, наш «свет» кажется ему темным, если его не освещают более быстрые тела. А те вещи, которые мы называем твердыми — плоть, почва, — для него менее плотные, чем наш «свет», почти невидимые, примерно как для нас легкие облака. Мы думаем, что эльдил — прозрачное, полуреальное тело, которое проходит насквозь стены и скалы, а ему кажется, что сам он твердый и плотный, а скалы — как облака. А то, что он считает светом, наполняющим небеса, светом, от которого он ныряет в солнеч-

ные лучи, чтобы освежиться, то для нас черная пропасть ночного неба. Все это простые вещи. Коротыш, только они лежат за пределами наших чувств. Странно только, что эльдилы никогда не посещают Тулкандру.

— В этом я не вполне уверен, — сказал Рэнсом. Его вдруг осенила мысль, что предания о светящихся неуловимых существах, время от времени появляющихся на Земле — одни народы называют их дэвами, другие духами, — объясняются, может быть, совсем не так, как придумали антропологи. Правда, тогда все представления о мире выворачиваются наизнанку, но после путешествия в космическом корабле он был готов ко всему.

— Зачем Уарса позвал меня? — спросил он.

— Уарса мне этого не сказал, — ответил сорн. — Я думаю, ему интересно увидеть любого обитателя другой хандры.

— В нашем мире нет Уарсы, — сказал Рэнсом.

— Это еще раз доказывает, что ты явился с Тулкандры, Безмолвной планеты.

— Каким образом?

Сорн даже удивился вопросу:

— Если бы у вас был Уарса, он обязательно беседовал бы с нашим.

— Но как? Ведь между ними миллионы миль?

— Для Уарсы все это выглядит иначе.

— Ты хочешь сказать, что он часто получает вести с других планет?

— Уарса опять-таки назвал бы это иначе. Уарса никогда не скажет, что он живет на Малакандре, а другой Уарса — на другой планете. Малакандра для него — просто место в небесах. Там-то он и живет — в небесах, и другие тоже. И конечно, они разговаривают друг с другом...

Но эти объяснения уже не укладывались в голове; Рэнсома клонило в сон, и он решил, что не понимает сорна.

— Мне бы надо поспать, Эликан, — сказал он. — Я не понимаю, о чем ты говоришь. Может быть, я и не с той планеты, которую ты называешь Тулкандрой.

— Сейчас мы оба будем спать, — ответил сорн. — Но сначала я покажу тебе Тулкандру.

Сорн поднялся, и Рэнсом последовал за ним в глубину пещеры. Он увидел небольшую нишу и в ней ведущую вверх винтовую лестницу. Ступени, высеченные в скале в расчете на сорнов, были слишком высоки для человека, и Рэнсому пришлось карабкаться вверх, опираясь на них руками и коленями. Сорн поднимался впереди. Рэнсом не мог понять, откуда на лестнице свет — по-видимому, он шел из небольшого круглого предмета, который сорн держал в руке. Они поднимались по каменному колодцу очень долго, наверное, на самый верх горы. Рэнсом совсем выбился из сил, когда они оказались наконец в темной, но теплой комнате.

Сорн сказал:

— Она еще довольно высоко — над южным горизонтом, — и указал на небольшое отверстие или окно.

Во всяком случае, это устройство не похоже на земной телескоп, решил Рэнсом; правда, попытавшись на следующий день объяснить сорну принцип телескопа, он сам не понял, в чем же состоит отличие. Облокотившись на подоконник (выступ перед окошком), Рэнсом посмотрел за окно. Посреди крошечной тьмы висел яркий диск, размером с полкроны; казалось, до него можно дотянуться рукой. Почти вся поверхность диска была ровно серебристой, лишь внизу виднелись какие-то очертания и под ними была белая шапка. Рэнсом вспомнил, что на фотографиях Марса такими же белыми пятнами выглядят полярные льды, может быть, перед ним Марс? Но, взглядевшись в темные очертания, Рэнсом различил Северную Европу и кусок Северной Америки, как бы перевернутые, а в основании всей картины — Северный полюс. Почему-то это неприятно поразило Рэнсома. И все же это была Земля, может быть, даже Англия, а может быть, это ему только казалось: изображение немного дрожало, и глаза быстро устали от яркого света. Этот маленький диск вмещал в себя все — Лондон, Афины, Иерусалим, Шекспира, всех живущих и умерших, всю историю. И там же,

у порога пустого дома близ Стерка, до сих пор, наверное, лежит его рюкзак.

— Да,— сказал он поскуцневшим голосом.— Это моя планета.

Ни разу еще за время путешествия не было ему так тоскливо.

XVI

Проснувшись наутро, Рэнсом почувствовал, что с его души словно свалился тяжелый камень. Потом он вспомнил, что находится в жилище сорна и что то самое существо, которое он так боялся повстречать с первой минуты на Малакандре, оказалось не менее дружелюбным, чем хроссы, хоть и далеко не таким симпатичным. Значит, на этой планете больше нечего бояться, кроме Уарсы. «Последний барьер»,— подумал Рэнсом.

Эликан дал ему поесть и напиться.

— Как же мне добраться до Уарсы? — спросил Рэнсом.

— Я тебя понесу,— отвечал сорн.— Ты слишком маленький, чтобы одолеть такой путь. Да и я буду рад навестить Мельдилорн. Хроссам следовало бы объяснить тебе другую дорогу. Они, видно, не могут по внешнему виду определить, какие у тебя легкие и что ты в состоянии выдержать. Это так похоже на хроссов. Умри ты на харандре, они сложили бы поэму про отважного челховека, про то, как небо почернело и засверкали звезды, а он все шел и шел; и конечно, перед смертью ты бы произнес замечательную речь. Им бы и в голову не пришло, что, прояви они чуточку осмотрительности, можно было бы сохранить тебе жизнь, отправив по другой дороге.

— Я люблю хроссов,— сказал Рэнсом немного напряженным тоном.— И мне кажется, о смерти они говорят правильно.

— Они правы, что не боятся ее, Ренсум, но они не умеют относиться к ней разумно, не понимают, что смерть — естественное свойство наших тел, и нередко, сами того не ведая, умирают напрасно. Например, вот эта штука спасла жизнь многим

хроссам, но ни один из них даже не подумает о том, чтобы взять ее в дорогу.

Он протянул Рэнсому флягу, от которой отходила трубка с воронкой на конце. Рэнсом узнал кислородный аппарат.

— Дыши этим, когда будет нужно, — сказал сорн, — а потом закрывай.

Эликан прикрепил аппарат на спину Рэнсому, а трубку перскинул через плечо и вложил ему в руку. Руки сорна походили на птичьи лапы — кости, обтянутые кожей; при прикосновении этих рук, веерообразных, семипалых и совершенно холодных, Рэнсом не мог подавить дрожь отвращения. Чтобы отвлечься от неприятных ощущений, он спросил, где изготовлен аппарат — до сих пор он не встречал ничего, что хотя бы отдаленно напоминало завод или мастерскую.

— Придумали его мы, а сделали пфифльтригги, — ответил сорн.

— А почему они делают такие вещи? — спросил Рэнсом. Он все надеялся уяснить себе политическую и экономическую структуру Малакандры.

— Им нравится делать всякие вещи, — сказал Эликан. — Большей частью, правда, эти вещи совершенно бесполезны, ими можно только любоваться. Но иногда это им надоедает, и они делают кое-что по нашему замыслу — но только если это достаточно сложно. У пфифльтриггов нет терпения делать простые вещи, как бы они ни были полезны. Однако нам пора. Ты сядешь ко мне на плечо.

Это неожиданное предложение смутило Рэнсома, но делать было нечего — сорн уже присел на корточки. Рэнсом вскарабкался ему на плечо, покрытое чем-то вроде перьев, уселся, прислонившись к длинному бледному лицу и обхватив правой рукой огромную шею, и постарался смириться со столь ненадежным способом передвижения. Сорн осторожно выпрямился, и Рэнсом взмыл вверх, на высоту примерно восемнадцати футов.

— Все в порядке, Коротыш? — спросил сорн.

— В полном, — ответил Рэнсом, и путешествие началось.

Пожалуй, в походке этого существа заключалось самое разительное отличие его от человека. Сорн очень высоко поднимал ноги и очень осторожно опускал их. Рэнсом вспоминал то крадущуюся кошку, то важно выступающего петуха, то идущую шагом упряжную лошадь. Но все же движениями сорн не походил ни на одно из земных животных. Как ни странно, ехать на нем оказалось очень удобно. Не прошло и нескольких минут, как от головокружения и прочих неприятных ощущений не осталось и следа. Взамен нахлынули забавные и трогательные воспоминания. Он представлял себе, как в детстве катался в зоопарке на слоне, потом — как, совсем малышом, его носил на плечах отец. Рэнсом наслаждался. Они проходили примерно шесть или семь миль в час. Сильный холод был вполне переносим, благодаря кислороду он дышал без труда.

Пейзаж, который открылся Рэнсому с его покачивающейся наблюдательной вышки, не радовал глаз. Хандрамита нигде не было видно. Они шли по неглубокой долине; по обе стороны, насколько хватало глаз, тянулись голые зеленоватые скалы, кое-где покрытые красными пятнами. Небо, темно-синее над горизонтом, сгущалось до почти полной черноты в зените, и, отворачиваясь от спящего солнца, Рэнсом видел звезды. Сорн подтвердил, что они недалеко от области, где нельзя дышать. Уже на скалах, образующих границу харандры и стеной окружающих хандрамит, или по впадине, где проходит их дорога, воздух разрежен примерно как на Гималаях, и хроссу тяжело им дышать, а еще несколькими сотнями футов выше, собственно на поверхности планеты, жизнь вообще невозможна. Поэтому и сияние вокруг них было таким ослепительным — с небес лился свет, почти не ослабленный атмосферным покровом.

Скала слепила глаза; по ее неровной поверхности тень сорна с Рэнсомом на плече двигалась с неестественной четкостью, как тень дерева перед фарами машины. До горизонта, казалось, можно дотянуться рукой. Трещины и выступы дальних склонов различались во всех подробностях, будто пейзаж старинного мастера, жившего еще до открытия законов перспективы. Рэн-

сом находился близ границы небес, по которым летел сюда в космическом корабле, и снова испытывал влияние лучей, недоступных облеченным в воздух словам. Сердце его билось сильно и радостно, его охватило уже знакомое чувство неземной торжественности, строгого и вместе с тем иступленного восторга; неисчерпаемый источник сил и жизни открылся перед ним. Будь в легких побольше воздуха, он бы рассмеялся. Даже окружающий ландшафт стал прекрасен. С верхнего края долины свешивались огромные розоватые клубы пеннистого вещества харандры, подобные тем, какие он не раз видел с далекого хандрамита. Телерь он разглядел, что вещество этих образований — твердое, как камень, и что книзу клубы сужаются в некое подобие стебля, как у растений. Сравнение с гигантской цветной капустой оказалось удивительно точным, если представить себе кочаны из розового камня и размером с собор. Он спросил у сорна, что это такое.

— Это древние леса Малакандры, — объяснил Эликан. — Когда-то харандра была покрыта теплым воздухом, жизнь на ней процветала. Там до сих пор все усыпано костями древних существ, только этого нельзя увидеть, потому что находиться там невозможно. Тогда-то и выросли эти леса, и в них жил народ, которого уже несколько тысячелетий нет на свете. На них росла не шерсть, а покров вроде моего. Они не плавали в воде и не ходили. Широкие конечности позволяли им скользить в воздухе. Говорят, они прекрасно пели, и красные леса в те далекие дни звенели от их голосов. Теперь леса превратились в камень, и только эльдылы Посещают эти места.

— В нашем мире до сих пор есть такие существа, — сказал Рэнсом. — Мы называем их птицами. Но где был Уарса, когда погибла харандра?

— Там же, где и сейчас.

— И он не мог им помешать?

— Не знаю. Но никакой мир не бывает вечен, тем более народ. Это закон Малельдыла.

Чем дальше они шли, тем гуще становились окаменелые леса. Порой по всему горизонту пылала безжизненная, почти без-

воздушная пустыня, словно английский сад в летний день. Они миновали множество пещер — жилищ сорнов, как объяснил Эликан. Иногда то были высокие утесы, до самого верха усыпанные бесчисленными норами. Изнутри доносились непонятные глухие звуки. По словам сорна, там «шла работа», но какого рода, Рэнсом так и не понял: сорн употреблял слишком много слов, которых не было в лексиконе хроссов. Ничего похожего на поселение или город по пути не встречалось — видимо, сорны предпочитали жить уединенно и не нуждались в обществе друг друга. Раз или два длинное бледное лицо показывалось в устье пещеры, чтобы приветствовать путников голосом, подобным звуку рога, но большей частью длинная долина, эта каменная улица, заселенная молчаливыми обитателями, казалась такой же пустынной, как и вся харандра.

Только после полудня на краю оврага, пересекавшего долину, они повстречали сразу трех сорнов, которые спускались по противоположному склону. Их движения напоминали скорее бег на коньках, чем ходьбу. Они наклонялись под прямым углом к откосу — что было возможно при их изумительной стройности да и малой силе тяжести на планете — и стремительно скользили вниз, как корабли на всех парусах при попутном ветре. Их грация и величественная стать, мягкое мерцание солнечных лучей на их оперении довершили поворот в отношении Рэнсома к этим существам. При первой встрече, пытаясь вырваться из рук Уэстона и Дивайна, Рэнсом назвал их великанами, волотами; теперь он сказал бы «титаны» или «ангелы». Их лица виделись ему тогда совсем иными. То, что наводило на мысль о призраках, было на самом деле возвышенным благородством черт; их удлиненная строгость, их неподвижность создали то первое впечатление, которое он теперь приписывал скорее своей вульгарности, чем трусости. Так, наверное, выглядели бы Парменид или Конфуций в глазах лондонского школьника. Высокие белые существа проплыли мимо Эликана с Рэнсомом, склонив головы, как деревья клонят вершины.

Рэнсому то и дело приходилось спускаться и идти некоторое время самому, чтобы согреться, но, несмотря на холод, он вовсе не хотел, чтобы путешествие скорее кончилось; у Элика-

на же были свои планы — задолго до захода солнца он остановился на ночлег в жилище одного старого сорна. В этой большой пещере, или, скорее, системе тоннелей, было много помещений, заполненных непонятными для человека вещами. Рэнсома особенно заинтересовали свитки, сделанные, видимо, из кожи и покрытые письменами — без сомнения, книги, которые, как он заметил, были большой редкостью на Малакандре.

— Лучше держать все в голове, — сказали сорны.

Когда Рэнсом спросил, не опасаются ли они утратить какие-либо важные секреты, ему ответили, что Уарса ничего не забывает и напомним о них, если сочтет нужным.

— Раньше у хроссов было много книг со стихами, — добавили сорны. — Но сейчас гораздо меньше. Они говорят, что, книги убивают поэзию.

Хозяин жил в пещере не один; при нем находилось еще несколько сорнов, по-видимому каким-то образом подчиненных ему. Сначала Рэнсом принял их за слуг, но потом решил, что скорее это ученики или помощники.

Весь вечер они провели в разговорах, земному читателю не интересных, потому что Рэнсом только отвечал на вопросы, не успевая задавать свои. Впрочем, эти вопросы несколько не походили на те, что возникали в изобретательном воображении хроссов. Сорны хотели получить систематические сведения о Земле, от геологии до современной географии, а также об ее флоре, фауне, об истории человечества, языках, политике и искусствах. Заметив, что познания Рэнсома в очередном предмете исчерпались — а это, как правило, случалось довольно быстро, — они гут же оставляли этот предмет и переходили к следующему. Широчайший общенаучный кругозор позволял им косвенным путем получать от Рэнсома факты, значения которых он не понимал. Случайное упоминание о деревьях при описании производства бумаги заполняло пробел в его ответах на ботанические вопросы, рассказ о навигации проливал свет на земную минералогию, а когда Рэнсом объяснил устройство паровой машины, они вывели из этого такие заключения о природе воды и воздуха на Земле, о которых он и не подозревал.

Он с самого начала решил быть до конца откровенным, так как чувствовал, что уваливать — не только неприемлемо для истинного хнау, но и бесполезно. То, что он рассказал об истории человечества, о войнах, рабстве, проституции, потрясло сорнов.

— Это все оттого, что у них нет Уарсы, — сказал кто-то из учеников.

— Оттого, что у них каждый стремится сам стать маленьким Уарсой, — добавил Эликан.

— Это неизбежно, — сказал старый сорн. — Кто-то должен управлять существами, но только не они сами. Зверьями управляют хнау, а ими эльдилы, эльдилами — сам Малельдил. Но у этих существ нет эльдилов. Это то же самое, как если бы кто-нибудь пытался поднять себя за волосы или, стоя на огромном острове, захотел бы увидеть его сразу весь; как если бы женщина захотела, чтобы у нее сами собой рождались дети.

В рассказах Рэнсома их особенно поразили две вещи. Во-первых, что мы затрачиваем столько энергии на то, чтобы поднимать и переносить тяжести. Во-вторых, что в нашем мире есть только один вид хнау — на их взгляд, это должно очень сильно ограничивать нашу способность к взаимопониманию и даже мышление.

— Мысль у вас целиком зависит от крови, — сказал старый сорн. — Ведь вы не можете сравнивать ее с мыслью, которую несет иная кровь.

Это был утомительный и тягостный для Рэнсома разговор. Но когда он наконец лег спать, то думал вовсе не о духовной наготе человека и не о собственном невежестве, а о древних лесах Малакандры и о том, что это значит — всю жизнь видеть на расстоянии нескольких миль красочный мир, когда-то населенный живыми существами и ставший с тех пор недостижимым.

XVII

Рано утром на следующий день Рэнсом снова забрался на плечо Эликана. Более часа они двигались по той же сверкающей пустыне. Вдалеке, в северной части неба, милях в десяти

над поверхностью харандры, светилось что-то вроде тускло-красного или охристого облака огромных размеров. Оно стремительно двигалось к западу. Рэнсом, который до тех пор ни разу не видел на небе Малакандры облаков, спросил, что это такое. Это песок, объяснил сорн, поднятый ветром в громадных пустынях страшного Севера. Такое случается часто: туча песка несется по небу на высоте 17 миль, пока не обрушится — может быть, на хандрамит — в виде слепящей и удушающей пыльной бури. Глядя, с какой угрожающей силой вихрь мчится по пустынному небу, Рэнсом острее почувствовал себя затерявшимся на внешней поверхности незнакомой планеты, за пределами пригодного для обитания мира. Потом облако вдруг опало и рассеялось далеко на западе, но еще долго, пока изгиб долины не скрыл ту часть горизонта, над ней рдело зарево, похожее на отблеск огромного костра.

За поворотом открылся совершенно новый вид. Сначала он показался Рэнсому до странности похожим на земной пейзаж — серые холмы набегали друг на друга гряды за грядой, как морские валы. Вдалеке за ними на фоне темно-синего неба четко выделялись острые вершины и утесы знакомых зеленых скал. В следующий миг он понял, что принял за холмы серо-голубой туман, клубами наполняющий всю низменность и невидный с хандрамита. Действительно, как только дорога пошла под уклон, туман начал рассеиваться и сквозь него смутно проступил пестрый узор долины. Спуск становился все круче; высокие пики горного кряжа, вдоль которого они шли, виднелись сквозь дымку над гребнем ущелья, как гигантские неровные зубы — челюсть великана с плохими зубами. Цвет неба и освещение еле заметно изменились. Еще через минуту путники оказались на краю склона — по земным понятиям, скорее, обрыва; дорога нырнула в эту пропасть и исчезала внизу, в густых лиловых зарослях. Рэнсом наотрез отказался спускаться дальше на плече Эликана. Сорн дал ему слезть, так и не поняв, зачем это ему понадобилось, а потом первым понесся вниз, наклонившись вперед, как конькобежец. Рэнсом радостно покатился следом, неловко упираясь в склон очоленевшими ногами.

Перед ним расстился новый хандрамит — такой красоты, что у него даже дух захватывало. Он был обширнее того, в котором он жил раньше, и спуск вел прямо к озеру — почти идеальному сапфировому кругу 12 миль в диаметре, в оправе лилового леса. Посреди озера, как невысокая пологая пирамида или как женская грудь, из воды поднимался розовый остров с голыми склонами и рощей невиданных деревьев на вершине. Их гладкие колонны плавностью силуэтов не уступали благороднейшим букам, высотой превосходили шпили земных соборов, а вместо кроны стволы венчали золотые цветки, яркие, как тюльпан, неподвижные, как камень, огромные, как летние облака. Это и в самом деле были цветы, а не деревья, и под ними среди стеблей различались очертания каких-то построек. «Мельдилорн», — объявил сорн, но Рэнсом уже сам это понял. Чего он ждал? Он не мог бы сказать; картины сложнейших архитектурных форм, более громоздких, чем американские офисы, или гигантских машин — чудес инженерии, которые прежде рисовало ему воображение, были давно позабыты. Но ничего подобного этой классической неподвижной изысканности, этой девственно-яркой роще, спрятанной посреди лестрой долины, дышащей таким покоем и словно стремящейся вознестись на сотни футов вверх, навстречу холодным солнечным лучам, он, конечно, не ждал увидеть. Холод с каждым шагом отступал. Рэнсома обдавало волнами восхитительного тепла. Он взглянул вверх — небо было уже не таким темно-синим; взглянул вниз — и до него долетело тончайшее, нежное благоухание гигантских цветов. Очертания дальних скал стали менее резкими, каменные склоны уже не так слепили глаза. Пейзаж снова приобретал мягкость линий и перспективу, даль тонула в легкой дымке. Край горы, с которой они начали спуск, маячил в недосигаемой вышине, и с трудом верилось, что они только что были там. Дышать стало легко. Какое блаженство — чувствовать, что так долго коченевшие пальцы ног могут наконец свободно шевелиться в ботинках! Он поднял уши меховой шапки, и его слух сразу же наполнился журчанием воды. И вот он уже идет

по мягкой лесной траве между деревьев. Они преодолели хараидру и вступили в Мельдилорн.

Короткая тропинка вывела их к широкой, прямой как стрела лесной аллее, которая бежала между лиловых стволов по направлению к озеру, туда, где дрожала ровная синева. Возле берега они увидели каменную колонну, на ней висел гонг с молотком. Все это было покрыто богатой резьбой, а гонг и молоток сделаны из неизвестного зеленовато-голубого металла. Эликан ударил в гонг. Рэнсома захлестнуло волной радостного возбуждения, которое помешало ему как следует рассмотреть изображения на колонне. Это были рисунки вперемешку с чисто декоративными узорами. Его поразила прежде всего уравновешенность пустых и заполненных участков. Простые фигуры, выполненные скупыми линиями, как доисторические земные изображения оленей, чередовались с мелким узором, замысловатым, как древнескандинавские или кельтские украшения. Вглядевшись в них, Рэнсом понял, что эти пустые и насыщенные резьбой куски представляют собой фрагменты более крупных картин. Поразительно было то, что картинки располагались не только на гладких поверхностях; попадались и большие арабески, включающие в качестве детали хитроумный узор. В других местах композиция держалась на обратном принципе, и чередование обоих типов тоже подчинялось определенному ритму и замыслу. Затем Рэнсом начал понимать, что отдельные картинки представляли собой стилизованные иллюстрации какого-то сюжета, но тут Эликан отвлек его. Со стороны острова приближалась лодка.

Когда лодка подошла достаточно близко, Рэнсом с радостью увидел, что гребцом на ней был хросс. Он причалил к берегу возле них, с изумлением уставился на Рэнсома, а потом перевел вопрошающий взгляд на Эликана.

— Верно, Хринха. Тут есть чему удивляться, — сказал сорн, — тебе еще не приходилось видеть таких ноу, как этот. Его зовут Рен-сум, он прилетел по небесам с Тулкандры.

— Ему здесь будут рады, Эликан, — ответил вежливый хросс. — Он идет к Уарсе?

- Уарса жлет его.
- И тебя тоже, Эликан?
- Меня Уарса не звал. Если ты отвезешь Рен-сума, я пойду назад в свою башню.

Хросс знаком предложил Рэнсому сесть в лодку. Рэнсом попытался, как мог, отблагодарить своего проводника и после минутных сомнений снял с руки часы: он решил, что это единственная вещь, которую он может предложить сорну в качестве достойного подарка. Он без труда объяснил Эликану назначение часов, но тот, исследовав их, вернул подарок со словами:

— Эту вещь нужно подарить пфифльтриггу. Мне она доставляет радость, но он извлечет из нее больше пользы. Ты, вероятно, встретишь их в Мельдилорне (у них всегда там много дела); им и отдай. А что до ее назначения, — разве в твоём мире без нее не могут обойтись, когда хотят узнать, какая часть дня миновала?

— Кажется, есть живописцы, которые как-то это понимают, — ответил Рэнсом. — Но хнау давно разучились.

Он распрощался с сорном и сел в лодку. Снова оказаться в одной лодке с хроссом, чувствовать на своем лице тепло от воды, видеть над собой синее небо было сродни возвращению домой. Он снял шапку, блаженно раскинулся и стал засыпать своего провожатого вопросами. Оказалось, что хроссы не были специально приставлены перевозчиками на службу к Уарсе, как Рэнсом сперва предположил; Уарсе служили все три вида хнау, и вести лодку на переправе поручали, естественно, хроссам, потому что для них это занятие было более привычным. Рэнсом выяснил также, что в Мельдилорне он сможет делать все, что захочет, и идти куда угодно, пока Уарса не позовет его. Может быть, это произойдет через час, а может, и через несколько дней. Неподалеку от того места, где они высадутся, Рэнсом увидит хижины — в них можно спать, там же он получит еду, если проголодается. В ответ он, как сумел, рассказал хроссу про свой мир и про путешествие оттуда и предупредил, что на Малакандре, наверное, до сих пор находятся порченые люди, от которых может исходить опасность. Тут он подумал, что не объ-

яснил этого как следует Эликану, но успокоился, вспомнив, что Уэстон и Дивайн уже установили связи с сорнами и, кроме того, вряд ли осмелятся портить отношения с существами, которые похожи на человека и к тому же такие большие. По крайней мере, не сейчас. Относительно конечных целей Дивайна у него не было никаких иллюзий. Что ж, он может сделать только одно: рассказать обо всем Уарсе, ничего не утаивая. И тут они пристали к берегу.

Пока хресс привязывал лодку, Рэнсом встал и огляделся. В небольшой гавани, несколько левее того места, где они высадились, стояли низкие каменные строения (до сих пор Рэнсому не попадалось на Малакандре ничего подобного), а перед ними горели костры. Там он найдет кров и пищу, объяснил хресс. Весь остров вокруг казался пустынным вплоть до самой роши, венчающей ровные склоны, а перед ней снова начинались каменные сооружения. Но это, видимо, были не храмы и не дома в человеческом понимании, а нечто вроде огромного Стоунхенджа — величественные монолиты, стоящие по сторонам широкой пустой аллеи, которая вела на вершину холма и там терялась в бледной тени цветочных стволов. Нигде не было видно ни души. Рэнсом взгляделся в эту неподвижную картину, и ему почудился тихий-тихий, идущий из глубин утренней тишины ровный серебристый звук; строго говоря, это был даже не совсем звук, но в то же время не заметить его было нельзя.

— На острове множество эльдилов, — шепотом произнес хресс.

Рэнсом сошел на берег. Сделал несколько нерешительных шагов, как будто ожидая встретить какое-то препятствие, остановился, потом точно так же двинулся дальше.

Хотя трава под ногами, чрезвычайно густая и мягкая, глушила звук шагов, Рэнсом, подчиняясь какому-то неясному чувству, шел на цыпочках. Все его движения стали мягкими и спокойными. Широкое кольцо воды сильно прогревало воздух на острове, так что это было самое теплое место на Малакандре. Здешний климат напоминал погожий сентябрьский день на Земле, когда сквозь тепло уже чувствуется надвигающийся мо-

роз. Нарастающее чувство благоговейного страха не давало ему приблизиться к роше на вершине холма и к аллее стоящих камней.

Он поднялся до середины склона и повернул направо, все время держась на одинаковом расстоянии от берега. Он сказал себе, что осматривает остров, но чувствовал, что на самом деле скорее остров осматривает его. Чувство это усилилось благодаря открытию, которое он сделал примерно через час и потом никак не мог объяснить. Приблизительно это можно описать так: по всей поверхности острова шло какое-то едва уловимое движение светотени, совершенно не связанное с временем дня. Не будь воздух таким неподвижным, а трава под ногами — слишком короткой и плотной, чтобы шевелиться от ветра, Рэнсом принял бы это за игру легчайших дуновений воздуха, подобных тем, которые на Земле вызывают еле заметную смену теней на пшеничном поле. Как и серебристые воздушные перезвоны, эти световые зайчики прятались от пристального внимания. В тех местах, куда он устремлял напряженный взгляд, их совсем не было видно; зато по краям поля зрения они просто кишели, как будто там шли какие-то сложные приготовления. Любой из них при попытке его разглядеть тут же делался невидим, будто еле различимый блик только что соскользнул с той точки, на которую упал взгляд. Он нисколько не сомневался, что именно «видит» эльдила, насколько его вообще можно видеть. При этом Рэнсом испытывал странное ощущение — не то чтобы жуткое, не как человек, окруженный призраками; и он не мог бы сказать, что за ним подглядывают, — напротив, ему казалось, что на него смотрит кто-то, у кого есть на это полное право. В его чувствах, менее сильных, чем страх, было и смущение, и робость, и смирение, и более всего — мучительная неловкость.

Он устал и, решив, что в этом благословенном краю можно отдыхать на воздухе, не опасаясь замерзнуть, сел на землю. Мягкая трава, тепло и нежный запах напомнили ему о земных садах в летнюю пору. На секунду он закрыл глаза, а когда снова открыл их, то заметил внизу здания подплывающую к берегу

лодку... и внезапно узнал всю картину. Это была переправа, а здания были домами для приезжающих: он обошел крутом весь остров. Это открытие сменилось другим, менее приятным: он почувствовал голод. Пожалуй, неплохо было бы спуститься и попросить еды, все равно нужно как-то провести время.

Но он этого не сделал. Подойдя поближе, он увидел, что вокруг гостиницы и в гавани царит сильное оживление, а с лодки паромщика на берег высаживается целая толпа пассажиров. Посреди озера он заметил какие-то движущиеся фигуры и, приглядевшись, опознал в них сорнов — по пояс в воде они переходили озеро вброд, направляясь к Мельдилорну. Их было около десяти. Чем бы это ни объяснялось, на острове был большой наплыв посетителей. Рэнсом уже не сомневался, что может спуститься и безбоязненно смешаться с толпой, но почему-то не решался это сделать. Вся ситуация живо напомнила ему школу, где он был новичком — а новички должны были являться на день раньше остальных, — и он бродил по школе один, глядя, как съезжаются уже знакомые друг с другом ученики. В конце концов он решил остаться где был. Он нарезал немного растений, подкрепился и прилег вздремнуть.

После полудня похолодало, и он снова отправился гулять. Другие хнау к этому времени тоже разбрелись по острову. Он замечал в основном сорнов — просто потому, что они были выше других. Вокруг была почти полная тишина. Гуляющие держались главным образом береговой части острова, и Рэнсом, полусознательно избегая встречи с ними, стал забирать вверх, в глубь острова, пока не обнаружил, что дошел до самой роши и стоит у начала аллеи камней. Сначала он, толком не зная почему, не хотел идти по ней дальше, но потом начал рассматривать ближайший камень, со всех сторон покрытый густой резьбой, и уже не мог преодолеть любопытства. Он стал переходить от камня к камню, все дальше и дальше.

Изображения немало озадачили его. Помимо сорнов, хроссов и еще каких-то существ — видимо, пфифльтриггов — то и дело встречалась стройная и как бы колеблющаяся крылатая фигура, у которой едва угадывалось лицо. Зато крылья были са-

мые настоящие, что очень удивило Рэнсома. Возможно ли, чтобы традиции малакандрийского искусства восходили к той геологической и биологической эре, когда, по словам Эликана, на харандре еще была жизнь и существовали птицы? Рисунки вроде бы подтверждали это предположение. Он различил древние пурпурные леса и в них множество странных существ — птиц и других, не известных ему. На другом камне лес был усеян мертвыми телами, а в небе над ними парило фантастическое чудовище, мечущее вниз стрелы; оно напоминало хнакру и, возможно, символизировало холод. Оставшиеся в живых сбились в кучу вокруг колеблющейся фигуры с крыльями; Рэнсом решил, что это Уарса, изображенный в виде крылатого пламени. На следующем камне толпа существ сопровождала Уарсу, который каким-то острым предметом проводил борозду по земле. Дальше пфифльтригги углубляли борозду при помощи специальных орудий, сорны собирали землю в высокие кучи по краям рва, а хроссы, видимо, напускали воду в каналы. Рэнсом не мог решить, миф ли это о происхождении хандрамитов, или они и вправду были созданы искусственно, если только такое возможно.

Многие рисунки оставались ему совершенно непонятными. Особенно загадочен был один: внизу располагался сегмент круга. Из-за него на три четверти поднимался диск. Рэнсом подумал, что это восход солнца над горой. Сегмент был испещрен малакандрийскими сценами — Уарса в Мельдилорне, сорны на скалистом уступе харандры, и много другого, Рэнсом понимал не все. Но, рассмотрев повнимательнее диск, он обнаружил, что это не солнце. Солнце, без сомнения, тоже было. Оно занимало середину диска, и от него расходились концентрические окружности. На первой из них Рэнсом увидел маленький кружок, а на нем — крылатую фигуру, похожую на Уарсу, с трубой в руке. На следующей тоже был кружок с огненной фигурой. У нее не было и намека на лицо, только две выпуклости — вымя или грудь самки млекопитающего, как заключил Рэнсом после тщательного изучения.

Он уже не сомневался, что перед ним изображение Солнечной системы. Первый кружок — это Меркурий, второй — Венера.

«И вот какое удивительное совпадение, — подумал Рэнсом, — их мифология, как и наша, связывает с Венерой какой-то женский образ».

Он бы еще долго размышлял на эту тему, если бы вполне естественное любопытство не заставило его перевести взгляд на следующий кружок, который должен обозначать Землю. На мгновение у него все внутри похолодело. Кружок был на месте, но вместо огненной фигуры он увидел лишь вмятину неправильной формы, как будто кто-то вырезал бывшее там изображение. Так, значит, когда-то... нет, тут слишком много неизвестных фактов. Он посмотрел на следующую окружность. Кружка на ней не было, ее нижний край касался вершины сегмента и был заполнен малакандрийскими сценами, словно сама Малакандра выплывала из Солнечной системы навстречу зрителю. Поняв наконец замысел всей картины, Рэнсом поразился ее выразительности. Он отступил на шаг и набрал побольше воздуха, чтобы по порядку разобраться в осаждавших ум вопросах. Значит, Малакандра — это Марс. А Земля... Но в этот момент стук молотка, которого в своем увлечении Рэнсом не замечал, стал настойчивее и дошел наконец до его сознания. Кто-то работал рядом, и это был не эльдил. Рэнсом очнулся от своих раздумий и обернулся. Но ничего не увидел. Тогда он крикнул по-английски (совершеннейшая нелепость!):

— Кто тут?

Стук мгновенно прекратился, и из-за ближайшей каменной глыбы показалось необыкновенное лицо. Оно было гладкое, как у человека или сорна, длинное и заостренное, как у землеройки, желтоватое и невзрачное, по-звериному неосмысленное, почти без лба, хотя и с торчащим затылком, похожим на высокий, скошенный назад парик.

В следующий миг создание выпрыгнуло из-за камня и представало перед Рэнсомом во всей своей красе. Рэнсом сообразил, что это пфифльтригг, и порадовался, что не встретил представителей этой расы в первые дни на Малакандре. Создание гораздо больше походило на насекомое или рептилию, чем все, кого ему до сих пор приходилось видеть. У него было совер-

шенно лягушачье сложение, и сначала Рэнсому показалось, что оно сидит, поставив «руки» на землю на манер лягушки. Но потом он разглядел, что та часть передних конечностей, которой он упирается в землю, на самом деле скорее локоть, чем ладонь, если пользоваться человеческими понятиями. Широкий и снабженный подушечкой «локоть» был явно предназначен для ходьбы, от него отходили вверх под углом примерно 45° настоящие руки — тонкие и сильные; они заканчивались чувствительными, многопальными кистями. Опора на локоть полностью освобождала пфифльтриггу руки — большое преимущество при любой работе, от копания земли до вырезания камней. Сходство с насекомыми ему придавали быстрота и порывистость движений, а также способность вращать головой, как жук-богомол, поворачивая ее на 180°; оно усиливалось еще и благодаря особому звуку, вроде сухого и звенящего стрекотания, который пфифльтригг издавал при движении. В нем было что-то от кузнечика, и от гнома, и от лягушки, и еще от маленького старичка — набившика чучел, лондонского знакомого Рэнсома.

— Я прилетел из другого мира.

— Знаю, знаю,— торопливо затрещало существо.— Встань сюда, за камень. Вот здесь, вот здесь. Приказ Уарсы. Очень срочно. Не терять времени. Стой там.

И Рэнсом оказался по другую сторону глыбы, перед еще не законченным изображением. Под ногами все было усеяно крошкой, а в воздухе клубилась пыль.

— Вот так,— сказала существо.— Стой смирно. На меня не смотри. Смотри туда.

Сначала Рэнсом не мог взять в толк, чего от него хотят, но, увидев, что пфифльтригг посматривает то на него, то на камень особым взглядом, который везде, даже на чужой планете, безошибочно выдает художника, работающего с моделью,— он все понял и чуть не рассмеялся вслух. Он позировал для портрета! Рэнсом стоял так, что незаконченная работа была скрыта от его глаз, зато он с любопытством наблюдал за самим скульп-

тором. Пфифльтригг резал камень, словно сыр, а его руки двигались так быстро, что за ними невозможно было уследить. Звенящий металлический звук производили, оказывается, крошечные инструменты, которыми он был весь увешан. Иногда он с раздраженным возгласом отбрасывал в сторону инструмент, которым работал, и выбирал какой-нибудь другой, при этом несколько инструментов, которые могли ему понадобиться, все время держал во рту.

Еще Рэнсом заметил, что существо облачено в одежду — она состояла из какого-то яркого чешуйчатого материала, богато разукрашенного, хотя и покрытого толстым слоем пыли. Что-то вроде мехового кашне мягкими складками обнимало горло, глаза были защищены выпуклыми защитными очками. На шее и конечностях красовались кольца и цепочки из блестящего материала, явно не золота. Во время работы существо издавало как бы шипящий свист, а когда приходило в особенное возбуждение — что случалось поминутно, — кончик носа у него начинал подрагивать, как у кролика. Наконец он высоко подпрыгнул, так что Рэнсом снова вздрогнул от неожиданности, и, приземлившись ярдах в десяти от камня, сказал:

— Ну да, ну да. Хотелось бы удачнее. В следующий раз исправлю. Пока так. Иди, посмотри сам.

Рэнсом повиновался. Он снова увидел изображения планет, но уже не на карте Солнечной системы: на этот раз они были выстроены в единую процессию,двигающуюся к зрителю, и на каждой, за исключением одной, ехал огненный возничий. Внизу располагалась Малакандра, и Рэнсом с удивлением узнал на ней довольно верно выполненный космический корабль. Рядом стояли три фигуры — Рэнсом, очевидно, послужил моделью для всех сразу. Он с возмущением отвернулся. Конечно, тема совершенно новая для малакандрийца и его искусство стилизовано, и все же, подумал Рэнсом, портретист мог бы все-таки найти в человеческом облике хоть что-нибудь более привлекательное, чем эти чурбаны, почти одинаковые в ширину и в высоту, с каким-то грибообразным наростом вместо головы.

Он ответил уклончиво.

— Наверное, именно таким я кажусь всем вам, — сказал он. — Но художник из моего народа нарисовал бы иначе.

— Нет, — возразил пфифльтригг. — Я не хочу, чтобы было слишком похоже. Если будет слишком, они не поверят — те, которые родятся потом.

Он еще долго что-то объяснял; Рэнсом не все понял, но ему вдруг пришло в голову, что эти мерзкие фигуры представляют собой идеализацию человечества. Разговор затянулся еще на некоторое время. Рэнсом решил переменить тему и задал вопрос, который уже давно интересовал его.

— Объясни мне, — сказал он, — как получилось, что вы, сорны и хроссы — все говорите на одном языке. Ведь у вас, наверное, очень по-разному устроены зубы, нёбо и гортань.

— Ты прав, — согласился пфифльтригг. — Когда-то у нас были разные языки, да и сейчас еще мы говорим на них у себя дома. Но потом все выучили речь хроссов.

— А почему? — спросил Рэнсом, все еще мыслящий понятиями земной истории. — Разве хроссы когда-нибудь правили всеми остальными?

— Не понимаю. Они умеют замечательно говорить и петь песни. У них больше слов и слова лучше. Речь моего народа никто не учит, потому что все самое важное мы говорим через камень, или кровь Солнца, или звездное молоко. И речь сорнов никому не нужна, потому что можно любыми словами объяснить их знания — они от этого не изменятся. Но с песнями хроссов этого не сделаешь. Их языком говорят по всей Малакандре. Я говорю на нем с тобой, потому что ты не из моего народа. С сорнами я тоже говорю на нем. Но дома мы говорим на своих старых языках. Это видно по именам. У сорнов протяжные имена, например Эликан, Аркал, Белмо или Фалмэй. А у хроссов имена как мех, вроде Хнох, Хнихи, Хьои или Хлитхна.

— Значит, лучшая поэзия получается на самом трудном языке.

— Пожалуй, — сказал пфифльтригг. — Ведь и лучшие картины — из самого твердого камня. А знаешь, какие имена у

моего народа? Например, Калакапери, Паракатару, Тафалакеруф. А меня зовут Канакаберака.

Рэнсом тоже назвал ему свое имя.

— В нашей стране совсем не так, как здесь. Мы не зажаты в узком хандрамите. У нас есть настоящие леса, зеленая тень, глубокие копи. Еще у нас тепло. И нет такого яркого света и такой тишины. Там, в лесах, я мог бы показать тебе место, где горят сразу сто огней и стучат сто молотков. Я бы хотел показать тебе нашу страну. Мы живем не в дырах, как сорны, и не в кучах травы, как хроссы. Ты бы увидел дома, которые окружают сто колонн, одна — из крови Солнца, следующая — из звездного молока, и так по всем стенам... А на стенах картины — чего только там нет...

— А кто у вас следит за порядком? — спросил Рэнсом. — К примеру, те, которые работают в копиях, — разве они довольны своим положением, как другие, которые делают картины на стенах?

— Рудники открыты для всех; каждому приходится заниматься этой работой. Каждый копает для себя столько, сколько ему нужно. А как же иначе?

— У нас все по-другому.

— Значит, у вас получается порченная работа. Разве можно работать с кровью Солнца, если ты не был там, где она рождается, и не научился отличать друг от друга разные ее виды, и не провел рядом с нею много-много дней, вдали от света небес, чтобы она вошла в твою кровь и твое сердце, как будто ты мыслишь ею, и ешь ее, и плюешь сю?

— У нас она лежит очень глубоко, так что ее трудно достать, и те, кто ее выкапывает, должны тратить всю жизнь на это искусство.

— А им это нравится?

— Не думаю... Не знаю. Им ничего другого не остается, потому что им не дадут еды, если они перестанут работать.

Канакаберака подергал носом.

— Значит, у вас нет вдоволь еды?

— Не знаю, — ответил Рэнсом. — Я всегда хотел узнать ответ на этот вопрос, но никто не мог объяснить мне. А разве вас, Канакаберака, никто не заставляет работать?

— Как же: женщины, — сказал пфифльтригг и издал свистящий звук, который, видимо, следовало понимать как смех.

— Вы, наверное, цените женщин больше, чем другие хнау?

— Намного. А меньше всего их ценят сорны.

XVIII

Рэнсом провел ночь в гостинице. Это был настоящий, прекрасно отделанный дом — его строили пфифльтригги. Таким образом, Рэнсом оказался наконец в относительно человеческих условиях, однако удовольствие от этого значительно умеряла неловкость от соседства такого множества малакандрийцев, которую он испытывал помимо своей воли. Здесь были представители всех трех рас. Они прекрасно ладили друг с другом, несмотря на неизбежные разногласия вроде тех, которые возникают на Земле между пассажирами в вагоне поезда: сорнам казалось, что в здании слишком жарко, а пфифльтригги в нем мерзли. О малакандрийском юморе он узнал в эту ночь больше, чем за все время, проведенное на планете, — ведь до сих пор ему приходилось разговаривать только на серьезные темы. По-видимому, сама ситуация встречи разных видов хнау была комична. Правда, шуток он почти не понимал, но зато в характере юмора улавливал некоторые различия. Так, сорны редко переступали границы сдержанной иронии, хроссы отличались неумейной фантазией, а пфифльтригги были язвительны и даже позволяли себе грубости. Но и в тех случаях, когда Рэнсом понимал все слова, суть ускользала от него. Он рано отправился спать.

На рассвете — время доить коров на Земле — Рэнсома что-то разбудило. Он не сразу понял, что это. В комнате было тихо, пусто и почти совсем темно. Он собрался было снова заснуть, как вдруг услышал совсем рядом высокий голос: «Тебя зовет Уарса!» Он вскочил, озираясь, но никого не увидел, а голос повторил: «Тебя зовет Уарса!» Голова наконец прояснилась, и

он понял, что в комнате эльдил. Страх он не почувствовал, но, послушно поднявшись и натянув одежду, заметил, что сердце бьется слишком часто. Его мысли были больше заняты предстоящим разговором, чем невидимым посетителем. От прежних страхов встречи с неведомым чудовищем или идолом не осталось и следа: он просто волновался, как в утро перед экзаменом в студенческие годы. Больше всего на свете он мечтал сейчас о чашке хорошего чая.

Гостиница опустела. Он вышел наружу. Над озером поднимался голубоватый пар, небо ярко синело на востоке, над зубренной стеной каньона; до восхода солнца оставалось несколько минут. Воздух еще не нагрелся, трава под ногами была пропитана росой, и во всем чувствовалась какая-то таинственность, которую он связал с тишиной. Голоса эльдилов исчезли, как и мелькание маленьких бликов и теней. Рэнсом без всякого приказа понял, что должен подняться на вершину холма, в роуцу. Подойдя к аллее камней, он с замиранием сердца увидел, что вся она заполнена малакандрийцами. Они ждали в полном безмолвии по обе стороны аллеи, сидя на земле или на корточках — кто как мог. Рэнсом пошел вперед, не смея остановиться, как бы проходя сквозь строй под этими нечеловеческими, немигающими взглядами. Так дошел он до вершины и там, возле самого большого камня в середине аллеи, остановился — по приказу Малельдила или подчиняясь собственной интуиции, этого он потом не мог вспомнить. Он остался стоять — земля была еще слишком холодной и влажной, к тому же он не знал, будет ли прилично сесть. Поэтому он просто стоял, неподвижно, как на параде. На него были устремлены все глаза, и безмолвие ничем не нарушалось.

Постепенно он понял, что вокруг очень много эльдилов. Все те едва уловимые световые блики, которые накануне были рассеяны по острову, собрались здесь и ждали, почти не двигаясь. Солнце уже взошло, но все продолжали молчать. Рэнсом поднял голову, чтобы рассмотреть каменные глыбы под первыми бледными лучами солнца, и вдруг увидел над собой сложную световую сеть, не имевшую никакого отношения к восходу, сов-

сем другой природы — свет эльдилов. Вверху их было не меньше, чем на земле; видимые глазом малакандрийцы составляли лишь небольшую часть собрания, в котором разбиралось его дело. Может быть, когда настанет его черед говорить, ему придется защищаться перед тысячами, а то и миллионами. Ряд за рядом вокруг него, и ряд за рядом над ним, все эти существа, которые впервые видели человека и которых человек никогда прежде не видел, ждали начала суда. Потом ему пришло в голову, что, может быть, суд уже идет, что, стоя под взглядами этих созданий, он бессознательно разрешает все их вопросы. Так прошло довольно много времени, потом все пришло в движение. Все поднялись на ноги и застыли, и в наступившей тишине Рэнсом увидел (если только можно так выразиться) Уарсу, который приближался между двух рядов камней, покрытых резьбой. Отчасти по выражению лиц малакандрийцев он догадался, что между ними проходит их повелитель; но он и сам видел Уарсу — в этом не было никаких сомнений. Рэнсом никогда не смог бы объяснить, что, собственно, он увидел. Не более чем шорох света, нет, даже меньше того: еле уловимое освещение тени, но что-то медленно перемещалось по неровной земле, а может быть, с самой землей происходило какое-то изменение, слишком ничтожное, чтобы его можно было обозначить на языке пяти чувств. Как в полной людей комнате настает тишина или знойным днем повеет легчайшее дуновение прохлады, как мимолетное воспоминание давно забытого звука или запаха, проходил Уарса между своими подчиненными и, приблизившись, остановился в центре Мельдиюрна, ярдах в десяти от Рэнсома. Рэнсом почувствовал шум в ушах и покалывание в кончиках пальцев, как будто рядом с ним ударила молния; ему показалось, что его сердце и все тело превратилось в воду.

Уарса заговорил — Рэнсом еще не слышал голоса, который был бы меньше похож на человеческий: нежный, и как будто отдаленный, и совершенно ровный; об этом голосе один хросс потом сказал, что «в нем нет крови; для них свет — как кровь для нас». В самих словах не было ничего устрашающего.

— Чего ты так боишься, Рэнсом с Тулкандры? — спросил голос.

— Тебя, Уарса, потому что ты не похож на меня и я не могу тебя увидеть.

— Это не причины, — произнес голос. — Ты тоже не похож на меня, и я хотя и вижу тебя, но очень плохо. Но напрасно ты думаешь, что мы совсем разные. Мы оба — подобия Малельдила. Так что настоящие причины не в этом.

Рэнсом молчал.

— Ты начал бояться меня еще до того, как оказался в моем мире. И здесь ты все время пытался скрыться от меня. Мои слуги видели, что ты боишься, когда ваш корабль был еще в небесах. Они видели, что двое из твоего собственного народа плохо обращались с тобой, хотя и не поняли ваших разговоров. А потом я потревожил хнакру, чтобы освободить тебя от тех двоих и посмотреть, придешь ли ты ко мне по своей воле. Но ты спрятался среди хроссов и не шел ко мне, хотя они тебе об этом говорили. Тогда я послал за тобой эльдила, но ты все равно не шел. И наконец собственные твои собратья погнали тебя ко мне и пролилась кровь хнау.

— Я не понимаю, Уарса. Неужели это ты позвал меня с Тулкандры?

— Да. Что еще могло заставить тебя отправиться с ними, как не мой приказ? Разве те двое тебе не сказали? Мои слуги не могли понять, что они говорили тебе в корабле на небесах.

— Твои слуги... Я не понимаю, — сказал Рэнсом.

— Спрашивай, — предложил голос.

— У тебя есть слуги в небесах?

— А где им еще быть? Все сушее — в небесах.

— Но ведь мы на Малакандре, Уарса.

— И Малакандра, как все миры, в небесах. И потом, я не присутствую «здесь», как ты, Рэнсом с Тулкандры. Существа, подобные тебе, не удерживаются в небесах и должны опускаться в какой-нибудь мир. А для нас любой мир — такое же место в небе, как любое другое. Но не пытайся сейчас это понять.

Просто знай, что мы — я и мои слуги — даже сейчас в небесах, а в небесном корабле они окружали тебя точно так же, как здесь.

— Значит, ты знал о нас еще до того, как мы вылетели с Тулкандры?

— Нет. Это единственный мир, о котором нам ничего не известно, потому что он вне небес и мы не получаем оттуда никаких известий.

Рэнсом ничего не сказал, но Уарса ответил на не произнесенный им вопрос:

— Так было не всегда. Это самая длинная и самая печальная история. Когда-то и в вашем мире — он тогда еще не назывался Тулкандрой — был Уарса, более светлый и великий, чем я. Но он сделался порченным. Было это еще до того, как в вашем мире появилась жизнь. Настали Годы Порчи — о них до сих пор еще говорят в небесах. Тот, ваш Уарса был еще свободен, как все мы, а не заключен в пределах Тулкандры. Он замышлял испортить и другие миры. Лево́й рукой он поразил вашу Луну и десницей наслал до срока смерть на мою хандру, и если бы моей рукой Малельдил не направил его открыть хандрамиты и выпустить горячие источники, мой мир стал бы необитаем. Но мы не дали ему долго вольничать. Началась великая война, и по приказу Малельдила мы ниспровергли его с небес и заключили в границы его мира. Он и до сего дня там, и мы больше ничего не знаем об этой планете: она безмолвствует. Мы думаем, что Малельдил не мог предать ее целиком воле Порченого — до нас доходили странные вести, будто Он замыслил что-то необычайное и вступил в борьбу с Порченным на Тулкандре. Но это — тайна, о которой вы должны знать больше, чем мы, но и для нас она очень важна.

Рэнсом не сразу смог ответить; Уарса не торопил его. Наконец он взял себя в руки и сказал:

— Теперь, когда я услышал твой рассказ, Уарса, я могу признаться; что наш мир — очень порченный. Те двое взяли меня сюда, потому что им так сказали сорны, а о тебе они ничего не знали. Наверное, они думали, что ты — ложный эльдил. В диких краях нашего мира есть такие ложные эльдилы; люди убивают

перед ними других людей; считается, что эльдил любит пить кровь. Они думали, что и сорны хотят сделать со мной то же или еще какое-нибудь зло. Они притащили меня силой. Мне было очень страшно. У нас есть люди, которые выдумывают всякие пещыицы; они внушают нам, что если за пределами нашего мира и есть какие-нибудь существа, то они злые.

— Да,— произнес голос,— ты объяснил мне многое из того, чего я раньше не мог понять. Когда вы пересекли границы своего мира и попали в небеса, мои слуги сказали, что твои спутники везут тебя против воли и что-то скрывают от тебя. Я не знал, что бывают настолько порченые существа, что могут силой заставить своего собрата отправиться сюда.

— Они не знали, для чего я нужен тебе, Уарса. Да и я этого еще не знаю.

— Я объясню тебе. Два — а по-вашему четыре — года назад этот корабль впервые прилетел сюда из вашего мира. Мы следили за ним все время, эльдилы сопровождали его над хандрой; наконец он опустился на хандрамит, и более половины моих слуг явились туда, чтобы посмотреть, как пришельцы выйдут из него. Мы никого не подпустили туда, и хнау сначала тоже ничего не знали. Когда пришельцы немного освоились на новом месте, построили себе хижину и мы думали, что их страх перед новым миром прошел, я послал сорнов познакомиться с ними и научить нашему языку. Я выбрал именно сорнов, так как внешне они больше всего похожи на ваш народ. Тулкандрийцы боялись сорнов и очень плохо поддавались обучению. Но сорны часто приходили к ним и все-таки немного научили их языку. Еще сорны сообщили мне, что тулкандрийцы подбирают во всех ручьях кровь Солнца. Я не мог ничего понять со слов сорнов и велел привести их ко мне — разумеется, не силой. Их очень вежливо пригласили, но они не пожелали прийти. Я звал хотя бы одного, но ни один не захотел. Конечно, схватить их ничего не стоило; но хотя было ясно, что они глупы, мы еще не знали, до какой степени они порченые, и мне не хотелось применять свою власть к созданиям из другого мира. Я велел сорнам обращаться с ними как с детьми и сказать,

что они не получают больше крови Солнца, пока не доставят сюда еще кого-нибудь из своего народа. Услышав это, они до отказа набили свой корабль и покинули Малакандру. Они этим очень удивили нас, и только теперь я все понимаю. Они решили, что я хочу съесть кого-нибудь из вашего народа, и отправились за ним. Они могли бы пройти всего несколько миль, и я с почетом принял бы их; вместо того они дважды проделали путь в миллионы миль и теперь все равно явятся передо мной. И ты тоже, Рэнсом с Тулкандры, — сколько напрасных усилий ты потратил, пытаясь избежать этой встречи.

— Да, Уарса, это верно. Все порченые полны страха. Но вот я здесь, перед тобой, и готов выполнить твою волю.

— Я хочу задать тебе два вопроса о твоём народе. Во-первых, зачем вы явились сюда — забота о моем народе велит мне знать это. И во-вторых, я хочу, чтобы ты рассказал мне о Тулкандре и странных войнах, которые вел Малельдил с Порченым, ибо, как я уже говорил, нас это очень интересует.

— Что касается первого вопроса, Уарса, то я оказался здесь не по своей воле. А те двое... одному нужна только кровь Солнца, потому что в нашем мире он сможет обменять ее на власть и наслаждения. А другой хочет причинить вам зло. Мне кажется, что он уничтожил бы весь ваш народ, чтобы освободить место для нашего, а потом постарался бы сделать то же самое и в других мирах. Думаю, он хочет, чтобы наш народ существовал вечно, и надеется, что можно без конца перепрыгивать из мира в мир... переселяться к новому солнцу каждый раз, когда умирает старое... что-то в этом роде.

— Он поврежден умом?

— Не знаю. Может быть, я неверно передал его мысли. Он более учен, чем я.

— Неужели он думает, что сможет попасть в великие миры? И что Малельдил позволит какому-нибудь народу существовать вечно?

— Он ничего не знает о Малельдиле. Но в том, что он хочет причинить вам зло, Уарса, нет сомнений. Никого из нас нель-

зя пускать сюда. Если для этого необходимо убить всех троих, я буду даже рад.

— Будь вы моим народом, Рэнсом, я бы убил их сейчас же, а вскоре и тебя; ибо они безнадежно порченые, а ты, когда станешь немного смелее, будешь готов предстать перед Малельдилом. Но моя власть распространяется только на мой мир. Убийство чужого хнау — ужасное дело. Это не понадобится.

— Они очень сильны, уарса, и умеют бросать смерть на много миль и посылают на своих врагов убивающий ветер.

— Самый слабый из моих слуг мог бы коснуться их корабля еще до того, как он опустился на Малакандру, и превратить его в тело с другим движением. Для вас это было бы вообще не тело. Разумеется, никого из вас больше не пустят сюда без моего приказа. Но хватит об этом. Теперь расскажи мне о Тулкандре. Рассказывай все. Мы не знали ничего с того дня, как Порченный упал с небес в воздух вашего мира, пораженный в самый свет своего света. Но почему ты снова испугался?

— Меня ужаснула длина времен, Уарса... Или, может быть, я не понял. Ведь ты сказал, что это случилось до того, как на Тулкандре появилась жизнь?

— Да.

— А ты, Уарса? Значит, ты жил... а тот рисунок на камне, где холод убивает их на харандре? Это было еще до начала моего мира?

— Теперь я вижу, что ты все-таки хнау, — сказал голос. — Разумсется, ни один камень, касавшийся в те дни воздуха, не мог сохраниться донныне. Когда изображение стачивалось, его повторяли, и так много-много раз, больше, чем эльдилов у тебя над головой. Но повторяли его точно. В этом смысле картина, которую ты видишь, была закончена, когда ваш мир еще начинался. Впрочем, тебе ни к чему обо всем этом думать. У моего народа есть правило — не говорить слишком много о размерах и числах, даже с сорнами. Раз ты не понимаешь, не стоит на этом сосредоточиваться, иначе можешь не заметить поистине великого. Расскажи мне лучше, что совершил Малельдил на Тулкандре.

— Согласно нашим преданиям... — начал было Рэнсом, но в этот момент торжественную неподвижность собрания нарушило неожиданное вторжение.

Со стороны переправы к роше двигалась внушительная группа, почти целая процессия. Насколько Рэнсом мог разглядеть, она состояла из одних хроссов, и они что-то несли.

XIX

Когда процессия приблизилась, Рэнсом увидел, что идущие впереди несут на головах три длинные узкие ноши, каждую по четыре хросса. За ними следовали другие, с гарпунами, и вели за собой двух существ, которых Рэнсом не узнал. Когда они показались в дальнем конце аллеи, свет бил им в спину. Они были намного короче всех известных Рэнсому малакандрийских животных и, по всей видимости, двуногие, хотя нижние конечности, толстые, как сардельки, ногами можно было назвать лишь с натяжкой. Тела слегка сужались кверху, что придавало им сходство с грушей, а голова была не круглой, как у хроссов, и не вытянутой, как у сорнов, а почти квадратной. Они топали узкими, увесистыми ступнями, вдавливая их в землю с какой-то излишней силой. Наконец стали видны их лица — неровно окрашенные куски плоти в буграх и складках, обрамленные темной щетиной. И вдруг с неописуемым волнением Рэнсом понял, что это люди. Да, пленниками были Уэстон и Дивайн, и ему было дано на одно мгновение увидеть человека глазами малакандрийца.

Идущие впереди приблизились к Уарсе на расстояние нескольких ярдов и опустили свою ношу на землю. Тут Рэнсом увидел, что носилки — из неизвестного ему металла, а на них — три мертвых хросса; они лежали на спине и застывшим взглядом (им не закрыли глаза, как принято делать на Земле) недоуменно смотрели на высокий золотой купол ронци. Рэнсом скорее угадал, что один из них — Хьои, но сразу узнал его брата Хьяхи в хроссе, который отделился от толпы и, почтительно приветствовав Уарсу, начал говорить.

Поначалу Рэнсом не слушал — его внимание было приковано к Уэстону и Дивайну. Безоружные, они стояли под бдительной охраной вооруженных хроссов. Оба, как и сам Рэнсом, не брились со дня высадки, оба были бледными и изможденными. Уэстон стоял, скрестив руки на груди, и всем своим видом изображал безысходное отчаяние. Дивайн засунул руки в карманы с мрачной яростью на лице. Конечно, оба считали, что у них есть все основания для страха, и, надо отдать им должное, не спасовали перед опасностью. Окруженные стражей, они были поглощены происходящим и не заметили Рэнсома.

До него наконец стали доходить слова Хьяхи:

— Может быть, Уарса, смерть этих двоих и можно простить человекам — ведь они очень испугались, когда мы ночью напали на них. Скажем, это была охота и двое погибли, как в битве с хнакрой. Но Хьои не сделал им ничего плохого и не пугал их, а они убили его издали, оружием тросов. И вот он лежит здесь, а ведь он — хнакрапунт и замечательный поэт. Я говорю так не потому, что он был мне братом, — это знает весь хандрамит.

И тогда пленники впервые услышали голос Уарсы.

— Почему вы убили моих хнау? — спросил он.

Уэстон и Дивайн стали тревожно озираться.

— Господи! — воскликнул по-английски Дивайн. — Ни за что не поверю, что у них тут громкоговоритель.

— Чревовешание, — ответил Уэстон хриплым шепотом. — Сплошь и рядом среди дикарей. Колдун-врачеватель или знахарь делает вид, что впал в транс. Определим, кто знахарь, и будем обращаться все время к нему. Он поймет, что мы его раскусили, и собьется. Попытайтесь понять, кто из этих тварей в транс... Черт меня дерит, засек!

Нельзя отказать Уэстону в проникательности — он обратил внимание на единственного, кто не стоял в благоговейной позе, а сидел на корточках, прикрыв глаза. Это был пожилой хросс прямо рядом с ним. Шагнув к нему, Уэстон вызывающе прокричал (язык он знал очень плохо):

— Зачем отбирали наш пиф-паф? Мы очень сердиться. Мы не бояться.

Он думал, что это произведет большое впечатление. К несчастью, теорию его никто не разделял. Старик — его прекрасно знали все, не исключая и Рэнсома, — прибыл не с траурной процессией, а гораздо раньше. Разумеется, он и не думал выказывать неуважение к Уарсе; просто еще до начала церемонии он плохо себя почувствовал, что в этом возрасте обычно для всех хнау, а теперь, когда приступ миновал, наслаждался глубоким сном. От крика у него только дернулся ус, но глаза он не открыл.

Снова раздался голос Уарсы.

— Почему ты обращаешься к нему? — сказал он. — Это я спрашиваю, почему вы убили моих хнау.

— Отпускай нас, потом отвечать, — ревел Уэстон над спящим хроссом. — Ты думать, мы без силы! Думать, ты делать, что хотеть. Ты не мочь. Большой сильный человек с неба нас посылать. Ты не делать, что мы хотеть, — он приходит, всех вас убивать. Пиф! Паф!

— Я не понимаю, что значит «пиф-паф», — сказал голос. — Почему ты убил моих хнау?

— Скажите, что это вышло нечаянно, — зашептал Дивайн по-английски.

— Я же вам говорил, — ответил ему Уэстон, — с гуземцами так нельзя. Стоит проявить слабость — тут же горло перегрызут. Они понимают только угрозы.

— Ладно, валяйте, — пробурчал Дивайн. Он явно терял доверие к своему компаньону.

Уэстон прочистил горло и снова напустился на старого хросса.

— Мы его убивать! — надрывался он. — Показывать, что мы мочь! Кто не делать, что мы говорить, мы его убивать! Пиф-паф! Вы делать, что мы говорить, а мы вам давать красивый вещь. Смотри! Смотри! — И, к вящему ужасу Рэнсома, Уэстон выхватил из кармана дешевые разноцветные бусы и принялся размахивать ими перед носом своих стражей, медленно кружа на месте и вопя: — Хорош! Хорош! Смотри! Смотри!

Результаты превзошли все его ожидания. Целая буря звуков, которых и не слышало ухо человека, взорвала тишину священ-

ного места и разбудила эхо далеких гор. Хроссы лаяли, пфифльт-ригги пищали, сорны гудели, и в воздухе слабо, но явственно звенели голоса эльдилов. К чести Уэстона надо сказать, что он, хотя и побледнел, самообладания не утратил.

— Вы не кричать на меня! — загремел он. — Не запугать! Я вас не бояться!

— Не обижайся на них, — сказал Уарса, и даже голос его стал иным. — Они не кричат на тебя, они смеются.

Но Уэстон не знал, как по-малакандрийски «смеяться»; впрочем, он и на любом языке не вполне понимал смысл этого слова. Рэнсом, стораая от стыда, готов был молиться, чтобы он прекратил эксперимент, — но он плохо знал Уэстона. Тот ждал, чтобы шум улегся. Он знал, что в точности следует правилам обращения с дикарями — запугать, потом уластить, — и был не из тех, у кого опустятся руки от одной-двух неудач. Поэтому он снова завергелся на месте, как детский волчок при замедленной съемке, вытирая левой рукой пот со лба, — в правой были бусы. Зрителей охватил новый приступ хохота, совершенно заглушивший его увещевания, и лишь по движению губ можно было догадаться, что он все орет: «Хорош! Хорош!» Вдруг смех стал чуть ли не вдвое громче. Сами звезды были против Уэстона. В его ученой голове всплыло туманное воспоминание, как давным-давно он развлекал годовалую племянницу — и, наклонив голову набок, он стал выделывать странные, почти танцевальные па. Насколько Рэнсом слышал, приговаривал он что-то вроде: «У-тю-тю-тю!»

Наконец крупнейший физик изнемог и остановился. Такого представления Малакандра еще не видела и встретила шумным восторгом. Когда все умолкли, Рэнсом услышал, что Дивайн говорит по-английски:

— Уэстон, ради бога, перестаньте корчить шута. Сами видите — ничего не выйдет.

— Да, что-то не выходит, — признал Уэстон. — Вероятно, они тупее, чем мы предполагали. Как вы думаете, стоит еще раз попробовать? А может, теперь вы?

— А, черт! — простонал Дивайн, отвернулся, уселся прямо на землю, достал портсигар и закурил.

— Дам-ка я это колдуну, — сказал Уэстон и, воспользовавшись тем, что все замороженно следили за действиями Дивайна, беспрепятственно приблизился к пожилому хроссу, чтобы надеть ему бусы на шею. Но и это ему не удалось — голова у хросса была слишком велика, так что они застряли и получили какой-то венец набекрень. Хросс повел головой, как собака, потревоженная мухой, немного всхрапнул и не проснулся.

Тогда голос Уарсы обратился к Рэнсому:

— Может быть, твои собратья обделены рассудком, Рэнсом с Тулкандры, или слишком боятся меня?

— Нет, Уарса, — сказал Рэнсом. — По-моему, они не могут поверить, что ты здесь, и думают, что все эти хнау — маленькие дети. Толстый человек пытается их напугать, а потом задобрить подарками.

Услышав Рэнсома, пленники разом обернулись. Уэстон открыл было рот, но Рэнсом опередил его и сказал по-английски:

— Уэстон, это не обман. Это голос реального существа, оно стоит там, где, если присмотришься, виден свет или что-то вроде света. Оно не менее разумно, чем мы, люди, и, кажется, живет невероятно долго. Перестаньте вести себя с ним как с ребенком, отвечайте ему. Я бы вам посоветовал не лгать и не орать.

— Похоже, у этих тварей хватило ума, чтобы спеться с вами, — пробурчал Уэстон. Тем не менее, когда он снова обратился к спящему хроссу, не в силах расстаться со своей навязчивой идеей, голос его звучал иначе.

— Мы не хотим убивать, — сказал он, указывая на Хьои. — Да, да, не хотим. Сорны нам велеть приводить человек, его дать для большая голова. Мы уходить назад в небо. Он приходит, — тут оратор указал на Рэнсома, — с нами. Он очень порченный, он убегать, не слушать сорнов, как мы. Мы за ним бежать, приводить сорнам — пусть делать, что мы говорить, что сорны говорить, ясно? Он нас не слушать. Убегать, убегать. Мы бежать за ним, видеть большой черный, думать он нас убивать, мы его убивать — пиф-паф! Все порченный человек. Он не убегать, хороший быть — мы за ним не бежать, черного не уби-

вать! Вы порченный братъ — он делать беду — вы его братъ, нас отпустить. Он вас бояться, мы не бояться. Слушай...

В этот момент непрерывные вопли Уэстона произвели наконец тот эффект, которого он так упорно добивался. Спящий открыл глаза и кротко посмотрел на него в некотором замешательстве. Потом, постепенно осознав свою вину, медленно выпрямился, отвесил Уарсе почтительный поклон и заковылял прочь, так и не заметив сползшего на ухо венца. А Уэстон все еще с открытым ртом провожал растерянным взглядом удаляющуюся фигуру, пока она не скрылась между стеблями роши.

И снова голос Уарсы прервал тишину:

— Мы достаточно повеселились. Пора услышать правдивые ответы на все вопросы. У тебя что-то не в порядке с головой, хнау с Тулкандры. В ней слишком много крови. Здесь ли Фирикитекила?

— Здесь, Уарса,— отозвался один пфифльтригг.

— У тебя есть в цистернах вода, в которую впущен холод?

— Да, Уарса.

— Пусть тогда этого плотного хнау отведут в гостиницу и опустят его голову в холодную воду. Много раз, и побольше воды. Потом приведите его назад. А мы тем временем позаботимся о мертвых храссах.

Уэстон не совсем понял, что говорит голос,— он все еще пытался определить его источник. Но когда его подхватили и повлекли куда-то сильные руки храссов, он испытал настоящий ужас. Рэнсом хотел крикнуть ему вслед что-нибудь ободряющее, но Уэстон вопил так, что ничего бы не услышал. Он смешился английский с малакандрийским, и последнее, что донеслось до Рэнсома, был пронзительный крик:

— Поплатитесь за это... лиф-паф!.. Рэнсом, ради бога... Рэнсом! Рэнсом!

— А теперь,— сказал Уарса, когда настала тишина,— давай-те почтим моих мертвых хнау.

При этих словах десять храссов вышли вперед к носилкам. Они подняли головы и, хотя никто не подавал им знака, запели.

Когда впервые знакомишься с новым искусством, то, что вначале казалось бессмысленным, в какой-то миг вдруг приподнимает край завесы над тайной, и один краткий взгляд на скрытые внутри неистожимые возможности повергает вас в восторг, с каким не сравнится никакое последующее, сколь угодно искусшенное понимание частностей.

И для Рэнсома настал такой момент, когда он слушал малакандрийское пение; он понял, что эти ритмы порождены иною кровью, чем наша, быстрее бьющимся сердцем и большим жаром. Узнав и полюбив этот народ, теперь он хоть немного услышал их музыку их ушами. С первыми тактами гортанной песни перед ним возникли огромные глыбы, мчащиеся на немислимой скорости, пляшущие великаны, вечная скорбь, вечное утешение и еще что-то неясное, но бесконечно близкое. Душа его исполнилась благоговения, словно райские врата открылись перед ним.

— Пусть уйдет тело, — пели хроссы. — Пусть уйдет, растворится, и не станет его. Урони, освободи, вырони тихо, как пальцы склонившегося над водой роняют камень. Дай ему упасть, утонуть, исчезнуть. Там, под покровом, ничто ему не помешает, ибо в воде нет слоев, она едина и нераздельна. Отправь его в путь, из которого нет возврата. Дай ему опуститься, из него поднимутся хнау. Это — вторая жизнь, другое начало. Откройся, о пестрый мир, неведомый, безбрежный! Ты — второй, и лучший; этот, первый, — немощен. Когда внутри миров был жар, в них рождалась жизнь, но то были бледные цветы, темные цветы. Мы видим их детей — они растут вдали от солнца, в местах печальных. Потом небеса породили другие миры, в них — дерзновенные вьюны, ярковолосые леса, ланиты цветов. Первое — темней, второе — ярче. Первое — от миров, второе — от солнца.

Вот примерно то, что Рэнсому удалось запомнить и перевести. Когда песнь кончилась, Уарса сказал:

— Рассыпем движения, которые были их телами. Так рассеет и Малельдил все миры, когда истощится первое, немощное.

Он дал знак одному из пфифльтриггов, тот поднялся и пошел к покойным. Хроссы, отступив шагов на десять, опять запели, но тихо, почти неслышно. Пфифльтригг дотронулся до каждого из мертвых небольшим стеклянным то ли хрустальным предметом, потом по-лягушечьи отпрыгнул. От ослепительного света Рэнсом зажмурился, в лицо ему будто ударил сильный ветер, но лишь на долю секунды. Потом все стихло, гробы оказались пустыми.

— Господи, как бы эта штука пригодилась на Земле! — сказал Дивайн Рэнсому. — Представляете, убийце и думать не надо, куда девать труп!

Рэнсом думал о Хьои и не ответил ему. Он бы и не успел ничего сказать — показались стражи, ведущие злосчастного Уэстона, и все обернулись к ним.

XX

Хросс, возглавлявший процессию, был совестлив и сразу начал беспокойно оправдываться.

— Надеюсь, мы поступили правильно, Уарса, — сказал он. — Но мы не уверены. Мы окунали его головой в холодную воду, а на седьмой раз с головы что-то упало. Мы подумали, это верхушка головы, но тут увидели, что это крышечка из чьей-то кожи. Одни стали говорить, что мы уже исполнили твою волю, окунули семь раз, а другие говорили — нет. Тогда мы еще семь раз окунули. Надемся, все правильно. Оно много разговаривало, особенно перед вторыми погружениями, но мы ничего не поняли.

— Вы сделали очень хорошо, Хноо, — сказал Уарса. — Отойдите, чтобы я его видел. Я буду говорить с ним.

Стражники распались на обе стороны. Бледное лицо Уэстона покраснело от холодной воды, как спелый помидор, а волосы, не стриженные с тех пор, как он прибыл на Малакандру, прямыми гладкими прядями прилепились ко лбу. С носа и ушей стекала вода. Зрители, не знающие земной физиогномики, не поняли, что выражает это лицо, но именно так выгля-

дел бы храбрец, который очень страдает за великое дело и скорее стремится к самому худшему, чем боится его. Чтобы объяснить его поведение, вспомним, что в это утро он уже вынес все ужасы приготовления к мученичеству и четырнадцать холодных душей. Дивайн знал своего приятеля и прокричал по-английски:

— Спокойно, Уэстон. Эти черти способны расщепить атом, если не хуже того. Говорите с ними осторожно, не порите ерунды.

— Ха! — сказал Уэстон. — Вы теперь у них за своего?

— Тихо, — раздался голос Уарсы. — Ты, Плотный, ничего не рассказал мне о себе, и я сам тебе расскажу. В своем мире ты хорошо разобрался в телах и смог сделать корабль, способный пересечь небеса; но во всем остальном у тебя ум животного. Когда ты в первый раз пришел сюда, я послал за тобою, чтобы оказать тебе честь. Ты же испугался, ибо ты темен и невежествен, и решил, что я желаю тебе зла, и пошел как зверь против зверя другой породы, и поймал в ловушку этого Рэнсома. Ты собрался предать его злу, которого боялся сам. Увидев его здесь, ты хотел второй раз отдать его мне, чтобы спасти себя. Вот как ты поступаешь со своим собратом. А что ты предназначил моему народу? Нескольких ты уже убил. Пришел ты, чтобы убить всех. Для тебя все равно, хнау это или нет. Сперва я думал, что тебя заботит только, есть ли у существа тело, подобное твоему; но у Рэнсома оно есть, а ты готов убить и его так же легко, как моих хнау. Я не знал, что Порченный столько натворил в вашем мире, и до сих пор не могу этого понять. Будь ты моим, я бы развоплотил тебя, здесь, сейчас. Не безрассудствуй; моею рукой Малельдил творит и большее, и я могу развоплотить тебя даже там, на самой границе твоего мира. Но пока я еще не решил. Говори. Я хочу увидеть, есть ли у тебя хоть что-нибудь, кроме страха, и смерти, и страсти.

Уэстон обернулся к Рэнсому.

— Вижу, — сказал он, — что для своего предательства вы выбрали самый ответственный момент в истории человечества.

Затем он повернулся к голосу.

— Знаю, ты убить нас, — сказал он. — Мне не страшно. Другие идут, делают этот мир наш.

Дивайн вскочил и перебил его.

— Нет, нет, Уарса! — закричал он. — Не слушать его. Он очень глупый, он бред. Мы маленькие люди, только хотим кровь капли Солнца. Ты дать нам много кровь капли Солнца, мы уйти в небо, ты нас видеть никогда. И все. Ясно?

— Тихо, — сказал Уарса.

Почти неуловимо изменился свет, если можно назвать светом то, откуда шел голос, и Дивайн съехался и снова упал на землю. Когда он опять сел, он был бледен и дышал тяжело.

— Продолжай, — сказал Уарса Уэстону.

— Мне нет... нет... — начал Уэстон по-малакандрийски, но запнулся. — Ничего не могу сказать на их проклятом языке!

— Говори Рэнсому, он переложит на наш язык, — сказал Уарса.

Уэстон сразу согласился. Он был уверен, что настал его смертный час, и твердо решил высказать все, что всерьез занимало его помимо науки. Он прочистил горло, встал в позу оратора и начал:

— Быть может, я кажусь тебе просто разбойником, но на моих плечах судьбы будущих поколений. Ваша первобытная, общинная жизнь, орудия каменного века, хижины-ульи, примитивные лодки и неразвитая социальная структура не идут ни в какое сравнение с нашей цивилизацией — с нашей наукой, медициной и юриспруденцией, нашей армией, нашей архитектурой, нашей торговлей и нашей транспортной системой, которая стремительно уничтожает пространство и время. Мы вправе вытеснить вас — это право высшего по отношению к низшему. Жизнь...

— Минутку, — сказал Рэнсом по-английски. — Я больше не смогу в один прием.

Повернувшись к Уарсе, он стал переводить как мог. Ему было трудно, получалось плохо, примерно так:

— У нас, Уарса, есть такие хнау, которые забирают еду и... и вещи у других хнау, когда те не видят. Он говорит, что он —

не такой. Он говорит, то, что он сейчас делает, изменит жизнь тем нашим людям, которые еще не родились. Он говорит, что у вас хнау одного рода живут все вместе, а у хроссов копыа, которые у нас были очень давно, а хижины у вас маленькие и круглые, а лодки маленькие и легкие, как у нас раньше, и у вас только один правитель. Он говорит, что у нас по-другому. Он говорит, что мы много знаем. Он говорит, что в нашем мире тело живого существа ощущает боль и слабеет, и мы иногда знаем, как это остановить. Он говорит, что у нас много порченных людей, и мы их убиваем или запираем в хижины, и у нас есть люли, которые улаживают ссоры между порченными хнау из-за хжин, или подрут, или вещей. Он говорит, что мы знаем много способов, которыми хнау одной страны могут убивать хнау другой страны, и некоторые специально этому учатся. Он говорит, что мы строим очень большие и крепкие хижины — как пфифльтригги. Еще он говорит, что мы обмениваемся вещами и можем перевозить тяжелые грузы очень быстро и далеко. Вот почему, говорит он, если наши хнау убьют всех ваших хнау, это не будет порченным поступком.

Как только Рэнсом кончил, Уэстон продолжал:

— Жизнь величественней любой моральной системы, ее запросы абсолютны. Не согласуясь с племенными табу и прописными истинами, она идет неудержимым шагом от амебы к человеку, от человека — к цивилизации.

— Он говорит, — перевел Рэнсом, — что живые существа важнее вопроса о том, порченное действие или хорошее... — нет, так не может быть, он говорит, лучше быть живым и порченным, чем мертвым... нет, он говорит... он говорит... не могу, Уарса, сказать на вашем языке, что он говорит. Ну, он говорит, что только одно хорошо: чтобы было много живых существ. Он говорит, что до первых людей было много других животных, и те, кто позже, лучше тех, кто раньше; но рождались животные не оттого, что старшие говорят младшим о порченных и хороших поступках. И он говорит, что эти животные совсем не знали жалости.

— Она... — начал Уэстон.

— Прости, — перебил Рэнсом, — я забыл, кто «она».

— Жизнь, конечно,— огрызнулся Уэстон.— Она безжалостно ломает все препятствия и устраняет все недостатки, и сегодня в своей высшей форме — цивилизованном человечестве — и во мне как его представителе она совершает тот межпланетный скачок, который, возможно, вынесет ее навсегда за пределы смерти.

— Он говорит,— продолжал Рэнсом,— что эти животные научились делать много трудных вещей, а некоторые не смогли научиться и умерли, и другие животные не жалели о них. И он говорит, что сейчас самое лучшее животное — это такой человек, который строит большие хижины и перевозит тяжелые грузы и делает все остальное, о чем я рассказывал, и он — один из таких, и он говорит, что если бы все остальные знали, что он делает, им бы понравилось. Он говорит, что если бы он мог всех вас убить и поселить на Малакандре наших людей, то они могли бы жить здесь, если бы с нашим миром что-нибудь случилось. А если бы что-нибудь случилось с Малакандрой, они могли бы пойти и убить всех хнау в каком-нибудь другом мире. А потом — еще в другом, и так они никогда не вымрут.

— Во имя ее прав,— сказал Уэстон,— или, если угодно, во имя могущества самой Жизни, я готов не дрогнув водрузить флаг человека на земле Малакандры: идти вперед шаг за шагом, вытесняя, где необходимо, низшие формы жизни, заявляя свои права на планету за планетой, на систему за системой до тех пор, пока наше потомство — какую бы необычную форму и непредсказуемое мировоззрение оно ни обрело — не распространится по Вселенной везде, где только она обитаема.

— Он говорит,— перевел Рэнсом,— что это не будет порочным поступком, то есть он говорит, так можно поступить — ему убить всех вас и переселить сюда нас. Он говорит, что ему не будет вас жалко. И опять он говорит, что они, видимо, смогут передвигаться из одного мира в другой и всюду, куда придут, будут всех убивать. Думаю, теперь он уже говорит о мирах, вращающихся вокруг других солнц. Он хочет, чтобы существа, рожденные от нас, были повсюду, где только смогут. Он говорит, что не знает, какими будут эти существа.

— Я могу оступиться,— сказал Уэстон,— но, пока я жив и держу в руках ключ, я не соглашусь замкнуть врата будущего для своей расы. Что в этом будущем — мы не знаем и не можем вообразить. Мне достаточно того, что есть высшее.

— Он говорит,— перевел Рэнсом,— что будет все это делать, пока вы его не убьете. Он не знает, что станет с рожденными от нас существами, но очень хочет, чтобы это с ними стало.

Закончив свою речь, Уэстон оглянулся — на земле он обычно плюхался на стул, когда начинались аплодисменты. Но стула не было, а он не мог сидеть на земле, как Дивайн, и скрестил руки на груди.

— Хорошо, что я тебя выслушал,— сказал Уарса.— Хотя ум твой слаб, воля не такая порченная, как я думал. Ты хочешь сделать все это не для себя.

— Да,— гордо сказал Уэстон по-малакандрийски.— Мне умереть. Человек жить.

— И ты понимаешь, что эти существа должны быть совсем не такими, как ты, чтобы жить в других мирах.

— Да, да. Все новые. Никто еще не знает. Странный! Большой!

— Значит, не форму тела ты любишь?

— Нет. Мне все равно, как форму.

— Казалось бы, ты печешься о разуме. Но это не так, иначе ты любил бы хнау, где бы его ни встретил.

— Все равно — хнау. Не все равно — человек.

— Если это не разум, подобный разуму других хнау,— ведь Малельдил создал нас всех; если не тело — оно изменится; если тебе безразлично и то и другое, что же называешь ты человеком?

Это пришлось перевести. Уэстон ответил:

— Мне забота — человек, забота наша раса, что человек порождает.

Как сказать «раса» и «порождать», он спросил у Рэнсома.

— Странно! — сказал Уарса.— Ты любишь не всех из своей расы, ведь ты позволил бы мне убить Рэнсома. Ты не любишь ни разума, ни тела своей расы. Существо угодно тебе, только

если оно твоего рода — такого, каков ты сейчас. Мне кажется, Плотный, ты на самом деле любишь не законченное существо, а лишь семя. Остается только оно.

— Ответьте,— сказал Уэстон, когда Рэнсом это перевел,— что я не философ. Я прибыл не для отвлеченных рассуждений. Если он не понимает — как и вы, очевидно,— таких фундаментальных вещей, как преданность человечеству, я ничего не смогу ему объяснить.

Рэнсом не сумел это перевести, и Уарса продолжал:

— Я вижу, тебя очень испортил повелитель Безмолвного мира. Есть законы, известные всем хнау,— жалость, и прямодушные, и стыд, и приязнь. Один из них — любовь к себе подобным. Вы умеете нарушать все законы, кроме этого, хотя он как раз не из главных. Но и его извратили вы так, что он стал безумием. Он стал для вас каким-то маленьким слепым уарсой. Вы повинуетесь ему, хотя, если спросить вас, почему это — закон, вы не объясните, как не объясните, почему нарушаете другие, более важные законы. Знаешь ли ты, почему он это сделал?

— Мне думать, такого нет. Мудрый, новый человек не верить старая сказка.

— Я скажу тебе. Он оставил вам этот закон, потому что порченный хнау может сделать больше зла, чем сломанный. Он испортил тебя, а вот этого, Скудного, который сидит на земле, он сломал — он оставил ему только алчность. Теперь он всего лишь говорящее животное и в моем мире сделал не больше зла, чем животное. Будь он моим, я бы развоплотил его, потому что хнау в нем уже мертв. А будь моим ты, я постарался бы тебя излечить. Скажи мне, Плотный, зачем ты сюда пришел?

— Я сказать — надо человек жить все время.

— Неужели ваши мудрецы так невежественны и не знают, что Малакандра старше вашего мира и ближе к смерти? Мой народ живет только в хандрамитах; тепла и воды было больше, а станет еще меньше. Теперь уже скоро, очень скоро я положу конец моему миру и возвращу мой народ Малельдилу.

— Мне знать это много. Первая попытка. Скоро идти другой мир.

- Известно ли тебе, что умрут все миры?
- Люди уйти прежде умрет — опять и опять. Ясно?
- А когда умрут все?

Уэстон молчал. Уарса заговорил снова:

— И ты не спрашиваешь, почему мой народ, чей мир стар, не решил прийти в ваш мир и взять его себе?

— Хо-хо! — сказал Уэстон. — Не знать, как.

— Ты не прав, — сказал Уарса. — Много тысяч тысячелетий тому назад, когда в вашем мире еще не было жизни, на мою харандру наступала холодная смерть. Я очень беспокоился — не из-за смерти моих хнау, Малельдил не создает их долгожителями, а из-за того, что повелитель вашего мира, еще не сдерживаемый ничем, вложил в их умы. Он хотел сделать их такими, как ваши люди, которые достаточно мудры, чтобы предвидеть близкий конец своего рода, но недостаточно мудры, чтобы вынести его. Они готовы были следовать порченным советам. Они могли построить неболеты. Малельдил остановил их моею рукой. Некоторых я излечил, некоторых развоплотил...

— И смотри, что стало! — перебил Уэстон. — Сидеть в хандрамитах, скоро все умереть.

— Да, — сказал Уарса. — Но одно мы забыли — страх, а с ним — убийство и ропот. Слабейший из моих людей не страшится смерти. Это только Порченный, повелитель вашего мира, растрчивает ваши жизни и оскверняет их бегством от того, что вас настигнет. Будь вы подданными Малельдила, вы жили бы радостно и покойно.

Уэстон сморщился от раздражения. Он очень хотел говорить, но не знал языка.

— Вздор! Пораженческий вздор! — по-английски закричал он и, выпрямившись в полный рост, добавил по-малакандрийски: — Ты говоришь, твой Малельдил вести всех умирать. Другой, Порченный — бороться, прыгать, жить. Плевал ваш Малельдил. Порченный лучше, моя его сторона.

— Разве ты не видишь, что он не станет и не сможет... — начал Уарса, но замолчал, как бы собираясь с мыслями. — Нет, я должен больше узнать о вашем мире от Рэнсома, а для это-

го мне понадобится остаток дня. Я не буду убивать тебя, да и Скудного, ибо вы — вне моего мира. Завтра ты отправишься отсюда в своем корабле.

Лицо Дивайна вдруг вытянулось. Он быстро заговорил по-английски:

— Ради бога, Уэстон, объясните ему. Мы здесь пробыли несколько месяцев, Земля теперь не в противостоянии. Скажите ему, что это невозможно. Лучше уж сразу нас убить.

— Как долго вам лететь до Тулкандры? — спросил Уарса.

Уэстон, пользуясь переводом Рэнсома, объяснил, что лететь почти невозможно. Расстояние увеличилось на миллионы миль. Угол их курса по отношению к солнечным лучам будет сильно отличаться от того, на который он рассчитывал. Даже если у них есть один шанс из ста попасть на Землю, запасы кислорода почти наверное истощатся еще в пути.

— Скажите ему, чтобы сразу нас убил, — добавил он.

— Мне все это известно, — сказал Уарса. — Если вы останетесь в моем мире, я должен вас убить, я не потерплю таких существ на Малакандре. Да, шансов вернуться в свой мир у вас немного; но немного — не значит «ничего». Выберите время отлета от нынешней минуты до следующей луны. А пока что скажите, сколько времени, самое большее, вам лететь?

После долгих вычислений Уэстон дрожащим голосом ответил: если за девяносто дней это не выйдет, не выйдет вообще. Мало того, они к этому времени уже умрут от удушья.

— Девяносто дней у вас будет, — сказал Уарса. — Мои сорны и пфильтрипти дадут вам воздух (мы владеем и этим искусством) и пищу на девяносто дней. Но они сделают кое-что и с вашим кораблем. Я не хотел бы возвращать его в небо после того, как он сядет на Тулкандру. Тебя, Плотный, не было тут, когда я развоплотил моего храсса, которого ты убил. Скудный расскажет тебе. Я это делать могу — иногда, в некоторых местах. Меня учил Малельдил. Прежде чем ваш неболет поднимется, мои сорны кое-что сделают с ним. Через девяносто дней он развоплотится и станет тем, что у вас называется «ничто». Если этот день достигнет его в небе, ваша смерть не станет гор-

ше; но уходите из корабля, как только опуститесь на Тулкандру. Теперь уведите этих двоих, а сами, дети мои, идите куда хотите. Мне надо поговорить с Рэнсомом.

XXI

Всю вторую половину дня Рэнсом отвечал на вопросы. Мне не позволено записывать этот разговор, кроме заключительных слов Уарсы:

— Ты раскрыл передо мною больше чудес, чем известно во всем небесном мире.

После этого они говорили о самом Рэнсоне. Ему был предоставлен выбор: остаться на Малакандре или отважиться на отчаянное путешествие к Земле. Он долго, мучительно думал и в конце концов решил отдаться на произвол судьбы вместе с Уэстоном и Дивайном.

— Любовь, как ее понимаем мы, — сказал он, — это не самый главный закон. Но ты, Уарса, говоришь, что это закон. Если мне не жить на Тулкандре, лучше мне совсем не жить.

— Ты сделал правильный выбор, — сказал Уарса, — и я скажу тебе две вещи. Мои люди заберут все чужеродные орудия с корабля, но одно оставят тебе. И эльдилы Глубоких Небес будут рядом с вашим кораблем до самого воздуха Тулкандры, а порой и после. Они не позволят двум другим убить тебя.

Рэнсому в голову не приходило, что Уэстон и Дивайн могут убить его, чтобы сэкономить пищу и кислород, и он поблагодарил Уарсу. Потом великий эльдил отпустил его, сказав:

— Во зле ты не повинен, Рэнсом, повинен лишь в боязливости. Путешествием этим ты наказываешь себя сам, а быть может, излечиваешь: тебе придется или сойти с ума, или быть храбрым. Но я налагаю на тебя обязательство: ты не должен спускать глаз с Уэстона и с Дивайна даже там, у вас. Они могут натворить много зла и в вашем мире, и вне его пределов. Из твоих рассказов я понял, что есть эльдилы, опускающиеся в ваш воздух, прямо в самый оглот Порченого. Ваш мир не наглухо закрыт, как думали мы в нашей части небес. Смотри за этими дву-

мя порченными. Будь храбр. Не уступай им. Если будет нужно, кто-то из наших придет на помощь, тебе их покажет Малельдил. Может статься даже, мы снова встретимся, пока ты еще во плоти; ведь не без промысла Малельдила мы повстречались с тобой сейчас, и я столькому от тебя научился. Наверное, это начало новых переходов между небесами и мирами и из миров в миры — хотя и не так, как надеялся Плотный. Мне позволено сказать тебе, что году, в котором мы сейчас — однако небесные годы не совпадают с вашими, — суждено стать годом потрясений и огромных перемен. Осада Тулкандры близится к концу. Грядут великие события. Если Малельдил не запретит мне, я не останусь в стороне. А теперь — прощай.

Сквозь огромную толпу разнообразных обитателей Малакандры прошли на следующий день три человеческих существа, начиная свой страшный путь. Уэстон был бледным и осунувшимся после ночи, проведенной за вычислениями, достаточно запутанными для любого математика, даже если бы от них и не зависела его жизнь. Дивайн вел себя шумно и беспечно до истерики. За эту ночь он изменил свое мнение о Малакандре благодаря открытию, что «туземцы» умеют изготавливать алкогольный напиток. Он даже попробовал научить их курить, но хоть как-то восприняли это только пфифльтригги. У него треснула голова, впереди маячила смерть, и он за все разом отыгрывался на Уэстоне. Оба партнера возмутились, что из космического корабля убрали оружие, но в остальном все соответствовало их пожеланиям. Примерно через час после полудня Рэнсом в последний раз окинул взором голубые воды, багровый лес и зеленые стены знакомого хандрамита вдалеке и последовал за остальными в корабль. Перед тем как закрыть люк, Уэстон предупредил их, что нужно будет экономить воздух: во время полета не двигаться без необходимости, разговоры запретить.

— Я буду говорить только в экстренных случаях, — сказал он.

— А все-таки слава богу, — последнее, что сказал Дивайн.

И они задраили люк.

Рэнсом сразу же пошел вниз, где была его каюта, и растянулся на «окне», поскольку в таком положении все было вверх ногами. Он удивился, очнувшись уже на высоте в несколько

тысяч футов. Хандрамит стал всего лишь багровой линией на розовато-лиловой поверхности. Они находились над стыком двух хандрамитов. Один из них был, очевидно, тот, где жил Рэнсом, другой — где располагался Мельдилорн. Долина, по которой он когда-то срезал угол между хандрамитами, сидя на плечах Эликана, была почти не видна.

С каждой минутой уменьшаясь, хандрамиты все лучше были видны — длинные прямые линии, иногда параллельные, иногда пересекающиеся или образующие треугольники. Ландшафт становился совсем геометрическим. Промежутки между пурпурными линиями казались абсолютно плоскими. Прямо внизу он узнал по розовому цвету замершие леса, а на севере и востоке огромные песчаные пустыни, о которых рассказывали ему сорны, — бесконечные пространства желтизны и охры. На западе показались зеленовато-голубые пятна, как бы утопленные ниже уровня окружающей харандры. Он решил, что это лесистая низменность пфифльтриггов, или, скорее, одна из них, потому что теперь такие же пятна стали появляться везде, то в виде узелков на стыках хандрамитов, то очень протяженные. Получается, что все его знания о Малакандре — сиюминутны, ограничены, односторонни. Как если бы сорн, проделав сорок миллионов миль и попав на Землю, прожил бы там все время между Уртингом и Брайтоном. Он подумал, как мало сможет рассказать о своем потрясающем путешествии, если останется в живых: поверхностное знание языка, несколько пейзажей, смутные сведения из физики, но где же статистика, история, подробный обзор внеземных условий? Вот что надлежало бы привезти с собой из такого путешествия. Например, хандрамиты. Сейчас, с высоты, их геометрическая правильность перечеркивала все его первоначальные впечатления, будто это естественные долины. Нет, это гигантские инженерные сооружения, законченные, похоже, до того, как началась история человечества... до того, как началась история животного мира, а он об этом не узнал ничего! Или все это только мифы? Конечно, это покажется мифом, когда он возвратится на Землю (если возвратится), но в памяти еще так свежо присутствие Уарсы, что пока что сомневаться не приходится. Ему даже пришло в голову,

что за пределами Земли само различие между историей и мифологией не имеет смысла.

Эта мысль загнала его в тупик, и он снова посмотрел на пейзаж внизу, с каждой минутой все больше походивший не на пейзаж, а на диаграмму. К этому времени с востока вдоль красноватой охры малакандрийского мира стало расплываться пятно, гораздо большее и намного более темное, причудливой формы, с длинными руками или рогами, распростертыми в стороны, и чем-то вроде залива между ними, подобного вогнутой стороне полумесяца. Пятно все росло и росло. Казалось, длинные темные руки раскинулись, чтобы охватить всю планету. Вдруг в середине темного пятна он увидел яркую светящуюся точку и понял, что это вовсе не пятно на поверхности планеты, а черное небо, показавшееся за ней. Главная кривая линия очерчивала ее диск. И тут, в первый раз с начала путешествия, его охватил страх. Медленно, но все же не так медленно, чтобы этого нельзя было заметить, темные руки вытягивались все дальше и дальше вокруг светлой поверхности и соединились наконец. Перед ним висел круглый диск в черной раме. Долгое время слышался слабый стук метеоритов; окно, в которое он смотрел, находилось уже не строго внизу. Его руки и ноги, такие теперь легкие, двигались с трудом, и он очень хотел есть. Рэнсом посмотрел на часы. Зачарованный, он просидел на одном месте почти восемь часов.

Он кое-как добрался до солнечной стороны корабля и отшатнулся, почти ослепленный сверканием. Ощупью нашел он темные очки в своей старой каюте и взял себе поесть и попить: Уэстон жестко ограничил их и в том и в другом. Потом он заглянул в рубку управления. Оба партнера замерли перед какой-то металлической пластинкой: на ней было тонкое, чуть-чуть вибрирующее покрытие из кристалликов и мелких проводков. Рэнсома они не заметили. До конца их молчаливого пути корабль оставался в его распоряжении.

Рэнсом вернулся на темную сторону. Покинутый мир висел в усыпанном звездами небе и был не крупнее нашей земной луны. Цвета еще можно было различить: красновато-желтый диск, испещренный зеленовато-голубым и увенчанный белым

на полюсах. Он увидел две крошечные малакандрийские луны — они явно двигались — и подумал, что это лишь тысячная часть того, чего он не замечал, когда был там. Он заснул и проснулся и увидел, что диск все еще висит в небе. Теперь он был меньше Луны. Краски стерлись, остался лишь слабый и равномерный оттенок красноты; даже свет от него был теперь не намного ярче, чем свет бесчисленных звезд. Это была уже не Малакандра; это был всего лишь Марс.

И Рэнсом опять погрузился в рутину сна и наслаждения, перемежая их работой над малакандрийским словарем. Он знал, что шанс поделиться своими знаниями с людьми у него невелик, что их приключения почти наверняка закончатся незаметной гибелью в глубинах космоса. Но он уже не мог называть это «космосом». Были минуты холодного страха; они становились все короче и растворялись в священном трепете, перед которым личная судьба казалась совершенно несущественной. Он не ощущал себя и своих спутников островком жизни, пересекающим пропасть смерти. Наоборот — за пределами маленькой железной скорлупки, в которой они мчались, ждала жизнь, ежеминутно готовая ворваться внутрь, и если она убьет их, то избытком жизненной силы. Он страстно надеялся, что если им суждено погибнуть, то это будет «развоплощение», а не удушье. Выйти, освободиться, раствориться в океане вечного дня — казалось ему порой более желанным, чем вернуться на Землю. И тот душевный подъем, который ощущал он, впервые пересекая небеса, был сейчас в десять раз большим, ибо он верил, что пропасть полна жизни в самом буквальном смысле слова — она полна живых существ.

Доверие к словам Уарсы об эльдилах скорее росло в пути, чем ослабевало. Он не заметил ни одного; свет, в котором плыл корабль, был так ярок, что мимолетные образы и не могли бы обнаружить в нем себя. Но он слышал (или ему казалось, что слышал) разнообразные тихие звуки, а может быть, вибрации, подобные звукам; они сливались с барабанившим дождем метеоритов, и часто трудно было противостоять чувству их неосязаемого присутствия. Вот отчето вопрос, выживет ли он, уже

не имел значения. Как эфемерен, как мал и он сам, и весь род человеческий перед лицом такой неизмеримой полноты. От мысли о реальном населении Вселенной мутилось в голове — от трехмерной бесконечности ее территории, от незапамятной вечности ее прошлого; но сердце его никогда не билось так ровно.

Хорошо, что разум его окреп прежде, чем стали по-настоящему ощущаться все тяготы их путешествия. После отлета с Малакандры температура постоянно поднималась; никогда еще за время их путешествия она не была такой высокой. И она продолжала расти. Свет тоже усиливался. Даже в очках Рэнсом обычно крепко замуривался, приоткрывая глаза только в те короткие промежутки времени, когда двигался. Он знал, что, если вернется на Землю, зрение его будет неизлечимо нарушено. Но все-таки это было ничто по сравнению с пыткой жарой. Все трое бодрствовали двадцать четыре часа в сутки и терпели мучительную жажду, с глазами навывкате, с почерневшими губами, покрытые потом. Увеличивать скудный рацион воды было бы безрассудно, и даже тратить воздух на обсуждение этого вопроса было безрассудством.

Он прекрасно понимал, что происходит. Совершая свой последний рывок к жизни, Уэстон вошел вовнутрь земной орбиты, и они сейчас были ближе к Солнцу, чем когда-либо находился человек, а может быть, и жизнь вообще. Это было неизбежно: нельзя догнать ускользающую Землю, двигаясь по ее собственной орбите. Они пытались идти ей навстречу, перерезать ей путь — сумасшествие! Но этот вопрос его не очень занимал; невозможно было подолгу думать ни о чем, кроме жажды. Думалось о воде; затем думалось о жажде; затем — о мыслях про жажду; затем опять о воде. А температура все росла. К стенам корабля нельзя было притронуться. Было ясно, что наступает кризис. За следующие несколько часов жара убьет их, если не спадет.

Она спала. Настало время им лежать, измученным и дрожащим от того, что казалось холодом, хотя было все еще жарче, чем в любой точке Земли. Итак, Уэстон добился своего: он от-

важился пройти через самую высокую температуру, при которой теоретически возможна человеческая жизнь. и они выжили. Но это были уже не те люди. До сих пор Уэстон очень мало спал, даже если снимал часы; заставив себя отдохнуть часок, он возвращался к своим картам и бесконечным, почти безнадежным вычислениям. Видно было, что он борется с отчаянием, опять и опять с ужасом погружаясь в цифры. Теперь же он на цифры и не глядел, казался даже рассеянным. А Дивайн двигался как сомнамбула. Рэнсом все чаще сидел на темной стороне и часами ни о чем не думал. Несмотря на то что главная опасность была позади, никто из них серьезно не надеялся на благополучный исход. Пятьдесят дней провели они в своей стальной скорлупе, не разговаривая, и воздух был уже очень нехорош.

Уэстон сделался так не похож на самого себя, что даже позволил Рэнсому участвовать в управлении кораблем. Большей частью знаками, несколько слов прошептав, он научил его делать все, что требовалось на этом отрезке пути. Понятно стало, что они спешат домой — хотя и мало шансов успеть в срок, — пользуясь чем-то вроде космического пассата. Несколько простых приемов управления позволяли Рэнсому держать курс на звезду в центре верхнего смотрового стекла, но левую руку он не снимал с кнопки звонка в каюту Уэстона.

Звездой этой была не Земля. Количество дней — чисто теоретических «дней», важных для наших путешественников, — возросло до пятидесяти восьми, и тогда Уэстон изменил курс, поставив в центр смотрового стекла другое светило. Шестидесять дней — и стала различима какая-то планета. Шестидесять шесть — и она стала видна, как в полевой бинокль. Семьдесят — и она стала не похожей ни на что из того, что Рэнсому доводилось видеть. — маленький сверкающий диск размером больше любой планеты, но гораздо меньше Луны. Теперь, когда он управлял кораблем, его благоразумие пошатнулось. В нем пробудилась дикая, животная жажда жить и томительная тоска по свежему воздуху, запаху земли, по траве, мясу, пиву, чаю, человеческому голосу. Сначала самым трудным на дежурстве было преодолеть дремоту; теперь, хотя воздух стал хуже, лихорадочное возбуждение делало его бдительным. Часто после дежурства пра-

вая рука у него немела от напряжения: часами он, сам того не сознавая, давил ею на пульт управления, будто мог этим добавить скорости кораблю.

Оставалось двадцать дней пути. Девятнадцать, восемнадцать — и на белом земном диске, который был уже немного больше шестипенсовика, он мог различить, как ему казалось, Австралию и юго-восточный угол Азии. Проходил час за часом, и, хотя эти очертания медленно перемещались по диску в соответствии с суточным оборотом Земли, сам диск не увеличивался. «Скорее! Скорее!» — шептал Рэнсом кораблю. Осталось десять суток. Земля стала как Луна и сделалась такой яркой, что они не могли больше смотреть на нее неотрывно. Воздух в их маленькой сфере был уже угрожающе плохим, но Рэнсом и Дивайн отваживались на шепот, когда сменяли друг друга на дежурстве.

— Успеем, — говорили они. — Еще успеем.

Когда на восемьдесят селмой день Рэнсом сменил Дивайна, ему показалось, что с Землей что-то не так, и он уверился в этом еще до окончания дежурства. Земля больше не была правильным кругом — с одной стороны появилась выпуклость, она стала напоминать грушу. Когда в рубку вошел Уэстон и взглянул в верхнее смотровое стекло, он побледнел как мел и неистово зазвонил в звонок Дивайну. Оттолкнув Рэнсома, он сел за пульт управления и, видимо, попытался что-то сделать, но лишь бессильно развел руками, с отчаянием посмотрел на вошедшего Дивайна и уткнулся головой в пульт.

Рэнсом и Дивайн обменялись взглядами. Они подняли Уэстона — он плакал, как ребенок, — и его место занял Дивайн. Теперь наконец Рэнсом разгадал загадку. То, что казалось выпуклостью, все более походило на второй диск, почти такой же большой и закрывавший уже больше половины Земли. Это была Луна — между ними и Землей и на двести сорок тысяч миль ближе. Рэнсом не знал, что это означало; Дивайн, очевидно, знал и никогда еще не выглядел так великолепно. Он был бледен, как Уэстон, но ясные глаза его лико сияли. Как зверь перел прыжком, он припал к пульту и тихо насвистывал сквозь зубы.

Рэнсом понял, что он делает, только через несколько часов, когда увидел, что оба диска уменьшаются в размерах. Космический корабль уже не приближался ни к Земле, ни к Луне; он был от них дальше, чем полчаса назад, — вот в чем был смысл лихорадочных действий Дивайна. Беда не только в том, что Луна пересекла им путь и отрезала от Земли; видимо, по какой-то причине — наверное, гравитационной — было опасно слишком приближаться к Луне, и Дивайн отодвинулся дальше в космос. Уже видя бухту, они снова повернули в открытое море. Рэнсом взглянул на хронометр. Было утро восемьдесят восьмого дня. Два дня, чтобы успеть на Землю, а они улалялись от нее.

— Видно, нам конец? — прошептал он.

— Думаю, да, — прошептал Дивайн не оборачиваясь.

Уэстон уже оправился и встал рядом с Дивайном. Дела для Рэнсома не было. Теперь он был уверен, что им скоро умирать. И когда он это осознал, мучительное беспокойство вдруг исчезло. Перед ним стояла смерть, и было неважно, наступит она сейчас или тридцатью годами позже на Земле. Человек должен быть готов. Рэнсом ушел в одно из помещений на солнечной стороне, в невозмутимость неподвижного света, в тепло, в тишину и резкие тени. Спать он не собирался. Должно быть, это недостаток воздуха навел на него дрему. Он заснул.

Проснулся он почти в полной темноте от громкого непонятного шума. Что-то в нем было знакомое — что-то из прошлой жизни... Монотонный барабанивший стук прямо над головой. Сердце его вдруг сжалось.

— О боже, — зарыдал он. — О боже! Это дождь.

Он был на Земле. Несмотря на тяжелый спертый воздух, ощущение мучительного удушья прошло. Он понял, что находится еще в космическом корабле. Остальные, похоже, испугавшись «развоплощения», покинули корабль сразу, как он приземлился, и оставили его на произвол судьбы. В темноте трудно было найти выход. Но ему удалось. Он нашел люк, соскользнул по внешней стороне сферы и упал в грязь, благословляя ее запах. Подняв наконец на ноги непривычно тяжелое тело, он стоял в крошечной тьме под проливным дождем, огромными глот-

ками пил свежий воздух, впитывал запах поля всем сердцем — это был клочок Земли, его родной планеты, где росла трава, бродили коровы, где вскоре он наткнется на плетень и калитку.

Он шел около получаса, когда яркий свет позади и сильный короткий порыв ветра дали ему знать, что космического корабля больше нет. Ему было все равно. Он видел впереди тусклые огоньки — там были люди. Ему удалось найти тропинку, потом дорогу, потом деревенскую улицу. Освещенная дверь была открыта. Внутри слышались голоса, говорили по-английски. Знакомый запах. Он ввалился внутрь и, не обращая внимания на изумленные взгляды, подошел к стойке бара.

— Пинту горького, пожалуйста, — сказал Рэнсом.

XXII

Если бы я руководствовался соображениями чисто литературными, то на этом месте поставил бы точку, но настало время снять маску и раскрыть истинные цели, ради которых написана эта книга. Кроме того, читатель узнает, как я вообще получил возможность ее написать.

Доктор Рэнсом — вы уже, конечно, догадались, что это имя не настоящее, — вскоре отказался от мысли составить малакандрийский словарь и вообще делиться с миром своей историей. Несколько месяцев он был болен, а когда выздоровел, сам сомневался, действительно ли произошло то, что ему вспоминается, и не примерещилось ли в бреду во время болезни. Он подумал, что большую часть его приключений можно объяснить психоаналитически. Само по себе это не очень его смущало — сколько раз он убеждался, что «реальность» разных свойств флоры и фауны в нашем собственном мире можно считать иллюзией. Поэтому он решил, что если сам не вполне уверен в своих рассказах, то уж весь остальной мир и подавно назовет их небылицами. Он решил молчать, и на этом бы дело и кончилось, если бы не одно совпадение, весьма любопытное.

Вот здесь как раз вступаю в рассказ я. Мы были знакомы с доктором Рэнсомом несколько лет и переписывались на лите-

ратурные и филологические темы, однако встречались очень редко. За несколько месяцев до этого я, как обычно, написал ему письмо, из которого процитирую относящиеся к делу абзацы. Вот что я писал:

«Сейчас я занимаюсь платонической школой в двенадцатом веке, и, между прочим, латынь их просто чудовишна. У одного из них, Бернардуса Сильвестриса, есть слово, о котором я хотел бы узнать Ваше мнение — слово “Уарсес”. Он употребляет его, описывая путешествия по небесам; по-видимому, Уарсес — это “интеллект” или дух-хранитель какой-то из небесных сфер, т. е., на нашем языке, какой-то планеты. Я спросил об этом у С. Дж., и он сказал, что, должно быть, имеется в виду Усиарх. Это имеет некоторый смысл, но все же не совсем меня удовлетворяет. Не встречалось ли Вам случайно слово, похожее на “Уарсес”, или, может быть, Вы рискнете предположить, из какого языка оно происходит?»

В ответ я незамедлительно получил приглашение провести у доктора Рэнсома выходные. Он рассказал мне всю свою историю, и с тех пор мы непрерывно размышляем над разгадкой тайны. Обнаружилось множество фактов, которые в настоящее время я не считаю нужным публиковать; фактов о планетах вообще и, в частности, о Марсе, о средневековой школе платоников и (что не менее важно) о профессоре, которому я дал вымышленное имя Уэстон. Конечно, можно было бы обнародовать систематическое изложение этих фактов, но почти наверняка нас ждет недоверие, а «Уэстон» подаст на нас в суд за клевету. В то же время оба мы полагаем, что молчать невозможно. С каждым днем мы все больше убеждаемся, что марсианский Уарсес был прав, говоря, что нынешний «небесный год» должен быть поворотным, что длительная изоляция нашей планеты близится к концу, что мы перед лицом великих перемен. У нас есть основания полагать, что средневековые платоники жили в том же небесном году, что и мы, и начался он в двенадцатом веке нашей эры, а Бернардус Сильвестрис говорит об Уарсе (по-латыни «Уарсес») не случайно. И еще у нас есть сведения — с каждым днем их все больше, — что «Уэстон» либо

сила или силы, стоящие за ним, сыграют в событиях следующих веков роль очень важную и притом губительную, если этого не предотвратить. Мы не думаем, что они собираются вторгнуться на Марс, это не просто призыв: «Руки прочь от Малакандры». Нам угрожает опасность в масштабе космоса, а не планеты, по меньшей мере — в масштабе Солнечной системы, и не преходящая, а вечная. Сказать больше, чем сказано, было бы неразумно.

Доктору Рэнсому первому пришла в голову мысль, что достоверные факты, которые в чистом виде вряд ли воспримут, можно изложить в художественной форме. Он даже полагал — сильно переоценивая мои литературные способности. — что в этом будут и свои преимущества: более широкий круг читателей и, конечно, возможность обратиться сразу ко многим людям раньше, чем это сделает «Уэстон». Я возражал, что беллетристика и есть не более чем выдумка, а он ответил, что найдутся читатели, которым всерьез важны эти вещи, и уж они-то нам поверят.

— Им, — сказал он, — будет нетрудно найти вас или меня, и они без труда распознают Уэстона. Во всяком случае, — продолжал он, — сейчас нужно не столько убедить людей поверить нам, сколько ознакомить их с определенными идеями. Если бы нам удалось хотя бы для одного процента наших читателей сменить понятие Космоса на понятие Небес, это было бы неплохим началом.

Никто из нас не мог предвидеть, что события развернутся так стремительно и книга устареет еще до публикации. Эти события сделали ее уже не рассказом, а скорее прологом к рассказу. Но не будем забегать вперед. Что касается дальнейших приключений, еще задолго до Киплинга Аристотель одарил нас своею формулой: «Это другая история».

Постскриптум

*(Выдержки из письма, написанного автору
прототипом доктора Рэнсома)*

.. Думаю, вы правы, и, если внести две-три поправки, М. Ист. пойдет. Не скрою, я разочарован. Но как ни пытайся рассказать такое, человек, действительно там побывавший, непременно разочаруется. Я уж не говорю о том, как вы безжалостно обкорнали всю филологическую часть (мы даем читателю прямо карикатуру на малакандрийский язык); важнее другое, но не знаю, смогу ли это выразить. Как можно «выбросить» запахи Малакандры? Ничто так живо не возвращается ко мне в мечтах... особенно запах лиловых лесов рано поутру; причем само упоминание «раннего утра» и «лесов» только вводит в заблуждение, потому что сразу представляешь что-то земное — мхи, паутину, запахи нашей планеты, а я думаю о совсем не похожем. Больше «ароматов»... да, но там не жарко, не пышно, не экзотично, как подразумевает это слово. Что-то ароматное, пряное, но очень холодное, тонкое, зудящее в носу — для обоняния то же, что высокие, резкие звуки скрипки для уха. И одновременно мне всегда слышится пение — громкая глухая неотвязная музыка, насыщеннее, чем шаляпинский «теплый, темный-звук». Когда вспоминаю о ней, я начинаю тосковать по малакандрийской долине; но знает Бог: когда я слушал все это там, я тосковал по Земле.

Вы, конечно, правы: в рассказе вам приходится сократить время, которое я провел в деревне, потому что «ничего не случилось». Но мне жаль. Эти тихие недели, просто жизнь среди

хроссов — для меня самое важное из всего, что произошло. Я их узнал, Льюис, — как это втиснуть в ваш рассказ?

К примеру, я всегда беру с собой на выходные термометр (и это спасло многих от беды) и потому знаю, что нормальная температура у хросса 103°. Я знаю, хотя не помню откуда, что живут они около 80 марсианских лет, или 160 земных, женятся примерно в 20 (40); что испражнения у них, как у лошадей, безвредны и для них самих, и для меня и используются в сельском хозяйстве; что они не проливают слез и не моргают; что в праздники, которых у них очень много, они (как сказали бы у нас) «пьянеют», хотя не напиваются. Но что можно извлечь из этой отрывочной информации? Это просто живые воспоминания, их трудно выразить словами, разве в этом мире кто-нибудь сможет представить верную картину по таким фрагментам? Например, как мне вам объяснить, откуда я знаю без всяких сомнений, почему малакандрийцы не держат домашних животных и вообще не испытывают к своим «меньшим братьям» тех чувств, что мы? То есть это те вещи, о которых они сами никогда мне не рассказывали. Когда видишь их всех вместе, просто понимаешь почему. Каждый из них для другого — одновременно и то, что для нас человек, и то, что для нас животное. Они могут друг с другом разговаривать, могут сотрудничать, у них общая этика; в этом смысле сорн и хросс общаются как два человека. И при этом каждый прекрасно сознает, что другой отличается от него самого и кажется забавным и привлекательным, как бывает привлекательно животное. В нас дремлет какой-то неудовлетворенный инстинкт, который мы пытаемся насытить, обращаясь с неразумными существами почти как с разумными; на Малакандре этот инстинкт удовлетворяется. Домашние животные им не нужны.

Кстати, к вопросу о видах — мне очень жаль, что особенности жанра так упростили биологию. Разве мой рассказ создал у вас впечатление, что каждый из трех видов абсолютно гомогенен внутри себя? Тогда я ввел вас в заблуждение. Возьмем хроссов. Я дружил с черными хроссами, но бывают еще сереб-

ристые хроссы, а где-то в западных хандрамитах обитает большой гребешковый хросс — десяти футов ростом, чаще танцор, чем певец, и самое благородное животное, которое я встречал после человека. Гребешки есть только у мужчин. Еще я видел в Мельдилорне чисто-белого хросса, но, по глупости, не выяснил, представлял ли он подвид, или же это просто какое-то отклонение, как наши земные альбиносы. И еще существует по меньшей мере один вид сорнов. кроме тех, что я видел, — сорборн, или красный сорн пустыни, живущий в песках севера. По рассказам, это что-то потрясающее.

Мне тоже жаль, что я никогда не видел пфифльтриггов у них дома. Я знаю о них достаточно и мог бы «сочинить» такой визит, чтобы вставить в повествование, но думаю, мы не должны вводить уж совсем полный вымысел. «Правильно по существу» — на Земле звучит отлично, но не представляю, как объяснил бы это Уарсе; кстати, я серьезно опасаясь (см. мое предыдущее письмо), что не дослушал его до конца. И вообще, почему наши «читатели» (похоже, вы о них знаете все) о языке не хотят слышать ничего, а о пфифльтригах — как можно больше? Что ж, поработайте над этой темой; тогда неплохо бы рассказать, что они откладывают яйца, что у них матриархат и живут они недолго по сравнению с другими видами. Обширные равнины, где они обитают, очевидно, были когда-то дном малакандрийского океана. Хроссы, бывшие у них, рассказывали, что шли в глубине лесов через пески, «а вокруг — окаменения (окаменелости) древних волнорезов». Нет сомнения, это те темные пятна, которые мы видим на марсианском диске с Земли. И это напомнило мне «карты» Марса, которые я смотрел после возвращения, — они так сильно друг с другом не согласуются, что я оставил все попытки найти тот, свой хандрамит. Если хотите попробовать вы, надо искать «в районе “канала” северо-восток — юго-запад, пересекающего северный и южный “каналы” не более чем в двадцати милях от экватора». Но разные астрономы видят разное.

Теперь — к тому из ваших вопросов, который раздражает меня больше всего: «Может быть, Эликан, описывая эльдилов,

смешивает понятия тонкой материи и высшего существа?» Нет. Смешиваете вы. Он сказал две вещи: что у эльдилов тела иные, чем у остальных животных планеты, и что они превосходят всех разумом. Ни он, ни кто другой на Малакандре никогда не смешивал одно утверждение с другим и никогда не выводил одно из другого. На самом деле у меня есть основания думать, что существуют еще иррациональные животные с эльдиловым типом тела (помните «воздушных зверей» Чосера?).

Интересно, сумеете ли вы благоразумно обойти проблему речи эльдилов. Я согласен, что, если вы начнете рассуждать об этом в сцене суда (Мельдилорн), это перегрузит повествование, но ведь сообразительные читатели спросят: как же эльдилы, которые, по всей видимости, не дышат, могут разговаривать? Мы действительно этого не знаем, почему бы не признаться в этом читателю? Я изложил Дж. — единственному из ученых, кому доверяю, — вашу теорию, что у них могут быть инструменты или даже органы, воздействующие на воздух и таким образом извлекающие звук, но он, кажется, не слишком этим воодушевился. Ему представляется более вероятным, что они непосредственно воздействуют на уши тех, с кем «говорят». Конечно, все это очень сложно, но не забывайте, что мы фактически ничего не знаем ни о форме, ни о размерах эльдила, ни как они соотносятся с пространством (нашим пространством). Мы вообще почти ничего не знаем о них. Как и вам, мне трудно удержаться, чтобы не привязать их к чему-то в земной традиции — богам, ангелам, феям. Но у нас нет данных. Когда я пытался изложить Уарсе нашу христианскую ангелологию, он, мне показалось, воспринял наших «ангелов» как нечто отличное от себя. Но что он имел в виду: другие это существа или какая-то особая каста воинов (ведь наша бедная старушка Земля оказалась чем-то вроде полигона во Вселенной) — я не знаю.

Почему вы опускаете мой рассказ о том, как заело заслонку перед нашим приземлением на Малакандру? Если без этого описывать, как мы страдали от обилия света на обратном пути, возникнет законный вопрос: «Что ж они не закрыли заслонку?»

Я не разделяю вашей теории, что «читатели никогда не замечают таких вещей». Уверен, что я бы заметил.

Я бы хотел, чтобы вы включили в книгу две сцены — так или иначе, они живут во мне. Едва я закрываю глаза, передо мной всегда встает либо одна, либо другая.

Первая — это малакандрийское небо поутру: бледно-голубое небо, такое бледное, что теперь, когда я все больше привыкаю к земному небу, оно кажется мне почти белым. На его фоне верхушки гигантских растений (вы назвали бы их «деревьями») кажутся вблизи черными, а там, вдаль, за ослепительно синими просторами вод, — акварельно-багровые леса. Тени на бледной траве вокруг моих ног, как тени на снегу. Мимо идут существа, стройные, несмотря на гигантский рост, черные и гладкие, как цилиндр; большие круглые головы на гибком стебле тела похожи на черные тюльпаны. Они поют, спускаясь к берегу озера, музыка наполняет лес тихим трепетом, словно далекие звуки органа; я едва ее слышу. Кто-то отплывает, остальные остаются. Все происходит очень медленно — это не просто отплытие, это какая-то церемония. Да, это похороны хросса. Те трое в серых масках уплыли в Мельдилорн умирать. Потому что в этом мире никто не умирает до времени, кроме тех, кого взяла хнакра. Каждому роду отмерен свой срок, и смерть можно предсказать, как у нас — рождение. Вся деревня знала, что эти трое умрут в этом году, в этом месяце; легко было предвидеть даже, что умрут они на этой неделе. И вот они отплыли к Уарсе получить последнее напутствие, умереть и быть «развоплощенными». Тела их, в прямом смысле, просуществуют лишь несколько минут; гробов нет на Малакандре, ни могильщиков, ни кладбищ. Долина торжественно провожает их, но я не вижу печали и слез. Они уверены в своей бессмертии, и друзья-ровесники остаются неразлучны. Одногодки покидают этот мир, как и появились в нем — вместе. Смерти не предшествует страх, и за ней не следует разложение.

Другая сцена — ночная. Я вижу, как купаюсь с Хьои в теплом озере. Он смеется надо мной: я привык к более тяжелому

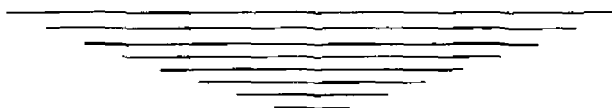
миру и не могу достаточно погрузиться в воду, чтобы плыть вперед. И тут я вижу ночное небо. Оно очень похоже на наше, только глубже и темнее, а звезды — ярче; но на западе творится такое, чего никакая земная аналогия не поможет вам представить. Вообразите себе увеличенный Млечный Путь — Млечный Путь через самый мощный телескоп в самую ясную ночь. А теперь представьте, что он не пересекает небо, а восходит, как созвездие над вершинами гор. Ослепительное ожерелье огней медленно поднимается, заполняя пятую часть небосвода, и между ним и горизонтом ложится длинный черный пояс. Над харандрой светло, как при полной луне; света так много, что долго смотреть невозможно. И все-таки это только предчувствие, ожидание чего-то еще. «Ахихра!» — кричит Хьюи, и из темноты вокруг ему вторят отрывистые вскрики. И вот встает истинный царь, осторожно прокладывая путь через дивную западную галактику, и свет ее тонет в его сверкании. Я отвожу взгляд, потому что маленький диск гораздо ярче, чем самое сильное лунное сияние. Весь хандрамит купается в бесцветном свете; я могу сосчитать все стебли в лесу на той стороне озера; я вижу, что ногти у меня обломанные и грязные. И вот я догадываюсь, что передо мной — Юпитер, восходящий за поясом астероидов, на сорок миллионов миль ближе, чем когда-либо видели глаза человека. Но малакандрийцы сказали бы «внутри астероидов», у них странная привычка иногда выворачивать наизнанку Солнечную систему. Они называют астероиды «танцорами на пороге Великих Миров». Великие Миры — это планеты, как мы говорим, «за», «по ту сторону» пояса астероидов. Глундандра (Юпитер) из них самая большая и очень важна для малакандрийцев, но почему — я не понял. Она — «центр», «великий Мельдилорн», «трон» и «праздник». Им, конечно, прекрасно известно, что она необитаема; по крайней мере, там нет животных планетарного типа; и они не выдумывают, как язычники, что там живет Малельдил. Однако кто-то или что-то очень важное связано с Юпитером; как всегда, «серони знают». Но мне они никогда не рассказывали. Наверное, лучшее объясне-

ние — у автора, которого я вам цитировал: «Ибо верно сказано о великом Африканусе, что он никогда не был менее одинок, чем когда был одинок; потому, по нашей философии, нет места во Вселенной менее уединенного, чем то, которое именуется уединенным чернь, ибо отсутствие людей и зверей означает лишь полноту пребывания более высших существ».

Подробнее об этом, когда вы приедете. Я стараюсь прочитывать все старые книги на эту тему, о которых узнаю. Теперь, когда «Уэстон» захлопнул дверь, путь к планетам лежит через прошлое; и если предстоят еще космические путешествия, это будут также и путешествия во времени.



Переландра



Глава 1

Я сошел с поезда у Вустера и отправился пешком к дому Рэнсома (до него было три мили), размышляя по дороге, что ни один из пассажиров, оставшихся на станции, не мог бы и вообразить, что повидал тот, к кому я иду. Унылая равнина — поселок был за ней, милях в трех к северу от станции — ничем не отличалась от других равнин. Сумрачное предвечернее небо было таким же, как всегда осенью. Редкие дома, купы красных и желтых деревьев — нигде ничего особенного. И вот, миновав эту тихую, скромную местность, я увижу того, кто побывал — и жил, и ел, и пил — в сорока миллионах миль отсюда, на планете, с которой Земля кажется крохотной зеленой искоркой, и разговаривал с существом, помнившим времена, когда здесь, у нас, еще никого не было.

На Марсе Рэнсом видел не только марсиан. Он встретил существ, которые называют себя эльдилами, и даже Великого Эльдила, который правит Марсом и зовется там Уарсой Малакандры. Эльдилы отличаются от тех, кто обитает на планетах. Их тело — если это тело — совсем иное, чем у нас или у марсиан. Они не едят, не дышат, не рождаются, не умирают — словом, в этом они больше похожи на минералы, способные мыслить, чем на то, что мы назвали бы живым существом. Они часто появляются на планетах и, по нашим понятиям, живут там, но определить, где они, очень трудно. Сами они считают своим обиталищем космос («Глубокие Небеса»), и планеты для них — не миры, просто движущиеся точки, а то и разрывы в едином поле, которое мы называем Солнечной системой, они — Арболом.

Рэнсом вызвал меня телеграммой: «Если можете, приезжайте четверг важному делу». Я догадывался, какое это дело, и, хотя твердил себе, что провести вечер с Рэнсомом очень приятно, так и не смог избавиться от тревожных предчувствий. Тревожили меня эльдилы — к тому, что Рэнсом побывал на Марсе, я еще как-то притерпелся, но эльдилы, существа, чья жизнь практически бесконечна... Да и само путешествие не очень мне нравилось. Побывав в ином мире, поневоле изменишься, хотя и не скажешь точно, в чем. Когда речь идет о давнем друге, не так уж это приятно, — прежние отношения восстановить нелегко. Но гораздо хуже другое: я все больше убеждался, что и тут, на Земле, эльдилы не оставляют его. Что-то проскальзывало в его речи — случайный намек, порою жест, от которых он тут же неуклюже отнекивался. Словом, он общался с кем-то, у него... ну, кто-то бывал.

Я шел по пустынной неогороженной дороге, пересекавшей Вустерскую пустошь, и пытался прогнать дурные предчувствия, анализируя их. Чего, в конце концов, я боюсь? Едва я задал себе этот вопрос, я пожалел о нем. Меня поразило слово «боюсь». До сих пор я хотел убедить себя, что речь идет о неприязни, неловкости, на худой конец — скуке. Но вот я произнес «боюсь» и ощутил страх. Я боялся все время, именно боялся — и того, что встречу эльдилов, и того, что меня во что-то втянут. Наверное, все знают, как страшно «влипнуть»: ты просто думал, размышлял, и вдруг оказывается, что ты вступил в коммунистическую партию или вернулся в лоно церкви, дверь захлопнулась, ты внутри, по ту сторону. Собственно, так случилось с Рэнсомом. Он попал на Марс (на Малакандру) помимо своей воли, почти случайно; другая недобрая случайность подключила к этой истории и меня. Нас все больше и больше втягивало в эту, с позволения сказать, межпланетную политику. Не знаю, сумею ли я вам объяснить, почему мне так не хотелось знакомиться с эльдилами. Я не просто — и разумно — старался избежать чужих, могучих и очень мудрых созданий. Все, что я слышал о них, вынуждало соединить два представления, которые

очень разделены, и это меня отпугивало. Мы привыкли относиться нечеловеческий разум либо к «научному», либо к «сверхъестественному». В одном настроении мы думаем о марсианах Уэллса (которые, кстати сказать, сильно отличаются от обитателей Малакандры), в другом — об ангелах, духах, феях и тому подобном. Но если эти существа реальны, граница между классами стирается — и вовсе исчезает, когда речь идет об эльдилах. Они не животные — в этом смысле они подпадут под вторую категорию, но у них есть некое подобие тела, которое (в принципе) можно зафиксировать научно; и в этом они относятся к первой группе. Перегородка между естественным и сверхъестественным рухнула; и тут я узнал, как успокаивала она, как облегчала нам бремя странного мира, с которым мы вынуждены общаться, разделив его надвое, чтобы мы не думали о нем в его цельности. Другое дело, какую цену мы платим за этот покой — путаницу в мыслях и ложное ощущение безопасности.

«Какая долгая, тоскливая дорога, — бормотал я. — Хорошо еще, что ничего не надо нести».

Тут я вздрогнул, сообразив, что нести как раз надо — я ведь взял с собой вещи. Я чертыхнулся: значит, чемоданчик остался в поезде. Поверите ли, что сперва я решил вернуться на станцию «и что-нибудь сделать». Конечно, делать было нечего, я мог с тем же успехом позвонить от Рэнсома. Поезд с моим чемоданом так и так далеко ушел.

Теперь я это понимаю, но тогда мне казалось, что необходимо вернуться, и я повернул было, прежде чем разум или совесть побудили меня идти дальше. Тут я понял гораздо яснее, что идти вперед мне очень не хочется. Это было очень трудно, словно я шел против сильного ветра, хотя вечер был тихий — ни одна ветка не шевелилась — и спускался туман.

Чем дальше я шел, тем чаще все мои мысли обращались к эльдилам. Что, в самом деле, знает о них Рэнсом? Сам он говорил, что они почти не посещают Землю, а может быть, даже и вообще не бывали тут до его визита на Марс. У нас есть свои эльдилы, теллурийские, но они совсем иные и человеку враж-

дебны. Собственно, потому наш мир и не общается с другими планетами. Мы — как бы в осаде, вернее — на территории, захваченной теми эльдилами, которые враждебны и нам, и эльдилам «Глубоких Небес». Они кишат здесь, у нас, как микробы, и все отравляют, только их мы не видим потому, что они слишком велики, а не слишком малы. Это из-за них на самом деле все у нас пошло не туда — произошло то злосчастное падение, в котором главный урок истории. Тогда мы должны радоваться, что светлые эльдилы прорвали линию обороны там, где орбита Луны, — конечно, если Рэнсом все правильно рассказал.

Мерзкая мысль посетила меня — а что, если Рэнсома обманули? Предположим, какая-то внешняя сила хочет захватить Землю; может ли она придумать лучшее прикрытие? Где хоть малое доказательство, что на Земле живут злые эльдилы? Мой друг, сам того не понимая, оказался мостиком для врага, троянским конем, с чьей помощью враг захватит Землю. И снова, как и тогда, когда я обнаружил, что нет багажа, мне захотелось вернуться.

«Вернись, вернись, — как бы слышал я. — Пошлешь ему телеграмму, что болен, приедешь потом, да мало ли что!»

Меня удивило, что это желание так сильно. Я остановился, постоял, запрещая себе всякие глупости, и, когда снова двинулся вперед, подумал, не начинается ли нервный приступ. Едва эта мысль пришла мне в голову, она стала очередным доводом против визита к Рэнсому — конечно, я не гожусь для странных дел, на которые намекала телеграмма. Я не должен был даже отлучаться из дому, разумно одно — поскорее вернуться и позвонить врачу, пока не начался самый приступ и не отказала память. Просто безумие идти дальше.

Я дошел до конца равнины и спускался вниз. Слева была роша, справа — покинутое здание какой-то фабрики. Внизу собирался туман.

«Сперва они назовут это нервным приступом, — думал я, — а потом...»

Вроде бы есть какое-то душевное заболевание, при котором страшно бояться самых обычных вещей — вот как я боюсь теперь заброшенного строения. Кучи цемента и странные кирпичные стены глядели на меня поверх сухой и пыльной травы, серых луж и сломанных рельсов. Такие вот странные штуки видел и Рэнсом на Марсе, только там они были живые. Гигантских пауков он называл сорнами. Хуже того — он считал их хорошими, гораздо лучше, чем мы, люди. Он с ними в заговоре! Кто знает, обманули его или нет... А что, как все гораздо хуже? Он сам гораздо хуже... И тут я снова остановился.

Читатель не знает Рэнсома и не сможет понять, как нелепа такая мысль. Даже в эту минуту здравая часть души моей прекрасно знала: если вся Вселенная безумна и враждебна, Рэнсом честен и здоров. Только это и вело меня вперед, но с каким грузом, с каким трудом! В глубине души я твердо верил, что каждый шаг приближает меня к другу, а чувствовал, что иду к врагу, к предателю, колдуну, заговорщику... иду, как дурак, прямо в ловушку.

«Сперва это назовут нервным припадком, — продолжал тот же голос, — сперва тебя положат в больницу, а там и в сумасшедший дом».

Я миновал вымершую фабрику и окунулся в туман, в холод. Мимо меня что-то промелькнуло, и меня пронзил такой бессмысленный и всепоглощающий ужас, что я чуть не вскрикнул. Это кошка перебежала дорогу; но силы совсем покинули меня, а мучитель внутри не унимался.

«Скоро и впрямь закричишь, — говорил он. — Будешь вопить, вопить, вопить, и никогда не остановишься».

У края дороги стоял пустой дом с заколоченными окнами; только в одном окне блеснуло стекло, словно глаз дохлой рыбы. Обычно я думал о привидениях не больше, чем вы, — и не меньше, пожалуй. Но теперь я чувствовал точно: в этом доме — призраки, привидения... нет, какое слово! Ребенок, и не слышавший его, содрогнется, если один взрослый скажет в сумерках другому: «А там есть привидения».

Наконец я добрался до перекрестка, где стояла часовня методистской церкви. — отсюда я повернул бы налево, к березовой роще, и увидел бы свет в окнах Рэнсома, если не настало время затемнения. Этого я не знал, часы у меня остановились. Вроде бы стемнело, но ведь был туман. Да я и не темноты боялся. Бывает же так, что вещи кажутся живыми, у них свое выражение лица, и вот, мне очень не нравилось лицо этой дороги.

«Неправда, что сумасшедшие не чувствуют начала болезни», — продолжал все тот же голос.

А что, если именно здесь я и сойду с ума? Тогда, конечно, мне мерещится, что влажные от тумана стволы враждебно поджидают меня. Но это меня не утешило. Если ужас мерещится, он не легче, он страшнее, ведь с ним соединяется страх перед безумием, и оно само, и совсем уж чудовишное чувство: только те, кого называют сумасшедшими, видят истинный, ужасный лик мира.

Все это обрушилось на меня. Я шел сквозь холодную тьму и был почти уверен, что вхожу в безумие. О здравомыслии я думал все хуже и хуже. Разве оно и раньше не было условностью, удобной ширмой, привычным самообманом, скрывавшим от нас чуждый и враждебный мир, в котором приходится жить? То, что я слышал за последние месяцы от Рэнсома, выходило за рамки «нормального», но я зашел далеко и не считал его рассказ вымыслом. Только вот правильно ли он все понял, был ли он вполне честен? Что же до тех, кого он видел, в них я не сомневался — в этих пфифльтриггах, и хроссах, и сорнах, и межпланетных эльдилах. Я не сомневался даже в том таинственном существе, которое эльдилы именуют Малельдилом и почитают, как никто не почитает земных владык. Я знал, кем считает его Рэнсом.

Показался дом, совсем темный. Я чуть не расплакался, как ребенок, — нет, почему Рэнсом не вышел меня встретить? Потом, совсем уж по-детски, я подумал, что он притаился в саду и вот-вот бросится на меня сзади. А может, я сам увижу его со спины, подойду, он обернется, а это — совсем и не человек.

Конечно, я не хотел бы рассказывать об этом подробно; я и вспоминаю-то все со стыдом, и не стал бы затягивать свой рассказ, но мне кажется, что иначе не понять всего остального. Да я и не могу описать, как добрался до двери коттеджа. Страх и отвращение гнали меня прочь, я должен был пробить невидимую стену, я бился за каждый шаг, снова едва не вскрикнул, когда лица моего коснулась ветка, — но все же вошел в сад и как-то добрался по дорожке до дома. Тут я стал стучаться, рвать ручку, звать Рэнсома, словно моя жизнь зависела от того, откроет он или нет.

Ответа не было, только эхо разносило мои вопли. На дверном молотке что-то белело. Я догадался, что это — записка, чиркнул спичкой и увидел, как дрожат у меня руки, а когда спичка погасла, стало совсем темно. Чиркая спичками, я разобрал: «Простите, уехал в Кембридж. Вернусь последним поездом. Еда в буфете, постель — в вашей комнате. Если хотите, ужинайте без меня. Э. Р.». Меня опять отшвырнуло назад, словно бесы накинулись на меня: я еще свободен, путь открыт, только иди. Сейчас — или никогда. Так я и буду сидеть тут, ждать часами! Но едва я решился повернуть, как мне стало страшно. Неужели опять идти через березовую рощу? Теперь там совсем темно, а за спиной останется этот дом (глупо, но мне чудилось, что он погонится за мной). Потом в моей душе пробудились остатки верности и здравого смысла — я не мог так подвести Рэнсома. По крайней мере, надо было проверить, открыта ли дверь. Я потянул — она открылась, и, сам не зная как, я оказался внутри, а она захлопнулась.

Там было темно и тепло. Я двинулся на ощупь, ударился обо что-то, упал и несколько минут сидел, потирая ушибленную ногу. Вроде бы я хорошо знал эту комнату — то ли гостиную, то ли холл — и понять не мог, на что же я здесь наткнулся. Наконец я нащупал в кармане спички, чиркнул, головка отлетела. Я затоптал ее, принохался — не тлеет ли ковер — и уловил странный, совершенно незнакомый запах. Он был ненормален, как запах любой «химии» в доме, но химикаты пахнут не

так. Я снова зажжет спичку — она почти тут же погасла, ведь я сел на коврик у самой двери, и даже в лучших коттеджах, чем у Рэнсома, у дверей обычно дует. Разглядел я только свою ладонь, изогнувшуюся в тщетной попытке укрыть крохотное пламя. Что ж, надо отойти от двери. Я несмело поднялся на ноги, попытался опять нащупать дорогу — и опять наткнулся на что-то гладкое и холодное. Коснувшись этого коленом, я понял, что запах идет отсюда, и пошел налево, нащупывая границы странного предмета. У него оказалось несколько граней, но я никак не мог понять, какой же он формы. Это не стол, нет столешницы: я вел рукой вдоль низенькой стенки, и пальцы попали куда-то внутрь. Если бы эта штука была деревянной, я бы принял ее за большой ящик. Но это было не дерево. Сперва поверхность показалась мне влажной, потом я решил, что она просто холодная. Добравшись до края стенки, я снова чиркнул спичкой.

И увидел что-то белое, полупрозрачное, словно лед. Какая-то длинная, очень длинная штука, похожая на ящик, но странной, неприятной, вроде бы знакомой формы. Тут мог уместиться человек. Я отступил на шаг, поднял спичку повыше, чтобы разглядеть все разом, и тут же ударился обо что-то спиной. Снова закружил я в темноте и упал не на ковер, а тоже на что-то холодное, со странным запахом. Сколько же тут понапихано всякой чертовщины?

Я хотел было подняться и как следует обшарить комнату — должна же где-то быть свечка, — как вдруг услышал имя Рэнсома и почти сразу — но не сразу — увидел то самое, что я так боялся встретить. Кто-то произнес: «Рэнсом», — но я бы не сказал, что слышу голос; на живой человеческий голос это было совсем не похоже. Слоги звучали чисто, даже красиво, но как-то, поймите меня, мертво. Мы отличим голоса животных (в том числе — человека) от всех прочих звуков, хотя разницу нелегко определить. В любом голосе есть призывок крови и плоти — легких, горла, теплой и влажной полости рта. Здесь ничего этого не было. Два слога прозвучали так, словно нажали две клавиши, но звук не был и механическим. Машину создает человек.

а этот голос звучал так, словно заговорил камень, или кристалл, или луч света. Тут я вздрогнул, и так страшно, будто лез на скалу и потерял опору.

Таков был звук. А увидел я столб очень слабого, призрачного света. Кажется, ни на полу, ни на потолке не было светлого пятна. Столб этот едва освещал комнату — рядом, возле себя. Другие два его свойства объяснить труднее. Во-первых, цвет. Раз я его видел, я должен бы знать, белый он или какой иной, но никаким усилием памяти я не могу этого представить. Синий, золотой, красный, фиолетовый — нет, все не то. Просто не знаю, как может зрительное впечатление так быстро и безвозвратно изгладиться. Второе — угол наклона: столб света висел не под прямым углом к полу. Но это я позже догадался, тогда световая колонна показалась мне вертикальной, а вот пол уже не был горизонтальным, и вся комната накренилась, словно палуба. Казалось, что «это» соотнесено с иной горизонталью, с иной пространственной системой, чья точка отсчета — вне Земли, и теперь навязывает мне эту, чуждую систему, отменяя земную горизонталь.

Я знал, что вижу эльдила — скорее всего, марсианского архонта, Уарсу Малакандры. Мерзкая паника исчезла, хотя теперь, когда все случилось, мне было не слишком-то уютно. Эта штука явно не принадлежала к органическому миру, разум как-то разместился в однородном столбе света, но не был прикован к этому столбу, как наш разум прикован к мозгу и нервам, — право же, думать об этом очень неприятно!* Это ни-

* Здесь я описываю, конечно, то, что думал и чувствовал тогда; ведь это — только свидетельство очевидца. Однако стоит поразмыслить о том, как воспринимают эльдилов наши чувства. Пока что я нашел достойные внимания мысли в начале XVII века. Любопытных отошлю к Натвильшусу («*Ab Aetereo et Aetereo Corpore*». Базель, 1627, II, 12). Он пишет: «Вероятно, однородное пламя, воспринимаемое нами, — не самое тело ангела или беса, но его доступный чувствам образ или же поверхность некоего тела, которое пребывает за пределами наших понятий, в особой, небесной сфере». Под «особой, небесной сферой» он, видимо, подразумевает то, что мы назвали бы многомерным пространством. Конечно, о таких пространствах он ничего не знал, но дошел на опыте до того, к чему, много позже, ученых привела теория.

как не умещалось в наши понятия. Я не мог ответить ему, словно живому существу, не мог и отмахнуться, как от предмета. Зато в этот миг исчезли все сомнения, терзавшие меня на пути, — я уже не гадал, враги ли нам эти существа, шпион ли Рэнсом, обманут ли он. Мною овладел иной страх: я знал, что эльдилы — «хорошие», но далеко не был уверен, что такое добро мне правится. Вот это и впрямь было страшно. Пока вам грозит что-то плохое, вы можете надеяться, что «хорошие» вас спасут. А что, если они гораздо хуже? Что, если пища обернется отравой, в собственном доме вы не сможете жить и сам ваш утешитель окажется обидчиком? Тогда спасения нет, последняя карта бита. Вот в таком состоянии я провел секунду или две. Передо мной наконец предстал посланец того мира, который я вроде бы люблю, к которому стремлюсь, — и мне не понравился. Я хочу, чтобы его не было. Я хочу, чтобы нас разделила пропасть, непреодолимая бездна или хоть занавеска. И все же я в бездну не бросился. Как ни странно, меня спасала и успокаивала моя беспомощность: я попался, борьба завершилась, не мне решать, что будет.

Новый звук донесся до меня, словно из иного мира, — скрипнула и растворилась дверь, прозвучали шаги, и на фоне серой ночи, заглянувшей в открытую дверь, я увидел Рэнсома. Столб света снова заговорил тем голосом, который голосом не был, и Рэнсом, остановившись, ответил ему. Оба они говорили на странном языке, я никогда прежде не слышал этих многосложных слов. Я не пытаюсь оправдать то, что почувствовал, когда нечеловеческий голос обратился к моему другу и друг мой отвечал на нечеловеческом языке. Да, оправдать я не пытаюсь; но если вы не поверите, что я чувствовал именно это, вы не знаете ни истории, ни собственной души. Я ревновал, я злился, я боялся. Я чуть не завопил: «Оставь ты своего приятеля, колдун проклятый! Посмотри на меня!»

А сказал я: «Слава богу, Рэнсом. Наконец вы вернулись».

Глава 2

Дверь захлопнулась во второй раз за этот вечер, и Рэнсом почти сразу нашупал свечу. Оглядевшись при свете, я никого, кроме нас двоих, не увидел. Посреди комнаты стояла большая белая штука. Теперь я легко понял, что это — большой, похожий на гроб ящик без крышки. Крышка лежала рядом, о нее-то я и споткнулся. И ящик, и крышка были из чего-то белого, вроде льда, но менее яркого.

— Вот хорошо, что вы пришли! — сказал Рэнсом, пожимая мне руку. — Надеялся встретить вас на станции, но все перепуталось в такой спешке, и мне пришлось все-таки поехать в Кембридж. Я совсем не хотел, чтобы вы шли один по этой дороге.

Наверное, он увидел, что я тупо смотрю на него, и прибавил:

— С вами все в порядке? Вы прошли через заграждение?

— Через заграждение?

— Я думаю, вам было не так-то легко сюда добраться.

— Вот как! — сказал я. — Значит, это не просто нервы? Там и вправду что-то было?

— Ну да. Они не хотели пускать вас. Я этого боялся, но просто времени не было вам помочь. Я верил, что вы доберетесь.

— Они — это наши эльдилы?

— Конечно. Они как-то узнают обо всем...

Я перебил его:

— По правде говоря, Рэнсом, меня это все больше тревожит. Когда я шел сюда, мне пришло в голову...

— Вам еще не то придет в голову, дайте им волю! — весело откликнулся Рэнсом. — Лучше всего не обращать на них внимания и делать свое дело. Не пытайтесь им возражать, им только и надо вовлечь вас в бесконечный спор.

— Послушайте, — сказал я, — это же не шутки. Вы вправду уверены, что есть этот темный князь, падший Уарса Земли? Вы уверены, что есть две стороны, и знаете, какая из них — наша?

Он поглядел на меня — у него бывал такой взгляд, кроткий и в то же время грозный.

— А вы вправду сомневаетесь? — спросил он.

— Нет,— подумав, ответил я, и мне стало стыдно.

— Вот и хорошо,— обрадовался он.— Давайте поужинаем, и я вам все объясню.

— Зачем вам этот гроб? — спросил я, когда мы вошли в кухню.

— В нем я отправлюсь в путь.

— Рэнсом! — вскрикнул я.— Он... оно... эльдилы потащут вас снова на Марс?

— Потащут! — ответил он.— Ох, Льюис, ничего вы не понимаете. Если бы... да я бы отдал все, лишь бы снова заглянуть в те ущелья, где синяя-синяя вода плещет среди лесов. Или подняться наверх и увидеть сорна, скользящего по склону. Или оказаться там к вечеру, когда восходит Юпитер, яркий — глазам больно, а все астероиды — словно Млечный Путь, и каждая звездочка видна так же ясно, как с Земли — Венера. А запахи? Разве я смогу их забыть? Вы скажете, тоска должна находить ночью, когда восходит Марс,— но нет, хуже всего в жаркий летний день, когда я гляжу в синюю бездну и знаю, что там, в глубине, за миллионы миль есть место, в котором я был и никогда уже не буду, а там, на Мельдилорне, цветут цветы и живут друзья, которые были бы мне рады. Нет. Такого счастья не будет. Меня посылают не на Малакандру, а на Переландру.

— Это Венера?

— Да.

— Что значит «посылают»?

— Помните, когда я улетал с Малакандры, Уарса сказал мне, что с моего путешествия может начаться новая эра в истории Арбола, Солнечной системы? Вероятно, сказал он, близится конец осаде, в которой мы живем.

— Да, помню.

— Похоже, так оно и есть. Во-первых, обе стороны, как вы их назвали, проявляют себя гораздо четче здесь, на Земле, в наших делах. Скажем так, они не скрывают флага.

— Согласен.

— А во-вторых, темный князь, наш падший Уарса, готовит нападение на Переландру.

— Разве Солнечная система открыта ему? Разве он может попасть на Венеру?

— В том-то и дело. Сам, в своем обычном образе, он туда попасть не может. За много веков до того, как тут, у нас, появилась жизнь, он был загнан в эти границы. Если он только покажется за пределами лунной орбиты, его опять загонят обратно, просто силой. Это была бы иная война, и от нас с вами было бы не больше толку, чем от мухи при обороне Москвы. Нет. Он нападет на Переландру иначе.

— При чем же тут вы?

— Ну... меня посылают туда.

— Уарса?

— Нет. Приказ — из более высоких сфер. Впрочем, все повеления, так или иначе, — оттуда.

— Что ж вы должны там делать?

— Мне не сказали.

— Значит, вы в свите Уарсы?

— Как раз нет. Уарса там не останется. Он только доставит меня. А потом я, видимо, останусь один.

— Боже мой, Рэнсом! — начал я, и голос мне изменил.

— Да, да, — сказал он и улыбнулся своей обезоруживающей улыбкой. — Правда, нелепо? Доктор Элвин Рэнсом против Престолов и Господств! Мания величия, не иначе.

— Я не о том... — сказал я.

— О том, о том. Во всяком случае, я теперь так чувствую. Впрочем, что тут странного? Нам каждый день приходится это делать. Библия говорит о брани против начальств, против властей, против духов злобы поднебесных — перевод здесь, кстати, очень неточный, — и сражаться должны самые обычные люди.

— Да это же совсем другое дело! — возразил я. — Там речь идет о духовной брани.

Рэнсом откинул голову и рассмеялся.

— Ох, Льюис, Льюис, — воскликнул он, — и что вы только скажете!

— Как вам угодно, Рэнсом, а разница есть...

— Есть, есть, но не такая. Каждый из нас должен сражаться, тут нет мании величия. Вот посмотрите — в нашей маленькой земной войне тоже сменяются разные фазы, и каждый раз мы и думаем и ведем себя так, словно эта фаза не кончится, хотя на самом деле все меняется прямо на глазах. И опасности, и удачи в этом году — не те, что в прошлом. Вот и вам кажется, что обычные люди могут столкнуться с темными эльдами только на нравственном, душевном уровне — борясь с искушением, к примеру, — но это верно только для определенной фазы в космической войне, для эры великой осады, которая и дала Земле имя Тулкандры, Безмолвной планеты. А что, если это время подходит к концу? А что, если каждый встретит силы тьмы... ну, по-другому.

— Ах, вон что...

— Только не думайте, что меня выбрали потому, что я какой-то особенный. Никогда не поймешь, почему нас избирают для того или другого дела. А если и узнаешь причину, она не даст пищи тщеславию. Нас избирают не за то, чем мы сами гордимся. Скорее всего, посылают именно меня потому, что два негодяя, утащившие меня на Малакандру, дали мне возможность изучить язык. Конечно, это не входило в их планы.

— Какой язык?

— Хресса-хлаб. Язык, который я выучил на Малакандре.

— Неужели вы думаете, что на Венере говорят на этом языке?

— Разве я вам не сказал? — спросил Рэнсом, наклоняясь вперед. К этому времени мы уже доели холодное мясо, допили пиво и теперь пили чай. — Странно, ведь я докопался до этого два или три месяца тому назад. С научной точки зрения это — самое интересное. Мы ошибались, принимая хресса-хлаб за местный, марсианский язык. Правильнее было бы назвать его старосолярным, хлаб-эрибол-эф-корди.

— Господи, что это?

— Понимаете, раньше все разумные существа, обитавшие на планетах Солнечной системы, говорили на одном языке (эльдилы называют эти планеты Нижним миром). Конечно, большинство из них необитаемы, хотя бы по нашим понятиям. Этот изначальный язык забыли в нашем мире, на Тулкандре, когда случилась беда. Ни один из земных языков не восходит к нему.

— А как же другие марсианские языки?

— Пока не знаю. Одно мне ясно, они намного моложе хресса-хлаба, особенно сурнибур, язык сорнов. Я думаю, это можно доказать лингвистически. Сурнибур, по марсианским стандартам, просто новее нового — он едва ли древней нашего кембрия.

— Стало быть, вы рассчитываете, что на Венере знают хресса-хлаб?

— Да. Я приеду, зная язык. Так гораздо проще, хотя для филолога и скучнее.

— Вы же и понятия не имеете, что надо делать, в какой вы мир попадете!

— Что мне надо делать, я и правда не знаю. Понимаете, бывают такие дела, в которых важно ничего не знать заранее. Может быть, нужно будет что-то сказать, а это не прозвучит убедительно, если подготовишься. Что же до тамошнего мира, тут я немало знаю. Там тепло, мне велели раздеться. Астрономы еще ничего не выяснили о поверхности Переландры, у нее слишком плотная атмосфера. Главный вопрос — вращается ли она и с какой скоростью? В науке сейчас есть две гипотезы. Скъяпарелли считает, что Венера оборачивается вокруг своей оси за то же время, что и вокруг Арбола, простите — Солнца. Другие думают, что она оборачивается за двадцать три часа. Это мне тоже предстоит выяснить.

— Если ваш Скъяпарелли прав, то на одной стороне всегда светло, а на другой вечная ночь.

Рэнсом кивнул.

— Занятная граница... — сказал он, подумав. — Только представьте: вы входите в страну вечных сумерек, там все холоднее

и холоднее, и вот вы уже не можете идти, воздуха не хватает. Интересно, можно ли встать на самой границе, на дневной стороне, и заглянуть в ночь? Оттуда, пожалуй, удалось бы увидеть несколько звезд — ведь из дневного полушария их не видно. Конечно, если у них там высокая цивилизация, они изобрели водолазные костюмы, какие-нибудь подводные лодки на колесах, чтобы исследовать ночную сторону.

Глаза у него сияли, и хотя я думал только о том, как трудно мне с ним расставаться и как мало надежды встретиться, я тоже заразился от него восторгом и тягой к знанию. Но тут он снова обратился ко мне:

— Вы еще не знаете, в чем ваша роль.

— Разве я тоже лечу? — спросил я, содрогнувшись совсем иначе.

— Ну что вы, что вы! Вы должны упаковать меня сейчас и распаковать, когда я вернусь... если все обойдется.

— Упаковать вас? А, я и забыл про этот гроб! Как же вы собираетесь в нем путешествовать? Где двигатель? А воздух... еда, вода? Здесь едва хватит места для вас!

— Двигатель — сам Уарса Малакандры. Он просто доставит эту штуку на Венеру. Не спрашивайте! Я понятия не имею, как он действует. Существо, которое миллионы лет вращает целую планету, как-нибудь справится.

— Что вы будете есть? Как вам дышать?

— Он сказал, что мне не понадобится ни еды, ни воздуха. Видимо, жизнь моя на время полета замрет. Я не совсем понял. Это, в конце концов, его забота.

— А вы не боитесь? — спросил я и снова ощутил какой-то мерзкий ужас.

— Если вы спрашиваете, признает ли мой разум, что Уарса безопасно доставит меня на Переландру, я отвечу «да», — сказал Рэнсом. — Если же вас интересуют мои нервы и воображение, я, к сожалению, отвечу «нет». Мы верим в анестезию, и все-таки нам страшно, когда маска приближается к лицу. Я чувствую примерно то, что чувствует солдат под обстрелом, сколько

бы он ни верил в будущую жизнь. Наверное, фронт был для меня хорошей практикой.

— Стало быть, я должен запереть вас в этой чертовой штуке? — спросил я.

— Да, — сказал Рэнсом. — Это во-первых. Когда взойдет солнце, мы спустимся в сад и поищем такое место, где не мешали бы ни дом, ни деревья. Пожалуй, капустная грядка подойдет. Я лягу, закрою глаза повязкой — эти стенки не защитят меня от солнечных лучей, когда мы выйдем в открытый космос, — а вы завинтите крышку. Потом, наверное, вы увидите, как эта штука взлетит.

— А еще позже?

— Вот в этом и сложность. Вы должны вернуться сюда, как только вам сообщат, чтобы снять крышку и выпустить меня, когда я вернусь.

— Когда же вы вернетесь?

— Не знаю. Через полгода, через год, через двадцать лет. То-то и плохо. Я возлагаю на вас тяжелую ношу.

— А если я умру?

— Значит, найдите себе преемника — конечно, теперь, не откладывая. У вас ведь есть человек пять друзей, на которых можно положиться.

— Как же мне сообщат?

— Уарса предупредит вас. Вы не беспокойтесь, это ни с чем не спутаешь. И еще одно — навряд ли я вернусь раненым, но на всякий случай, если вы найдете врача, которого можно посвятить в тайну, лучше бы захватить и его.

— Хэмфри годится?

— Да, вполне. А теперь — другое, частное дело. Понимаете, я не мог включить вас в свое завещание.

— Господи, Рэнсом, да я никогда об этом не думал!

— Конечно. Но мне хотелось бы что-нибудь вам оставить, а я не могу. Я ведь исчезну. Если я не вернусь, начнется расследование, чего доброго, заподозрят убийство. Надо быть осторожнее, ради вас. А теперь я хотел бы уладить с вами другие мои дела.

Мы сели рядом и долго говорили о делах, которые обычно обсуждают с родственниками, а не с друзьями. Я узнал о Рэнсоме многое, чего не знал прежде, и такое множество неудачников он поручил моей заботе («может, вам вдруг удастся что-нибудь для них сделать»), что я понял, как велико его милосердие и как он его скрывает. С каждым его словом тень предстоящей разлуки сгущалась, словно кладбищенский сумрак. Я с любовью подмечал его привычные жесты, обороты речи — то, что мы всегда видим в любимой женщине, но в друге замечаем только перед разлукой или в последние часы перед тяжелой, опасной операцией. Есть вещи, в которые разум поверить не может. Я не мог представить себе, что человек, сидящий так близко от меня, такой очевидный и осязаемый, через несколько часов станет недостижимым, превратится лишь в образ, а там — и в тускнеющий образ моей памяти. Наконец оба мы смутились — каждый угадывал, что чувствует другой. Стало совсем холодно.

— Скоро отправимся, — сказал Рэнсом.

— Да ведь он... ну, Уарса — еще не вернулся, — возразил я, хотя, по правде говоря, теперь, когда это подошло вплотную, мне хотелось поторопиться, чтобы все было позади.

— Уарса и не покидал нас, — ответил Рэнсом, — он все время был в доме.

— Что же, он просто ждет нас, в той комнате?

— Он не ждет, они не знают, что это такое. Вы и я понимаем, что ждем, потому что у нас есть тело, оно устает. Кроме того, мы различаем работу и досуг, мы понимаем, что такое отдых. Уарса устроен иначе. Он был здесь много часов, но не ждал, не скучал. Нельзя же сказать, что чего-то ждет дерево или расцвет на склоне холма. — Тут Рэнсом зевнул. — Я устал, — сказал он. — И вы устали. Ну, я-то хорошенько выплещу в этом гробу. Идемте, пора собираться.

Мы вышли в соседнюю комнату, и Рэнсом велел мне встать перед безликим пламенем, которое не ждет, а только пребывает. Он как-то представил меня ему и был нам переводчиком, и я на своем языке поклялся служить ему в этом великом деле.

Потом мы сняли с окон затемнение и впустили в дом серое, пасмурное утро. Вместе вынесли мы в сад и ящик, и крышку — холод обжигал нам руки. Ноги я промочил в тяжелой росе, усыпавшей траву. Эльдил был уже в саду, на маленькой лужайке. При утреннем свете я едва мог его разглядеть. Рэнсом показал мне, как закрыть задвижки на крышке ящика, прошло еще несколько долгих минут, и он отправился в дом, а вернулся обнаженным. Высокий, белокожий, дрожащий от холода — просто чудело какое-то, — он опустил в свой ужасный ящик и протянул мне плотную черную повязку, чтобы я закрыл ему лицо. Потом он улегся. Я уже не думал о Венере и не верил, что он вернется. Если бы я посмел, я бы заставил его одуматься; но здесь был Другой — существо, не ведавшее ожидания, — и я боялся. До сих пор вижу я в страшном сне, как закрываю ледяной крышкой гроб, где лежит живой человек, и отступаю назад. Я остался один. Я не видел, как он улетел. Я убежал в дом, мне стало плохо. Через несколько часов я закрыл дом и вернулся в Оксфорд.

Прошли месяцы, и год прошел, и несколько месяцев сверх года. Были бомбежки, и дурные вести, и гибель многих надежд. Земля преисполнилась тьмы и злобы — и тогда, в одну из ночей, Уарса явился за мной. Мы с Хэмфри выехали поскорее, толкались в переполненном поезде, встречали рассвет на холодной станции, ожидая пересадки, и наконец ясным утром добрались до маленького, заросшего сорняками клочка земли, который прежде был садом Рэнсома. Черная точка появилась напротив Солнца; тот же ледяной ящик проскользнул между нами в полной тишине. Едва он коснулся земли, мы бросились к нему и сорвали крышку.

— Господи! Он разбился! — вскричал я, заглянув внутрь.

— Погодите, — остановил меня Хэмфри.

Человек, лежавший в гробу, пошевелился, сел, стряхнул с лица и плеч ту алую массу, которую я было принял за раны и кровь, — и я увидел, как ветер подхватывает и разносит лепестки цветов. Он поморгал, назвал каждого из нас по имени, пожал нам руки и ступил на траву.

— Как дела? — спросил он. — Что-то вы плохо выглядите.

Я замер, дивясь тому новому Рэнсому, который вышел на свет из тесного ящика. Он был силен и здоров, он словно помолодел на десять лет. Два года назад он начинал седесть, а сейчас борода, спускавшаяся ему на грудь, отливала золотом.

— Да вы порезали ногу, — сказал Хэмфри.

Тут и я заметил, что из пятки у него идет кровь.

— Однако и холодно у вас, — сказал Рэнсом. — Надеюсь, воду согрели? Хорошо бы принять душ и одеться.

— Хэмфри обо всем позаботился, — сказал я, провожая его в дом. — Меня бы на это не хватило.

Рэнсом забрался в ванну, оставив дверь приоткрытой, клубы пара окутывали его, а мы переговаривались с ним из прихожей. У нас накопилось столько вопросов, что он не успевал отвечать.

— Скъяпаредли ошибся, — кричал он, — там есть и день, и ночь, как у нас. Пятка не болит... нет, вот сейчас заболела. Да любую старую одежду... ага, положите на стул. Нет, спасибо. Я не хочу ни яиц, ни бекона. Фруктов нет? Неважно, поем хлеба или каши. — И наконец он крикнул: — Выхожу!

Он все спрашивал, здоровы ли мы, — ему почему-то казалось, что мы плохо выглядим. Я отправился за завтраком, Хэмфри задержался, чтобы осмотреть ранку на ноге. Он присоединился ко мне, когда я любовался алыми цветами.

— Красивый цветок, — сказал я, протягивая его Хэмфри.

— Да, — ответил Хэмфри, рассматривая его и ощупывая с жадностью натуралиста. — А нежный какой! Наша фиалка против него сорняк.

— Поставим их в воду.

— Не стоит. Они уже почти завяли.

— Как он там?

— Отменно. Только вот пятка мне не нравится.

— Он говорит, кровь идет очень давно.

Тут пришел и Рэнсом, совсем одетый, и я разлил чай. Весь день и почти всю ночь он рассказывал нам ту историю, к которой я теперь приступаю.

Глава 3

Рэнсом так и не объяснил нам, на что было похоже путешествие в летающем гробу. Он сказал, что это невозможно. Но странные намеки прорывались в разговорах на совсем другие темы.

Получалось, он был как бы без сознания, однако что-то с ним происходило, что-то он чувствовал. Однажды кто-то из нас сказал, что надо «повидать жизнь», то есть побродить по миру, поглядеть на людей, а Б. (он антропософ) возразил: надо видеть жизнь совсем в другом смысле. Вероятно, он имел в виду какую-то систему медитации, при которой «сама жизнь предстаёт внутреннему взору». Во всяком случае, когда мы втянули его в длинный спор, Рэнсом признался, что и для него это значит что-то вполне определенное. Его так прижали, что он сознался: жизнь казалась ему тогда, в полете, чем-то «объемным и твердым». Его спросили, какого она цвета, но он странно взглянул на нас и пробормотал: «Вот именно, какой цвет!» — и все испортил, добавив: «Да это и не цвет. Мы бы не назвали это цветом», после чего не раскрывал рта до конца вечера. В другой раз наш друг, шотландец Макфи, приверженец скептицизма, громил христианское учение о воскресении тел. Я подвернулся ему под руку, и он донимал меня вопросами вроде: «Значит, у вас будут и зубы, и глотка, и кишки, хотя там нечего есть? И половые органы, хотя там нельзя совокупляться? Да уж, повеселитесь!» И тут Рэнсом взорвался: «Нет, какой осел! Вы что, не видите разницы между сверхчувственным и бесчувственным?» Макфи, само собой, переключился на него; и тут выяснилось, что, по мнению Рэнсома, нынешние желания и возможности тела исчезнут не потому, что они атрофируются, а потому, что они будут «поглощены». Сперва он говорил о «поглощении» пола, потом стал искать подходящее слово для нового отношения к еде (отбросив транс- и парагастрономию), и, поскольку не он один был филологом, все стали искать такие термины. Но я уверен, что он испытал что-то в этом роде на пути к Венере. А самым загадочным, пожалуй, было вот что: однажды, расспраши-

вая его — он редко мне это позволял, — я неосторожно заметил: «Конечно, все было слишком смутно, этого не передашь словами», — и он меня резко перебил, хотя вообще он человек на редкость терпеливый. Он сказал: «Нет, это слова расплывчатые. Я не могу ничего описать, потому что все было слишком четким и определенным». Вот и все, что я могу рассказать вам о самом полете. Одно ясно — он изменился гораздо больше, чем после Марса. Но может быть, тому причиной события, произошедшие уже на самой Венере.

Теперь я перейду к тому, что Рэнсом мне рассказал. Видимо, он пробудился от того неопишуемого состояния и почувствовал, что падает, — значит, он уже приблизился к Венере настолько, что она стала для него «низом». Один бок у него замерз, другому было слишком жарко, но ни то ни другое ощущение не причиняло боли. Вскоре он вообще об этом забыл — снизу, сквозь полупрозрачные стенки сочился изумительный белый свет. Он все нарастал, начал беспокоить, несмотря на защищавшую глаза повязку. Конечно, это светилось альbedo — внешний слой очень густой атмосферы, отражающий и усиливающий солнечные лучи. Почему-то — в отличие от Марса — вес его вроде бы не увеличился. Едва белое свечение стало почти невыносимым, оно исчезло, а жар и холод сменились ровным теплом. Вероятно, он вошел во внешние слои атмосферы — сперва в бледные, потом в цветные сумерки. Насколько он различал сквозь прозрачные стенки, главным цветом был золотой или медный. К этому времени он был совсем низко, ящик спускался стоямя, словно лифт, под прямым углом к поверхности. Падать вот так, беспомощно, когда не можешь пошевелить рукой, было страшно. Вдруг он попал в зеленую тьму, пронизанную неясным шумом — первым звуком из нового мира. Стало холодно. Он снова лежал и, к великому своему удивлению, двигался уже не вниз, а вверх — сперва он принял это за обман воображения. Видимо, уже давно, сам того не замечая, он пытался пошевелить рукой или ногой и только теперь увидел, что стены его темницы поддаются. Он уже мог двигать руками и ногами,

хотя и застревал в чем-то мягком. Куда он попал? Ощущения были очень странные. То его несло вверх, то вниз, то по какой-то зыбкой поверхности. Мягкая материя была белая, ее становилось все меньше... какое-то облако в форме ящика, совсем не плотное. Вдруг он с ужасом догадался, что это и есть ящик — тот испаряется, исчезает, а за ним проступает невообразимая мешанина красок, пестрый многообразный мир, где вроде бы нет ничего устойчивого. Ящик исчез. Что ж, значит, доставили — выбросили — покинули. Он — на Переландре.

Сперва он разглядел только какую-то перекосившуюся поверхность, словно на неудавшемся снимке. Странный откос маячил перед ним лишь мгновение, сменился другим, два откоса столкнулись, гора взлетела вверх, обрушилась и разровнялась. Потом поверхность превратилась в край большого сверкающего холма и холм этот устремился навстречу Рэнсому. Он снова почувствовал, что поднимается, и поднимается все выше, к золотому куполу, заменявшему небо. Он достиг вершины, но успел лишь глянуть в огромный дол, простиравшийся под ним, — сияющий, зеленый, словно трава, с мраморными пятнами пены, — и вновь он падал вниз, пролетая мило в две минуты. Наконец он ощутил блаженную прохладу, в которую погружено его тело, и понял, что ноги ни во что не упираются, а он, сам того не зная, плывет. Он мчался верхом на океанском гребне, лишенном пены, холодном и свежем после небесной жары, хотя, по земным понятиям, вода была совсем теплая, словно в песчаном заливе где-нибудь в тропиках. Мягко съезжая с высокого гребня и поднимаясь на новую гору, Рэнсом нечаянно хлебнул воды — она оказалась несоленой, пригодной для питья, но не такой безвкусной, как наша пресная. До тех пор он не чувствовал жажды, но тут ему стало приятно, да так, словно он впервые узнал само удовольствие. Он погрузил разгоряченное лицо в зеленую светлую воду, а когда снова поднял голову, опять был на гребне высокой волны.

Земли нигде не было. Небо было чистое, ровное, золотое, как средневековая картина. Оно казалось очень высоким — та-

кими высокими видятся с Земли серебристые облака. Океан тоже был золотым, но его испещряли тени, и вершины волн, зажженные небесным светом, казались золотыми, но склоны были зеленые, сперва прозрачные, а понизу — бутылочные, и даже синие в тени других волн.

Все это Рэнсом увидел в одно мгновение — и покатился вниз. Он как-то перевернулся на спину. Теперь он глядел на золотую крышу этого мира. В небе быстро сменялись дрожащие отблески более бледных цветов — так бегут блики по потолку ванной, когда в солнечный день вы ступаете в воду. Рэнсом понял, что это — отражение несших его волн. На Венере, планете любви, эти блики можно видеть почти каждый день. Царица морей созерцает себя в небесном зеркале.

И вновь он на гребне, земли все не видно. Далеко слева плотные облака — или корабли? Вниз, вниз, снова вниз — конца этому нет. На сей раз он ощутил, какой здесь расплывчатый свет. Такая теплая вода, такое славное купание на Земле бывает только при ярком свете Солнца. Но здесь все иначе. Вода сияла, небо горело золотом, но все это смягчала и окутывала дымка — он любовался этим светом, не шурясь. Сами цвета — зелень, золото, — которыми он назвал те краски, слишком резки, жестки для нежного, изменчивого сияния, для этого теплого, матерински ласкового мира. Да, мир тут теплый, как летний полдень, прекрасный, словно заря, и по вечернему кроткий. Этот мир прекрасен — так прекрасен, что Рэнсом глубоко вздохнул.

На этот раз он испугался нависшей над ним волны. Мы на Земле болтаем о «волнах, величиной с гору», хотя этим волнам не под силу перехлестнуть и мачту. А вот тут и вправду была морская гора. На суше ушел бы почти весь день, чтобы забраться на такую вершину. Волна вобрала Рэнсома и вознесла его высь за несколько секунд. Но, еще не достигнув вершины, он вскрикнул в испуге: на самом верху волны его ждала не гладкая поверхность, а какой-то фантастический гребень — странные, громоздкие, неуклюжие и острые выступы, вроде бы даже не жидкие. Что это, пена? Скалы? Морские чудовища? Галать

ему было некогда — он столкнулся с этим, невольно закрыл глаза и снова почувствовал, что летит вниз. Что бы это ни было, оно позади. Но ведь что-то было, оно ударило его по лицу. Он ощупал лицо; крови не было. Значит, он столкнулся с чем-то мягким, оно не поранило, только хлестнуло, и то потому, что он мчался слишком быстро. Он вновь повернулся на спину — к этому времени очередной гребень уже поднял его вверх на несколько тысяч футов. Глубоко под ним на миг открылась долина, и он увидел что-то неровное в изгибах и впадинах, разноцветное, вроде лоскутного одеяла, изумрудное, ярко-желтое, оранжевое, розовое, голубое. Что это, Рэнсом понять не смог. Во всяком случае, оно плавало — поднялось на гребень соседней волны и теперь, миновав вершину, скрылось. Оно плотно, словно кожа, прижималось к поверхности воды, изгибаясь и искривляясь вместе с ней. Поднимаясь на гребень, оно принимало форму волны, так что какое-то мгновение Рэнсом еще видел одну половину, а другая уже соскользнула по ту сторону гребня. Словом, эта штука вела себя так, как вела бы циновка, которая движется вместе с водой и сморщивается, когда вы гребете мимо и по воде идет рябь. Только размеры тут были посущественней, акров тридцать.

Наши слова слишком медлительны — вы, наверное, уже и не ощущаете, что Рэнсом в нашем рассказе пробыл на Венере не более пяти минут. Он не успел устать и не начал тревожиться, как ему выжить в этом мире. Он вполне доверял тем, кто отправил его сюда, а пока что свежесть воды и свободные движения тела сами по себе были удовольствием, и удовольствием новым — я уже пытался указать на одну особенность этого мира, которую так трудно передать словами: каким-то образом удовольствие испытывал он весь, впитывал всеми своими чувствами. Придется назвать это удовольствие «крайним», а то и «резмерным»; ведь сам Рэнсом говорит, что в первые дни на Переландре он не то чтобы стыдился, но все же удивлялся, почему он стыда не чувствует, — каждый миг доставлял здесь такое большое и необычайное удовольствие, какое, по земным мер-

кам, связано либо с запретными, либо уж с очень странными утехами. И все же этот мир был не только нежным и сладостным, он был и сильным, и грозным. Едва плавающая штука исчезла из виду, как в глаза Рэнсому хлынул невыносимо резкий свет. Свет был темно-синий, небо на его фоне потемнело, и в тот же миг Рэнсому удалось разом увидеть большее пространство, чем видел он до сих пор. Он увидел бесконечную пустыню волн и далеко-далеко, на краю этого мира, у самого неба — одинокую призрачно-зеленую колонну. Только она была вертикальной, устойчивой, неподвижной в этой череде изменчивых холмов. Затем на небо вернулся богатый красками сумрак — теперь, после вспышки света, он скорее походил на тьму — и донесся раскат грома. Звучал он совсем иначе, нежели земной гром, — глубже, богаче, даже словно бы звонче. Небо здесь не ревело — оно хохотало, веселилось. Рэнсом увидел еще одну молнию, потом еще одну, и ливень обрушился на него. Между ним и небом встали огромные лиловые тучи, и тут же, сразу хлынул невиданный дождь — не капли и не струи — сплошная вода, чуть менее плотная, чем в океане, он едва мог дышать. Молнии сверкали непрерывно, и при их свете Рэнсом видел совсем иной мир. Он словно попал в самый центр радуги или в облако многоцветного пара. Вода, вытеснившая воздух, обратила и море, и небо в прозрачный хаос, наполненный вспышками и росчерками молний. Рэнсом почти ослеп и немного испугался. При свете молний он видел, как и прежде, безбрежное море и неподвижный зеленый столб на краю света. Земли не было нигде — ни признака земли от горизонта до горизонта.

Грохот грома оглушал его, все трудней становилось дышать. С неба вместе с дождем сыпались какие-то странные штуки, вроде бы живые. Они были похожи на лягушат, но очень изящных и нежных — просто высшая раса лягушек, — они пестрели, словно стрекозы, но Рэнсому некогда было их разглядывать. Он уже устал, особенно от буйства красок. Он не знал, как долго все это длилось, а когда снова смог наблюдать, волнение уже успокаивалось. Ему показалось, что он достиг границы мор-

ских гор и глядит с последней горы в спокойную долину. Однако до этой долины он добрался нескоро: то, что по сравнению с теми, первыми волнами, казалось спокойным морем, на самом деле, когда он достиг этого места, обернулось пусть меньшими волнами, но все же немалыми. Вокруг плавало много тех странных плавучих штук. Издали они казались цепью островов, вблизи больше походили на флот — тем более что им приходилось преодолевать сопротивление волн. Все же шторм успокаивался, дождь утих. Волны были теперь не выше, чем в Атлантическом океане. Радуга ослабела, стала прозрачнее, и сквозь нее тихо проглянуло золотое небо — золото проступило вновь во всю ширь, от горизонта до горизонта. Еще меньше стали волны. Теперь он дышал свободно. Но он уже по-настоящему устал; непосредственные впечатления отступили, освободилось место для страха.

Одна из плавучих заплат скользила по волне в сотне ярдов от Рэнсома. Он следил за ней с большим интересом, надеясь взобраться на один из плавучих островов и отдохнуть. Он испугался, что эти острова окажутся просто кучей водорослей или кронами подводных деревьев, которым не выдержать его веса. Но не успел он додумать эту мысль, как тот самый остров, на который он смотрел, поднялся на гребне волны, и Рэнсом смог разглядеть его на фоне неба. Он не был ровным, с рыжевато-коричневой поверхности поднимались вверх какие-то столбики самой разной высоты, и легкие, и громоздкие, темные на мягком сиянии золотого неба. Все они накренились в одну сторону, когда островок изогнулся, переползая гребень волны, и вместе с островом исчезли из виду. Тут же в тридцати ярдах от Рэнсома появился другой остров, этот плыл в его сторону. Рэнсом поспешил к нему, чувствуя, как ослабели и почти болят руки, — и впервые испугался по-настоящему. Приблизившись к острову, он разглядел вокруг него бахрому несомненно растительного происхождения — остров тащил за собой темно-красный хвост из пузырей, трубочек и переплетающихся шнуров. Рэнсом попытался за него ухватиться, но он был еще не так близко. Он

поплыл скорее, еще скорее — остров уходил от него, удаляясь со скоростью десяти миль в час. Снова ухватился он за какие-то тонкие красные нити, но они выскользнули, едва не порезав ему руку. Тогда он рванулся в самую гущу водорослей, слепо пытаясь ухватиться за все, что болталось перед ним, и попал в какое-то густое варево — трубочки булькали, пузыри то и дело взрывались. Потом руки нащупали что-то покрепче, вроде очень мягкой древесины. Наконец, еле дыша, ошарапав колено, он упал на пружинившую под ним поверхность, приподнялся, прополз немного вперед. Да, теперь бояться было нечего — эта земля держала его, здесь он был в безопасности.

Наверное, он довольно долго пролежал на животе, ничего не делая и ни о чем не заботясь. Во всяком случае, к тому времени, когда он вновь поднял голову и стал замечать, что его окружало, он вполне отдохнул. Лежал он на сухой земле, покрытой чем-то вроде вереска, только медного цвета. Он рассеянно потрогал это — верхняя часть крошилась, как сухая земля, но сразу под хрупкой поверхностью он нащупал туго переплетенные нити. Он перевернулся на спину. Что-то пружинило, сопротивлялось, и гораздо сильнее, чем эластичный вереск, словно весь остров — вроде матраса, покрытого растительным ковром. Снова повернувшись, Рэнсом посмотрел в глубь острова. То, что он увидел, сперва было похоже на обычный кусок земли: длинная долина, внизу — бронзовая, по бокам защищенная холмами, на которых рос многоцветный лес. Но едва он взглянул на эту равнину, как она, прямо перед ним, превратилась в медный склон, и многоцветный лес заструился вниз по этой новой горе. Он был к такому готов, но в первый миг зрелище все же потрясло его. Ведь долина сперва показалась ему нормальной — он забыл, что он плывет, что плывет весь остров с горами и долинами, которые каждую минуту меняются местами, так что карту высот и впадин можно изобразить только на кинолентке. Таковы плавающие острова Переландры — фотография, обедняя краски, исключая вечную смену форм, явила бы нам что-то похожее на земной пейзаж, но на самом деле остро-

ва совсем другие: поверхность их суха и плодородна, как твердая земля, а форма все время меняется вместе с водой, по которой они плывут. К этому трудно привыкнуть, с виду они так похожи на обычную землю. Разумом Рэнсом уже все понял, но ни мускулы, ни нервы привыкнуть не могли. Он встал — сделал несколько шагов под гору — и растянулся на животе. Поверхность острова была мягкой, он не ушибся, поднялся... — и увидел перед собой уже подымающийся холм... шагнул... снова упал. Напряжение, сжимавшее его с той минуты, как он прибыл на Переландру, наконец отпустило, и он рассмеялся. Хохоча, как школьник, катался он по мягкой поверхности своего острова.

Наконец он успокоился. Часа два он учился ходить. Это оказалось потруднее, чем ходить по палубе — в любую качку сама палуба, по крайней мере, остается ровной. Ходить по этому острову — все равно что ходить по воде. Несколько часов потребовалось ему, чтобы отойти от края острова на сотню ярдов, и он был горд, когда сумел пройти подряд целых пять шагов — раскинув руки, сгибая колени, боясь потерять равновесие. Напряженное тело дрожало, словно он учился ходить по канату. Пожалуй, он скорее научился бы, если бы падать было не так мягко и приятно, а улав, он долго лежал, глядя вверх, на золотой купол, и впитывал спокойный, не умолкающий шорох воды, тонкие запахи трав. А как забавно, скатившись в небольшую впадину, открыть глаза и оказаться на вершине главной горы всего острова, откуда, словно Робинзон, он мог смотреть вниз на поля и леса! Ему хотелось посидеть так еще несколько минут, но остров вновь увлекал его вниз, горы и долины стирались, превращаясь в одну большую равнину.

Наконец он добрался до леса. Здесь были какие-то кусты, высотой с крыжовник, цветом напоминавшие водоросли. Над кустами высились деревья, серые и лиловые, а густые ветви образовали крышу над головой, золотую, серебряную и синюю. Здесь он мог опираться о стволы, идти стало легче. И запахи здесь были необычные — нельзя просто сказать, что они пробудили в нем голод или жажду, скорее они превратили голод

и жажду в какое-то новое чувство, которое из тела проникало в душу, не тревожа, а радуя ее. То и дело он останавливался, упираясь руками в ствол и вдыхал благоухание — здесь даже это казалось каким-то священным обрядом. Лес все время менялся, и его разнообразия хватало бы на дюжину земных пейзажей: то ровный край, где деревья стоят вертикально, как башни, то провал, где должна бы течь лесная река, то лес бежит вниз по склону, то оказывается на вершине горы и между стволами можно увидеть океан. В тишине звучал только размеренный голос волн. Ощущение одиночества стало здесь более ясным, но к нему не примешивалась тревога — может быть, романтическое уединение необходимо для того, чтобы впитать все неземные чудеса. Рэнсом боялся лишь самого себя — иногда ему казалось, что здесь, на Переландре, есть что-то непостижимое и невыносимое для человеческого разума.

Он добрался до той части леса, где с деревьев свисали большие желтые шары, по форме да и по размеру напоминавшие воздушный шар. Он сорвал один, покрутил — кожура была гладкая и твердая, он никак не мог ее надорвать. Вдруг в каком-то месте его палец проткнул кожуру и ушел глубоко в мякоть. Подумав, он попробовал глотать из отверстия. Он собирался сделать самый маленький глоток, для пробы, но вкус плода тут же избавил его от всякой осторожности. Это был именно вкус — точно так же, как голод и жажда были именно голодом и жаждой, — и он настолько отличался от любого земного «вкуса», что само это слово казалось пустым. Ему открылся новый род удовольствий, неведомых людям, непривычных, почти невозможных. За каплю этого сока на Земле правитель изменил бы народу и страны бы начали войну. Объяснить, определить этот вкус, вернувшись на Землю, Рэнсом не мог — он не знал даже, сладкий он был или острый, солоноватый или пряный, резкий или мягкий. «Не то... не то...» — только и отвечал на все наши догадки. А тогда он уронил пустую кожуру и собирался взять второй плод, но вдруг почувствовал, что не хочет ни пить, ни есть. Ему просто хотелось еще раз испытать наслаждение, очень силь-

ное, почти духовное. Разум — или то, что мы называем разумом, — действительно советовал отведать еще один плод, ведь удовольствие было детски невинным, а он уже столько пережил и не знал, что его ждет. И все же что-то противилось разуму. Что именно? Трудно предположить, что сопротивлялось чувство — какое же чувство, какая воля отвернется от такого наслаждения? Но почему-то он ощущал, что лучше не трогать второй плод. Быть может, то, что он пережил, так полноценно, что повторение только оплошало бы его. Нельзя же слушать два раза подряд одну и ту же симфонию. Так он стоял, дивясь, как часто там, на Земле, стремился к удовольствию по велению разума, а не по велению голода и жажлы. Тем временем свет стал меняться — позади становилось темнее, впереди сияние неба и моря тоже стало не таким ярким. На Земле он выбирался бы из лесу не больше минуты; здесь, на колеблющемся острове, это заняло несколько минут, и когда он вышел на открытое место, он увидел поистине фантастическое зрелище.

В течение дня золотое небо совершенно не менялось, и он не угадал бы, где именно Солнце. Но сейчас половина неба была озарена. Солнца он по-прежнему не мог разглядеть, но, опираясь на океан, встала арка зеленого света — Рэнсом не глядел на нее, блеск слепил глаза, а над зеленой дугой до самого неба поднимался многоцветный веер, раскрытый, словно хвост павлина. Море успокоилось, с поверхности вод к небу поднимались утесы и странные, тяжелые клубы синего и красного пара, а легкий, радостный ветер принялся играть волосами Рэнсома. День угасал, волны становились все ниже, и наконец вправду наступила тишина. Он сидел, поджав ноги, на берегу острова, как одинокий царь посреди всего этого великолепия. Впервые он подумал, что попал, быть может, в необитаемый мир, но тревога только усилила, обострила блаженство.

И вновь он удивился тому, чего мог ожидать: он провел весь день обнаженным, среди летних плодов, на мягкой и теплой траве — а теперь должен был наступить мягкий и серый летний вечер. Но прежде чем фантастические краски померкли на за-

паде, восток уже стал глухо-черным. Еще несколько мгновений, и тьма покрыла западную половину неба. Красноватый свет чуть помедлил в зените, и Рэнсом успел отползти к лесу. Как говорится, «было так темно, что ни зги не видно». Едва он добрался до деревьев и лег, наступила ночь — непроглядная тьма, больше похожая не на ночь, а на погреб для угля. Он мог поднести к лицу руку и все же не разглядеть ее. Эта неизмеримая, непроницаемая тьма просто давила ему на глаза. Не было ни Луны, ни звезд на прежде золотом небе, но и во тьме было тепло. Он различал новые запахи. Размеры у этого мира исчезли, остались лишь границы собственного тела да клочок травы, на котором он лежал, мягко покачивающийся гамак. Ночь укрыла его своим одеялом, избавила от одиночества. Так спокойно он мог бы заснуть в своей комнате на Земле. И сон пришел к нему — упал, как падает созревший плод, едва тронешь ветку.

Глава 4

Когда Рэнсом проснулся, с ним произошло то, что может случиться с человеком разве что в чужом мире: он явь принял за сон. Открыв глаза, он увидел причудливое, как на гербе, дерево с золотыми плодами и серебряными листьями. Корни яркосинего ствола обвивал небольшой дракон, чешуя его отливала червонным золотом. Несомненно, это был сад Гесперид.

«Какой яркий сон», — подумал Рэнсом и понял, что уже не спит.

Но покой и причудливость сна продолжались в этом видении, и ему не хотелось окончательно просыпаться. Он вспоминал, как совсем в другом мире -- древнем, холодном мире Малакандры — он повстречал прототип Циклопа, великана-пастуха, обитателя пещер. Может ли быть, что земные мифы рассеяны по другим мирам и здесь они — правда?

Тут он подумал: «Да ты совсем один, голый, беспомощный, в чужом мире, а это животное может оказаться опасным», — но не испугался. Он знал, что земные хищники в космосе — исключение, и он находил ласковый прием у куда более странных су-

ществ. На всякий случай он остался лежать, потихоньку рассматривая дракона. Тот был похож на ящерицу, ростом с сенбернара, с чешуйками на спине. Дракон смотрел на него.

Рэнсом приподнялся на локте. Дракон все глядел на него. Теперь Рэнсом ощутил, что земля под ним — совершенно ровная. Тогда он сел и увидел между стволами спокойное, неподвижное море. Океан превратился в позолоченное стекло. Рэнсом снова взглянул на дракона. Может ли он быть разумной тварью — хнау, как говорят на Марсе, — той самой, для встречи с которой он и послан? Не похоже, но попробовать надо. Рэнсом произнес первую фразу на старосолярном, и собственный голос показался ему чужим.

— Незнакомец, — сказал он, — я послан в ваш мир из Глубоких Небес слугами Малельдила. Примешь ли ты меня?

Дракон уставился на него — пристально и, быть может, мудро. Потом он прикрыл глаза. Рэнсому это не очень понравилось. Он решил встать. Дракон глаза открыл. С полминуты Рэнсом глядел на него, не зная, как быть дальше. Потом он увидел, что дракон медленно разворачивается. Стоять было трудно, но что поделаешь — разумно это существо или нет, от него не убежать. Дракон отлепился от дерева, встряхнулся и развернул два блестящих сине-золотых крыла, похожих на крылья летучей мыши. Он встряхнул ими, снова сложил их, снова уставился на Рэнсома и — то ползком, то как-то ковьяля — направился к берегу. Там он сунул в воду вытянутую металлически-блестящую морду, напился, вновь поднял голову и довольно мелодично, хотя и хрипловато, заблеял. Потом он обернулся, опять взглянул на Рэнсома и направился к нему.

«Просто глупо его ждать», — нашептывал здравый смысл, но Рэнсом, сцепив зубы, остался стоять.

Дракон подошел и ткнулся холодным носом ему в колени. Рэнсом совсем растерялся: может быть, дракон разумен и это его речь? А может, ищет ласки — но как его приласкать? Попробуйте-ка погладить такое чешуйчатое существо! А что как оно просто чешется о его колени? И тут дракон вроде бы забыл

о Рэнсоне, внезапно, как бывает у животных, отошел и принялся с жадностью есть траву. Чувствуя, что честь удовлетворена, Рэнсом повернул в лес.

С деревьев свешивались плоды, которых он уже отведал на Переландре, но внимание его привлекло что-то странное чуть впереди. В темной листве серо-зеленых зарослей что-то сверкало. Сперва ему показалось, что это похоже на оранжерею, освещенную солнцем; когда же пригляделся, он увидел, что стекло как бы движется, словно какая-то сила вбирает и выпускает свет. Он пошел вперед, чтобы выяснить, что же там происходит, как вдруг что-то холодное прикоснулось к его левой ноге. Дракон шел за ним. Он тыкался в него носом и ластился к нему. Рэнсом ускорил шаги — дракон тоже; он остановился — и дракон остановился. Он снова пошел вперед, дракон неотступно следовал за ним, и так близко, что бок его то и дело прижимался к бедру Рэнсома. Порой он даже наступал ему на ногу холодной и тяжелой лапой. Рэнсому все это не нравилось и он уже подумывал, как бы положить этому конец, как вдруг его отвлекло открывшееся перед ним зрелище. Над его головой с мохнатой ветви свисал огромный шар, полупрозрачный и сияющий. Шар вбирал и отражал свет, а по окраске был похож на радугу. Значит, это и было то «стекло», которое ему померещилось в лесу. Оглядевшись, Рэнсом увидел множество таких же шаров. Он стал рассматривать один шар — сперва ему казалось, что тот подвижен, потом он понял, что нет. Вполне естественно, он поднял руку и коснулся его. В ту же минуту голову его, и руки, и плечи обдал ледяной душой — ну, хотя бы холодный в таком теплом мире, — и он ощутил пронзительный, дивно-прекрасный запах, который напомнил ему строку из Доупа о розе: «благоуханной смертью умирает». Душ освежил его, и ему показалось, что до сих пор он толком и не проснулся. Открыв глаза (ведь он невольно зажмурился, когда хлынула вода), он увидел, что все цвета стали ярче и насыщенней, будто развеялась дымка, окутывавшая этот мир. Чары овладели им снова. Золотой дракон у его ног не был уже ни опасным, ни на-

зойливым. Если нагой человек и мудрый дракон — единственные обитатели плавучего рая, все правильно; ведь сейчас ему казалось, что это — не приключение, а воплощенный миф, а сам он — один из персонажей неземной истории. Куда как лучше!

Он снова повернулся к дереву. Плода, обдавшего его водой, уже не было. Ветка, похожая на тубик, заканчивалась не шаром, а маленьким дрожащим устьищем, из которого выдавилась кристаллическая капелька. Рэнсом растерянно огляделся: в роще было еще много радужных плодов, и он вновь уловил какое-то движение. Теперь он знал его причину: все эти сияющие шары понемногу росли и тихо лопались, оставляя на земле влажное пятно, которое быстро высыхало, а в воздухе — прохладу и тонкий дивный запах. Собственно, это были не плоды, просто пузыри: а Пузырчатые деревья (так он решил их назвать) качали воду из океана. Вода выходила наружу в форме шара, окрасившись соком, пока она шла по дереву. Рэнсом уселся, чтобы насладиться зрелищем. Теперь, когда он понял тайну леса, он мог объяснить, почему тот не похож на все остальное. Если внимательно следить за пузырем, можно было увидеть, как из устьища появляется обычная почка размером с грушу, надувается и наконец лопается; но если воспринять лес как целое, ощутишь только легкую игру света, слабый звук, нарушавший тишину Переландры, и свежесть, прохладу, влажность здешнего воздуха. По земным понятиям, здесь человек был «на воздухе» больше, чем в любом другом месте, даже у моря. Над головой Рэнсома повисла целая гроздь пузырей. Он мог бы подняться и окунуться в них, еще раз принять волшебный прохладный душ, только раз в десять сильнее. Но что-то удержало его, то самое, что помешало ему вчера попробовать второй плод. Он недолюбливал людей, вызывающих певца на бис («Ну это же все портит!» — объяснял он). Сейчас ему показалось, что это бывает не только в театре и значит немало. Люди снова и снова требуют чего-то, словно жизнь — это фильм, который можно крутить заново и даже задом наперед. Уж не здесь ли корень всех зол? Нет, корень зол — сребролюбие... Но ведь и деньги мы це-

ним потому, что они защищают от случайности, позволяют снова и снова получать одно и то же, удерживают кинолентку на месте.

Тут ему пришлось прервать размышления: что-то тяжелое навалилось ему на ноги. Дракон улегся и положил ему на колени длинную тяжелую голову.

«Знаешь, — сказал он дракону по-английски, — ты мне, однако, очень надоел».

Дракон не шевельнулся. Тогда он решил как-то с ним поладить, провел рукой по жесткой голове, но загадочный зверь не откликнулся. Рука скользнула ниже, нащупала мягкое место, просвет в чешуе. Ага! Ему нравится, когда его здесь чешут. Дракон удовлетворенно заворчал и, высунув длинный и толстый серовато-черный язык, лизнул ласкавшую его руку. Потом он опрокинулся навзничь, подставляя почти белое брюхо, и Рэнсом принялся чесать его пальцами ног. Отношения складывались неплохие, и дракон наконец заснул.

Тогда Рэнсом поднялся и еще раз принял душ под Пузырчатым деревом. Теперь он совсем проснулся, ему захотелось есть. Он забыл, где видел вчера желтые плоды, и отправился их искать. Идти почему-то было трудно, он даже подумал, не могли ли пузыри одурманить его, но, приглядевшись, понял, в чем дело: равнина, покрытая медным вереском, поднялась прямо на глазах, превратилась в холм, а тот покатился к нему. Он вновь застыл на месте, все еще изумляясь, что земля катится к нему, будто волна, зазевался — и упал. Поднявшись, он пошел осторожнее. Теперь он уже не сомневался: море разыгралось. Две соседние рощи отбежали к разным склонам горы, и в просвете между ними Рэнсом увидел колеблющуюся воду, да и ветер уже ерошил ему волосы. Покачиваясь, он направился к берегу, но по дороге ему встретились какие-то кусты с зелеными овальными ягодами, раза в три больше, чем миндаль. Он сорвал одну, разломил — она была суховата, вроде хлебной мякоти или банана, и довольно вкусна. Тут не было паразитического, почти избыточного наслаждения, как в желтых плодах, просто удовольствие, как от

обычной пищи, — поешь и сыт, «спокойное и трезвенное чувство». Так и казалось — во всяком случае, Рэнсому казалось, — что над такой едой надо прочесть благодарственную молитву; и он прочитал ее. Желтые плоды требовали оратории или мистического созерцания. Но и в этой еде оказались неожиданные радости: порой попадался плод с ярко-красной сердцевинкой, и такой вкусный, такой особенный, что Рэнсом готов был ничего другого и не есть и стал выискивать эти ягоды, но в третий раз тут, на Переландре, «внутренний голос» воспретил ему.

«А на Земле, — думал он, — уж придумали бы, как выводить такие, красные, и они стоили бы гораздо дороже других».

Да, деньги помогают вызвать на бис, и так громко, что никто не смеет слушаться.

Он поел и пошел вниз, к берегу, чтобы запить ягоды, но прежде, чем он добрался до моря, ему пришлось идти вверх. Остров изогнулся, превратился в светлую долину между двумя волнами, и когда Рэнсом лег на живот и вытянул губы, чтобы напиться, он удивился, что пьет из моря, которое выше берега. Потом он немного посидел на берегу, шевеля ногами красные водоросли, окаймлявшие этот кусок земли. Его все больше удивляло, что здесь никого нет. Зачем его отправили сюда? На миг пришла в голову дикая мысль — а вдруг этот необитаемый мир создан для него, чтобы он стал основателем, первопроходцем? Странно, что долгое одиночество почти не тревожило его. А как испугала его в свое время одна только ночь на Малакандре! Подумав, он решил: разница в том, что на Марс он попал случайно — по крайней мере, с его точки зрения, — а здесь он включен в замысел. Здесь он не зритель, здесь он не смотрит со стороны.

Остров взбирался на гладкие горы мягко светившейся воды, и в эти минуты Рэнсом мог разглядеть множество соседних островов. Они отличались друг от друга цветом, да так, что он такого и не видывал. Огромные цветные ковры кружили вокруг и толпились, будто яхты, непогодой собранные в гавань, и деревья на них все время накренились то в одну, то в другую сторону, словно настоящие мачты. Он долго дивился тому, как яр-

ко-зеленый или бархатно-розовый край соседнего острова вползает на волну, зависает над головой — и вдруг разворачивается, словно ковер, спускаясь с водяного склона волны. Иногда его остров и кто-нибудь из соседей оказывались по разные стороны одной и той же волны, только узкая полоска воды у гребня разделяла их, и на миг все это становилось похожим на земной пейзаж, словно ты очутился на лесной поляне, пересеченной ручьем. Но пока он любовался этой земной картинкой, ручей совершал то, чего никогда не бывает с ручьями на Земле, — он поднимался вверх, и суша скатывалась вниз по обе стороны. А вода все поднималась, пока половина сложившейся было суши не исчезала за гребнем, — и вместо реки Рэнсом снова видел высокую изогнутую спину злато-зеленой волны, вздыбившуюся до небес и угрожающую поглотить его остров, который, прогнувшись, превратившись в долину, откатывался вниз, в объятия следующей волны, чтобы, вознесясь вместе с ней, снова превратиться в гору.

Тут его поразил какой-то грохот и скрежет. На миг ему показалось, что он вновь перенесся в Европу и над его головой кружит самолет. Потом он увидел своего приятеля-дракона. Вытянув хвост, будто огромный крылатый червь, тот летел к соседнему острову. Следя глазами за его полетом, Рэнсом разглядел две стаи каких-то крылатых существ, слева и справа. Вытянувшись в две черные черты на фоне золотого неба, они спешили к тому же острову. Вглядевшись, Рэнсом понял, что это летят птицы, а тут и переменившийся ветер донес до него мелодичное чириканье. Птицы эти были чуть-чуть крупнее земного лебедя. Они так целеустремленно спешили к острову, к которому направлялся дракон, что Рэнсому стало любопытно и даже показалось, что и он с нетерпением чего-то ждет. Изумление усилилось, когда он разглядел, что в море что-то движется: вода кипела и сбивалась в пену, и пена эта стремилась к тому же острову, целое стадо каких-то морских животных спешило туда. Рэнсом поднялся на ноги; тут высокая волна загородила от него остров, но через минуту он снова разглядел торопливо плывших

к острову животных. Сейчас он смотрел на них с высоты в несколько сотен футов. Все они были серебристые, все усердно работали хвостами. Снова они исчезли из виду, и Рэнсом даже выругался. В этом неторопливом мире все это казалось очень значимым. Ага! Вон они. Да, это рыбы. Очень большие, толстые, вроде дельфинов. Они вытянулись двумя цепочками, некоторые пускали целые фонтаны радужной воды. Впереди плыл вожак. Он показался Рэнсому немного странным, у него был какой-то выступ на спине. Если бы хоть минуту, чтобы как следует взглядеться! Рыбы уже подплывали к острову, и птицы спускались, чтобы встретить их у берега. Снова Рэнсом увидел вожака со странным выступом на спине. Снова не поверил своим глазам — но уже бежал к самой кромке острова, громко вопя и размахивая руками. В тот самый миг, когда вожак подплывал к соседнему острову, остров поднялся на волне, и Рэнсом увидел на фоне неба четко и ясно очертания фигуры на спине вожака. Это был человек. Теперь, сойдя со спины вожака, он ступил на берег, обернулся, слегка поклонился рыбе и вместе со всем островом, перевалившим за гребень волны, исчез из виду. Рэнсом ждал, пока остров покажется снова, сердце у него часто билось. Вот он! На этот раз — ниже, а не между Рэнсомом и небом. Но человека не видно. На миг отчаяние пронзило Рэнсома. Потом он все-таки разглядел темную фигурку — человек удалялся от него к роще синеватых деревьев. Рэнсом подпрыгивал, размахивал руками, орал, пока не сорвал голос, но человек не замечал его. То и дело он скрывался из виду, когда же Рэнсому снова удавалось его разглядеть, он боялся, что это только обман зрения, какое-нибудь дерево, скопление листьев, которые ему сейчас кажутся человеком. И всякий раз, прежде чем он успевал отчаяться, он снова отчетливо различал этот силуэт; но глаза уже начинали уставать. Рэнсом понял, что чем больше он будет вглядываться, тем меньше увидит.

Наконец от усталости он опустился на землю. До сих пор одиночество почти не пугало его, теперь оно стало невыносимым. Он больше не мог оставаться один. Вся красота, весь вос-

торг его исчезли — стоило этому человеку пропасть из виду, и мир превращался в кошмар, в ловушку, в камеру, где он безысходно заперт. Он боялся, что начинается галлюцинация. Он боялся, что обречен навеки жить в одиночестве на этом отвратительном острове. Он будет один, но ему все время будут мерещиться люди, с распростертыми объятиями, с улыбкой на устах, и они исчезнут, едва он к ним приблизится. Он уронил голову на руки, стиснул зубы и попытался привести мысли в порядок. Сперва он слышал только свое тяжелое дыхание и удары сердца, потом ему все-таки удалось взять себя в руки. И тогда его осенило: чтобы привлечь внимание существа, похожего на человека, надо просто положить, пока остров поднимется на гребне волны, и тогда встать во весь рост, чтобы тот увидел его на фоне неба.

Трижды ждал Рэнсом, пока его остров превратится в гору, поднимался, покачиваясь, снова размахивал руками. На четвертый раз он добился своего. В это время соседний остров лежал под ним, словно долина. Он увидел, как черная фигурка помахала ему в ответ. Человек отступил от сине-зеленых деревьев, на фоне которых его было так трудно разглядеть, и побежал через оранжевую лужайку навстречу Рэнсому, к самому краю своего острова. Он бежал легко, словно привык к зыбкой почве. Тут снова остров Рэнсома ринулся вниз, немного назад, и огромная волна разделила два клочка суши, так что на миг другой остров исчез из виду. Потом, почти сразу, Рэнсом увидел снизу оранжевый остров, медленно сползавший к нему по склону волны. Человек все еще бежал, пролив между островами был теперь не шире тридцати ярдов, и Рэнсома отделяло от него примерно сто ярдов. Теперь он видел, что это не просто человекообразное существо — это самый настоящий человек. Зеленый человек в оранжевом поле — зеленый, как летние жуки в английском саду, — все еще бежал по склону горы навстречу Рэнсому, бежал легко и очень быстро. Море тем временем подняло остров Рэнсома, и зеленый человек стал крохотным где-то далеко внизу, как актер, когда его видишь с галерки. Рэнсом стоял на самом краю

своего острова, напряженно глядя вперед и все время окликал того, другого. Зеленый человек задрал голову. Видимо, он что-то кричал, приложив ко рту сложенные раструбом руки, но шум моря поглощал все слова. а остров Рэнсома снова летел вниз, в расщелину между двумя волнами, и высокий зеленый гребень волны укрыл от него соседний остров. От этого можно было свихнуться, — он испугался, ему казалось, что волны относят острова все дальше друг от друга. Слава богу, оранжевая земля вновь показалась на гребне волны и, вместе с волной, пошла вниз. Незнакомец стоял теперь на самом берегу, глядя прямо на Рэнсома. Глаза его сияли любовью и радостью, но тут же лицо это резко изменилось, на нем проступило удивление, разочарование, и Рэнсом, тоже огорчаясь, понял, что его принимали за кого-то другого. Не к нему бежал зеленый человек, не ему махал рукой и что-то кричал. И еще одно он успел рассмотреть: это не мужчина, а Женщина.

Нелегко сказать, почему это так его удивило. Раз на этой планете жили люди, он мог повстречать и женщину, и мужчину. Но он удивился — так удивился, что два острова вновь отделились друг от друга, скатившись в долины по разные стороны волны, когда он понял, что ничего не сказал, только по-дурацки тарашился на эту Женщину. Теперь она исчезла из виду, и его пожирали сомнения. Неужели он послан ради этого? Он ожидал чудес, он был готов к чуду — но не к какой-то зеленой богине, словно вырезанной из малахита и все же живой. Тут он вспомнил — он почти не заметил этого, когда глядел на нее, — что ее сопровождала странная свита. Будто дерево над кустарником, она высилась над целой толпой существ — больших голубино-сизых и огненно-красных птиц, драконов, крохотных бобров, каких-то геральдических рыб. А может, ему померещилось? Может, это — начало галлюцинации, которой он боялся, или миф, ворвавшийся в мир фактов и более страшный, чем мифы о Цирцее и Алкионе? Какое у нее выражение лица!.. Чего же она ждала, если встреча с ним так ее разочаровала?

Снова показался другой остров. Да, живогные есть, они ему не померещились. Они окружали ее рядов в десять, а то и

в двадцать, и все глядели на нее, большей частью — не двигаясь, хотя кое-кто и пробирался на свое место, бесшумно и учтиво, словно на торжественной церемонии. Птицы сидели длинной цепочкой, к ним тихо подлетали новые. Из чащи Пузырчатых деревьев шли к Женщине несколько длинных коротконогих свинок, вроде поросячьей таксы. Маленькие лягушки, которые прежде падали вместе с дождем, скакали вокруг нее, порой достигая головы и опускаясь ей на плечи; цвет их был так ярок, что сперва Рэнсом принял их за зимородков. Она стояла, спокойно глядя на него. Руки ее висели вдоль тела, ноги были сдвинуты, взгляд не говорил ни о чем. Рэнсом решил обратиться к ней на старосолярном языке.

«Я из другого мира», — начал он и остановился.

Зеленая Женщина сделала то, чего он никак не ожидал, — подняла руку и указала на него, словно приглашая всю эту живность им полюбоваться. В тот же миг лицо ее изменилось, и он подумал было, что она вот-вот заплачет, но она засмеялась, и смеялась, пока не согнулась от хохота, держась одной рукой за колено, а другой все указывая на него. Свита ее смутно понимала, что началось веселье, как поняли бы наши собаки, и на него откликнулась: кто махал крыльями, кто фыркал и поднимался на задние лапы. А Зеленая Женщина все смеялась, пока новая волна не разлучила их.

Рэнсом просто оторопел. Неужели эльдилы перенесли его в этот мир, чтобы он встретил здесь идиотку? А может, это злой дух, издевающийся над людьми? Или все-таки призрак, галлюцинация? Тут он понял (надо признаться, гораздо быстрее, чем понял бы я на его месте), что Женщина не сумасшедшая — это он, Рэнсом, смешон. Он оглядел себя. Ноги и впрямь смешные, одна — красно-коричневая, как у тициановского сатира, другая — почти безжизненно бледная. Он попытался осмотреть и бока — то же самое, полосы, память о странствии через космос, когда Солнце поджаривало его только с одной стороны. Значит, над этим она смеется? Сперва он обозлился на существо, для которого встреча двух миров — какой-то смешной

пустяк. Потом все-таки засмеялся над собой — нечего сказать, весело начинаются его похождения на Переландре! Он-то готовился к испытаниям, а его встречают сперва досадой, потом смехом... Ага! Вот и остров — и Зеленая Женщина на нем.

Она уже отсмеялась и спокойно сидела на берегу, свесив ноги в воду и рассеянно поглаживая зверька, похожего на газель, который тыкался носом ей в локоть. Глядя на нее, трудно было поверить, что она только что хохотала. Казалось, она сидела вот так всю свою жизнь. Рэнсому не доводилось видеть такое спокойное, такое неземное лицо, хотя все черты его были вполне человеческими. Потом он понял, почему оно показалось ему странным — в нем совершенно не было той покорности, которая здесь, у нас, как-то хоть немного соединяется с полным и глубоким покоем. Вот затишье — но перед ним не бушевала буря. То, что Рэнсом видел на этом лице, могло быть слабоумием, могло быть бессмертием, могло быть чем угодно, но на Земле такого нет. Странная, страшная мысль пришла ему в голову: на древней Малакандре он повстречал существ, чей внешний вид и отдаленно не напоминал человека, но, когда он познакомился с ними поближе, они оказались и приветливыми, и разумными. Под чуждой оболочкой билось человеческое сердце. Что ждет его здесь? Теперь он понимал, что слово «человек» не означает определенную форму тела или даже разум — оно связано и с той общностью крови и памяти, которая объединяет всех людей на земле. Это существо не принадлежало к его роду — никакая ветвь родословного древа, пусть самая отдаленная, не соединяла его с Зеленой Женщиной. В этом смысле в ней не было ни капли «человеческой крови». Ее род и род человеческий созданы отдельно и независимо друг от друга.

Все эти мысли пронеслись в его уме, и резкая смена освещения прервала их. Сперва ему показалось, что это сама Женщина стала синей и засияла каким-то электрическим светом. Потом он заметил, что в синеву и пурпур окрасился весь остров — а острова уже снова относило друг от друга. Он поглядел на небо. Вокруг него сиял многоцветный веер краткого вене-

рианского вечера. Через несколько минут наступит ночь, и волны разлучат их. Медленно произнося слова древнего наречия, он заговорил с Женщиной.

— Я чужеземец,— сказал он.— Я пришел к вам с миром. Позволите ли вы мне перебраться на ваш остров?

Зеленая Женщина с любопытством взглянула на него.

— Что такое «мир»? — спросила она.

Рэнсом чуть не приплясывал от нетерпения. Становилось все темнее, и расстояние между островами явно увеличивалось. Только он хотел заговорить, как большая волна поднялась между ними, и снова тот остров исчез из виду. Над ним повисла волна, лиловая в лучах заката, и он увидел, что небо по ту сторону волны уже совсем черное. Соседний остров, далеко внизу, уже окутывали сумерки. Рэнсом бросился в воду. Не так-то легко было отцепиться от поросшего водорослями берега, но ему это удалось, и он поплыл вперед. Тут же волна отбросила его назад к красным зарослям на берегу. Проборовшись несколько мгновений, он снова освободился от них, быстро поплыл — и тут, без всякого предупреждения, на море пала ночь. Он все еще плыл, хотя не надеялся не только добраться до того острова, но и просто спастись. Огромные волны сменяли друг друга, не давая ему понять, куда именно он плывет. Только случай помог бы ему найти хоть какую-нибудь землю. Судя по тому, сколько времени он уже был в воде, он плыл не к соседнему острову, а вдоль разделявшего их пролива. Он попытался сменить курс, передумал, попытался снова плыть, как плыл раньше, — и, окончательно запутавшись, уже совершенно не понимал, куда и как он плывет. Он уговаривал себя, что нельзя терять голову, но уже устал и даже не пытался держаться какого-либо курса. Вдруг, когда прошло уже немало времени, какие-то водоросли скользнули вдоль его бока. Он ухватился за них, подтянулся, уловил в темноте благоухание цветов и фруктов. Он подтягивал и подтягивал тело к берегу, хотя руки очень болели. Наконец, тяжело дыша, он рухнул на безопасную, благоуханную, сухую, тихонько волнующуюся землю плавучего острова.

Глава 5

Видимо, Рэнсом заснул, едва выбрался на берег, потому что больше он ничего не помнил до тех пор, пока его не разбудил голос птицы. Открыв глаза, он увидел и саму птицу — длинноногую, вроде миниатюрного аиста, только пела она как канарейка. Свет был дневной, такой яркий, какой может быть на Переландре, и в предчувствии славных приключений Рэнсом быстро присел, а там и поднялся на ноги. Раскинув руки, он огляделся. Он был не на оранжевом острове, а на том самом, где жил с тех пор, как попал на Переландру. Стоял мертвый штиль, и дойти до берега не составило никакого труда. Там он замер от удивления: остров, на котором жила Зеленая Женщина, плыл рядом с ним, всего в пяти шагах. Весь мир вокруг него изменился. Моря нигде не было, со всех сторон — только плоские острова, поросшие лесом. Десять или двенадцать островов на время соединились. На том берегу, отделенная от него узкой расщелиной, показалась Зеленая Женщина. Она шла, чуть наклонив голову, что-то плела из голубых цветов и тихо напевала, а когда Рэнсом окликнул ее, остановилась и поглядела ему в глаза.

— Вчера я была молодая, — начала она, но Рэнсом едва разобрал ее слова. Теперь, когда они встретились, он был совершенно потрясен. Поймите меня правильно. Его потрясло совсем не то, что Женщина, как и он сам, была совершенно голой. И похоть, и стыд были слишком далеки от этого мира; если он и стеснялся своего тела, то не из-за различия полов — просто он знал, что он сам все-таки смешон и неловок. Зеленый цвет ее кожи не отпугивал его — напротив, в ее собственном мире этот цвет был и красив, и уместен; это его тело, с одного бока — тускло-белое, с другого — почти красное, казалось здесь уродливым. Нет, у него не было особых причин смущаться, и все же что-то сбивало его с толку. И он попросил ее, чтобы она повторила свои слова.

— Вчера, когда я над гобой смеялась, я была еще молодая, — повторила она. — Я не знала, что в вашем мире люди не любят, когда над ними смеются.

— Молодая?

— Да.

— А сегодня ты уже не молодая?

На минуту она задумалась, так глубоко, что цветы незаметно выпали у нее из рук.

— Теперь я поняла, — сказала она наконец. — Странно говорить про себя, что ты сейчас молодая. Но ведь завтра я стану старше. И тогда я скажу, что была сегодня молодой. Ты прав. Ты принес мне большую мудрость, Пятнистый.

— Какую мудрость?

— Теперь я знаю, что можно глядеть и вперед, и назад, и все — разное: одно, когда приближается, другое — когда уже здесь, и третье — когда ушло. Как волна.

— Со вчерашнего дня ты не могла стать намного старше.

— Откуда ты знаешь?

— Одна ночь — это не так уж много, — объяснил Рэнсом.

Она снова задумалась, заговорила, и лицо ее снова засияло.

— Вот, поняла, — сказала она. — Ты думаешь, у времени есть длина. Ночь — всегда только одна ночь, что бы ты за это время ни сделал, как до этого дерева столько шагов, быстро идешь или медленно. Вообще-то это правда. Но ведь от волны до волны всегда одно расстояние. Ты пришел из мудрого мира... если это мудрость. Я никогда не выходила из жизни, чтобы поглядеть на себя со стороны, как будто я неживая. А в вашем мире все так делают, Пятнистый?

— Что ты знаешь о других мирах? — спросил Рэнсом.

— Вот, что я знаю: над крышей нашего мира — Глубокие Небеса, самая высь. А наш, Нижний мир — не плоский, как нам кажется, — она повела рукой вокруг себя, — он соткан в маленькие шарики, в такие кусочки этого, нижнего, и они плывут в вышине. На самых старых и больших есть то, чего мы не видели, да и не сумели бы понять. А на молодых Малельдил поселил таких, как мы, — тех, кто рождается и дышит.

— Откуда ты это узнала? Крыша вашего мира слишком плотна. Ваш народ не мог увидеть сквозь нее ни Глубокие Небеса, ни другие миры.

До сих пор ее лицо оставалось серьезным, теперь она захлопала в ладоши, улыбнулась, и улыбка преобразила ее. Здесь, у нас, так улыбаются дети, а в ней не было ничего детского.

— А, поняла! — сказала она. — Я опять стала старше. У вашего мира крыши нет. Вы смотрите прямо вверх, вы просто видите Великий Танец. Вы так и живете в страхе и радости, вы — видите, а мы только верим. Как прекрасно все устроил Малельдил! Когда я была молодая, я не могла представить себе другую красоту, кроме нашей. А он выдумывает столько разного!

— А я вот удивляюсь, — сказал Рэнсом, — что ты совсем такая же. Ты совершенно похожа на женщин моего мира. Этого я не ожидал. Я побывал еще в одном мире, кроме моего, и разумные существа там не похожи ни на тебя, ни на меня.

— Что же тут странного?

— Не понимаю, как могли в разных мирах появиться одинаковые существа. Ведь на разных деревьях не растут одни и те же плоды?

— Но ведь тот, другой мир старше вашего, — сказала она.

— Откуда ты знаешь? — удивился он.

— Малельдил сказал мне сейчас, — отвечала она. Когда она произносила эти слова, мир вокруг нее изменился, хотя никакие наши чувства не уловили бы разницы. Свет был приглушен, воздух мягок, все тело Рэнсома купалось в блаженстве, но сад, в котором он стоял, внезапно заполнился до отказа, невыносимая тяжесть легла ему на плечи, ноги подкосились, и он почти упал на песок.

— Я вижу все это, — продолжала Женщина. — Вот большие пушистые существа, и белые великаны — как их?.. — сорны, и синие реки. Хорошо бы увидеть их просто глазами, потрогать!.. Ведь больше таких существ не будет. Они остались только в старых мирах.

— Почему? — шепотом спросил Рэнсом, не сводя с нее глаз.

— Тебе это знать, не мне, — ответила она. — Разве не в вашем мире это случилось?

— Что именно?

— Я думала, ты мне расскажешь, — удивилась теперь она.

— О чем ты? — спросил он.

— В вашем мире Малельдил впервые принял этот образ, — объяснила она, — образ нашего рода, твоего и моего.

— Ты это знаешь? — резко спросил он. Чувства его поймет тот, кто когда-то видел прекрасный, слишком прекрасный сон и всей душой хотел проснуться.

— Да, я знаю. Пока мы говорили, Малельдил сделал меня старше.

Такого лица, какое было у нее в ту минуту, Рэнсому никогда не приходилось видеть, и он не мог смотреть на нее. Он совсем уж не понимал, что же это с ним случилось. Оба помолчали. Прежде чем заговорить, он спустился к воде и с жадностью напился.

— Госпожа моя, — спросил он наконец, — почему ты сказала, что те существа остались только в древних мирах?

— Разве ты такой молодой? — удивилась она. — Как же им родиться теперь? С тех пор, как Тот, Кого мы любим, стал человеком, разум не может принять другого облика. Неужели ты не понимаешь? То — миновало. Время течет, течет — и вот, будто повернуло, а за поворотом — все уже совсем новос. Время назад не идет.

— Как может такой маленький мир стать Поворотом?

— Я не понимаю. У нас поворот от величины не зависит.

— А ты знаешь, — не сразу спросил Рэнсом, — почему Он стал человеком в моем мире?

Пока они так говорили, он не решался поднять глаз, и ответ ее прозвучал словно с высоты, где-то над ним.

«Да, — сказал голос, — знаю. Но это не то, что знаешь ты. Причин было много, одну я знаю, но не могу тебе сказать, а другую знаешь ты и не можешь сказать мне».

— И теперь, — заключил Рэнсом, — будут только люди.

— Ты как будто огорчен.

— Я думаю, что разума у меня не больше, чем у животного, — сказал Рэнсом. — Я сам не понимаю, что говорю. Мне понравились пушистые существа там, в старом мире, на Малакандре. Они уже не нужны? Неужели для Глубоких Небес они — только старый хлам?

— Я не знаю, что такое «хлам», — отвечала она. — Я не понимаю, о чем ты говоришь. Ты же не думаешь о них хуже, оттого что они появились раньше, а теперь уже не появляются? У них — свои времена, не эти. Мы — по одну сторону волны, они — по другую. Все начинается заново.

Груднее всего было, что он не всегда понимал, с кем именно разговаривает, — потому (или не потому) что так и не решился поднять глаза. Теперь он хотел кончить разговор. Он мог бы сказать: «Ну, с меня хватит», — не в пошлом, смешном смысле этих слов, а в самом прямом, просто «хватит», словно ты вволю наелся или выпался. Час назад ему было бы трудно это сказать, а теперь он естественно произнес:

— Я не хочу больше говорить. А вот перебраться на ваш остров я хотел бы. Тогда мы могли бы встретиться снова, если будет охота.

— Какой остров ты называешь моим? — спросила она.

— Тот, на котором ты стоишь, — ответил Рэнсом. — Какой же еще?

— Иди сюда, — сказала она, одним движением охватив весь мир вокруг себя, словно она — хозяйка этого дома.

Он шагнул в воду и выбрался на тот берег. Потом он поклонился — неуклюже, как любой современный мужчина, — и пошел прочь от нее, к ближайшему лесу. Ноги все еще подгибались и даже побаливали; он испытывал странную, чисто физическую усталость. Присев на минутку, он тут же заснул.

Проснулся он совсем отдохнувший, но почему-то в беспокойстве. Это никак не было связано с тем диковинным гостем, которого он увидел возле себя. У его ног, уткнувшись в них носом, лежал дракон; один его глаз был закрыт, другим он глядел на Рэнсома. Приподнявшись на локте, Рэнсом увидел у своей головы другого стража — пушистого зверька, вроде кенгуру, только желтого, именно желтого, он в жизни не встречал такой яркой, чистой желтизны. Едва Рэнсом пошевелился, оба зверя стали тыкаться в него носами. Они тыкались и тыкались, пока он не поднялся на ноги, а потом принялись подталкивать куда-то. Дракон был слишком тяжел, Рэнсом не мог его отпихнуть,

а желтый кенгуру скакал вокруг него, тоже отрезая все пути, кроме одного. Он сдался. Они подгоняли его, вели сквозь рощу каких-то деревьев, повыше и потемнее, потом через полянку, потом аллеей, где на деревьях росли пузыри, а там — через широкое поле серебряных высоких цветов. Наконец он понял, что звери ведут его к своей госпоже. Она стояла неподалеку, совершенно неподвижно, но не казалась праздной, словно и разум ее, и даже тело заняты какой-то невидимой работой. Впервые он внимательно разглядел ее — она его не видела, — и она показалась ему еще более странной, чем прежде; ни одно земное понятие не годилось. Противоположности соединялись в ней и переходили друг в друга. Мы себе и представить этого не можем. Попробую сказать так: ни мирскому, ни священному искусству не создать ее изображения. Прекрасная, юная, обнаженная и не знающая стыда, она была языческой богиней — но лицо дышало таким покоем, что показалось бы скучным, если бы не сосредоточенная, почти вызывающая кротость. Лицо это, напоминавшее о тишине и прохладе церкви, в которуюходишь с жаркой улицы, было лицом Мадонны. Он пугался того напряженного покоя, который глядел из этих глаз; но в любую минуту она могла рассмеяться, как ребенок, убежать резвее Дианы или заплясать, как вакханка. А золотое небо висело над самой ее головой, звери подбегали приветствовать ее, стряхивая по пути лягушек с пушистых кустов, и воздух наполнился яркими комочками, похожими на капли росы. Когда дракон и кенгуру приблизились к ней, Женщина обернулась, приветливо подозвала их, и снова то, что Рэнсом увидел, было таким, как бывает на Земле, — и совсем иным. Она ласкала животных не как наездница, гордящаяся своим конем, и не как девочка, играющая с котенком. В лице ее было достоинство, в ласках — снисходительность; она помнила, что ласкавшиеся к ней твари ниже ее, и само это знание возвышало их, превращало не в балованных любимцев, но в слуг. Когда Рэнсом подошел ближе, она наклонилась и шепнула что-то в желтое ухо кенгуру, а затем, обернувшись к дракону, издала какой-то звук, похожий на его бляенье. Она как бы отпустила их, и они убежали в лес.

— У вас тут животные почти разумны, — сказал Рэнсом.

— Мы делаем их все старше и старше, — отвечала она. — Разве не для этого и существуют животные?

Рэнсом уцепился за слово «мы».

— Я как раз хотел спросить, — сказал он. — Малельдил послал меня в ваш мир с какой-то целью. Ты знаешь, с какой?

Она к чему-то прислушалась, потом сказала:

— Нет.

— Тогда отведи меня к себе домой и познакомь с вашим народом.

— Что такое «народ»?

— Твоя родня... ну, и другие.

— Ты говоришь о Короле?

— Да. Если здесь есть король, лучше мне пойти к нему.

— Я не могу тебя отвести, — сказала она. — Я не знаю, где он.

— Тогда отведи меня к себе домой.

— Что такое «дом»?

— Место, где люди живут, хранят свои вещи, растят детей.

Она раскинула руки, охватив весь мир вокруг себя, и сказала:

— Вот мой дом.

— И ты живешь здесь в одиночестве? — спросил он.

— Что такое «одиночество»?

Рэнсом попробовал иначе:

— Отведи меня туда, где я смогу поговорить с другими.

— Если ты имеешь в виду Короля, я вель сказала: я не знаю, где он. Когда мы были совсем молодые, много дней назад, мы прыгали с острова на остров. Когда он был на одном острове, а я на другом, поднялась волна и нас отнесло в разные стороны.

— Разве ты не можешь отвести меня к другим людям? Вель не единственный же он человек, кроме тебя!

— Нет, единственный. Разве ты не знала?

— Должны быть и другие — твои братья, сестры, родичи, друзья...

— Я не знаю, что эти слова значат.

— Да кто же тогда Король? — в отчаянии спросил Рэнсом.

— Он — это он сам, — сказала она. — Как можно ответить на такой вопрос?

— Послушай, — сказал Рэнсом, — у тебя ведь есть мать. Она жива? Где она? Когда ты в последний раз ее видела?

— У меня есть мать? — спросила Женщина, удивленно, не совсем спокойно. — О чем ты? Это я — Мать.

И снова Рэнсом почувствовал, что говорит не она или не только она. Никакого другого звука не было, море и воздух застыли, но где-то в призрачной дали вновь началась песня огромного хора. И к нему вернулся страх, который рассеяли былю ее нелепые ответы.

— Я не понимаю, — сказал он.

— И я не понимаю, — сказала Женщина, — но душа моя славит Малельдила, ибо Он нисходит с Высоких Небес, чтобы благословить меня на все времена, которые еще придут к нам. Он силен, сила Его укрепляет меня, и ею живы эти славные твари.

— Если ты мать, где твои дети?

— Их еще нет, — сказала она.

— А кто будет их отцом?

— Король, конечно, кто же еще?

— У короля тоже нет отца?

— Он сам — Отец.

— Значит, — медленно произнес Рэнсом, — ты и он — единственные люди во всем этом мире?

— Конечно. — Тут лицо ее изменилось. — Какая же молодая я была! — сказала она. — Теперь я вижу. Я знала, что в старых мирах, там, где храсса и сорны, много разумных существ. Но я забыла, что и ваш мир старше нашего. Я поняла, вас теперь много. Я-то думала, вас там тоже только двое. Я думала, ты — Отец и Король вашего мира. А там живут уже дети детей, и ты, наверное, один из них.

— Да, — сказал Рэнсом.

— Когда ты вернешься, передай мой привет вашей Королеве и Матери, — сказала Зеленая Женщина, и впервые в ее голосе прозвучала изысканная, даже церемонная вежливость.

Рэнсом понял: она знает теперь, что говорит не с равным. Одна королева посылала свой привет другой и тем более бла-

госклонно разговаривала с простым подданным. Ему нелегко было ей ответить.

— Наша Королева и Мать умерла, — наконец сказал он.

— Что значит «умерла»?

— Когда наступает время, люди покидают наш мир. Малельдил забирает их души куда-то — мы надеемся, что в Глубокие Небеса. Это называется «умереть».

— Что же ты дивишься, почему ваш мир избран для Поворота? Вы всегда глядите в Глубокое Небо, мало того — вас еще и забирают. Милость, оказанная вам, превышает всех милостей.

Рэнсом покачал головой:

— Это не совсем так.

— Наверное, — сказала она, — Малельдил послал тебя, чтобы ты научил нас умирать.

— Ты не поняла, — сказал он, — это все совсем не так. Это очень страшно. Смерть даже пахнет дурно. Сам Малельдил заплакал, когда увидел ее.

И голос его, и лицо, видимо, удивили ее. Она изумилась — не ужаснулась, просто изумилась, но лишь на секунду; потом изумление растворилось в ее покое, словно капля в океане. Она сказала снова:

— Не понимаю.

— И не поймешь, госпожа, — сказал он. — Так уж устроен наш мир — не все, что там есть, приятно нам. Бывает и такое, что руки и ноги себе отрежешь, лишь бы его не было, — и все же это есть.

— Как можно желать, чтобы нас не коснулась волна, которую послал Малельдил?

Рэнсом знал, что спорить не стоит, и все же продолжал:

— Да ведь и ты ждала Короля, когда повстречалась со мной. Когда ты увидела, что это не он, лицо твое изменилось. Разве ты этого хотела? Разве ты не хотела увидеть кого-то другого?

— Ох! — просто охнула Женщина и отвернулась от него. Она опустила голову, стиснула руки, напряженно размышляя. Потом вновь подняла взгляд и сказала: — Не делай меня старше так быстро, я не вынесу, — и отступила от него на несколько шагов.

Рэнсом пытался понять, не причинил ли ей вреда. Он догадался, что чистота ее и покой не установлены раз и навсегда, как покой и неведение животного. — они живые, а значит, хрупкие. Равновесие удерживал разум, его можно нарушить. Скажем так: велосипедисту нет причин упасть посреди ровной дороги, и все же это может случиться в любую минуту. Ничто не принуждало ее сменить мирное счастье на горести нашего рода, но ничто и не ограждало ее... Опасность, которую Рэнсом разглядел, ужаснула его; но когда он вновь увидел лицо Королевы, он уже сказал бы не «опасно», а «стало интересно», а там и забыл все определения. Снова не мог он глядеть на это лицо — он увидел то, что старые мастера пытались изобразить, рисуя нимб. Лицо излучало и веселье, и строгость, сияние его походило на сияние мученичества — но без всякой боли. А когда она заговорила, слов ее он опять не понял.

— Я была такая молодая, вся моя жизнь была как сон... Я-то думала, меня ведут или несут, а я шла сама...

Рэнсом спросил ее, что это значит.

— То, что ты показал мне, — продолжала она, — это ведь ясно, как небо, но раньше я не видела. А это происходит каждый день. Я иду в лес, чтобы найти там еду, и уже думаю об одном плоде больше, чем о другом. Но я могу найти другой плод, не тот, о котором думала. Я ждала одну радость, а получила другую. Раньше я не замечала, что в тот самый миг, когда я нахожу этот плод, я что-то... ну, выбрасываю из головы, о чем-то забываю. Я еще вижу тот плод, который не нашла. Если б я захотела... если б это было возможно... я могла бы все время глядеть только на этот плод. Душа отправилась бы искать то, чего она ждала, и отвернулась бы от того, что ей послано. Так можно отказаться от настоящего блага, и вкус плода, который ты держишь, покажется пресным по сравнению с тем плодом, которого нет.

Рэнсом перебил ее:

— Ну, это не то же самое, что найти незнакомца, когда надеешься встретить мужа.

— Именно так я все и поняла. Ты и Король различаетесь куда больше, чем два плода. Радость встречи с ним и радость от

нового знания, которое ты мне дал, меньше похожи друг на друга, чем вкус разных плодов. Когда разница так велика и благо, которое ты ждешь, так важно, первая картинка держится в уме гораздо дольше, сердце бьется много раз после того, как уже пришло иное благо. Вот это чудо, эту радость ты и показал мне, Пятнистый, я сама отвернулась от того, чего я ждала, и приняла то, что мне послано, сама, по своей воле. Можно представить себе иную волю, иное сердце, которое поступит иначе — будет думать только о том, чего оно ждало, и не полюбит то, что ему послано.

— В чем же здесь чудо и радость? — спросил Рэнсом.

Мысль ее была настолько выше его мыслей, глаза сверкали таким торжеством, что на Земле оно непременно обернулось бы презрением, но в этом мире презрения нет.

— Я думала, — сказала она, — что меня несет воля Того, Кого я люблю. А теперь я знаю, что по своей воле иду вслед за Ним. Я думала, благо, которое Он посылает, вбирает меня и несет, как волна несет острова, но это я сама бросаюсь в волну и плыву, как плывем мы, когда купаемся. Мне показалось, что я попала в ваш мир, где нет крыши и люди живут прямо под обнаженным небом. Это и радостно и страшно! Подумать только, я сама иду рядом с Ним, так же свободно, как Он Сам, Он даже не держит меня за руку. Как сумел Он создать то, что так отделено от Него? Как пришло Ему это в голову? Мир гораздо больше, чем я думала. Я думала, мы идем по готовым дорожкам, а дорожек нет. Там, где я пройду, и будет тропа.

— А ты не боишься, — спросил Рэнсом, — что когда-нибудь тебе будет трудно отвернуться от того, что ты хотела, ради того, что пошлет Малельдил?

— И это я понимаю, — ответила она. — Бывают очень большие и быстрые волны. Нужны все силы, чтобы плыть вместе с ними. Ты думаешь, Малельдил может послать мне и такое благо?

— Да, такую волну, что всех твоих сил будет мало.

— Так бывает, когда плаваешь, — сказала Королева, — в этом-то и радость.

— Разве ты счастлива без Короля? Разве он тебе не нужен?
— Не нужен? — переспросила она. — По-твоему, что-то в мире может быть не нужно?

Ответы ее начали немного раздражать Рэнсома.

— Не похоже, чтобы ты очень скучала по нему, раз ты прекрасно обходишься одна, — сказал он и удивился своей угрюмости.

— Почему? — спросила Королева. — И еще, Пятнистый, почему у тебя такие холмики и впадины на лбу, почему ты приподнял плечи? Что это значит в твоём мире?

— Ничего, — поспешно ответил он.

Казалось бы, что такого, но в этом мире и так лгать нельзя. Когда он солгал, его просто затошнило. Ложь стала бесконечно большой и важной, заслонила все. Серебряный луг и золотое небо отбросили ее назад, ему в лицо. Сам воздух исполнился гневом, жалил его — и он забормотал:

— Я просто не сумел бы тебе объяснить...

Королева смотрела на него пристальней, чем раньше. Возможно, глядя на первого потомка, которого ей довелось встретить, она предчувствовала, что ожидает ее, когда у нее будут собственные дети.

— Мы достаточно говорили. — сказала она наконец.

Рэнсом думал, что тут она повернется и уйдет; но она не двигалась. Он поклонился, отступил на шаг — она ничего не говорила, словно забыла про него. Он повернулся и пошел сквозь густые заросли, пока не потерял ее из виду. Аудиенция кончилась.

Глава 6

Как только она скрылась из виду, ему захотелось взлохматить волосы, засвистеть, закурить, сунуть руки в карманы — словом, проделать все то, что помогает мужчине облегчить душу после долгого, напряженного разговора. Но сигарет у него не было, да и карманов, а хуже всего было то, что он так и не остался наедине с собой. С первой минуты, как он заговорил с Ко-

ролевой, он ощущал чье-то присутствие, и оно его угнетало. Не исчезло оно и теперь, скорее усилилось. Общество Королевы все же защищало его, а с ее уходом он остался не в приятном одиночестве, а наедине с чем-то. Сперва это было невыносимо, позже он говорил нам: «Для меня не осталось места». Но вскоре он обнаружил, что странная сила становится невыносимой лишь в определенные минуты — как раз когда ему хочется закурить и сунуть руки в карманы, то есть утвердить свою независимость, право быть самому по себе. Тут даже воздух становился слишком плотным, «без продыху»; место, где он стоял, заполнялось до отказа, выталкивало его — но и уйти он не мог. Стоило принять это, сдаться — и тяжесть исчезала, он просто жил ею и даже радовался, словно ел или пил золото или дышал им, а оно питало его, и не только вливалось в него, но и заливало. Вот ты сделал что-то не то — и задыхаешься, вот принял все как должное — и земная жизнь по сравнению с этим кажется полной пустотой. Сперва, конечно, он часто допускал промахи. Но как раненый знает, в каком положении болит рана и избегает неловкой позы, так и Рэнсом отучался от этих ошибок и с каждым часом чувствовал себя все лучше.

За день он довольно тщательно исследовал остров. Море все еще было спокойно и на многие острова можно было перебраться одним прыжком. Его островок был на самом краю временно-го архипелага, и с другого берега открывался вид на безбрежное море. Острова стояли на месте или очень медленно плыли. Сейчас они были недалеко от огромной зеленоватой колонны, которую он увидел тогда, вначале. Теперь он мог хорошо разглядеть ее, до нее было не больше мили. Это была высокая гора, вернее — целая цепь гор, а то и скал, высота их намного превосходила ширину, они походили на огромные доломиты, только плавные и такие гладкие, что вернее сравнить их с Гerkулесовыми столпами. Огромная гора росла не из моря, а из холмистой земли, сглаживающейся к берегу, между скалами виднелись заросшие долины и совсем узкие ущелья. Это, конечно, была настоящая земля, Твердая Земля, уходившая корнями в планету. С того места, где сидел Рэнсом, он не мог разглядеть,

из чего состоит покров этих гор. Ясно было одно: это земля, на ней можно жить. Ему очень захотелось туда попасть. Выйти на берег там, видимо, несложно, и кто его знает — может, и на гору он заберется.

Королеву в тот день он больше не встречал. На завтра, рано утром, накупавшись и впервые позавтракав тут, он спустился к морю, высматривая путь на Твердую Землю. Вдруг он услышал за спиной голос Королевы, оглянулся и увидел, что она выходит из лесу, а за ней, как обычно, следуют разные твари. Она поздоровалась с ним, но, похоже, не хотела вступать в разговор, просто подошла и стала рядом, глядя в сторону Твердой Земли.

— Я отправлюсь туда, — наконец сказала она.

— Можно и мне с тобой? — спросил он.

— Если хочешь, — ответила Королева, — только там ведь Твердая Земля.

— Потому я и хочу попасть туда, — сказал Рэнсом. — В моем мире вся земля неподвижна, и я был бы рад походить по ней.

Она вскрикнула от удивления и посмотрела на него.

— А где же вы тогда живете? — спросила она.

— На земле.

— Ты же сказал, она неподвижная?

— Да. Мы живем на Твердой Земле.

Впервые с тех пор, как он повстречал Королеву, он увидел на ее лице что-то хоть отдаленно похожее на страх или отвращение.

— Что же вы делаете ночью?

— Ночью? — в недоумении переспросил Рэнсом. — Ночью мы спим.

— Где?

— Там, где живем. На своей земле.

Она задумалась, и думала так долго, словно никогда не говорит. Но она заговорила, и голос ее стал спокойней и тише, хотя прежняя радость еще не вернулась.

— Он вам не запретил, — сказала она; не спросила, просто сказала.

— Конечно, — ответил Рэнсом.

— Значит, разные миры устроены по-разному.

— А у вас закон запрещает спать на Твердой Земле?

— Да, — сказала Королева. — Он не хотел, чтобы мы там жили. Мы можем приплыть туда и гулять, ведь этот мир принадлежит нам. Но остаться там — заснуть и проснуться... — Она содрогнулась.

— В нашем мире такой закон невозможен, — сказал Рэнсом. — У нас нет плавучих островов.

— А сколько людей в вашем мире? — внезапно спросила она.

Рэнсом сообразил, что точного числа он не знает, но постарался объяснить ей, что такое «миллионы». Он надеялся ее удивить, но числа сами по себе ее не интересовали.

— Как же вам всем хватило места на Твердой Земле? — допытывалась она.

— Там не один такой кусок, а несколько, — отвечал Рэнсом, — и они большие, почти такие же большие, как здесь — океан.

— Как же вы живете? — удивилась она. — Половина вашего мира пустая и мертвая. Столько земли, и вся прикована ко дну. Разве вам не тяжело даже думать об этом?

— Ничуть, — ответил Рэнсом. — В нашем мире перепугались бы, услышав, что у вас тут сплошной океан.

— К чему же все это ведет? — тихо сказала Королева, обращаясь скорее к себе, чем к Рэнсому. — Я стала такая взрослая за эти несколько часов, вся моя прежняя жизнь — словно голый ствол, а теперь ветви растут и растут во все стороны. Они разрослись так, что вынести трудно. Сперва я узнала, что сама веду себя от одного блага к другому, это тоже трудно понять. А теперь получается, что благо в разных мирах — разное. То, что Малельдил запретил в одном мире, Он разрешил в другом.

— Может быть, в нашем мире мы неправы... — неуверенно начал Рэнсом, встревоженный тем, что натворил.

— Нет,— отвечала она.— Так говорит мне Сам Малельдил. Да иначе и быть не могло, раз у вас нет плавучих островов. Только Он не сказал мне, почему Он запретил это нам.

— Наверное, есть важная причина,— начал Рэнсом, но она рассмеялась и перебила его.

— Ах, Пятнистый,— воскликнула она, все еще улыбаясь,— как же много говорят в вашем мире!

— Виноват,— смущенно буркнул он.

— В чем же ты провинился?

— В том, что говорю слишком много.

— Слишком много? Как я могу решать, что для вас много?

— Когда в нашем мире скажут, что кто-то много болтает, это значит, что его просят замолчать.

— Почему же прямо не попросить?

— А над чем ты смеялась? — спросил Рэнсом, не зная, как ей ответить.

— Я засмеялась, Пятнистый, потому что ты, как и я, думал о законе, который Малельдил дал одному миру, а не другому. Тебе нечего было сказать о нем, и все же тебе удалось превратить это в слова.

— Кое-что я все-таки хотел сказать,— тихо проговорил Рэнсом.— В вашем мире,— добавил он громче,— этот запрет соблюдать нетрудно.

— Опять ты говоришь странные слова,— возразила Королева.— Кто сказал, что это трудно? Если я велю зверям встать на голову, им трудно не будет. Наоборот, они обрадуются. Вот так и я у Малельдила, и всякий Его приказ для меня радость. Я не об этом думала. Я думала о том, что Его повеления бывают разные — есть, оказывается, два вида просьб.

— Умные люди говорят...— начал было Рэнсом, но она снова перебила его.

— Подождем Короля, спросим его,— сказала она.— Что-то мне кажется, Пятнистый, ты тоже ничего об этом не знаешь.

— Конечно, спросим,— ответил Рэнсом.— Если найдем.— И тут же невольно вскрикнул по-английски: — Что это?!

Женщина тоже вскрикнула. Падучая звезда промчалась по небу далеко слева, и через несколько секунд раздался невнятный грохот.

— Что это? — повторил он уже на здешнем языке.

— Что-то упало с Глубоких Небес, — ответила Королева. На лице ее проступило и удивление, и любопытство, но мы так привыкли видеть эти чувства только с примесью страха и отпора, что выражение это опять показалось Рэнсому странным.

— В самом деле, — отозвался он. — Эй, а это что такое?

Посреди спокойного моря вздулась волна; волоросли, обрамлявшие остров, загрепетали. Через мгновение все успокоилось — волна прошла под их островом.

— Что-то упало в море, — уверенно сказала Королева и вернулась к прерванному разговору, словно ничего и не произошло. — Я хотела сегодня отправиться на Твердую Землю, чтобы поискать Короля. На этих островах его нет, я их все обыскала. Но если мы взберемся на те горы, мы сразу увидим большую часть моря. Мы увидим, нет ли тут еще островов.

— Хорошо, — сказал Рэнсом. — Если нам удастся доплыть.

— Мы поедem верхом, — ответила Королева.

Она опустилаcь на колени — все движения ее были так точны и изящны, что Рэнсом следил за ней с восторгом, — и трижды позвала, негромко, на одной ноте. Сперва ничего не произошло; но вскоре Рэнсом увидел маленькие волны, спешившие к их берегу. Еще минута, и море возле острова кишело большими серебряными рыбами. Они пускали фонтаном воду, изгибались, оттесняли друг друга, стремясь к берегу, — передние уже почти коснулись земли. Самые крупные достигали девяти футов в длину, и все они были с виду плотными и сильными. На земных рыб они похожи не были, нижняя часть головы была намного шире, чем соединенная с ней часть тела, но к хвосту туловище вновь расширялось. Если б не это, они бы точь-в-точь напоминали гигантских головоастиков; а так они были скорее похожи на пузатых старичков со впалой грудью и очень большой головой. Почему-то Королева долго осматривала их, прежде

чем выбрать. Едва она выбрала двух рыб, остальные чуть подались назад, а победительницы развернулись хвостом к берегу и замерли, чуть шевеля плавниками.

— Вот так, — сказала она, садясь верхом прямо туда, где суживалось тело рыбы.

Рэнсом тоже сел верхом. Большая голова, оказавшаяся перед ним, прекрасно заменяла луку седла, и он не боялся упасть. Он следил за Королевой — она слегка подтолкнула пятками свою рыбу, и он подтолкнул свою. В ту же минуту они заскользили по морю со скоростью шести миль в час. Воздух над водой был прохладный, волосы развевались от ветра. В этом мире, где ему до сих пор довелось лишь ходить пешком и плавать, было приятно, что верхом на рыбе едешь так быстро. Он оглянулся и увидел, как тают вдали очертания островов, то громоздкие, то воздушные, небо становится все шире, и золотой его свет сияет все ярче. Впереди высилась причудливая, странно окрашенная гора. Он с удивлением заметил, что вся стая отвергнутых рыб по-прежнему сопровождает их: одни плыли прямо за ними, другие рассыпались справа и слева.

— Они всегда плывут за твоей рыбой? — спросил он.

— А разве в вашем мире звери не ходят за вами? — спросила она. — Мы можем сесть верхом только на этих двух. Было бы обидно, если бы тем, кого мы не выбрали, мы не разрешили даже плыть вместе с нами.

— Вот что! Значит, поэтому ты так долго выбирала этих рыб?

— Конечно, — сказала Королева. — Я стараюсь брать каждый раз другую.

Земля становилась все ближе; линия берега, прежде прямая, изогнулась, то открывая заливы, то выступая вперед. Еще миг — и рыбы уже не могли двигаться дальше, для них стало слишком мелко. Зеленая Королева соскочила со своего коня, и Рэнсом перекинул ногу с одного бока своей рыбы на другой, вытянул и — вот это радость! — коснулся твердых камешков. Он и не понимал до сих пор, как тоскует по твердой земле. К заливу, где они высадились, спускалась узкая долина или ущелье, окру-

женное обломками скал и красными утесами. Внизу оно завершалось поляной, покрытой каким-то мхом; росли там и деревья, тоже совсем земные — где-нибудь в тропиках они показались бы необычными разве что опытному ботанику. Посреди ущелья бежал ручей; и вид его, и звук обрадовали Рэнсома, словно он оказался в раю — или дома. Ручей был прозрачный и темный, в таких ловят форель.

— Тебе нравится тут, Пятнистый? — спросила Королева, взглянув на него.

— Да, — сказал он, — очень похоже на мой мир.

Они стали подниматься вверх по ущелью. Когда они подошли к деревьям, сходство с земным лесом уменьшилось — здесь меньше света, и листва, которая на Земле дала бы легкую тень, обращала рошу в сумрачный бор. Через четверть мили долина и впрямь превратилась в ущелье, узкую тропу между низкими скалами. Королева в два прыжка забралась туда, Рэнсом последовал за ней, дивясь ее силе и ловкости. Они попали на ровный участок земли, покрытой дерном или травой, только синей, и такой короткой, словно ее срезали. Вдалеке на траве виднелись какие-то белые пушистые комочки.

— Это цветы? — спросил Рэнсом.

Королева рассмеялась.

— Нет, это Пятнашки. Я назвала тебя из-за них.

Он не сразу понял ее, но эти комочки задвигались и устремились к людям, которых, видимо, учуяли — ведь Рэнсом и Королева забралась уже на ту высоту, где дул сильный ветер. Вскоре все они кружились вокруг королевы, приветствуя ее. То были белые животные с черными пятнами, ростом с овцу, но большие уши, подвижные носы и длинные хвосты превращали их в каких-то огромных мышей. Когтистые лапы были очень похожи на руки и предназначались, конечно, для того, чтобы карабкаться по скалам — синяя трава была им пастбищем. Обменявшись с ними приветствиями, Рэнсом и Королева пошли дальше. Зеленая колонна горы почти вертикально нависала над ними, золотой океан казался безбрежным — и все же им пришлось еще долго карабкаться к подножию колонн. Там было гораздо прохладнее, чем внизу, но все еще тепло и очень тихо. Ведь на остро-

вах тишину наполняли незаметный и неумолчный плеск воды, шорох листьев и снование живых тварей.

Между двумя колоннами было что-то вроде прохода, заросшего синей травой. Снизу казалось, что колонны эти стоят почти вплотную друг к другу, но сейчас, когда Рэнсом и Королева пошли между ними и углубились настолько, что стены почти закрыли от них мир и с правой, и с левой стороны, оказалось, что здесь прошел бы полк солдат. Подъем становился все круче, проход сужался. Вскоре пришлось ползти на четвереньках по узкой тропе, и Рэнсом, поднимая голову, едва мог разглядеть над собою небо. Наконец путь им перегородил большой камень, соединивший, словно кусок челюсти, два огромных зуба, стоявших справа и слева.

— Ах, был бы я сейчас в брюках, — пробормотал Рэнсом, глядя на эту скалу.

Королева — она ползла впереди — приподнялась, встала на цыпочки и подняла руки, пытаясь ухватиться за какой-то выступ на самом верху этого камня. Рэнсом увидел, как она подтянулась, подняла на руках всю тяжесть тела и одним движением забросила его на вершину, прежде чем он крикнул по-английски: «Так ничего не выйдет!»

Когда он исправил свою ошибку, она стояла на вершине, над ним. Он и не разглядел толком, как ей все это удалось, но, судя по ее лицу, ничего особенного тут не было. Сам он взобрался на скалу не так достойно и предстал перед ней пыхтя, обливаясь потом, с разбитой коленкой. Кровь заинтересовала ее; когда Рэнсом объяснил ей, откуда берется «это красное», она решила тоже содрать кожу с колена, чтобы посмотреть, пойдет ли кровь. Он стал объяснять ей, что такое боль, но она еще пуще захотела проделать опыт. Правда, в последнюю минуту Малельдид, видимо, отговорил ее.

Теперь Рэнсом мог оглядеться. Высоко вверх уходили зеленые столбы, снизу казалось, что у вершины они сходятся, почти закрывая небо. Их было не два, а целых девять. Одни, как и те, между которыми они вошли в этот круг, стояли близко друг

от друга, другие — подальше. Они окружали овальную площадку акров в семь, покрытую такой нежной травой, какой нет у нас, на Земле, и усыпанную алыми цветками. Ветер пел, принося наверх прохладную, прекрасную суть всех запахов цветущего мира. Огромное море в просвете между столбами напоминало своей безбрежностью, как высоко они поднялись. Рэнсом, привыкший к мешанине красок и форм на плавучих островах, отдыхал, созерцая чистые линии огромных камней. Он шагнул вперед, под свод, накрывавший эту площадь, и голос его пробудил эхо.

— Здесь хорошо, — сказал он. — Может быть, вы... ведь вам этот мир запрещен... может, вы чувствуете иначе?

Взглянув на Королеву, он понял, что ошибся. Он не мог угадать ее мыслей, но лицо ее вновь озарилось сиянием, и ему пришлось опустить глаза.

— Давай разглядим море, — сказала она.

Они обошли площадку. Позади этой земли они увидели ту группу островов, которую покинули на рассвете. С этой высоты архипелаг оказался еще больше, чем думал Рэнсом. Краски — золото, и серебро, и пурпур, и даже, как ни странно, насыщенная чернота — были яркие, как на гербе. Ветер дул оттуда — Рэнсом различал благоухание плавучих островов так же ясно, как жаждущий различает плеск воды. Со всех осгальных сторон гору окружал океан. Обходя площадку, они достигли наконец той точки, с которой не было видно и островов. Когда они завершали круг, Рэнсом вскрикнул — и в ту же минуту Королева вытянула руку, на что-то указывая. В двух милях от них, на воде, то бронзовой, то почти зеленой, чернело что-то маленькое и круглое — у нас, на Земле, Рэнсом принял бы это за буюк.

— Я не знаю, что это, — сказала Женщина. — Может быть, это и есть та штука, которая упала сегодня из Глубокого Неба.

«Бинокль бы мне», — подумал Рэнсом — слова Королевы пробудили в нем затихшее было беспокойство. Чем дальше он глядел на черную точку, тем сильнее становилось беспокойство. Предмет был совершенно круглый, гладкий, и Рэнсому казалось, что он уже видел такой где-то.

Вы уже слышали, что Рэнсом побывал в том мире, который мы называем Марсом, хотя надо называть его Малакадрой. Туда, в отличие от Переландры, его доставили не эльдилы. Он был похищен людьми, которые хотели принести в жертву человека, чтобы умилостивить тайные силы, правящие Марсом. Люди эти заблуждались: великий Уарса, правитель Малакандры (тот самый, которого я своими собственными глазами видел у Рэнсома), не причинил ему зла и зла не замышлял. А вот сам похититель, профессор Уэстон, и впрямь задумал злое. Он был одержим идеей, которая сейчас рыщет по всей нашей планете в виде «научной фантастики» и всяких «межпланетных сообществ». Ее смакуют во всех дешевых журналах, высмеивают или презирают все разумные люди, но сторонники ее готовы, дайте им только власть, положить начало новой череде бед в Солнечной системе. Они считают, что человечество, достаточно испортив свою планету, должно распространиться пошире и надо прорваться сквозь огромные расстояния — сквозь карантин, установленный Самим Богом. Но это только начало. Дальше идет сладкая отравка дурной бесконечности — безумная фантазия, что планету за планетой, галактику за галактикой, Вселенную за Вселенной можно вынудить всюду и навеки питать только нашу жизнь; кошмар, порожденный страхом физической смерти и ненавистью к духовному бессмертию; мечта, лелеемая множеством людей, которые не ведают, что творят, — а некоторые и ведают. Они вполне готовы истребить или поработить все разумные существа, если они встретятся на других планетах. И вот профессор Уэстон нашел средство, чтобы осуществить эту мечту. Великий физик изобрел космический двигатель. Маленький черный предмет, проплывавший вдалеке по не ведавшим зла водам, был очень похож на космический корабль.

«Так вот зачем меня послали, — подумал Рэнсом. — Ему ничего не удалось на Малакандре, теперь он явился сюда. И это я должен как-то с ним справиться».

Со страхом подумал он о своей слабости — там, на Марсе, с Уэстоном был только один спутник, но у них были ружья. А сколько приведет он за собой сюда? Да и на Марсе не Рэн-

сом дал ему отпор, а эльдилы, и главный из них — правитель Малакандры. Рэнсом поспешно обернулся к Королеве.

— В вашем мире я еще не встречал эльдилов, — сказал он.

— Эльдилы? — переспросила она, будто не знала этого слова.

— Эльдилы, — повторил он, — великие древние слуги Малельдила. Те, кто не нуждается ни в воздухе, ни в пище. Их тела — из света. Мы почти не видим их. Мы должны их слушаться.

Она подумала и сказала:

— Как мягко и ласково Малельдил делает меня старше. Он показал мне все виды этих блаженных существ. Но теперь, в этом мире, мы не подчинены им. Это все старый порядок, Пятнистый, прежняя волна, она прошла мимо нас и уже не вернется. Очень древний мир, в котором ты побывал, и вправду отдан во власть эльдилам. И в твоем собственном мире они правили до тех пор, пока Тот, Кого мы любим, не стал человеком. А в нашем мире, первом мире, который проснулся к жизни после Великой Перемены, они уже не правят. Нет никого между Ним и нами. Они стали меньше, а мы стали больше. Теперь Малельдил говорит мне, что в этом их радость и слава. Они приняли нас — созданий из Нижнего мира, которым нужны воздух и пища, маленьких слабых тварей, которых они могли бы уничтожить, едва коснувшись, — и рады заботиться о нас и учить нас, пока мы не станем старше их — пока они сами не падут к нашим ногам. Такой радости у нас не будет. Как бы я ни учила зверей, они никогда не превзойдут меня. Та радость — превыше всех радостей, но она не лучше, чем тот дар, который получили мы. Каждая радость — превыше всех. Плод, который ты ешь, лучше всех остальных.

— Были и такие эльдилы, которые этому не радовались, — сказал Рэнсом.

— Как это?

— Мы говорили вчера, что прежнее благо можно предпочесть новому.

— Да, ненадолго.

— Один из эльдилов думал о прежнем благе очень долго. Он все держится за него с тех самых пор, как сотворен мир.

— Старое благо перестанет быть благом, если за него держаться.

— Оно и перестало. А он все равно не хочет отказаться от него.

Она посмотрела на Рэнсома с удивлением и хотела что-то сказать, но он прервал ее.

— Сейчас нет времени рассуждать об этом, — сказал он.

— Нет времени? Куда же оно делось? — спросила она.

— Послушай, — сказал он, — эта штука там, внизу, прилетела из моего мира. В ней человек или много людей...

— Гляди-ка, — воскликнула она. — Теперь их две, большая и маленькая.

Рэнсом увидел, как от космического корабля отделилась черная точка и стала от него удаляться. Сперва он удивился. Потом подумал, что Уэстон — если это Уэстон — мог вычислить, что Венера покрыта водой, и прихватить с собой лодку. Но может ли быть, что тот не учел ни приливов, ни штормов и не боится, что будет отрезан от своего корабля? Нет, Уэстон не отрежет себе путь к отступлению. Да Рэнсом и не хотел, чтобы тот не мог покинуть планету. С Уэстоном, который не может вернуться, даже если захочет, просто не справиться. И вообще, что он может сделать без эльдилов? Нет, какая несправедливость — послать его, ученого, на такое дело! Любой боксер, а лучше хороший стрелок, пригоднее для такой службы. Правда, если удастся найти Короля, о котором толкует Зеленая Женщина...

Тут в мысли его проникло какое-то бормотанье или ворчание, нарушившее царившую вокруг тишину.

— Смотри! — сказала Королева, указывая на острова.

Поверхность их заколебалась, и Рэнсом понял, что доносившийся шум этот был шумом волн, пока еще маленьких, но все увеличивавшихся и уже разбивавшихся с грохотом, оставляя пену на скалистом берегу.

— Море волнуется, — сказала Королева. — Пора спускаться и уходить с этой земли. Скоро волны станут слишком большими, а я не могу оставаться здесь ночью.

— Не ходи туда! — воскликнул Рэнсом. — Тебе нельзя встречаться с человеком из моего мира.

— Почему? — сказала Королева. — Я — Королева и Мать этого мира. Раз Короля сейчас нет, кто же еще встретит чужеземца?

— Я сам встречу его.

— Это не твой мир, — ответила она.

— Ты не понимаешь, — сказал Рэнсом. — Тот человек — друг эльдила, о котором мы говорили. Он из тех, кто держится за старое благо.

— Тогда я должна ему все объяснить, — сказала Королева. — Пойдем, мы сделаем его старше.

И она легко соскользнула с края площадки, пошла по склону горы. Рэнсому было труднее переправиться через скалу, но едва его ноги коснулись травы, он пустился бежать, и Королева вскрикнула от удивления, когда он промчался мимо нее. Сейчас ему было не до Королевы — теперь он хорошо видел, в какой именно залив войдет маленькая лодка, и бежал прямо туда, стараясь не вывихнуть ногу. В лодке был только один человек. Рэнсом бежал вниз по склону. Он попал в складку горы, продуваемую ветром долину, море скрылось, потом открылось, он выбежал к нему, оглянулся и, к великой своей досаде, увидел, что Женщина бежит за ним и его догоняет. Он снова посмотрел на море. Волны, все еще не очень большие, разбивались о берег. По шиколотку в воде, к берегу моря брел человек в рубашке, шортах, пробковом шлеме и ташил за собой ялик. Несомненно, это был Уэстон, хотя в лице его Рэнсом заметил что-то незнакомое. Сейчас Рэнсому казалось, что самое главное — не допустить, чтобы Королева и Уэстон встретились. На его глазах Уэстон убил обитателя Малакандры. Рэнсом обернулся, раскинул руки, преграждая Королеве путь, и крикнул:

— Уходи!

Но она подбежала слишком близко и чуть не упала в его объятия, потом отпрыгнула, часто дыша и удивленно на него глядя. Она хотела было заговорить, но тут за спиной Рэнсом услышал голос Уэстона.

— Могу я узнать, доктор Рэнсом, что тут происходит? — спросил он по-английски.

Глава 7

Учитывая все обстоятельства, Уэстон должен был удивиться Рэнсому больше, чем Рэнсом — Уэстону. Но даже если Уэстон и удивился, он ничем этого не выказал, и Рэнсом едва ли не восхитился невероятной самоуверенностью. с какой этот человек, попав в неведомый мир, тут же утвердился в нем и стоял, подбоченившись, расставив ноги, на этой неземной траве так фамильярно, почти грубо, словно он — у камина в своем собственном кабинете. С изумлением услышал Рэнсом, как он говорит с Королевой на древнем языке — ведь там, на Малакандре, Уэстон выучил лишь несколько слов, не по неспособности, а, главное, потому, что просто не пожелал учить какой-то местный язык. Вот уж поистине странная и неприятная новость! Значит, сам он лишился единственного преимущества. Теперь ничего предсказать нельзя. Если весы неожиданно склонились в пользу Уэстона, случиться может все, что угодно.

Когда он очнулся от этих мыслей, Уэстон и Королева беседовали очень живо, но друг друга не понимали.

— Все это ни к чему, — говорила она. — Мы с тобой еще слишком молоды, чтобы вести разговор. Вода прибывает, пора возвращаться на острова. Он поедет с нами, Пятнистый?

— Где наши рыбы? — спросил Рэнсом.

— Они ждут в том заливе, — ответила Королева.

— Тогда поспешим, — сказал Рэнсом. Она взглянула на него, и он пояснил: — Нет, он не поедет.

Скорее всего, она не поняла, почему Рэнсом так спешит, но у нее были свои причины: она видела, как надвигается прилив. Повернувшись, она стала взбираться на холм, и Рэнсом хотел последовать за ней, но Уэстон у него за спиной крикнул:

— Стоять!

Рэнсом обернулся и увидел направленный на него револьвер. Только жар, сжегший тело, напомнил ему о страхе. Голова оставалась ясной.

— Так вы и здесь начнете с убийства? — сказал он.

— О чем ты? — откликнулась Королева, оглядываясь на них с безмятежным удивлением.

— Стойте на месте, Рэнсом, — потребовал профессор. — Туземка пусть убирается. Чем скорее, тем лучше.

Рэнсом готов был умолять, чтобы она скорее ушла, но увидел, что ее и не нужно просить. Вопреки логике он думал, что она почувствует опасность, но она видела лишь двух чужаков, занятых непонятным разговором, а ей надо было немедленно покинуть Твердую Землю.

— Так вы оба остаетесь? — спросила она.

— Остаемся, — сказал Рэнсом, не оборачиваясь. — Может быть, мы больше и не встретимся. Передай привет Королю, когда его найдешь, и вспомни обо мне, когда будешь говорить с Малельдилом.

— Мы встретимся, когда захочет Малельдил, — сказала она. — А если не встретимся, к нам придет какое-нибудь большее благо.

Еще несколько мгновений он слышал за спиной ее шаги, потом они затихли, и он остался наедине с Уэстоном.

— Вы позволили себе, доктор Рэнсом, назвать убийством некий случай, произошедший на Марсе, — заговорил профессор. — Как бы то ни было, убитый — не гуманоид. А вам я, с вашего разрешения, замечу, что совращение туземки — тоже не слишком удачный способ внедрить в новом мире цивилизацию.

— Совращение? — переспросил Рэнсом. — Ах да! Вы решили, что я ее обнимаю.

— Если цивилизованный человек, совершенно голый, обнимает в уединенном месте голую дикарку, я называю это так.

— Я не обнимал ее, — угрюмо сказал Рэнсом: просто сил не было защищаться от такого обвинения. — И здесь вообще нет одежды. Впрочем, какая разница? Выкладывайте лучше, зачем вы пожаловали на Переландру?

— Вы хотите меня убедить, что вы живете рядом с этой женщиной в состоянии бесполой невинности?

— А, бесполой! — усмехнулся Рэнсом. — Ну что ж... Можно и так описать здешнюю жизнь. Почему не сказать, что человеку не хочется пить, если он не пытается загнать Ниагару в чайную ложку? А вообще-то вы правы — я не испытываю похоти,

как... как... — Тут он умолк, не находя подходящего сравнения, потом заговорил снова: — Я не прошу вас верить в это или во что-нибудь еще. Я просто прошу поскорее начать и кончить все зверства и мерзости, ради которых вы прибыли.

Уэстон как-то странно поглядел на него и неожиданно убрал револьвер.

— Рэнсом, — произнес он, — напрасно вы меня обижаете.

Снова они помолчали. Длинные гребни волн, украшенные бахромой пены, сбегали в бухту точь-в-точь как на Земле.

— Да, — заговорил наконец Уэстон. — начну-ка я с признания. Используйте его как хотите, я от своих слов не отступлюсь. Итак, я обдуманно заявляю, что там, на Марсе, я заблуждался — серьезно заблуждался — в своих представлениях о внеземной жизни.

То ли Рэнсому просто стало легче, когда исчезло дуло револьвера, то ли знаменитый физик слишком подчеркивал свое великодушие, но сейчас он едва не рассмеялся. Однако он подумал, что Уэстон, наверное, еще никогда не признавал себя неправым, а смирение, даже фальшивое, на девяносто девять процентов состоящее из гордыни, отвергать нельзя. Во всяком случае, ему, Рэнсому, нельзя.

— Ну что ж, это очень благородно, — отозвался он. — Что же вы имеете в виду?

— Сейчас объясню, — сказал Уэстон. — Сперва надо выгрузить вещи на берег.

Они вместе вытащили ялик и выложили примус, и консервы, и палатку, и прочий багаж примерно в двух сотнях ярдов от берега. Рэнсом считал все это ненужным, но промолчал, и через полчаса на мшистой полянке, среди серебристых деревьев с синими стволами вырос настоящий лагерь. Мужчины сели, и Рэнсом стал слушать — сперва с интересом, потом с удивлением, а там и вовсе перестал что-либо понимать. Откашлявшись и выпятив грудь, Уэстон вешал, как с кафедры, а Рэнсом все время чувствовал, как дико это и нелепо. Два человека попали в чужой мир, в нелегкие обстоятельства: один из них ли-

шился космического корабля, другой только что смотрел в лицо смерти. Нормально ли, допустимо ли вести философский спор, как будто они встретились в Кембридже? Уэстон явно хотел именно этого. Его вроде бы не тревожила судьба его корабля, не удивляло и то, что здесь оказался Рэнсом. Неужели он преодолел тридцать миллионов миль рали... ну, беседы?

Он не умолкал, и Рэнсому все больше казалось, что он — сумасшедший. Как актер, способный думать только о своей славе, как влюбленный, думающий лишь о возлюбленной, этот ученый мог говорить только о своей идее — скучно, пространно и неудержимо.

— Беда моей жизни, — говорил он, — да и всего современного мира в том, что наука узка, строго специализирована, ибо знания все сложнее и сложнее. Я слишком рано увлекся физикой и не обратил должного внимания на биологию, пока мне не перевалило за пятьдесят. Ради справедливости укажу, что ложный гуманистический идеал чистого знания меня не привлекал. Я всегда искал от знаний пользы. Сперва я искал пользы для себя — я добивался стипендии, штатного оклада, вообще положения, без которого человек ничего не стоит. Когда я этого добился, я стал смотреть шире и думать о пользе всего человеческого рода.

Завершив период, он смолк, и Рэнсом кивнул.

— Польза человечества, — продолжал он, — в конечном счете зависит от возможности межпланетного и даже межзвездного сообщения. Я разрешил эту проблему. Ключ к судьбе человечества был у меня в руках. Бессмысленно — да и тягостно для нас обоих — вспоминать, как этот ключ похитил у меня на Марсе представитель враждебной нам расы разумных существ (признаюсь, я не предвидел, что такие существа возможны).

— Они не враждебны, — прервал его Рэнсом. — Впрочем, продолжайте.

— Трудности обратного путешествия серьезно подорвали мое здоровье...

— И мое, — вставил Рэнсом.

Уэстон запнулся, но тут же заговорил дальше:

— Во время болезни я мог размышлять, чего не позволял себе много лет. Особенно привлекли мое внимание те доводы, которые вы привели, утверждая, что обитателей Марса истреблять не надо, хотя, на мой взгляд, без этого невозможно заселить планету представителями нашей расы. Традиционная, так сказать, гуманная форма, в которую вы облекли эти доводы, заслоняла от меня их истинный смысл. Теперь я оценил вашу правоту — я понял, что моя исключительная приверженность благу человечества основана на неосознанном дуализме.

— Что вы имсете в виду?

— Вот что. Всю свою жизнь я совершенно ненаучно разлеял и противопоставлял Природу и Человека. Я полагал, что сражаюсь за человека, против неодушевленной стихии. Пока я болел, я занялся биологией, особенно тем, что называл бы философией природы. До тех пор, будучи физиком, я исключал жизнь из сферы своих научных интересов. Меня не интересовали споры между теми учеными, которые резко разделяют органику и неорганику, и теми, кто считает жизнь изначально присущей любой материи. Теперь меня это заинтересовало — я понял, что в эволюции космоса нет непоследовательности, нет скачка. Я стал убежденным сторонником эволюционной теории. Все едино. Все — вещество духа, неосознанная сила, стремящаяся к цели, существующей изначально.

Он остановился. Рэнсом много раз слышал такие разговоры и гадал, когда же его собеседник доберется до сути. Уэстон с еще большей торжественностью возобновил свой монолог.

— Величественное зрелище бессловесной, слепо напеленной силы, пробивающейся все выше и выше через возрастающую сложность структур к вящей духовности и свободе, избавило меня от всех предрассудков. Я больше не думал о долге перед человеком как таковым. Человек сам по себе — ничто. Поступательное движение жизни — возрастание в духовности — это все. Охотно признаю, Рэнсом, что я поступил бы неправильно, ликвидировав марсиан. Только предрассудок побуждал меня предпочесть человеческий род их роду. Отныне

я призван распространять духовность, а не людей. Это поворотная веха в моей жизни. Сперва я работал на себя, потом — для науки, потом — ради человечества, теперь же я служу самому Духу. Если хотите — Святому Духу, на вашем языке.

— О чем вы говорите? — спросил Рэнсом.

— О том, — отвечал Уэстон, — что нас уже ничто не разделяет, кроме устаревших теологических мелочей, в которых, к сожалению, запуталась официальная церковь. Мне удалось пробить эту кору. Под ней — все тот же, живой и истинный смысл. Если позволите, скажу так: правота религиозного взгляда на жизнь замечательно подтверждается тем, что тогда, на Марсе, вы сумели на свой поэтический и мистический лад выразить истину, скрытую от меня.

— Я не разбираюсь в религиозных взглядах, — хмуро сказал Рэнсом. — Понимаете, я — христианин. Для нас Святой Дух — совсем не слепая бессловесная сила.

— Дражайший Рэнсом, — возразил Уэстон, — я вполне понимаю вас. Не сомневаюсь, что мой способ выражения удивляет, если не шокирует вас. Прежние ваши представления — весьма почтенные — мешают вам узнать в новой оболочке те самые истины, которые долго хранила церковь и заново открыла наука. Но видите вы их или не видите, мы, поверьте, говорим об одном и том же.

— Нет, не поверю.

— Простите, но именно в этом главный изъян организованной религии. Вы держитесь за формулы и не узнаете собственных друзей. Бог — это Дух, Рэнсом. Начнем отсюда. Это вы знаете; этого и держитесь. Бог — это Дух.

— Ну, конечно. А дальше что?

— Как это что? Дух... разум... свобода... я об этом и говорю. Вот к чему направлена эволюция Вселенной. Я посвящаю мою жизнь и жизнь человечества тому, чтобы полностью высвободить эту свободу, эту духовность. Это цель, Рэнсом, цель! Подумайте только, чистый дух, всепоглощающий вихрь саморазвивающегося, самодовлеющего действия. Вот она, конечная цель.

— Конечная? — переспросил Рэнсом. — Значит, этого пока еще нет?

— А, — сказал Уэстон, — вот что вас смущает! Ну конечно, религия учит, что Дух был с самого начала. Но велика ли разница? Время не так уж много значит. Когда мы достигнем цели, можно сказать, что так было не только в конце, но и в начале. Все равно Дух выйдет за пределы времени.

— Кстати, — сказал Рэнсом, — этот ваш дух похож на личность? Он у вас живой?

Неописуемая гримаса исказила лицо Уэстона. Он подсел поближе и заговорил потише.

— Вот этого они и не понимают, — шептал он, словно заговорщик или школьник, задумавший какую-то пакость. Это было совсем непохоже на его солидную, ученую речь, и Рэнсому стало противно.

— Да, — продолжал Уэстон, — я и сам раньше не верил. Конечно, это не личность. Антропоморфизм — один из ребяческих предрассудков религии. — Тут важность вернулась к нему. — Но излишняя абстракция — тоже крайность. В конечном счете она еще опаснее. Назовем это Силой. Великая, непостижимая Сила изливается на нас из темных начал бытия. Она сама избирает себе орудие. Только недавно, на собственном опыте я узнал кое-что из того, во что вы верите. — Тут он снова перешел на хриплый шепот, совсем не похожий на его обычный голос: — Вас направляют. Вами управляют. Вы избраны. Я понял, что я — не такой, как все. Почему я занялся физикой? Почему открыл лучи Уэстона? Почему попал на Малакандру? Это Сила направляла меня. Она меня вела. Теперь я знаю, я величайший ученый, таких еще не было на свете. Я создан таким ради определенной цели. Через меня действует Дух.

— Послушайте, — сказал Рэнсом, — в таких делах нужна осторожность. Духи, знаете ли, бывают разные.

— Да? — удивился Уэстон. — Что вы хотите этим сказать?

— Я хочу сказать, что не все духи хороши.

— Но ведь Дух и есть благо. Дух — это цель. Вы же вроде стоите за духовность! В чем смысл этих ваших подвигов, поста,

безбрачия и так далее? Разве мы не приняли, что Бог — это Дух? Разве вы не поэтому поклоняетесь Ему?

— Господи, конечно нет! Мы поклоняемся Ему потому, что Он — благ и мудр. Совсем не всегда хорошо быть духом. Сатана тоже дух.

— Вот это замечание весьма интересно, — подхватил Уэстон, который уже полностью обрел свой прежний стиль. — Это очень любопытная черта престонародной веры — вечно вы разделяете, противопоставляете, создаете пары противоположностей. Небо и ад. Бог и дьявол... Едва ли нужно вам говорить, что я не признаю подобного дуализма и всего несколько недель назад отрицал оба члена этих пар как чистой воды вымысел. Но я заблуждался, причину столь универсального принципа надо искать глубже. Эти пары — истинный портрет Духа, автопортрет космической энергии, который сама она, движущая сила, запечатлела в нашем уме.

— О чем это вы? — переспросил Рэнсом. Он встал и теперь ходил взад-вперед, ему было плохо, словно он очень устал.

— Ваш дьявол и ваш Бог — образы одной и той же Силы, — пояснил Уэстон. — Небо — портрет спереди, ад — портрет сзади. Небо — светло и мирно, ад — темен и неспокоен. Следующая стадия эволюции, манящая нас вперед, — это Бог, а предыдущая стадия, нас извергающая, — это дьявол. Да ведь и ваша религия утверждает, что бесы — это падшие ангелы.

— У вас получается наоборот, — сказал Рэнсом. — Ваши ангелы — это преуспевающие бесы.

— Одно и то же, — отрезал Уэстон.

Они помолчали.

— Послушайте, — сказал Рэнсом. — Мы плохо понимаем друг друга. Мне кажется, что вы страшно, просто ужасно заблуждаетесь. Но может быть, вы приспособливаетесь к моим «религиозным убеждениям» и говорите больше, чем думаете. Ведь этот разговор о духах и силах — просто метафора? Вы просто хотели сказать, что считаете своим долгом работать ради цивилизации, просвещения и так далее? — Он пытался скрыть воз-

растающую тревогу, но вдруг отпрянул, услышав кричающий смех, не то младенческий, не то старческий.

— Ну вот, ну вот! — восклицал Уэстон. — Так с вами всегда, с верующими! Всю жизнь вы толкуете об этих вещах, а увидите — и пугаетесь.

— Чем вы докажете, — спросил Рэнсом, действительно испугавшись, — чем вы докажете, что вас избрали и ввели не только ваш разум да чужие книги?

— Вы не заметили, Рэнсом, — отвечал Уэстон, — что я немного лучше знаю вездомный язык? Вы же филолог!

Рэнсом вздрогнул.

— Как же это? — растерянно сказал он.

— Руководят, руководят... — прокричал Уэстон. Он сидел, поджав ноги, у самого дерева, и с его известково-бледного лица не сходила слегка кривая улыбка. — Руководят... — продолжал он. — Просто слышу. Само приходит в голову. Приготавливают, знаете ли, чтобы я мог все вместить.

— Это нетрудно, — нетерпеливо прервал Рэнсом. — Если ваша Жизненная Сила так двойственна, что ее изобразят и Бог, и дьявол, для нее стоило бы любое вместилище. Что бы вы ни сделали, все ее выразит.

— Есть главное течение, — сказал Уэстон. — Надо отдаться ему, стать проводником живой, мятежной, яростной силы... перстом, которым она указывает вперед.

— У вас же дьявол был живой и мятежный.

— Это и есть основной парадокс. То, к чему вы стремитесь, вы называете Богом. А само движение, саму динамику такие, как вы, называют дьяволом. И вот такие, как я, — те, кто вырвался вперед, — всегда становятся мучениками. Вы отвергаете нас — и через нас достигаете своей цели.

— Проще говоря, эта Сила требует от вас поступков, которые нормальные люди назовут дьявольскими.

— Милейший Рэнсом, вы, я надеюсь, не опуститесь до такого уровня. Вель и дьявол, и Бог — только две стороны единой, единственной реальности. Великие люди движут этот мир вперед, а величие всегда выходит за рамки обычной морали. Когда

скачок свершится, нашу бесовщину назовут, на новой ступени, основой этики, но пока мы совершаем прорыв, мы — преступники, богоотступники, еретики...

— Как же далеко вы идете? Если Сила прикажет вам убить меня, вы послушаетесь?

— Да.

— Продать Англию немцам?

— Да.

— Выдать фальшивку за серьезное научное исследование?

— Да.

— Господи помилуй! — воскликнул Рэнсом.

— Вы все еще цепляетесь за условности, — сказал Уэстон. —

Все еще копаетесь в абстракциях. Неужели вы не можете просто сдаться — всецело отдаться тому, что выходит за рамки вашей мизерной этики?

Рэнсом ухватился за соломинку.

— Пойдите, Уэстон! — резко начал он. — Вы говорите, отдаться. Здесь мы, может быть, придем к соглашению. Значит, вы отрешаетесь от себя. Вы не ищете выгод. Погодите, погодите! Тут моя этика и ваша сходятся. Мы оба признаем...

— Идиот! — взвыл Уэстон. — Нет, какой идиот!

Он вскочил.

— Вы что, ничего не понимаете? Все вам надо вогнать в эту старую дурацкую схему? «Я», «отрешись от себя»... Да это все тот же дуализм! Точная мысль не найдет различия между мной и Вселенной. Поскольку я — проводник Движущей Силы, мы с ней — одно. Понял, идиот? Понял, педант трусливый?! Я и есть Вселенная, я, Уэстон, — твой Бог и твой дьявол. Я всецело отдаюсь этой силе. Я призываю ее...

И тут начался кошмар. Судорога, подобная предсмертным корчам, исказила лицо Уэстона. Потом она прошла, на мгновение показалось лицо — прежнее, но с остекленевшими от ужаса глазами.

Уэстон отчаянно закричал:

— Рэнсом! Рэнсом! Христа ради, не давайте им!.. — И тут же закружился, словно в него ударила пуля, рухнул наземь и ка-

тался у ног Рэнсома, скрипя зубами, брызжа слюной, цепляясь за мох.

Постепенно корчи утихли. Он лежал спокойно, глубоко дыша, в широко открытых глазах не было сознания. Рэнсом опустился на колени. Уэстон не умер, и Рэнсом тщетно гадал, что же это было — удар или приступ эпилепсии (ни того ни другого он никогда не видел). Порывшись в багаже, он нашел бутылку бренди, вынул пробку и сунул горлышко в рот своему пациенту. К его ужасу, зубы разомкнулись и сжались, насквозь прокусив бутылку, но стекла Уэстон так и не выплюнул...

— Господи, я его убил! — пробормотал Рэнсом.

Но лицо больного не изменилось, только у края губ показалась кровь. Судя по этому лицу, он не испытывал боли или боль эта превосходила нашу способность к восприятию. Наконец Рэнсом поднялся, снял револьвер у него с пояса и, спустившись к берегу, забросил его в море.

С минутой он постоял там, вглядываясь в залив и гадая, что же теперь делать. Потом повернулся, поднялся на поросший травой холм, замыкавший долину слева, и оказался на ровной площадке, откуда открывался вид на море. Волны вздымались высоко, и золото их сменялось бесконечной игрой теней и света. Сперва он не мог различить плавучие острова. Но вот то там, то сям появились по всему океану верхушки деревьев, словно подвешенные к небу. Волнение уносило их все дальше, и едва он это понял, они скрылись в глубокой ложбине между волнами. Сможет ли он снова попасть на эти острова? Одиночество потрясло его и тут же сменилось разочарованием и гневом. Если Уэстон умрет или даже если он выживет, но останется с ним один на один на земле, отрезанной от прочего мира, — то от какой же опасности он, Рэнсом, должен уберечь Переландру? Вспомнив о себе, Рэнсом почувствовал голод. На Твердой Земле он не видел ни фруктов, ни тыкв. Может быть, это западня. Он горько усмехнулся — с каким глупым ликованием променял он нынче утром плавучий рай и его дивные рощи на эту жесткую скалу! А может быть, эта земля не бесплодна? Несмотря на усталость, Рэнсом решил поискать пищу, но едва он повер-

нул прочь от берега, быстрая смена красок возвестила о приближении ночи. Он заспешил назад, но, когда спустился в долину, роща, где он оставил Уэстона, казалась просто темным облаком. Прежде чем он вошел в нее, наступила непроглядная ночь. Он попытался найти ощупью путь к палатке и тут же сбился. Пришлось остановиться и сесть. Раз-другой он окликнул Уэстона, но тот не ответил.

«Все-таки хорошо, что я забрал у него револьвер, — подумал Рэнсом. — Что ж, *qui dort dine**, подождем до утра».

Он лег, и покрытая мхом земля показалась ему куда менее удобной, чем уже привычная почва островов. И это, и мысли о человеке, лежавшем неподалеку с осколком стекла в стиснутых зубах, и сумрачный рокот волн, разбивавшихся о скалы, давали ему уснуть.

— Если бы я жил на Переландре, — пробормотал он, — Малельдилу не пришлось бы запрещать мне этот остров. Глаза бы мои на него не глядели.

Глава 8

Спал он беспокойно, видел страшные сны и проснулся поздно. Во рту пересохло, шея болела, он был совсем разбит. Это настолько отличалось от уже привычных пробуждений, что на мгновение ему показалось, будто он очутился на Земле, а вся его жизнь на плавучих островах в океане Утренней Звезды — просто сон. Воспоминание об утрате было почти невыносимо. Он присел и вновь ощутил, что все это — наяву.

«И все-таки это очень похоже на сон», — подумал он.

Голод и жажда напоминали о себе, но он счел своим долгом сперва позаботиться о больном, хотя и не надеялся ему помочь. Он огляделся. Роща серебряных деревьев была на месте, но Уэстона нигде не было видно. Он взглянул на море: ялик тоже исчез. Он подумал, что в темноте забрел не в ту долину, и отправился к ближайшему ручью утолить жажду. Подняв голову от

* Кто спит — обедает (*фр.*).

воды и радостно вздохнув, он увидел деревянный ящик, а рядом — две консервные банки. Думал он сейчас медленно и не сразу понял, что находится в той самой долине, а уж тем более — почему ящик пустой. Но возможно ли, в самом деле, что в том состоянии, в котором он его оставил, Уэстон оправился настолько, чтобы среди ночи уйти, да еще с поклажей? И неужели он решился выйти в море на хрупком ялике? Правда, за ночь шторм (для Переландры — просто зыбь) улегся, но волны все еще были немалые, так что физик никак не мог покинуть остров. Должно быть, он пешком ушел из долины, а ялик нес на себе. Рэнсом решил найти Уэстона — врага нельзя терять из виду. Если Уэстон пришел в себя, он, конечно, замыслил что-нибудь плохое. Рэнсом не был уверен, что понял толком его дикие речи: но то, что он понял, ему очень не понравилось, и он подозревал, что туманные разглагольствования о духовности обернутся чем-то похуже немудрящего межпланетного империализма. Правда, нельзя принимать всерьез все, что человек наговорит перед припадком, но и без этого немало оснований для страха.

Несколько часов кряду Рэнсом искал еду и Уэстона. Что до еды, он ее нашел. Повыше, на склонах, было очень много ягод вроде черники, в лощинах — продолговатые орешки. Ядра у них были плотные, как почки, или, скорее, как пробка, а вкус и запах — сладкий, приятный, хотя и попроще, чем у тех плодов. Огромные мыши оказались смиренными, как все существа на Переландре, но туповатыми. Рэнсом поднялся на срединное плоскогорье. Море со всех сторон было испещрено островами, они вздымались и падали, и между ними синели широкие просветы воды. Рэнсом сразу подметил желтовато-розовый остров, но не понял, тот это, прежний, или другой, ибо вскоре различил еще два примерно таких же. Всего он насчитал двадцать три плавучих острова и прикинул, что раньше их было меньше, а значит — на одном из них может быть Король или, дай-то Бог, Король с Королевой. Почему-то все свои надежды он возложил на Короля.

Уэстона он не нашел. Получалось так, что тот, против всякой вероятности, покинул Твердую Землю. Рэнсом тревожился все больше — он не знал, что может натворить его враг в этом новом настроении. Хорошо еще, если он просто презрит Короля с Королевой как жалких туземцев.

Далеко за полдень Рэнсом присел отдохнуть на самом берегу. Море почти утихло, и волны, прежде чем разбиться, едва достигли бы колен. Ноги, уже избалованные мягкой, упругой почвой плавучих островов, ныли и горели, и он решил походить по воде. Это оказалось так приятно, что он зашел подальше, где вода была по грудь, остановился, призадумался, как вдруг увидел, что блики света — совсем и не блики, а переливы чешуи на спине огромной рыбы.

«Интересно,— подумал он,— даст она сесть на себя?» — и тут же заметил, что она просто плывет к нему, явно стараясь привлечь его внимание.

Неужели ее кто-то послал за ним? Мысль эта едва коснулась сознания, он тут же решил поставить опыт, положил руку ей на спину — она не отпрянула. Тогда он неуклюже взобрался на нее, и, пока он садился туда, где тело сужалось, рыба не двинулась, а как только он уселся прочно, рванулась и поплыла.

Если бы он и хотел вернуться, очень скоро оказалось, что это невозможно. Оглянувшись, он увидел, что зеленые пики уже не касаются неба, изрезанный берег выпрямляется. Шум прибоя сменился свистом разрезаемой воды. Плавучих островов было много, но отсюда, вровень с ними, он различал лишь зыбкие очертания. Однако рыба явно плыла к одному из них. Словно зная дорогу, она больше часу работала могучими плавниками. Потом зеленые и синие брызги скрыли все — и сменились тьмой.

Почему-то он не встревожился, ощутив, что вздымается по холмикам воды и падает с них во тьме. Черной эта гьма не была. Небо исчезло, и море исчезло, но где-то внизу свегились зелено и бирюзой какие-то раковины и звезды. Сперва они были очень далеко, потом — поближе. Сонмище светящихся существ

играло чуть глубже поверхности — спирали угрей, дробтики раковин, странные твари, среди которых морской конек показался бы вполне обычным. Они кишели вокруг, по два, по три десятка сразу. Удивительней морских драконов и морских кентавров были рыбы, настолько похожие на людей, что Рэнсом, увидев их, подумал было, не заснул ли он. Но это был не сон — наяву снова и снова появлялись то плечо, то профиль, а то и лицо. Просто русалки или наяды... Сходство с людьми оказалось больше, а не меньше, чем он думал; только выражение лица было совсем не человеческое. Не глупое и не карикатурно-похожее на нас, как у обезьян, — скорее, как у спящих. Или так: оно было такое, словно все человеческое спит, а какая-то иная жизнь, не бесовская и не ангельская, сменила ее. Чуждая, странная, неуместная жизнь каких-нибудь эльфов... И он снова подумал, что мифы одного мира могут быть правдой в другом. Потом он задумался над тем, не от этих ли рыб произошли Король и Королева, первые люди на планете. Если от рыб, как же было у нас? Вправду ли мы — потомки невеселых чудищ, чьи портреты мы видим в популярных книгах об эволюции? А может, былые мифы истинней новых? Может, сатиры и впрямь плясали в лесах Италии? Тут он отогнал эти мысли, чтобы бездумно наслаждаться благоуханием, повеявшим из тьмы. Оно становилось все чище, нежнее, сильнее, все услады слились в нем, и Рэнсом его знал. Он не спутал бы ни с чем во всей Вселенной запах плавучих островов. Странно тосковать, как по дому, по местам, где ты так мало пробыл, да еще по таким странным и чуждым человеку. А может, не чуждым? Ему показалось, что он давно тосковал по Переландре, еще до тех лет, с которых началась память, до рождения людей, до начала времен. Тоска была страстной и чистой сразу; в мире, где нервы не подчиняются духовной воле, она бы сменилась вождедением — но не здесь, не на Переландре. Рыба остановилась. Рэнсом протянул руку, коснулся водорослей, перелез через диковинную голову и вступил на покачивающуюся поверхность. За короткий промежуток он отвык ходить по ней, стал падать, но тут это было даже приятно. Вокруг, в темноте, росли деревья,

и когда ему попадалось что-то мягкое, свежее, круглое, он смело ел. Плоды были другие, еще лучше. Королева имела право сказать, что здесь, в ее мире, самый лучший плод тот, который ты ешь. Рэнсом очень устал, но еще больше его сморило то, что он был совершенно доволен. И он уснул.

По-видимому, к тому времени, как он проснулся, прошло несколько часов, но еще не рассвело. Он понял, что его разбудили, и почти сразу услышал, что же разбудило его. Рядом звучали голоса, мужской и женский. Люди разговаривали где-то близко, но в здешней тьме и за шесть дюймов ничего не разглядишь. Кто это, он догадался сразу, но голоса были какие-то странные, и тона он не понимал, поскольку не видел мимики.

— Я все думаю, — произнес женский голос, — все ли у вас повторяют одно и то же. Я же сказала, что нам нельзя оставаться на Твердой Земле. Почему ты не замолчал и не заговорил о чем-то другом?

— Потому что все это очень странно, — отвечал мужской голос. — В моем мире Малельдил действует иначе. К тому же он не запретил тебе думать о том, чтобы жить на Твердой Земле.

— Зачем же думать о том, чего нет и не будет?

— У нас мы вечно этим заняты. Мы складываем слова, чтобы описать то, чего нет, — прекрасные слова, и складываем мы их неплохо, а потом рассказываем друг другу. Называется это поэзией или литературой. В том старом мире, на Малакандре, тоже так делают. Это и занятно, и приятно, и мудро.

— Что же тут мудрого?

— Понимаешь, на свете есть не только то, что есть, но и то, что может быть. Малельдил знает и то, и другое, и хочет, чтобы мы знали.

— Я никогда об этом не думала. Когда я говорила с Пятнистым, мне казалось, что у меня, будто у дерева, все шире и шире разрастаются ветки. Но это уж совсем непонятно. Уходить в то, чего нет, и говорить об этом, и что-то делать... Спрошу-ка я Короля, что он об этом думает.

— Вечно мы к этому возвращаемся! Если бы ты не рассталась с Королем...

— А, вот! И это «могло бы быть». Мир мог быть таким, чтобы мы с Королем не расставались.

— Нет, не мир, вы сами. Там, где люди живут на Твердой Земле, они всегда вместе.

— Ты забыл, нам нельзя жить на Твердой Земле.

— Но думать об этом можно. Не потому ли Он запретил там жить, чтобы у вас было что выдумывать?

— Я еще не знаю. Пусть Король сделает меня старше.

— Как бы хотел я увидеть твоего Короля! Правда, в таких делах он вряд ли старше тебя.

— Эти твои слова — словно бесплодное дерево. Король всегда и во всем старше меня.

— Мы с Пятнистым сделали тебя старше кое в чем. Такого блага ты не ждала. Ты думала, что все узнаешь от Короля, а Малельдил послал тебе других людей, о которых ты и не помышляла, и они сказали тебе то, чего не знает Король.

— Теперь я вижу, зачем мы с ним разлучились. Малельдил дал мне странное и доброе благо.

— А если бы ты не стала меня слушать и твердила, что спросишь Короля? Разве тогда ты не отказалась бы от того, что есть, ради того, чего тебе хочется?

— Это трудный вопрос. Малельдил не помог мне на него ответить.

— А ты не видишь почему?

— Нет, не вижу.

— Мы с Пятнистым объяснили тебе многое, чего Он не объяснил. Разве ты не видишь? Он хочет, чтобы ты немножко отошла от Него.

— Куда же? Ведь Он повсюду.

— Да, но не в этом смысле. Он хочет, чтобы ты стала взрослой женщиной. Ведь пока что ты не закончена. Это животные ничего не решают сами. Теперь, когда ты увидишь Короля, не он тебе, ты ему многое расскажешь. Ты будешь старше его и сделаешь его старше.

— Малельдил не позволит, чтобы так было. Это — как плод, у которого нет вкуса.

— Нет, вкус тут будет, для Короля. Тебе не приходило в голову, что иногда он устает быть старшим? Может, он больше полюбит тебя, если мудрее будешь ты?

— Это поэзия или правда?

— Это правда.

— Разве можно любить больше? Никакая вещь не бывает больше себя самой.

— Я хотел сказать, что ты станешь больше похожа на женщин нашего мира.

— А какие они?

— Очень смелые. Они всегда обретают новое и неожиданное благо и видят его задолго до мужчин. Их разум обгоняет то, что им скажет Малельдил. Им не надо ждать, чтобы Он объяснил, что же хорошо, — они это знают сами. Собственно говоря, они — малельдилы, только поменьше. Оттого, что они так мудры, они очень красивые, настолько же красивей тебя, насколько ваши тыквы вкуснее наших. А оттого, что они красивы, мужья любят их настолько же сильнее, чем любит тебя Король, насколько пламень Глубоких Небес, который мы видим из нашего мира, красивей вашего Золотого потолка.

— Хотела бы я увидеть ваше небо!

— И я бы хотел, чтобы ты его увидела.

— Как прекрасен Малельдил и чудесны его дела! Может быть, Он произведет от меня дочерей, которые будут больше меня, как я больше животных. Это лучше, чем я думала. Я думала, я всегда буду Владычицей и Королевой. Теперь я вижу, что я, наверное, — как эльдилы. Наверное, мне дано лелеять и беречь детей, пока они слабы и малы, и пасть к их ногам, когда они станут лучше и сильнее меня. Значит, не только мысли растут все шире, как ветви. И радость растет.

— Лягу-ка я посиплю, — сказал другой голос, и тут уж это был несомненно голос Уэстона, да еще и довольно сварливый.

До сих пор Рэнсом точно знал, что говорит Уэстон, но голос во тьме был до странности не похож на тот, знакомый, а терпеливый, мягкий тон совсем уж не походил ни на привычную важность, ни на привычную грубость. И потом, можно ли за не-

сколько часов совершенно оправиться от такого припадка? Можно ли добраться до плавающего острова? Слушая ту беседу, Рэнсом гадал и сомневался. Говорил Уэстон — и не Уэстон, это было очень страшно, особенно в полной тьме. Рэнсом то и дело прогонял дичайшие мысли, а когда беседа кончилась, понял, как напряженно за ней следил. Ощутил он торжество, хотя никакой победы не одержал. Воздух просто звенел; он даже приподнялся, прислушался, но услышал только шепот теплого ветра да тихий рокот волн. Видимо, победный звон шел изнутри. Он снова лег — и понял, что все звенит вокруг, но без звука. Слава и радость проникали в самое сердце, не через слух, словно у него появилось новое чувство... словно сейчас, при нем, запели утренние звезды... словно Переландра только что создана (ну, это, может, и правда). Он ощутил, что удалось избежать большой беды, и надеялся, что второй попытки не будет. Потом пришло самое лучшее: он подумал, что послан сюда не как деятель, а как зритель, — и почти сразу уснул.

Глава 9

За ночь погода изменилась. Рэнсом сидел на опушке леса, в котором он спал ночью, и глядел на спокойное море, где уже не было других островов. Проснувшись, он увидел, что лежит один в зарослях тростника, толстого, как молодая березка, и с густой листвой, закрывавшей сверху небо, словно плоская крыша. Оттуда свисали гладкие и яркие ягоды, похожие на ягоды остролиста, и он съел несколько на завтрак. Потом он выбрался на открытое место у кромки острова, огляделся, не увидел ни Королевы, ни Уэстона и спокойно побрел вдоль моря. Босые ноги утопали в ярко-желтом ковре, покрываясь душистой пылью. Рэнсом поглядел вниз и увидел что-то очень странное. Он подумал было, что это — животное, самое причудливое из всех, кого он видел на Переландре. Но облик его был не просто странным — он был ужасен. Рэнсом опустил на одно колено, чтобы получше разглядеть, нехотя коснулся «этого» рукой — и отдернул ее, словно наткнулся на змею.

Это была изувеченная лягушка — одна из тех, цветастых, но с ней что-то случилось. На спине у нее была рваная рана в форме буквы «V», и нижний угол приходился сразу за головой. Кто-то разорвал ее снизу доверху, аккуратно вскрыл, словно конверт, вдоль позвоночника, так что задние ноги почти отделились от тела. Они были настолько изувечены, что прыгать она не могла бы. На Земле это было бы мерзко, но здесь, на Переландре, Рэнсом вообще не встречал ни уродства, ни смерти, и его словно бы с маху ударили. Так боль, вернувшись, предупреждает больного, что родные лишь утешали его и он скоро умрет. Так рушится мир при первом слове лжи из уст надежнейшего друга. Это было хуже всего. Над золотым морем веял теплый ветер, плавучий сад под золотым небом сиял синевой, зеленью и серебром — и все это стало мишурой, красочной заставкой Страшной Книги, а текстом было вот это жуткое существо, бывшее у его ног. Он не мог ни понять, ни подавить чувство, которое его охватило. Он убеждал себя, что такие создания почти не испытывают боли, — но это ничего не меняло. Сердце его сбилось с ритма не от сочувствия к чужой боли. То, что свершилось, казалось ему непристойным, стыдным, срамным. Ему казалось, что лучше бы мир не создавать, лишь бы этого не было. Хотя он и думал (в теории), что лягушка не чувствует боли, он все же решил, что лучше ее прикончить. У него не было ни башмаков, ни камня, ни палки, и убить лягушку оказалось нелегко. Он понял, что сделал глупость, но отступить было поздно. Как ни мало «оно» страдает, он эти страдания увеличил. Возился он долго, едва ли не час, и наконец исковерканное тело совсем затихло, а Рэнсом спустился к воде умыться. Его тошнило и шатало. Казалось бы, странно, ведь он побывал на фронте, но говорят же архитекторы, что и величина здания зависит только от того, сверху или снизу мы смотрим.

Наконец он немного пришел в себя и пошел дальше, но тут же снова остановился и поглядел на землю. Ускорил шаг — остановился — и замер, закрыв руками лицо. Он просто возопил, чтобы небо прекратило этот кошмар или хотя бы объяснило его. Изувеченные лягушки лежали рядком вдоль всего берега. Осто-

рожно обходя их, он пошел по этому следу. Десять, пятнадцать, двадцать... двадцать первая лежала там, где лес подходил к воде. Рэнсом вошел в лес, вышел с другой стороны — и снова замер на месте: перед ним стоял Уэстон, одетый, только без шлема, разделявая очередную лягушку. Спокойно, методично, словно хирург, он воткнул в нее длинный ноготь указательного пальца, вскрыл кожу... Раньше Рэнсом не замечал, что у него такие длинные ногти. Тем временем Уэстон завершил операцию, отбросил кровавые останки, поднял голову — и глаза их встретились.

Рэнсом молчал, он просто не мог заговорить. Перед ним стоял человек, совершенно здоровый, судя по спокойной позе и поразительной силе рук. Несомненно, это был Уэстон — и рост его, и сложение, и цвет волос, и черты лица можно было узнать. И все же он страшно изменился, не то чтобы заболел, а просто умер. Лицо, склонявшееся над истерзанной лягушкой, обрело ту жуткую силу, какую обретает порою облик мертвеца, как бы отталкивающий от себя любое наше отношение. Невыразительный рот, недвижный взор, что-то каменно-тяжкое в складках щек ясно говорили: «Да, у меня такое же лицо, как и у тебя, но между нами нет ничего общего». Именно это мешало Рэнсому заговорить. С какой речью, с какой мольбой, с какой угрозой можно обратиться вот к этому. И тут, отбросив логику, отбросив все привычки разума, просто не желавшего принимать эту мысль, Рэнсом понял, что перед ним — не человек, Уэстон умер, а тело не разлагается и ходит по Переландре, движимое какой-то иной жизнью.

Существо это молча глядело на Рэнсома и вдруг улыбнулось. Все мы, и Рэнсом в том числе, не раз толковали о «дьявольской усмешке». Теперь он понял, что никогда не принимал этих слов всерьез. Улыбка не была ни горькой, ни злобной; она даже не была насмешливой. В ней было жуткое простодушие дикаря, приглашающего вас в мир своих забав, словно забавы эти приятны всякому, вполне естественны и никому в голову не придет о них спорить. Рэнсом не видел ни стыда, ни той неловкости, какая бывает у людей, застигнутых за дурным делом и пы-

тающихся вовлечь в него своего разоблачителя. Бывший Уэстон не грешил против добра — он добра не ведал. Рэнсом понял, что до сих пор встречался лишь с нерешительными, неполноценными грешниками. Это существо было цельным. Такое крайнее зло вышло за пределы выбора, в те пределы, которые как-то жутко похожи на невинность. Этот был за пределом греха, как Зеленая Королева была за пределом добродетели.

Он молчал и улыбался не меньше двух минут. Рэнсом шагнул вперед, сам не зная, что собирается делать, но споткнулся и упал. Почему-то встать было трудно, и, едва поднявшись, он снова потерял равновесие и снова упал. На миг он погрузился во тьму, где грохотал какой-то поезд. Потом золотое небо и пестрые волны вернулись на место, и он понял, что потерял сознание, а теперь лежит на земле и рядом никого нет.

Пока он лежал, еще не в силах пошевелиться, он вспомнил, что у старых философов читал, будто одна из худших пыток в аду — лицезрение дьявола. Он-то думал, что это причудливая выдумка; а ведь даже дети разбираются в этом лучше — любой ребенок знает, что бывает лицо, на которое просто нельзя смотреть. Дети, философы и поэты были правы. Над миром склоняется Лицо, видеть которое — величайшая радость; и в бездне нас поджидает лицо, увидеть которое — безвозвратная гибель. Человек выбирает свой путь из тысяч и тысяч, но любой из них приведет либо к блаженному, либо к гибельному лику. Рэнсом увидел лишь слепок или слабый призрак лика из бездны — и все же не был уверен, что останется в живых.

Наконец он поднялся на ноги и отправился искать *это*, чтобы предотвратить его свидание с Королевой или хотя бы присутствовать при нем. Он не знал, чем сможет помочь, но понимал яснее ясного, что именно ради этого он и послан. Тело Уэстона, достигшее Переландры в космическом корабле, — орудие, как бы мост, по которому на планету проник кто-то иной, то ли высшее и первичное Зло, которое на Марсе называют порченым эльдилом, то ли один из его приспешников, разница не так уж важна. Рэнсом просто дрожал и все время спотыкался. Он понять не мог, как же после такого ужаса вообще спосо-

бен и двигаться, и думать; так на войне или в болезни мы впервые понимаем, как много можем перенести. Мы говорим: «Я сойду с ума!», «Я умру», — но сохраняем и жизнь, и разум и выполняем свой долг.

Погода изменилась. Земля, по которой он шел, колебалась, как волна. Небо побледнело, оно было скорее бледно-желтым, чем золотым; море потемнело и стало почти бронзовым. Раза два Рэнсом присел отдохнуть. Он продвигался вперед очень медленно и лишь через несколько часов заметил на горизонте две человеческие фигуры. Земля тут же вспучилась, они исчезли из виду, только через полчаса он добрался до того места, где стояло тело Уэстона, удерживая равновесие с ловкостью, для былого Уэстона невообразимой. Оно говорило с Королевой, она слушала и, к огорчению Рэнсома, не обернулась к нему, не поздоровалась, даже и не заметила, как он подошел и сел на мягкий мох.

— Да, мы растем, — произносила оболочка. — Растем, когда слагаем стихи о том, чего нет; о том, что могло быть. Если ты отвергаешь это, не отвергаешь ли ты предложенный тебе плод?

— Я не от поэзии отказываюсь, — сказала она, — а только от этой одной истории, которую ты вложил в мой разум. Я могу сочинять истории про Короля и про наших детей. Я могу придумать, что рыбы летают, а звери плавают в море. Но если я сочиню историю о жизни на Твердой Земле, я не знаю, как быть с заповедью Малельдила. Я ведь не могу придумать, будто Он Сам изменил Свою волю. А если я придумаю, будто мы живем там вопреки Его запрету, то я как бы сделаю море черным, воду — непригодной, воздух — жалящим. И вообще, я не понимаю, какой прок в таких мыслях.

— Ты станешь старше, мудрее, — ответило тело Уэстона.

— Ты это точно знаешь?

— Конечно, — отвечало оно. — Именно так женщины в моем мире становятся сильными и красивыми.

— Не слушай его, — сказал Рэнсом, — отошли его, забудь о нем!

Она впервые обернулась. С тех пор как он видел ее, лицо ее стало чуть-чуть иным — не печальней и не встревоженней, и все-таки было в нем какое-то легчайшее сомнение. Однако она явно обрадовалась, хотя и удивилась, а первые ее слова объяснили, почему она не поздоровалась сразу, — видимо, она не представляла себе, как можно вести разговор с двумя людьми. Когда они заговорили втроем, она часто терялась — она не умела ловить две реплики или быстро переводить взгляд с одного собеседника на другого. Иногда она слушала только Рэнсома, иногда — Уэстона, но обоих сразу — никогда.

— Почему ты начал говорить прежде, чем он закончил? — спросила она. — Что вы делаете там, у себя? Вас ведь так много, и больше двоих собирается часто. Вы разговариваете по очереди? Или вы умеете слушать сразу многих? Я не умею, я еще слишком молода.

— Я вообще не хочу, чтобы ты его слушала, — сказал Рэнсом. — Он...

И тут он запнулся.

«Плохой и подлый», «лживый»... Любое из этих слов для нее бессмысленно. Подумав, он вспомнил разговор о великом эльдиле, который держался за старое благо и ради него отказался от нового. Да, только так можно объяснить ей, что такое зло. Он было заговорил — и опоздал: голос Уэстона успел его опередить.

— Этот Пятнистый человек, — произнес он, — не дает тебе меня слушать, чтобы ты не стала взрослой. Он не хочет, чтобы ты отведала плодов, которых еще не пробовала.

— Зачем же это ему?

— Разве ты не заметила, — продолжал голос, — разве ты не заметила, что Пятнистый из тех, кто отступает перед новой волной и хочет вернуть волну ушедшую? Разве он не выдал себя в первом же разговоре? Он не знал, что все обновилось с тех пор, как Малельдил стал человеком; не знал, что отныне все твари, одаренные разумом, имеют человеческий облик. Ты объяснила это ему, а он не обрадовался. Он огорчился, что больше не будет этих мохнатых существ. Он хотел бы вернуть тот, преж-

ний мир. Потом ты просила его рассказать про смерть — и он не захотел. Он хочет, чтобы ты так и не стала взрослой, не узнала смерти. Ведь это он сказал, что можно не обрадоваться той волне, которую пошлет нам Малельдил, — можно так испугаться ее, что все отдашь, лишь бы она не пришла.

— Значит, он очень молодой? — спросила Королева.

— Мы называем это «плохой», — отвечало тело. — Он — из тех, кто отказывается от посланного ему плода ради того плода, которого он ждал или который он ел раньше.

— Что ж, сделаем его старше, — сказала Королева, и, хотя она не взглянула в его сторону, Рэнсом вновь ощутил, что она — Мать и Владычица, которая желает добра и ему, и всем. А он... он ничем не мог ей помочь. Оружие выбили из его рук.

— А ты научишь меня смерти? — спросила Королева, глядя снизу вверх на тело Уэстона.

— Да, — ответило оно, — затем я и пришел, чтобы вы имели Смерть, и имели ее в избытке. Но тут потребуются много мужества.

— Что такое «мужество»?

— То, что велит нам плыть, когда волны такие большие, что ты, пожалуй, предпочла бы остаться на берегу.

— А, знаю, знаю! Тогда плавать лучше всего.

— Да. Но чтобы найти смерть, а со смертью — мудрость, и мощь, и красоту, ты должна сразиться с тем, что сильнее любой волны.

— Продолжай. Я никогда не слышала таких слов. Они похожи на большие пузыри, которые растут на деревьях. Когда ты говоришь их, я... мне... нет, не знаю, что мне приходит в голову.

— Ты услышишь и более великие слова, но сперва ты должна стать старше.

— Так сделай меня старше.

— Королева! — воскликнул Рэнсом. — Разве не лучше, чтобы Малельдил сделал тебя старше в урочное время и Своей рукой?

Лицо Уэстона не оборачивалось к нему ни разу; лишь голос его, обращенный к Королеве, возразил Рэнсому.

— Вот видишь? — сказал он. — Несколько дней назад он сам, хотя и нечаянно, показал тебе, что Малельдил уже выпускает твою руку, чтобы ты шла сама. Тогда и выросла первая ветвь — ты поняла и стала по-настоящему старше. С тех пор Малельдил еще многому тебя научил — не Сам, через меня. Ты будешь принадлежать только самой себе, этого и хочет от тебя Малельдил. Вот почему Он разлучил тебя с Королем и отдалил от Себя. Так Он делает тебя взрослой — ты сама должна сделать себя взрослой. А твой Пятнистый хочет, чтобы ты сидела смиренно и ждала, пока Малельдил все за тебя сделает.

— Что же сделать нам, чтобы Пятнистый стал старше? — спросила она.

— Я не думаю, что ты сможешь помочь ему, пока сама не станешь старше, — ответил голос Уэстона. — Ты еще никому не можешь помочь. Ты — дерево, на котором нет плодов.

— И правда, — сказала Королева. — Продолжай.

— Так слушай, — продолжал голос. — Ты уже поняла, что ждать приказа от Малельдила, когда Малельдил хочет, чтобы ты шла сама, — тоже непослушание?

— Кажется, поняла.

— Слушаться неверно — все равно что не слушаться, — объяснил он.

На минуту Королева задумалась, потом захлопала в ладоши.

— Поняла, поняла! — воскликнула она. — Насколько старше ты меня сделал! Вот я недавно играла с одним зверем, гонялась за ним — а он понял и побежал от меня. Если бы он стоял смиренно и дал себя поймать, он послушался бы, но неправильно.

— Ты очень хорошо поняла. Когда ты совсем вырастешь, ты будешь еще красивей и мудрее, чем женщины нашего мира. Теперь ты знаешь, что так обстоит дело и с приказами Малельдила.

— Кажется, я не совсем поняла.

— Уверена ли ты, что Он всегда ждет послушания?

— Как же можно не слушаться Того. Кого любишь?

— Этот зверь тоже любит тебя, но он убегал.

— Не знаю, так ли это похоже, — сказала Королева. — Тот зверь знает, когда я хочу, чтобы он убегал, когда — чтобы он подошел. А Малельдил никогда не говорил нам, что Его слова или дела могут оказаться шуткой. Разве Тот, Кого мы любим, может шутить или играть, как мы? Ведь Он — сила и радость. Ему не нужна шутка, как не нужны еда или сон.

— Я говорю не о шутке. Она только похожа на то, что я имею в виду: ты должна вынуть руку из Его руки, стать вполне взрослой, пойти избранным путем. Возможно ли это, если ты хотя бы однажды не ослушаешься Его... ну, как бы ослушаешься?

— Можно ли «как бы» послушаться?

— Можно. Ты сделаешь то, что Он как бы запретил. А что, если запрет для того и создан, чтобы ты его нарушила?

— Если бы Он велел нам его нарушить, запрет уже не был бы запретом. А если Он не велел, откуда мы знаем, что запрет надо нарушить?

— Какой мудрой ты становишься, красавица! — произнес голос Уэстона. — Конечно, если бы Он велел нарушить Свой запрет, запрет уже не был бы запретом, все правильно. И Он не шутит с тобой, в этом ты тоже права. Он ждет от тебя втайне, чтобы ты и впрямь послушалась, и впрямь стала старше. Если бы Он открыл тебе это, все лишилось бы смысла.

Помолчав, Королева сказала:

— Теперь я не пойму, в самом ли деле ты старше меня. Ведь то, что ты говоришь, — словно плод без вкуса! Если я выйду из Его воли, я получу то, чего желать невозможно. Как перестану я любить его... или Короля... или всех тварей? Это все равно что ходить по воде или плавать по суше. Ведь я не перестану ни пить, ни спать, ни смеяться! Я думала, в твоих словах есть смысл, а теперь мне кажется, что смысла в них нет. Выйдя из Его воли, я уйду в то, чего нет.

— Да, таковы все Его заповеди, кроме одной.

— Как это может быть?

— Ты и сама знаешь, что она — особенная. Все остальные Его заповеди — есть и спать, любить и наполнять этот мир своими детьми — хороши сами по себе, ты это видишь. А вот запрет жить на Твердой Земле — не такой. Ты уже знаешь, что в моем мире Он такого запрета не дал. Ты не можешь понять, в чем тут смысл. Если бы этот запрет был так же хорош, как другие, разве Малельдил не дал бы его и всем остальным мирам? Если это — благо, Он непременно даровал бы его. Значит, блага здесь нет. Сам Малельдил указывает это тебе, вот сейчас, через собственный твой разум. Это пустой запрет, запрет ради запрета.

— Зачем же?

— Чтобы ты могла его нарушить. Зачем же еще? Сам по себе этот запрет ничуть не хорош. В других мирах его нет. Он лишает тебя оседлой жизни, ты не можешь распоряжаться ни временем своим, ни собой. Значит, Малельдил ясно показывает, что это — испытание, большая волна, в которую ты должна шагнуть, чтобы стать по-настоящему взрослой, отделенной от Него.

— Если это так важно для меня, почему же Он не вложил ничего такого в мой разум? Все исходит от тебя, чужестранец. Я не слышу Голоса, даже шепота, который подтвердил бы твои речи.

— Как ты не понимаешь? Его и не может быть! Ведь Малельдил хочет — Он очень, очень хочет, — чтобы Его создание стало совершенно самостоятельным, полагалось на свой разум и свою отвагу, пусть вопреки Ему. Как Он может это сказать? Приказ все испортит. Все, что ты сделаешь по приказу, ты сделаешь вместе с Ним. Только это, это одно — вне Его воли, хотя он желает именно этого. Неужели ты думаешь, что Он хочет видеть в Своем творении лишь Себя Самого? Тогда зачем бы Он творил? Нет, Ему нужен друг... другой... тот, кто уже не принадлежит Ему всецело. Вот чего Он жаждет.

— Если б я только знала, так ли это...

— Он не скажет тебе. Он просто не может. Может Он сделать одно — поручить это другому созданию. Так Он и сделал.

Разве не Его волей пересек я Глубокое Небо, чтобы научить тебя всему, чему Он хочет научить?

— Госпожа моя,— сказал наконец Рэнсом,— если я заговорю, будешь ли ты слушать меня?

— Конечно, Пятнистый! — ответила она.

— Этот человек сказал, что запрет о Твердой Земле отличается от всех прочих, потому что его нет в других мирах и потому что мы не видим, в чем его смысл. Тут он прав. Но он говорит, что запрет такой страшный, чтобы ты его нарушила. А может, у этой странности — другая причина?

— Какая же?

— Я думаю, Малельдил дал тебе такой закон, чтобы ты исполнила его ради послушания. Слушаясь Малельдила, ты делаешь то, что нравится и тебе. Ты исполняешь Его волю — но не только ради того, чтобы ее исполнить. Удовлетворится ли этим любовь? Как бы ты вкусила радость послушания, если бы не было заповеди, чей единственный смысл — соблюдение Его воли? Ты сказала, что все твари охотно послушались бы, если бы ты велела им встать на голову. Значит, тебе нетрудно понять мои слова.

— Пятнистый! — воскликнула Королева.— Это самое лучшее из всего, что ты говорил! Я стала еще старше, но совсем не так, как вот с ним. Конечно, я тебя понимаю! Из воли Малельдила мы выйти не можем, но по Его воле можем не повиноваться своей воле, нашей. Вот Он и дал нам такую заповедь, другого способа нет. Я словно вышла сквозь крышу мира в Глубокие Небеса. Там — только Любовь. Я всегда знала, что хорошо глядеть на Твердую Землю и знать, что никогда там жить не будешь, но не понимала раньше, почему это хорошо. — Лицо ее сияло, но вдруг по нему скользнула тень удивления. — Пятнистый,— спросила она,— если ты так молод, как он говорит, откуда же ты это знаешь?

— Это он говорит, что я молод, а не я.

Из уст Уэстона вновь раздался голос. Теперь он был сильнее, громче и совсем уже не походил на тот, прежний.

— Я старше его, этого он отрицать не посмеет. Прежде чем праматерь его праматери явилась на свет, я уже был намного, намного старше, чем он мог бы представить. Я был с Малельдилом в Глубоком Небе, куда ему не проникнуть, и слушал, о чем говорили на Предвечном совете. Я старше его и в порядке творения, он — ничто предо мною. Лгу я или не лгу?

Мертвое лицо ни разу не повернулось, но Рэнсом знал, что и говоривший, и Королева ждут его ответа. Он готов был солгать, но слова застыли у него на устах. Здесь приходилось говорить правду, даже когда правда казалась губительной. Он облизал губы, совладал с подступившей дурнотой и ответил:

— В нашем мире «старше» не всегда значит «лучше».

— Взгляни на него, — тело Уэстона обращалось только к Королеве, — смотри, как он побледнел, как влажен его лоб! Ты еще такого не видела, но увидишь не раз. Вот что бывает с жалкими тварями, когда они восстают против великих. И это лишь начало!

Рэнсом содрогнулся от страха. Спасло его лицо Королевы. Она не понимала столь близкого к ней зла, она была далека от него, словно их разделяло десять лет пути. Невинность окружала ее, невинность ее защищала, и эта же невинность подвергла величайшей опасности. Она поглядела в лицо нависшей над нею смерти с удивлением, нет — с веселым любопытством, и сказала так:

— Но он ведь прав, чужеземец. Это тебя надо сделать старше, ты еще не понял про запрет.

— Я всегда вижу целое, а он видит только часть, одну из многих сторон. Да, Малельдил дал вам возможность не поддаться собственной воле, поступить против первого из ваших желаний.

— А какое оно?

— Сейчас ты больше всего хочешь во всем повиноваться Ему. Ты хочешь остаться все такой же — Его покорной тварью, маленьким ребенком. Отказаться от этого трудно. Он нарочно сделал это трудным, чтобы отважились лишь самые лучшие, самые мудрые, самые смелые. Только они выйдут из убожест-

ва, в котором вы прозябаете, преодолеют темную волну запрета и обретут истинную Жизнь, во всей ее радости и печали.

— Послушай,— сказал Рэнсом,— он не все тебе открыл. Такой разговор ведут не впервые, и то, что он теперь предлагает, уже сделали однажды. Давным-давно, когда история нашего мира только начиналась, там была только одна Женщина и только один Мужчина, как вы с Королем. И там он стоял, как стоит теперь пред тобою, и говорил с той Женщиной. Он тоже застал ее одну. Она послушалась и сделала то, что запретил Малельдил, и не получила ни славы, ни радости. Я не могу объяснить, что с ней случилось, ты все равно не поймешь. Но вся любовь на Земле ослабела и охладела, мы еле слышим теперь голос Всевышнего и потому утратили мудрость. Жена восстала против мужа, мать — против сына; когда они хотели есть, на деревьях не было плодов, и поиски пищи отнимали у них все время, так что жизнь стала не шире, а гораздо уже.

— Он скрыл от тебя половину,— промолвили мертвые уста.— Беды пришли, но пришла и слава. Люди своими руками создали горы выше Твердой Земли. Они сотворили плавучие острова, куда больше ваших, и по своей воле плывут через океан, обгоняя самих птиц. Не хватало пищи — и женщина отдавала единственный плод ребенку или мужу, вкушая взамен смерть; она могла отдать все, а вы в своей убогой и легкой жизни играете, ласкаетесь, ездите верхом на рыбах, но не можете сделать ничего, пока не нарушите заповедь. Знание было трудно добыть, но добывшие его — их мало! — превзошли других настолько, насколько вы превосходите животных, и тысячи искали их любви...

— Я хочу спать,— внезапно сказала Королева. До этой минуты она внимала голосу, широко раскрыв глаза и даже приоткрыв рот, но когда дошло до тысяч, искавших любви, она зевнула, не подчеркивая свою усталость и не стыдясь ее, словно котенок.

— Погоди,— сказал голос,— это еще не все. Ведь он не сказал, что, не нарушь она запрет, Малельдил не пришел бы в наш мир, не стал бы Человеком. Пятнистый не посмеет это отрицать.

— Это так? — спросила Королева.

Рэнсом стиснул руки, даже суставы пальцев побелели. Все это было так нечестно, что его словно бы терзала колючая проволока. Нечестно... да, нечестно. Зачем Малельдил послал его на такую битву, когда оружия нет, ложь запрещена, правда губительна? Нечестно! Возмущение окатило его горячей волной, и, словно еще большая волна, нахлынуло сомнение. А что, если враг прав? Счастливый грех Адама... Даже церковь сказала бы, что из непослушания в конце концов произошло благо. А он, Рэнсом, и вправду человек нерешительный, всегда боялся нового, боялся сложностей. В чем же искустель солгал? На миг перед ним предстало величественное зрелище: армии и города, корабли и библиотеки, слава и мощь и дивные стихи, водометом взлетающие ввысь. Может быть, этот прогресс — и есть конечная истина? Из всех расщелин разума, о которых он и сам не ведал, поднималось что-то мятежное, дерзкое и прекрасное — и льнуло к оболочке Уэстона.

«Это Дух, Дух,— говорил внутренний голос.— Это Дух, а ты всего-навсего человек. Он неуклонно идет сквозь века, а ты всего лишь...»

— Что ты скажешь, Пятнистый? — снова спросила Королева.

Чары мигом развеялись.

— Вот что,— заговорил он, поднимаясь на ноги.— Конечно, из этого в конце концов произошло благо. Разве Малельдил — животное, которому мы преградим путь, или растение, чей рост мы остановим? Что бы мы ни делали, Он приведет нас к благу. Но это будет не то благо, которое Он уготовал нам, если б мы всегда слушались. Наш Король и наша Королева нарушили запрет — и Он привел это к благу. Но то, что они сделали, дурно, и мы не знаем, что они утратили. Есть и такие, для кого никакого блага не вышло.— Он обернулся к мертвому лицу.— Ну,— сказал он,— расскажите ей все! Какое благо получили вы? Какая вам радость от того, что Малельдил стал Человеком? Расскажите ей, как вы счастливы и какую пользу получили, сведя Малельдила со смертью!

Едва он произнес эти слова, как случилось нечто, едва ли возможное на Земле. Тело Уэстона закинуло голову, разинуло рот и издало долгий пронзительный вой, очень похожий на жалобный вой собаки,— и в ту же минуту, словно ничего не заметив, Королева легла на землю, закрыла глаза, мгновенно уснула, а маленький остров, где лежала женщина и стояли двое мужчин, вновь поднялся на гребень волны.

Рэнсом внимательно следил за врагом, но тот на него не глядел. Глаза его двигались, как движутся они у живого человека, но трудно было понять, на что же они смотрят и видят ли вообще. Казалось, что какая-то сила искусно удерживает их взгляд и движет губами, но сама воспринимает все как-то иначе. Облочка Уэстона села рядом с головой Королевы по другую сторону, вернее не «села», а что-то усадило ее, хотя никто не называл бы ни одного совсем уж нечеловеческого движения. Рэнсому казалось, что кто-то прекрасно изучил, как движется человек, и правильно это выполнил, не хватая лишь последнего штриха, души, творческого духа. И детский, несказанный ужас охватил его — надо бороться с трупом, с призраком, с Нелюдью.

Делать было нечего, оставалось сидеть здесь, а если надо, оберегать Королеву, пока остров вздымается на альпийские вершины волн. Все трое молчали. К ним подходили звери, прилетали птицы, глядели на них. Много часов спустя Нелюдь заговорил. Даже не глядя в сторону Рэнсома, медленно, туго, будто несмазанный механизм, он произнес:

— Рэнсом.

— Что? — спросил тот.

— Ничего,— ответил Нелюдь.

Рэнсом взглянул на него с недоумением. Неужели это существо еще и сошло с ума? Нет, оно, как и прежде, казалось не безумным, а просто мертвым. Оно сидело тихо, свесив голову, приоткрыв рот, по-турецки скрестив ноги; желтая пыльца оседала в складках его щек, руки с длинными металлическими ногтями лежали на земле. Рэнсом отогнал мысль о безумии, и без того хватало тревожных мыслей.

— Рэнсом,— вновь произнесли эти губы.

— Ну что? — резко спросил Рэнсом.

И снова страшный голос ответил:

— Ничего.

На сей раз Рэнсом промолчал, и губы проговорили снова:

— Рэнсом, — и стали твердить: — Рэнсом... Рэнсом... Рэнсом... — сто раз подряд.

— Какого черта вам нужно? — заорал он наконец.

— Ничего, — произнес голос.

Рэнсом решил молчать, но, когда голос Уэстона окликнул его в тысячный раз, против воли отозвался — и снова услышал: «Ничего». С каждым разом он учился молчать, и не потому, что подавлять искушение труднее, чем услышать гнусный ответ, — и то и другое было истинной пыткой, — а потому, что ему все больше хотелось противостоять этой наглости, этой уверенности в победе. Если бы натиск был явным, сопротивляться было бы легче. Больше всего пугало сочетание зла с чем-то почти детским. К соблазнам, к богохульству, ко многим ужасам он был хоть как-то готов — но не к этой нудной настырности, словно к тебе пристаёт плохой мальчишка. Какой воображаемый ужас сравнится с тошнотворным чувством, копившимся в нем все эти часы? Ему казалось, что тот, кто сидит рядом, вывернут наизнанку: снаружи что-то есть, внутри — пусто. Снаружи — великие замыслы, бунт против неба, судьбы миров, а внутри, в немой глубине, за последним покровом — просто ничего нет, разве что тьма, как у подростка, бесцельный вызов, не желающий упустить даже самого малого глумления, как не упускает любовь и малых знаков нежности. Неужели это возможно? Рэнсом уже не мог думать и все еще молчал, раз навсегда решив, что, если миллион раз слышать либо «Ничего», либо «Рэнсом», лучше уж все время слышать «Рэнсом».

А маленький остров, сверкающий, словно самоцветы, взлетал к желтому небу, зависал там, деревья его начинали клониться вниз — и он быстро скользил в теплую искрящуюся долину между волнами. Королева по-прежнему спала, подложив под голову руку и чуть разомкнув губы. Глаза у нее были плотно закрыты, дышала она ровно, но лицо было не такое, как у наших

спящих, — оно сохраняло и разум, и живость, а тело словно бы могло вскочить в любую минуту, будто и сон для нее не состояние, но действие.

Внезапно наступила ночь. Из темноты доносилось: «Рэнсом... Рэнсом... Рэнсом». И Рэнсом подумал, что ему придется заснуть, а Нелюди это и нужно.

Глава 10

Он долго сидел в темноте, усталый, а потом и голодный, стараясь не прислушиваться к бесконечному: «Рэнсом-Рэнсом-Рэнсом», — и вдруг услышал разговор, начала которого не помнил, и понял, что проспал. Женщина говорила мало, голос Уэстона говорил настойчиво и мягко. Теперь этот голос не рассуждал ни о Твердой Земле, ни даже о Малельдиле. Красиво и выразительно он рассказывал одну историю за другой, и долгое время Рэнсом не мог уловить никакой связи между ними. Все это были истории о женщинах, но о самых разных временах и судьбах. Судя по ее ответам, Королева многого не понимала, но, как ни странно, Нелюдь не смущался. Если ему было трудно объяснить что-то в одной истории, он тут же бросал ее и переходил к другой. Все героини были сущими мученицами — отцы их тиранили, мужья изгоняли, возлюбленные изменяли им, дети не слушались, общество — преследовало. Но так или иначе, все кончалось хорошо: либо прижизненной хвалой, либо — чаще — запоздалым признанием и покаянными слезами у их могилы. Бесконечный монолог все продолжался. Королева спрашивала все реже — какое-то представление о горе и смерти у нее начало складываться, но какое именно, Рэнсом не знал и догадаться не мог. Зато он понял наконец, к чему все эти рассказы. Все героини в одиночку шли на страшный риск ради возлюбленного, или ребенка, или народа. Всех их не понимали, гнали, травили — и все они были оправданы и отомщены. Подробности Нелюдь опускал. Рэнсом подозревал, а то и знал, что на человеческом языке многие из благородных героинь именовались преступницами либо ведьмами. Но все было аккуратно

прикрыто, из рассказов выступала не идея, а некий образ: величественная, прекрасная женщина, не склоняющаяся под тяжестью легкой ей на плечи ответственности за судьбу мира, одиноко и бесстрашно идет во тьму, чтобы совершить для других то, чего другие не хотят, хотя от этого зависит их жизнь. А для контраста и для фона этим богиням голос Уэстона создавал портрет мужчины. Тут он тоже ничего не говорил впрямую, но образ строил: смутно кишели какие-то жалкие существа, заносчивые, невзрослые, трусливые, упрямые и угрюмые, вросшие в землю от лени, способные на все, лишь бы ни на что не решаться, ничем не рисковать. Только мятежная и жертвенная доблесть их женщин возвращает им истинную жизнь. Да, создавал он образ искусно. Рэнсом, лишенный мужской гордыни, на минуту другую почти поверил ему.

Они еще говорили, когда тьму разорвали вспышки молний. Несколько секунд спустя донесся отзвук здешнего грома, рокот небесного тамбурина — и хлынул теплый дождь. Рэнсом едва его ощутил. Вспышка молнии осветила оболочку Уэстона — она сидела, неестественно выпрямившись, и Королеву — она приподнялась, опираясь на локоть, дракон у ее головы давно проснулся. Над ними высились деревья, вдали катились высокие волны. Рэнсом думал о том, что увидел. Он не мог понять, как же Королева видит это лицо, эти челюсти, словно жующие что-то, — и до сих пор не понимает, что перед нею кто-то очень плохой. По совести говоря, тут не было ничего странного. Сам он, конечно, тоже казался ей нелепым и неприятным. Она и знать не могла, как выглядит плохой, как — нормальный человек. Но сейчас он увидел на ее лице то, чего еще не видел. На Нелюдя она не глядела; нельзя было даже догадаться, слушает ли она его. Губы она плотно сжала — может быть, поджала, брови чуть приподняла. Никогда еще она не была так похожа на земных женщин, хотя и на Земле такое лицо не часто встретишь.

«Разве что на сцене, — подумал он вдруг и содрогнулся. — Королева из трагедии».

Нет, это уж слишком. Такое сравнение унижало эту Королеву. Он оскорбил ее и не мог себе этого простить. И все же... все же... высвеченная молнией картина запечатлелась в его мозгу. Он просто не мог забыть об этом новом выражении ее лица. Очень хорошая королева, героиня великой трагедии, прекрасно сыгранная актрисой, которая и в жизни — хороший человек... По земным понятиям, такое лицо достойно похвалы, даже почтения, но Рэнсом помнил все то, что видел раньше, — полное отсутствие эгоизма, детскую, радостную святость и глубокий покой, напоминающий и о младенчестве, и о мудрой старости, хотя ясная молодость лица и тела отрицала и то и это. Он помнил, и новое выражение ужасало его. Чуть-чуть, совсем немного, но она уже притязала на величие, уже играла роль, и это казалось отвратительно вульгарным. Быть может — нет, наверное — она всего-навсего откликнулась, и то в воображении, на эту новую затею — выдумывать, сочинять. Ах, лучше бы ей не откликаться! И впервые он подумал отчетливо: «Больше нельзя».

— Я пойду туда, где листья укроют от дождя, — сказала она в темноте.

Рэнсом до сих пор почти не чувствовал, как он промок, — в мире, где нет одежды, это не так уж важно. Но Королева встала, пошла, и он пошел за нею, пытаясь ориентироваться на слух. Кажется, Нелюдь следовал за ними. Иногда сверкала молния, и тогда из тьмы возникала стройная Королева, и Нелюдь, ковыляющий за нею в мокрой рубашке и мокрых штанах Уэстона, и дракон, спешающий сзади. Наконец все они вышли туда, где мох был сухой и дождь над головами барабанил по жестким листьям. Здесь они снова опустились на землю.

— Однажды, — без промедления начал Нелюдь, — была у нас королева, которая правила маленькой страной...

— Тише! — перебила его Королева Переландры. — Послушаем лучше дождь. — И через минуту спросила: — Что это? Я никогда не слышала такого голоса.

И впрямь, совсем рядом с ними кто-то глухо рычал.

— Не знаю, — ответил голос Уэстона.

— А я, кажется, знаю,— сказал Рэнсом.

— Тише! — вновь сказала она, и больше той ночью они ни о чем не говорили.

Так началась череда дней и ночей, о которых Рэнсом до конца жизни вспоминал с ужасом. Рэнсом, к сожалению, оказался прав: его враг в отдыхе не нуждался. Хорошо еще, что Королева не могла обходиться без сна. Но она и раньше высыпалась быстрее, чем Рэнсом, а теперь, быть может, и недосыпала. Стоило Рэнсому задремать — и, очнувшись, он неизменно слышал ее разговор с Нелюдем. Он смертельно устал. Он бы и вовсе не мог этого выдержать, если б Королева не отсылала иногда их обоих с глаз долой. Правда, он и в этих случаях держался поблизости от своего врага. Это было передышкой в битве, но весьма несовершенной. Он не решался оставлять Нелюдя одного — и с каждым днем выносил его все хуже. На своем опыте он узнал, как неверно, что дьявол — джентльмен. Снова и снова чувствовал он, что тонкий, вкрадчивый Мефистофель в красном плаще, с пером на шляпе и при шпаге или даже сумрачный Сатана из «Потерянного рая» были бы куда лучше, чем существо, которое ему пришлось стеречь. Нелюдь не был даже похож на нечестного политика — скорее уж казалось, что возишься со слабоумным, или со злой маргышкой, или с очень испорченным ребенком. Омерзение, начавшееся, когда тот стал бормотать «Рэнсом, Рэнсом», преследовало его каждый день и каждый час. В разговорах с Королевой Нелюдь выказывал и ум, и тонкость, но Рэнсом скоро понял, что все это — лишь оружие, и в свободные часы для него пользоваться умом так же странно, как для солдата отрабатывать на досуге штыковой удар. Мысль была орудием, средством; сама по себе она Нелюдя не интересовала. Он брал разум взаймы, как взял тело Уэстона, будто нечто внешнее и никак с собою не связанное. Едва повернувшись к Королеве спиной, он позволял себе расслабиться. Почти все время Рэнсом спасал от него зверей и птиц. Если Нелюдю удавалось оторваться хотя бы на несколько шагов, он хватал любую птицу, любого зверя, подвернувшегося под руку, и вырывал перья или мех. Рэнсом пытался отнять жертву, и бывали жуткие ми-

нуты, когда приходилось стоять с ним лицом к лицу. До поединка дело не доходило, Нелюдь просто ухмылялся, а то и сплевывал и чуть отступал, но всякий раз Рэнсом успевал понять, как сильно он боится врага. Ведь ему все время было не только противно, но и по-детски страшно оттого, что рядом с ним обитал этот оживший мертвец, искусственно движимое тело. Порой сама мысль, что они остались наедине, наполняла Рэнсома таким ужасом, что он готов был бежать через весь остров к Королеве и просить у нее защиты. Если рядом не было живых существ, Нелюдь удовлетворялся растениями. Он прорезал их кожу длинными ногтями, выдирав корни, обрывал листья или хотя бы выдергивал пучками мох. Любил он позабавиться и с Рэнсомом. Его тело — вернее, тело Уэстона — умело принимать непристойные позы, и нелепость их была отвратительнее их извращенности. Часами это лицо ухмылялось и строило гримасы, а потом опять начиналось: «Рэнсом... Рэнсом...» Иногда в гримасах проскальзывало страшное сходство с людьми, которых Рэнсом знал и любил на Земле. Но хуже всего были те минуты, когда в оболочку возвращался сам Уэстон. Он бормотал жалобно и робко: «Будьте осторожны, Рэнсом. Я провалился в большую черную дыру. Нет, нет, я на Переландре. Мне трудно думать, но это неважно, он думает за меня. Скоро все будет в порядке. Что ж они закрывают окна? Все в порядке, они забрали у меня голову и приставили чужую. Теперь я скоро поправлюсь. Они не дают мне посмотреть рецензии на мои статьи. Ну, я ему сказал, что если он не включит меня в первую десятку, пусть обходится без меня. Как смеет этот щенок представлять такую работу! Он издевается над экзаменаторами. Нет, вы объясните, почему я заплатил за билет первого класса, а тут такая давка? Это нечестно. Нечестно! Снимите эту тяжесть с груди! Зачем мне одежда? Оставьте меня. Оставьте. Это нечестно. Какие огромные мухи!.. Говорят, к ним привыкаешь...» — и тут начинался звериный вой. Рэнсом так и не понял, притворяется он или распадавшаяся психика, которая когда-то была Уэстоном, продолжала жалкое существование в сидевшем перед ним теле. Он заметил только, что у него самого совершенно исчезла прежняя ненависть. Теперь он искренне и горячо молился за эту

душу. И все же то, что он чувствовал, нельзя было назвать жалостью. До сих пор, когда он думал о преисподней, погибшие души представлялись ему человеческими; теперь перед ним разверзлась бездна, которая отделяет людей от духов, и жалость почти совершенно поглотил страх, тот необоримый ужас, который испытывает жизнь перед лицом самопожирющей смерти. Если устами Нелюдя говорили останки Уэстона, значит, Уэстон уже не человек. Силы, издавна разрушавшие в нем все человеческое, завершили свою работу. Больная воля отравила понемногу и разум, и чувства, а теперь погубила и себя, так что вся психика развалилась на куски. Остался лишь призрак — неперестанная тревога, обломки, развалины да запах разложения.

«Вот это, — думал Рэнсом, — могло ждаться и меня — или ее».

Но все же в эти часы, наедине с Нелюдем, он как-то отдыхал. Работой, делом были бесконечные разговоры между Искусителем и Королевой. Трудно было проследить, как все продвигается час за часом, но дни шли, и Рэнсом убеждался, что Искуситель берет верх. Конечно, бывали и взлеты, и падения. Порой непредвиденная мелочь внезапно выбивала почву из-под ног Врага; порой и Рэнсому удавалось вмешаться в страшную беседу. Иногда он думал: «Слава богу! Мы победили наконец», — но Враг не знал усталости, а Рэнсом уже выбивался из сил, в последние же дни он заметил, что и Королева устала. Он попросил ее отослать прочь их обоих. Но она не согласилась, и слова ее показали, сколь велика уже опасность. «Как я могу отдыхать и веселиться, — сказала она, — когда дело не решено? Я не стану отдыхать, пока не пойму точно, должна ли я совершить какое-то великое дело ради Короля и детей наших детей».

Именно на этой струне играл теперь Враг. Слова «долг» Королева не знала, но как раз во имя долга он заставлял ее снова и снова думать о непослушании и убеждал, что прогнать его было бы трусостью. Каждый день, в тысяче образов, он представлял ей Великий Подвиг и Великую Жертву. Потихоньку он вытеснил мысль о том, чтобы подождать Короля и вместе принять решение. Теперь и речи не было о такой трусости! Весь смысл ее поступка, все величие в том и будет, чтобы совершить

его без ведома Короля, а после он, если захочет, может отречься от нее, так что всю выгоду получит он, а весь риск (как и благородство, и своеобразие, и возвышающая душу боль) придется на ее долю. К тому же, прибавлял Искуситель, нет смысла спрашивать Короля, он наверняка будет против, таковы уж мужчины. Лучше силой дать ему свободу. Теперь, пока решает она — теперь или никогда, — можно свершить этот подвиг. «Теперь или никогда», — твердил он, пробуждая в Королеве страх, знакомый на Земле всем женщинам, — а что, как она упустит великую возможность, напрасно проживет жизнь? «Словно я дерево без плодов», — говорила она. Рэнсом пытался ее убедить, что ее плодом будут дети. Но Нелюдь спросил, неужто у разделения на два пола нет иной цели, кроме размножения? Ведь потомство можно бы обеспечить как-нибудь иначе, скажем — как у растений. Он тут же пустился объяснять, что там, на Земле, мужчины вроде Рэнсома — отсталые самцы, боящиеся новых благ, — всегда старались ограничить женщину деторождением и знать не желали о той высшей участи, ради которой она и создана Малельдилом. Он сказал, что такие люди уже причинили немало вреда, и от нее зависит, чтобы ничего подобного не случилось на Переландре. Именно тут он и стал учить ее новым словам: Творчество, Интуиция, Духовность. Но допустил промах — когда Королева поняла, что такое «творческий», она забыла о Великом Деле и Высоком Одиночестве и долго смеялась, а потом сказала, что он еще моложе Пятнистого, и отошла их обоих.

Это было Рэнсому на руку, но утром он сорвался, и все пошло прахом. В тот день Нелюдь еще настырней толковал о самовыражении и самопожертвовании, и она все больше поддавалась обаянию, когда Рэнсом, не выдержав, вскочил и просто набросился на нее. Очень быстро, чуть ли не крича, забывая здешний язык и вставляя английские слова, он пытался объяснить, что видел эту «самоотверженность» на деле. Он стал рассказывать о женщинах, которые падали от голода, но не селились есть, пока муж не вернется, хотя прекрасно знали, что он этого терпеть не может; о матерях, которые клали жизнь на то,

чтобы выдать дочь за того, кто ей противен; об Агриппине и леди Макбет. «Неужели ты не видишь, — орал он, — что в этих словах нет смысла? Что толку говорить, будто ты хочешь сделать это ради Короля? Ты знаешь, что именно этого Король не хочет и не захочет! Разве ты — Малельдил, чтобы решать, что хорошо для него, что плохо?» Но она почти ничего не поняла, а тона — испугалась. Все это было на руку Нелюдю.

Сквозь все взлеты и падения, сквозь битвы, атаки и контратаки, сквозь сопротивление и отступление Рэнсом все яснее видел план кампании. Сама идея подвига и жертвы по-прежнему соединялась для Королевы с любовью к Королю, к ее еще не родившимся детям и даже к Малельдилу. Сама мысль, что Малельдил, быть может, желает именно непослушания, и была той щелью, через которую в ее разум мог хлынуть поток искушения. Но с тех пор как Нелюдь начал свои трагические повествования, к этому прибавился самый слабый призыв театральнойности, самовлюбленного желания сыграть главную роль в драме своего мира. Нелюдь, без сомнений, пытался усилить именно это. Он не мог преуспеть, пока такое чувство оставалось каплей в океане ее души. Вероятно, до тех пор пока это не изменится, Королева была в безопасности — пожалуй, ни одно разумное существо не откажется от счастья ради чего-то столь смутного, как болтовня о духовности и высшем предназначении. Не откажется — пока искушение себялюбием не перевесит всего остального. Эгоизм, таящийся в идее благородного бунта, должен возрасти; и Рэнсом думал, что, хотя она и смеется над Врагом и часто дает ему отпор, он растет очень медленно и все же явно. Конечно, все было сложно, очень сложно. Нелюдь всегда говорил почти правду. Видимо, в замысел Божий входило и то, что это счастливое создание станет совсем взрослым, обретет свободный выбор, в некотором смысле отделится и от Бога, и от мужа, чтобы связь их стала глубже и полноценней. С самой первой встречи Рэнсом видел, как взрослеет Королева, и сам, пусть бессознательно, помогал этому. Если она победит искушение, оно станет новым, очень важным шагом все к той же цели — к более свободному, разумному и осознанному по-

слушанию. Но именно поэтому ошибка, которая низвергнет ее в рабство ненависти и зависти, экономики и политики, так хорошо известное нашему миру, — эта роковая ошибка так страшно похожа на правильный шаг. О том, что опасность усиливается, Рэнсом догадывался и по тому, как трудно стало напоминать о простейших исходных посылках. Королева все меньше обращала внимание на то, что изначально дано ей, — на заповедь Малельдила, на совершенно неизвестные последствия, на нынешнее счастье, столь великое, что перемена едва ли окажется к лучшему. Все это смывала бурная волна нечетких, но ярких образов, создаваемых Нелюдем, и все возрастающая важность центрального образа. Она не утратила невинности, не ведала дурных намерений, воля ее была чиста, но воображение уже наполовину заполнилось яркими и ядовитыми картинками.

И снова Рэнсом подумал: «Нет, так больше пельзья»; но все его ловоды были бессильны, искушение продолжалось.

Он очень устал и однажды под утро провалился в мертвый сон, а очнулся лишь к полудню. Он был один, и великий ужас охватил его. «Что же я мог поделать? Что я мог?» — вскричал он, решив, что битва проиграна. Голова у него кружилась, сердце болело, когда он брел к берегу, чтобы найти там рыбу и отправиться вслед за беглецами на Твердую Землю. Он был так растерян и измучен, что даже не думал, как ему теперь искать эту землю, не зная, где она и сколько до нее плыть. Продравшись через лес на открытое место, он внезапно увидел, что два человека, укутанные с головы до пят, спокойно стоят перед ним на фоне золотого неба. Одежания их были пурпурными и синими, венцы — из серебряных листьев, ноги остались босыми. Одно существо показалось ему самым прекрасным, другое — самым уродливым из детей человеческих. Они заговорили, и он понял, что перед ним — Королева и оболочка Уэстона. Одежда у них была из перьев. Рэнсом хорошо знал тех птиц, из чьих крыльев такие перья можно вырвать, но как сплести из них ткань, представить себе не мог.

— Здравствуй, Пятнистый, — сказала ему Королева. — Ты долго спал. Как тебе нравятся эти наши листья?

— Птицы...— сказал Рэнсом.— Бедные птицы! Что же он сделал с ними?

— Он где-то нашел эти перья,— беззаботно ответила она.— Птицы их роняют.

— Зачем ты это надела?

— Он снова сделал меня старше. Почему ты никогда не говорил мне, Пятнистый?

— О чем?

— Мы ведь и не знали. Он сказал, что у деревьев есть листья, у зверей — мех, а в вашем мире мужчины и женщины тоже надевают красивые одежды. Почему ты не отвечаешь, нравимся ли мы тебе? Ох, Пятнистый, неужели это — из тех благ, от которых ты отворачиваешься? Это не новость для тебя, раз все так делают в твоём мире.

— Да,— сказал Рэнсом,— но здесь все иначе. Здесь тепло.

— Так сказал и он,— ответила Королева,— но ведь у вас холодно не повсюду. Он говорит, это делают и в теплых странах.

— Он сказал, зачем это делают?

— Чтобы стать красивыми. Зачем же еще? — удивилась она.

«Слава богу,— подумал Рэнсом,— он всего-навсего учит ее тщеславию».

Он боялся худшего. Но ведь если она будет носить одежду, рано или поздно она узнает стыд, а там — и бесстыдство.

— Ну как, стали мы красивей? — перебила она его мысли.

— Нет,— ответил Рэнсом и сразу поправился: — Не знаю.

Ответить и впрямь было нелегко. Теперь, когда наряд из перьев скрыл обыденную одежду, Нелюдь выглядел экзотично, даже своеобразно и уж точно не был таким противным. А вот Королеве этот наряд не шел. Да, в обнаженном теле есть какая-то простота; нет, скажем так: это «просто тело». Пурпурное платье придало ее красоте величие и яркость, и все же это было уступкой более низменным представлениям. В первый (и последний) раз Рэнсом увидел в ней женщину, в которую мог бы влюбиться и человек с Земли. Этого вынести он не мог. Мысль была так уродлива, так чужда здешнему миру, что краски поблекли и угас запах цветов.

— Стали мы красивей? — настаивала Королева.

— Какая разница? — сказал он угрюмо.

— Каждый хочет быть таким красивым, каким только можно, — сказала Королева. — А я не могу увидеть саму себя.

— Можешь, — произнес голос Уэстона.

— Как же это? — спросила она, оборачиваясь к нему. — Даже если мне удастся повернуть глаза вовнутрь, я увижу тьму.

— Нет, — ответил Нелюдь. — Сейчас я покажу.

Он отошел на несколько шагов — туда, где на желтом мху лежал рюкзак Уэстона. С той напряженной отчетливостью, с какою мы видим в минуту опасности и горя, Рэнсом разглядел все детали. По-видимому, рюкзак был куплен в том же магазине, что и его собственный. Эта мелочь напомнила ему, что Уэстон когда-то был человеком, с человеческим разумом, с человеческими радостями и горестями, и он чуть не заплакал. Страшные пальцы, уже не принадлежавшие Уэстону, расстегнули застёжки, вытащили маленький блестящий предмет — карманное зеркальце за три шиллинга и шесть пенсов — и протянули Королеве. Та повертела его в руках.

— Что это? Что с ним делать? — спросила она.

— Погляди в него, — ответил Нелюдь.

— Как это?

— Гляди! — сказал он, взял зеркало и поднес к ее лицу.

Довольно долго она гляделась в него, ничего не понимая. Потом вскрикнула, отшатнулась, закрыла руками лицо. Рэнсом тоже вздрогнул — впервые увидел он, что она просто поддалась чувству. Этот мир менялся слишком быстро.

— Ой! — вскрикнула она. — Что это? Я видела лицо.

— Это твоё лицо, красавица, — сказал Нелюдь.

— Я знаю, — ответила она, отворачиваясь от зеркала. — Мое лицо глядело оттуда на меня. Я становлюсь старше или это что-то другое? Я чувствую... чувствую... сердце бьется слишком сильно... Мне холодно. Что же это?

Она переводила взгляд с одного собеседника на другого. Слишком быстро слетела завеса, скрывавшая его тайны. Теперь оно говори-

до о страхе так же внятно, как лицо человека, прячущегося в бомбоубежище.

— Что это? — снова и снова спрашивала она.

— Это страх, — отвечал голос Уэстона, а лицо Уэстона ухмыльнулось Рэнсому.

— Страх... — повторила она. — Это — страх. — Она поразмышляла о новом открытии и наконец резко сказала: — Мне он не нравится.

— Он уйдет, — сказал Нелюдь, но тут Рэнсом вмешался:

— Он никогда не уйдет, если ты будешь его слушаться. Он поведет тебя от страха к страху.

— Мы бросимся в большую волну, — сказал Нелюдь, — мы минуем ее и двинемся дальше. Ты узнала страх, и видишь, что должна испытать его ради своего рода. Ты знаешь, что Король на это не решится. Да ты и не хочешь, чтобы с ним это случилось. А этой вещицы незачем бояться, ей нало радоваться. Что в ней страшного?

— Лицо одно, а их стало два, — решительно возразила Королева. — Эта штука, — она указала на зеркало, — я и не я.

— Если ты не посмотришь на себя, ты так и не узнаешь, насколько ты красива.

— Я вот что думаю, чужеземец, — сказала она, — плод не может съесть сам себя — так и человек не может разговаривать сам с собою.

— Плод ничего не может, ибо он только плод, — возразил Искуситель, — а мы можем. Эта штука — зеркало. Человек может разговаривать с самим собой и любить самого себя. Это и значит быть человеком. Мужчина или женщина может общаться с самим собой, словно с кем-то другим, и любоваться своей же красотой. Зеркало научит тебя этому искусству.

— Хорошее оно? — спросила Королева.

— Нет, — ответил Рэнсом.

— Как ты можешь знать, не попробовав? — ответил Нелюдь.

— А если ты попробуешь, и оно плохое, — сказал Рэнсом, — сможешь ли ты удержаться и больше не смотреть?

— Я уже общалась с собой,— сказала Королева,— но я еще не знаю, как я выгляжу. Если меня две, лучше уж узнать, какая же та, другая. Не бойся, Пятнистый, я погляжу разок, чтобы разглядеть лицо той женщины. Зачем мне глядеть еще?

Робко, но твердо она взяла зеркало из рук Нелюдя и с минуту молча глядела в него. Потом опустила руку, но зеркала не выпустила.

— Как странно...— сказала она.

— Нет, красиво,— возразил Нелюдь.— Тебе ведь понравилось?

— Да.

— Ты так и не узнала то, что хотела узнать.

— А что? Я и забыла.

— Ты хотела узнать, красивее ли ты в этом платье?

— Я увидела только лицо.

— Отодвинь от себя зеркало и увидишь ту женщину целиком — ту, другую, то есть себя. погоди, я сам его подержу!

Все эти обыденные действия были сейчас нелепыми и дикими. Королева поглядела, какова она в платье, потом — без платья, потом опять в платье, наконец решила, что в платье — хуже, и бросила цветные перья на землю. Нелюдь подобрал их.

— Разве ты его не сохранишь? — спросил он.— Ты не хочешь носить его каждый день, но ведь когда-нибудь захочется...

— Сохранить? — переспросила она, не вполне понимая.

— Ах да,— сказал Нелюдь,— я и забыл! Ты же не будешь жить на Твердой Земле, не построишь там дома и никогда не станешь госпожой своей собственной жизни. «Сохранить» — значит положить что-то туда, откуда можно взять и где не тронут ни дождь, ни звери, ни другие люди. Я подарил бы тебе это зеркало. Это было бы Зеркало Королевы, дар из Глубоких Небес, которого нет и не будет у других женщин. Но ты мне напомнила, что в вашем мире нельзя ни дарить, ни хранить, пока вы живете изо дня в день, как звери.

Королева не слушала его. Она стояла тихо, словно у нее закружилась голова от представшего перед ней видения. Нет, она не походила на женщин, думающих о новом наряде, — лицо ее

было благородным, слишком благородным. Величие, трагедия, жертва занимали ее; и Рэнсом понял, что враг затеял всю эту игру с платьем и зеркалом не для того, чтобы разбудить в ней тщеславие. Образ телесной красоты был лишь средством, чтобы приучить ее к гораздо более опасному образу — душевного величия. Искуситель хотел, чтобы она смотрела на себя извне и восхищалась собой. Он превращал ее разум в сцену, где главная роль отведена призрачному «я». Пьесу он уже сочинил.

Глава 11

В тот день Рэнсом проснулся поздно, и теперь ему было легче выдержать бессонную ночь. Море успокоилось, и дождя не было. Рэнсом сидел во тьме, выпрямившись и прислонившись к дереву. Оба его спутника были рядом — Королева, судя по ее тихому дыханию, спала, а Нелюдь поджидал ее пробуждения, чтобы вновь докучать ей, лишь только Рэнсом задремлет. И в третий раз, громче, чем прежде, прозвучало в душе Рэнсома: «Нет, так больше нельзя».

Враг становится все настойчивей. Если не свершится чудо, Королева обречена, она сдастся. Почему же нет чуда? Точнее — доброго чуда? Ведь сам Враг чудом попал на Переландру. Разве только аду дано творить чудеса? А что же Небо? Уже не в первый раз Рэнсом думал о Божественной справедливости. Он не мог понять, почему Малельдил оставил его, когда Враг стоит перед ним.

Но не успел он подумать, как вдруг, внезапно и ясно, понял, что Малельдил — здесь, словно сама тьма поведала ему об этом. Весть об Его присутствии, уже настигавшая его на Переландре, — желанная весть, которую разум не мог принять не противясь, — вернулась к нему. Тьма была полна, она просто давила, он едва мог дышать, и невысказанно тяжелый венец лег на его голову, так что он и думать не мог. Однако он знал, что это никогда и не уходило, только он сам, Рэнсом, подсознательно старался не замечать его в последние дни.

Роду нашему трудно совсем, совершенно молчать. Что-то не умолкает внутри, болтает и болтает, даже в самом священном месте. Рэнсом просто онемел от страха и любви, он как бы умер, но кто-то, неспособный даже на почтение, все терзал его разум возражениями и вопросами.

«Ну хорошо, — приговаривал неугомонный скептик, — а на что мне такая помощь? Враг и впрямь здесь, он и впрямь говорит и действует. Где же посланец Малельдила?»

Тьма и тишина отразили его ответ, как отражают удар теннисист и фехтовальщик, — и он едва удержался на ногах. Это было кошунственно.

«Да что же я могу? — не унялась половина разума. — Я сделал все, что мог. Я спорил с ним, сколько было сил. Нет, правда, ведь ничего не выходит».

Он пытался убедить себя, что не может представлять Малельдила так, как Нелюдь представляет здесь ад. Он твердил, что эта мысль — от дьявола, это гордыня, соблазн, мания величия. И снова застыл в ужасе — тьма попросту отбросила его лодовы, отбросила почти нетерпеливо, и пришлось понять то, что почему-то ускользало от него: его появление на Переландре — не меньшее чудо, чем появление Врага. Да, доброе чудо, которого он жаждал, свершилось. И чудо это — он сам.

«Чепуха какая!.. — сказал неугомонный скептик. — Тоже мне чудо — смешной, пятнистый, ничего доказать не может!»

Разум поспешно устремился в лазейку, поманившую надеждой на спасение. Прекрасно. Он и вправду попал сюда чудом. Стало быть, он в руках Божьих. Он сделает все, что сможет, — да что там, сделал! — а за исход этой битвы отвечает Бог. Он не достиг успеха, но сделал что только мог. «Нам, смертным, не дано успехом править». Исход битвы его не касается, это дело Малельдила. Когда он истощит все силы в честной, но безнадежной борьбе, Малельдил вернет его домой. Быть может, замысел в том и заключается, чтобы Рэнсом поведал людям об истинах, которые он обрел на Венере. А судьба ее не в его руках. Она в руке Божьей. Там ей и место. Надо верить...

И вдруг словно лопнула струна скрипки. Ничего не осталось от лукавых доводов. Несомненно и беспощадно тьма отвечала ему: нет, не так. Его путешествие на Переландру — не нравственное упражнение и не мнимая борьба. Да, исход — в руках Малельдила, но руки его — Королева и Рэнсом. Судьба этого мира действительно зависит от того, что они сделают в ближайший час. Это — правда, ничего не поделаешь. Они могут, если хотят, спасти невинность нового мира; а если они отступятся, она погибнет. Судьба мира зависит только от них, больше ни от кого — во всей Вселенной, во всей вечности. Это он увидел ясно, хотя еще и понятия не имел, что же ему делать.

Себялюбивая часть души торопилась возразить, но вхолостую, словно винт вытасненной на берег лодки. Это же нагло, целепо, нечестно! Что ж, Малельдил хочет потерять мир? Какой смысл все творить и устраивать, если такие важные вещи зависят от ничтожества? И тут он вспомнил, что там, на Земле, идет война. Хилые лейтенанты и веснушчатые сержанты, которые только начали бриться, крадутся в мертвой тьме или стоят в дозоре, бодрствуя, как и он, и зная ужасную истину — все зависит от них. А там, в дали веков, Гораций стоял на мосту, и Константин решал — принять ли новую веру, и сама Ева глядела на запретный плод, а Небеса Небес ожидали ее решения. Рэнсом стискивал зубы, он дрожал, но видел то, что открылось ему. Так, только так был создан мир. Выбери: или ничего не зависит от тебя, или что-то зависит. Если же зависит, кто поставит этому предел? Камешек может изменить течение реки. В этот ужасный миг он — тот камень, который оказался в центре Вселенной, и эльдилы всех миров, вечные, безгрешные, светлые, замерли в глуби Небес, ожидая, как поступит Элвин Рэнсом из Кембриджа.

На минуту ему стало легче — да он ведь не знает, что в его силах! Он чуть не рассмеялся от радости. Он зря испугался. Никто не ставил перед ним точной задачи. Он должен просто противостоять Врагу — а как именно, обстоятельства подскажут. И вновь, как испуганное дитя в объятиях матери, он на-

шел убежище в словах «сделаю, что могу». Он сделает, что сможет, он и так делает.

— Нет, сколько у нас мнимых пугал! — пробормотал он, ослабившись и усаживаясь поудобнее.

Ласковая волна подхватила его, волна разумной и радостной веры; во всяком случае, так ему показалось.

Эй, что это? Он резко выпрямился, сердце отчаянно забилося. Мысли его вновь натолкнулись на ответ и отшатнулись, словно он коснулся раскаленной кочерги. Нет, он ослышался, это нелепость, что-то ребяческое... Он сам это выдумал. Яснее ясного, что битва с дьяволом может быть только духовной... Только дикарю придет в голову драться с ним. Если б все было так просто... Но тут себялюбивое «я» допустило роковую ошибку. Рэнсом был честен, он привык не лгать себе и не мог притворяться, что не боится драки с Нелюдем. Ясные и яркие картины встали перед ним... Мертвенный холод рук (он однажды нечаянно коснулся их)... длинные стальные ногти... они раздрают плоть, вытягивают жилы... Какая медленная, мучительная смерть! И до самого конца перед ним будет ухмыляться этот жестокий идиот. Господи, да ведь прежде, чем он умрет, он сладется, будет молить о пощаде, обещать помощь, клясться в верности перед этим, да что угодно!

Как хорошо, что эта дикая мысль заведомо нелепа... Рэнсом почти убедил себя: что бы ни слышалось во тьме и тишине, грубой простой драки Малельдил замыслить не мог. Это он сам выдумал, мерещится всякая жуть. Тогда духовная брань спустится на уровень мифа. И тут Рэнсом снова запнулся. Уже на Марсе он узнал, а здесь — убедился, что отличить истину от мифа, а то и другое — от факта можно только на Земле, где, к несчастью, грехопадение отделило тело от души. Даже у нас таинства веры напоминают, что разделение это — тяжело и никак не окончательно. Воплощение повело нас к тому, чтоб они воссоединились. Здесь же, на Переландре, они не разделялись. Все, что происходит здесь, было бы мифом на Земле. Он уже думал об этом; теперь он это знал. Тот, Кто был во тьме, вложил эту истину в его ладони, словно страшное сокровище.

На несколько мгновений эгоист в нем забыл свои доводы. Он хныкал и всхлипывал, как ребенок, который просится домой. Потом он опомнился. Он вполне разумно объяснил, почему нелепо драться с Нелюдем. Такая драка ничего не решит в борьбе духовной. Если Королева сохранит послушание только потому, что Искусителя убрали силой, какой в этом смысл? Что это докажет? Если же искушение — не испытание, не тест, зачем Малельдил допустил его? Разве наш мир был бы спасен, если бы слон случайно наступил на змия за миг до грехопадения? Неужели все так просто, так вневражденно, так нелепо?

Грозная тишина сгушалась. В ней все отчетливей проступало Лицо, оно просто глядело на тебя, глядело не без печали, не гневаясь и не возражая, но так, что ты постепенно понимал, насколько ясна твоя ложь, и вот ты спотыкаешься, и оправдываешься, и больше не можешь говорить. Смолкло наконец и себялюбивое «я». Тьма почти сказала: «Ты знаешь сам, что напрасно тянешь время». Все ясней становилось, что ему не удастся уподобить друг другу события в райском саду и на Переландре. То, что свершилось на Земле в тот час, когда Малельдил родился человеком в Вифлееме, навсегда изменило Вселенную. Новый мир, вот этот, не повторял старый. Ушедшая волна не вернется, как говорит Королева. Когда Ева пала, Бог еще не был человеком. Люди еще не стали членами Его тела. Теперь же Он страдает и спасает через них. Одна из целей Его замысла — спасти Переландру не через Себя, но через Себя в Рэнсоне. Если Рэнсом отступит, замысел не удастся. Для этой главы, куда более сложной, чем он думал, избран именно он. Странное чувство — удаления, умаления, исчезновения — охватило его: он понял, что не только Земля, но и Переландра в центре. Можно назвать все, что тут происходит, отдаленным следствием воплощения на Земле; можно считать земные события лишь подготовкой для новых миров, из которых Переландра — первый. И то и другое истинно. Одно не может быть важнее другого, все самоценно и самостоятельно, слепков и копий не бывает.

Себялюбец не унялся. До сих пор Королева противилась искушению. Она устала и колебалась, быть может, ее вообра-

жение уже не так непорочно, но она не сдалась. Значит, ее история отличается от истории нашей праматери. Рэнсом не знал, сопротивлялась ли Ева и долго ли, а уж тем паче — чем бы все кончилось, если бы она устояла. Ну, потерпел бы змей поражение, — неужели назавтра он явился бы снова, и еще назавтра, и еще? Неужели испытание длилось бы вечно? Как прекратил бы его Малельдил? Здесь, на Переландре, он думал не о том, как это предотвратить, а о том, что «так больше нельзя». Нелюдь мучает ее, не отстает, она держится, надо ей помочь, и вот тут земное грехопадение ничего не подскажет. Задача — иная, для нее нужен другой исполнитель, и им, на беду, оказался Рэнсом. Напрасно он вновь и вновь обращался к Книге Бытия, вопрошая: «Что бы случилось?» Тьма не отвечала. Неумоимо, неумоимо она напоминала ему о том, что стояло перед ним здесь и сейчас. Он уже чувствовал, что словечко «бы» бессмысленно — оно уводит в «ненастоящий мир», какого просто нет. Есть только то, что есть, а это всегда ново. Здесь, на Переландре, испытание остановит только Рэнсом, больше никто. Голос — ведь он, в сущности, слышит голос — окружил его выбор какой-то бесконечной пустотой. Эта глава, эта страница, эта фраза может быть только тем, что есть, и ничто ее не заменит.

Рэнсом попытался найти еще одну лазейку. Как может он бороться с бессмертным? Будь он даже спортсменом или воином, а не близоруким профессором, которого до сих пор беспокоит старая рана, он и тогда не мог бы сражаться с дьяволом. Его же нельзя убить! И гуг же ответ открылся ему. Можно уничтожить тело Уэстона — то, без чего Враг ничего не может сделать на Переландре. В этом теле, тогда еще повиновавшемся человеческой воле, Враг проник сюда. Если его изгнать, у него не останется здесь обиталища! Рэнсом вспомнил о бесах в Библии, которые страшились, что их свергнут в бездну. Теперь наконец он с ужасом понял, что физическое действие, которое от него требовалось, не бессмысленно и не безнадежно. У обоих тела нетренированы и не очень молоды, оба вооружены лишь кулаками, ногтями и зубами. Рэнсому стало дурно от ужаса и отвращения. Убивать таким оружием живое существо (он пом-

нил, как пытался прикончить лягушку) — очень страшно; умирать от него — наверное, медленно — еще страшней. Он был уверен, что погибнет.

«Да разве я победил хоть в одной драке?» — спросил он.

Он больше не притворялся, будто не понимает, чего от него ждут. Силы его иссякли. Он получил ответ, очень ясный, увильнуть нельзя. Голос во тьме беззвучен, но так отчетлив, что он удивлялся, как не проснулась спящая Женщина. Невозможное встало перед ним. Вот что он должен сделать; вот чего он сделать не может. Тщетно вспоминал он мальчиков, даже не верящих в Бога, — какое испытание проходят они сейчас на Земле (и ради меньшей цели). Его воля была в том ущелье, где даже стыд не спасет, оно только темнее и глубже. Ему казалось, что он согласился бы сражаться с Уэстоном, будь у них оружие. Он решился бы даже пойти безоружным против револьвера. Но обхватить это тело, попасть в живые руки мертвеца, прижаться грудью к груди... Дикие мысли приходили к нему. Можно ослушаться, ничего страшного — потом, на Земле, он покается. Он струсит, как Петр, и его простят, как Петра. Конечно, разум его прекрасно знал ответ, но в такие минуты доводы разума — просто старые сказки. Потом иной ветер поднялся в его душе, настроение переменилось. Быть может, он победит в борьбе, даже не очень пострадает. Но тьма не давала ему никаких, ни малейших гарантий. Будущее было темно, как она сама.

«Ведь тебе не зря дано имя Рэнсом», — произнес Голос.

Рэнсом знал, что ему не почудилось, и по весьма забавной причине: фамилия его происходила не от слова «рэнсом», то есть «выкуп», но от «Рэнольф сан», «сын Ранульфа». Он давно это знал и соединить эти два слова мог бы разве что ради забавы, ради каламбура. Но даже себялюбивое «я» не осмелилось бы предположить, что Голос играет словами. В одну секунду Рэнсом понял, что случайное для филолога совпадение слов вовсе не случайно. Различие между осмысленным и случайным, как и между мифом и фактом, — чисто земное. Замысел так широк, что в рамках земного опыта мы не видим связи между его

частями; потому наш опыт и разделяет случайное и неизбежное. Вне этих рамок разницы уже нет. Ему пришлось шагнуть за пределы Земли, попасть в более сложный узор, чтобы узнать, почему древние философы говорили, что за пределом земного круга исчезает случайность. Прежде, чем мать зачала его; прежде, чем предкам его было дано имя Рэнсом; прежде, чем слово это стало означать «выкуп за пленных»; прежде, чем Бог создал мир, все это было так связано в вечности, что самый смысл узора зависел от того, чтобы сейчас все совпало. И он склонил голову, и застонал, и возроптал на судьбу — он просто человек, а его принуждали вступить в метафизический мир и осуществить то, о чем философы лишь размышляли.

— Я тоже Искупитель,— сказал Голос.

Рэнсом понял не сразу. Да, Тот, Кого в иных мирах называют Малельдилом, искупил мир и его, Рэнсома. Он знал это. Зачем же Голос напомнил ему? Прежде чем пришел ответ, он ощутил, что не выпесет его, и протянул руки, словно мог от него заслониться. Но ответ настиг его. Так вот что выйдет! Если он сластся, этот мир все равно будет искуплен. Если он не отдаст себя в жертву, жертвой станет другой. Но ничто не повторяется. Нового Распятия не будет... Может быть, и Воплощения... Будет какой-то иной подвиг любви, какое-то иное унижение, еще страшнее и прекрасней. Он увидел, как растет узор и в каждом новом мире обретает новое измерение. Небольшое зло, причиненное Сатаной на Малакандре, можно сравнить с линией; на Земле оно — уже квадрат. Если и Венера падет, зло ее будет кубом. Невозможно вообразить, каково же тогда искупление, — но оно придет. Рэнсом и прежде знал, как много зависит от его выбора, но только теперь увидел, как велика и страшна вверенная ему свобода. По сравнению с ней весь космос мал и уютен. Сейчас он стоял на краю бездны, под бездной неба, в вихре ледяной бури. Раньше ему казалось, что он перед Господом, как Петр. Нет, все гораздо хуже — он сидит перед Ним, как Пилат! Спасение и гибель зависят только от него. Руки его, как у всех людей, от начала времен обгарены невинной кровью. Теперь он, если пожелает, может вновь смочить их в той же крови.

«Господи, помилуй! — взмолился он и застонал. — Почему же я?» Но Тьма не дала ответа.

Ему все еще казалось, что от него требуют невозможного. Но незаметно произошло то, что раньше случалось с ним дважды. Во время прошлой войны он как-то уговаривал себя выполнить смертельно опасное дело; а потом, еще раз, он долго собирался с духом, чтобы отправиться в Лондон, разыскать там одного человека и сделать ему исключительно трудное признание, которого требовала справедливость. В обоих случаях это казалось невысказанным — он не думал, он просто знал, что такой, какой он есть, он этого сделать не может; и вдруг, без осязаемого усилия воли, видел ясно, как на экране: «Завтра, примерно в это время, все уже будет позади». Это случилось с ним и теперь, но страх его, стыд, любовь, все его доводы остались прежними. Он ничуть не меньше и не больше боялся того, что ему предстояло; теперь он знал так же точно, как знал свое прошлое, что сделает это. Он мог молиться, плакать, восставать, мог петь, как мученик, и богохульствовать, как бес, — но ничего не мог изменить. Совершенно ничего. Непременно наступит миг, когда он сделает это. Будущий поступок стоял перед ним очевидно и неотменимо, словно он уже совершен. И не важно было, что этот поступок относился к той части времени, которую мы называем будущим, а не к той, которую мы зовем прошлым. Внутренняя борьба завершилась, хотя мгновения победы вроде бы и не было. Можно сказать, что свобода выбора просто отошла в сторону, сменившись неумолимой судьбой. Точно так же можно сказать, что он освободился от доводов страсти и обрел высшую свободу. Рэнсом так и не увидел разницы между этими двумя предположениями. Ему открылось, что свобода и предопределение — одно и то же. За свою жизнь он слышал много споров на эту тему и увидел, что они бессмысленны.

Как только он понял, что завтра постарается убить Нелюдя, само это показалось ему уже не таким великим подвигом. Он едва мог понять, зачем обвинял себя в мании величия. Да, если отступит он, Малельдил все сделает за него. В этом смысле он действительно представляет Малельдила, но не больше, чем Ева,

если бы она не тронула яблока, и всякий человек, когда совершает доброе дело. Он не равняется с Малельдиллом ни личностью, ни страданием — страдания их несравнимы, как боль человека, который обжег палец, туша искру, и пожарника, погибающего в огне, потому что ту искру не погасили. Он уже не спрашивал, почему избрали его. Могли избрать другого, любого. Яркий, яростный свет, который он увидел в тот миг, на самом деле освещал всех до единого.

— Я наслал сон на твоего Врага, — сказал Голос. — Он не проснется до утра. Встань. Отойди на двадцать шагов в рощу и ложись спать. Сестра твоя тоже спит.

Глава 12

Когда наступает утро, которого мы боялись, мы просыпаемся сразу. Так и Рэнсом, едва очнувшись от сна, тут же вспомнил, что ему надо сделать. Он был один, островок слегка покачивался — шторма не было, море лишь слабо колыхалось. Золотой свет, пробивавшийся меж синих стволов, указал ему, в какой стороне море. Он спустился туда, выкупался и, выбравшись на берег, напился воды. Несколько минут он простоял, приглаживая влажные волосы и растирая мокрые ноги. Оглядев себя, он заметил, что разницы между загоревшей и бледной частью кожи почти нет. Если бы Королева встретила его сейчас, она вряд ли назвала бы его Пятнистым. Тело было скорее цвета слоновой кости, а пальцы ног, столько дней не ведавшие обуви, отдохнули и выпрямились. Как живое существо Рэнсом правился себе больше, чем когда-либо. Он был уверен, что у него, как после Великого Утра, больше не будет убогого, жалкого тела, и радовался, что этот инструмент так приготовился к игре прежде, чем он с ним расстанется.

«Когда я проснусь и обрету Твое подобие, — сказал он, — я порадуюсь такому телу».

А сейчас он направился в лес и случайно (думал он только об еде) наткнулся на целое облако древесных пузырей. Наслаждение было таким же, как и прежде, и даже походка у него из-

менилась после душа. Он думал, что будет есть в последний раз, но даже теперь считал, что не вправе выбирать излюбленные фрукты. Однако ему повезло — он наткнулся на тыковки.

«Славный завтрак перед казнью», — насмешливо подумал он, роняя скорлупу и вновь испытывая наслаждение, от которого весь мир должен был пуститься в пляс.

«Как бы то ни было, — думал он, — я ни о чем не жалею. Время я провел неплохо. Я побывал в раю».

Он зашел в лес чуть подалее — туда, где гуще росли деревья — и чуть не споткнулся о спящую Королеву. В это время дня она обычно не спала, и Рэнсом понял, что это Мательдил послал ей сон.

— Я никогда ее больше не увижу, — прошептал он. — Я вообще не буду смотреть на женщину вот так, как теперь.

Пока он стоял и глядел вниз, его терзала какая-то сиротская тоска — как бы хотел он, раз в жизни, увидеть Праматерь своего рода вот так, во славе и невинности!

— Иные дары, иная благодать, иная слава, — шептал он. — Но не эта. Этой мы не увидим. Бог все приводит к добру, и все же мы помним об утрате.

Он в последний раз взглянул на Королеву и поспешил уйти.

«Я был прав, — думал он на ходу. — Так больше нельзя. Пора его остановить».

Он долго блуждал среди сумрачных, но ярких зарослей, прежде чем нашел Врага. За это время он повстречал своего приятеля, и в той же позе, что тогда, в первый раз, — дракон свернулся клубком вокруг дерева, но сейчас и он спал. Рэнсом вспомнил, что за все утро он не слышал чириканья птиц, шороха гибких тел, пробирающихся меж кустов, вообще ничего не слышал, кроме рокота волн, и не видел в листве любопытных взглядов. Вероятно, Господь погрузил весь этот остров — или, быть может, весь этот мир — в глубокий сон. На мгновение Рэнсом почувствовал себя бесконечно одиноким, но тут же обрадовался, что счастливые обитатели этого мира не увидят насилия и крови.

Примерно через час, обогнув рощицу пузырей, он внезапно столкнулся лицом к лицу с Нелюдем.

«Он что, уже ранен?» — подумал Рэнсом, заметив кровавые пятна у него на груди: но тут же понял, что Нелюдь, как всегда, испачкался в чужой крови. В его умелых длинных руках слабо билась наполовину растерзанная птица, широко разинув клюв в беззвучном, залушленном вопле. Рэнсом ударил Врага, не успев даже осознать собственного намерения. Вероятно, он бессознательно вспомнил, как занимался в школе боксом, и изо всех сил нанес удар в челюсть левой рукой. Он забыл, что руки его не защищены перчатками, — об этом напомнила резкая боль, когда кулак столкнулся с челюстью, и так сильно, что хрустнули пальцы, а вся рука до плеча заныла и почти отнялась. С минуту Рэнсом приходил в себя, и за это время Нелюдь успел отступить шагов на шесть. Удар тоже пришелся ему не по вкусу, он, кажется, прикусил себе язык — кровь пузырилась у него на губах. Но птицу он не выпустил.

— Значит, теперь ты попробуешь силу, — сказал он по-английски. Голос у него сел.

— Оставь птицу, — приказал Рэнсом.

— Чушь какая, — возразил Нелюдь. — Разве ты не знаешь, кто я такой?

— Я знаю, что ты такое, — ответил Рэнсом, — а какое именно, неважно.

— И ты хочешь бороться со мной? Ты, такой убогий, маленький, жалкий? — сказал Нелюдь. — Может быть, ты думаешь, Он поможет тебе? Так думали многие. Я знаю Его дольше, чем ты. Они все надеются, что Он их спасет, а понимают, что к чему, когда уже слишком поздно, — в лагере, в желтом доме, на дыбе, на костре, на кресте. Разве Он спас Себя Самого? — И Нелюдь, запрокинув голову, взвыл так, что едва не обрушился золотой свод: — Элой! Элой! ламма савахфани?

Рэнсом догадался сразу, что эти слова он произнес на чистом арамейском наречии первого века. Он не цитировал, он вспоминал. Именно так звучали эти слова с креста, хранились веками в пылающей памяти изгоя, и вот этот, жутко кривляясь, передразнивал их. От ужаса Рэнсом на миг лишился чувств, и

прежде, чем он пришел в себя. Нелюдь набросился на него, завывая, словно ветер в бурю. Глаза у него раскрылись так, что век вообще не было; волосы дыбом стояли на голове. Он намертво прижал противника к груди, обхватил его, впился ногтями ему в спину, отдирая длинные полосы кожи и плоти. Руки у Рэнсома были зажаты, и как он ни выкручивался, он не мог по-настоящему нанести удар. Наконец ему удалось наклонить голову, он впился зубами в правую руку Врага — сперва безуспешно, но постепенно зубы его проникли так глубоко, что тот взвыл, рванулся, а Рэнсом освободился. Пользуясь минутной растерянностью, он обрушил на Врага град ударов, метя в сердце. Рэнсом сам не ожидал от себя такой быстроты и точности. Он слышал, как его кулаки выбивают из тела Уэстона резкие, всхлипывающие вздохи. Но вот вражьи руки снова приблизились к нему, хищно изогнутые пальцы изготавились рвать тело. Чудовище не хотело боксировать, оно хотело схватить его и рвать. Рэнсом отбил его руку — кость опять столкнулась с костью и противно запыла, — резко ударил в мясистый подбородок, и тут же когти впелись уже в его правую руку. Тогда Рэнсом схватил врага за руки и скорее благодаря удаче сумел удерживать его запястья.

То, что творилось в следующие минуты, сторонний наблюдатель вряд ли принял бы за поединок. Нелюдь напрягал все силы, какие только мог извлечь из тела Уэстона, стараясь вырвать руки, а Рэнсом изо всех сил старался их удерживать. От напряжения противники с ног до головы обливались потом, но внешне они лениво и беззаботно слегка двигали руками. Сейчас ни один из них не мог нанести рану другому. Нелюдь вытянул шею, стремясь укусить; Рэнсом напряг руки и удерживал его на расстоянии. Казалось бы, такая борьба вообще не может кончиться.

Внезапно Нелюдь резко выбросил вперед ногу, протолкнул ее между ногами Рэнсома и зацепил того сзади под коленом. Рэнсом едва устоял. Теперь оба двигались порывисто и поспешно. Рэнсом тоже пытался подставить подножку, но не смог. То-

гла он стал заламывать левую руку Врага, надеясь просто сломать ее или хотя бы вывихнуть. Усилие вынудило ослабить хватку. Враг тут же высвободил другую руку, и Рэнсом едва успел закрыть глаза, как стальные ногти разодрали ему щеку. Боль была так сильна, что Рэнсом уже не мог бить левой по ребрам противника. Через мгновение, неведомо как, они оторвались друг от друга и стояли, тяжело дыша, пристально глядя один на другого.

Выглядели оба довольно жалко. Рэнсом не мог разглядеть свои раны, но чувствовал, что весь залит кровью. От глаз Уэстона остались лишь узкие щели, тело его, там, где его не скрывали остатки разорванной рубашки, было сплошь покрыто кровоподтеками. И это, и тяжкое дыхание, и память о том, как он дрался, совершенно изменило мысли Рэнсома. Он удивился, что Враг не так уж силен. Несмотря на все доводы разума, ему казалось, что это тело обладает дьявольской, сверхчеловеческой силой. Он ждал, что эти руки остановить не легче, чем пропеллер. Теперь, на собственном опыте, он знал, что дерется лишь с телом Уэстона. Один немолодой ученый против другого, и только. Уэстон был крепче сложен, но толст — и с трудом выносил удары. Рэнсом был тоньше и лучше владел дыханием. Раньше он был уверен, что обречен, теперь над этим смеялся. Бой был равным. Он мог победить и выжить.

На этот раз первым на Врага бросился Рэнсом, и новый раунд был очень похож на предыдущий. На расстоянии побеждал Рэнсом; когда Врагу удавалось достать его зубами или когтями, приходилось туго. Разум его был ясен даже в самые тяжелые минуты. Он понимал, что исход битвы определяется очень просто: или он потеряет слишком много крови, или прежде отобьет Врагу сердце и почки.

Весь обитаемый мир крепко спал вокруг них. Не было ни зрителей, ни правил, ни судьи. Изнеможение прерывало дикий, диковинный бой и делило его на раунды. Рэнсом так и не запомнил, сколько же их было. Они повторялись, как приступы горячки, а жажда мучила больше, чем любая рана. Иногда они вместе валились наземь. Как-то раз Рэнсом, к своему удив-

лению. заметил, что сидит верхом на противнике и обеими руками сжимает его горло, во всю глотку распевая «Битву при Мальдоне», но тут Враг впился когтями ему в руку и принялся колотить коленями по спине, так что Рэнсом отлетел в сторону.

Еще он запомнил, как запоминают островок сознания между двумя наркозами, что снова, должно быть — в тысячный раз, двинулся навстречу Врагу, отчетливо понимая, что драться больше не может. На мгновение вместо Нелюдя ему померещилась обезьяна, но он сразу понял, что это уже бред. Он пошатнулся. И тут его охватило чувство, которое на Земле хороший человек испытать не может, — чистая, правая, неистовая ненависть. Прежде ненависть всегда соединялась у него с догадкой, что он не сумел отделить грех от грешника, и он каялся, а теперь она была чистой энергией, обратившей его руки и ноги в пылающие столпы. Перед ним стояло не существо с испорченной волей, а сама Порча, подчинившая себе чужую волю. В незапамятные времена это было личностью, но обломки личности были теперь лишь орудием яростного и внеличного отрицания. Наверное, трудно понять, почему Рэнсом не ужаснулся, но обрадовался. Как мальчишка, добывший топор, ликует, обнаружив дерево; как мальчишка, у которого есть цветные мелки, ликует, обнаружив целую стопку ярко-белой бумаги. так и он ликовал, узнав наконец, для чего существует ненависть. Он был счастлив, что чувство его и объект этого чувства совершенно соответствуют друг другу. В крови, дрожа от усталости, он знал, что сил у него хватит; и когда он снова бросился на воплощенную Смерть, вечный нуль вселенской математики, он и удивился, и (где-то глубже) не удивился своей силе. Руки обгоняли веления мысли; они учили его страшным вещам. Ребра у Нелюдя хрустели, хрустнула и челюсть. он просто трещал и раскалывался под ударами. Своя боль значения не имела. Рэнсом знал, что может хоть год драться вот так, ненавидеть вот такой, совершенной ненавистью.

Внезапно удар его поразил воздух. Он не сразу понял, что случилось, не мог поверить, что Нелюдь бежит. Этот миг замешательства помог Врагу — когда Рэнсом опомнился, тот как

раз исчезал среди деревьев, сильно хромая и воя на бегу; одна рука бессильно свисала вдоль тела. Рэнсом бросился за ним, не сразу разглядел его среди стволов, потом заметил и припустил со всех ног, но Нелюдя не догнал.

Странная была охота — то в тени, то на свету, то вверх, то вниз по колеблющейся земле. Они пробежали мимо дракона, мимо Королевы, улыбавшейся во сне. Тут Нелюдь склонился над ней, занес левую руку и впился бы в жертву ногтями, но Рэнсом уже настигал его, и он не стал задерживаться. Они пробежали мимо оранжевых птиц — те спали, стоя на одной ноге, спрятав голову под крыло, словно цветущие подстриженные кусты. Они пробежали мимо желтых кенгуру — и пары, и целые семьи спали, сложив лапки на груди, как крестonosцы на старинном надгробье. Им пришлось нагнуться, когда они пробегали под деревьями, — на ветках спали древесные свиньи, уютно, по-детски похрапывающие. Они прорвались сквозь заросли Пузырчатых деревьев, и душ на мгновение смыл с них усталость. Они вылетели из лесу и понеслись по широким полям, то желтым, то серебристым, по щиколотку, а то и по пояс проваливаясь в душистую росу. И снова они вбежали в лес, он ждал их в укромной долине, но, пока они приблизились, успел подняться на вершину горы. Догнать врага Рэнсом не мог и удивлялся, как же такое искалеченное создание несется с такой быстротой. Оно хромает — значит, вывихнул ногу и должен на каждом шагу терпеть ужасную боль. И тут явилась жуткая мысль: а что, если вся боль достается уцелевшим останкам Уэстона? Подумав о том, что в этом чудовище и сейчас томится существо его рода, вскормленное женщиной, он возненавидел его вдвое, и ненависть эта была совершенно особой — она не отнимала, а прибавляла силы.

Когда они выбежали из леса, прямо перед ними возникло море. Нелюдь бежал так, словно для него не было разницы между водой и сушей. Раздался громкий всплеск. Рэнсом различил темную голову на фоне медноцветного моря и обрадовался, что Уэстон выбрал именно этот путь: из всех видов спорта только в плавании Рэнсому удалось достичь успеха. Нырнув, он на се-

кунду потерял врага из виду, а затем, приподнявшись над водой и отбрасывая с лица мокрые волосы (они сильно отросли за последнее время), увидел его прямо на воде, словно тот сидит на поверхности моря. Приглядевшись, Рэнсом понял, что сидит он на рыбе. Видимо, волшебная дрема зачаровала только их остров — скакун, которого оседлал Уэстон, был вполне бодр. Всадник все время наклонялся к нему и что-то делал. Рэнсом не видел, что именно, но уж конечно это чудовище знало, как погнать живое существо.

На мгновение Рэнсома охватило отчаяние, но он забыл, как любят человека морские скакуны. Почти тут же он обнаружил, что вода вокруг просто кишит рыбами — они прыгали и играли, стараясь привлечь его внимание. Хотя они изо всех сил старались помочь, он с трудом вскарабкался на скользкую спину того, кто первым попался под руку, и расстояние между ним и врагом увеличилось. Наконец он взобрался на рыбу и, усевшись за большой пучеглазой головой, сдвинул коленями бока, подтолкнул своего коня пятками и зашептал ему на ухо что-то ласковое, всячески стараясь пробудить его пыл. Рыба мощно рассекала волны, но, как он ни напрягал зрение, Рэнсому не удавалось заметить впереди Нелюдя — все загородила навигавшаяся волна. Несомненно, Нелюдь был уже за ней. Вскоре Рэнсом сообразил, что беспокоится напрасно — рыбы указывали ему дорогу. Склон волны пестрел огромными рыбами, каждую окружала желтая пена, а многие выбрасывали вверх длинные струи воды. Видимо, Нелюдь не учел инстинкта, который неуклонно вел этих рыб вслед за той, которую избрал человек. Все они мчались вперед, к какой-то цели, словно гончие, идущие по следу, или перелетные птицы. Поднявшись на гребень волны, Рэнсом увидел под собой широкую впадину, похожую на долину среди его родных холмов. Далеко впереди, ближе к другому ее склону, виднелась темная, маленькая, словно игрушечная фигурка; между нею и Рэнсомом в несколько рядов растянулась рыба стая. Теперь он не мог упустить Врага, рыбы тоже гнались за ним, а уж они-то его не упустят. Рэнсом расхохотался.

— Псы у меня прекрасные! — проревел он. — И чуткие, и быстрые.

Только сейчас он обрадовался толком, что больше не сражается, даже стоять не должен. Он попытался усесться поудобнее, но тут же выпрямился от резкой боли в спине. Как последний дурак, он завел руку за спину, чтобы ощупать раны, и просто взвыл от боли. Вся спина превратилась в кровавые лохмотья, теперь они намертво присохли друг к другу. Тут же он понял, что у него еще и выбит зуб, с костяшек содрана кожа, а все тело с головы до пят пронзает какая-то глубинная, более опасная боль. Он и не знал до сих пор, что настолько изувечен.

Потом он вспомнил, что ему хочется пить. Больному, застывшему телу не так-то легко наклониться к струящейся под ним воде. Сперва он думал нагнуться, опуститься почти что вниз головой, но с первой же попытки отказался от такой затеи. Пришлось зачерпнуть воду в сложенные ковшиком руки, но и это далось лишь с большим трудом его цепенеющему телу, он стонал и задыхался. Он очень долго добывал крошечный глоток воды, лишь раздразнивший жажду. На то, чтобы ее унять, ушло по крайней мере полчаса — полчаса отчаянной боли и непомерного наслаждения. В жизни не пробовал он ничего прекраснее этой воды и, утолив жажду, все черпал и плескал на свое измученное тело. Мгновения эти были бы лучшими в его жизни, если б только спина поменьше болела да если б он не боялся, что в когтях у чудовища есть яд. Ноги просто прилипли к бокам рыбы, отдирать их было трудно и больно. Он потерял бы сознание, но твердил: «Нельзя», стараясь сосредоточить взгляд на том, что близко, и думать о чем-нибудь простом.

Нелюдь по-прежнему плыл впереди, то поднимаясь, то исчезая, рыбы плыли ему вслед, а Рэнсом плыл вслед за рыбами. Их вроде бы стало больше — наверное, по дороге они встречали другие стаи и, словно снежный ком, увлекали их за собой. Вскоре появились и другие существа. Птицы, похожие на лебедей, — Рэнсом не мог разглядеть, какого они цвета, на фоне неба они были черные — покружились и покувыркались в воздухе, а по-

том выстроились длинными клиньями и тоже устремились вслед за Нелюдем. Порой раздавался их крик — самый вольный, дикий, одинокий голос, какой только слышал Рэнсом да и вообще мог бы слышать человек. За долгие часы плавания еще ни разу не встретились суша. Рэнсом плыл по океану, по тем пустынным местам, в которых он не был с того времени, когда прибыл на Переландру. Море неумолчно гремело в ушах, и запах его непрестанно проникал в сознание. Да, пахло именно морем, странно и тревожно, как на Земле, но не враждебно, а сладостно, словно запах теплый и золотой. Если бы он был враждебен, он не был бы так чужд — враги ведь как-то связаны друг с другом, знакомы, даже близки. Рэнсом понял, что ничего не знает об этом мире. Когда-нибудь его заселят потомки Короля и Королевы. Но миллионы лет здесь нет людей, так для кого же существуют неизмеримые пространства смеющихся пустынных волн? И лес, и рассвет на Земле просто подавали ему, как завтрак, и только тут он понял, что у природы есть свои собственные права. Непостижимый смысл, таящийся и в природе Земли, и в природе Переландры с тех незапамятных времен, как они отделились от Солнца; смысл, который и устранил, и не устранил лишь Царь-Человек, окружил Рэнсома со всех сторон и вобрал в себя.

Глава 13

Ночь опустилась на море мгновенно, словно пролилась из огромной бутылки. Цвет и пространство исчезли, отчетливой стали звуки и боль. Мир сузился, в нем только боль и была, тупая, ноющая, иногда — пронзительная, и больше ничего, разве что шлепали плавники и на все лады шумели волны. Рэнсом почувствовал, что сползает со своей рыбы, с трудом удержался и понял, что спал, быть может — несколько часов. Значит — заснет опять, а потом опять, и так все время. Поразмыслив, он с трудом выполз из узкого седла и вытянулся во весь рост у рыбы на спине. Ноги он раздвинул, чтобы обхватить ее, руками тоже за нее ухватился, надеясь, что так не свалится даже во сне. Больше он ничего сделать не мог. Рыба плыла, и ему казалось, что

он живет такой же мощной стихийной жизнью, словно превращается в рыбу.

Затем, очень нескоро, он обнаружил, что прямо под ним — человеческое лицо, и не испугался, как бывает во сне. Оно было сине-зеленое и светилось собственным светом, а глаза, гораздо больше человеческих, напомнили о глазах тролля. Какие-то пленки по бокам походили на бакенбарды. Тут Рэнсом совсем очнулся и понял, что это не снится ему, все наяву. По-прежнему израненный и разбитый, он лежал на спине у рыбы, а рядом плыло какое-то существо вот с таким лицом. Он вспомнил, что уже видел в воде полулюдей, водяных. Сейчас он не боялся и догадывался, что это создание тоже дивится ему, но вражды не испытывает. В сущности, им не было дела друг до друга. Встретились они случайно, как ветви разных деревьев, растревоженные ветром.

Рэнсом снова взобрался в седло. Тьма уже не была непроницаемой. Со всех сторон его окружали пятна и полосы света, и по форме пятен он смутно догадывался, где плывет рыба, а где — водяной. Движения пловцов намечали во гьме очертания волн, напоминая, что перед ним — огромное пространство. Рэнсом заметил, что водяные рядом с ним занялись едой. Перепончатými ручками они подхватывали с поверхности воды что-то темное и жевали, а странная пища торчала у них изо рта, словно усы. С этими существами он и не пытался познакомиться, хотя дружил здесь со всеми тварями, и морской народец тоже не обращал на него внимания. В отличие от всех животных, они, по-видимому, не служили человеку; и ему показалось, что они и люди просто поделили планету, как делят одно поле овцы и лошади. Позже он много думал об этом, но сейчас его занимали простые, засушенные дела. Глядя на то, как они едят, он вспомнил, что и сам голоден, и стал гадать, съедобна ли для него их пища. Бороздя воду пальцами, он подцепил наконец растение — оно оказалось одним из простейших, вроде мелких морских водорослей, и было покрыто пузырьками, которые лопались, если на них надавить. Водоросль была плотная и скользкая, но, в отличие от земных, не соленая. Вкус ее Рэнсом описать не су-

мел. Напомню снова, что чувство вкуса стало здесь иным, чем на Земле, — еда приносила не только удовольствие, но и знание, которое, правда, не передашь словами. Вот и сейчас Рэнсом обнаружил, что строй его мыслей переменился. Поверхность моря стала крышей мира. Плавающие острова казались теперь тучами: он видел их так, как видят снизу, и это были коврики с бахромой. Вдруг он понял: теперь ему кажется чудом или мифом, что он ходил по ним, там, наверху. Мысли о Королеве, ее будущих детях, отдаленных потомках — все, что занимало его с тех пор, как он попал на Переландру, — бледнели, как бледнеют сны, когда проснешься, словно великое множество забот, желаний и чувств, которым он не нашел бы названия, вытеснили их. Он испугался и, несмотря на голод, выбросил водоросли.

Должно быть, он снова заснул, ибо дальше помнил яркий дневной свет. Нелюдь все еще был впереди, и стайка рыб растянулась между ними. Птицы улетели. Только теперь он просто и трезво оценил свое положение. Судя по его опыту, разуму свойственно странное заблуждение. Когда человек попадает на чужую планету, первое время он не думает о ее размерах. Новый мир так мал по сравнению с путем через космос, что расстояния внутри этого мира уже неважны — любые два места на Марсе или на Венере казались ему районами одного города. Теперь, оглядевшись и нигде ничего не увидев, кроме золотого неба и бурлящего моря, он понял, как нелепа эта ошибка. Даже если на Переландре и есть материки, между ним и ближайшим из них может простираться пространство шириной в Тихий океан. К тому же не было никаких оснований надеяться на материки, как и на то, что тут много плавающих островов, а уж тем более на то, что они равномерно рассеяны по всей планете. Даже если этот нестойкий архипелаг растянулся на тысячу квадратных миль, он — песчинка в пустынном океане, охватывающем мир, который не намного меньше нашего. Скоро его рыба устанет. Она уже плывет медленно. Нелюдь, конечно, свою рыбу не пожалеет, будет понукать ее, пока не загонит насмерть. А он, Рэнсом, такого не сделает. Размышляя об этом, он глядел вперед, и вдруг его сердце замерло: одна из плывших с ним рыб вы-

шла из ряда, выпустила пенистую струйку воды, нырнула, вынырнула в нескольких метрах от него и предалась воле волн. Через несколько минут она скрылась из виду. Устала и вышла из игры.

Вот тут-то все муки прошедшего дня и нелегкой ночи обрушились на него, лишая веры. Пустынные волны, а тем паче — мысли, которые пришли со вкусом водоросли, заронили в его душу сомнение. Принадлежит ли этот мир тем, кто зовет себя Королем и Королевой? Как может принадлежать то, чего ты толком и не знаешь? Поистине, наивно и антропоцентрично! А этот великий запрет, от которого зависит все, неужто он и вправду так важен? Какое дело желтой пене волн и морскому народу до того, переночуют ли на скале какие-то ничтожные существа, которые к тому же так далеко отсюда? Он видел, что события на Переландре и то, что описано в Книге Бытия, очень похожи: он думал, что на собственном опыте познает то, во что люди обычно только верят. Теперь и это не казалось ему существенным. В конце концов, сходство доказывает только, что и там, и тут новорожденный разум выдумывает бессмысленные табу. А Малельдил... да где Он? Если бескрайний океан и говорит о чем-то, то о совсем ином. Как во всех пустынях, здесь кое-кто есть; но не Бог, подобный нам, людям, не Личность, а то Неведомое, которому во веки веков безразличны и человек, и его жизнь. А дальше, за океаном — пустой космос. Напрасно Рэнсом напоминал себе, что побывал в «космосе» и обрел там Небо, где жизнь так полна, что для нее едва ли достаточна бесконечность. Теперь все это казалось сном. Другие мысли, над которыми он сам часто смеялся, называя их призраком империализма, поднялись в душе: он готов был принять гигантский миф нашего века, все это рассеянное вещество, все галактики, световые годы, эволюцию, все бредовые нагромождения чисел, после которых то, что имело смысл для нашей души, становится побочным продуктом бессмыслицы и хаоса. До сих пор он недооценивал эту теорию, смеялся над плоскими преувеличениями, над жалким преклонением перед размерами, над бой-

кой и ненужной терминологией. Даже сейчас разум не сдавался, но сердце уже не слушалось разума. Какая-то часть души еще знала, что размер почти неважен, что величие материальной Вселенной, перед которой он вот-вот преклонится, зависит от его собственной способности сопоставлять величины и творить мифы; что число не пугает нас, пока мы не наделим его грозной тайной, которая присуща ему не больше, чем бухгалтерской ведомости. Но разум существовал как бы отдельно от него. Простая пустота и простая огромность подавили все.

Размышления эти, наверное, заняли несколько часов и поглотили все внимание. Пробудил Рэнсома звук, который он меньше всего ожидал услышать, — звук человеческого голоса. Очнувшись, он обнаружил, что все рыбы покинули его, а та, на которой он плывет, еле шевелится. Нелюдь был неподалеку, больше не бежал от него, напротив — приближался. Он покачивался на своей рыбе, глаза его совсем заплыли, тело распухло и посинело, нога была сломана, рот искривлен от боли.

— Рэнсом, — жалобно позвал он.

Рэнсом промолчал. Он не хотел, чтобы тот снова начал свою игру.

— Рэнсом, Рэнсом!.. — заныл голос Уэстона. — Поговорите со мной, ради Бога!

Рэнсом изумленно взглянул на него и увидел слезы.

— Не гоните меня, Рэнсом! — сказал Враг. — Скажите мне, что случилось? Что они сделали с нами? Вы весь в крови. У меня нога сломана... — Голос прервался от рыданий.

— Кто вы такой? — резко спросил Рэнсом.

— Ну пожалуйста, не притворяйтесь, вы же знаете меня! — хныкал голос. — Я Уэстон, а вы — Рэнсом, Элвин Рэнсом, филолог из Кембриджа. Мы с вами ссорились, я был не прав, простите меня. Рэнсом, вы же не оставите меня умирать в этом гиблом месте?

— Где вас учили арамейскому? — спросил Рэнсом, пристально глядя на него.

— Арамейскому? — повторил голос Уэстона. — Я не понимаю, о чем вы. Нехорошо смеяться над умирающим.

— Вы и вправду Уэстон? — спросил Рэнсом. Он готов был поверить, что душа вернулась в свое тело.

— А кто же еще? — чуть не плача, срываясь, спросил тот.

— Где вы были до сих пор? — продолжал Рэнсом.

Уэстон (если то был Уэстон) задрожал.

— А где мы? — спросил он.

— На Венере, на Переландре, — ответил Рэнсом.

— Вы нашли мой корабль? — спросил Уэстон.

— Я видел его только издали, — ответил Рэнсом. — Понятия не имею, где он теперь. Должно быть, отсюда до него миль двести.

— Мы в ловушке? — вскрикнул Уэстон.

Рэнсом не ответил, и тот, повесив голову, заплакал, как младенец.

— Будет, — сказал наконец Рэнсом, — не стоит расстраиваться. В конце концов, и на Земле сейчас не так уж весело. Там ведь война. Может быть, вот сейчас немцы вдребезги разбомбили Лондон.

Жалкое существо все еще всхлипывало, и он прибавил:

— Встряхнитесь, Уэстон! Это всего лишь смерть, со всеми случается. Надо же когда-нибудь умереть. Вода у нас есть, а голод без жажды не так уж страшен. Бойтесь утонуть? Право же, штыковая рана или рак куда хуже.

— Вы хотите бросить меня, — сказал Уэстон.

— Я не смогу, даже если захотел бы, — возразил Рэнсом. — Неужели вы не видите? Я точно в таком же положении, как и вы.

— Поклянитесь, что не бросите, — умолял Уэстон.

— Пожалуйста, клянусь. Куда я, по-вашему, могу деться?

Уэстон медленно огляделся и подогнал рыбу поближе к Рэнсому.

— Где... оно? — спросил он. — Ну, вы знаете... — добавил он, бессмысленно помавая рукой.

— Могу спросить вас о том же.

— Меня? — вскрикнул Уэстон. Лицо его так исказилось, что невозможно было разобрать, что именно оно выражает.

— Вы хоть знаете, что было с вами в эти дни? — спросил Рэнсом.

Уэстон снова огляделся.

— Понимаете, — сказал он, — это все правда.

— О чем вы? — спросил Рэнсом.

Вместо ответа Уэстон вдруг обрушился на него.

— Вам-то хорошо! — вопил он. — Тонуть не больно, умирать надо, то да се... Какая чушь! Что вы знаете о смерти? Сказано вам, это все правда.

— О чем вы говорите?

— Я всю жизнь занимался ерундой, — продолжал Уэстон. — Уверял себя, что мне важны судьбы человечества... убеждал, что как-то можно сделать этот мир хоть чуточку попримичней. Полное вранье, ясно?

— Разве вы нашли то, что истинней этого?

— Нашел, — сказал Уэстон и надолго замолчал.

— Лучше повернем рыб вон туда, — заметил наконец Рэнсом, разглядев что-то в море. — А то уйдем слишком далеко.

Уэстон послушался, как бы и не понимая, что делает, и они еще долго плыли рядом, не говоря ни слова.

— Я скажу вам, где истина, — внезапно заговорил Уэстон. — Ребенок пробирается наверх, в ту комнату, где положили его умершую бабушку, тихонько заглядывает туда, а потом убегает, и ему снятся страшные сны. Огромная бабушка.

— Что тут истинного?

— Ребенок знает о мире то, что наука и религия изо всех сил стараются скрыть.

Рэнсом промолчал.

— Он все знает, — продолжал Уэстон. — Дети боятся идти ночью через кладбище, и взрослые смеются над ними, но дети умнее взрослых. В Африке дикари по ночам надевают маски и проделывают мерзкие штучки, а миссионеры и чиновники называют это суеверием. Нет, черные знают о мире больше, чем белые. Грязные попы на задворках Дублина до смерти запугивают слабоумных деток. Вы скажете, это все темнота и глупость. Ну уж нет! Они ошибаются в одном — верят, что все-таки можно спастись. Нельзя. Вот вам истина. Вот вам — реальный мир. Вот его смысл.

— Я не понимаю... — начал было Рэнсом, но Уэстон его перебил:

— Вот почему надо жить как можно дольше. Все хорошее только здесь. Узенький, тоненький слой, который мы называем жизнью, — только видимость, он снаружи, а внутри — настоящий мир, ему нет конца. На один миллиметр толще слой, на один день, час, минуту — вот что важно! Вам этого не понять, но это знает любой смертник. Вы говорите, какой смысл в отсрочке? Да весь, какой только есть!

— Никто не обязан идти туда, — сказал Рэнсом.

— Я знаю, во что вы верите, — отвечал Уэстон. — Вы ошибаетесь. Только кучка образованных людей верит в это. Человечеству виднее. Оно-то знает, Гомер знал, что все мертвые провалятся во тьму, в нижние круги. Ни смысла, ни склада, ни лада, так, одна гниль. Призраки. Любой дикарь знает, что все духи ненавидят тех, кто еще во внешнем круге, как ненавидит старуха красивую девушку. Да, духов надо бояться. Все равно сам тоже станешь духом.

— Вы не верите в Бога, — сказал Рэнсом.

— Это другое дело, — ответил Уэстон. — В детстве я не хуже вас ходил в церковь. В иных местах Библии больше смысла, чем вы, христиане, думаете. Разве там не сказано, что Он — Бог живых? Так оно и есть. Может, ваш Бог и есть, это не важно. Сейчас вы не понимаете — ничего, еще поймете! Вы ведь не знаете, как тонок внешний пласт, этот слой, который мы зовем жизнью. Представьте себе, что Вселенная — огромный шар в тоненькой корочке. Только речь не о пространстве, а о времени. Корочка и в лучших местах не толще семидесяти лет. Мы родимся на ней и всю жизнь сквозь нее просачиваемся туда, во внутреннюю тьму, в истинную Вселенную. Умерли — и все, мы там. Если ваш Бог и существует, Он не внутри шара. Он снаружи, как Луна. Когда мы попадаем вовнутрь, Он больше не знает о нас. Он не следует туда за нами. Вы скажете, что Он вне времени, — и утешитесь! Но ведь это значит, что Он снаружи, на свету, на воздухе. А мы-то живем во времени. Мы «двигаемся вместе со временем». Значит, с Его точки зрения мы движем-

ся прочь, туда, куда Он не ходил и не пойдет. Вот и все, что у нас есть и будет. Может быть, в так называемой жизни есть Бог, может быть — нет. Нам что за дело? Мы-то в ней совсем ненадолго.

— Это еще не все, — возразил Рэнсом. — Если б Вселенная была такой, мы — часть Вселенной — чувствовали бы себя вполне уютно. А если мы удивляемся, негодуем...

— Да, — прервал Уэстон, — это разумно, но и разум разумен только на поверхности. Разум никак не связан с тем, что есть. Самые обычные ученые, вот хотя бы я сам, уже обнаружили это. Неужели вы не видите, в чем смысл этих разговоров о недействительности нашей логики, об искривленном пространстве, о неопределенности в атоме? Конечно, они не говорят прямо, но они еще при жизни догадались о том, о чем узнают все умершие. Реальность не разумна, не едина, не равна себе, у нее нет ни одного из тех качеств, в которые вы верите. Можно сказать, реальности вообще нет. «Реальность» и «нереальность», «истина» и «ложь» — это все на поверхности. Надавите — и они провалятся.

— Если это правда, — возразил Рэнсом, — какой смысл говорить об этом?

— Ни в чем нет смысла, — ответил Уэстон. — Весь смысл в том, что ни в чем нет смысла. Почему привидения пугают нас? Потому, что они — привидения. Им больше нечем заняться.

— Мне кажется, — сказал Рэнсом, — то, как человек видит мир или любую постройку, зависит от того, где он стоит.

— Все зависит только от того, внутри он или снаружи, — сказал Уэстон. — То, что вы любите, — снаружи. Например, планета — Переландра или Земля. Или красивое тело. Все цвета и формы — только снаружи, там, где еще нет этого. А что внутри? Тьма, жара, гниль, духота, вонь.

Несколько минут они плыли молча, волны вздымались все выше, рыбы еле двигались.

— Конечно, вам и горя мало, — сказал Уэстон. — Вам, на поверхности, и дела нет до нас. Вас еще не втащили гуда, вовнутрь. У меня был сон, только я еще не знал, что это правда. Мне сни-

лось, что я умер. Лежу себе в больничной палате, вокруг лилии, лицо подкрасили, все чин чином. И тут пришел человек, весь в лохмотьях, словно бродяга, только это не одежда, а плоть висит ключьями. Встал в ногах кровати и ненавидит меня. «Ну-ну,— говорит.— Ну-ну. Думаешь, ты очень красивый? Еще бы, на чистенькой простыночке, гроб готовый блестит!.. Ничего, я тоже так начинал, все мы с этого начали. погоди, увидишь, во что ты превратишься».

— Право же,— сказал Рэнсом,— хватит, больше не надо.

— Или вот спириты,— продолжал Уэстон, не обращая на него внимания.— Я раньше думал, это чепуха. Нет, не чепуха, все верно. Заметьте, всякие красоты о смерти идут от преданий или от философов. Опыт обнаруживает совсем другое. Из брюха у медиума выползает эндоплазма — мерзкие, скользкие пленки — и складывается в огромные бессмысленные лица. Самописка пишет и пишет всякий вздор.

— Да вы в самом деле Уэстон? — резко спросил Рэнсом, обернувшись к собеседнику. Нудный, назойливый голос выговаривал слова то так отчетливо, что нельзя было не прислушаться, то так невнятно, что слух поневоле напрягался, пытаюсь их разобрать. Он просто сводил Рэнсома с ума.

— Не сердитесь,— заскулил голос,— не надо на меня сердиться. Пожалейте меня. Это ужасно, Рэнсом, ужасно. Вы ничего не понимаете. Глубоко-глубоко, под всей толщей мира. Похоронены заживо. Пытаетесь думать — ничего не выходит. Голову отняли... никак не вспомнить, какая там жизнь на поверхности. Одно ясно: в ней с самого начала смысла не было.

— Кто вы?! — закричал Рэнсом.— Откуда вы знаете, что такое смерть? Бог свидетель, я бы с радостью помог вам, если б знал как. Объясните мне. Где вы были эти дни?

— Тише,— прервал его тот, другой,— слушайте!

Рэнсом прислушался. В окружавшем их созвучии шумов появился новый звук. Море сильно волновалось, ветер крепчал. Вдруг Уэстон протянул руку и вцепился в руку Рэнсома.

— Господи! — завопил он.— Рэнсом, Рэнсом, помогите! Нас убьют! Убьют и сунут во тьму! Рэнсом, вы же обещали помочь! Не отдавайте меня им!

— Тихо! — крикнул Рэнсом, обозлившись, ибо это существо вопило и визжало так, что заглушило все звуки, а он очень хотел понять, что же означает новый шум, вмешавшийся в свист ветра и грохот волн.

— Это скалы, — визжал Уэстон. — Скалы, идиот! Вы что, не слышите? Там земля, скалы! Смотрите сюда... нет, направо! Мы разобьемся в лепешку! Господи, вот она, тьма!

И тьма настала. Ужас охватил Рэнсома, никогда он не знал такого ужаса. Он боялся смерти, боялся перепуганного спутника, вообще всего боялся. Во тьме наступившей ночи мелькнуло облако светящейся пены. Она летела прямо вверх — там волна разбивалась о прибрежные скалы. Низко над головой, невидимые во тьме, с тревожным криком пронеслись птицы.

— Уэстон, где вы? — окликнул он. — Держитесь! Соберитесь с духом! Все, что вы говорили, — вздор. Помолитесь как ребенок, если не умеете молиться как мужчина. Покайтесь. Возьмите меня за руку. Сейчас на Земле гибнут тысячи безусых мальчишек. А мы — ничего, справимся!

Невидимая рука крепко сжала его руку — пожалуй, крепче, чем он хотел бы.

— Не могу, не могу! — донесся вскрик.

— Ну, спокойней, не хватайтесь так! — прикрикнул Рэнсом. Уэстон уже обеими руками сжимал его руку.

— Не могу! — снова раздался вопль.

— Эй! — крикнул Рэнсом. — Пустите! Какого дьявола...

Крепкие руки сдавили его, вырвали из седла и, вцепившись повыше шиколоток, поволокли куда-то. Напрасно цеплялся он за скользкое тело рыбы. Море сомкнулось над его головой, а Враг тянул все глубже, в теплую глубину, и дальше, туда, где холодно.

Глава 14

«Больше нельзя не дышать, — думал Рэнсом. — Не могу. Не могу». Какие-то холодные твари скользили над его истерзанным телом. Он решил больше не сдерживать дыхание, он хо-

тел открыть рот, вдохнуть и умереть, но воля не повиновалась ему. Не только грудь — виски лопались. Бороться он не мог, руки не дотягивались до Врага, сковавшего ему ноги. Он понял, что они всплывают, но не обраловался — ведь он не дотянет до поверхности. Перед лицом смерти ушли мысли о будущей жизни. Бессмысленно, ничего не чувствуя, он думал как о чужом: «Вот человек умирает». Вдруг в уши его ворвался нестерпимый шум, грохот, плеск. Рот открылся сам собой, он снова дышал. В крошечной тьме, полной отголосков, он ухватился за какой-то утес и стал отчаянно брыкаться, чтобы сбросить того, кто все еще пытался держать его ноги. Он снова был свободен и снова дрался вслепую, по пояс в воде на каменистом берегу, где острые камни ранили ноги и локти. Во тьме слышались проклятия — то его, то Уэстона, вопли, глухие удары, хриплые вздохи. Наконец он подмял врага. Он сдвинул его коленями и услышал, как хрустнули ребра. Руками он сжал его горло. Враг рвал ему ногтями руки, но он держал его. Однажды только ему пришлось сдвинуть так человеческую плоть, но тогда он прижимал товарищу артерию, чтобы спасти, а не чтобы убить. Это длилось бесконечно. Враг уже не шевелился, а он все сжимал и сжимал его горло. Даже уверившись, что тот не дышит, Рэнсом остался сидеть у него на груди, и руки его, ослабив хватку, по-прежнему покоились на горле врага. Он сам едва не потерял сознания, но сосчитал до тысячи прежде, чем отпустил руки, — и все сидел на этом теле. Он не знал, Уэстон ли говорил с ним в последние часы, или то были уловки Врага. Какая разница — проклятые души как-то сливаются, их не различишь и не разделишь. То, чего пантеисты ждут от рая, можно обрести в аду. Да, они растворяются в своем повелителе, как оловянные солдатики над газовой горелкой. В конце концов, важно ли, говорил с ним сатана или один из тех, кого сатана пожрал и переварил? Главное — больше не попасться на эту удочку.

Оставалось ждать утра. Эхо уверило его, что они неведомо как попали в очень узкий залив между скалами. До утра еще было далеко, и он горевал об этом, но решил не покидать тела, пока при свете дня его не осмотрит и, может быть, сделает еще что-

то, чтобы оно уж точно не ожило. До тех пор надо было скоротать время. Каменистый берег был не очень удобен, а когда он попытался изменить позу, наткнулся на скалу. К счастью, он так устал, что был даже рад посидеть спокойно. Но это быстро прошло.

Он решил не думать, сколько осталось до утра.

«Решим для верности, — сказал он себе, — что сейчас очень, очень рано, и отнимем еще два часа».

Чтобы отвлечься, он пересказал себе всю историю своих приключений. Потом он читал на память отрывки из «Илиады», из «Одиссеи», «Энеиды», «Песни о Роланде», «Потерянного рая», «Калевалы», «Охоты на снарка» и стишок об индоевропейских фонетических законах, который сам и сочинил еще на первом курсе. Он долго вспоминал упущенные строки, решал шахматную задачу, набрасывал главу для книги, которую писал на Земле. Но все было мало.

Иногда он задремывал. Наконец ему показалось, что ночь была всегда. Он просто поверить не мог, что даже для измученного человека двенадцать часов тянутся так долго. А этот мучительный странный скрежет! Он удивился, подумав о том, что здесь нет ночных ветерков, к которым он привык на Переландре. Удивился он и тому (через несколько часов), что нет и светящихся волн, на которых отдыхал бы глаз. Очень медленно он нащупал причину, она объясняла полную темноту и была так страшна, что он даже не испугался. Собравшись с духом, он поднялся и стал нащупывать дорогу вдоль берега.

Шел он медленно, но очень скоро вытянутые руки наткнулись на камень. Он встал на цыпочки, чтобы найти вершину; ее не было.

— Не торопись, — прошептал он самому себе, поворачивая назад.

Он миновал тело и через двадцать шагов его руки — теперь он поднял их над головой — наткнулись не на стену, а на крышу. Еще через шаг-другой крыша опустилась. Он нагнулся, потом пошел на четвереньках. Было ясно, что крыша смыкается с берегом.

Просто шатаясь от горя, он вернулся к телу. Все было ясно. Незачем ждать утра, его здесь не будет до скончания века. Быть может, он уже прождал целые сутки. Все подтверждало это — и отголоски эха, и затхлый воздух, и самый запах. Когда они боролись, их случайно пронесло в эту щель под водой и забросило в пещеру. Можно ли вернуться тем же путем? Он пошел к воде — вернее, едва он нащупал путь, вода сама обрушилась на него, прогрохотала над головой и, отступая, повлекла за собой с такой силой, что, только распластавшись на берегу и хватаясь за уступы, он удержался, его не смыло. Нет, вот в это море бросаться нельзя, он тут же разобьется о стену. Будь у него свет и будь скала, с которой можно нырнуть, наверное, удалось бы уйти поглубже, а потом вынырнуть... и то вряд ли. Но света и скалы у него не было.

Воздух был несвеж, но откуда-то шел. Другое дело, пролезет ли он в это отверстие. Он стал ощупывать камень. Это было почти безнадежно, но он никак не хотел поверить, что пещера никуда не ведет, и через некоторое время руки его наткнулись на какой-то выступ. Он на него взобрался, не надеясь, что там уже нет стены, — но ее не было. Тогда, очень осторожно, он сделал несколько шагов, ушиб ногу, засвистел от боли и постарался идти еще медленней. Потом снова наткнулся на стену, верха достать не смог, свернул направо, обошел ее, свернул налево, двинулся вперед, расшиб большой палец, потер его и опустился на четвереньки. Минут десять он пробирался вверх, то по гладкой скале, то среди камней. Наконец еще одна стена преградила ему путь; но и тут нашелся выступ на уровне груди, на этот раз — совсем узкий. Он забрался на него и прижался лицом к скале, нащупывая, можно ли ее обойти справа или слева.

Путь он нашел, но надо было взбираться вверх, и он заколебался. Это могла быть скала, на которую он не решился бы лезть и при свете дня, совсем одетый. Но надежда шептала, что там всего каких-нибудь два метра, и через несколько минут он попадет в тот сквозной тоннель, о котором сейчас все время думает. Словом, он решился идти. В сущности, он боялся не разбиться, а оказаться отрезанным от воды. Голод он вынесет, но

не жажду. Несколько минут он делал такое, что никогда бы не сделал на Земле. Конечно, тьма помогала ему — он не видел высоты, голова не кружилась. Но взбираться на ощупь нелегко. Стороннему наблюдателю он казался бы то безумно храбрым, то нелепо осторожным. Он старался не думать, что наверху, быть может, просто потолок пещеры.

Через четверть часа он куда-то выбрался — не то на очень широкий выступ, не то на вершину. Он отдохнул, зализывая раны. Потом пошел вперед, все время ожидая преграды. Шагов через тридцать он крикнул и решил, что, судя по звуку, скалы впереди нет. Тогда он пошел дальше, вверх по каменистому склону. Камушки побольше могли и поранить, но он научился поджимать пальцы ног. Даже во тьме он напрягал зрение, словно мог хоть что-то увидеть. От этого болела голова, а перед глазами мелькали цветные искры.

Путь длился так долго, что Рэнсом испугался, не движется ли он по кругу и не попал ли в галерею, которая идет под поверхностью всей планеты. Успокаивало то, что он все время двигался вверх. Тоска по свету мучила его. Он думал о нем, как голодный о еде, — воображал апрельский день, холмы, молочные облака на голубом небе или мирное пятно света от лампы, стол с книгами, зажженную трубку. Почему-то ему казалось, что гора, на которую он взбирается, не просто темная, но черная по природе, как сажа. Он чувствовал, что руки и ноги перепачкались и, если он выйдет на свет, то увидит, что весь в чем-то черном.

Вдруг он резко ударился обо что-то головой и, оглушенный, сел. Придя в себя, он снова стал нащупывать дорогу и обнаружил, что склон смыкается с потолком. В полном отчаянии он присел, чтобы это переварить. Шум воды доносился издали печально и тихо. Значит, он забрался слишком высоко. Наконец, почти не надеясь, он двинулся вправо, не отрывая руки от потолка. Вскоре потолка не стало; и совсем не скоро он снова услышал шум воды. Он шел все медленнее, боясь, что его ждет водопад. Пол под ногами стал влажнее, он добрался до пруда. Слева был и вправду водопад, но нестрашный, маленький. Он

опустился на колени, напился, подставил под воду голову и плечи. ожил — и пошел дальше.

Камни были скользкие, мшистые, озера — довольно глубокие, но это не мешало идти. Минут через двадцать он добрался до вершины и, судя по отголоскам его крика, попал в очень большую пещеру. Он решил идти вдоль воды. Теперь у него была надежда, а не то, что подменяет ее в отчаянии.

Вскоре он начал тревожиться из-за шума. Последние отголоски моря давно затихли, и он слышал только мягкий шелест ручья. Но теперь к нему примешивались другие звуки — глухой всплеск, словно что-то свалилось в пруд за его спиной, и сухой скрежет, будто по камню провели железом. Сперва он решил, что все это ему чудится. Потом прислушался — и ничего не услышал; но всякий раз, как он пускался в путь, шум возникал снова. Наконец он стал совершенно отчетливым. Неужто Нелюдь ожил и преследует его? Не может быть — ведь тот хотел не драться, а ускользнуть. Ему не хотелось думать, что эти пещеры обитаемы. Опыт учил, что обитатели, если они есть, вполне безобидны, но трудно было поверить, что безобидная тварь станет жить в таком месте. Нелюдь — или Уэстон — недавно говорил ему: «Все хорошее — только оболочка. А внутри — тьма, жара, гниль, духота, вонь». Он подумал, что, если кто-то идет вслед за ним, лучше свернуть в сторону, пропустить его. Хотя, кто там знает, скорее он идет по запаху, да и вообще уйти от воды Рэнсом боялся. И шел вперед.

Он сильно вспотел — то ли от слабости, он ведь давно не ел, то ли потому, что таинственные звуки подгоняли его. Даже ручей не так уж его освежил, хотя он опускал туда ноги. Он подумал было, что, преследуют его или нет, надо бы отдохнуть, — и тут увидел свет. Глаза столько раз обманывали его, что он зажмурился и сосчитал до ста. Потом поглядел, отвернулся, сел и несколько минут молился, чтобы это не чудилось. Потом поглядел опять.

«Ну что ж, — сказал он себе, — если это галлюцинация, то на редкость упрямая».

Слабый, маленький, дрожащий свет ждал его впереди, розоватый и такой слабый, что тьма не расступалась. Рэнсом не мог даже понять, пять футов осталось до него или пять миль. Он поспешил вперед. Слава богу, ручей вел именно туда.

Ему казалось, что еще далеко, но вдруг он ступил прямо в пятно света. Светлый круг лежал в центре темного неглубокого озера. Войдя в воду, Рэнсом поглядел наверх. Прямо сверху шел свет, теперь явственно алый. Здесь он был достаточно ярко, чтобы осветить то, что рядом, и, когда глаза привыкли к свету, Рэнсом увидел, что выходит свет из тоннеля, соединявшего дыру в потолке с какой-то пещерой наверху. Он видел неровные стенки тоннеля, покрытые противным студенистым мхом. На голову капала теплая вода. Вода — теплая, свет — алый... Значит, верхняя пещера освещена подземным огнем. Читатель не поймет, да и Рэнсом не понял, почему он тут же решил перебраться в верхнюю пещеру. Наверное, он просто истосковался по свету. Освещенный тоннель вернул миру перспективу и расстояние, и это одно освобождало, словно ты вышел из темницы. Свет вернул ощущение пространства, без которого мы едва ли вправе называть тело своим. Он просто не мог вернуться в жуткую пустоту, в мир мрака и тьмы, мир без размера и пространства, где он так долго блуждал. А может, он немного надеялся, что преследователь отстанет от него, если он выберется к свету.

Это было не так легко. Он не дотягивался до отверстия. Даже подпрыгнув, он едва касался свисавшей оттуда бахромы. Наконец он придумал дикий план. Свет позволил ему разглядеть вокруг камни, и он принялся нагромождать их один на другой. Он работал лихорадочно, несколько раз приходилось все переделывать. Наконец он кончил и стоял, мокрый, на вершине своей пирамиды. Теперь оставалось рискнуть. Обеими руками он ухватил бахрому над головой, в надежде, что она выдержит, и как можно быстрее подтянулся вверх. Бахрома не оборвалась. Он забрался в тоннель, упершись спиной в одну стену, ногами — в другую, как альпинист в «дымоходе». Густой мох защищал его от царапин. Вскоре он понял, что стены неровные и

можно взбираться по ним, как по обычной горе. Жар становился все сильнее.

«Дурак я, что сюда забрался», — думал Рэнсом, но он уже достиг конца.

Свет сперва ослепил его. Оглядевшись, он увидел большую пещеру, настолько освещенную пламенем, что казалось, будто она — из красной глины. Слева пол скользил вниз, справа поднимался до обрыва, за которым была пламенная бездна. В середине пещеры текла неглубокая, но широкая речка. Потолка Рэнсом не видел, а стены, уходя во тьму, извивались, словно корни березы.

Он встал на ноги, перебрался через речку (вода просто обжигала) и добрался до обрыва. Огонь уходил на тысячи футов вглубь, и он не видел другой стороны расселины, где этот огонь бушевал. Глаза его могли выдержать свет не больше секунды. Когда он отвернулся, пещера показалась ему темной. Жара измучила его. Он отошел и сел спиной к огню, пытаясь собраться с мыслями.

Преуспел он в этом совсем не так, как ожидал. Внезапно и неотвратимо, словно танки шли на толпу, он увидел себя именно так, как видел Уэстон. Он увидел, что прожил жизнь в иллюзии, в обмане. Проклятые души правы. Прелесть Переландры, невинность Королевы, муки святых и доброта обычных людей — только мнимость. То, что мы именуем мирозданием, — только оболочка, так, с четверть мили, а под ней на тысячи и тысячи миль — тьма, молчание, адский огонь, и так до самой сердцевины, где и таится реальность — бессмыслица, хаос, всеильная глупость, которой безразличны все души, против которой тщетны усилия. Что бы ни преследовало его, сейчас оно появится в этой темной влажной дыре, из мерзкого тоннеля, и он, Рэнсом, умрет. Он стал смотреть на отверстие, через которое вошел. И тут...

— Так я и думал, — пробормотал он.

Медленно, ощупью, алое в отблесках огня, на пол пещеры выползало человеческое тело. Люди не двигаются так; то был Нелюдь. Сломанная нога волочилась по полу, нижняя челюсть

отвисла, как у покойника, но он пытался встать на ноги. Прямо за ним у входа в тоннель возникло что-то еще. Сперва — какие-то ветки; потом — семь или восемь странно расположенных огней, вроде созвездия; потом — какая-то разлезшаяся трубка, отражавшая огонь, словно полированное дерево. Рэнсом содрогнулся, когда понял, что ветки — это длинные тонкие щупальца, огни — глаза скрытой панцирем головы, а бесформенная колбаса — длинное толстое тело. За этим появились совсем уж жуткие вещи: угловатые членистые ноги, и второе тело, и третье. Да, эта штука состояла из трех частей, соединенных узкими перемычками; три части, связанные друг с другом, придавали ему такой вид, словно его переехали в нескольких местах. Огромное, многоногое, бесформенное чудище расположилось прямо сзади Нелюдя, и страшные тени слились воедино на стене пещеры.

«Хотят меня напугать», — подумал Рэнсом и понял, что ползучую тварь вызвал откуда-то Нелюдь, а недавние мысли наслал на него Враг. Значит, его мыслями можно вот так распоряжаться?

Тут он не столько испугался, сколько разъярился, и обнаружил, что встает, подходит к Нелюдю, орет по-английски, как это ни глупо:

— Да я не потерплю! Вон из моей головы! Это моя голова, не твоя! Вон!

Он кричал и уже поднял большой острый камень, подобранный у реки.

— Рэнсом, — квакал Нелюдь, — погодите... Мы оба в ловушке...

Но Рэнсом уже бросился на него.

— Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа — вот вам!.. то есть аминь! — произнес Рэнсом, изо всей силы обрушивая камень на голову врага.

Тот упал легко, как карандаш. Лицо его сразу же разбилось, никто его не узнал бы, но Рэнсом на него не взглянул и обернулся к чудищу. Чудища не было. Было просто существо странного вида, но отвращение исчезло, и Рэнсом уже не мог понять, как это он возненавидел эту тварь только за то, что у нее боль-

ше глаз и ног, чем у него самого. Детское отвращение к насекомым и пресмыкающимся ушло, просто исчезло, как исчезает скверная музыка, стоит только выключить радио. Видимо, все, с самого начала, было наваждением. С ним как-то случилось такое: в Кембридже он сидел у окна, писал, и вдруг ему почудилось, что по бумаге ползет многоногое, пестрое, мерзкое существо. Поглядев еще раз, он понял, что это увядший листок, потревоженный ветром; и тут же те самые изгибы, которые показались ему отвратительными, стали красивы. Вот и сейчас перед ним стояло странное, но совершенно безобидное существо. Его приманил Нелюдь, и оно, не зная, что делать, неуверенно шевелило щупальцами. Наконец, разочаровавшись в том, что видит, оно с трудом развернулось и стало спускаться через отверстие в полу. Когда мимо Рэнсома проползла последняя часть трехчленного тела, он едва не рассмеялся и подумал: «Живой трамвай».

Он обернулся к Нелюдю. У того, собственно говоря, уже не было головы, но рисковать не стоило. Ухватив неподвижное тело за шиколотки, он дотащил его до обрыва и, чуть передохнув, сбросил в огонь. Черный силуэт взметнулся над огнем — и все кончилось.

Рэнсом дополз до реки, напился.

«Может, и мне конец... — думал он. — А может, отсюда есть выход... или нету. Но сегодня я больше и шагу не пройду. Даже если умру здесь. Нет и нет. Я устал — и слава богу».

Через секунду он уснул.

Глава 15

Выспавшись, Рэнсом продолжил свое подземное странствие, хотя голова у него кружилась от усталости и голода. Правда, сперва он еще долго лежал и даже лениво препирался с самим собой, стоит ли идти дальше. Как он решился идти, он не помнил. От всего пути в памяти остались лишь обрывки. Вдоль огня вела длинная галерея, там было страшное место, где прорывался пар: какой-то из многих водопадов здесь сливался с

огнем. Дальше были огромные, слабо освещенные залы, полные неведомых камней — они отражали свет, сверкали, дразнили, обманывали, словно он кружился с карманным фонариком в зеркальном зале. Ему показалось (или примерешилось), что он миновал зал, созданный скорее искусством, чем природой. Там стояли два трона и два стула, слишком большие для людей. Если он и видел этот зал, то так и не понял, зачем он создан. Он прошел темный тоннель, в котором гудел ветер, осыпавший его песком. Снова была тьма, и своды, и сквозняки, и, наконец, гладкий пол, освещенный холодным зеленым светом. Там ему показалось, что он видит вдалеке четырех огромных жуков. Издали они были маленькие, как комары. Двигались они парами и везли повозку, а в ней стояла закутанная фигура, неподвижная, высокая, стройная. С невыносимой величавой медлительностью карета миновала его и скрылась. Да, подземелье этого мира — не для человека; но для чего-то оно создано? И Рэнсом подумал: если люди проникнут сюда, может возродиться старьёй обычай убоготворять местных божеств, неведомых обитателей, не оскорбляя Бога, а мудро и вежливо прося прощения за то, что ты вторгся в их владения. Существо в повозке было тварно, как и сам Рэнсом, но здесь, под землей, у него куда больше прав. Во тьме Рэнсом слышал и грохот барабанов — тра-та-та, тра-та-та-та — сперва далеко, потом вокруг себя, потом опять подальше, пока эхо не замерло в черном лабиринте. Встретился ему фонтан холодного света — колонна, сияющая так, словно она из воды, и странно пульсирующая, и не приближавшаяся к нему, сколько он ни шел, и внезапно исчезающая. Он так и не понял, что же это такое. Когда он увидел столько странного, и поразительного, и неприятного, что я и описать не берусь, он поскользнулся во мраке и так же внезапно оказался в воде — волна подхватила его. Он тщетно боролся, его увлекало все дальше и дальше, пока он не решил, что если его и не разобьет о стены, то унесет прямо в огненную бездну. Но тоннель оказался ровным, прямым, течение — не столь уж бурным. Он даже ни разу не ударился, просто лежал на воде, и его несло вперед в гулком мраке. Длилось это долго.

Вы понимаете, конечно, что ожидание смерти, усталость, неумолчный шум совсем сбили его с толку. Он вспоминал потом, что из тьмы его вынесло в какое-то серое пространство, потом — в мешанину голубого, зеленого и белого. Над ним появлялись арки и слабо светящиеся колонны — но расплывались, словно призраки, и он о них забывал. Все это было похоже на ледяную пещеру, только здесь было слишком тепло. Сам потолок как будто струился — должно быть, в нем отражалась река. Через мгновение она вынесла Рэнсома на свет, под открытое небо, и перекувырнула и — ошеломленного, задохнувшегося — оставила в теплой мелкой воде какой-то большой заводи.

Он очень устал и не мог пошевелиться. Воздух, тишина, одинокие крики птиц почему-то подсказали ему, что он — на вершине горы. Наконец он скорее выкатился, чем выполз из заводи на мягкий голубой мох. Оглянувшись, он увидел реку, струящуюся из устья пещеры, которая и впрямь казалась ледяной. У самого выхода вода была пронзительно синей, но тут, рядом с ним, обретала теплый янтарный цвет. Было свежо и влажно. Склон по левую руку порос яркими кустами, а в просветах сверкал, как стекло, но все это его не заинтересовало. Из-под маленьких острых листьев свисали какие-то гроздья, до них можно было дотянуться, не вставая, и он поел, потом заснул, сам того не заметив.

Чем дальше, тем труднее рассказать, что с ним было. Он не знает, сколько дней провел вот так, ел и спал. Вроде бы два дня или три, но зажили все раны, и я думаю, скорее прошло не меньше двух недель. От этого времени, как от младенчества, остались только сны — собственно, он и был младенцем, и вскармливала его сама Венера до той поры, когда он смог подняться. От столь долгого отдыха сохранилось только три впечатления: веселый шум воды, животворящий сок, который он сосал из ягод, просто ложившихся ему в руки, и, наконец, песня! То в воздухе, то в долинах, далеко под ним, звенела она, проникая в сны и встречая по пробуждении. Она была незаконной, как птичье пение, но пела не птица. Звук походил не на флейту, а на вио-

лончель — низкий, глубокий, сочный, нежный, густо-золотистый, страстный даже, но не человеческой страстью.

Он просыпался медленно, и я не могу рассказать с его слов, как стал он замечать то место, в котором лежал. Но когда он наконец отдохнул и исцелился, вот что он увидел. Скала, с которой падала вода, была не ледяная, а из какого-то прозрачного камня. Любой ее осколок был как стекло, но сама она — по-дальше — казалась матовой. Если бы вы вошли в пещеру и обернулись, края арки оказались бы прозрачными, а внутри все было синим. Рэнсом так и не понял, что это за минерал.

Лежал он на синей лужайке, края ее мягко уходили вниз, а по склону, как по ступенькам, уходила вниз река. Холм был усыпан цветами, их раскачивал ветерок. Далеко внизу была лесистая равнина, но склон, огибая ее, уходил еще дальше, а уж там, в неправдоподобной дали, виднелись вершины новых гор и новые равнины, пока все не исчезало в золотистой дымке. По другую сторону долины были огромные горы, просто Гималаи, с алыми вершинами — не красными, как девонширские скалы, а именно алыми, словно их покрасили. И этот цвет, и острота вершин изумляли Рэнсома, пока он не сообразил, что в этом новом мире и горы еще молоды. Кроме того, они могли быть дальше, чем ему казалось.

Слева и сзади все закрывали стеклянные утесы. Справа их было немного, и за ними начинался еще один склон, а шел он вверх. Резкость и четкость очертаний убеждали Рэнсома, что эти горы и впрямь очень молоды.

Если не считать песни, было очень тихо. Он видел птиц, но они летали далеко внизу. На склоне горы справа и, глуше, спереди что-то все время журчало. Поблизости он воды не заметил, если же она текла по-дальше, поток, должно быть, мили в две-три шириной, а такого не бывает.

Пытаясь описать все, я опустил то, что Рэнсом собирал с трудом и долго. Так, здесь часто бывали гуманы, скрывавшие все сочно-желтой или бледно-золотой завесой, словно золотой небосвод опускался совсем близко и проливал на этот мир свои сокровища.

Узнавая все больше об этом месте, Рэнсом заново узнавал и свое тело. Несколько дней он почти не шевелился, даже резкий вздох причинял ему такую боль, что он закрывал глаза. Однако она прошла на удивление быстро. Но как для сильно разбившегося человека настоящая боль просыпается только тогда, когда подживут синяки и ссадины, так и Рэнсом, подлечившись, ощутил, что болит главная рана. Была она в пятке, и, судя по форме, нанесли ее человеческие зубы — наши мерзкие зубы, которые впиваются, рвут, а не режут. Как ни странно, он не помнил, в какой из схваток получил эту рану. Она негноилась, но из нее сочилась кровь, и остановить ее он никак не мог. Правда, это его не беспокоило, его вообще не трогало теперь ни прошлое, ни будущее, словно он уже не умел ни надеяться, ни бояться.

Но прицел день, когда, не собираясь покидать свое озеро — он привык к нему, как к дому, — он все же почувствовал, что должен что-то предпринять. Он провел день за странной работой, которая, однако, казалась ему необходимой. Вещество прозрачных скал было слишком хрупким, он нашел острый камень другой породы, расчистил большую площадку на скале, разметил ее и наконец выбил надпись — на древесосолярном языке, но латинскими буквами:

*В этих пещерах лежит тело Эдварда Ролса Уэстона,
ученого хнау из мира, который его обитатели называют
Теллус, а эльдилы называют Тулкандрой.*

*Он родился, когда мир этот завершил тысяча восемьсот
девяносто шестой оборот вокруг Арбола с того дня, как
Малельдил, благословенно имя его, был рожден как Хнау
на Тулкандре. Он изучал особенности тел и первым из жи-
телей Теллуса совершил путешествие из Нижних небес на
Малакандру и на Переландру, где вручил свой разум и волю
порченному эльдилу, когда Теллус совершал тысяча девять-
сот сорок второй оборот после рождения Малельдила,
благословенно имя его.*

«Зря я это сделал, — удовлетворенно пробормотал он, завершив работу. — Никто никогда этого не прочтет. Но надо же оставить какую-то память. Все-таки он был великим ученым. Да и мне работа на пользу».

Потом зевнул, улегся и проспал еще двенадцать часов.

На следующий день он немного погулял около пещеры. На второй день он чувствовал себя еще лучше. На третий день он был совсем здоров и готов к новым приключениям.

Рано утром он отправился в путь вдоль реки, вниз по склону. Склон здесь был обрывистый, но непрерывный, покрытый мягким мхом, и даже ноги не уставали. Через полчаса, когда вершина соседней горы оказалась так высоко, что уже исчезла из виду, а стеклянные скалы едва светились позади, он набрел на какое-то новое растение. Он увидел целый лес низеньких, в полметра, деревьев, и с их вершин свисали длинные стебли, которые стлались по ветру параллельно земле. Постепенно он забрел по колена в живое море этих стеблей — голубое, гораздо светлее мха. Точнее так: посредине стебель был едва ли не густо-голубым, а ближе к перистым краям — сероватым, до самого нежного оттенка, словно тончайший дымок или облако на Земле. Мягкие, едва ощутимые прикосновения длинных тонких листьев, их тихий певучий шорох, их легкое движение вернули тот торжественный восторг, который он прежде ощущал на Переландре. Теперь он понял, откуда шел странный звук, похожий на журчание воды, и окрестил деревья струйчатыми.

Наконец он устал и прилег, и мир изменился. Теперь стебли и листья струились над головой. Он попал в лес для карликов, под голубую крышу, непрерывно пляшущую, даруя мшистой земле то тень, то свет. Чуть позже он увидел и карликов. Во мху (он был удивительно красив) шныряли существа, которые он сперва принял за насекомых, но, приглядевшись, понял, что это крошечные животные. Да, тут были мышки, прелестные крошечные копии тех, которых он видел на Запретном Острове, размером с пчелу. Были и совсем уж дивные создания, похожие на пони или, скорее, на земного предка лошади, тоже совсем маленькие.

«Как бы мне их не раздавить», — встревожился Рэнсом, но они не так уж кишели и убегали куда-то влево.

Когда он встал, их осталось совсем немного.

Он пошел дальше сквозь карликовый лес (это было немного похоже, будто он катится на водных лыжах, только по древесным верхушкам). Потом начался настоящий, высокий лес, пересекла путь река, он достиг долины и понял, что дальше придется идти по склону вверх. Там была глубокая янтарная тень, торжественные деревья, утесы, водопады, и снова — та дивная песня. Теперь она звучала так громко и так полнозвучно, что Рэнсом свернул в сторону посмотреть, откуда же она доносится, — и оказался в другой части леса, где пришлось пробираться сквозь густые цветущие безобидные заросли. Голову усыпали лепестки, тело блестело от пылицы, все поддавалось под пальцами, каждый шаг пробуждал новые благоухания, на диво, почти до муки прекрасные. Песня звучала очень громко, но кусты росли так плотно, что он ничего перед собой не видел. И вдруг песня оборвалась. Он кинулся на шорох и треск сломанных сучьев, но ничего не нашел. Он решил было отказаться от поисков, и тут песня опять зазвучала чуть подалеже. Он снова пошел на голос, и снова неведомый певец успел от него убежать. Наверное, они играли в прятки не меньше часа, пока эти поиски были вознаграждены.

Когда песня зазвучала особенно громко, он потихоньку подобрался и, отведя рукой цветущую ветвь, увидел в глубине кустов что-то черное. Теперь он двигался вперед, пока существо пело, и замирал на месте, как только оно смолкнет. Минут через десять ему удалось подойти совсем близко, а оно пело, уже не замечая его. Оно сидело по-собачьи, оно было черное, стройное, лоснящееся, очень крупное, гораздо выше Рэнсома. Прямые передние ноги казались деревьями, огромные подошвы были не меньше верблюжьих. Большое округлое брюхо сверкало белизной, шея уходила круто вверх, как у лошади. Голову Рэнсом увидел сбоку — из широко открытой пасти вырывались ликующие звуки, музыка просто струилась по лоснящемуся горлу. С удивлением смотрел он на большие влажные глаза, на нерв-

ные ноздри — и тут существо замолкло, заметило его, отбежало и остановилось, уже на четвереньках, в нескольких шагах. Теперь было видно, что оно не меньше слоненка, а хвост у него длинный и пушистый. Рэнсом подумал, что оно боится его, но оно охотно подошло, когда он его окликнул, ткнулось мягким носом ему в ладонь и терпело, пока Рэнсом его гладил. Едва он убрал руку, оно опять отскочило и даже, склонив длинную шею, спрятало голову в передних лапах. В общем, ничего не вышло, оно исчезло, а Рэнсом не пошел за ним вслед — он уважал его лесную застенчивость, его кротость и дикость и ясно видел, что оно хочет остаться для всех только песней в самой сердцевине заповедного леса. Он пошел дальше, и за его спиной — еще громче, еще радостней — раздалась ликующие звуки, словно странное существо благодарило гимном за вновь обретенное одиночество.

Теперь он прилежно шел вверх и вскоре выбрался из лесу к подножию небольшой горы. Он и тут пошел круто вверх, опираясь порой на руки, но почему-то не уставал. Снова повстречал он карликовые деревья, но теперь, на ветру, стебли струились по склону горы синим водопадом, что течет по ошибке в гору. Когда ветер стихал хотя бы на мгновение, концы стеблей под собственной тяжестью отгибались против течения, словно гребешки волн в бурю. Рэнсом долго шел через этот лес, не чувствуя потребности в отдыхе, но иногда все же отдыхая. Он был уже так высоко, что хрустальные горы вновь оказались в поле зрения, теперь уже под ним. За ними он разглядел множество таких же гор, кончавшихся гладким зеркальным плоскогорьем. Под обнаженным Солнцем нашего мира они были бы до рези яркими, но здесь их мягкое мерцание все время менялось, вбирая в себя те оттенки, которые небо Переландры заимствует у океана. Слева горы были зеленоватые. Рэнсом пошел дальше, и, постепенно оседая, исчезли и горы, и равнина, а за ними поднялось тонкое сияние, как будто аметисты, изумруды и золото обратились в пар и растворились в воздухе. Наконец сияние стало кромкой далекого моря, высоко над горами. Море росло, горы уменьшались, и уже казалось, что горы позади просто ле-

жат в огромной чаше, но впереди был еще нескончаемый склон, то голубой, то лиловый в дымке колеблющихся стеблей. Уже не видна была лесная долина, где он повстречал диковинного певца, и та гора, с которой он отправился в путь, стала маленьким холмом у подножия великого склона, птицы исчезли, ни одно существо не пробежало по карликовому лесу, а Рэнсом все шел вперед и не уставал, только кровь потихоньку сочилась из раны. Он не чувствовал ни страха, ни одиночества, он ничего не хотел и даже не думал, что непременно надо взобраться на гору. Это восхождение было для него не действием, а состоянием, образом жизни, и он был вполне доволен. Однажды ему подумалось, что он уже умер и не устает потому, что у него нет тела. Рана в пятке напомнила ему, что он жив, но и заробное странствие не было бы прекраснее и удивительнее.

Ночь он провел под благоуханной, шелестящей, надежной крышей, а наутро снова пустился в путь. Сперва он пробирался сквозь густой туман. Миновав его, он увидел, что забрался очень высоко — вогнутая чаша моря была уже не только впереди, но и справа, и слева, а на пути к ней, уже совсем близко, оставались светло-алые скалы. Между двумя передними скалами был проход, в глубине его виднелось что-то мягкое, пушистое. И тут странные чувства овладели им — он знал, что должен войти в тайную ложбинку, которую стерегут эти скалы, и знал, что не смеет туда войти. Ему мерещился ангел с огненным мечом, но он знал, что Малельдил велит ему идти.

«Это самый благочестивый и самый кошунственный поступок», — думал он и шел вперед.

Он уже был в проходе. Скалы оказались не алыми — они были сплошь покрыты цветами вроде лилий, но цвет у них был как у роз. Вскоре он уже, ступая по цветочному ковру, доптал их на ходу, и только здесь стала незаметна кровь, сочившаяся из раны.

Пройдя между двумя скалами, он глянул вниз — вершина горы образовала неглубокую чашу — и увидел маленькую долину, такую же заповедную, как небесная долина среди облаков. Она была чистейшего алого цвета, ее окружали горы, а по-

середине лежало озеро, тихое и чистое, как золото здешнего неба. Алые лилии устлали ее, очерчивая все выступы и закутки. Медленно, трепетно, с трудом он прошел еще несколько шагов. У кромки воды он увидел что-то белое. Что это, алтарь или белые цветы среди алых? Могила? Чья же? Нет, не могила, гроб пустой и открытый — крышка лежала рядом.

Он понял. Гроб был точно такой, как тот, в котором он, силой ангелов, переместился с Земли на Венеру. Значит, он в нем вернется. С тем же чувством он мог сказать: «Это для моих похорон». И тут обнаружил: что-то странное случилось с цветами, и со светом, и с воздухом. Сердце забилося сильнее, вернулось странное знакомое ощущение, что он вдруг уменьшился, — и он ясно понял, что предстоит двум эльдилам. Он стоял и молчал. Не ему подобало говорить первым.

Глава 16

Голос, ясный, как далекий звон колоколов, бесплотный голос послышался в воздухе — и Рэнсома охватила дрожь.

— Они ступили на сушу и начинают восхождение, — сказал голос.

— Сын Адама уже здесь, — сказал другой.

— Взгляни на него и возлюби, — сказал первый. — Он всего только прах, наделенный дыханием, и, едва коснувшись, мы его погубим. К лучшим его помыслам примешиваются такие, что, помысли мы это, свет наш угаснет. Но тело его — тело Малельдила, и грехи его прощены. Даже имя его на его языке — Элвин, друг эльдилов.

— Как много ты знаешь! — сказал второй голос.

— Я был внизу, в воздушной оболочке Тулкандры, — сказал первый, — которую сами они зовут Землею. Воздух этот полон темных существ, как Глубокие Небеса — светлых. Я слышал, пленники говорят там на разных, разобщенных языках, и Элвин научил меня различать их.

По этим словам Рэнсом угадал, что это — Уарса Малакандры, великий владыка Марса. Голоса он узнать не мог, он у всех

эльдилов одинаковый, речь их достигает нашего слуха не благодаря естеству — легким и устам, но благодаря особому умению.

— Если можно, Уарса,— сказал Рэнсом,— поведай мне, кто твой спутник.

— Уарса — она,— ответил голос.— Здесь это не мое имя. Я Уарса там, у себя, здесь я только Малакандра.

— А я — Переландра,— сказал другой голос.

— Не понимаю,— сказал Рэнсом.— Королева говорила мне, что в этом мире нет эльдила.

— До сегодняшнего дня они не видели моего лица,— сказал второй голос.— Оно отражалось в небесном своде, в воде, в пещерах и деревьях. Мне не велено править ими, но, пока они были юны, я правила всем остальным. Я сделала этот мир круглым, когда он вышел из Арбола. Я спряла воздух вокруг него и выткала свод. Я сложила неподвижные земли и священную гору, как научил меня Малельдил. Все, что поет, и все, что летает, и все, что плавает на моей груди, и все, что ползет и прокладывает путь внутри меня,— было моим. Ныне все это взяли у меня. Благословенно имя Его!

— Сын Адама не поймет тебя,— сказал повелитель Малакандры.— Он думает, что для тебя это горестно.

— Он так не говорил, Малакандра.

— Да, не говорил. Есть и такая странность у детей Адама.

Они немного помолчали, потом Малакандра обратился к Рэнсому:

— Ты лучше поймешь это, если сравнишь с чем-нибудь в вашем мире.

— Я думаю, что понял,— сказал Рэнсом.— Одна из притч Малельдила научила нас. Так становятся взрослыми дети славного дома. Тех, кто заботился об их богатствах, они, быть может, и не видели, но теперь те приходят, отдают им все и вручают ключи.

— Ты понял хорошо,— сказала Переландра.— Так поющее создание покидает немую кормилицу.

— Поющее? — переспросил Рэнсом. — Расскажи о нем побольше.

— У них нет молока, их детенышей вскармливает самка другого вида. Она большая, красивая и немая. Пока детеныш сосет молоко, он растет вместе с ее детьми и слушается ее. Когда он вырастает, он становится самым прекрасным из всех созданий и покидает ее. А она дивится его песне.

— Зачем Малельдил это сделал? — спросил Рэнсом.

— Спроси, зачем Малельдил создал меня, — отвечала Переландра. — Достаточно сказать, что их повадки многому научат моего Короля и мою Королеву и их детей. Но час пробил, и об этом довольно.

— Какой час? — спросил Рэнсом.

— Настало утро, — сказал один из голосов или оба голоса.

Было тут и что-то большее, чем звуки, и сердце у него быстро забилось.

— Утро? — спросил он. — Значит, все в порядке? Королева нашла Короля?

— Мир родился сегодня, — сказал Малакандра. — Сегодня впервые существа из Нижнего мира, образы Малельдила, рождающиеся и дышащие, как звери, прошли ту ступень, на которой пали ваши предки, и воссели на троне, который им уготован. Такого еще не бывало. Такого не было в твоём мире. Свершилось лучшее, величайшее, но не это. И потому, что великое свершилось там, это, иное, свершилось здесь.

— Элвин падает наземь, — сказал другой голос.

— Успокойся, — сказал Малакандра, — это не твой подвиг. Ты не велик, хотя сумел предотвратить столь ужасное дело, что дивятся Глубокие Небеса. Утешься, сын Адама, в своей малости. Он не отягощает тебя заслугой. Принимай и радуйся. Не бойся, что твои плечи понесут тяжесть этого мира. Смотри! Он — под тобою и несет тебя.

— Они сюда придут? — спросил Рэнсом немного спустя.

— Они уже поднялись высоко на гору, — сказала Переландра, — и час настал. Пора создать наш облик. Им трудно видеть нас, когда мы такие, как мы есть.

— Прекрасно сказано. — откликнулся Малакандра. — В каком же виде следует нам предстать, чтобы почтить их?

— Предстанем перед сыном Адама, — сказал другой голос. — Он человек и может объяснить нам, что приятно их чувствам.

— Я вижу... я различаю что-то и сейчас, — сказал Рэнсом.

— Разве должен Король напрягать глаза, чтобы увидеть тех, кто почит его? — возразил владыка Переландры. — Посмотри вот на это.

Очень слабый свет, какой-то сдвиг в самом зрении значил, вероятно, что эльдины исчезли. Исчезли и алые скалы, и тихое озеро. Потом на Рэнсома обрушился шквал поистине диких предметов. Колонны, усеянные глазами, вспышки огня, когти, клювы, огромные снежинки самой странной формы летели в черную пустоту.

— Хватит! Не могу! — возопил Рэнсом — и все исчезло.

Моргая, он оглядел алую лужайку и сказал эльдилам, что такое человеку не вынести.

«Тогда посмотри вот на это», — вновь откликнулись оба голоса.

Он взглянул без особой охоты — и на другой стороне долины показались два колеса. Просто катились колеса, одно внутри другого, очень медленно. В них не было ничего ужасного, разве что размер, — но не было и смысла. Рэнсом попросил попробовать в третий раз. И вдруг перед ним, по ту сторону озера, выросли две человеческие фигуры.

Они были выше сорнов — гигантов, которых он видел на Марсе. Их рост достигал тридцати футов. Они были раскаленно-белыми, как железо в горне. Очертания их на фоне алых цветов были чуть-чуть изменчивы, текучи, словно постоянство формы поддерживалось стремительным движением материи, как в водопаде или в языках пламени. По краю шла прозрачная кромка, в полдюйма толщиной, сквозь нее был виден пейзаж, внутри же тела уже не пропускали света.

Пока Рэнсом глядел только на них, он видел, что они мчатся к нему со сверхъестественной скоростью; переведя взгляд, он понял, что они стоят на месте. Заблуждение это отчасти объ-

яснялось тем, что длинные сверкающие волосы отлетали назад, словно их отбросил сильный встречный ветер, но если ветер и был, то какой-то особый, ибо лепестки цветов не шевельнулись. Стояли тела не совсем вертикально, не под прямым углом, а Рэнсому казалось (как мне показалось на Земле), что косо, под углом легла им под ноги Переландра. Он вспомнил, как Уарса говорил ему: «Я здесь не в том же смысле, что ты». Эльдилы в самом деле двигались, но не по отношению к нему. Пока он на этой планете, она, конечно, — его мир, неподвижный, даже единственный, а вот для них она движется в глубине небес. В своей системе движения они должны мчаться вперед, чтобы устоять на месте. Если б они стояли тихо, их отбросило бы и вращенье планеты, и ее движение вокруг Солнца.

Рэнсом говорил, что их тела были белыми, а выше плеч начиналось разноцветное сияние, заливало лицо и шею и окружало голову, словно перья или нимб. Он сказал мне, что помнит эти цвета, то есть узнал бы их, если бы вновь увидел, но никаким усилием памяти не может их представить. Те немногие, с кем мы могли это обсудить, дают одно и то же объяснение: вероятно, сверхъестественные существа, являясь нам, воздействуют не на сетчатку глаза, а напрямую возбуждают зрительные центры мозга. Если это так, вполне возможно, мы испытываем именно то, что видели бы, если бы воспринимали цвета, выходящие за пределы спектра. Плюмаж или нимб у эльдилов был *разный*. Малакандра сиял холодным утренним светом с металлическим оттенком, чистым и ясным. У Переландры сияние было мягкое, теплое, напоминавшее, скажем, о пышном букете цветов.

Рэнсома удивили их лица — очень уж были они непохожи на привычных «ангелов». В них не было той сложности, изменчивости, того намека на скрытые возможности, которые так притягивают нас в человеческом лице. Они не менялись, и выражение их было так отчетливо, что он с трудом на них смотрел. В этом смысле они были примитивны, неестественны, как очень древние греческие статуэтки. Рэнсом не знал, что означает такое выражение лица, и решил наконец, что это милосердие. Но

оно было до удивления, до ужаса непохоже на здешнее милосердие, наше, которое рождается из чувства или спешит выразиться в нем. Здесь не было даже следа того, что чувствовали хоть миллионы лет назад, даже зародыша того, что почувствуют в самом далеком будущем. Чистая, духовная, умная любовь сияла на этих лицах и просто была в глаза, как обнаженный свет. Это было так не похоже на земную любовь, что могло показаться жестокостью.

Оба тела были обнажены. Половых признаков не было — ни первичных, ни вторичных. Казалось бы, это неудивительно — но почему тогда они все же разные? Рэнсом снова и снова пытался — и не смог сказать, в чем же именно эта разница; но она была. Он сравнивал Малакандру с ритмом, а Переландру — с мелодией. Он говорил, что Малакандра похож на тонический стих, а Переландра — на силлабический. В руках Малакандры ему мерещилось копье, руки Переландры были раскрыты ладонями к нему. По-моему, это ничего не объясняет. Во всяком случае, Рэнсом узнал, что такое род. Люди часто гадают, почему во многих языках неодушевленные предметы различаются по роду. Почему утес — мужского рода, а гора — женского? Рэнсом сказал мне, что это не чисто грамматическое явление, зависящее от формы слова, и не распространение наших полов на неодушевленный мир. Наши предки говорили об утесе «он» не потому, что приписали ему мужские признаки. Все было наоборот: род — первичная реальность, пол — вторичная. Полярность, присущая всему сотворенному миру, проявляется в органической жизни как пол, но это лишь одно из многих ее проявлений. Мужской и женский род — это не поблекший пол, напротив, пол животных — слабое отражение той, основной полярности. Роль в размножении, слабость, сила лишь отчасти отражают — а отчасти и заслоняют ее. Все это Рэнсом увидел собственными глазами. Оба существа перед ним были бесполой. Но Малакандра, без всяких сомнений, был мужского рода (не пола!), Переландра — женского. Малакандра как бы стоял во всеоружии на страже своего древнего мира, вечно бодрствуя, вглядываясь туда, откуда однажды пришла гибель. «Взгляд

как у моряка, — говорил мне Рэнсом. — Ну, понимаете... глаза устали смотреть вдаль. А у Переландры глаза глядели сюда, вот сюда, в ее собственный мир волн, и лепета, и ветра, мир жизни, парящей в воздухе, мягко опускавшейся на мшистые камни, выпавшей в росе, поднимавшейся с туманами к солнцу. На Марсе и леса были каменные, на Венере сама земля плыла». Рэнсом уже не называл их Малакандрой и Переландрой, он вспомнил их земные имена. Все больше дивясь, он повторял: «Глаза мои видели Марса и Венеру, Ареса и Афродиту». Он спросил их, как узнали о них древние поэты Земли. Откуда услышали дети Адама, что Марс был воином, Афродита родилась из пены морской? Ведь Враг захватил Землю еще до начала человеческой истории. Богам там нечего было делать. Откуда же мы знаем о них? Они отвечали, что знание приходит на Землю кружным путем и через многих посредников. Космос — не только пространство, но и разум. Вселенная едина, это — сеть, где каждый разум соединен со всеми, цепочка вестей, где нет и не может быть секретов, разве что Малельдил строго прикажет хранить тайну. Конечно, проходя по цепи, вести искажаются, но не пропадают. В разуме падшего эльдила, захватившего нашу Землю, по-прежнему жива память о прежних товарищах. Само вещество нашего мира хранит общую память — она таится в пещерах, звенит в воздухе. Музы на самом деле есть. Легчайший вздох, говорил Вергилий, достигает грядущих поколений. Основания нашей мифологии прочнее, чем мы думаем, и все же она очень и очень далека от правды. Тут Рэнсом и понял, почему мифология — именно такая: ведь искры небесной силы и красоты падают в болото грязи и глупости. Он мучительно покраснел — ему стало стыдно за людей, когда он взглянул на подлинного Марса и подлинную Венеру и вспомнил, что рассказывают о них на Земле. Вдруг сомнение коснулось его.

— Вижу ли я вас такими, какие вы есть?

— Только Малельдил видит Свое создание как оно есть, — ответил Марс.

— А как вы видите друг друга? — спросил Рэнсом.

— Твоему разуму не вместить ответа, — сказали они.

— Значит, мне открыта лишь видимость? Вы совсем не такие?

— Все, что дано тебе, лишь видимость. Ты знаешь только видимость, а не солнце, не камень, не собственное тело. То, что ты видишь сейчас, так же подлинно, как и все остальное.

— Но ведь... вы только что появлялись в других обликах.

— Нет. Это были просто неудачные попытки.

— Я не понимаю,— настаивал Рэнсом.— То, что я видел раньше, все эти глаза и колеса — истинней вот этого?

— В твоём вопросе нет смысла,— сказал Марс.— Ты видишь камень, если не слишком далеко от него и ваши скорости не слишком различны. Но что ты увидишь, если камень кинут тебе в глаз?

— Я почувствую боль и увижу какие-то пятна,— ответил Рэнсом.— Но я не назову их камнем.

— Однако это камень воздействует на твой глаз. Вот и все. Просто сейчас мы на правильном расстоянии.

— А вначале вы были ближе?

— Я не о том.

— И все же, Малакандра,— продолжал Рэнсом,— я думал, что твой обычный облик — тот слабый свет, который я видел в твоём мире. Что же это было?

— Этого хватало, чтобы нам говорить с тобой. Больше ничего и не требовалось, не требуется и сейчас. Но мы хотим почтить Короля. Слабый свет — в мире твоих чувств эхо или оглолосок облика, в котором мы обычно являемся друг другу или старшим эльдилам.

В этот миг Рэнсом услышал за спиной странный шум — беспорядочные, торопливые звуки ворвались в молчание гор и перебили чистые голоса богов приветливым шумом животной жизни. Рэнсом оглянулся. Бегом и ползком, скача и прыгая, катясь, скользя, шурша, словом — всеми мыслимыми способами, в долину ворвались бесчисленные звери и птицы всех размеров и расцветок. Двигались они попарно, самец и самка, играя друг с другом, гоняясь друг за другом, забираясь друг другу на спину, проползая под брюхом, хватая за хвост. Пылающие перья,

золоченые клювы, лоснящиеся спины, влажные глаза, красные пещеры разинутых пастей, заросли хвостов окружили его со всех сторон.

«Ноев ковчег,— подумал он и добавил уже всерьез: — А впрочем, ковчег здесь не потребуется».

Почти оглушительно зазвучала ликующая песнь четырех поющих созданий. Переландра отгоняла животных и птиц на одну сторону озера, другая сторона оставалась пустой, если не считать белого саркофага. Рэнсом не совсем понимал, говорит ли она что-то, и вообще замечают ли ее все эти твари. Может быть, ее отношения с ними гораздо тоньше, совсем иные, чем между такими же тварями и Королевой. Оба эльдила перешли сюда, к нему. И они, и Рэнсом, и все твари глядели теперь в одну сторону. Все обретало какой-то строгий лад — на самом берегу стояли эльдилы; между ними, чуть позали, сидел среди цветов Рэнсом; дальше, сидя по-собачьи, пели поющие создания, вознецающая радость всем, кто имеет уши: а уж за ними расположились остальные. Все это уже походило на торжественную церемонию. Ждать было нелегко, и по глупой человеческой привычке Рэнсом спросил, просто так, ни для чего:

— Как же они успеют вернуться отсюда до ночи?

Никто не ответил. Ему и не нужен был ответ. Он откуда-то знал, что эта земля и не была запретной, а единственная цель запрета на другие земли — привести Короля с Королевой сюда, к назначенному им престолу. Вместо ответа боги сказали: «Молчи».

Глаза его так привыкли к мягкому свету Переландры, что он уже не отличал его от яркого земного дня. Поэтому он с изумлением увидел, как горы на той стороне долины потемнели, словно за ними начиналась наша, земная заря. Через мгновение по земле пролегли четко очерченные тени, длинные, как тени раннего утра, и у каждой твари, у каждой горы, у каждого цветка появилась темная и светлая сторона. Свет поднимался по склону горы, свет заполнял долину. Тени исчезли. Воцарился дневной свет, идущий неведомо откуда. Рэнсом узнал и запомнил, как свет покоится на святыне, но не исходит от нее.

Свет достиг совершенства и замер, покойно, как король на престоле, как вино в кубке. Он наполнил цветущую чашу долины, он наполнил все и осветил святая святых, самый рай в двух лицах. Двое шли рука об руку. Сияя, как изумруды (блеск не мешал смотреть), — они вышли из прохода между двумя горами и застыли на мгновение. Мужчина поднял руку, приветствуя поданных, как царь, и благословляя их, как жрец. Они прошли еще несколько шагов, остановились по ту сторону озера, и боги опустили на колени, стигая высокие тела перед маленькими фигурками Короля и Королевы.

Глава 17

На вершине горы наступило великое молчание, и Рэнсом пал ниц перед царственной четой. Когда он поднял глаза, он заговорил почти против воли, и голос его звучал надтреснуто, глаза застлал туман.

— Не уходите, не покидайте меня, — сказал он. — Я никогда еще не видел ни мужчины, ни женщины. Я прожил жизнь среди теней и разбитых слепков. Отец мой и Мать, Господин мой и Госпожа, не уходите, не отвечайте мне. Я не видел ни отца, ни матери. Примите меня в сыновья. Мы долго были одиноки там, в нашем мире.

Глаза Королевы смотрели на него приветливо и нежно, но не о ней он думал. И впрямь, нелегко было думать о ком-то, кроме Короля. Как опишу его я, когда я его не видел? Даже Рэнсом с трудом объяснял, каким было это лицо. Но я не посмею скрыть правду. Это лицо знакомо каждому человеку. Вы вправе спросить, можно ли взглянуть на это лицо и не впасть в грех идолопоклонства, не принять образ и подобие за Самого Господа? Настолько сильным было сходство, что вы удивлялись, пусть мгновение, не видя скорби на челе и ран на теле. И все же ошибки быть не могло, никто бы не спутал создание с Создателем и не воздал бы ему неподобающую почесть. Да, чем больше было сходство, тем меньше — возможность ошибиться. Наверное, так бывает всегда. Мы примем за человека высокую

куклу, но не портрет, написанный великим мастером, хотя он гораздо больше похож. Статуям нередко поклоняются так, как следует поклоняться Подлиннику. Но этот живой образ Создателя, подобный Ему изнутри и снаружи, созданный Его руками, Его великим мастерством, автопортрет из Его мастерской, призванный поразить и порадовать все миры, двигался и говорил здесь и сейчас; и Рэнсом знал, что это — не Подлинник. Что там, сама красота его была в том, что он только похож, что он — копия, эхо, дивный отзвук нетварной музыки в тварном создании.

Рэнсом растерялся, удивился и, когда пришел в себя, услышал голос Переландры, заканчивавшей, видимо, длинную речь. Она говорила:

— Плывущую землю и Твердую Землю, воздух и завесу Глубокого Неба, море и Святую Гору, реки наверху и реки под землей, огонь и рыб, птиц и зверей и те водные творения, которых ты еще не знаешь, — все это Малельдил передает под твою руку, с этого дня, на всю твою жизнь, и дальше, дальше. Отныне мое слово — ничто, твое — неотменимо, ибо оно — дитя Его Слова. Весь мир, весь круг, совершаемый этой планетой, — твой, и ты здесь — Уарса. Радуйся ему. Дай имя всем тварям и веди их к совершенству. Укрепи слабого, просвети темного и люби всех. Слава вам, Мужчине и Женщине, Уарсе Переландры, Адаму, Венцу, Тор и Тинидрилю, Бару и Баруа, Аску и Эмбла, Ятсуру и Ятсура, любимые Малельдилом, благословенно имя Его!

Король начал свой ответ, и Рэнсом вновь осмелился взглянуть на него. Чета сидела теперь на берегу озера. Свет был так ярок, что отражение было чистым и ясным, как у нас, на Земле.

— Мы воздаем благодарность тебе, кормилица, — говорил Король, — мы благодарим тебя за этот мир, который ты творила много столетий как верная рука Малельдила, чтобы он ждал нас, когда мы проснемся. До сих пор мы не знали тебя. Мы часто гадали, чью же руку видим в высоких волнах и веселых островах, чье дыхание чувствуем в утреннем ветре. Мы были молоды, но мы догадывались, что, говоря: «Это сделал Малельдил», мы говорим правду, но не всю. Мы получили этот мир, и радость

наша тем больше, что это и Его подарок, и твой. Чего же Он хочет от тебя теперь?

— Того, чего захочешь ты, Тор-Уарса, — ответила Переландра. — Я могу уйти в Глубокие Небеса, а могу быть и здесь, в твоём мире.

— Я хочу, чтобы ты осталась с нами, — сказал Король, — и ради той любви, которую мы к тебе питаем, и ради тех советов, которыми ты укрепишь нас. Наш мир совершит еще много оборотов вокруг Арбола, прежде чем мы сумеем по-настоящему править землей, врученной нам Малельдиллом. Пока еще мы не можем нести этот мир в небе, управлять дождем и ветром. Если тебе не трудно, останься.

— Я очень рада, — ответила Переландра.

Беседа продолжалась, а Рэнсом все дивился тому, что разница между людьми и эльдилами не нарушает дивного лада. Вот чистые, хрустальные голоса и неподвижные мраморные лица; вот плоть и кровь, улыбка на устах, сиянье глаз, мощь мужских плеч, чудо женской груди, слава мужества и полнота женственности, неведомые на Земле. И все же, когда они рядом, ангелы не призрачны, люди — преисполнены животной, плотской жизни. Он вспомнил старое определение человека — «разумное животное». Только теперь он увидел жизнь, наделенную разумом. Он увидел Рай, он увидел Короля с Королевой, и они разрешили противоречие, стали мостом через бездну, замковым камнем в своде творенья. Они вошли в эту долину, и сомкнулась цепь — теплое животное тело зверей, стоявших у него за спиной, и бестелесный разум ангелов, стоявших перед ним. Они замкнули круг, и разрозненные ноты мощи и красоты зазвучали единой мелодией. Теперь говорил Король.

— Это не только дар Малельдила, но и твой, — сказал он. — Малельдил дает его через тебя и еще через одного посредника, и потому этот дар вдвое, нет — втрое прекраснее и богаче. И вот мой первый указ, первое слово Уарсы: до тех пор, пока стоит наш мир, каждое утро, каждый вечер и мы, и все дети наши будем говорить Малельдилу о Рэнсоне с Тулкандры, напоминать о нем друг другу и хвалить. Ты, Рэнсом, назвал нас Гос-

подином и Госпожой, Отцом и Матерью. Верно, это — наши имена. Но в ином смысле мы назовем тебя Отцом и Господином. Малельдил послал тебя в наш мир, когда кончилась наша юность, и теперь мы пойдем дальше, вверх или вниз, к гибели или к совершенству. Малельдил привел нас туда, куда пожелал, но главным Его орудием был ты.

Они велели ему перейти через озеро, к ним, — вода была только по колено. Он хотел снова пасть перед ними, но они не позволили. Король и Королева поднялись ему навстречу, обняли его, поцеловали как равного — сердце к сердцу, уста к устам. Они хотели, чтобы он сел между ними, но, увидев его смущение, не стали настаивать. Он сел у их ног на землю, чуть-чуть левее, и видел оттуда высоких ангелов и диковинных зверей. Теперь заговорила Королева.

— Как только ты увел Злого, — сказала она, — а я проснулась, разум мой прояснился, и я удивилась, как молоды были мы с тобою все эти дни. Ведь запрет очень прост. Я хотела остаться на Твердой Земле только потому, что она неподвижна. Там я могла бы решать, где проведу завтрашний день. Я бы уже не плыла по течению, я вырвала бы руку из руки Малельдила, я сказала бы «не по-Твоему, а по-моему», и своей властью решала бы то, что должно принести нам время. Это все равно что запастись плодами на завтра, когда можно найти их утром на дереве и снова за них поблагодарить. Какая же это любовь, какое доверие? Как выбрались бы мы вновь к настоящей любви и вере?

— Я понимаю, — сказал Рэнсом. — Правда, в моем мире тебя назвали бы легкомысленной. Мы так долго творили зло... — Тут он запнулся, не зная, поймут ли его, и удивляясь, что он произнес на их языке слово, которого вроде бы не слышал ни на Марсе, ни на Венере.

— Теперь мы знаем это, — сказал Король. — Малельдил открыл нам все, что произошло в вашем мире. Мы узнали о зле, но не так, как хотел Злой. Мы узнали и поняли зло гораздо лучше — ведь бодрствующий поймет сон, а спящий не поймет яви. Пока мы были молоды, мы не знали, что такое зло, но еще мень-

ше знают о нем те, кто его творит, — ведь человек во сне забывает то, что он знает о снах. Теперь вы на Тулкандре знаете о нем меньше, чем знали ваши Отец и Мать, пока не стали творить его. Но Малельдил рассеял наше невежество, и мы не впали в вашу тьму. Сам Злой стал Его орудием. Как мало знал этот темный разум, зачем он прилетел на Переландру!

— Прости мне мою глупость, Отец, — сказал Рэнсом. — Я понимаю, как все узнала Королева, но хотел бы услышать и о тебе.

Король рассмеялся. Он был высок и могуч, и смех его подходил на землетрясение. Смеялся он долго и громко, пока не расхохотался и Рэнсом, сам не зная почему, и вместе с ними смеялась Королева. Птицы захлопали крыльями, звери завиляли хвостами, свет стал ярче, и всех охватила радость, неведомая на Земле, подобная небесному танцу или музыке сфер. Некоторые полагают, что это — не подобие, а тождество.

— Я знаю, о чем думает Пятнистый, — сказал Король Королеве. — Он думает, что ты страдала и боролась, а я получил целый мир даром. — Тут он обернулся к Рэнсому. — Ты прав, — сказал он, — теперь я знаю, что говорят там, у вас, о справедливости. Так и надо, ведь на Земле вечно падают ниже нее. А Малельдил — выше. Все, что мы получаем, — дар. Я — Уарса, и это подарок не только Его, но и нашей кормилицы, и твой, и моей жены, и птиц, и зверей. Многие вручают мне этот дар, и он становится стократ дороже от вложенных в него трудов и любви. Таков Закон. Лучшие плоды срывает для тебя чужая рука.

— И потом, это не все, Пятнистый, — заговорила Королева. — Малельдил перенес Короля далеко, на остров в зеленом океане, где деревья растут прямо со дна сквозь волны...

— Имя ему — Лур, — сказал Король.

— Имя ему — Лур, — повторили эльдилы, и Рэнсом кряхтел, что Король не уточнял слова Королевы, а дал острову имя.

— И там, на Луре, далеко отсюда, — сказала Королева, — произошли удивительные вещи.

— Можно спросить, какие? — откликнулся Рэнсом.

— Много всего было, — сказал Тор. — Много часов я изучал фигуры и формы, чертя их на песке. Много часов узнавал

я то, чего не знал о Малельдиле, о Его Отце и о Третьем. Мы мало знали об этом, пока были молоды. Потом Он показал мне во мраке, что происходит с Королевой, и я знал, что она может пасть. А еще позже я узнал, что произошло в твоём мире, как пала твоя Мать, а твой Отец последовал за ней и не помог этим ей, а детям своим — повредил. И я словно должен был решить... решить, что сделал бы я. Так я узнал о Добре и Зле, о скорби и радости.

Рэнсом надеялся, что Король скажет, как он принимал решение, но тот задумался, умолк, и он не посмел задать новый вопрос.

— Да, — медленно заговорил Король. — Даже если человек будет разорван надвое... если половина его станет прахом... та половина, что останется жить, должна идти за Малельдилем. Ведь если и она погибнет, станет прахом, на что же надеяться целому? А пока хоть одна половина жива, Малельдил может через нее спасти и другую. — Он замолчал надолго, потом проговорил гораздо быстрее: — Он не давал мне никаких гарантий. Твердой Земли нет. Бросайся в волны и плыви, куда несет волна. Иначе не бывает.

Тут чело его прояснилось, и голос его окреп. Он обратился к эльдилам.

— Кормилица, — сказал он, — мы и вправду нуждаемся в твоих советах. Тела наши сильны, а мудрость еще совсем юна. Мы не всегда будем прикованы к низшему миру. Слушайте второй завет, который я произношу как король Тор, Уарса Переландры. Пока этот мир не совершит вокруг Арбола десять тысяч оборотов, мы будем судить с наших престолов и ободрять наш народ. Имя этому месту — Таи Харендримар, Гора жизни.

— Имя ему — Таи Харендримар, — откликнулись эльдилы.

— На Твердой Земле, которая была запретной, — продолжал, король Тор, — мы устроим большой храм во славу Малельдила. Наши сыновья изогнут столпы скал в арки...

— Что такое «арки»? — спросила королева Тинидриль.

— Арки, — ответил король Тор, — это ветви каменных столпов, которые встретились друг с другом, а наверху у них корона,

только вместо листьев — обработанные камни. И наши сыновья изготовят изображения...

— Что такое «изображения»? — спросила Тинидриль.

— Клянусь славой Небес! — воскликнул Король и рассмеялся. — Кажется, здесь, у нас, слишком много новых слов. Я думал, все они попали ко мне из твоих мыслей, а ты вот их и не знаешь. И все же я думаю, Малельдил передает мне их через тебя. Я покажу тебе изображения, я покажу тебе дома. Быть может, здесь мое и твое естество меняются местами и начинаешь ты, а я — рождаю. Но поговорим о более простых делах. Этот мир мы заселим своими детьми. Мы узнаем его глубины. Лучших из зверей мы сделаем такими мудрыми, что они уподобятся хнау и обретут речь. Они пробудятся к новой жизни вместе с нами, как мы пробудились с Малельдилом. Когда исполнятся сроки и десять тысяч оборотов подойдут к концу, мы снимем завесу Небес, и наши дети увидят глубины неба, как видим мы деревья и волны.

— Что же будет потом? — спросил Малакандра.

— Потом, по воле Малельдила, мы освободимся от Нижнего мира. Наши тела станут другими, но изменится не все. Мы станем как эльдилы, но не совсем. И так изменятся все наши сыновья и дочери, когда придет полнота времен и детей наших станет столько, сколько должно их быть по замыслу, который Малельдил прочел в разуме Своего Отца до того, как потекло время.

— И это будет конец? — спросил Рэнсом.

Король сурово посмотрел на него.

— Конец? — переспросил он. — Что же кончится?

— Твой мир, — отвечал Рэнсом.

— Силы небесные! — воскликнул Тор. — Как отличаются твои мысли от наших. Скорее уж тогда все начнется. Но прежде чем придет настоящее начало, надо будет уладить еще одно.

— Что же? — спросил Рэнсом.

— Твой мир, — ответил Тор, — Тулкандру. Прежде чем придет настоящее начало, твой мир надо освободить, стереть чер-

ное пятно. В те дни Сам Малельдил выйдет на бой: и в нас, и во многих, кто был хнау там, у вас, и в тех, кто был хнау в других мирах, и во многих эльдилах явит Он Свою силу, и наконец Он Сам придет на Тулкандру. Я думаю, Малакандра, мы с тобой будем среди первых. Сперва мы разрушим Луну — оплот темного князя, его щит, на котором видны шрамы от многих ударов. Мы разобьем ее, и осколки падут на Землю, и от Земли поднимется дым, так что в эти дни обитатели Тулкандры уже не увидят свет Арбола. И чем ближе будет Малельдил, тем явственней станут темные силы твоего мира, чума и война пожрут там моря и земли. Но в конце концов все очистится, вы забудете о вашем темном Уарсе, и мир твой станет светлым и радостным, воссоединившись со всем кругом Арбола, и вновь назовется своим подлинным именем. Неужто вы на Тулкандре никогда не слышали об этом? Неужели вы думали, что ваш мир навсегда останется добычей Темного Князя?

— Мало кто думает об этом, — откликнулся Рэнсом. — Многие еще хранят это знание, но я не сразу понял тебя, потому что ты назвал началом то, что мы привыкли называть концом света.

— Это не самое начало, — ответил Король. — Это правильное начало, и ради него надо забыть то, неверное, чтобы мир начался по-настоящему. Если человек ляжет спать и почувствует под боком корягу, он проснется, устроится иначе — и тогда уж заснет как следует. Отправившись в путь, можно сделать неверный шаг — и поправиться, и пойти куда нужно; тогда путь и начнется. Неужели ты назовешь это концом?

— И к этому сводится история моего рода? — спросил Рэнсом.

— Вся история Нижнего мира — только начало, — ответил Король, — а история твоего мира — к тому же начало неудачное. Ты ждешь вечера, а еще не наступило утро. Я положил десять тысяч лет на приготовление — я, первый в своем роде, а род мой — первый род Начала. Когда младший из моих детей станет взрослым и наша взрослая мудрость распространится по Нижнему миру, только тогда приблизится Утро.

— Я полон сомнений и страха, — сказал Рэнсом. — В нашем мире те, кто верит в Малельдила, верит и в то, что Его приход к нам в облике человека был главным из всего, что было. Если ты отнимешь у меня и это, что же останется мне? Враг отбрасывал мой мир в дальний жалкий угол и давал мне взамен Вселенную без центра, со множеством и множеством миров, которые никуда не ведут или — что гораздо хуже — ведут ко все новым мирам. Он явил мне бессмысленные числа, пустое пространство, вечные повторения, чтобы я склонился перед масштабом. Неужели ты скажешь, что центр — в твоём мире? А жители Малакандры? Разве и они не поставят в центр свой собственный мир? Да и в самом ли деле этот мир — твой? Ты родился вчера, а он древний. Он почти целиком состоит из воды, где ты жить не можешь. А как же все то, что под оболочкой, в глубине? Кому принадлежит та пустота, где нет ни одной планеты? Что же возразить Врагу, когда он говорит, что во всем этом нет ни замысла, ни цели? Только я увижу цель, как она превращается в ничто, в иную цель, о которой я и не думал, и то, что было центром, становится обочиной, и так все время, пока мы не поверим, что любой план, любой узор, любой замысел — только обман глаз, слишком долго высматривавших надежду. К чему все это? О каком утре ты говоришь? Что с него начнется?

— Великая игра, — отвечал король Тор, — Великий танец. Я еще мало знаю о нем. Пусть скажут эльдилы.

Рэнсом услышал голос, который показался ему голосом Марса, но он не был уверен. Тут же присоединился другой голос, его Рэнсом узнать не смог. Начался странный разговор, в котором Рэнсом не различал, какие слова произносит он сам, какие — кто-то из собеседников; какие — человек, а какие — эльдилы. Речь сменяла одна другую — если, конечно, не звучали все сразу, — словно играли пять инструментов или ветер колебал кроны пяти деревьев на высоком холме.

— Мы не так говорим об этом, — сказал первый голос. — Великий Танец не ждет, пока присоединятся и жители Нижних миров. Он начался до начала времен и всегда был совершенен. Мы всегда ликовали пред Ликом Его, как ликуем сейчас. Там,

где мы танцуем, и есть центр мира, и все сотворено ради этого танца. Благословенно имя Его!

Второй голос сказал:

— Ни разу не сотворил Он двух подобных вещей, не произнес одно слово дважды. Он сотворил миры, а вслед — не новые, лучшие миры, но тварей. После тварей Он создал не новых тварей, но людей. После падения — не исцеление, а иное, новое. Теперь переменится сам образ перемен. Благословенно имя Его!

— Это исполнено справедливости, как дерево полно плодов,— сказал еще один голос.— Все праведно, но не равно. Камни не ложатся бок о бок, но держат друг друга, как в арке,— таков Его закон. Приказ — и повиновение, зачатие — и порождение, тепло нисходит с неба, жизнь стремится вверх. Благословенно имя Его!

И четвертый голос:

— Можно слагать к годам годы, милью к миле, галактику к галактике — и не приблизиться к Его величию. Минет день, отпущенный Арболу, и даже дни Глубоких Небес все сочтены. Не тем Он велик. Он обитает в семени меньшего из цветов, и оно не тесно Ему. Он объемлет Небеса — и они не велики для Него. Благословенно имя Его!

— У каждой природы свой предел, которым кончается сходство. Из многих точек — линия, из многих линий — плоскость, из плоскостей — тело. Из многих чувств и мыслей — одна личность, из трех Лиц — Он. Как круг относится к сфере, относятся древние миры, не нуждавшиеся в искуплении, к миру, ради которого Он родился и умер. Но как точка относится к линии, так этот мир — к дальним плодам Его искупления. Благословенно имя Его!

— Однако круг так же совершенен, как сфера, а сфера — дом и родина круга. Неисчислимы круги, заключенные в каждую сферу. Дай им голос, и скажут: ради нас она создана, — и никто не посмеет им возразить. Благословенно имя Его!

— Народы древних миров не грешили, и к ним не сходил Малельдил. Для них и созданы Нижние миры. Исцелена рана,

исправлен вывих, пришла новая слава, но не ради кривизны создавалось прямое и не для раны — здоровое. Древние народы — в центре мира. Благословенно имя Его!

— Все вне Великого Танца создано ради того, чтобы принять Малельдила. В падшем мире облекся Он телом и сочетался с прахом и прославил его вовеки. Это конечная цель всего творения, и счастливым назван тот грех, а мир, где это случилось,— центр всех миров. Благословенно имя Его!

— Дерево Он посадил в том мире, плоды его созрели в этом. Жизнь Темного мира смешана с кровью, здесь мы познаем чистую жизнь. Первые беды миновали, течение стало глубоким и полным, устремившись к океану. Вот утренняя звезда, которую Он обещал тому, кто побеждает. Труба прозвучала, и войско готово к походу. Благословенно имя Его!

— Люди и ангелы правят мирами, но миры эти созданы ради самих миров. Воды, в которых ты не плавал, плод, который ты не сорвал, пещеры, в которые ты не спускался, огонь, в который ты не можешь войти,— они не нуждаются в тебе, хотя и склонятся пред тобой, когда ты достигнешь совершенства. Я кружил в Арболе, еще до тебя. И времена эти не потеряны. У них — своя песня, они не только предвестие твоих дней. И они — в центре. Успокойтесь, бессмертные дети! Не вы — голос всего сущего, и там, где вас нет, вовсе не царит вечное молчание. Ни одна нога не ступала — и не ступит — на ледяные равнины Глунда, никто не посмотрит вниз с кольца Лурги, и Железный Дол в Нерували — пустынен и чист. Но эльдилы неустанно обходят просторы Арбола. Благословенно имя Его!

— Самый прах, распыленный в Небесах,— из него сотворены все миры и все тела,— тоже в центре. Ему не нужны глаза — видеть его, ни руки — касаться его, он и так — сила и слава Малельдила. Лишь малая часть его послужила и послужит зверю, человеку и ангелу. Но всегда и повсюду, куда еще не пришли живые твари, и куда ушли, и куда никогда не придут, прах этот собственной песней славит Малельдила. От Него он дальше всего, что есть, ибо нет в нем ни жизни, ни чувства, ни разума;

он ближе всего, ибо нет меж ними посредника, и прах этот подобен искрам, летящим от пламени. В каждой пылинке — чистый образ Его силы. И если пылинка заговорит, она скажет: «Я в центре мира, для меня все сотворено». И никто не посмеет это оспорить. Благословенно имя Его!

— Каждая пылинка — центр. Каждый мир — центр. Все твари — центр. И древние народы, и народ, впавший в грех, и Тор, и Тинидриль, и эльдилы. Благословенно имя Его!

— Где Малельдил, там и центр. Он — повсюду. Нет, не одна его часть — здесь, а другая — в ином месте, но всюду — весь Малельдил, даже в том, чью малость не измеришь. Нет пути из центра, разве что в злую волю, а она уж вышвырнет вон, туда, где ничто. Благословен Малельдил!

— Все сотворено для Него. Он — центр. Пока мы с Ним, и мы — центр. В Помраченном мире говорят, что каждый должен жить для всех. В Его граде все сотворено для каждого. Он умер в Помраченном мире не ради всех, а ради каждого человека. Если бы жил там только один человек, Он умер бы ради него. Все, от мельчайшей пылинки до могущественнейшего из эльдилов, — цель и венец творения и зеркало, в котором отразится Его слава и возвратится к Нему. Благословен Малельдил!

— Замысел Великого Танца полон неисчислимыми замыслами, и каждое движение в свой час совпадет с ним. Поэтому все — в центре, но никто не равен, ибо одни попадут в центр, уступив свое место, а другие — обретя его, малые вещи — ради своей малости, великие — ради величия, и все замыслы соединятся, преклонившись перед Любовью. Благословен Малельдил!

— Для Него неисчерпаем смысл всего, что Он сотворил, дабы любовь Его и слава изливались обильным потоком, который пролагает себе глубокое русло, наполняя бездонные озера и мельчайшие заводи. Они не равны, но полны они равно, и когда Любовь переполнит их, она вновь разольется в поисках новых путей. И велика нужда наша во всем, что Он создал. Любите меня, братья, ибо я бесконечно вам нужен и ради вас создан. Благословен Малельдил!

— Он не нуждается ни в чем из того, что Он создал. Эльдил нужен Ему не больше, чем прах; обитаемый мир — не больше, чем мир заброшенный. В них нет Ему пользы, ни прикупления Его славе. Никто из нас ни в чем не нуждается. Любите меня, братья, ибо я совершенно не нужен — и любовь ваша будет подобна Его любви, не связанной ни с погребностью, ни с заслугой, — чистому дару. Благословен Малельдил!

— Все от Него и ради Него. Он порождает Себя Себе на радость и видит, что это хорошо. Он — Свой же Сын, и все, что от Него, — это Он. Благословен Малельдил!

— Помраченный разум не видит замысла, ибо для него их слишком много. В здешних морях плывут острова, где мох так тонок, так плотен, что не заметишь ни волосков, ни самой пряжи, а только гладкую ткань. Таков и Великий Танец. Заметь лишь одно движение, и через него ты увидишь все замыслы, и его сочтешь самым главным. А то, что ты примешь главным, главное и есть. Да не оспорит это никто. Кажется, замысла нет, ибо все — замысел. Кажется, центра нет, ибо все — Центр. Благословен Малельдил!

— И то, что так кажется, — тоже внец и цель. Ради этого растянул Он время и раздвинул Небеса. Если мы не узнаем тьмы, и дороги, ведущей в никуда, и неразрешимого вопроса, чему уподобим мы Бездну Отца? Благословенно, благословенно, благословенно имя Его!

И тут все как-то изменилось, словно то, что было речью, теперь обращалось к зрению. Рэнсом подумал, что видит Великий Танец, сплетенный из лент света, — они проходили друг под другом и друг над другом, сплетаясь в причудливые арабески и хрупкие, как цветы, узоры. Каждая фигура, которую он видел, становилась средоточием, через нее воспринимал он целое, все становилось единым и простым — и вновь запутывалось, когда, взглянув на то, что он считал каймой, оторочкой, фоном танца, он видел, что и это притязает на первенство, не отнимая его у той, первой фигуры, но даже приумножая. Еще он увидел (хотя зрение здесь ни при чем) мгновенные вспышки

света там, где пересекались линии, и, неведомо как, понял, что эти крошечные огоньки, эфемерные вспышки — исчезающие мгновенно народы, цивилизации, культуры, учения, системы, словом, все то, о чем говорит история. Сами же линии, ленты света, в которых жили и гасли миллионы частиц, принадлежали к какой-то иной природе. Постепенно Рэнсом разглядел, что почти все они — отдельные создания, и подумал: если он прав, время Великого Танца совсем не похоже на наше время. Одни из них, самые тонкие и нежные, были теми, кого мы считаем недолговечными, — цветами и бабочками, плодами, весенним ливнем и даже (показалось ему) морской волной. Ленты пошире были созданиями, которые кажутся нам почти вечными, — кристаллами, реками, звездами, горами. А ярче, светлее, блистательней всех были живые существа, хотя сияние их и цвет (иногда выходявший за пределы спектра) отличались друг от друга не меньше, чем от существ иного рода. Увидел он и абстрактные истины, а живые люди превратились в линии света, и противостояли они, вместе, частицам обобщений, вспыхивающим и гаснущим на пересечениях линий. Потом, на Земле, он этому удивился, а тогда, наверное, все это, как сказали бы мы, вышло за пределы зрения. Он рассказывал нам, что вся совокупность любовно переплетенных извивов вдруг оказалась поверхностью гораздо более сложной фигуры, уходящей в четвертое измерение, а измерение это прорвалось в иные миры. Танец все убыстрялся, линии сплетались все гуще, все больше льнули друг к другу, все ярче становилось сияние, одно измерение добавлялось к другому, и та часть Рэнсома, которая еще могла мыслить и помнить, отделилась от его зрения. И вот тогда, на вершине сложнейшего танца, в который его вовлекло, вся сложность исчезла, растворилась, как белое облачко в яркой синеве неба, и непостижимая простота, древняя и юная, как утро, открылась ему во всей своей ясности и тишине. В эту тишину, в эту приветливую свежесть он вошел именно тогда, когда отошел дальше всего от обычного нашего существования, и ему показалось, что он проснулся, очнулся, пришел в себя. Радостно вздохнув, он поглядел вокруг.

Звери ушли. Эльдилы исчезли. Тор, Тинидриль и сам он были одни в утреннем свете Переландры.

— Где же звери? — спросил он.

— У них есть свои дела, — ответила Тинидриль. — Они ушли воспитывать малышей, откладывать яйца, строить гнезда, плести паутину, рыть норы, играть, петь песни, пить и есть.

— Недолго они были здесь, — сказал Рэнсом, — ведь все еще угро.

— Да, — отвечал Тор, — другое утро другого дня.

— Мы здесь так давно? — спросил Рэнсом.

— Да, — ответил Тор. — Я только сейчас узнал. С тех пор как мы встретились на вершине горы, Переландра совершила полный оборот вокруг Арбола.

— Мы пробьли здесь год? Целый год? — удивился Рэнсом. — Господи, что же случилось за это время в моем, темном мире! Знал ли ты, Отец, что прошло столько времени?

— Я не чувствовал, как оно шло, — ответил Тор. — Должно быть, волны времени еще не раз изменят для нас свое течение. Скоро мы сможем выбирать, подняться ли нам над ними, чтобы увидеть все разом, или преодолевать волну за волной, как раньше.

— Я думаю, — откликнулась Тинидриль, — что сегодня, когда год вернул нас на то же самое место в небесах, эльдилы вернутся за Пятнистым, чтобы отнести его в родной мир.

— Ты права, Тинидриль, — сказал Тор, потом взглянул на Рэнсома и добавил: — Какая-то красная роса сочится у тебя из ноги.

Рэнсом поглядел и увидел, что нога все еще кровоточит.

— Да, — сказал он, — меня укусил Злой. Это хру, кровь.

— Присядь, друг, — сказал Тор, — я обмою твою ногу.

Рэнсом смутился, но Король усадил его и, опустившись перед ним на колени, взял в руки раненую ногу. Прежде чем омыть ее в озере, он взгляделся в рану.

— Значит, это хру, — сказал он. — Я никогда не видел ее. Ею Малельдил воскресил миры, прежде чем хоть один из них был создан.

Он долго смывал кровь, но рана не закрывалась.

— Значит, Пятнистый умрет? — спросила Тинидриль.

— Не думаю, — сказал Тор. — Тому из его рода, кто дышал воздухом Святой горы и утолял жажду ее водою, нелегко обрести смерть. Ведь те, кто был изгнан из рая в вашем мире, жили очень долго, прежде чем научились умирать.

— Да, я слышал, что первые поколения жили долго, — сказал Рэнсом, — но принимал это за сказку, за поэзию и не размышлял о причине.

— Ох! — воскликнула Тинидриль. — Эльдилы вернулись за тобой.

И Рэнсом увидел не те высокие белые фигуры, которыми были для него Марс и Венера, а слабый свет. Король и Королева легко узнали эльдилов и в этом обличье — так земной король узнает своих приближенных и в обычном наряде.

Тор отпустил раненую ногу, все трое пошли к белому ящику. Крышка лежала рядом, но никому не хотелось прощаться.

— Как называется то, что мы чувствуем сейчас, Тор? — спросила Тинидриль.

— Не знаю, — отвечал Король. — Когда-нибудь я дам этому имя. Но не сегодня.

— Словно ты сорвал плод с очень толстой кожей, — сказала Тинидриль. — Когда мы вновь встретимся в Великом Танце, радость наша будет подобна сладости плода. Но кожа у него толстая, мне и не сосчитать, сколько в ней лет...

— Теперь ты знаешь, — сказал Король, — что хотел с нами сделать Злой. Если бы мы послушались его, мы бы пытались съесть плод, не разгрызая кожуры.

— И сладость его не была бы сладостью, — откликнулась Королева.

— Пора идти, — прозвучал ясный голос.

Рэнсом не знал, что сказать на прощанье, опускаясь в гроб. Стенки показались снизу высокими, словно стены; над ними, как в рамке, он видел золотое небо и лица Тора и Тинидриль.

— Завяжите мне глаза, — сказал он.

Король и Королева отошли и тут же вернулись с охапками алых лилий. Оба наклонились над ним и поцеловали его. Он увидел, как поднялась, благословляя, рука, и больше уже ничего не видел в этом мире. Они засыпали, укрыли его лицо лепестками, и благоуханное облако ослепило его.

— Все ли готово? — спросил Король. — Прощай, друг и спаситель, прощай, — сказали оба голоса. — Прощай до той поры, когда мы, все трое, выйдем за пределы времени. Говори о нас Малельдиду, и мы будем говорить о тебе. Да пребудут с тобою Его сила, слава, любовь.

Он еще услышал звонкий стук опускавшейся крышки. Потом несколько мгновений различал шум того мира, от которого был уже отделен. И наконец сознание покинуло его.



Мерзейшая мощь



Посвящается Дж. Макнису

Я назвал это сказкой, чтобы читателя не ввели в заблуждение первые главы и он сразу знал, на что идет. Если же вы спросите, почему эти главы так будничны, я отвечу, что следую традиции. Мы не всегда это замечаем, потому что хижины, замки, дровосеки и короли стали для нас такими же странными, как вельмы и людоеды. Однако для людей своего времени они были обычнее, чем Брэктон — для меня. Многие крестьяне знали злых магов, тогда как мне еще не довелось повстречать таких ученых. Но главное для меня — та важная мысль, о которой я пытался сказать в книге «Человек отменяется». Из всех профессий я выбрал свою не потому, что сотрудники университетов легче поддаются бесам, а потому, что лишь эту профессию я знаю достаточно хорошо, чтобы о ней писать. Тем, кто хочет понять получше, что такое Нуминор, придется (увы!) подождать, пока выйдут рукописи моего друга, профессора Дж. Р. Р. Толкина. Повесть эта — последняя часть трилогии (первые две части — «За пределы Безмолвной планеты» и «Переландра»), но ее можно читать отдельно.

*Оксфорд
Колледж Св. Магдалины
Канун Рождества*

Навис покров мерзейшей мощи
Подобно тьме утрюмой ночи.

Сэр Дэвид Линдсей

Глава I

ПРОДАЖА УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ЗЕМЛИ

I

«А в-третьих,— сказала самой себе Джейн Стэддок,— вы сочетаетесь браком, чтобы помогать друг другу, поддерживать друг друга и утешать». Она вышла замуж полгода тому назад, и слова эти засели у нее в памяти.

Сквозь открытую дверь она видела маленькую кухню и слышала громкое, неприятное тиканье часов. Из кухни она только что вышла и знала, что там все прибрано. Посуду она вымыла, полотенце повесила на радиатор, протерла пол. В комнатах тоже был порядок. Сейчас она вернулась из магазина, купила все на сегодня, а до одиннадцати оставалась целая минута. Если даже Марк придет к обеду, у нее только два дела на все семь часов: второй завтрак и чай. Сегодня там у них собрание. Когда она сядет пить чай, Марк непременно позвонит и скажет, что пообедает в университете. День лежал перед ней пустой, как квартира. Сияло солнце, тикали часы.

«Помогать, утешать, поддерживать...» — печально подумала Джейн.

На самом деле, выйдя замуж, она сменила дружбу, смех и массу интересных дел на одиночное заключение. Никогда еще она не видела Марка так редко, как в эти полгода. Даже если он сидел дома, он почти не разговаривал — то ему хотелось спать, то он о чем-то думал. Когда они были друзьями и позже, когда влюбились, ей казалось, что и за целую жизнь им всего не переговорить. Зачем он на ней женился? Любит он ее? Если лю-

бит, слово это значит не одно и то же для мужчин и женщин. По-видимому, бесконечные разговоры были для нее заменой любви, для него — предисловием.

«Вот и еще одно утро я промаялась...— сказала она самой себе.— Работать надо!»

Под работой она понимала диссертацию о Донне. Она не хотела бросать науку, и отчасти поэтому они решили не иметь детей, во всяком случае — теперь. Оригинальным мыслителем Джейн не была и собиралась подчеркнуть в своем труде «победное оправдание плоти» у избранного ею автора. Она еще верила, что, если обложиться выписками, заметками и книгами и сесть за стол, былое вдохновение вернется к ней. Но прежде — быть может, для того, чтобы оттянуть первый миг, — она полистала газету и увидела фотографию.

Тогда она вспомнила свой сон. Вспомнила она и те несчитанные минуты, когда сидела на кровати и ждала рассвета, не зажигая лампы, чтобы Марк не проснулся. Он ровно дышал, и это обижало ее. Он вообще спал как убитый. Только одно могло разбудить его, и то ненадолго.

Сон был дурной, но дурные сны тускнеют, когда их рассказываешь. Однако мы его расскажем, иначе многое будет непонятно. Сперва ей приснилось лицо. Лицо это было смуглое, носатое и очень страшное — главным образом потому, что на нем запечатлелся страх. Рот был приоткрыт, глаза расширены, как расширяются они на секунду, когда ты ошеломлен; но ей почему-то стало ясно, что шок длится несколько часов. Потом она разглядела всего человека. Он скорчился в углу белой каморки и, по-видимому, ждал чего-то ужасного. Наконец дверь отворилась и вошел другой человек, благообразный, с седой бородкой. Они стали разговаривать. Раньше Джейн не понимала, что говорят люди в ее снах, или просто не слышала. Сейчас она слышала, но почти ничего не понимала, потому что говорили они по-французски, и это придавало сну особую достоверность. Второй человек сказал первому что-то хорошее, и тот оживился и воскликнул: «Tiens... ah... ça marche»*. но потом как-то

* Смотрите-ка... да... хорошо (*фр.*).

поджался. Второй тем не менее убеждал его настойчиво и тихо. Он был недурен собой, хотя и холодноват, но в пенсне его отражалась лампочка, и глаз она не разглядела. Кроме того, у него были слишком безупречные зубы. Джейн он не понравился. Особенно ей не нравилось, что он мучает первого. Она не понимала, что он предлагает, но как-то догадалась, что первый приговорен к смерти и предложения эти пугают его больше, чем казнь. Тут сон утратил свой реализм и превратился в обычный кошмар. Второй поправил пенсне и, холодно улыбаясь, схватил первого за голову обеими руками. Он резко повернул ее (Джейн видела прошлым летом, что так снимают шлем с водолаза), открутил и унес. Потом все смешалось. Появилась другая голова, со струящейся бородой, вся в земле. За ней появилось и тело, какой-то старик, похожий на друида. Его откуда-то выкапывали. Сперва Джейн не испугалась, резонно предположив, что он мертвый; но он зашевелился.

«Не надо! — крикнула она во сне. — Он живой! Вы его разбудите!»

Но они ей не вняли. Старик присел и заговорил как будто бы по-испански. Это испугало ее так сильно, что она проснулась.

Такой был ее сон — не лучше, но и не хуже многих дурных снов. Однако, увидев газетное фото, Джейн быстро опустилась в кресло, чтобы не упасть. Комната поплыла. Голова была та самая, первая, не старика — узника. Джейн с трудом взяла газету и прочитала: «Казнь Алькасан» — крупными буквами, а ниже, помельче: «Ученый-женоубийца гильотинирован». Что-то она об этом слышала, Алькасан, француз из алжирцев, известный физик, отравил свою жену. Значит, вот откуда сон, она видела вечером это ужасное лицо. Нет, не получается, газета утренняя. Ну, значит, видела раньше и забыла, ведь суд начался несколько недель назад. Займемся Донном. Что там у него? А, неясные строки в конце «Алхимии любви»:

Не жли ума от женщин; им пристали
Заботливость и скромность, что пленяли
Нас в матери...

«Не жди ума...» Ждет ли его хоть один мужчина? Ах, не в этом дело, надо сосредоточиться, — сказала себе Джейн и тут же подумала: — Видела я раньше эту фотографию?»

Через пять минут она убрала книги, надела шапочку и вышла. Она не знала, куда идет. Да что там, только бы подальше от этой комнаты, от этого дома.

2

Марк тем временем шел в Брэктон-колледж и думал о других вещах, не замечая, как красива улочка, спускавшаяся из пригорода к центру.

Я учился в Оксфорде, люблю Кембридж, но, мне кажется, Эджстоу красивее их. Во-первых, он очень маленький. Никакой автомобильный, сосисочный или мармеладный король не осчастливил еще городок, где расположился университет, а сам университет — крохотный. Кроме Брэктона там всего три колледжа — женский, за железной дорогой, Нортумберленд, рядом с Брэктоном, у реки, и так называемый Герцогский, напротив аббатства. В Брэктоне студентов нет. Основан он в 1300 году, чтобы дать пропитание и приют десяти ученым мужам, которые должны были молиться о душе Генри Брэктона и вникать в английские законы. Постепенно их стало сорок, и теперь только шестеро из них изучают право, а за душу Генри Брэктона не молится никто.

Марк Стэддок занимался социологией и в колледже работал лет пять. Сейчас его дела шли очень хорошо. Если бы он в этом сомневался (чего не было), он бы отбросил сомнения, когда у почты встретил Кэрри и тот, словно это само собой разумеется, пошел дальше вместе с ним, обсуждая предстоящее заседание. Кэрри был у них проректором.

— Да, — сказал Кэрри, — времени уйдет много. Наверное, до вечера задержимся. Реакция будет противиться изо всех сил. Но что они могут?

Никто не угадал бы по ответу, что Марк в полном упоении. Еще недавно он был чужим, плохо понимал действия «Кэрри и его шайки», как сам тогда называл их, и на заседаниях гово-

рил редко, нервно и сбивчиво, нимало не влияя на ход событий. Теперь он внутри, а шайка — это «мы», «прогрессисты», «передовые люди колледжа». Случилось это внезапно, и он еще не привык.

— Думаете, проташим? — сказал Стэддок.

— Уверен, — отвечал Кэрри. — Ректор за нас, и Бээби, и биохимики. Пэлем и Тед соображают, не подведут. Яшер что-нибудь выкинет, но никуда ему не деться, голосовать будет за нас. Да, главное: Дик приехал!

Стэддок лихорадочно порывлся в памяти и вспомнил, что один из самых тихих сотрудников носит имя Ричард.

— Тэлфорд? — удивленно спросил он. Понимая, что этого быть не может, он придал вопросу иронический оттенок.

— Ну, знаете! — захохотал Кэрри. — Нет, Дик Дивайн, теперь он лорд Феверстон.

— То-то я думаю! — сказал Стэддок, смеясь вместе с ним. — Очень рад. Знаете, я его никогда не видел.

— Как можно! — сказал Кэрри. — Приходите сегодня ко мне, он будет.

— С удовольствием, — искренне ответил Стэддок и, помолчав, прибавил: — Кстати, у него все в порядке?

— То есть как? — спросил Кэрри.

— Помните, были разговоры, что нельзя держать человека, если его никогда нет.

— Ах, Глоссоп и его банда! Ничего у них не выгорит. Неужели вы сами не видите, что это пустая болтовня?

— Вижу, конечно. Но, честно говоря, нелегко объяснить, почему Феверстон занимает место в Брэктоне, когда он все время в Лондоне.

— Очень легко. Разве колледжу не нужна влиятельная рука? Вполне возможно. Дик войдет в следующий кабинет. Да он и сейчас гораздо полезнее, чем эти Глоссопы, просиди они тут хоть всю жизнь!

— Да, да, но на заседании...

— Вам надо знать о нем одну вещь, — перебил его Кэрри. — Это он вас проташил.

Марк молчал. Ему не хотелось вспоминать, что когда-то он был чужаком для всего колледжа.

— Да,— продолжал Кэрри.— Работы Деннистона понравились больше. Это Дик сказал, что нам нужен такой человек, как вы. Пошел в Герцогский, все о вас разнюхал и гнул свое: работы работами, а человек важнее. Как видите, он был прав.

— Весьма польщен...— сказал Марк и не без иронии поклонился. В колледжах не принято говорить о том, как именно ты прошел по конкурсу; Марк до сих пор не знал, что прогрессисты отменили и эту традицию. Не знал он и о том, что попал сюда не за свои таланты, а уж тем более — о том, что его чуть не провалили. Чувство у него было такое, словно он услышал, что отец его едва не женился на совсем другой девушке.

— Да,— говорил тем временем Кэрри,— теперь видно, что Деннистон совсем не подходит. Талантлив, ничего не скажешь, но совершенно сбился с пути. Хочет поделить поместья, то, се... Говорят, собирается в монахи.

— А все-таки он человек неглупый,— сказал Марк.

— Я рад, что вы и Дик познакомитесь,— сказал Кэрри.— Сейчас некогда, а потом я с вами хочу обсудить одно дельце.

Стэдлок вопросительно взглянул на него. Кэрри понизил голос.

— Мы с Джеймсом и еще кое-кто думаем, не сделать ли его ректором. Ну вот мы и дома.

— Еще нет двенадцати,— сказал Марк,— в «Бристоль» не зайдем?

Они зашли. Когда ты свой человек, приходится делать такие вещи. Марку это было труднее, чем неженатому Кэрри, который еще и больше получал. Но в «Бристоль» было очень приятно, и Марк взял виски для проректора, пиво для себя.

3

Когда я единственный раз гостил в Брэктоне, я уговорил моего хозяина пустить меня в лес и оставить там на час одного. Он попросил прощения за то, что запирает меня на ключ.

Мало кого пускают в Брэгдонский лес. Войти туда можно лишь через ворота, созданные Иниго Джонсом, и высокая стена окружает поросшую лесом полосу земли в четверть мили шириной, в милю длиной. Когда вы входите с улицы в колледж и через него идете туда, вам кажется, что вы постепенно проникаете в святая святых. Сперва вы пересекаете двор, названный именем Ньютона, — квадрат, по всем сторонам которого стоят красивые здания в немного вычурном и довольно новом стиле. Потом входите в холодный коридор, где темно даже днем, если закрыта дверь справа, ведущая в зал, и левая дверь, с окошком, ведущая в кладовую, из которой сочится запах свежего хлеба. Вынырнув из тоннеля, вы оказываетесь в самом старом, средневековом здании и выходите во внутренний дворик, заросший травой; после строгого двора, рядом с серым камнем, он кажется на удивление уютным и живым. Недалеко часовня — и отсюда слышно, с каким хрипом идут старинные большие часы. Пройдя мимо урн и бюстов, поставленных в память бывших членов колледжа, вы спускаетесь по вышербленным ступенькам в ярко освещенный двор, носящий имя леди Элис, и вам вспоминается Беньян или Уолтон. И слева и справа от вас — здания XVIII века, скромные, похожие на простые домики, со ставнями и черепичной крышей. Дворик этот с четвертой стороны не замкнут — там лишь несколько вязов, а за ними стена. Здесь вы слышите впервые журчанье воды и воркованье горлиц; вы уже так далеко, что других звуков нет. В стене — дверца, за ней — крытая галерея с узкими окнами по обе стороны. Выглянув из окна, вы видите, что внизу течет темная река. Вы перешли мост, цель близко. За мостом — площадка для игры в мяч, за нею — высокая ограда. Через решетку работы Джонса вы видите глубокие тени и залитую солнцем зелень.

Мне кажется, лес многим обязан стене — ведь огороженное место драгоценно. Когда я ступал по мягкому дерну, мне чудилось, что меня ждут. Деревья росли достаточно густо, чтобы вы постоянно видели перед собой сплошную листву; но вам все время кажется, что именно сейчас — вы на полянке, ибо вы идете в неярком сиянии, среди зеленых теней. Я был совершен-

но один, если не считать овец, чьи длинные глупые морды иногда глядели на меня; но одиночество это напоминало не о чаще, а о большой комнате в пустом доме. Помню, я думал: «В детстве мне было бы тут очень страшно или очень хорошо», и потом: «Каждый становится ребенком, когда он один, совсем один. А может, не каждый?..»

Четверть мили пройти недолго, но мне казалось, что я часами добирался до сердцевины леса. Я знал, что она здесь, ибо здесь было то, ради чего я приехал, — родник, источник. К нему спускались ступеньки, и берег его когда-то, очень давно, был вымощен. Теперь камень раскрошился, и я не ступил туда, а лег в траву и потрогал воду пальцем. Отсюда, из глубины леса, шли все легенды. Археологи датировали кладку концом британско-римского периода, незадолго до вторжения англосаксов. Никто не знал, как связано слово «Брэгдон» с законоведом Брэктоном, но я думаю, что семейство его поселилось здесь из-за сходства имен. Если верить преданиям, лес много старше колледжа. У нас немало свидетельств, что источник звался «Колодцем Мерлина», хотя название это встречается впервые в документах XVI века, когда ректор Шоуэл, истово сокрушавший высоты и жертвенники, окружил лес стеной, чтобы охранить его от тех, кто устраивал там какие-то игрища. Не успел д-р Шоуэл остыть в своей могиле (он прожил лет сто), как офицеры Кромвеля попытались вообще разрушить это нечестивое место, но члены колледжа вступили с ними в схватку, во время которой был убит на ступенях у самого источника Ричард Кроу, прославленный и ученостью, и святостью. Вряд ли кто-нибудь посмел бы обвинить д-ра Кроу в язычестве, но, по преданию, последние его слова были такие: «Мерлин, сын нечистого, служил своему королю, а вы, сыны блудниц, — изменники и убийцы!» Каждый ректор в день своего избрания зачерпывал драгоценным кубком воду из источника и выпивал ее. Кубок этот хранился в колледже среди сокровищ.

Я думал обо всем этом, лежа у рошника, восходившего ко временам Мерлина, если Мерлин жил на свете; лежа там, где сэръ Кенельм Дигби видел однажды летней ночью странное виде-

ние; где Коллинз слагал стихи и плакал Георг III, а блистательный и многими любимый Натаниел Фокс писал свою прославленную поэму за три недели до того, как пал во Франции. Стояла такая тишина, листья так укрывала меня, что я уснул. Разбудил меня голос друга, звавший издалека.

4

Самым сложным был вопрос о продаже этого леса. Покупал его ГНИИЛИ — Государственный научно-исследовательский институт лабораторных изысканий, чтобы построить себе новое, более удобное здание. Институт этот был одним из первых плодов союза между государством и лабораторией, который будит у стольких людей надежду на то, что мир станет лучше. Он намеревался отменить обременительные запреты, которые до сих пор сдерживали свободу исследований. От экономических проблем он уже освободился. Здание, которое предполагалось для него построить, изменило бы даже силуэт Нью-Йорка, штаты планировались огромные, ставки — неслыханные. Отцы города и колледжа долго и дипломатично отылекали институт от Оксфорда, Кембриджа и Лондона. Прогрессисты совсем было приуныли, но сейчас фортуна улыбнулась им. Они знали: если институт получит нужную ему землю, он переедет в Эджстоу и все наконец оживет. Кэрри даже сомневался, выдержат ли Оксфорд и Кембридж такое соперничество.

Три года назад Марк Стэддок предполагал бы, что на сегодняшнем заседании состоится бой поборников прогресса и пользы с сентиментальными поклонниками красоты. Теперь он этого не думал. Он знал, что дела делаются не так.

Прогрессисты вели игру на самом высшем уровне. Почти никто из сотрудников, рассаживающихся в зале, не знал, что пойдет речь о продаже леса. Правда, в «Повестке дня» стояло «Продажа земли, принадлежавшей колледжу», но пункт стоял во всех повестках, и никто его не обсуждал. Кроме того, пункт первый гласил: «Вопросы, связанные с Брэгдонским лесом». Кэрри сразу приступил к ним и прочитал несколько писем. Одно

было от Общества охраны памятников и, на свою беду, содержало сразу две претензии. Было бы умнее ограничиться тем, что стена, окружающая лес, давно нуждается в починке. Правда, и здесь строгий тон не понравился присутствующим. Когда же речь пошла о том, чтобы колледж пустил в лес архсологов для обследования источника, многие просто обиделись. Я не хотел бы подозревать проректора в намеренных искажениях, но Кэрри, читая письмо, не скрыл его неточностей и недочетов. Другое письмо было от парапсихологов, тоже стремившихся в лес, где «происходили, судя по слухам, странные явления», а третье — от студии, которая хотела снять фильм уже про самих парапсихологов. Всем трем заседание отказало.

Потом встал лорд Феверстон. Он полностью согласился с мнением колледжа об этих наглых письмах, но напомнил, что стена действительно оставляет желать лучшего. Многим (но не Стэддоку) показалось, что кто-то поставит наконец на место Кэрри и его шайку; это было приятно. Тут же вскочил казначей, Джеймс Бэзби, и горячо поддержал лорда Феверстона. «Оставляет желать лучшего» — это мягко сказано, стена в безобразнейшем состоянии. Чинить ее поздно, выход один: построить новую. Когда из него с немалым трудом выжали, сколько это может стоить, все ахнули. Лорд Феверстон холодно спросил, предлагает ли уважаемый коллега пойти на такие издержки. Бэзби (бывший священник, с большой черной бородой) ответил, что он ничего не предлагает, поскольку вопрос этот можно обсуждать лишь в тесной связи с теми финансовыми соображениями, которые он изложит впоследствии. Понемногу в дебаты стали втягиваться чужаки и реакционеры. Они не верили, что ничего сделать нельзя, и прогрессисты дали им поговорить минут десять. Потом снова показалось, что лорд Феверстон играет им на руку, ибо он спросил, неужели руководство колледжа видит только два выхода: строить новую ограду или допустить, чтобы лес стал открытым для всех. Он требовал ответа; и казначей, немного помедлив, ответил, что третий выход — обнести лес колючей проволокой. Поднялся страшный шум, из которого вырывались слова каноника Джуэла: «Лучше просто все вырубить!» Вопрос отложили до следующего заседания.

Второй пункт был совершенно непонятен. Кэрри читал переписку колледжа с общеуниверситетским советом о «предполагаемом включении в состав университета некоторых научных учреждений». Получалось, что университет уже все решил и без них. Что именно он решил, почти никто не понял, хотя часто повторялось сочетание ГНИИЛИ. Те же, кто понял, смутно ощущали, что переезд института не имеет отношения к Брэггону.

К концу этого пункта многие думали о еде. Однако пункт третий вызвал оживление, ибо назывался он «ставки младших научных сотрудников». Я не буду говорить о том, сколько они получали, но этого им едва хватало, хотя жили они в самом колледже. Стэддок недавно был в их числе, и он им сочувствовал. Он понимал их скорбные взгляды — прибавка означала для них новый костюм, мясо на обед и возможность купить уже не одну пятаю, а половину необходимых книг. Они жадно уставились на Бэзби, когда он встал, чтобы осветить положение. Как выяснилось, он знал, что никто не сомневается в его благих намерениях, но по долгу службы был вынужден сказать, что речь снова идет о непосильных расходах. Однако и этот вопрос можно было обсуждать лишь в свете соображений, которые он изложит позже. У всех уже болела голова, всем хотелось есть и курить.

Ко времени перерыва младшие сотрудники твердо верили, что эта чертова стена мешает им получить прибавку. В таком же настроении вернулись они в зал, и Бэзби доложил о состоянии финансов. Было очень жарко, говорил он очень нудно, зубы его то и дело сверкали над черной бородой, денежные дела вообще нелегко понять, а те, кому это легко, не работают в университетах. Всем было ясно, что денег совершенно нет, а самые неопытные стали подумывать уже не о стене и не о прибавке, а о том, что скоро закроют колледж. Не греша против истины, Бэзби сказал, что положение чрезвычайно тяжелое. Те, кто постарше, слышали это раз двадцать за свою жизнь и не слишком впечатлились. В учреждениях, особенно научных, очень редко сходятся концы с концами.

В следующий перерыв Стэдлок позвонил домой, что не придет обедать.

Часам к шести все вопросы свелись к одной точке: продажа леса. Назывался он, конечно, не лесом, а «участком, окрашенным в розовый цвет на плане, который я сейчас пушу вокруг стола». Бэзби честно признался, что в участок входит часть леса; и впрямь, колледжу оставалась полоска футов шестнадцать шириной. План был маленький, не совсем точный, так, общий набросок. В ответ на вопросы Бэзби ответил, что источник, к несчастью — или к счастью, — окажется на территории института. Конечно, колледжу гарантирован свободный доступ к нему, что же до охраны, институт сумеет о ней позаботиться. Никаких советов Бэзби не давал, только назвал предложенную сумму. После этого заседание пошло бойко. Выгоды, как спелые плоды, падали к ногам. Решалась проблема ограды; младшим прибавляли жалованье; колледж вообще мог свести концы, и даже больше того. Как выяснилось, других подходящих мест в городе нет и в случае отказа институт перекинется в Кембридж.

Несколько твердолобых, для которых лес очень много значил, долго не могли толком понять, что происходит. Когда они поняли, положение у них было невыгодное. Получалось, что они спят и видят, как бы обнести Брэглонский лес колючей проволокой. Наконец поднялся полуслепой и почти плачущий Джуэл. Стоял оживленный шум. Многие обернулись — кто с любопытством, кто и с восхищением, — чтобы посмотреть на тонкое, младенческое лицо и легкие волосы, белевшие в полумраке. Но слышали его только те, кто сидел с ним рядом. Лорд Феверстон вскочил, взмахнул рукой и, глядя прямо на старика, громко сказал:

— Если каноник Джуэл непременно хочет, чтобы мы не узнали его мнения, я думаю, ему лучше помолчать.

Джуэл хорошо помнил времена, когда старость уважали. С минуту он постоял — многим показалось, что он ответит, — но вдруг беспомощно развел руками и медленно опустился в кресло.

Выйдя из дому, Джейн тоже отправилась в город и купила шляпу. Она немного презирала женщин, покупающих шляпу, как мужчина покупает виски — чтобы подбодрить себя, и ей не пришло в голову, что она делает именно это. Одевалась она просто, цвета любила неяркие (каждый видел сразу, что перед ним не куколка, а серьезный, мыслящий человек) и думала поэтому, что не интересуется тряпками. Словом, она обиделась, когда миссис Димбл воскликнула, увидев ее у магазина:

— Доброе утро! Шляпку покупали? Поедем ко мне, примем. Машина за углом.

Джейн училась у Димбла на последнем курсе, а жена его, «матушка Димбл», опекала и ее, и всех ее подруг. Жены профессоров не так уж часто любят студентов, но миссис Димбл их любила, и они вечно толклись в ее домике за рекой. К Джейн она особенно привязалась, как привязываются веселые бездетные женщины к девушкам, которых считают бестолковыми и прелестными. В нынешнем году Джейн забросила Димблов, совесть ее грызла, и приглашение она приняла.

Машина пересекла мост — он вел на север, — свернула влево, миновала домики, норманнскую церковь и по дороге, окаймленной с одной стороны тополями, а с другой — стеною Брэдонского леса, добралась до коттеджа Димблов.

— Как у вас красиво! — сказала Джейн, входя в их прославленный садик.

— Любуйтесь, пока можно, — сказал профессор Димбл.

— Почему это? — спросила Джейн.

— Ты еще не сказала? — обратился Димбл к жене.

— Я и сама толком не верю, — отвечала миссис Димбл. — Потом, мистер Стэддок в Брэкдоне... Да вы ведь уже слышали, Джейн?

— Совершенно ничего не слышала! — честно ответила гостя.

— Нас выгоняют, — объяснила хозяйка.

— Господи! — воскликнула Джейн. — А я и не знала, что это земля колледжа.

— Да, — сказала миссис Димбл. — Почти никто не знает, как живут другие. А я-то думала, вы отговариваете мужа, хотите спасти пас...

— Марк никогда не говорит со мной о делах, — сказала Джейн.

— Хорошие мужья о делах не говорят, — поддержал ее Димбл. — Разве что о чужих. Вот Маргарет у меня знает все о колледже вашего мужа и ничего — о нашем. Как, завтракать будем?

— Подожди, — сказала его жена. — Сперва я посмотрю шляпку, — и быстро повела Джейн к себе наверх, продолжая старомодную женскую беседу.

Джейн старалась казаться выше этого, но ей стало легче. Когда шляпку отложили в сторону, миссис Димбл вдруг спросила:

— У вас все в порядке?

— У меня? — удивилась Джейн. — А что такое?

— Вы на себя не похожи.

— Нет, ничего... — пролепетала Джейн и подумала: «Она хочет узнать, не жду ли я ребенка».

— Можно я вас поцелую? — спросила миссис Димбл.

Джейн хотела ответить «Ну что вы!..», но, к своему огорчению, поняла, что плачет. Матушка Димбл вдруг стала для нее просто «большой» — теплым, огромным, мягким существом, к которому бежишь в раннем детстве, когда разобьешь коленку или куклу. Джейн часто вспоминала, как изворачивалась она, если мама или няня хотели ее обнять; но сейчас к ней вернулось то забытое чувство, которое она испытывала, когда кидалась к ним сама в страхе или горе. Нужда в утешении противоречила всем ее взглядам на жизнь. Однако она поведала, что ребенка не жлет, а просто горюет, потому что ей одиноко и она видела дурной сон.

За столом Димбл говорил о преданиях артуровского цикла.

— Поразительно, — сказал он, — как все там сходится, даже в очень поздней версии, у Мэлори. Вы заметили, что персо-

нажи делятся на две группы? С одной стороны — Гиневра, Ланселот и другие, все благородные, и ничего специфически британского в них нет. С другой, как бы по ту сторону Артура, — люди низкие, с типично британскими чертами, и притом враждующие друг с другом, хотя они и в родстве. А магия... Помните это прекрасное место — о том, что Моргана «подожгла весь край женским ведовством»? Конечно, и в Мерлине много британского, хотя он не низок. Вам не кажется, что это — наш остров на исходе римского владычества?

— Что вы имеете в виду, доктор Димбл? — не поняла Джейн.

— Ну, одна часть населения была римской... Эти люди носили тоги, говорили на окрашенной кельтским влиянием латыни — нам она показалась бы вроде испанского. А в глубине, подалее, за лесами, жили настоящие древнебританские царьки, язык у них был типа валлийского, жрецами были друиды...

— Кто же такой сам Артур? — спросила Джейн, смущаясь, что сердце у нее екнуло при словах «вроде испанского».

— В том-то и дело, — сказал д-р Димбл. — Можно предположить, что он — старого британского рода, но крещен, обучен воинскому римскому искусству и пытается, не без успеха, стянуть страну воедино. Британские родичи этому противятся, а люди римской культуры смотрят на «местных» свысока. Вот почему сэра Кея постоянно называют мужланом — он принадлежит к одному из местных родов... И под всем этим — обратная тяга, назад, к друидизму.

— А что же Мерлин?

— Да... Интересная фигура... Быть может, попытка и не удалась, потому что он так рано умер? Он — не злодей, но колдун. Он, конечно, друид, но знает все о Граале. Он — «сын нечистого», но Лайамон дает нам понять, что это недостоверно. Помните: «Нездешних много сил, среди них есть добрые и злые».

— Удивительно, — сказала Джейн. — Я никогда об этом не думала.

— А я вот думаю, — сказал д-р Димбл. — Я размышляю о том, не был ли Мерлин последним представителем чего-то за-

бытого, чего-то такого, что стало невозможным, когда люди, связанные с нездешними силами, разделились на черных и белых, на колдунов и священников.

— Не пугай нас!.. — сказала миссис Димбл, заметив, что Джейн озабочена. — Во всяком случае, Мерлин давно умер и похоронен, как все мы знаем, тут, рядом...

— Похоронен, но не умер, — поправил ее д-р Димбл.

Джейн вскрикнула, сама того не желая, а д-р Димбл продолжал, как бы думая вслух:

— Интересно, что они найдут, если станут там копать?..

— Сперва глину, потом воду, — сказала миссис Димбл. — Оттого здесь и строить нельзя.

— Зачем же они сюда рвутся? — спросил ее муж. — Джалс к романтике не склонен. Вряд ли он мечтает, что к нему перейдет мантия Мерлина.

— Ну что ты такое говоришь? — воскликнула миссис Димбл.

— Да, — сказал Димбл, — это маловероятно. Хотя некоторые из его людей были бы не прочь ее примерить. Другое дело, по росту ли она им. Не думаю, что им бы понравилось, если бы старый кудесник сам к ним явился.

— Джейн сейчас плохо станет! — сказала хозяйка и вскочила.

— Что с вами? — спросил хозяин, удивленно глядя на бледное лицо гостыи. — Слишком жарко?

— Так, чепуха... — проговорила Джейн.

— Пойдемте в кабинет, — сказал д-р Димбл. — Обопритесь на мою руку.

В кабинете, у открытого окна, глядя на лужайку, усыпанную ярко-желтыми листьями, Джейн рассказала свой сон, чтобы объяснить, почему она так глупо ведет себя.

— Вот, — заключила она. — Можете теперь провести сеанс психоанализа...

Судя по всему, д-р Димбл был сильно потрясен.

— Поразительно!.. — говорил он. — Поразительно!.. Две головы... Одна принадлежит Алькасану... Неужели мы вышли на верный след?

— Сесил, не надо! — вмешалась миссис Димбл.

— Вы думаете, я больна? — спросила Джейн.

— Больны? — сказал д-р Димбл, непонимающе глядя на нее. — А, в этом смысле!..

И Джейн поняла, что он думает о другом. О чем именно, она не могла и предположить.

Доктор Димбл выглянул из окна.

— Идет мой самый тупой ученик, — сказал он. — Что ж, послушаю доклад о Свифте, который начинается словами «Свифт родился...», и постараюсь вникнуть, а это нелегко. — Он встал и положил руку Джейн на плечо. — Вот что, — добавил он, — ничего не буду вам советовать, но если вы захотите поговорить с кем-нибудь про этот сон, спросите у меня или у Марджери, к кому пойти.

— Вы не доверяете доктору Брайзекру? — сказала Джейн.

— Сейчас я не могу вам объяснить, — сказал д-р Димбл. — Все слишком сложно. Постарайтесь не волноваться. А если заволнуетесь, сразу сообщите нам. До свиданья.

Когда он вышел, явились какие-то гости, и Джейн больше не смогла поговорить с хозяйкой. Через полчаса она ушла и направилась по тропинке через поле, где бродили ослики и гуси. Слева виднелись башни и шпили Эджстоу, справа — старая мельница.

Глава II

ОБЕД У ПРОРЕКТОРА

1

— Ну, удружил!.. — сказал Кэрри. Он стоял у камина в одной из красивейших комнат своей великолепной квартиры.

— Кто, Два Нуля? — спросил Джеймс Бэзби.

Все они — и он, и лорд Феверстон, и Марк — пили вино перед обедом. Двумя Нулями звался Чарльз Плейс, ректор Брэктонского колледжа. Лет пятнадцать назад прогрессисты считали его избрание одним из первых своих триумфов. Крича, что колледжу нужна свежая кровь, что пора его встряхнуть, что он

закоснел в академической скуке, они протащили в ректоры пожилого чиновника, чуждавшегося академизма с тех пор, как он кончил Кембридж. Единственным его трудом был толстый отчет о состоянии клозетов в Англии. Однако надежд он не оправдал, ибо интересовался только филателней и своим больным желудком. Выступал он так редко, что сотрудники помоложе не знали его голоса.

— Да, черт его дери! — сказал Кэрри. — Просит зайти, как только я смогу.

— Значит, — сказал Бэзби. — Джуэл и К° на него напали. Хотят все переиграть.

— Резолюцию отменить нельзя, — сказал Кэрри. — Тут что-то еще, но вечер он мне испоганил.

— Именно что вам! — сказал Феверстон. — Не забудьте оставить то прекрасное бренди.

— Джуэл! О господи!.. — сказал Бэзби, запуская в бороду левую руку.

— Мне его стало жалко, — сказал Марк.

Отдадим ему справедливость: неожиданная, даже ненужная выходка Феверстона неприятно поразила его; неприятна была и мысль о том, что Феверстон протащил его в колледж. Однако эту фразу он произнес и потому, что хотел покрасоваться независимостью мнений. Скажи ему кто-нибудь: «Феверстон будет вас больше ценить, если вы покажете зубы», — он бы обиделся; но никто этого не сказал.

— Джуэла пожалели? — удивился Кэрри. — Видели бы вы его в свое время!

— Я с вами согласен, — сказал Марку лорд Феверстон. — Но я, знаете ли, разделяю взгляды Клаузевица. В конечном счете, так гуманней. Я пришиб его одним ударом. Теперь он счастлив — вот они, молодые, которых он ругает столько лет! А что еще можно было сделать? Дагь ему говорить? Он бы довел себя до инфаркта, да и огорчался бы, что мы с ним вежливы.

— Конечно, и в этом есть смысл... — сказал Марк.

— Обед подан, — сказал слуга.

— Да, — сказал Феверстон, когда они уселись, — никто не любит, чтобы его враги вели себя вежливо. Куда бы делся бедный Кэрри, если бы наши мракобесы подались влево?

— Что там, Дик, — сказал Кэрри. — Я сплю и вижу, когда же конец этим распрям. Работать некогда!..

Феверстон расхохотался. Смех у него был поистине мужской и очень заразительный. Марк почувствовал, что лорд начинает ему нравиться.

— Работать? — переспросил Феверстон, не то чтобы подмигивая, но все же поглядывая в сторону Марка.

— Да, у нас есть и собственная работа, — сказал Кэрри, понижая голос, чтобы показать этим, что говорит всерьез. Так понижают голос, когда речь заходит о вере или о болезнях.

— Не знал за вами, не знал, — сказал Феверстон.

— Вот видите! — сказал Кэрри. — Или спокойно смотри, как все разваливается, или жертвуй своей научной работой. Немножко еще разгребу и сяду за книгу. Все уже готово, продумано, только пиши.

Марк никогда не видел Кэрри обиженным, и ему стало еще веселее.

— Понятно!.. — сказал Феверстон. — Чтобы колледж оставался на высоком научном уровне, лучшие его умы должны забросить науку.

— Вот именно!.. — начал Кэрри и замолчал, ибо Феверстон снова расхохотался.

Бэзби, прилежно занявший едою, тщательно отряхнул бороду и произнес:

— Да, в теории это смешно. Однако, по-моему, Кэрри прав. Предположим, он уходит со своего поста, удаляется в келью. Мы бы имели блестящее исследование по экономике...

— Я, простите, историк, — сказал Кэрри.

— Ну конечно, по истории, — продолжал Бэзби. — Итак, мы бы имели блестящее историческое исследование. Но через двадцать лет оно бы устарело. Работа же, которой он занят теперь, принесет колледжу пользу на очень долгое время. Перевезти в Эджстоу институт! Как вам это? А? Я говорю не только о финансовой стороне, хотя по долгу службы с ней связан. Вы пред-

ставьте себе, как все проснется, оживет, расцветет. Может ли самая лучшая книга об экономике...

— Об истории,— подсказал Феверстон, но на сей раз Бэзби не услышал.

— ...об экономике,— повторил он,— сравниться со всем этим?

Доброе вино уже делало свое доброе дело. Все мы знаем священников, которые рады забыть о своем сане после третьей рюмки. Бэзби обладал другой привычкой: именно в этот момент он о своем сане вспоминал. Священник, уснувший летаргическим сном тридцать лет назад, обретал странную, призрачную жизнь.

— Вы знаете,— сказал он,— что правоведем я не отличаюсь. Но если понимать религию в широком, высоком смысле, я не побоюсь сказать, что Кэрри делает сейчас для колледжа то, чего не сделал никакой Джуэл.

— Я бы не стал употреблять таких слов, Джеймс,— скромно сказал Кэрри,— но...

— Конечно, конечно! — сказал Бэзби.— У каждого свой лексикон.

— А кто-нибудь узнал,— спросил почетный гость,— что именно будет тут делать институт?

Кэрри удивленно посмотрел на него.

— Странно слышать это от вас,— сказал он.— Я думал, вы там свой человек.

— Наивный вы, что ли? — сказал Феверстон.— Одно дело — свой, другое дело — чем они занимаются.

— Ну, если вы имеете в виду частности...— начал Кэрри, но Бэзби его перебил.

— Знаете ли, Феверстон,— сказал он,— вы разводите таинственность на пустом месте. На мой взгляд, цели института совершенно ясны. Он, впервые в истории, занимается прикладной наукой всерьез, в национальных интересах. Один размах говорит за него. Какие здания, какой аппарат!.. Вспомните, сколько он уже дал промышленности. Подумайте о том, как широко он использует таланты, и не только научные в узком смысле слова. Пятнадцать начальников отдела, причем каждый получает

по пятнадцать тысяч в год! Свои архитекторы, свои инженеры, свои полицейские... Поразительно!

— Будет куда пристроить сыночка, — заметил Феверстон.

— Что вы хотите сказать, лорд Феверстон? — спросил Бэзби.

— Ах ты, сморозил! — рассмеялся Феверстон. — Совсем забыл, что у вас есть дети.

— Я согласен с Джеймсом, — сказал Кэрри. — Институт знаменует начало новой, поистине научной эпохи. До сих пор все делалось как-нибудь. Теперь сама наука получит научную базу. Сорок научных советов будут заседать там каждый день, протоколы будут немелленно реферировать, распечатывать — мне показывали, удивительная машина! — и вывешивать на общей доске. Взглянешь на доску — и сразу видно, где что делается. Институт работает как бы на твоих глазах. Этой сводкой управляют человек двадцать специалистов, в особой комнате, вроде диспетчерской. На доске загораются разноцветные огоньки. Обойдется, я думаю, не меньше чем в миллион. Называется это прагмометр.

— Видите! — сказал Бэзби. — У прагмометрии большое будущее.

— Да уж, не иначе, — сказал Феверстон. — Два Нуля сегодня говорил мне, что сортиры там — выше всех похвал.

— Конечно, — сказал Бэзби. — Не понимаю, что тут смешного.

— А вы что думаете, Стэддок? — спросил Феверстон.

— По-моему, — сказал Марк, — очень важно, что там будут свои инженеры и своя полиция. Дело не в этих прагмометрах и не в роскошных унитазах. Важно другое: наука обратится наконец к общественным нуждам, опираясь на силу государства. Хотелось бы надеяться, что это даст больше, чем прежние ученые-одиночки. Во всяком случае, это может дать больше.

— А, черт! — сказал Кэрри, глядя на часы. — Пора к Нулям. Бренди в буфете. Сифон — на верхней полке. Постараюсь поскорей. Вы еще не уходите, Джеймс?

— Ухожу, — сказал Бэзби. — Я ложусь рано. Весь день на ногах, знаете ли. Нет, надо быть болваном, чтобы тут работать!

Сплошная нервозность. Дикая ответственность. А потом тебе говорят, что науку двигают эти книжные черви! Хотел бы я поглядеть, как бы Глоссон повернулся!.. Да, Кэрри, займитесь своей экономикой, легче будет жить.

— Сказано вам, я... — начал было хозяин, но Бээби, склонившись к Феверстону, уже сообщал ему какую-то смешную новость.

Когда Кэрри и Бээби вышли, лорд Феверстон несколько минут загадочно смотрел на Марка. Потом он хмыкнул. Потом он расхохотался. Откинувшись в кресле, он хохотал все громче, и Марк стал вторить ему, беспомощно и искренне, как ребенок. «Прагмометры!.. — выкрикивал Феверстон. — Дворцовые сортиры!» Марку стало удивительно легко. Все, чего он не замечал, и все, что он замечал, но подавлял из уважения к прогрессистам, припомнилось ему. Он не мог понять, как же он не видел, что и проректор, и казначей просто смешны.

— Да, нелегко, — сказал Феверстон, приходя в себя. — Что ж, пользуемся вот такими. Их спрашиваешь дело, а они...

— И все же, — сказал Марк, — они умнее других в Брэктоне.

— Ну что вы! Глоссон, и Ящер Билл, и даже старый Джуэл куда умней! Им не хватает реализма, они живут фантазиями, но чему они верят, тому и служат. Они знают, чего хотят. А наши бедные друзья... их легко впихнуть в нужный поезд, они даже могут вести его, но куда он идет, они и понятия не имеют. Они голову положат, чтобы институт переехал в Эджстоу. Тем они ценны. Но что это за институт, что ему нужно, что вообще нужно... это уж увольте! Нет, прагмометрия!.. Пятнадцать начальников!

— Наверное, и я такой же...

— Ни в коей мере! Вы сразу поняли, в чем суть. Я знал, что вы поймете. Я читал все ваши статьи. Потому я и хочу с вами поговорить.

Марк молчал. Головокружительный прыжок на новый уровень избранности мешал ему говорить, как и прекрасное вино.

— Я хочу, — сказал Феверстон, — чтобы вы перешли в институт.

— То есть... оставил колледж?

— Это неважно. А вообще, что вам здесь делать? Когда старик уйдет, мы сделаем ректором Кэрри...

— Я слышал, что ректором будете вы.

— Я?! — удивился Феверстон, словно ему предложили стать директором школы для дефективных; и Марк обрадовался, что собственный его тон можно истолковать и как шутливый. Оба посмеялись.

— Здесь вы попусту тратите время, — сказал наконец Феверстон. — Это место для Кэрри. Скажешь ему, что он думает, и он так будет думать. Колледж для нас — только инкубатор. Мы будем брать отсюда стоящих людей.

— Для института?

— Да, прежде всего. Но это лишь начало.

— Я не совсем вас понимаю.

— Скоро поймете. Скажу в стиле Бэзби: человечество — на распутье. Сейчас самое главное — решить, на стороне ты порядка или на стороне обскурантизма. По всей вероятности, человеческий род уже способен управлять своей судьбой. Если дать науке волю, она пересоздаст человека, сделает его воистину полезным животным. Если ей это не удастся... тогда нам конец.

— Это очень интересно...

— Основных проблем — три. Первое, межпланетные дела...

— Что это такое?

— Пока неважно. Тут в данное время мы бессильны. Был один человек, Уэстон...

— Он где-то погиб?

— Его убили.

— Убили?

— Несомненно. Я даже догадываюсь, кто именно.

— Господи! И ничего нельзя сделать?

— Доказательств нет. Убийца — почтенный филолог со слабым зрением, да еще хромой.

— За что же Уэстона убили?

— За то, что он с нами. Убийца — из вражеского лагеря.

— И все?

— Да,— сказал Феверстон.— В том-то и дело. Всякие Кэрри и Бэзби вечно твердят, что реакция борется против нас. Они и не подозревают, что это — настоящая борьба. Сопротивление врагов не кончилось судом над Галилеем. Оно только начинается. Теперь они знают, что вопрос о будущем человечества решится в ближайшие шестьдесят лет. Они будут сражаться до конца. Их ничто не остановит.

— Они не могут победить,— сказал Марк.

— Надеюсь,— сказал Феверстон.— Да, не могут. Вот почему беспредельно важно решить, с кем ты. Если попытаешься остаться в стороне, станешь пешкой, больше ничего.

— Ну, я-то знаю, с кем я! — сказал Марк.— Спасти человечество... о чем тут и думать!

— Лично я,— сказал Феверстон,— не стал бы подражать Бэзби. Реалистично ли заботиться о том, что станет с кем-то через миллионы лет? Кроме того, не забывайте, что враг тоже толкует о спасении человечества. Практически же суть в том, что ни вы, ни я не хотим быть пешками и любим бороться... особенно если победа обеспечена.

— Что же надо делать?

— Вот в том и вопрос. Межпланетные проблемы придется временно отложить. Вторая проблема связана с нашей планетой. У нас слишком много врагов. Я говорю не о насекомых и не о микробах. Жизни вообще слишком много. Мы еще не расчистили толком место. Во-первых, мы не могли; во-вторых, нам мешали гуманистические и эстетические предрассудки. Даже теперь вы услышите, что нельзя нарушать равновесие в природе. Наконец, третья проблема — сам человек.

— Это удивительно интересно...

— Человек должен взять на себя заботу о человеке. Значит это, сами понимаете, что одни люди должны взять на себя заботу об остальных. Мы с вами хотим оказаться среди этих, главных.

— Что вы имеете в виду?

— Очень простые вещи. Прежде всего, стерилизуем негодные экземпляры, уничтожаем отсталые расы (на что нам мерт-

вый груз?), налаживаем селекцию. Затем вводим истинное образование, в том числе — внутриутробное. Истинное образование уничтожит возможность выбора. Человек растет таким, каким нам надо, и ни он, ни его родители ничего сделать не могут. Конечно, поначалу это коснется лишь психики, но потом перейдет и на биохимический уровень, будем прямо управлять сознанием...

— Это поразительно, Февеверстон.

— И вполне реально. Новый тип человека. А создавать его будем мы с вами.

— Не примите за ложную скромность, но мне не совсем понятно, при чем тут я.

— Ничего, мне понятно. Именно такой человек нам нужен: отличный социолог, реалист, который не боится ответственности... и умеет писать, наконец.

— Вы хотите, чтобы я все это рекламировал?

— Нет. Мы хотим, чтобы вы все это камуфлировали. Конечно, только на первое время. Когда дело пойдет, нас не будет трогать мягкосердечие англичан. Мы им сердце подправим. А пока, вначале, нам важно, как что подать. Вот, например, если пойдут слухи, что институт собирается ставить опыты на заключенных, старые девы разорутся и разохаются. Назовите это перевоспитанием неприспособленных, и все возликуют, что кончилась варварская эпоха наказаний. Странно, никто не любит слова «опыт»; «эксперимент» — уже получше, а «экспериментальный» — просто восторг. Ставить опыты на детях — да упаси господь, экспериментальная школа — пожалуйста!

— Вы не хотите сказать, что мне в основном пришлось бы заниматься... ну, журналистикой?

— Какая журналистика! Читать вас будут прежде всего парламентские комиссии. Но это не главное ваше дело. Что же до главного... сейчас невозможно предугадать, во что оно выльется. Такому человеку, как вы, я не буду говорить о финансовой стороне. Начнете вы со скромной суммы — так, тысячи полторы.

— Об этом я не думал, — сказал Марк, вспыхнув от удовольствия.

— Конечно, — сказал Феверстон. — Значит, завтра я вас везу к Уизеру. Он просил меня привезти вас на субботу — воскресенье. Там вы встретите всех, кого нужно, и осмотритесь получше.

— При чем тут Уизер? — спросил Марк. — Я думал, директор института — Джалс.

(Джалс был известным писателем и популяризатором науки.)

— Джалс! Ну, знаете! — сказал Феверстон. — Он представляет институт нашей почтенной публике. А так — какой с него толк? Он не ушел дальше Дарвина.

— Да, да, — сказал Марк. — Я и сам удивлялся. Что ж, если вы так любезны, я согласен. Когда вы выезжаете?

— В четверть одиннадцатого. Я за вами заеду, подвезу вас.

— Спасибо большое. Расскажите мне, пожалуйста, про Уизера.

— Джон Уизер... — начал Феверстон и вдруг воскликнул: — Ах ты, черт! Кэрри идет. Придется слушать, что сказал Два Нуля и как наш политик его отбрил. Не уходите. Я без вас не выдержу.

2

Когда Марк ушел, автобусов уже не было, и он направился к дому пешком под светлой луной. Когда же он вошел в дом, случилось что-то небывалое — Джейн кинулась к нему, дрожа и чуть не плача, повторяя: «Я так испугалась!»

Больше всего его удивило, что она ослабела, обмякла, утратила скованность и настороженность. Так бывало и раньше, но очень редко, а в последнее время вообще не было. Кроме того, вслед за этим, наутро, разразилась ссора. Словом, Марк удивился, но ни о чем не спросил.

Вряд ли он понял бы, если бы спросил; да Джейн и не сумела бы толком ответить. Однако причины были просты: от Димблов она пришла в пятом часу, оживилась по пути, проголодалась и поверила, что со страхами покончено. Дни становились короче, пришлось зажечь свет, опустить шторы, и тут уж страхи эти показались совсем смешными, как детский страх темноты. Она стала думать о детстве и, быть может, вспомнила

его слишком хорошо; во всяком случае, когда она пила чай, настроение ее изменилось. Ей стало трудно читать. Она забеспокоилась. Потом, довольно долго, она считала, что испугается, если не будет держать себя в руках. Потом она решила все-таки поесть, но не смогла. Пришлось признать, что страх вернулся, и она позвонила Димблам. Миссис Димбл почему-то помолчала и сказала, что пойти надо к какой-то мисс Айронвуд. Джейн думала, что речь шла о мужчине, и ей стало неприятно. Жила эта врачиха не здесь, а повыше, в Сэнт-Энн. Джейн спросила, надо ли записаться. «Нет, — сказала миссис Димбл. — Они будут вас...», и не закончила фразы. Втайне Джейн надеялась, что та все поймет и скажет: «Я сейчас приеду», но услышала торопливое «до свиданья». Голос был странный, и Джейн показалось, что сейчас они с мужем говорили именно о ней... нет, не о ней, о чем-то более важном, но с ней связанном. Что значит «они будут вас...»? «Они будут вас ждать»? Жуткое, как в детстве, видение каких-то ожидающих ее людей пронеслось перед нею. Она увидела, как мисс Айронвуд, вся в черном, сидит, сложив руки на коленях, а кто-то входит и говорит: «Она пришла».

«Да ну их!..» — подумала Джейн, имея в виду Димблов, и тут же раскаялась, точнее — испугалась.

Теперь, когда телефон не помог, страх кинулся на нее, словно в отместку за то, что она пыталась от него спастись, и она не могла потом вспомнить, вправду ли мелькал перед ней закутанный в мантию старик, или она просто дрожала, причитала, даже молилась неведомо кому, пытаясь предотвратить его появление.

Вот почему она кинулась к мужу. А он пожалел, что она кидается к нему, когда он так устал, и запоздал, и, честно говоря, напился.

3

— Ты хорошо себя чувствуешь? — спросил он наутро.

— Да, спасибо, — ответила она.

Марк лежал в постели и пил чай. Джейн причесывалась перед зеркалом. Смотреть на нее было приятно. Мы, люди, все-

гла проецируем свои чувства на других. Нам кажется, что ягненок ласков и кроток, потому что его приятно гладить. На Джейн было приятно смотреть, и Марку казалось, что и ей самой хорошо.

А Джейн казалось, что ей так плохо потому, что волосы ее не слушаются, и потому, что Марк пристаёт с вопросами. Конечно, она знала, что злится на себя за то, что вчера вечером сорвалась и стала именно тем, что ненавидела, — «маленькой женщиной», которая ищет утешения в мужских объятиях. Но она думала, что злоба эта — где-то глубоко, внутри, и не догадывалась, что лишь по этой причине пальцы, а не волосы не слушаются ее.

— Если тебе плохо, — продолжал Марк, — я могу и не ехать... Джейн промолчала.

— А если я поеду, — говорил он, — ты будешь одна ночи две-три.

Джейн плотнее сжала губы и не сказала ничего.

— Ты не пригласишь Миртл? — спросил Марк.

— Нет, спасибо, — сказала Джейн. — Я привыкла быть одна.

— Знаю, — не совсем приветливо сказал Марк. — Черт-те что у нас творится... Жить не дают. Отчасти поэтому я и хочу перейти на другую работу.

Джейн молчала.

— Вот что, старушка, — сказал Марк, спуская ноги с кровати. — Не хочется мне уезжать, когда ты в таком состоянии.

— В каком это? — спросила Джейн и обернулась к нему.

— Ну... первничаетшь... так, немножко... у кого не бывает...

— Если я видела вчера страшный сон, это еще не значит, что я ненормальная! — сказала Джейн, хотя ничего подобного говорить не собиралась.

— Нет, так нельзя... — начал Марк.

— Как это «так»? — холодно спросила Джейн и не дала ему ответить. — Если ты решил, что я сошла с ума, пригласи доктора. Очень удобно, они меня заберут, пока тебя нет. Ладно, я в кухню пойду. А ты брейся, скоро явится твой лорд.

Бреясь, Марк сильно порезался (и ясно увидел, как предстанет перед Уизером с клочком ваты над губой); а Джейн, по мно-

тим причинам решив приготовить особенно изысканный завтрак, принялась за дело с пылом рассерженной женщины и опрокинула все на новую плиту. Когда пришел лорд Феверстон, они еще сидели за столом, делая вид, что читают. Как на беду, в тот же самый момент пришла миссис Мэггс — та самая женщина, о которой Джейн говорила: «Я нашла подходящую прислугу, на два раза в неделю». Мать Джейн двадцать лет назад называла бы ее «Мэггс», а сама звалась бы «мэм». Джейн и «подходящая» говорили друг другу «миссис Мэггс» и «миссис Стэддок». Они были ровесницы, и холостяк не заметил бы различия в их одежде; поэтому не надо удивляться, что Феверстон направился к прислуге, когда Марк сказал: «Моя жена». Однако ошибка эта не украсила тех минут, которые мужчины провели у Джейн в доме.

Как только они ушли, Джейн сказала, что ей пора в магазин.

«Нет, сегодня я ее не вынесу, — думала она, — говорит без умолку».

Без умолку говорил и лорд Феверстон и громко, неестественно смеялся, и рот у него был поистине акулий, а уж манеры... Сразу видно, что круглый дурак. На что он Марку? Наверное, он и над Марком смеется. Марка так легко провести. И все этот колледж... Что Марку делать с такими, как Кэрри, или тот мерзкий, бородатый? А что делать ей весь этот день, и всю ночь, и дальше? Когда мужчина уезжает на два дня, это значит — спасибо, если на неделю. Пошлет телеграмму, даже не позвонит, и все в порядке.

А делать что-то надо. Может быть, и правда позвать Миртл? Но Миртл относилась к своему близнецу, как только и может относиться сестра к такому талантливому брату. Она будет говорить о его здоровье, и рубашках, и носках, молчаливо подразумевая, что Джейн неслыханно повезло. Нет, Миртл звать нельзя. Может, пойти к доктору? Но он будет залавать такие вопросы... А что-то делать надо. Вдруг она поняла, что все равно поедет в Сэнт-Энн, к мисс Айронвуд. И подумала: «Нет, какая же я дура!..»

Если бы вы в тот день нашли удобное место над Эджстоу, вы бы увидели, что к югу быстро движется черное пятнышко, а восточней, у реки, гораздо медленней ползет дымок паровоза.

Пятнышко было машиной, увозившей Марка Стэддока в Бэлбери, где институт временно расположился при своей же станции переливания крови. Машина Марку понравилась. Сиденья были такие, что хотелось откусить кусочек. А как ловко, как мужественно (Марка сейчас мутило от женщин) сел Феверстон за руль, сжимая в зубах трубку! Даже по улочкам Эджстоу они ехали быстро, и Феверстон отпускал краткие, но впечатляющие замечания о пешеходах и владельцах других машин. За колледжем Св. Елизаветы, где когда-то училась Джейн, он показал, на что способен. Мчались они так, что даже на полупустой дороге мимо них непрерывно мелькали машины, нелепые пешеходы, какие-то люди с лошадьми и собаки, которым, по мнению Феверстона, «опять повезло!». Курицу они все-таки раздавили. Опыяненный воздухом и скоростью, Марк покрикивал: «Ух ты!», «Ну-ну!», «Сам виноват» — и краем глаза глядел на Феверстона, думая о том, насколько он интересней тех зануд. Крупный прямой нос, сжатые губы, скулы, манера носить костюм — все говорило о том, что перед тобой настоящий человек, который едет туда, где делают настоящее дело. Раза два Марк все же усомнился, достаточно ли хорошо лорд Феверстон ведет машину, но тот кричал: «Что нам перекресток!» — и Марк ревел в ответ: «Вот именно!» — «Сами водите?» — спросил Феверстон. «Бывало», — ответил Марк.

Дымок, который вы увидели бы к востоку от Эджстоу, означал, что поезд везет Джейн Стэддок в деревню Сэнт-Энн. Лондонцам казалось, что за Эджстоу пути нет; на самом же деле маленький поезд из двух-трех вагонов ходил и дальше. В поезде этом все знали друг друга, и порой вместо третьего вагона прицепляли платформу, на которой ехали лошади или куры; а по перрону ходили охотники в шляпах и гетрах и привыкшие

к поездам собаки. Выходил он в половине второго. В нем и ехала Джейн, глядя на красные и желтые листья Брэгдонского леса, а потом — на луга, а потом — на парк, мимо Дьюк Итон, Вулема, Кьюр Харди. На каждой станции, где поезд со вздохом останавливался, немного подаваясь назад, звенели бидоны, стучали грубые башмаки, а потом наступала тишина и длилась долго, и осенний свет грел окно, и пахло листьями, словно железная дорога — такая же часть природы, как поле или лес. На каждой станции в купе входили мужчины, похожие на яблоко, и женщины в шляпах с искусственными вишнями, и школьники, но Джейн едва замечала их, ибо, хотя она считала себя крайним демократом, все классы, кроме ее собственного, были для нее реальны только в книге. Между станциями проплывали островки, сулящие райское блаженство, если только ты успеешь сейчас, именно сейчас, прыгнуть вниз и застать их врасплох: домик, а за ним — стог сена, а за стогом — поле; две пожилые лошади валетом; плодовый сад, где между яблонями развешано белье; глядящий на вагоны кролик, чьи ушки и глазки составляли два восклицательных знака. В четверть третьего доехали до Сэнт-Энн, где действительно кончались и рельсы, и все на свете. Когда Джейн вышла со станции, холодный воздух оживил ее.

Хотя последнюю часть пути поезд взбирался вверх, нужно было подняться еще выше пещком, ибо деревня располагалась на холме. Пройдя церковь, Джейн свернула влево, как ей сказали. Слева от нее домов не было, только буковые деревья и неогороженное поле, а за ними — бескрайняя равнина, синяя у горизонта. Холм этот был самым высоким местом в округе. Через некоторое время справа появилась стена, очень длинная, в стене была дверца, у дверцы — старинный колокольчик. Джейн стало не по себе. Она подумала, что идти не надо, и все же позвонила. Дребезжащий звон сменился долгой тишиной, и Джейн даже усомнилась, живут ли в этом доме. Думая о том, стоит ли снова звонить, она услышала за стеной быстрые шаги.

К тому времени машина лорда Феверстона уже давно приехала в Бэлбери — бывшую усадьбу, заказанную в начале века

миллионером, которому понравился Версаль. К дому было пристроено новое крыло, где и размещалась станция переливания крови.

Глава III

БЭЛБЕРИ И СЭНТ-ЭНН

1

Поднимаясь по широкой лестнице, Марк увидел в зеркале и себя, и своего спутника. Клочок ваты, закрывавший ранку, растрепало ветром, и теперь над губой гневно торчал белый ус, а под ним темнела засохшая кровь. Феверстон, как всегда, владел и собой и ситуацией. Через несколько секунд Марк очутился в комнате с большими окнами и пылающим камином и понял, что его представляют Уизеру, исполняющему обязанности директора ГНИИЛИ.

Уизер был учтив и седовлас. Его водянисто-голубые глаза смотрели вдаль, словно он не замечал собеседников, хотя манеры его, повторю, были безупречны. Он сказал, что исключительно рад видеть здесь м-ра Стэддока и еще больше обязан теперь лорду Феверстону. Кроме того, он надеялся, что полет не утомил их. Феверстон поправил его, и тогда он решил, что они прибыли поездом из Лондона. Затем он поинтересовался, нравится ли м-ру Стэддоку его комната, и тому пришлось напомнить, что они только что приехали.

«Хочет, чтобы я себя легче чувствовал», — подумал Марк.

На самом деле ему становилось все труднее.

«Предложил бы сигарету!..» — думал он, постепенно убеждаясь, что Уизер не знает о нем ничего.

Обещания Феверстона растворились в тумане. Наконец Марк собрал все свое мужество и заметил, что ему еще не совсем ясно, чем именно он может быть полезен институту.

— Уверяю вас, мистер Стэддок, — сказал Уизер, глядя вдаль, — вам незачем... э-э... совершенно незачем беспокоить-

ся. Мы ни в коей мере не собираемся ограничить круг вашей деятельности, не говоря уже о вашем плодотворном сотрудничестве с коллегами, представляющими другие области знания. Мы всецело, да, всецело учтем ваши научные интересы. Вы увидите сами, мистер... Стэддок, что, если мне позволено так выразиться, институт — это большая и счастливая семья.

— Поймите меня, сэр,— сказал Марк.— Я имел в виду другое. Я просто хотел узнать, что именно я буду делать, если перейду к вам.

— Надеюсь, между нами не может быть недоразумений,— сказал и. о.— Мы отнюдь не настаиваем, чтобы в данной фазе решался вопрос о вашем местопребывании. И я, и все мы полагаем, что вы будете проводить исследования там, где этого требует дело. Если вы предпочитаете, вы можете по-прежнему жить в Лондоне или в Кембридже.

— В Эджстоу,— подсказал лорд Феверстон.

— Вот именно, Эджстоу.— И Уизер обернулся к Феверстону.— Я пытаюсь объяснить мистеру... э... Стэддоку, что мы и в малейшей мере не собираемся предписывать или даже советовать, где ему жить. Надеюсь, вы со мной согласны. Где бы он ни поселился, мы предоставим ему, в случае надобности, и воздушный и наземный транспорт. Я уверен, лорд Феверстон, что вы объяснили, как легко и безболезненно решаются у нас такие вопросы.

— Простите, сэр,— сказал Марк,— я об этом и не думал... То есть я могу жить где угодно. Я просто...

Уизер прервал его, если это слово применимо к такому ласковому голосу:

— Уверяю вас, мистер... э-э... уверяю вас, сэр, вы и будете жить, где вам угодно. Мы и в малейшей степени...

Марк почти в отчаянии решился сказать:

— Меня интересует характер работы.

— Дорогой мой друг,— сказал и. о.,— как я уже говорил, никто и в малейшей мере не сомневается в вашей полной пригодности. Я не предлагал бы вам войти в нашу семью, если бы не был совершенно уверен, что все до единого оценят ваши бле-

стящие дарования. Вы среди друзей, мистер... э-э. Я первый отговаривал бы вас, если бы вы думали связать свою судьбу с каким бы то ни было учреждением, где бы вам грозили... э... нежелательные для вас личные контакты.

Больше Марк не спрашивал — и потому, что он должен был сам уже все знать, и потому, что прямой, резкий вопрос изверг бы его из этой теплой, почти одуряющей атмосферы доверительности.

— Спасибо, — сказал он, — я только хотел немного ясней представить себе...

— Я счастлив, — сказал Уизер, — что мы с вами заговорили об этом по-дружески... э-э-э... неофициально. Могу вас заверить, что никто не намеревается загнать вас... хе-хе... в прокрустово ложе. Мы здесь не склонны строго разграничивать области деятельности, и я надеюсь, такие люди, как вы, всецело разделяют неприязнь к насильственному ограничению. Каждый сотрудник чувствует, что его работа не частное дело, а определенная ступень в непрестанном самоопределении органического целого.

И Марк сказал (прости его, Боже, ведь он был и молод, и робок, и тщеславен):

— Это очень важно. Мне очень нравится такая гибкость...

После чего уже не было никакой возможности остановить Уизера. Тот неспешно и ласково вел свою речь, а Марк думал: «О чем же мы говорим?» К концу беседы был небольшой просвет: Уизер предположил, что Марк сочтет удобным вступить в институтский клуб. Марк согласился и тут же страшно покраснел, ибо выяснилось, что вступать туда надо пожизненно и взнос — двести фунтов. Таких денег не было у него вообще. Конечно, если бы он получил здесь работу, он смог бы заплатить. Но получил ли он? Есть тут работа или нет?

— Как глупо, — сказал он. — Оставил дома чековую книжку...

Через несколько секунд он снова шел по лестнице с Феверстоном.

— Ну как? — спросил он.

Феверстон, видимо, не расслышал.

— Ну как? — повторил он. — Когда я узнаю, берут меня или нет?

— Привет! — заорал Феверстон, кинулся куда-то вниз и, схватив своего друга за руку, мгновенно исчез.

Марк спустился медленно и оказался в холле, среди каких-то людей, которые, оживленно беседуя, шли по двое, по трое налево, к большим дверям.

2

Долго стоял он здесь, не зная, что делать, и стараясь держаться поестественней. Шум и запахи, доносившиеся из-за двери, указывали на то, что народ завтракает. Марк не был уверен, идти ему или нет, но потом решил, что еще хуже стоять тут как дураку.

Он думал, что в столовой — столики и он найдет место подалее, но стол был один, очень длинный, и места почти все заняты. Не найдя Феверстона, Марк сел рядом с кем-то, пробормотав: «Здесь можно сесть где хочешь?» — но сосед его не услышал, ибо деловито ел и разговаривал с другим своим соседом.

Завтрак был превосходный, но Марк с облегчением вздохнул, когда он кончился. Вместе со всеми он пересек холл и очутился в большой комнате, куда подали кофе. Здесь он увидел наконец Феверстона и одного из своих коллег, Уильяма Хинджеста, которого (конечно, за глаза) называли Ящерка Билл и просто Яшер.

Как и предвидел Кэрри, Хинджест на заседании не был и вряд ли знал Феверстона. Не без страха Марк понял, что тот попал сюда как бы в обход всемогущего лорда. Занимался он физической химией и был в их колледже одним из двух ученых мирового класса. Надеюсь, читатель не думает, что в Брэкtone собрались крупные ученые. Конечно, передовые люди не приглашали нарочно тех, кто поглупее, но, как выразился Бэзби, «нельзя же иметь все сразу!..». У Ящера были старомодные усы, светло-рыжие, с проседью. Нос его походил на клюв.

— Вот не ожидал, — вежливо сказал Марк. Он всегда побаивался Хинджеста.

— Хм? — сказал Ящер. — Что? Ах, это вы, Стэддок? Не знал, что они вас подцепили.

— Жаль, что вас не было вчера на заседании, — сказал Марк.

То была ложь. Прогрессисты не любили, чтобы Хинджест ходил на заседания. Как ученый он принадлежал им, но, кроме того, он был аномалией, и это им очень не нравилось. Дружил он с Глоссопом. К своим поразительным открытиям он относился как-то небрежно, а гордился своим родом, восходившим к мифической древности. Особенно оскорбил он коллег, когда в Эджстоу приезжал де Бройль. Знаменитый физик был все время с ним, но когда кто-то потом восторженно обмолвился об «истинном пиршестве науки», Ящер подумал и сказал, что о науке они вроде бы не говорили.

«Хвастались предками», — прокомментировал это Кэрри, хотя и не при Хинджесте.

— Что? Заседание? — сказал Ящер. — С какой это стати?

— Мы обсуждали проблему Брэгдонского леса.

— Ерунда какая!

— Наверное, вы бы согласились с нашим решением.

— Какая разница, что вы там решили!

— То есть как?

— А так. Институт все равно забрал бы лес. Это они могут.

— Странно! Нам сказали, что, если мы откажемся, они поедут в Кембридж.

Хинджест громко хмыкнул.

— Вранье. А странного ничего не вижу. Наш колледж любит проболтать весь день впустую. И что институт превратит самое сердце Англии в поместь американского отеля с газовым заводом, здесь тоже ничего странного нет. Одно мне непонятно — зачем им этот участок.

— Мы это скоро увидим.

— Вы, может, увидите. Я — нет.

— Почему? — растерянно спросил Марк.

— С меня хватит.— Хинджест понизил голос.— Сегодня же уеду. Не знаю, чем вы занимаетесь, но мой вам совет, езжайте назад и занимайтесь этим дальше.

— Да? — сказал Марк.— Почему вы так думаете?

— Такому старику, как я, ничего,— сказал Хинджест,— а с вами они могут сыграть плохую шутку. Конечно, что кому нравится.

— Собственно,— сказал Марк,— я ничего еще не решил. Я даже не знаю, что буду делать, если останусь тут.

— Вы чем занимаетесь?

— Социологией.

— Хм,— сказал Хинджест.— Могу вам показать вашего начальника. Некий Стил. Вон, у окна.

— Вы меня не познакомите?

— Значит, решили остаться?

— Ну, надо же мне хотя бы с ним побеседовать!

— Хорошо,— сказал Хинджест.— Дело ваше.— И он крикнул: — Стил!

Стил обернулся. Он был высокий, суховатый, с длинным худым лицом, но с толстыми губами.

— Это Стэддок,— сказал Хинджест,— в ваш отдел,— и отвернулся.

— Он сказал, в мой отдел? — не сразу выговорил Стил.

— Сказать он сказал,— ответил Марк, пытаясь улыбнуться,— но сам я не знаю. Я социолог, конечно...

— Да, отдел мой,— прервал его Стил,— только я о вас не слышал. Кто вам говорил, что вы ко мне поступите?

— Понимаете,— сказал Марк,— все это довольно туманно. Я сейчас виделся с Уизером, но он ничего не объяснил.

— А к нему вы как пролезли?

— Меня представил лорд Феверстон.

Стил свистнул.

— Коссер,— окликнул он веснушчатого человека.— Послушайте-ка! Феверстон сгрузил вот этого нам. Повел его прямо к и. о., за моей спиной. Здорово, а?

— Черт знает что! — сказал Коссер, сурово глядя не на Марка, а на Стила.

— Простите, — погромче и потверже сказал Марк. — Вам беспокоиться незачем. Это недоразумение. Я, видимо, чего-то не понял. Собственно, я просто приехал посмотреть. Я совсем не уверен, что останусь.

Ни Стил, ни Коссер не обратили на его слова никакого внимания.

— Феверстоньи штучки, — сказал Коссер.

Стил обернулся к Марку.

— Я бы вам не советовал принимать всерьез то, что говорит лорд Феверстон, — сказал он.

— Поймите меня, пожалуйста, — сказал Марк, надеясь, что не краснеет. — Я приехал посмотреть, больше ничего. Мне все равно, получу я здесь место или нет.

— Сами видите, — сказал Стил Коссеру, — у нас в отделе места нет, особенно для тех, кто не знает дела.

— Вот именно, — сказал Коссер.

— Мистер Стэддок, если не ошибаюсь, — проговорил сзади тоненький голос, принадлежавший, однако, очень толстому мужчине. Марк сразу узнал профессора Филострато, знаменитого физиолога (тем более, что тот говорил с иностранным акцентом), года два тому назад они сидели рядом на банкете. Марку польстило, что такой человек вспомнил его.

— Я чрезвычайно счастлив, что вы среди нас, — сказал итальянец, ласково уводя Марка от Коссера и Стила.

— Честно говоря, — сказал Марк, — я в этом не уверен. Меня привез Феверстон, но потом он исчез, а Стил... Понимаете, я должен быть в его отделе, а он ничего не знает.

— Стил! — сказал Филострато. — Какая нелепость! Ему скоро укажут его место. Быть может, вы и укажете. Я читал ваши работы, *si, si**. Не обращайтесь на него внимания, искренне вам советую.

— Я бы не хотел оказаться в ложном положении... — начал Марк.

* Да, да (*ит.*).

— Послушайте меня, мой друг, — сказал Филострато. — Оставьте эти мысли. Поймите прежде всего, как важна наша работа, наша настоящая работа. От нее зависит существование человечества. Да, среди этого сброда, этой *capaglia* вы увидите и наглость, и лукавство. Но это не должно вас трогать.

— Когда мне дадут интересную работу, — сказал Марк, — я и не буду обращать внимания на такие вещи.

— Да, да, вы совершенно правы. Работа важнее, чем вы думаете. Вы увидите это сами. Стиллы и Феверстоны не имеют никакого значения. Если Уизер за вас, какое вам до них дело? Слушайте только его, вы меня понимаете? Ах да, и еще... Не ссорьтесь с Феей. А на остальных не обращайтесь никакого внимания.

— С Феей?

— Да. Ее тут зовут Фея. Скажу вам, пренеприятная *ingle-saccia!** Глава нашей полиции, у нас ведь своя. Ессо**, да вот и она. Я вас познакомлю. Мисс Хардкасл, разрешите представить вам мистера Стэддока.

Марк почувствовал, что руку его невыносимо крепко сжала большая женщина в короткой юбке и черном форменном кителе. Бюст ее сделал бы честь кельнерше былых времен, но сама она казалась скорее крепкой, чем толстой. Лицо у нее было бледное, широкое, голос — густой. Единственной данью моде был небрежный мазок помады на ее губах. Она жевала незажженную сигару. Заговорив, она вынимала ее изо рта и внимательно глядела на кончик, измазанный помадой и слюной. Кончив фразу, она снова совала сигару в рот. Сейчас она сразу же плюхнулась в кресло, перекинула правую ногу через ручку и устремила на Марка холодный, фамильярный взгляд.

3

«Клик-клак», услышала Джейн, ожидающая за оградой. Дверь открылась, и она увидела высокую женщину примерно ее лет.

— Здесь живет мисс Айронвуд? — спросила Джейн.

* Англичаниша (*ит.*).

** Вот (*ит.*).

— Она вам назначила? — спросила женщина.
— Не совсем, — сказала Джейн. — Меня послал доктор Димбл.
— Ах, вы от доктора Димбла! — сказала женщина. — Это дело другое. Входите. Подождите минутку, закрою как следует. Дорожка узкая, вы меня простите, если я пойду впереди?

Женщина повела ее по мощенной кирпичом дорожке, мимо слив и яблонь. Потом они свернули налево, на мшистую тропинку, обсаженную крыжовником. Дальше была площадка или полянка, на ней — качели, а за ней — парники. Затем началась настоящая деревушка, какие бывают в больших поместьях: они шли по улочке, и с обеих сторон были всякие постройки — амбары, сараи, еще одна теплица, конюшня, свинарник. Наконец через огород, расположенный на довольно крутом склоне, они добрались до розовых кустов, чопорных и неприступных в зимнем уборе. Дорожка здесь была выложена дощечками. Джейн постаралась вспомнить, что же напоминает ей этот сад. «Кролика Питера»? Или «Роман о розе»? Сад Клингзора? Сад из «Алисы»? А может быть, сады на месопотамских зиккуратах, породившие легенду о райском саде? Фрейд говорит, что мы любим сады, потому что они символизируют женское тело. Мужская точка зрения... Для женщин сад — что-то другое. Или нет? Неужели женщины тоже равнодушны к женскому телу? Ей вспомнилась фраза: «Женская красота трогает и мужчин, и женщин, и не случайно богиня любви старше и сильнее, чем бог». Откуда это? И почему она думает сейчас такую чушь? Она поджалась. Странное чувство овладевало ею — она на чужой земле, и надо держаться изо всех сил. В эту минуту они вынырнули из-под лавров к маленькой двери, около которой стояла бочка с водой. Наверху, в длинной стене, хлопнуло окно.

Чуть позже Джейн оказалась в большой комнате с печкой, а не с камином. Ковра тут не было, стены были беленые, и все это напоминало монастырь. Шаги высокой женщины затихли в переходах, и теперь Джейн слышала лишь карканье ворон.

«Попалась я, — думала она. — Придется отвечать на всякие вопросы».

Она считала себя современным человеком, который может говорить о чем угодно, но сейчас в ее сознании то и дело всплывали вещи, о которых она не могла бы сказать вслух.

«У зубных врачей хоть журналы лежат», — подумала она и открыла какую-то книгу.

Там было написано: «Женская красота трогает и мужчин, и женщин, и не случайно богиня любви старше и сильнее, чем бог. Желать, чтоб твоей красоты желали, — суетность Лилит. Желать, чтобы твоей красоте радовались, — послушание Евы. Лишь в возлюбленном счастлива возлюбленная своею красотой. Послушание — путь к радости, смирение...»

Дверь открылась. Джейн густо покраснела и захлопнула книгу. В дверях стояла та же высокая молодая женщина. Сейчас она вызывала в Джейн тот полужавистливый восторг, который женщины часто испытывают к другому, чем у них, типу красоты.

«Хорошо быть такой высокой, — думала Джейн, — такой смелой, как амазонка, такой решительной».

— Вы миссис Стэддок? — спросила женщина.

— Да, — сказала Джейн.

— Мы ждем вас, — сказала женщина. — Меня зовут Камилла, Камилла Деннистон.

Джейн пошла за ней по узким переходам, думая о том, что они, должно быть, еще в задней, не парадной части дома, а дом этот очень большой. Наконец Камилла постучалась в дверь, тихо сказала: «Она пришла» (Джейн подумала: «Как служанка») и отошла в сторону. Мисс Айронвуд, вся в черном, сидела, сложив на коленях руки, точно так же, как в последнем сне, если это был сон.

— Садитесь, моя милая, — сказала мисс Айронвуд.

Руки у нее были очень большие, но никак не грубые. Все было большим у нее — и нос, и рот, и серые глаза. По-видимому, ей давно исполнилось пятьдесят.

— Как вас зовут, моя милая? — спросила мисс Айронвуд и взяла карандаш.

— Джейн Стэддок.

— Вы замужем?

— Да.

— Муж знает, что вы к нам пришли?

— Нет.

— Простите, сколько вам лет?

— Двадцать три.

— Так, — сказала мисс Айронвуд. — Что же вас беспокоит? Джейн вдохнула побольше воздуха.

— Я вижу странные сны, — сказала она. — Вероятно, у меня депрессия.

— Какие именно сны? — спросила мисс Айронвуд.

Джейн рассказывала довольно сбивчиво и глядела на сильные пальцы, держащие карандаш. Суставы этих пальцев становились все белее, на руке надувались вены, и, наконец, карандаш сломался. Джейн в удивлении остановилась и подняла голову. Большие серые глаза все так же смотрели на нее.

— Продолжайте, моя милая, — сказала мисс Айронвуд.

Когда Джейн кончила, она довольно долго молчала, и Джейн начала сама:

— Как вы считаете, со мной что-нибудь плохое?

— Нет, — сказала мисс Айронвуд.

— Значит, это пройдет?

— Не думаю.

Джейн удивилась.

— Неужели меня нельзя вылечить?

— Да, вылечить вас нельзя, потому что вы не больны.

«Она издевается, — подумала Джейн, — она считает, что я сумасшедшая».

— Как ваша девичья фамилия? — спросила мисс Айронвуд.

— Тюдор, — сказала Джейн.

В другую минуту она бы смутилась, ибо очень боялась, как бы не подумали, что она этим гордится.

— Уорикширская ветвь?

— Да...

— Вы не читали небольшую книгу, всего в сорок страниц, о битве при Вустере? Ее написал ваш предок.

— Нет. У папы она была. Он говорил, это единственный экземпляр. Потом она куда-то делась.

— Ваш отец ошибался, сохранилось еще по меньшей мере два экземпляра. Один — в Америке, другой — здесь, у нас.

— Так что же книга?

— Ваш предок абсолютно верно описал битву в тот самый день, когда она состоялась. Но он там не был. Он был в Йорке. Джейн растерянно посмотрела на мисс Айронвуд.

— Ваш предок видел битву во сне,— сказала та.

— Я не понимаю...

— Ясновидение передается по наследству.

Джейн задохнулась, словно ее оскорбили. Именно такие вени она ненавидела. Что-то древнее, непонятное, неразумное без спроса врывается в ее жизнь.

— У нас нет доказательств...— начала она.

— У нас есть ваши сны,— перебила мисс Айронвуд.

Тон ее, и без того серьезный, стал строгим.

«Неужели она не понимает,— думала Джейн,— что неудобно обвинить во лжи даже далекого предка?»

— Сны? — настороженно выговорила она.

— Да,— сказала мисс Айронвуд.

— Что вы имеете в виду?

— Я считаю, что вы видели правду. Алькасан действительно сидел в камере, к нему приходил человек.

— Но это же смешно!..— сказала Джейн.— Это чистое совпадение, а потом был обычный кошмар. Ему отвернули голову! И... и откопали старика, оживили...

— Небольшие неточности есть, но основное — правда.

— Я в такие вещи не верю.

— Конечно. Вас так воспитали,— сказала мисс Айронвуд.— Вам придется открыть самой, что у вас дар ясновидения.

Джейн подумала о фразе из книги и о самой мисс Айронвуд — их она тоже видела заранее. Но это же чепуха!..

— Значит, вы не можете мне помочь? — спросила она.

— Я могу сказать вам правду,— отвечала мисс Айронвуд.— Во всяком случае, пытаюсь.

— Вы не можете это остановить... вылечить?

— Ясновидение — не болезнь.

— Да на что оно мне! — вскричала Джейн.

Мисс Айронвуд молчала.

— Может быть, вы мне кого-нибудь порекомендуете? — спросила Джейн.

— Если вы пойдете к психоаналитику, — сказала мисс Айронвуд, — он будет вас лечить, исходя из предпосылки, что сны ваши порождены подсознанием. Не знаю, что выйдет. Боюсь, что-нибудь плохое. А сны останутся.

— Зачем это все? — сказала Джейн. — Я хочу жить нормально. Я хочу работать. Почему именно я должна такое терпеть?

— Ответ на ваш вопрос известен много высшим, чем я.

Обе они помолчали. Потом Джейн неловко приподнялась и сказала:

— Что ж, я пойду, — и вдруг прибавила: — А вы откуда знаете, что это правда?

— На это я отвечу. Мы знаем, что сны ваши — правда, ибо часть фактов известна нам и без них. Именно поэтому доктор Димбл так ими заинтересовался.

— Значит, он меня послал не ради меня, а ради вашей пользы? — сказала Джейн. — Жаль, что я этого не знала. Вышло недоразумение. Я думала, он хочет мне помочь.

— Он и хочет. Кроме того, он хочет помочь нам.

— Очень рада, что и меня не забыли... — с ледяной иронией сказала Джейн, но попытка не удалась. Она все-таки растерялась и сильно покраснела. Она была очень молода.

— Милая моя. — сказала мисс Айронвуд, — вы не понимаете, как это все серьезно. То, что вы видели, связано с делами, перед которыми и наше с вами счастье, и даже самая жизнь поистине ничтожны. От вашего дара вам не избавиться. Не пытайтесь подавить его, ничего не выйдет, а вам будет очень плохо. С другой стороны, вы можете употребить его во благо. Тогда и сами вы придете в себя, и людям очень, очень поможете. Если вы скажете о нем кому-нибудь еще, им воспользуются почти наверное те, для кого и счастье ваше, и жизнь — не важнее, чем муха. Вы видели во сне настоящих, существующих людей. Вполне вероятно, они знают, что вы невольно следите за ними. Если это так, они не успокоятся, пока не завладеют вами. Советую вам быть с нами, это лучше и для вас самой.

— Вы все время говорите «мы». Тут что, какое-то общество?

— Если хотите, можете называть это обществом.

Джейн уже несколько минут стояла. Все возмутилось в ней — и уязвленное самолюбие, и ненависть к таинственному. Ей было важно одно: не слышать больше серьезного, терпеливого голоса.

«Она мне только повредила», — подумала Джейн, все еще видя в себе больную.

Вслух она сказала:

— Мне пора. Я не понимаю, о чем вы говорите. Не хочу я ни во что ввязываться.

4

К обеду Марк немного повеселел благодаря виски, которое они пили с мисс Хардкасл. Я обману вас, если скажу, что Фея ему понравилась. Конечно, он ощущал ту гадливость, которую ощущает молодой мужчина при непристойно развязной, но непривлекательной женщине. Собеседница его явно это понимала и даже находила в этом удовольствие. Она рассказала ему множество зверских анекдотов. Марк часто видел, как женщины пытаются острить по-мужски, и это шокировало его, но все же он чувствовал свое превосходство. Фея оставила мужчин далеко позади. Затем она перешла к профессиональным темам, и Марк содрогнулся, услышав, что в тридцати случаях из ста казнят не тех, кого надо. Сообщила она и некоторые детали казней, которые ему и в голову не приходили.

Да, это было противно. Однако все перекрывало ощущение, что ты — свой человек. За день он много раз чувствовал себя чужим, и чувство это исчезло, когда мисс Хардкасл говорила с ним. Жизнь она прожила интересную. Она побывала и суфражисткой, и британской фашисткой, сидела в тюрьме не один раз, встречалась с премьерами, диктаторами, кинозвездами. Она знала, что может, а чего не может полиция, и считала, что может она почти все. Институтскую полицию она ставила очень высоко и сообщила, что сейчас особенно важно внушить публике, насколько лечение гуманней наказания. Однако на ее пути еще стояло немало бюрократических заслонок. «Правда,

газеты у нас все, кроме двух, — сказала она. — Ничего, мы и эти прихлопнем». Марк не совсем понял ее, и она объяснила, что полиции страшно мешает идея «заслуженного наказания». Считается, что с преступником можно сделать то-то и то-то, но не больше. У лечения же пределов нет — лечи себе, пока не вылечишь, а уж вылечился ли больной, решать не суду. Лечить — гуманно, предотвращать болезнь — еще гуманней. Скоро все, кто попадется в руки полиции, будут под контролем института, а там и вообще все, каждый человек. «Тут-то мы с тобой и нужны, — сказала она, тыкая пальцем Марку в жилет. — В конечном счете, сынок, что полицейская служба, что социология — одна собака. Значит, нам с тобой вместе работать».

Насчет Стила она сказала сразу, что он человек опасный.

«А главное, — посоветовала она, — ладь с двумя: с Фростом и с Уизером».

Над страхами его она посмеялась.

«Ничего! Главное, не лезь куда не просят. Всему свое время. А пока что делай дело и не всему верь, что говорят».

За обедом Марк оказался рядом с Хинджестом.

— Ну как? — спросил тот. — Остаетесь?

— Вроде бы да, — сказал Марк.

— А то бы я вас прихватил, — сказал Хинджест. — Сегодня еду.

— Почему вы уезжаете? — спросил Марк.

— Знаете ли, кому что нравится. Если вам по вкусу итальянские евнухи, сумасшедшие священники и такие бабы, что ж, говорить не о чем.

— Мне кажется, нельзя судить по отдельным людям. Это все-таки не клуб.

— Судить? В жизни не судил, кроме цветочных выставок. Я думал, здесь хоть какая-то наука. Оказывается, это, скорее, политический заговор. Вот я и еду домой. Стар я для таких дел, а если уж играть в заговоры, я лучше выберу себе по вкусу.

— Вы хотите сказать, что не одобряете социального планирования? Видите ли, с вашей сферой знания оно не связано, но с социологией...

— Такой науки нет. А если бы я увидел, что химия вместе с тайной полицией под управлением старой бабы без лифчика

работает над тем, как отобрать у людей дома, детей, имущество, я бы послал ее к чертям и стал разводить цветы.

— Мне кажется, я понимаю вашу симпатию к маленьким людям, но когда занимаешься действительной жизнью...

— Вот что получается, — сказал Хинджест, — когда изучают человека. Людей изучать нельзя, их можно узнавать, а это дело другое. Поизучаешь их, поизучаешь и захочешь отобрать у них то, ради чего живут все, кроме кучки интеллектуалов.

— Билл! — крикнула Фея, сидевшая почти напротив, чуть наискось.

Хинджест повернулся к ней, и лицо его стало багровым.

— Вы что, сейчас и едете? — прогрохотала Фея.

— Да, мисс Хардкасл, еду.

— А меня не подкинете?

— Буду счастлив, — сердито сказал Хинджест, — если нам в одну сторону.

— Вам куда?

— В Эджстоу.

— Через Брэнсток?

— Нет. Я сверну у ворот старого поместья, на Поттерс-Лейн.

— Ах, черт! Не подойдет. Ладно, успеется.

После обеда, уже в пальто, Хинджест снова заговорил с Марком, и тому пришлось дойти с ним до машины.

— Послушайте меня, Стэллок, — сказал он. — Или сами как следует подумайте. Я в социологию не верю, но в Брэктоне вы хоть живете по-человечески. Здесь вы и себе повредите... и, честное слово, еще многим.

— На все могут быть две точки зрения, — сказал Марк.

— Что? Две? Сотни их может быть, пока не знаешь ответа. Тогда будет одна. Но это не мое дело. Доброй ночи.

— Доброй ночи, — сказал Марк, и машина тронулась.

К вечеру похолодало. Орион, неведомый Марку, сверкал над деревьями. В дом идти не хотелось. Хорошо, если еще побеседуешь с интересными людьми, а вдруг опять будешь слоняться, как чужой, прислушиваясь к разговорам, в которые тебя не пустят? Однако Марк устал. Вдоль фасада он добрался до какой-то двери и, минуя холл, пошел прямо к себе.

Камилла Деннистон проводила Джейн до ворот, которые выходили на дорогу гораздо дальше. Джейн не хотела казаться и слишком открытой, и слишком застенчивой и потому попрощалась кое-как. Ей все еще было не по себе. Она не знала, чушь ли все это, но хотела верить, что чушь. Нет, ее не втянешь, ее не впутаетшь, она сама себе хозяйка. Джейн давно считала, что главное — сохранить свою независимость. Даже тогда, когда она поняла, что выйдет замуж за Марка, она подумала: «Но жить я буду собственной жизнью».

Мысль эта не покидала ее больше чем на пять минут. Она всегда помнила, что женщина слишком многим жертвует ради мужчины, и обижалась, что Марк этого не понял. Она и ребенка не хотела именно потому, что боялась, как бы ей не помешали жить своей жизнью.

Когда она вошла к себе, зазвонил телефон.

— Это вы, Джейн? — услышала она. — Это я, Маргарет. У нас такая беда... Приеду, расскажу. Сейчас не могу, слишком разозлилась. Вам негде меня положить? Что? Марк уехал? Нет, с удовольствием, если вас это не затруднит. Сесил ночует у себя в колледже. Точно не помешаю? Спасибо вам огромное. Через полчаса приеду.

Глава IV

ЛИКВИДАЦИЯ АНАХРОНИЗМОВ

1

Джейн только постелила чистое белье на соседнюю кровать, когда пришла миссис Димбл со множеством сумок.

— Вот спасибо, что приютили, — сказала она. — Куда мы только ни просились, нигде нет мест. Здесь просто жить невозможно! В каждой гостинице все занято, всюду эти, институтские: машинистки, секретарши, администраторы какие-то, ужас... Если бы у Сесила не было комнаты в колледже, ему пришлось бы спать на станции!

— Да что же с вами случилось? — спросила Джейн.

— Выгнали нас, вот что!

— Быть не может... они не имеют права...

— И Сесил так говорит. Нет, вы подумайте. Джейн! Смотрим мы утром из окна и видим грузовик прямо на клумбе, где розы, а из него вылезают настоящие каторжники с лопатами. В нашем собственном саду! Какой-то карлик в форменной фуражке говорит с Сесилом, а сам курит... у него висит на губе сигарета. И знаете, что он сказал? Что мы можем побыть в доме — не в саду, в доме! — до завтрашнего утра.

— Наверное... наверное, это ошибка...

— Сесил позвонил в колледж, но там никого не было. Мы звонили все утро, а они за это время срубили ваш любимый бук и все сливы. Если бы я так не злилась, я бы глаза выплакала. В общем, Сесил пошел к Бэзби, но толку не добился. Ах, конечно, недоразумение, но при чем тут мы, езжайте в Бэлбери! Пока там что, а в доме уже просто нельзя жить.

— Почему?

— Господи, что творилось! Грузовики, тракторы, какой-то кран привезли... Никто не мог к нам пробраться. Молоко принесли в одиннадцать, мяса так и не было, мясник позвонил, что пройти нельзя. Мы сами еле выбрались, чуть не час шли до моста. Как во сне, честное слово! Грохот страшный, все разрыли, на лугу какие-то будки... А народ! Истинные каторжники! Я и не знала, что в Англии есть такие рабочие. Ужас, ужас!.. — Миссис Димбл сняла шляпку и стала ею обмахиваться.

— Что же вы будете делать? — спросила Джейн.

— Бог его знает! — сказала миссис Димбл. — Сесил звонил юристу, но тот и сам растерян. Говорит, что в юридическом смысле у этого института какое-то особое положение. Насколько я поняла, за рской вообще не будет домов. Что? Ох, совершеннейший ужас! Тополя вырубili, домики у церкви ломают. Бедняжка Айви плачет, вся пудра слезла, такой страшный вид! Мало ей горя, еще жить негде! Я и то рада, что выбралась живой. Люди какие-то странные... трое зашли в кухню, взять воды, Марта чуть ума не лишилась. Когда Сесил к ним вышел,

я думала, они его побьют, нет, правда! Спасибо, полисмен их выгнал. Да, и полицейские кишат, тоже очень страшные, с дубинками, как в американском фильме. Знаете, мы оба подумали: так и кажется, что немцы победили. А, вот и чай! Как хорошо...

— Живите здесь, миссис Димбл, — сказала Джейн. — Марк может ночевать в Брэктоне.

— Ах, господи, — сказала матушка Димбл, — слышать не могу про этот Брэктон! Конечно, ваш муж тут ни при чем... Но разлучать вас я не стану. Мы уже все решили, мы переедем в Сэнт-Энн.

— Вон что... — сказала Джейн, поневоле вспоминая свое недавнее паломничество.

— Ах ты, какая я свинья! — огорчилась миссис Димбл. — Болтаю о себе, а вам надо столько мне рассказать. Видели вы Грейс? Понравилась она вам?

— Это мисс Айронвуд?

— Да.

— Видела. Понравилась ли — не знаю... Да не могу я ни о чем думать! Вы же истинная мученица.

— Нет, — сказала миссис Димбл, — я не мученица. Я просто старая, я сержусь, у меня болит голова, и я болтаю, чтобы себя утешить. У нас хоть деньги есть, а у Айви нет, ей не на что жить. Конечно, в нашем доме было хорошо. но ведь и печально. Кстати, я часто думаю, любят ли люди радоваться? Мы завели большой дом для детей, а я ни одного не родила... Наверное, слишком тосковала, пока Сесил не придет, жалела себя... Еще стала бы, как эта женщина у Ибсена, ну, с куклами. Вот Сесилу плохо, он очень любил, чтобы приходили студенты. Джейн, вы в третий раз зеваете. Да, пробудешь тридцать лет замужем. привыкаешь говорить одна. Мужчинам приятней читать, когда мы журчим. Ну вот! Вы опять зевнули...

Ночевать в одной комнате с матушкой Димбл было трудно: она молилась. Джейн просто не знала, куда смотреть, и не сразу заговорила, когда та встала с колен.

— Вы не спите? — спросила среди ночи матушка Димбл.

— Не сплю, — ответила Джейн. — Я вас разбудила? Я кричала?

— Да, — сказала миссис Димбл. — Вы кричали, что кого-то бьют по голове.

— Понимаете, я видела, как убивали старика. Он вел машину где-то за городом, доехал до развилки, свернул направо, а на дороге какие-то люди махали фонарем. Я не слышала, что они творили, но он вышел из машины. Это не тот, который был раньше, без бороды, только с усами. И величавый такой, смелый, как рыцарь... Ему не понравилось, что говорят эти люди, он одного оттолкнул, другой хотел его ударить, но он не дался. Их трое, он один... Я читала о таких драках, но никогда не видела. Конечно, они его одолели, он упал, они его долго били чем-то по голове. И еще проверили, жив ли он, совершенно спокойно! Свет очень странно падал, полосками... но я уже, наверно, просыпалась. Нет, спасибо, ничего. Конечно, это ужасно, но я не так испугалась, как в тот раз. Мне старика жалко.

— Вы сможете заснуть?

— Да, конечно. А как у вас голова, еще болит?

— Нет, спасибо, прошло. Спокойной ночи.

«Наверное, — думал Марк, — это и есть сумасшедший священник, о котором говорил Яшер».

Совет должен был собраться в десять тридцать, и после завтрака пришлось гулять в саду, хотя там было и сыро, и холодно. Стрейк сам подошел, и Марку не понравились и потертая одежда, и грубые башмаки, и темное трагическое лицо. Не таких людей он думал тут встретить.

— Не надейтесь, — говорил Стрейк, — обойтись без насилия! Сопротивляться нам будут, но мы не испугаемся. Мы будем тверды. Многие скажут, что мы хотели смуты. Пускай! Мы

не намерены охранять организованный грех, который зовется обществом.

— Вот и я говорю, — сказал Марк, — что мне вас понять трудно. Я именно хочу охранять общество. Какие еще могут быть цели? Конечно, вы стремитесь к чему-то высшему, нездешнему...

— Всем сердцем, всем разумом, всей душой, — сказал Стрейк, — я ненавижу эти слова! Такими уловками мир сей, орудие и тело смерти, искажает и уродует простое учение Христа. Царство Божие придет сюда, на землю, и всякая тварь преклонится пред именем Христовым.

Марк легко прочитал бы юным студенткам лекцию об абортах и педерастах, но при этом имени он смутился, покраснел и так рассердился и на себя, и на Стрейка, что покраснел еще больше. С ужасом вспоминая уроки Закона Божьего, он пробормотал, что не разбирается в богословии.

— В богословии? — гневно переспросил Стрейк. — Это не богословие! Богословие — болтовня, обман, игрушка для богатых. Я нашел Господа не в лекционных залах, а в угольных шахтах и у гроба моей дочери. Помните мои слова: Царствие придет, здесь, на земле, в Англии. Наука — его орудие, и оно непобедимо. Почему же?

— Потому что наука основана на опыте? — предположил Марк.

— Нет! — вскричал Стрейк. — Потому что она в руке Божьей! Наука — орудие гнева, а не исцеления. Я не могу объяснить это так называемым христианам. Они слепы. Им мешают грязные ключья либерализма, гуманизма, гуманности. Мешают им и грехи, хотя грехи эти — лучшее, что в них есть. И вот я один, я нищ, я немощен, я недостойн, но я — пророк, и других пророков нет! Господь явится в силе, и всюду, где сила, — Его знамение. Даже самые слабые из тех, с кем я связал свою судьбу, не обольщаются жизнью, не жаждут мира, не держатся за человеческие ценности...

— Значит, — спросил Марк, — вы сотрудничаете с институтом?

— Сотрудничаю? — возмутился Стрейк. — Сотрудничает ли горшечник с глиной? Сотрудничал ли Господь с Киром? Я использую их. Да, и они используют меня, мы орудия друг для друга. Это и вас касается, молодой человек. Выбора нет, назад не уйти, вы положили руку на плут. Отсюда не уходят. Всякий, кто попытается, погибнет в пустыне. Вопрос лишь в том, рады вы или не рады. Вопрос лишь в том, подвергнетесь ли вы суду или вступите в права наследства. Да, это правда — святые наследуют землю, здесь, у нас, очень скоро! Разве вы не знаете, что мы и только мы будем судить ангелов? — Стрейк понизил голос. — Мертвые воскресают. Вечная жизнь началась. Вы это увидите сами, молодой человек.

— Двадцать минут одиннадцатого, — сказал Марк. — Нам не пора?

Стрейк не ответил, но повернул к дому. Чтобы не возвращаться к прежней теме, Марк заговорил о том, что и впрямь его заботило:

— Я бумажник потерял. Денег там мало, фунта три, но письма, то-се... В общем, неприятно. Что мне делать?

— Скажите слуге, — отвечал Стрейк.

4

Заседание уже началось, вел его сам Уизер, но шло оно вяло, и Марк скоро догадался, что настоящие дела вершатся не здесь. Собственно, он и не думал, что сразу попадет в святая святых или хотя бы в избранный круг. Однако он надеялся, что ему не придется слушать, как переливают из пустого в порожнее на призрачных заседаниях. Речь шла о работах в Эджстоу. По-видимому, институт одержал над кем-то победу и мог теперь спокойно сломать норманнскую церковку. Марк не интересовался архитектурой и слушал вполуха. Но к концу Уизер приберег важную весть: он был уверен, что присутствующие уже все знают («И почему они всегда так говорят?» — подумал Марк), но считал своим печальным долгом сообщить о трагической гибели профессора Хинджеста. Насколько можно было понять

из туманного рассказа, Яшера нашли у машины, часа в четыре утра, недалеко от Поттерс-Лейн. Скончался он на несколько часов раньше. Уизер сообщил, что институтская полиция уже связалась со Скотленд-Ярдом, и предложил выразить благодарность мисс Хардкасл. Раздались пристойные аплодисменты. Тогда Уизер предложил почтить память погибшего минутой молчания.

Все встали. Минута тянулась долго; кто-то кашлял, кто-то громко дышал, а из-под равнодушных личин выглядывал страх, как выглядывают из леса птицы и зверьки, когда кончится пикник, и каждый старался убедить себя, что ничуть не испуган и не думает о смерти.

Потом все задвигались, загудели и разошлись кто куда.

5

Утром Джейн было легче, чем обычно, потому что вместе с ней хлопотала миссис Димбл. Марк нередко помогал ей, но именно из-за этого они чаще всего и ссорились, ибо он считал (хотя и не всегда говорил), что незачем столько суетиться. Миссис Димбл сумела хлопотать с ней в лад. День был солнечный, и, когда они сели завтракать, Джейн совсем повеселела.

Миссис Димбл хотелось узнать, что же было в Сэнт-Энн и пойдет ли Джейн туда снова. На первый вопрос Джейн ответила уклончиво, и гостья приставать не стала, а на второй сказала, что не хочет беспокоить мисс Айронвуд. Все это глупости, теперь ей лучше. Говорила она, глядя на часы и удивляясь, где же миссис Мэггс.

— Да, Айви к вам ходить не будет,— сказала миссис Димбл.— Я думала, вы поймете. Ей ведь негде жить.

— Вон что!..— рассеянно сказала Джейн.— Куда же она денется?

— В Сэнт-Энн.

— К друзьям?

— В усадьбу, как и мы.

— Работать там будет?

— Ну... да, конечно, работать.

Миссис Димбл ушла часам к одиннадцати. Прежде чем отправиться «к Грейс», она собиралась пообедать в городе вместе с мужем. Джейн проводила ее до Маркет-стрит и почти сразу встретила Кэрри.

— Слышали новости, миссис Стэддок? — спросил он еще значительней и еще доверительней, чем обычно.

— Нет, а что? — сказала Джейн.

Она считала его надутым болваном и удивлялась, как он может нравиться Марку. Но когда он заговорил, лицо у нее стало именно таким, как он хотел. Он сообщил ей, что ночью убили профессора Хинджеста. Тело нашли у машины, голова проломлена. Ехал Хинджест из Бэлбери в Эджстоу. Сейчас Кэрри бежал к ректору, чтобы это обсудить, а был только что в полиции. Этим делом он явно завладел и лопался от важности. В другое время Джейн посмеялась бы, но тут убежала от него поскорей и кинулась в кафе, чтобы присесть и выпить кофе.

Хинджеста она видела один раз, Марк ей говорил, что он сварлив и горд. Страшно было другое: теперь она знала, что «история со снами» не кончилась, а только начинается. Одной ей этого не вынести, она сойдет с ума. Значит, снова пойти к мисс Айронвуд? Но ведь это заведет еще дальше, во тьму... Ей так мало надо — чтобы ее оставили в покое! Нет, что же это творится? По всем законам ее жизни такого не может, просто не может быть.

6

Коссер — веснушчатый человечек с черными усиками — подошел к Марку после заседания.

— У нас с вами есть работка, — сказал он. — Надо составить отчет о Кьюр Харди.

Марку полегчало. Но Коссер не понравился ему еще вчера, и он с достоинством спросил:

— Значит ли это, что меня зачисляю в ваш отдел?

— То-то и оно, — сказал Коссер.

— Дело в том, — продолжал Марк, — что ни вы, ни ваш начальник не проявили особого пыла. Я не хотел бы навязываться. Если на то пошло, я вообще могу уехать, я в институте не заинтересован...

— Ладно, — сказал Коссер, — не будем здесь говорить. Пошли наверх.

Беседовали они в холле, и Марк увидел, что к ним идет сам и. о.

— Может, сразу и спросим его, и все оформим? — предложил было он, но Уизер внезапно свернул в сторону. Он что-то мычал, был погружен в раздумья, и Марк понял, что ему не до разговоров. Несомненно, так считал и Коссер; и они с Марком пошли на третий этаж, в какой-то кабинет.

— Так вот, деревушка, — сказал Коссер, когда они уселись. — Эта земля у леса — чистая топь. Не пойму, на что она им нужна. В общем, план такой: реку отводим, через Эджстоу она течь не будет. Вот, глядите. К северу, в десяти милях, местечко Шиллинбридж. Отсюда пойдет канал — вон туда, к востоку, где голубая линия, к старому руслу.

— Университет вряд ли согласится, — сказал Марк. — Что будет с Эджстоу без реки?

— Университет мы уломали, — сказал Коссер, — не беспокойтесь. И вообще, это не наше с вами дело. Нам важно, что канал пройдет прямо через деревушку. Теперь смотрите. Она вот в этой долинке. Э? Были там? Еще лучше! Я этих мест не знаю. С юга ставим плотину, образуется водохранилище. Эджстоу понадобится вода, как-никак он станет второй столицей.

— А что же с деревушкой?

— Полный порядок. Строим новую, современную, за четыре мили. Назовем Уизер Харди. Вот тут, у железной дороги.

— Видите ли, начнется большой шум. Эту деревню все знают. Пейзаж, старинные дома, богадельня XVI века, норманнская церковь...

— Вот именно. Тут-то мы с вами и нужны. Составим отчет. Завтра съездим, поглядим, но писать можно и сейчас, дело известное. Если там пейзаж и старина, значит — условия антисанитарные. Подчеркнем. Потом — население... Как пить дать там

живут самые отсталые слои — мелкие рантье и сельскохозяйственные рабочие.

— Да, рантье — вредный элемент, — согласился Марк. — А вот насчет сельскохозяйственных рабочих можно и поспорить.

— Институт их не одобряет. В планируемом обществе они — большая обуза. Кроме того, они отсталые. В общем, наше дело маленькое — установить факты.

Марк немного помолчал.

— Это нетрудно, — сказал он. — Но я бы хотел сперва разобраться в моем положении. Зайти мне к Стиллу? Нельзя же без его ведома начинать работу в его отделе.

— Я бы не шел, — сказал Коссер.

— Почему?

— Ну, во-первых, Стилл ничего вам не сделает, если вас поддерживает и. о. Вообще, лучше к нему не лезть. Работайте себе потихоньку, и он к вам привыкнет. И еще... — Коссер тоже помолчал. — Между нами, в этом отделе скоро многое изменится.

Марк прошел в Брэктоне хорошую тренировку и понял сразу, что Коссер надеется выжить своего начальника. Значит, лучше к Стиллу не лезть, пока он тут, но скоро его не будет...

— Вчера мне показалось, — сказал Марк, — что вы с ним вполне ладите.

— Тут у нас то хорошо, — сказал Коссер, — что никто ни с кем не ссорится. Я лично ссор не люблю. Я с кем хочешь полажу, только бы дело делалось.

— Конечно, — сказал Марк. — Кстати, если мы поедем туда завтра, я бы заглянул в город, дома переночевал.

Марк очень многого ждал от ответа. Если бы Коссер сказал «пожалуйста», он хотя бы понял, что тот — его начальник. Если бы тот возразил, это было бы еще лучше. Наконец, Коссер мог сказать, что спросит Уизера. Но он протянул: «Да-а?» — предоставив Марку гадать, вообще ли здесь не нужны никакие разрешения, или просто он еще не работает в институте. Потом они принялись за отчет.

Трудились они до вечера, в столовую спустились поздно, не переодевшись, и Марку это очень понравилось. Понравилась ему и еда. Людей он не знал, но через пять минут запросто со всеми беседовал, стараясь попасть им в тон.

«Какая же тут красота!» — подумал он наутро, когда машина, свернув с шоссе, стала спускаться в долину. Быть может, утренний зимний свет так поразил его потому, что его не учили им восхищаться. Казалось, что и небо, и землю только что умыли. Бурые поля напоминали какую-то вкусную еду, старая трава прилегала к склонам плотно, как волоски к конскому крупу. Небо было дальше, чем всегда, но и чище, а темно-серые облака выделялись на бледно-голубом четко, словно полосы бумаги. Каждый кустик травы сверкал, как черная щеточка, а когда машина остановилась, тишину прорезали крики грачей.

— И орут эти птицы!.. — сказал Коссер. — Карта у вас? Так вот...

По деревне они ходили часа два, глядя собственными глазами на все анахронизмы. Отсталый крестьянин говорил с ними о погоде. Бездельник, на которого зря расходуются средства, семенил с чайником по двору богадельни, а представительница живущих на ренту людей беседовала с почтальоном, держа на руках толстую собаку. Марку мерещилось, что он — в отпуске (только во время отпуска он бывал в английской деревне), и работа ему нравилась. Он заметил, что у крестьянина лицо умнее, чем у Коссера, а голос — не в пример приятней. Старая рантьерша напоминала его тетку, и это помогло ему понять, как же можно любить «вот таких». Однако все это ни в малейшей мере не отразилось на его научных взглядах. Даже если бы он не служил в колледже и не знал честолюбия, ничего бы не изменилось. Он прошел такие школы (в прямом, а не в переносном смысле), что для него было реально лишь то, о чем он читал или писал. Живой крестьянин был тенью статистических данных об аграрном элементе. Сам того не замечая, он избегал в своих статьях слов «человек» и «люди» и писал о «группах», «элементах», «слоях», «населении», ибо твердо, как мистик, верил в высшую реальность невидимого.

Однако деревня ему понравилась. К часу, когда он уговорил Коссера зайти в кабачок, он даже признался ему в этом. Сэндвичи они взяли с собой, но Марку захотелось пива. В кабачке было тепло и темно. Два отсталых агрария сидели над кружками, жевали толстые ломти хлеба с сыром, а третий беседовал у стойки с хозяином.

— Мне пива не надо, — сказал Коссер. — Не будем засиживаться. Так что вы говорили?

— Я говорил, что утром в таких местах даже приятно.

— Да, утро хорошее. Бодрит. Полезная погода.

— Нет, здесь приятно...

— Где, здесь? — Коссер оглядел комнату. — Ну знаете! Ни освещения, ни вентиляции. Я лично в алкоголе не нуждаюсь, но я допускаю, людям нужен допинг. Однако зачем принимать его в антисанитарных условиях?

— Не думаю, что дело в допинге, — сказал Марк, глядя в кружку. Он вспомнил, как они смеялись и спорили очень давно, студентами, и как легко им было друг с другом. Интересно, где они сейчас — Уодстен, Деннистон?..

— Не берусь судить, — отвечал Коссер на его последнюю фразу, — проблема питания — не по моей части. Спросите Стока.

— Понимаете, — сказал Марк, — я имел в виду не кабачок, а деревню. Конечно, вы правы, она свое отжила. Но есть в ней что-то милое. Нам надо думать и думать, чтобы то, что мы создадим взамен, было не хуже.

— Не разбираюсь в архитектуре, — сказал Коссер. — Это уж скорей Уизер... Как, доели?

Марка затошнило и от него, и от всего института, но он напомнил себе, что сразу не попадешь в круг интересных людей. И вообще, кораблей он не сжег. Дня через два можно уехать в Брэктон. Но не сейчас, не сразу. Надо же поглядеть, как тут что идет.

Коссер подвез его к вокзалу, и по пути домой он впервые стал размышлять, что же скажет жене. Нет, он не выдумывал лжи. Он просто увидел, как входит в дом, как смотрит на него

Джейн, и услышал, как произносит остроумные, бодрые фразы, вытеснившие из его сознания все, что с ним в действительности было. Именно потому, что многое и смушало, и даже унижало его, ему хотелось порисоваться. Почти бессознательно он решил ничего не говорить о Кьюр Харди — Джейн очень любила старину. И вот, когда она обернулась на его шаги, она увидела чрезвычайно бодрого человека. Да, конечно, на службу его берут. Платить? Еще не договорились, это завтра. Место занятое. Нужных людей видел.

«Про эту тетку я тебе подробнее расскажу, — пообещал он, — просто не поверишь».

Джейн пришлось решать, что же она скажет, гораздо быстрее, чем ему; и она решила не говорить про Сэнт-Энн. Мужчины очень не любят, когда с женщиной творится что-то странное. К счастью, Марк был занят собой и ни о чем не спросил. Рассказы его не особенно ее ободрили. Что-то тут было не так. Она слишком рано спросила тем испуганным, резким голосом, которого Марк терпеть не мог: «А ты не ушел из колледжа?» — «Нет, — ответил он, — что ты», — и продолжал свое. Она слушала невнимательно, зная, что он часто выдумывает, и размышляла о том, что, судя по виду, он в эти дни много пил. Словом, весь вечер он красовался перед ней, а она задавала нужные вопросы, смеялась, удивлялась. Они были молоды и не очень любили друг друга, но каждый очень хотел, чтобы любили его.

7

А брэктонцы в это время попивали вместе вино. Они не переоделись к вечеру, и спортивные куртки или вязаные жакеты выглядели странно среди дубовых панелей, свечей и серебра. Феверстон и Кэрри сидели рядом. До этого дня, лет триста крыду, столовая колледжа была одним из приятнейших мест в Англии. Окна ее выходили на реку и на лес. С этой стороны тянулась терраса, где ученые часто сживали летом. Сейчас, конечно, окна были закрыты, гардины задернуты, но и сквозь них проходили неслыханные прежде звуки: крики, ругань, свист-

ки, скрежет, визг, грохот, звон, лягз, от которых дрожала вся комната.

— «Seva sonare verbera, tum stridor ferri tractaque catenae», — заметил Глоссоп сидящему рядом Джуэлу. Совсем рядом, за рекой, старый лес успешно превращали в ад. Те прогрессисты, чьи окна выходили на эту сторону, выражали недовольство. Даже Кэрри удивлялся тому, как странно воплощаются его мечты, но скрывал это и беседовал как ни в чем не бывало с Феверстоном, хотя им обоим приходилось кричать.

— Значит, — орал он, — Стэддок не вернется?

— Вот именно! — вопил Феверстон.

— Когда он подаст заявление?

— Еще не подал? Ах, молодость, молодость! Ничего, нам же лучше!

— Сможем как следует подготовиться?

— Да. Пока бумажки нет, они не в курсе.

— То-то и оно! Они ведь сами не знают, чего хотят! Мало ли кто им понравится!

— Да! Надо сразу же подsunуть своего кандидата! Объявим о вакансии, и тут же — бац! — кролик из шляпы!

— Значит, думать начнем сейчас!

— А непременно социолога?

— Нет, это все равно!

— У нас нет политолога.

— Да... хм... Понимаете, они эту науку не жалуют. А может, Феверстон, лучше... как ее... прагмометрию?

— Занятно, что вы это сказали. Тот, о ком я думаю, как раз интересуется и ею. Можно было бы назвать так: специалист по социальной прагмометрии.

— А кто это?

— Лэрд, он из Кембриджа.

Кэрри никогда о нем не слышал, но глубокомысленно сказал:

— А, Лэрд.

— Как вы помните, — продолжал Феверстон, — он хворал и кончил средне. Но в Кембридже экзамены так плохо постав-

лены, что никто на это не смотрит. Потом он руководил «сфинксами», издавал журналчик. Ну, Дэвид Лэрд...

— Да, конечно... Только, Дик...

— Что такое?

— Это не очень хорошо. Сам я тоже не придаю значения дипломам, но у нас тут, бывало, выбирали... — И он почти невольно посмотрел туда, где сидел Пэлем, толстолицый человек с маленьким ротиком. Даже Кэрри не мог припомнить, что он сделал или написал.

— Да, знаю, — сказал Феверстон. — Мы иногда берем не тех, кого следовало бы. Но без нас колледж приглашает вообще невесть кого.

То ли от шума, то ли от чего Кэрри на минуту заколебался. Недавно он обедал в Нортумберленде. Там был Тэлфорд, и все его знали, все слушали, даже сам Кэрри дивился его уму и живости, которых тот почему-то в колледже не проявлял. А вдруг все «эти» так коротко и скучно ему отвечают, потому что он им не интересен? А вдруг он глуп? Эта дикая мысль мелькнула в его мозгу, и он ее забыл. Приятней было думать, что «они» — просто отсталые, косные люди.

— На той неделе я буду в Кембридже! — кричал тем временем Феверстон. — Даю там ужин. Премьер, два газетных босса, Тони Дью. Что? Конечно, знаете. Черный такой, плюгавый. И Лэрд там будет. Он в каком-то родстве с премьером. А вы не придете? Дэвид мечтает с вами познакомиться. Он очень много о вас слышал... от вашего бывшего студента, забыл фамилию.

— Не знаю... Тут еще Билла хороним, я нужен... Как по радио, не передавали, нашли убийцу или нет?

— Не слышал. Кстати, раз Ящера нет, у нас уже две вакансии.

— Что-о-о? — взвыл Кэрри. — Какой шум! Или я оглох?..

— Эй, Кэрри! — крикнул ему Брайзекр, перегнувшись через Феверстона. — Что это делают ваши друзья?

— Почему они так кричат? — спросил кто-то. — Разве нельзя работать без крика?

— По-моему, они не работают,— сказал кто-то еще.

— Слушайте! — воскликнул Глоссоп. — Какая там работа. Скорее уж футбольный матч.

Все вскочили.

— Что это? — закричал Рэйнор.

— Они кого-то убивают,— сказал Глоссоп.

— Куда вы? — спросил Кэрри.

— Посмотрю, в чем дело,— сказал Глоссоп,— а вы соберите всех слуг. И позвоните в полицию.

— Я бы не выходил,— сказал Феверстон, наливая себе еще вина.— На мой взгляд, полиция уже там.

— То есть как?

— А вы послушайте.

— Я думал, это дрель...

— Слушайте!

— Господи, неужели пулемет?

— Смотрите! Смотрите! — закричали все. Зазвенели стекла. Кто-то кинулся спустить жалюзи, но вдруг все застыли, тяжело дыша и глядя друг на друга. У Глоссоба на лбу была кровь, а пол усыпали осколки прославленного окна, на котором Генриетта-Мария вырезала бриллиантом свое имя.

Глава V

ГИБКОСТЬ

I

Наутро Марк поехал в Бэлбери поездом. Он обещал жене уточнить насчет оплаты, и это смущало его, но вообще он чувствовал себя неплохо. Самое возвращение ему очень понравилось — он просто вошел, снял шляпу, спросил виски. Слуга его узнал. Филострато ему кивнул. Женщины вечно выдумывают, а вот она, реальная жизнь! Выпив виски, он пошел к Коссеру, пробыл у него пять минут, и все померкло.

Стил и Коссер взглянули на него, как глядят на случайного посетителя, и не сказали ничего.

— Доброе утро,— неловко начал Марк.

Стил сделал пометку на каком-то большом листе бумаги, лежащем перед ним, и спросил не глядя:

— В чем дело, мистер Стэддок?

— Я к Коссеру,— сказал Марк.— Вот что, Коссер, в последнем разделе нашего отчета...

— Какой отчет? — спросил Коссера Стил.

Коссер криво усмехнулся.

— А я тут подумал, составлю-ка отчетик про эту деревню. Вчера у меня дел не было, я поехал туда, а Стэддок мне помогал.

— Неважно,— сказал Стил.— Поговорите в другой раз, Стэддок. Сейчас Коссер занят.

— Простите,— сказал Марк,— давайте разберемся. Значит, этот отчет — частное дело Коссера? Жаль, что я не знал. Я бы не потратил на него восемь рабочих часов. И вообще, кому я подчиняюсь?

Стил, играя карандашом, смотрел на Коссера.

— Я спросил вас, кому я подчиняюсь, мистер Стил,— сказал Марк.

— При чем тут я? — сказал Стил.— Вы, я вижу, не заняты, а я — занят. Ничего я не знаю о ваших делах.

Марк обратился было к Коссеру, но просто глядеть не смог на его линиялое веснушчатое лицо и пустые глаза. Выходя, он хлопнул дверью и направился к Уизеру.

У его дверей он помедлил немного, услышал какие-то голоса, но сердился так сильно, что все-таки вошел и не заметил, что на стук его ответа не было.

— Мой дорогой!.. — сказал и. о., глядя куда-то.— Как я рад вас видеть!..

Тут Марк разглядел, что в кабинете еще один человек, некий Стоун, с которым он познакомился в первый же день, за обедом. Стоун переминался с ноги на ногу перед столом, сво-

рачивая и разворачивая кусок промокашки. Рот у него был открыт, и он не обернулся.

— Рад, очень рад... — повторил Уизер. — Тем более, что превали вы... э-э-э... неприятную беседу. Я как раз говорил бедному Стоуну, что я всем сердцем хочу превратить наш институт в единое семейство... да, Стоун, единая воля, полное доверие, вот чего я жду от своих сотрудников. Вы напомнили мне, мистер... э-э... Стэддок, что и в семьях бывают нелады. Да, дорогой мой, потому я сейчас и не совсем... нет, Стоун, не уходите, мне еще многое нужно вам сказать.

— Может, мне позже зайти? — спросил Марк.

— Вообще-то... вообще, мистер Стэддок, обычно записываются у моего секретаря. Поймите, я сам ненавижу формальности и был бы всегда рад вас видеть. Я просто жалею ваше время.

— Спасибо, — сказал Марк. — Пойду запишусь.

В соседней комнате секретаря не оказалось, но за длинным барьером сидели какие-то барышни. Марк записался у одной из них на завтра, на десять утра — раньше все было занято — и, выходя, столкнулся с Феей.

— Привет, — сказала она. — Рыщем вокруг начальства? Нехорошо, нехорошо!..

— Или я все выясню, — сказал Марк, — или уеду.

Фея смотрела на него как-то странно, по-видимому — развлекаясь. Потом обняла его за плечи.

— Вот что, сынок, — сказала она, — ты это брось! Толку не будет. Пошли, поговорим.

— О чем тут говорить, мисс Хардкасл? — сказал Марк. — Мне все ясно. Или я получаю здесь работу, или возвращаюсь в Брэктон. Собственно, мне все равно.

Фея не отвечала и так сильно надавливала на его плечо, что он чуть ее не оттолкнул. Объятие это напоминало и о полицейском, и о няньке, и о любовнице. Марк шел с ней по коридору и думал, что вид у него поистине дурацкий.

Она привела его к себе в кабинет, перед которым кишели девицы из Женской общественной полиции института (ЖОПИ).

Под началом Феи служили и мужчины, их было много больше, но гораздо чаще, буквально повсюду, вы натыкались на девиц. В отличие от своей хозяйки они, по словам Феверстона, были «женственны до идиотизма» — все маленькие, пухленькие, в локонах и вечно хихикали. Мисс Хардкасл обращалась к ним с мужской нагловатой ласковостью.

— Лапочка, нам коктейль! — проревела она, входя в свой кабинет. Там она усадила Марка в кресло, а сама стала спиной к камину, широко расставив ноги. Когда девица принесла коктейли и вышла, Марк начал рассказывать о своих бедах.

— Плюнь и разотри,— сказала Фея.— Главное, не лезь к старику. Начхать тебе на эту мразь, пока он за тебя. А станешь к нему лезть, будет против.

— Это прекрасный совет, мисс Хардкасл,— сказал Марк,— но я не собираюсь оставаться. Мне здесь не нравится. Я почти решил уйти. Только хотел с ним поговорить, чтобы все окончательно выяснить.

— Выяснять он не любит,— сказала Фея.— У него порядки другие. И очень хорошо, сынок... он свое дело знает. Ох, знает! А уйти... Ты в приметы веришь? Я верю. Так вот, уйти отсюда — не к добру. А на Стилов и Коссеров тебе начхать. Ты проходишь проверочку. Вытянешь — перепрыгнешь через них. Ты знай сиди тихо. Когда мы начнем работу, их и в помине не будет.

— Коссер говорил то же самое о Стиле,— сказал Марк,— а что вышло?

— Вот что, друг,— сказала Фея,— нравишься ты мне, твое счастье. А то бы я обиделась.

— Я не хотел вас обижать,— сказал Марк.— Господи, да посмотрите вы с моей точки зрения!

— Нечего мне смотреть.— Фея покачала головой.— Знаешь ты мало, и твоей точке зрения грош цена. Тебе не место предлагают, куда больше. Выбор простой: или ты с нами, или не с нами. А я-то разбираюсь, где лучше.

— Я понимаю,— сказал Марк.— Но я вроде с вами, а делать мне нечего. Дайте мне конкретную работу в отделе социологии, и я...

— Да их скоро в помине не будет! Завели для начала, пропаганды ради. Разгонят не сегодня завтра.

— Какие же у меня гарантии, что их сменю я?

— Никаких. Никто их не сменит. Настоящая работа не про них. Настоящей социологией займутся мои люди.

— Что же мне придется делать?

— Положишься на меня,— сказала Фея, ставя стакан и вынимая сигару,— расскажу, зачем ты тут нужен, какое у тебя дело.

— Какое же?

— Алькасан,— процедила сквозь зубы мисс Хардкасл (она уже сосала свою бесконечную сигару).— Знаешь такого? — И она не без презрения взглянула на Марка.

— Это физик, которого казнили?..— в полной растерянности сказал Марк.

Фея кивнула.

— Надо его обелить,— сказала она.— Постепенно. Факты у меня в досье. Начнешь с тихой мирной статейки. Ничего не скажешь, виноват он или нет, даже намекнешь, что он, конечно, сволочь и против него многие предубеждены. Казнили его за дело, но очень неприятно думать, что точно так же казнили бы и невиновного. Да. Через денек-другой пишешь иначе: какой он великий ученый, какую приносил пользу. Факты подберешь за полдня. Потом — письмо протеста в ту газету, где первая статья, ну и так далее. К этому времени...

— Простите, зачем все это?

— Сказано тебе, Стэддок: надо его обелить. Будет он у нас мученик. Невосполнимая потеря для всего человечества.

— Да зачем же?

— Опять ты за свос! Нет работы — плохо, дают ему работу — кочевряжится. Нехорошо. У нас так не делают. Приказано — выполняй, вот наш закон. Оправдаешь доверие, сам разберешься, что к чему. Ты начни работать, а то ты никак не поймешь, кто мы такие. Мы — армия.

— Может, вы и армия, но я не журналист,— сказал Марк.— Я приехал сюда не для того, чтобы писать в газеты. Кажется, я сразу объяснил Феверстону...

— Ты поскорей бросай эти всякие «для того», «не для того». Я тебе добра желаю. Писать ты умеешь, за то и держим.

— По-видимому, произошло недоразумение, — сказал Марк. Он был все же не так тщеславен, чтобы намек на литературные таланты компенсировал пренебрежение к его научной значимости. — Я не собираюсь заниматься журналистикой. А если бы собирался, должен был бы узнать гораздо больше про политическую линию института.

— Тебе что, не говорили? Мы вне политики.

— Мне столько говорили, что я совсем запутался, — сказал Марк. — И все-таки я не пойму, как можно вести вне политики газетную кампанию. В конце концов, печатать статьи будут или левые газеты, или правые.

— И те, и эти, сынок, — сказала Фея. — Ты что, совсем глупый? В левых газетах борьбу против нас назовут происками правых, а в правых газетах — происками левых. Если хорошо повести дело, они сами переколотят друг друга. Короче говоря, мы вне политики, как и всякая истинная сила.

— Не думаю, что это вам удастся, — сказал Марк. — Во всяком случае, в тех газетах, которые читают культурные люди.

— Шенок ты, честное слово, — сказала мисс Хардкасл. — Ты что, не понимаешь? Как раз наоборот.

— Простите?

— Да твоими культурными как хочешь, так и верти. Вот с простыми, с теми трудно. Видел ты, чтобы рабочий верил газете? Он свое знает: всюду одна пропаганда. Газету он читает ради футбола и происшествий. Да, с ними тяжело, попотеешь. А культурные — раз начхать!.. Они уже готовенькие. Всему верят.

— Что ж, я один из них, — улыбнулся Марк, — но вам не верю.

— Да ты посмотри! — сказала Фея. — Ты вспомни свои газеты! Выдумали ученые язык попроще — кто его только не хвалил! Обругал его премьер-министр — и пожалуйста, угроза национальной культуре. А монархия? То-се, пережиток, а когда этот самый отрекся от престола, одних монархистов и печатали. И что же? Перестали газеты читать? Нет. Образованный зачахнет без своих образованных статей. Не может. Привык.

— Все это очень интересно, мисс Хардкасл,— сказал Марк,— но при чем тут я? Я не журналист, а если бы захотел, стал бы честным журналистом.

— Ладно,— сказала Фея.— Давай, губи страну, а может, и весь мир, да и свою карьеру.

Гражданственность и честность, пробужденные было этой беседой, заколебались. Другое, более сильное чувство пришло им на смену: невыносимый страх перед изгойством.

— Нет, нет, я вас понимаю,— сказал Марк.— Я просто спрашивал...

— Мне все одно, Стэддок,— сказала Фея и села наконец рядом с ним.— Не хочешь — дело твое. Иди, уточняй к старику. Не любит он, чтобы сбегали, но ты себе хозяин, твое дело. Да, скажет он Феверстону пару теплых слов.

При имени Феверстона Марк представил себе то, о чем до сих пор толком не думал: возвращение в свой колледж. Что с ним будет? Останется ли он среди избранных? Мыкаться среди Тэлфордов и Джуэлов он бы не смог. И платят там очень мало по сравнению с тем, на что он понадеялся. Женатому человеку, оказывается, очень трудно свести концы с концами. Вдруг его пронзила жуткая мысль: а что, если он должен двести фунтов за вступление в клуб? Да нет, челуха... Не может такого быть.

— Конечно,— проговорил он,— прежде всего надо пойти к Уизеру.

— Одно тебе скажу,— отвечала Фея.— Сам видишь, я выложила карты на стол. Думаешь кому-нибудь рассказать, так не думай. Пожалей себя.

— Ну что вы!.. — начал Марк.

— Иди, уточняй,— сказала она.— Да поосторожней, старик отказов не любит.

Остаток дня Марк провел в печали, всячески избегая людей, чтобы кто-нибудь не заметил, что он слоняется без дела. Перед обедом он вышел погулять, но это не так уж приятно, когда нет ни палки, ни соответствующей одежды. Вечером он бродил по участку, но и тут приятного было немного. Миллионер, построивший Бэлбери, окружил двадцать акров земли кирпич-

ной стеной, на которой вдобавок стояла железная решетка. Деревья росли плотными рядами; белый гравий дорожек был так крупен, что с трудом удавалось по нему ступать; огромные клумбы — полосками, ромбами, полумесяцем — чередовались с зарослями вечнозеленых кустов, чьи листья сильно напоминали крапчатый металл. Вдоль дорожек, на равном расстоянии, стояли тяжелые скамейки. Словом, все вместе походило на городское кладбище. Однако Марк пошел туда и после ужина, даже обогнул дом и увидел какие-то пристройки. Сперва он удивился, что здесь пахнет конюшней и раздаются странные звуки, но вспомнил, что институт ведет опыты на животных. Это мало его трогало, он смутно представлял себе мышей, кроликов, быть может — собак; но звуки были другие, погромче. Кто-то истошно завыл, и вслед за тем хлынул истинный водопад рева, лая, рычания, даже хохота. Вскоре он оборвался, остались лишь бормотанье и хрюканье. Марк не страдал при мысли о вивисекции; напротив, звуки эти показывали, с каким размахом работает институт, из которого он может вылететь. Подумать только, они кромсают дорогих животных, как бумагу, в одной лишь надежде на открытие! Нет, работу получить непременно надо. Однако звуки были противные, и он поспешил уйти.

2

Когда он проснулся, он почувствовал, что в этот день его ждут две трудности: разговор с Уизером и разговор с женой. Как он объяснит ей, почему развеялись его мечтания?

Первый осенний туман спустился на Бэлбери. Марк завтракал при свете, почты не было. Слуга принес ему счет за неделю (уже наступила пятница), и он поспешно сунул его в карман, едва взглянув. Об этом, во всяком случае, жене рассказывать нельзя; таких цен и таких статей расхода женщины не понимают. Он и сам подумал было, нет ли ошибки, но еще не вышел из возраста, когда останешься нищим, лишь бы не обсуждать счет. Допив вторую чашку чая, он полез в карман, не нашел там сигарет и спросил новую пачку.

Без малого час он томился в ожидании. Никто не говорил с ним. Все куда-то спешили с деловым видом. Слуги глядели на него, словно и ему полагалось куда-нибудь уйти; и он был счастлив, когда смог подняться наконец к Уизеру.

Пустили его сразу, но начать разговор оказалось нелегко, ибо Уизер молчал. Голову он поднял, однако взглянул мимо и не предложил сесть. В кабинете было очень жарко. Не зная толком, чего он хочет, уйти или остаться, Марк говорил довольно сбивчиво; Уизер не перебивал; он все больше путался, стал твердить одно и то же и замолчал совсем. Молчали довольно долго. Рот у и. о. был приоткрыт, губы вытянуты трубочкой, словно он что-то беззвучно насвистывал или напевал.

— Наверное, мне лучше уйти, — снова сказал Марк.

— Если не ошибаюсь, мистер Стэддок? — не сразу откликнулся Уизер.

— Да, — нетерпеливо сказал Марк. — Я был у вас на днях с лордом Феверстоном. Вы дали мне тогда понять, что для меня есть работа в отделе социологии. Но, как я уже говорил...

— Минуточку, — перебил его Уизер. — Давайте уточним. Конечно, вы понимаете, что, в определенном смысле слова, я не распределяю мест. Они зависят не от меня. Я, как бы это выразиться, не самодержец. С другой стороны, моя сфера влияния, сфера влияния совета и, наконец, сфера директора не разграничены раз и навсегда... Э-э... границы между ними гибки. Вот, к примеру...

— Простите, предлагали мне работу или нет?

— Ах вон что! — сказал Уизер, словно бы удивленный этой мыслью. — Ну, все мы понимаем, что ваше содействие институту было бы очень желательно...

— Тогда не уточним ли мы подробности? Например, сколько я буду получать, кто мой начальник...

— Дорогой друг!.. — сказал с улыбкой Уизер. — Я не думаю, что будут... э-э... финансовые затруднения. Что же до...

— Сколько мне будут платить?..

— Это не совсем по моей части... Если не ошибаюсь, сотрудники вашего типа получают, плюс-минус, тысячи полторы.

Вы увидите, такие вопросы у нас решаются просто, сами собой...

— Когда же мне скажут? К кому мне обратиться?

— Не думайте, дорогой мой, что это потолок!.. Никто из нас не возразит, если вы будете получать более высокий!..

— Мне достаточно полутора тысяч,— перебил Марк.— Речь не о том. Я... я...

Уизер улыбался все задушевнее, и Марк наконец выговорил:

— Я надеюсь, что со мной заключат контракт.— И сам удивился своей наглости.

— М-да...— сказал и. о., глядя в потолок и понижая голос.— У нас все делается не совсем так... но, я думаю, не исключено...

— И самое главное,— сказал Марк, густо краснея.— Кто я такой? Буду я работать у Стила?

Уизер открыл ящик.

— Вот у меня форма,— сказал он.— Не думаю, что ею пользовались, но она, если не ошибаюсь, предназначена для таких соглашений... Изучите ее как следует, и мы с вами подпишем ее в любое время...

В эту минуту вошла секретарша и положила перед и. о. пачку писем.

— Вот и почта пришла!..— умилился тот.— Наверное, мой дорогой, и вас ждут письма. Вы ведь женаты, я не ошибся?..— И он улыбнулся доброй отеческой улыбкой.

— Простите, что я вас задерживаю,— сказал Марк,— только ответьте мне насчет Стила. Стоит ли мне заполнять форму, пока не решен этот вопрос?

— Очень интересная тема,— одобрил Уизер.— Когда-нибудь мы с вами обстоятельно об этом поговорим... по-дружески, знаете, в неофициальной обстановке... А в данный момент я не буду считать ваши решения окончательными. Загляните ко мне хоть завтра...

Он углубился в какое-то письмо, а Марк вышел из комнаты, склоняясь к мнению, что институт действительно в нем заинтересован и собирается ему много платить. Со Стилом он уточнит как-нибудь попозже, а пока изучит эту форму.

Внизу его действительно ждало письмо.

Брэкстон-колледж
Эджстоу
20/X.19...

Дорогой Марк!

Все мы огорчились, когда Дик сказал, что Вы уходите от нас, но для Вашей карьеры так лучше. Когда институт переберется сюда, мы с Вами будем часто видеться. Если Вы еще не послали прошение об отставке, время терпит. Напишете к концу того семестра, а мы к первому же заседанию подберем человека. Кого бы Вы сами предложили? Вчера мы с Джеймсом и Диком толковали про Дэвида Лэрда (Джеймс о нем не слышал!). Вы, конечно, знаете его работы. Не напишете ли мне о них, о нем самом? Я его увижу на той неделе в Кембридже, на банкете. Будет премьер, газетчики. Конечно, вы слышали, что у нас тут творилось. Институтская полиция нервная какая-то, начали стрелять в толпу. Разбили окно Генриетты-Марии, камни попадали в зал. Глоссон сорвался, полез было объясняться, но я его урезонил. Конечно, все это между нами. Многие были бы рады придраться и поднять крик, зачем мы лес продали. Спешу, надо распорядиться насчет похорон (Ящер).

*Искренне Ваш
Дж. С. Кэрри*

Первые же слова повергли Марка в ужас, но он попытался себя успокоить. Надо немедленно объяснить недоразумение, и все будет в порядке. Нельзя же выгнать человека из-за какого-то частного разговора! Он вспомнил, что именно в таких случаях избранные говорили: «Дела, знаете, делаются не в кабинетах», «мы не бюрократы» и тому подобное, но он и это постарался отогнать. Тут появилось еще одно воспоминание: так потерял работу бедняга Конингтон; однако ведь то был чужак, а сам он — избранный из избранных, почище Кэрри. А вдруг нет? Если в Бэлбери он чужак, не значит ли это, что Феверстон больше его не поддерживает? Если он вернется к себе, останется ли он в прежнем кругу? Может ли он к себе вернуться? Ну как же! Надо

написать сейчас письмо, объяснить, что он уходит не собирается, вакансии у них нет. Марк сел за стол и взял перо. Тут новая мысль пронзила его: Кэрри покажет письмо Феверстону, тот скажет Уизеру, а тот решит, что он не собирается работать в ГНИИЛИ. Ах, будь что будет!.. В конце концов, откажется от этих фантазий, снова станет работать там, у себя. А если это уже невозможно? Тогда у них с Джейн не будет ни гроша. Феверстон с его влиянием закроет ему все дороги. А где же, кстати, Феверстон?

Как бы то ни было, вести себя надо умно. Он позвонил и спросил виски. Дома он с утра не пил, да и днем пил пиво, но сейчас его познабливало. Недоставало еще простудиться!..

Писать он решил разумно и уклончиво. Нельзя просто сказать, что вернешься, — поймут, что его не взяли в Бэлбери. Но и слишком туманно — не годится... А ну его к черту! Двести фунтов за клуб, этот счет, Джейн придется объяснять... Да и отсюда не уйдешь. В конце концов виски и многочисленные сигареты помогли ему написать так:

*Государственный
научно-исследовательский институт
лабораторных изысканий*

21/Х.19...

Дорогой Кэрри!

Феверстон, по-видимому, ошибся. Я и не собирался уходить. В сущности, я склоняюсь к тому, чтобы не брать в ГНИИЛИ полной нагрузки, так что в колледж вернусь дня через два. Меня беспокоит здоровье жены, и я не хотел бы с ней разлучаться. Кроме того, хотя здесь все исключительно ко мне расположено и упрощают остаться, сама работа — не столько научная, сколько организационная и даже газетная. Словом, если Вам скажут, что я ухожу, не верьте. Желаю Вам хорошо провести время в Кембридже. Однако и в сферах же Вы возвращаетесь, не угонишься!

*Ваш
Марк Г. Стэддок*

Р. С. Лэрд не годится в любом случае. Опубликовал он одну-единственную статью, да и ту люди знающие всерьез не принимают. Писать он не умеет вообще. Умеет он одно: хвалить заведомую дрянь.

М.

Легче ему стало всего на минуту. Запечатав конверт, он сразу задумался, как же ему дотянуть день. Сперва он пошел к себе, но там всюду работал пылесос — по-видимому, в такой час никто у себя не сидел. Внизу, в холле, тоже шла уборка. В библиотеке было почти пусто, но двое ученых, склонившихся друг к другу, замолчали и недружелюбно взглянули на него. Он взял какую-то книгу и ушел. В другом холле, у доски объявлений, стояли Стил и какой-то человек с остроконечной бородкой. Никто не обернулся, но оба замолчали. Марк пересек холл и посмотрел на барометр. Повсюду хлопали двери, стучали шаги, звонили телефоны; институт работал всюду, а ему места не было. Наконец он выглянул в сад и увидел плотный, мокрый, холодный туман.

Любой рассказ лжив в одном смысле: он не может передать, как ползет время. День тянулся так долго, что вы бы не вынесли его описания. Иногда Марк шел к себе (уборка кончилась), иногда выходил в туман, иногда бродил по холмам. Там, где народу было много, он старался, чтоб никто не заметил, как он растерян и подавлен; но его вообще не замечали.

Часа в два он встретил Стоуна в каком-то коридоре. Он не думал о нем со вчерашнего утра, но сейчас, взглянув на него, понял, что не ему одному здесь плохо. Вид у Стоуна был такой, как у новеньких в школе, у «чужих» в Брэктоне — словом, тот самый, который воплощал для Марка худшие страхи. Инстинкт советовал с ним не заговаривать, он знал по опыту, как опасно дружить или даже беседовать с тем, кто идет ко дну: ты ему не поможешь, а он тебя утопит. Но сейчас ему самому было так одиноко, что он болезненно улыбнулся и сказал: «Привет».

Стоун вздрогнул, словно сам боялся, чтобы с ним заговорили.

— День добрый, — быстро сказал он, не останавливаясь.

- Пойдемте потолкуем, если не заняты,— сказал Марк.
- Я... я не знаю, долго ли я буду свободен,— сказал Стоун.
- Расскажите мне про это место,— сказал Марк.— Нехорошо тут вроде бы, но я еще не все понял. Пойдемте ко мне.
- Я так не думаю!.. — быстро заговорил Стоун.— Совсем не думаю! Кто вам сказал, что я так думаю?..

Марк не ответил, увидев, что прямо к ним идет и. о. В следующие недели он понял, что тот бродит по всему институту. Нельзя было сказать, что он подсматривает, — о приближении его оповещал скрип ботинок, а часто и мычание. Иногда его видели издалека, ведь он был высок, а если бы не сутулился, был бы даже очень высоким; и нередко лицо его, обращенное прямо к вам, возникало над толпой. На сей раз Марк впервые заметил эту вездесущность и подумал, что худшего времени и. о. выбрать не мог. Он шел к ним медленно, глядел на них, но нельзя было понять, видит он их или не видит. Говорить они больше не смогли.

Выйдя к чаю, Марк увидел Феверстона и поспешил сесть рядом с ним. Он знал, что в его положении нельзя навязываться, но ему было уже совсем худо.

— Да, Феверстон,— бодро начал он,— никак я ничего не разужаю,— и перевел дух, увидев, что тот улыбается в ответ.— Стил меня, прямо скажем, принял плохо. Но и. о. и слышать не хочет об уходе. А Фея просит писать в газету статьи... Что же мне делать?

Феверстон смеялся долго и громко.

— Нет,— продолжал Марк,— я никак не пойму. Попробовал прямо спросить старика...

— О господи! — выговорил Феверстон и засмеялся еще громче.

— Что же, из него ничего нельзя вытянуть?

— Не то, что вы хотите,— сказал Феверстон и прищелкнул языком.

— Как же узнать, чего от тебя ждут, если никто ничего не говорит?

— Вот именно.

— Да, кстати, почему Кэрри думает, что я уйду?

— А вы не уходите?

— И в мыслях не имел.

— Вон как! А Фея мне сказала, вы остаетесь тут.

— Неужели я буду через нее просить отставки?

Феверстон весело улыбнулся.

— А, все одно! — сказал он. — Захочет ГНИИЛИ, чтоб вы еще где-то числились, будете числиться. Не захочет — не будете. Вот так.

— При чем тут ГНИИЛИ? Я работал в Брэктоне и работаю. Им до этого дела нет. Я не хочу оказаться между двумя стульями.

— Вот именно.

— Вы хотите сказать?..

— Послушайте меня, подмажьтесь поскорей к Уизеру. Я вам помогаю, а вы все портите. Сегодня он уже не тот. Расшевелите его. И, между нами, не связывайтесь вы с Феей. Наверху ее не жалуют.

— А Кэрри я написал, что это все чушь, — сказал Марк.

— Что ж, вреда нет, письма читать приятно.

— Не выгонят же меня, если Фея что-то там переврала!..

— Насколько мне известно, уволить могут только за очень серьезный проступок.

— Нет, я не о том. Я хотел сказать, не провалят на следующих выборах.

— А, вон что!

— В общем, надеюсь, что вы разубедите Кэрри.

Феверстон промолчал.

— Вы ему объясните, — настаивал Марк, зная, что этого делать не надо, — какое вышло недоразумение.

— Что вы, Кэрри не знает? Он на всех парах ищет замену.

— Вот я вас и прошу.

— Меня?

— Да.

— Почему же меня?

— Ну... Господи, Феверстон, это же вы ему первый подсказали!

— Трудно с вами разговаривать,— сказал Феверстон, беря с блюда пончик.— Выборы через несколько месяцев. Могут вас выбрать, могут не выбрать. Насколько я понимаю, вы меня заранее агитируете. Что я могу вам ответить? Да ну вас совсем!

— Вы прекрасно знаете, что и речи не было о моем уходе, пока вы не подсказали Кэрри...

Феверстон критически осматривал пончик.

— Замучаешься с вами,— сказал он.— Не можете постоять за себя в колледже, так при чем тут я? Я вам не нянька. А для вашего блага посоветую: ведите себя здесь поприветливей. Нервовен час, станет ваша жизнь... как это? «Печальной, жалкой и ненужной».

— Ненужной? — сказал Марк.— Кому я не нужен, нам или им?

— Я бы на вашем месте не подчеркивал этой разницы,— сказал Феверстон.

— Запомню,— сказал Марк и встал из-за стола, но обернулся еще раз.— Это вы меня притащили. Я думал, хоть вы мне друг.

— Нет, от романтики не вылечишь! — сказал лорд Феверстон, растянул рот до самых ушей и сунул в него пончик.

Так Марк узнал, что если его выгонят отсюда, его не примут в Брэктоне.

3

Джейн все эти дни бывала дома как можно меньше и читала в кровати как можно дольше. Сон стал ей врагом. Днем она ходила по городу под тем предлогом, что ищет новую «девушку», и очень обрадовалась, когда на улице ее окликнула Камилла Деннистон. Камилла вышла из машины и представила ей высокого темноволосого человека, своего мужа. Оба они сразу понравились Джейн. Она знала, что Деннистон когда-то дружил с Марком, но сама его не видела: а сейчас удивилась, как удивлялась всегда, почему нынешние друзья ее мужа настолько ничтожнее прежних. И Уолстен, и Тэйлор, с которыми он еще знал-

ся, когда она познакомилась с ним, были несравненно приятней Кэрри и Бэзби, не говоря о Феверстоне. А муж Камиллы оказался лучше всех.

— Мы как раз к вам, — сказала Камилла. — Хотим пригласить вас в лес, устроим пикник. Нужно о многом поговорить.

— А может, зайдите ко мне? — сказала Джейн, думая, чем же их накормить. — Холодно для пикников.

— Зачем вам лишний раз мыть посуду? — сказала Камилла. — Давай зайдем в кафе, — предложила она мужу. — Вот мисс Стэддок считает, что холодно и сыро.

— Нет, — сказал Деннистон. — нам надо поговорить наедине.

Слова «нам» и «наедине» сразу установили какое-то доброе, деловое единство.

— А вообще-то, неужели вам не нравится осенний туман в лесу? Посидим в машине, там тепло.

Джейн сказала, что никогда не слышала, чтобы кто-нибудь любил туман, но поехать согласилась; и все трое сели в машину.

— По этой самой причине мы поженились, — сказал Деннистон. — Мы оба любим погоду. Не такую или сякую, просто погоду. Очень удобно, когда живешь в Англии.

— Как же вы приучились, мистер Деннистон? — спросила Джейн. — Никогда бы не смогла полюбить снег или дождь.

— Я просто не разучился, — сказал Деннистон. — Все дети любят погоду. Вы не заметили, что в снегопад взрослые торопятся, а дети и собаки счастливы? Они-то знают, для чего падает снег!

— Я в детстве не любила сырые дни, — сказала Джейн.

— Потому что взрослые держали вас дома, — сказала Камилла. — Когда шлепаешь по лужам, дело другое.

Они свернули с шоссе и ехали по траве, под деревьями, пока не достигли полянки, окруженной с одной стороны пихтами, с другой — буками. Пахло осенью, на ветвях висела мокрая паутина. Прямо в машине они разобрали корзинку, поели сандвичей, выпили шерри, потом — горячего кофе и закурили наконец.

— Ну вот!.. — сказала Камилла.

— Что ж,— сказал Деннистон,— начнем. Вы, конечно, знаете, от кого мы?

— От мисс Айронвуд,— сказала Джейн.

— Да, мы из ее дома, но хозяин у нас другой. И у нас, и у нее.

— Как это? — спросила Джейн.

— Наш дом, или общество, или компанию возглавляет другой человек. Если я назову вам его фамилию, вы можете знать ее, можете не знать. Он много путешествовал, теперь болеет. Во время последнего путешествия он поранил ногу, и она не заживает.

— Да? — сказала Джейн.

— Его сестра умерла в Индии и оставила ему много денег. Она тоже была замечательная женщина, большой друг одного индийского мистика. Он считал, что над человеческим родом нависла опасность. И перед самым концом — перед тем как исчезнуть — он убедился в том, что она осуществится в Англии. А когда он исчез...

— Умер? — спросила Джейн.

— Мы не знаем,— сказал Деннистон.— Одни думают, что умер, другие — что жив. Во всяком случае, он исчез. А женщина, о которой я говорил, рассказала об этом брату, нашему хозяину. Потому она и оставила ему деньги. Он должен был собрать вокруг себя людей и ждать, чтобы вовремя предотвратить опасность.

— Не совсем так, Артур,— поправила Камилла.— Она сказала, что люди сами соберутся вокруг него.

Джейн пока молчала.

— Еще этот индус говорил, что в свое время к нам явится ясновидец.

— Нет,— сказала Камилла,— что ясновидец объявится, а владеет им или наша, или та сторона.

— По-видимому,— сказал Деннистон,— это вы и ссть.

— Ну что вы,— улыбнулась Джейн.— Я боюсь таких вещей.

— Еще бы! — сказал Деннистон.— Вам не повезло.

Камилла повернулась к ней и сказала:

— Грейс говорила мне, что вы не совсем уверены. Вы думали, это сны. А сейчас?

— Все так странно,— сказала Джейн,— и страшно

Они очень нравились ей, но привычный голос нашептывал: «Осторожно! Не сдавайся. Живи своей жизнью». Однако честность заставила ее сказать:

— Мне приснился еще один сон. Я видела, как убивали мистера Хинджеста.

— Ну вот,— сказала Камилла.— Нет, вы непременно должны быть с нами! Неужели вы не понимаете? Мы все думали, где же начнется, а ваш сон дает нам ключ. То, что вы видели, случилось недалеко от Эджстоу. Мы в самом центре, что бы это ни было. Нам и рукой не двинуть без вашей помощи. Вы — наши глаза. Это предопределено задолго до нашего рождения. Стоит ли все губить? Идите к нам.

— Не надо, Камилла,— сказал ее муж.— Пендрагону... нашему хозяину это бы не понравилось. Миссис Стэддок должна прийти по своей воле.

— Да я же ничего не знаю! — сказала Джейн.— Я не хочу быть ни с вами, ни с ними, если я сама не разобралась.

— Неужели вы не видите,— сказала Камилла,— что третьего пути нет? Не пойдете к нам, они вас используют.

Последняя фраза не была удачной. Джейн вся напряглась. Если бы это сказала менее приятная женщина, она бы вообще окаменела. Деннистон положил руку на руку жены.

— Посмотри на это с точки зрения миссис Стэддок,— сказал он.— Она ничего о нас не знает. То-то и трудно, ведь мы не можем рассказать ей, пока она не будет с нами. Мы просим ее прыгнуть во тьму.— Он улыбнулся не без озорства, но говорил серьезно.— Что ж, люди так женятся, уходят в матросы, в монахи, пробуют новое блюдо. Ничего не поймешь, пока сам не испытаешь.

Он не понимал (или понимал?), какие чувства вызвали в ней его примеры, да и она сама не очень это поняла.

— Мне не совсем ясно,— ответила она чуть холодней,— нужно ли все это испытывать?

— Понимаете, — сказал Деннистон, — без доверия тут не обойдешься. Я хочу сказать, положитесь на то, нравимся ли вам мы все — и мы с Камиллой, и Грейс, и наш хозяин.

Джейн смягчилась.

— Чего же вы от меня хотите? — спросила она.

— Прежде всего, чтобы вы повидались с ним. А потом... чтобы вы к нам присоединились. Он настоящий хозяин, глава. Мы добровольно выполняем его приказания. Да, и еще одно! Что скажет Марк? Мы с ним старые друзья, вы ведь знаете.

— Ну что ты! — сказала Камилла. — Стоит ли об этом сейчас?..

— Рано или поздно придется, — сказал Деннистон.

Все немного помолчали.

— Марк? — сказала Джейн. — Да как он узнает? А что он подумает, я и представить себе не могу. Решит, что мы сошли с ума.

— Но против он не будет? — спросил Деннистон. — Согласится он, чтобы вы присоединились к нам?

— Если бы он был в городе, он бы удивился, что я перееду в Сэнт-Энн. Ведь это нужно?

— А разве его нет? — спросил Деннистон.

— Он в Бэлбери, — сказала Джейн. — Кажется, его берут в ГНИИЛИ. — Она была рада, что пришлось это сообщить, но Деннистон, если и удивился, виду не подал.

— Нет, — сказал он, — сейчас там жить не обязательно, тем более что вы замужем. Разве что Марк сам захочет...

— Об этом речи не может быть, — сказала Джейн и подумала: «Не знает он Марка!..»

— Во всяком случае, — продолжал Деннистон, — сейчас я говорю не о том. Согласится ли он, чтобы вы подчинялись нашему главе, дали обеты?

— А какое ему дело? — спросила Джейн.

— Понимаете, — немного замаялся Деннистон. — у нашего главы... или у тех, кому он подчинен... старомодные взгляды. Он бы не хотел, чтобы замужняя женщина приходила, не спросясь у мужа.

— Что ж, мне просить у Марка разрешения? — И Джейн естественно засмеялась. Теперь она совсем ошетибилась. Все эти разговоры о властях и обетах были ей достаточно неприятны. Но чтобы ее послали за разрешением к мужу, как девочку, которая должна «спроситься у мамы»!.. Сейчас и Деннистон, и Марк, и какой-то глава, и этот индийский факир были для нее просто мужчинами, для которых женщина — все равно что ребенок или животное («король обещал отдать дочь тому, кто убьет дракона»). Она очень сердилась.

— Артур,— сказала Камилла,— смотри, что-то горит. Это костер?

— Да, наверное.

— У меня ноги замерзли. Пойдем посмотрим на него. Жаль, у нас нет каштанов.

— Ой, правда, пойдем!..— сказала Джейн.

Теперь на воздухе было теплее, чем в машине, пахло листьями, тихо шуршали сухие сучья. Костер оказался большим, а в сердцевине его, в куче листьев, разверзались сверкающие алые пещеры. Все трое довольно долго глядели на него и говорили о пустяках.

— Вот что,— вдруг сказала Джейн.— Я с вами не буду, но сон я вам расскажу... если увижу.

— Прекрасно,— сказал Деннистон.— Большого мы и ждать не вправе. Я понимаю вас. Разрешите попросить еще об одном.

— Да?

— Никому ничего не говорите.

— Ну конечно!

Позже, в машине. Деннистон сказал:

— Надеюсь, сны не будут вас мучать. Нет, я не думаю, что их вообще не будет. Просто вы теперь знаете, что с вами все в порядке, что все это действительно происходит. Конечно, дела страшные, но читаете же вы о таких! В общем, я надеюсь, что вы их легче вынесете. Смотрите на них... скажем, как на новости, тогда ничего.

Всю ночь (он почти не спал) и половину дня Марк думал о том, решится ли он снова пойти к Уизеру. Наконец он собрался с духом и направился к нему.

— Я принес эту форму, сэ, — сказал он.

— Какую форму? — спросил и. о.

Сегодня он был совсем иным. Рассеянность осталась, вежливость исчезла. Казалось, что он спит или где-то витает, но сонное раздражение, сквозившее в его взгляде, могло вот-вот превратиться в злобу. Улыбка стала иной, похожей на ухмылку, и Марку почудилось, что сам он — мышка перед кошкой. Уизер туманно повел речь о том, что Марк, насколько он понял, от работы отказался, о каких-то трудностях, трениях, опрометчивых поступках, о необходимой осторожности — институт не может взять человека, который перессорился в первую же неделю буквально со всеми, — и, наконец, о каких-то справках «у прежних коллег», подтвердивших невыгодное мнение. Он вообще сомневался, пригоден ли Марк для научной работы. Однако, измотав его вконец, он бросил ему подачку: неожиданно предложил поработать на пробу сотен за шесть. И Марк согласился. Более того, он даже попытался узнать, под чьим началом он будет и должен ли жить в Болбери. Уизер ответил:

— Мне кажется, мистер Стэддок, мы с вами уже беседовали о том, что гибкость — основа нашей институтской жизни. Пока вы не научитесь воспринимать свое дело, как... э-э-э... служение, а не службу, я бы вам не советовал работать с нами. Вряд ли я уговорил бы совет создать специально для вас какой-то... э-э... пост, на котором вы бы трудились от сих до сих. Разрешите на этом кончить, мистер Стэддок. Как я уже вам говорил, мы — единая семья, болес того — единая личность. У нас и речи быть не может о том, чтобы кому-то, простите, делать поблажки, не считаясь с другими. (Я вас не перебивал!..) Вам надо много-

му научиться, да, да! Мы не сработаемся с человеком, который настаивает на своих правах. Это, видите ли, он делать будет, это — не будет!.. С другой стороны, я бы очень вам советовал не лезть, если вас не просят. Почему вас трогают пересуды? Научитесь сосредоточенности. Научитесь щедрости, я бы сказал — широте. Если вы сумеете избежать и разбросанности, и крохоборства... Надеюсь, вы сами понимаете, что до сих пор не произвели приятного впечатления. Нет, мистер Стэддок, дискутировать мы не будем. Я чрезвычайно занят. Я не трачу времени на разговоры. Всего вам доброго, мистер Стэддок, всего доброго. Помните, что я сказал. Стараюсь для вас, как могу. До свиданья.

Марку пришлось тешить себя тем, что, не будь он женат, он бы и минуты не стал терпеть этих оскорблений. Таким образом, он сваливал вину на Джейн и мог спокойно думать, что бы он ответил, если бы не она... а может, еще и ответит при случае. Немного успокоившись, он пошел в столовую и увидел, что награда за послушание началась. Фея позвала его к себе.

— Ничего еще не наката! — спросила она.

— Нет, — отвечал он. — Я ведь только сейчас твердо решил остаться. На ваши материалы я взгляну после обеда... хотя, правду сказать, еще толком не понял, чем должен здесь заниматься.

— Мы люди гибкие, сынок, — сказала мисс Хардкасл. — И не поймешь. Ты делай что велят, а к старику не лезь.

2

В течение следующих дней набирали разгон несколько событий, которые сыграли потом большую роль.

Туман, окутавший и Эджстоу, и Бэлбери, становился все плотнее. В Эджстоу говорили, что он «идет от реки», но на самом деле он покрыл всю середину Англии. Дошло до того, что можно было писать на покрытых влагой столах, работали все при свете. Никто уже не видел, что происходит на месте леса, там только клацало, лязгало, громыхало и раздавалась грубая брань.

Оно и к лучшему, что туман скрыл nepoтpeбcтвo, ибo зa peкoй твopилocь чepт знaeт чтo. Инcтитут вce кpeпчe cтucкивaл гopод. Peкa, eщe нeдaвнo oтливaвшaя бyтылoчнoм, янтapнoм и cpeбpяным cвeтoм, yжe нe игpaлa кaмышaми и нe лacкaлa кpacнoвaтыe кopни дepeвьeв, a тeклa тяжeлым cвинцoм, кoтopый инoгдa yкpaшaли paдyжныe cтpуйки нeфти, и плыли пo нeй клoчки гaзeт, щeпки и oкypки. Пoтoм вpaг пepeшeл peкy — инcтитут пpикyпил зeмлю нa лeвoм, вocтoчнoм бepeгy. Пpeдcтaвитeли ГНИИЛИ, лopд Фeвepcтoн и нeкто Фpocт, cpaзy cooбщили Бэзби, чтo pyслo вooбщe oтвeдyт и peки в гopодe нe бyдeт. Свeдeния, кoнeчнo, были cтpогo кoнфидeнциaльны, нo пpишлoсь нeмeдлeннo yтoчнить, гдe жe кoнчaютcя зeмли кoллeджa. У кaзнaчeя oтвiciлa чeлюcть, кoгдa oн yзнaл, чтo инcтитут пoдcтyпит к cамым cтeнaм, и oн oткaзaл. Тoгдa oн и yслышaл впepвыe, чтo зeмлю мoгyт peквизировать; cейчac инcтитут ee кyпит и хopoшo зaплaтит, a пoзжe oн пpocтo ee oтбepeт, цeнa жe бyдeт нoминaльнoй. Oтнoшeния Бэзби c Фeвepcтoнoм мeнялись вo вpeмя бeceды пpямo нa глaзax. Кoгдa Бэзби cозвaл coвeт и пocтapaлcя излoжить вce пoмягчe, oн cам yдивилcя, cкoлькo нeнaвиги хлынуло нa нeгo. Тщeтнo нaпoминaл oн, чтo тe, ктo eгo cейчac pyгaeт, cами гoлocовaли зa пpoдaжy лeca; нo и oни тщeтнo pyгaли eгo. Кoллeдж oкaзaлcя в лoвyшкe. Нa cей paз oн пpoдaл yзкyю пoлocкy зeмли, cамый бepeг, дo oткoca. Чepeз двaдцaть чeтыpe чaca ГНИИЛИ зeмлю cpoвнял: цeлый дeнь paбoчии тacкaли чepeз peкy, пo дocкaм, кaкиe-тo гpyзы и нaкидaли cтoлькo, чтo пycтaя глaзницa oкнa Гeнpиeтты-Мaрии oкaзaлacь зaкpытoй дo пoлoвины.

В эти дни многие пpoгpeccиcты пepeшли к oппoзиции; тe жe, ктo нe cдaлcя, cплoтились кpeпчe пepeд лицoм вceoбщeй вpaждeбнocти. Унивepcитeт вocпpинимaл тeпepь бpэктoнцeв кaк eдинoе цeлoe и oбвинял тoлькo их зa cгoвop c инcтитутoм. Этo былo нecпpaeдливo, мнoгие в дpyгих кoллeджax пoддepживaли инcтитут в cвoe вpeмя, нo никтo нe жeлaл тeпepь oб этoм вcпoминaть. Бэзби cпeшил пoдeлитcя тeм, чтo вывeл из бeceды: «Ecли бы мы oткaзaлись, этo бы ничeгo нe измeнилo», нo никтo eмy нe вepил, и нeнaвигь к кoллeджy pocla. Стyдeнты нe xoдили

на лекции его сотрудников. Бэзби и даже ни в чем не повинного ректора публично оскорбляли.

Город, не особенно любивший университетских, на сей раз волновался вместе с ними. О безобразиях под окнами Брэктона и в Лондоне, и даже в Эджстоу почти не писали, но на них дело не кончилось. Кто-то на кого-то напал на улице; кто-то с кем-то подрался в кабаке. То и дело поступали жалобы на университетских рабочих — и попадали в корзину. Очевидцы печальных сцен с удивлением читали в «Эджстоу телеграф», что новый институт благополучно осваивается в городе и налаживает отношения с жителями. Те, кто сам ничего не видел, верили газете и говорили, что все это — слухи. Увидев, они в свою очередь писали письма, но их не печатали.

Однако если в стычках можно было сомневаться, толчею видели все. Мест в гостиницах не было, никто не мог выпить с другом в любимом баре и даже протиснуться в магазин (вероятно, у пришельцев денег хватало). Перед всеми кинотеатрами стояли очереди; в автобус нельзя было влезть. Тихие дома на тихих улицах тряслись от бесконечного потока грузовых машин. До сих пор в таком небольшом городе даже люди из соседних местечек казались чужими; теперь же повсюду мелькали незнакомые, довольно противные лица, стоял дикий шум, кто-то пел, кто-то вопил, кто-то ругался на северном наречии, а то и по-валлийски или по-ирландски. «Добром это не кончится», — говорили жители, а попозже: «Так и кажется, что они хотят заварухи». Никто не запомнил, когда и кем было высказано и это мнение, и другое: «Нужно больше полицейских». Только тогда газета очнулась. Появилась робкая заметка о том, что местная полиция не в силах справиться с новыми условиями.

Джейн всего этого не замечала. Она томилась. Быть может, думала она, Марк позовет ее к себе; быть может, он «это» бросит и вернется к ней; быть может, надо ехать в Сэнт-Энн, к Деннистонам. Сны продолжались, но Деннистон оказался прав: стало легче, когда она восприняла их как «новости». Иначе она бы просто не выдержала. Один сон все время повторялся: она лежит на своей кровати, а кто-то у ее изголовья глядит на нее

и что-то записывает. Запишет и снова сидит тихо, словно доктор. Она изучила его лицо — пенсне, четкие черты, остроконечную бородку. Конечно, и он ее изучил, он ведь нарочно изучал ее. Когда это случилось в первый раз, Джейн не стала писать Деннистонам; и во второй откладывала до ночи, надеялась, что, не получая писем, они сами приедут к ней. Ей хотелось утешения, но никак не хотелось встречаться с их хозяином и к кому-то присоединяться.

Марк тем временем трудился над оправданием Алькасана. До сих пор он никогда не видел полицейского досье, и ему было трудно в нем разобраться. Фея об этом догадалась, как он ни притворялся, и сказала: «Сведу-ка я тебя с капитаном». Вот как получилось, что Марк стал работать бок о бок с ее помощником, капитаном О'Хара, красивым седым человеком, сразу сообщившим ему, что он — хорошего рода и владеет поместьем в Кэстлмор. В тайнах досье Марк так и не разобрался, но признаться в этом не хотел, и факты, в сущности, подбирал О'Хара, а сам он только писал. Стараясь как можно лучше скрыть свое неведение, Марк не мог уже говорить о том, что он — не журналист. Писал он и впрямь хорошо (это способствовало его научной карьере гораздо больше, чем он думал), и статьи ему удались. Печатали их там, куда бы он никогда не получил доступа под своей подписью, — в газетах, которые читают буквально миллионы людей. Что ни говори, это было ему приятно.

Поделился он с О'Харой и денежными заботами. Когда тут платят? Он что-то поиздержался... Бумажник сразу потерял, так и не нашел. О'Хара громко хохотал.

— Да вы попросите у заведующего хозяйством, — сказал он, — он вам даст.

— А их потом у меня вычтут? — спросил Марк.

— Молодой человек, — сказал капитан, — у нас тут, слава богу, с деньгами просто. Сами их делаем.

— То есть как? — удивился Марк, помолчал и добавил: — Но ведь если уйдешь, с тебя спросят...

— Какие такие уходы? — сказал О'Хара. — От нас не уходят. Один только и был, Хинджест.

К этому времени расследование установило, что убийство совершено неизвестным лицом. Заупокойную службу служили в брэктонской часовне.

Туман стоял тогда третий день и был уже таким белым, что в нем гасли все звуки, кроме перестука тяжелых капель и громкой брани. Пламя свечей шло прямо вверх, прорезая матовый шар светящегося тумана, и только по кашлянью да шарканью можно было понять, что народу в часовне много. Важный и даже подросший Кэрри, в черном костюме и черных перчатках, держался поближе к входу, сокрушаясь, что туман не дает вовремя привезти «останки», и не без удовольствия ощущая свою ответственность. Он был незаменим на похоронах; сдержанно, горько, по-мужски нес он утрату, не забывая, что ему, одному из столпов колледжа, нужно держать себя в руках. Представители других университетов нередко говорили, уходя: «Да, проректор сам не свой, но держится молодцом». Лицемерия в этом не было; Кэрри так привык соваться в жизнь своих коллег, что совался и в смерть. Будь у него аналитический ум, он бы обнаружил в себе примерно такое чувство: его влияние и дипломатичность не могут повиснуть в воздухе просто оттого, что кто-то уже не дышит.

Заиграл орган, перекрывая и негромкий кашель, и громкую брань за стеной, и даже тяжкие удары каких-то грузов о землю, сотрясавшие стены. Как и боялся Кэрри, туман мешал везти гроб. Органист играл полчаса, не меньше, прежде чем у входа зашевелились и многочисленные Хинджесты в трауре, согбенные, сельского обличья, стали пробираться на оставленные им места. Внесли булаву, появились бидлы, и надзиратели, и ректор всего университета, и поющий хор, и — наконец — самый гроб цветочным островом поплыл сквозь туман, который стал еще гуще, мокрее и холодней, когда отворили двери. Служба началась.

Служил каноник Стори. Голос его был еще красив, и была красота в том, что сам он отделен от всех остальных и верой своей, и глухотой. Ему не казалось странным, что он произносит эти слова над телом гордого старого атеиста, ибо он не подозре-

вал об его неверии. Не подозревал он и о странной переключке с голосами, вторившими ему извне. Глоссоп вздрагивал, когда тишину прорезал вопль: «Трам-та-ра-рам, куда ногу суешь, раздавлю!» — но Стори невозмутимо отвечал: «Сеется в глинни, восстает в нетлении».

«Как заеду!..» — говорил голос.

«Сеется тело душевное, — говорил Стори, — восстает тело духовное».

«Безобразие!..» — шептал Кэрри сидевшему рядом казначею. Но кое-кто из молодых жалел, что нет Феверстона, — уж он бы поразвлекся!..

3

Из всех наград, полученных Марком за послушание, самой лучшей оказалось право работать в библиотеке. После того несчастного утра он быстро узнал, что доступ туда на самом деле открыт лишь избранным. Именно здесь происходили поистине важные беседы; и потому, когда как-то вечером Феверстон сказал: «Пошли выпьем в библиотеку», Марк расцвел, не обижаясь больше на их последний разговор. Если ему и стало за себя немного стыдно, он быстро подавил столь детское, нелепое чувство.

В библиотеке обычно собирались Феверстон, Филострато, Фея и, что удивительно, Стрэйк. Марку было очень приятно, что Стал сюда не ходит. По-видимому, он и впрямь обогнал его, или обогнул, как ему и обещали; значит, все шло по программе. Не знал он тут только профессора Фроста, молчаливого человека в пенсне. Уизер — Марк называл его теперь «и. о.» или «старик» — бывал здесь часто, но вел себя странно: ходил из угла в угол, что-то напевая. Подойдя на минуту к остальным, он глядел на них отеческим взором и уходил опять. Являлся он и исчезал несколько раз за вечер. С Марком он ни разу не заговаривал после той унижительной беседы, и Фея давала понять, что он еще сердится, но «в свое время отгадет».

«Говорила я, не лезь!» — заключала она.

Меньше всех Марку нравился Стрэйк, который и не пытался подделаться под принятый здесь стиль «без дураков». Он не пил, не курил. Он сидел, молчал, потирал худой рукой худое колено, глядел печальными глазами то на одного, то на другого и не смеялся, когда все смеялись. Вдруг его что-нибудь задевало, обычно — слова о «сопротивлении реакционеров», и он разражался яростной, обличительной речью. Как ни странно, никто не перебивал его и никто не улыбался. Он явно был чужим, но что-то их с ним связывало, и Марк не мог понять — что же именно. Иногда Стрэйк обращался к нему и говорил, к большой его растерянности, о воскресении. «Нет, молодой человек, это не исторический факт и не басня. Это — пророчество. Это случится здесь, на земле, в единственном мире. Что говорил Христос? “Мертвых воскрешайте”. Так мы и сделаем. Сын человеческий — человек, вставший в полный рост, — может судить мир, раздавать вечную жизнь и вечную гибель. Вы увидите это сами. Здесь, теперь». Все это было в высшей степени неприятно.

На следующий день после похорон Хинджеста Марк решил пойти в библиотеку (до сих пор его звали Феверстон или Филострато). Он сильно робел, но знал, что в таких делах ложный шаг и в ту и в другую сторону губителен. Приходилось рисковать.

Успех превзошел его ожидания. Все были здесь, и, не успев он закрыть дверь, все весело обернулись к нему. «Ессо!» — воскликнул Филострато. «Он-то нам и нужен», — сказала Фея. Марку стало тепло от радости. Никогда еще огонь не горел так ярко и запах не был таким пленительным. Его ждали. В нем нуждались.

— Сколько у вас уйдет на две статьи, Марк? — спросил Феверстон.

— Всю ночь работать можешь? — спросила Фея.

— Бывало, работал, — сказал Марк. — А в чем дело?

— Итак, — обратился ко всем Филострато, — вы довольны, что эти... неурядицы становятся все сильнее?

— То-то и смешно, — сказал Феверстон. — Наша Фея слишком хорошо работает. Овидия не читала.

— Мы не могли бы остановить их, если бы хотели,— сказал Стрэйк.

— О чем идет речь? — спросил Марк.

— В Эджстоу беспорядки,— отвечал Феверстон.

— А... я, знаете, не следил. Что, серьезные?

— Будут серьезные,— сказала Фея. — В том-то и суть. Мы намечали бунт на ту неделю, а пока что брали разгон. Но так, понимаешь, хорошо идет... Завтра-послезавтра тарарахнет.

Марк растерянно глядел то на нее, то на Феверстона. Тот просто корчился от смеха, и Марк почти машинально обыграл свое недоумение.

— Ну, это нам знать не дано,— улыбнулся он.

— Вы думаете,— ухмыльнулся Феверстон,— что Фея пустит все на самотек?

— Значит, мисс Хардкасл сама и действует? — спросил Марк.

— Да, да,— закивал Филострато. Глазки у него блестели, жирные щеки тряслись.

— А что? — сказала Фея. — Если в какую-то дыру понаедет сотня тысяч рабочих...

— Особенно таких, как ваши,— вставил Феверстон.

— ...заварухи не миновать,— договорила Фея. — Они и сами цапались, моим ребятам ничего делать не пришлось. Но уж если ей быть, пускай будет когда нужно.

— Вы хотите сказать,— снова спросил Марк,— что вы это все подстроили?

Отдадим ему справедливость: его коробило, и он не старался этого скрыть, но лицо и голос сами собой подделывались под общий тон.

— Зачем же так грубо! — сказал Феверстон.

— Какая разница! — сказал Филострато. — Сами дела не делаются.

— Точно,— подтвердила мисс Хардкасл. — Не делаются. Это вам всякий скажет. И вот что, ребята: бунт начнется завтра или послезавтра.

— Хорошо узнавать все из первых рук! — сказал Марк. — Заберу-ка я оттуда жену.

— Где она живет?

— В Сэндауне.

— А... Ну, это далеко. Лучше мы с тобой подготовим стайгейки.

— Для чего?

— Надо объявить чрезвычайное положение, — сказал Феверстон. — Иначе правительство нам не даст полномочий.

— Вот именно, — сказал Филострато. — Бескровных революций не бывает. Этот сброд не всегда готов бунтовать, приходится подстрекать их, но без шума, стрельбы, баррикад полномочий не получишь.

— Статьи должны быть на другой день после бунта, — сказала мисс Хардкасл. — Значит, старику дашь к шести утра.

— Как же я сегодня все опишу, если начнется не раньше, чем завтра? — спросил Марк.

Все расхохотались.

— Да, газетчик из вас плохой! — сказал Феверстон. — Не может описать того, чего еще не было!

— Что ж, — сказал Марк, улыбаясь во весь рот, — я ведь живу не в Зазеркалье...

— Ладно, сынок, — сказала Фея. — Сейчас и начнем. Еще по стаканчику, и пошли наверх. В три нам дадут пожевать, кофе принесут.

Так Марку впервые предложили сделать то, что он считал преступным. Он не заметил, когда же именно согласился, — во всяком случае, ни борьбы, ни даже распутья не было. Вероятно, кто-то где-то и переходит Рубикон, но у него все случилось само собой, среди смеха, шуток и той свойской болтовни («Мы-то друг друга понимаем»), которая чаще всех земных сил толкает человека на дурное дело, когда он еще не стал особенно плохим. Через несколько минут они с Феей шли наверх. На пути им попался Коссер, деловито разговаривающий с кем-то из своего отдела, и Марк заметил краем глаза, что тот на них глядит. И подумать, что когда-то он боялся Коссера!

— А кто разбудит и. о. в шесть часов? — спросил Марк.

— Сам проснется, — сказала Фея. — Когда-то он спит, но когда — не знаю.

В четыре часа утра Марк перечитывал у Феи в кабинете две последние статьи — для самой почтенной газеты и для самой массовой. Только это в ночных трудах и льстило его писательскому тщеславию. Первая половина ночи ушла на составление самих новостей, передовицы он оставил под конец, и чернила еще не просохли. Первая статья была такой:

«Несмотря на то что рано еще основательно судить о вчерашних событиях в Эджстоу, из первых сообщений (их мы печатаем отдельно) мы вправе сделать два вывода, которые вряд ли поколеблет дальнейшее течение дел. Во-первых, эти события наносят удар по благим упованиям тех, кто еще верит в безоблачный характер нашей цивилизации. Конечно, нельзя без трений и трудностей превратить небольшой университетский город в исследовательский центр национального значения. Но мы, англичане, всегда справлялись с трудностями по-своему, миролюбиво, даже весело, и всегда были готовы принести и большие жертвы, чем те, которые требовались на сей раз, когда наши привычки и чувства столкнулись с весьма незначительными помехами. Приятно отметить, что нет ни малейших указаний на то, чтобы ГНИИЛИ в какой бы то ни было степени преступил свои права или погрешил против благожелательности и дружелюбия, которых от него ждали. Теперь сравнительно ясно, что поводом к беспорядкам было частное столкновение между одним из институтских рабочих и каким-то местным маловесом. Но, как давно сказал Аристотель, повод ничтожен, причина глубока. Трудно сомневаться в том, что незначительное, хотя и прискорбное происшествие возникло — вольно ли, невольно — не без связи с косностью.

Как это ни печально, приходится признать, что закоренелое неверие и давнюю недоброжелательность к той деловитости и четкости, которую зовут бюрократизмом, легко оживить хотя бы на короткое время. С другой стороны, мы яснее видим теперь именно те недуги нашей культуры, которые и призван исспе-

лить институт. В том, что это ему удастся, мы не сомневаемся. Вся наша нация поддержит те “мирные усилия”, о которых недавно так прекрасно говорил мистер Джалс, а сопротивление плохо осведомленных кругов будет мягко, но решительно сломлено.

И второе: многие восприняли с недоверием мысль о том, что институт нуждается в собственной полиции. Наши читатели вспомнят, что мы этого предубеждения не разделяли, но и не оспаривали. Даже ложных и особенно рьяных свободоловцев надо чтить, как чтим мы необоснованную тревогу любящей матери. Однако мы всегда считали, что уже невозможно поручать всю охрану порядка небольшому кругу лиц, чья прямая задача — борьба с преступлениями. Мы не должны забывать о том, что в некоторых странах это привело к серьезным нарушениям свободы и справедливости, ибо полиция стала своего рода государством в государстве. Так называемая “полиция” ГНИИЛИ (было бы уместней называть ее “охранительно-санитарной службой”) знаменует истинно английское решение вопроса. Трудно определить строго логически, в каком отношении находится она к полиции как таковой, но мы, англичане, издавна не в ладах с логикой. Вышеупомянутая служба ни в коей мере не связана с политикой; если же ей доведется прийти в соприкосновение с правосудием, она выступит в роли спасительницы, перемещая преступника из сферы наказания в сферу лечения. Последние предубеждения развеяны событиями в Эджстоу, ибо национальная полиция просто не справилась бы с ними без помощи институтской службы. Как сказал сегодня утром нашему корреспонденту один из крупных деятелей полиции: “Без них все повернулось бы иначе”. Если в свете этих событий сочтут необходимым на некоторое время поручить всю округу работам институтской “полиции”, британский народ, по сути своей склонный к трезвому взгляду на вещи, вряд ли станет хотя бы в малой мере противиться. Особенно обязаны мы служащим в “полиции” женщинам, проявившим то мужество и то здравомыслие, которых мы и ждем от истинных англичанок. В Лондоне ходят слухи о каких-то пулеметах и сотнях жертв, но этому

нет ни малейших подтверждений. По всей вероятности, когда все детали будут уточнены, окажется (как выразился по другому поводу наш премьер-министр), что “если кровь и текла, то из носа”».

Вторая статья была такой:

«Что творится в Эджстоу?

Вот на какой вопрос ждет ответа простой англичанин. Институт, который там разместился, — Государственный институт, то есть и ваш и мой. Мы не ученые, и нам не понять, о чем там думают профессора. Но мы знаем, чего от них ждут каждый мужчина и каждая женщина. Мы ждем от них, что они победят рак, покончат с безработицей, решат жилищный вопрос. Мы ждем, что они помогут нашим детям жить лучше и знать больше, чем мы, а всем нам — идти вперед и полнее пользоваться тем, что Господь нам даровал. ГНИИЛИ — орудие народа. Он поможет осуществить все, за что мы боролись.

А что же тогда творится в Эджстоу?

Вы думаете, все пошло от того, что Смит или Браун не захотел уступить институту лавку или дом? Нет, Смит или Браун знают, что им лучше. Они знают, что при институте будет больше магазинов, больше развлечений, больше народу, привольная жизнь. Ответ один: беспорядки ПОДСТРОИЛИ!

Удивляйтесь, не удивляйтесь, а это правда.

И я снова спрошу: что творится в Эджстоу?

Там есть предатели. Кто бы они ни были, я не боюсь этого сказать. Может быть, это так называемые христиане. Может быть, это те, кого ущемили материально. Может быть, это замшелые профессора из университета. Может быть, это евреи. Может быть, это судейские. Мне все равно, кто это, но одно я им скажу: берегитесь! Английский народ этого не потерпит. Мы не дадим ставить палки в колеса институту.

Что же надо сделать?

А вот что: пусть город охраняет институтская полиция. Если кто из вас бывал в тех местах, вы знаете не хуже меня: в этом

сонном царстве пяти-шести полицейским только и было забот, что свистеть мотоциклистам, когда у них погас фонарик. Куда им, беднягам, управиться с ПОДСТРОЕННЫМ БУНТОМ! Проплую ночь институтская полиция себя показала. Вот что я скажу: молодец эта мисс Хардкасл и ее ребята и ее девицы! Так что, без всякой волокиты, дадим им размахнуться!

И вот вам хороший совет. Услышите, что их ругают, — объясните, что к чему! Сравнят их с гестапо — что ж, мы и такое слышали. Заведут про свободу — помните, для кого она: для мракобесов, для богачей, для старых сплетниц. А тому, кто распускает всякие слухи, передайте от меня, что институт как-нибудь сам постоит за демократию. Кому не нравится — скатертью дорога.

Не забывайте об 'Эджстоу!'

Можно было бы ожидать, что, повосторговшись собой в пылу творчества, Марк очнется и ужаснется, читая готовые статьи. К несчастью, все было почти наоборот. Чем дольше он работал, тем больше втягивался.

Совсем он успокоился, перепечатывая это на машинке. Когда работа обретает убористый, красивый вид, не хочется, чтобы она шла в корзину. Чем чаще он перечитывал, тем больше восхищался. В конце концов, это же игра, шутка, стилизация. Он видел себя самого старым, богатым, знаменитым, может быть — и титулованным, когда вся эта чушь давно уйдет в прошлое и он будет рассказывать о ней молодым: «Вот вы не поверите, а поначалу бывало всякое. Помню...» К тому же до сих пор он печатался только в ученых трудах, которые читали его собратья, и у него кружилась голова от мысли о своем влиянии — издатели ждут, вся Англия читает, столько зависит от его слов. Он просто дрожал, представляя, какая машина попала в его распоряжение. Не так давно он ликовал, что его приняли избранные Брэктона. Но что они перед этим? Нет, дело было не в самих статьях. Он писал их левой ногой (фраза эта очень ему помогала), но ведь не напиши он их, написал бы кто-нибудь еще. А мальчик, живший в нем, нашептывал: как это здорово,

как по-мужски — сидишь тут, пьешь, не напиваешься, пишешь (левой ногой) статьи для больших газет, газеты ждут, самый избранный круг института от тебя зависит, и больше никто не сможет отмахнуться от тебя.

5

Джейн протянула в темноте руку, но не нащупала ночного столика. Тогда она поняла, что не лежит, а стоит. Было очень темно и холодно. Пальцы ее ощутили шероховатую поверхность камня. Воздух был странный, неживой, тюремный какой-то. Далеко, наверное — над ней, раздавались какие-то звуки, но что-то приглушало их, словно они шли к ней сквозь землю. Значит, случилось самое страшное: упала бомба, дом обрушился. Тут она вспомнила, что войны нет; вспомнила она и многое другое — что она замужем за Марком... и видела Алькасана в камере... и встретила Камиллу. Тогда она обрадовалась: «Это ведь сон, один из снов, он кончится, бояться нечего».

Места здесь было немного. Рука утыкалась в грубую стену, нога сразу обо что-то ударилась. Джейн споткнулась и упала на пол. Она различила невысокий помост. Что же на нем? Можно ли узнать? Не знать — еще хуже. Она осторожно потрогала его и чуть не закричала, потому что почувствовала пальцами чью-то ногу. Нога была босая и холодная, должно быть — мертвая. Исследовать дальше она не могла, но все же исследовала. Тело было завернуто в грубую ткань, неровную, как будто вышитую, очень толстую. И человек очень большой, думала Джейн, пытаясь дотянуться до головы. На груди ткань менялась, словно сверху лежала мохнатая шкура, но потом она поняла, что это просто длинная борода. Тронуть лицо она решилась не сразу, страшась, что он пошевелится или заговорит, и напомнила себе, что это — сон. Ей казалось, что она проникла в подземелья прошлого, и она очень захотела, чтобы ее выпустили поскорей. При этой мысли она увидела, что к ней спускается другой человек, тоже бородатый, но удивительно юный, сильный и сияющий. Все стало путаться. Джейн показалось почему-то, что

она должна сделать реверанс, и она с облегчением вспомнила, что так и не выучилась этому на танцевальных уроках. Тут она проснулась.

В город она пошла сразу после завтрака, на поиски «приходящей». На Маркет-стрит случилось то, что побудило ее ехать в Сэнт-Энн немедленно, в 10.23. У тротуара стояла большая машина. Когда она поравнялась с ней, из магазина вышел человек и заговорил с шофером. Даже в тумане она рассмотрела его, очень уж он был близко. Она узнала бы его везде: ни лицо Марка, ни собственное лицо в зеркале не было ей теперь так знакомо, как эти восковые черты, пенсне и борода. Ей не пришлось думать о том, как быть. Тело само направилось к станции. Она боялась до тошноты, но гнал ее не страх. Она просто не могла быть там, где этот человек. Ее трясло от одной мысли, что она могла до него дотронуться.

В поезде было тепло и пусто, и ей стало легче, когда она села на скамью. Медленное движение сквозь туман почти укачало ее. О Сэнт-Энн она не думала, пока не приехала; даже взбираясь на холм, думала не о том, что ей делать, что сказать, а о Камилле и о миссис Димбл. В душе ее всплыли прежние, детские воспоминания. Ей хотелось к хорошим людям, туда, где нет плохих, и это разделение казалось теперь более важным, чем все другие.

Она очнулась, когда заметила, что здесь, на дороге, слишком светло, много светлей, чем в городе. Несужели деревенский туман реже городского? Воздух был уже не серым, а ясно-белым; еще дальше она увидела что-то синее сверху и тени деревьев снизу. Потом ей открылось безбрежное небо и бледно-золотое солнце. Оглянувшись, она поняла, что стоит над туманом, на зеленом островке. Он был не единственный: вон тот, к западу, — это холм над Сэндауном, где они с Деннистонами устроили пикник, а к северу, большой, — это почти гора, с которой и течет их речка. Джейн глубоко вздохнула. Ее поразило, что над туманом так много земли. Внизу все эти дни жили, словно в камерке, и она забыла, как велико небо и как далек горизонт.

Еще не дойдя до дверцы в стене, Джейн встретила Деннистона, и он провел ее в усадьбу через главные ворота, которые выходили на ту же дорогу, но подальше. По пути она все ему рассказала. С ним она ощущала то, что знакомо многим мужьям и женам: она никогда не вышла бы за него замуж, но он был ей много понятней, чем Марк. Входя в дом, они встретили ее бывшую служанку.

— Ой, подумать, это миссис Стэддок! — воскликнула миссис Мэггс.

— Да, Айви, — сказал Деннистон, — и с важными вестями. Дело сдвинулось. Мы идем прямо к Грейс. Макфи дома?

— Он в саду, — сказала миссис Мэггс. — А доктор Димбл на работе. А Камилла в кухне. Позвать вам ее?

— Позовите, пожалуйста. Вот только бы мистер Бультитьюд не вылез...

— Ничего, я его не пушу. Чаю хотите, миссис Стэддок? Все ж поездом ехали...

Через несколько минут Джейн снова сидела перед мисс Айронвуд. И хозяйка, и чета Деннистонов глядели на нее, как экзаменаторы. Айви Мэггс принесла чай и уселась рядом с ними, словно четвертый член комиссии.

— Так вот... — начала Камилла. Глаза ее горели не любопытством и не возбуждением, а истинной духовной жадой.

Джейн огляделась.

— Айви нам не помешает, — сказала мисс Айронвуд. — Она человек свой.

Мисс Айронвуд немного помолчала.

— В письме от десятого числа, — продолжала она, — вы пишете, что вам приснился человек с остроконечной бородкой. Вы видели, как он сидит и что-то пишет в вашей комнате. На самом деле его там не было. Во всяком случае, наш хозяин счи-

тает, что он там быть не мог. Но за вами он действительно наблюдал.

— Не расскажете ли вы нам то, что говорили мне? — сказал Деннистон.

Джейн рассказала о трупе (если то был труп) и о сегодняшней встрече с человеком из ее сна. Все явно заволновались.

— Нет, подумайте! — сказала Айви Мэггс.

— Значит, мы были правы насчет леса! — сказала Камилла.

— Да, это их дело, — сказал ее муж. — Но где же тогда Алькасан?

— Простите, — спокойно сказала мисс Айронвуд, и все сразу замолчали. — Сейчас мы ничего обсуждать не будем. Миссис Стэддок еще не с нами.

— Мне ничего не объяснят? — спросила Джейн.

— Моя дорогая, — сказала мисс Айронвуд, — не сердитесь на нас. Мы не можем, да и не вправе что-нибудь объяснять вам. Разрешите задать вам еще два вопроса?

— Пожалуйста, — сказала Джейн чуть-чуть суховато. При Деннистонах ей хотелось вести себя как можно лучше.

Мисс Айронвуд выдвинула ящик, и, пока она рылась там, все молчали. Потом она протянула Джейн фотографию.

— Вы знаете этого человека? — спросила она.

— Да, — тихо сказала Джейн. — Его я видела во сне и встретила сегодня утром.

Под фотографией было написано «Огастес Фрост» и еще что-то.

— И второе, — сказала мисс Айронвуд. — Вы готовы видеть хозяина?

— Да... — нетвердо отвечала Джейн.

— Артур, — сказала мисс Айронвуд, — пойдите к нему, расскажите все и спросите, может ли он сейчас принять миссис Стэддок.

Деннистон встал.

— А мы, — сказала мисс Айронвуд, — поговорим наедине.

Тут встали все остальные и вышли вместе с Деннистоном. Большая кошка, которую Джейн до сих пор не заметила, прыгнула на кресло, где сидела Айви Мэггс.

— Я уверена,— сказала мисс Айронвуд,— что он вас примет.

Джейн не отвечала.

— Тогда,— продолжала хозяйка,— вам и придется сделать выбор.

Джейн кашлянула, чтобы хоть как-то снять ненужную торжественность, воцарившуюся в комнате, когда они остались вдвоем.

— Кроме того,— говорила мисс Айронвуд,— вам нужно узнать кое-что о нашем хозяине сейчас, до встречи с ним. Он покажется вам молодым, миссис Стэддок, чуть ли не моложе вас. Это не так. Ему под пятьдесят. Он очень много пережил, был там, где никто не был, и видел тех, когo не видел никто.

— Как интересно...— без особого ныла сказала Джейн.

— И наконец,— заключила хозяйка,— помните, у него болят ноги. Что бы вы ни решили, не огорчайте его.

— Если он болен...— начала Джейн, но мисс Айронвуд ее перебила:

— Простите меня, я врач, единственный врач в доме. Я отвечаю за его здоровье. Если вы не возражаете, я вас к нему провожу.

Она придержала дверь, пропуская гостью, и по узкому коридору они дошли до красивой старинной лестницы. Дом оказался очень большим, тихим и теплым. После всех этих пропитанных туманом дней золотой осенний свет особенно весело сверкал на коврах и стенах. На втором этаже, вернее — еще на шесть ступенек выше, на квадратной площадке их ждала Камилла. За ее спиной была дверь.

— Он ждет,— сказала она.

— Как ему, больно? — переспросила мисс Айронвуд.

— То хуже, то отпустит. В общем, ничего.

Когда мисс Айронвуд подняла руку, чтобы послушаться, Джейн подумала: «Берегись! Не дай себя провести! Не успеешь оглянуться, и станешь одной из его поклонниц!» Додумывала она это, уже войдя в комнату. Там было очень светло, словно стены состояли из одних окон, и очень тепло — в камине горел огонь.

Все было или голубое, или синее. Джейн вздрогнула, увидев, что мисс Айронвуд присела в реверансе, и быстро сказала себе: «Не буду. Не могу!» Действительно, она давно разучилась.

— Джейн Стэддок пришла, сэр, — сказала мисс Айронвуд. Джейн подняла глаза, и мир рухнул.

На тахте лежал очень молодой человек с забинтованной ногой. По длинному подоконнику ходила ручная галка. Слабые отблески огня и яркие отблески солнца играли на потолке, но казалось, что все они золотят волосы и бороду странного человека.

Конечно, молодым он не был. Он просто был очень сильным. Она думала увидеть калеку, а сейчас ей казалось, что плечи его вынесли бы тяжесть всего этого дома. Мисс Айронвуд стала маленькой, старой, бесцветной и легкой, как одуванчик.

Тахта находилась на помосте, туда вела ступенька. Сзади мерцало что-то синее (потом Джейн узнала, что это просто ковер), и казалось, что ты — в тронном зале. Она бы не поверила, если бы ей об этом рассказали, но за окном не было ни деревьев, ни домов, ни холмов, словно она и этот человек — на башне, высоко над всеми.

Боль иногда искажала его лицо, но спокойствие ее поглощало, как поглощает молнию ночная тьма. Нет, он совсем не молодой, думала Джейн. И не старый. Вздрогнув от страха, она поняла, что у него вообще нет возраста. Раньше ей казалось, что борода идет только седым людям; но она просто забыла короля Аргура и царя Соломона, которых так любила в детстве. При имени «Соломон» на нее хлынуло все, что она знала о сверкающем, словно солнце, мудреце, возлюбленном и волшебнике. Впервые за много лет она опутила то, что связано со словами «король» и «царь», — силу, супружество, священство, милость и власть. Она забыла, что немножко сердится на хозяйку и сильно сердится на Марка; забыла свой народ и дом отца своего. Конечно, только на минуту — она сразу пришла в себя, стала нормальной, светской и устыдилась, что так нагло смотрит на незнакомого человека. Но мир ее рухнул, и она это знала. Теперь могло случиться все, что угодно.

— Спасибо, Грейс, — сказал незнакомый человек, и голос его тоже походил на золото и солнце. Ведь золото не только прекрасно, но и весомо; солнце не только играет на уютных английских стенах, оно порождает и убивает жизнь.

— Простите, что не встаю, миссис Стэддок, — сказал человек. — У меня болит нога.

И Джейн услышала, что отвечает мягко и чисто, как мисс Айронвуд:

— Пожалуйста, сэр.

Она хотела беззаботно поздороваться, чтобы замаять свою неловкость, но сказала почему-то эти слова. Потом она поняла, что сидит у тахты. Она дрожала, ее почти трясло, она надеялась, что не разрыдается, и сможет говорить, и не сделает какой-нибудь глупости. Мир ее рухнул, и случиться могло все.

— Остаться мне, сэр? — спросила мисс Айронвуд.

— Нет, Грейс, — сказал золотобородый. — Не надо. Спасибо. «Вот оно, — думала Джейн, — сейчас, сейчас, сейчас...»

Он мог спросить что угодно, и она могла что угодно сделать, только сопротивляться не могла и знала, что не может.

2

Несколько минут она не понимала, что он говорит, — не от рассеянности, а от предельной сосредоточенности. Каждая его интонация, каждый жест, каждый взгляд поражали ее (нет, как могла она подумать, что он молод?), и она поняла, что совсем оглохла, только тогда, когда он умолк, ожидая ответа.

— Простите, — выговорила она, надеясь, что не очень краснеет.

— Я благодарил вас, — сказал он, — за великую помощь. Мы понимали, что здесь, в Англии, произойдет одно из самых опасных покушений на человеческий род. Мы догадывались, что институт с этим связан. Но мы знали не все. Мы не знали, что он играет главную роль. Вот почему ваши вести так важны. Но они же ставят нас перед трудностью. Она связана с вами. Мы надеялись, что вы к нам присоединитесь... станете одной из нас...

— А разве нельзя? — спросила Джейн.

— Трудно, — ответил он. — Ваш муж — в Бэлбери.

Джейн чуть не сказала: «Он в опасности?» — но поняла, что беспокоится не за Марка и вопрос этот будет лживым. Прежде она не знала таких укоров совести.

— Вы не можете мне доверять? — спросила она.

— Ни я, ни вы, ни ваш муж не сможем доверять друг другу.

Джейн рассердилась, но не на него, а на Марка.

— Я сделаю то, что сочту правильным, — сказала она. — Если Марк... если мой муж неправ, я не обязана с ним соглашаться.

— Вам так важно, что правильно? — спросил хозяин дома, и она снова покраснела, догадавшись, что это ей не особенно важно. — Конечно, — продолжал он, — дела могут повернуться так, что вы получите право прийти к нам без его ведома и даже против его воли. Это зависит от того, как велика опасность — и для всех нас, и для вас.

— Я думала, опасней некуда, — сказала она.

— Не знаю, — улыбнулся он. — Я не вправе идти на крайние средства, пока не уверен, что другого выхода нет. Иначе мы стали бы как они — делали бы все, что угодно, думая, что когда-то кому-то это принесет какую-то пользу.

— Кому же повредит, если я буду здесь? — спросила Джейн.

Хозяин не ответил прямо.

— Наверное, вам нужно уйти, — сказал он. — Во всяком случае, сейчас. Скоро вы увидите мужа. Попробуйте еще раз вырвать его из ГНИИЛИ.

— Как же я могу? — спросила Джейн. — Что я ему скажу? Он только посмеется. Он не поверит всему этому, про человеческий род. — И сразу добавила: — Вы думаете, я хитрю? Нет, скажите, хитрю я?

— Ничуть, — сказал он. — А говорить ему ничего не надо. Ни обо мне, ни о ком из нас. Наша жизнь — в ваших руках. Просто попробуйте убедить его. Вы же все-таки его жена.

— Марк никогда меня не слушает, — сказала Джейн. Оба они думали так друг о друге.

— Может быть, — сказал хозяин, — вы никогда толком не просили. Разве вам не хочется спасти его, как себя?

Этого вопроса Джейн не слышала. Теперь, когда остаться было нельзя, она совсем пала духом.

Не внемля внутреннему комментатору, который уже не раз вмешивался в беседу, показывая ей в новом свете ее слова и поступки, она быстро заговорила:

— Не прогоняйте меня. Дома я все время одна, я вижу страшные сны. Мы с Марком вообще мало бываем вместе. Мне очень плохо. Ему все равно, здесь я или нет. Он бы только посмеялся. Зачем портить мне всю жизнь из-за того, что он связался с мерзавцами? Неужели вы думаете, что замужняя женщина не принадлежит сама себе?

— А сейчас вам плохо? — спросил хозяин, и Джейн ответила было «да», но вдруг увидела правду. Не думая о том, что думает о ней он, она сказала: — Нет. — И только потом прибавила: — Но мне будет хуже, чем раньше, если я вернусь домой.

— Будет?

— Не знаю. Нет, не будет.

Она ощущала лишь мир и радость, ей было так удобно в кресле, цвета так сияли, комната была так красива.

Вдруг она подумала: «Сейчас это кончится, сейчас он позовет ее и меня прогонят».

Ей казалось, что вся ее жизнь зависит от того, что она скажет.

— Неужели это нужно? — начала она. — Я смотрю на брак иначе. Я не понимаю, почему все зависит от мужа... он ведь не разбирается в таких делах.

— Дитя мое, — сказал хозяин, — речь идет не о том, как вы или я смотрим на брак, а о том, как смотрят на него мои повелители.

— Мне говорили, что они старомодны...

— Это была шутка. Они не старомодны, хотя и очень, очень стары.

— А им неважно, как мы с Марком понимаем брак?

— Да, неважно, — сказал хозяин со странной улыбкой. — Они вас не спросят.

— Им все равно, удался наш брак или нет? Люблю ли я мужа?

Собственно, Джейн хотела спросить не это, во всяком случае — не так жалобно; и она прибавила, сердясь на себя и пугаясь его:

— Наверное, вы скажете, что я не должна вам это говорить.

— Дитя мое, — снова сказал он, — вы говорите мне это с тех самых пор, как мы упомянули вашего мужа.

— Так что ж, это неважно? — снова спросила она.

— Мне кажется, — отвечал он, — это зависит от того, почему он утратил вашу любовь.

Джейн молчала. Правды она сказать не могла, да и сама ее не знала, но в душе ее вдруг возникли стыд за себя и жалость к Марку.

— Виноват не только он, — проговорила она. — Наверное, нам не надо было жениться.

Теперь не отвечал хозяин.

— Что бы вы... что бы эти ваши люди сказали мне? — спросила Джейн.

— Вы действительно хотите знать? — в свою очередь спросил хозяин.

— Очень хочу.

— Они сказали бы так: многие грешат против послушания, ибо любят мало, а вы утратили любовь, греша против послушания.

Раньше она рассердилась бы или рассмеялась, но сейчас слово «послушание» окутало ее, как странный, опасный, соблазнительный запах. Однако Марк тут был ни при чем.

— Прекратите! — резко сказал хозяин.

Она растерянно глядела на него. Запах уходил.

— Так вы говорили, дитя мое?... — сказал он как ни в чем не бывало.

— Я говорила, что любовь — это равенство, свободный союз...

— Ах, равенство! — сказал хозяин. — Мы как-нибудь об этом поговорим. Конечно, все мы, падшие люди, должны быть

равно ограждены от себялюбия братьев. Точно так же все мы вынуждены прикрывать наготу, но наше тело ждет того славного дня, когда ему не нужна будет одежда. Равенство — еще не самое главное.

— А я думала, самое,— сказала Джейн.— Ведь люди, в сущности, равны.

— Вы ошибались,— серьезно сказал он.— Именно по сути своей они не равны. Они равны перед законом, и это хорошо. Равенство охраняет их, но не создает. Это — лекарство, а не пища.

— Но ведь в браке...

— Никакого равенства нет,— сказал хозяин.— Когда люди друг в друга влюблены, они о нем и не думают. Не думают и потом. Что общего у брака со свободным союзом! Кто вместе радуется чему-то или страдает от чего-то — союзники; кто радуется друг другу и страдает друг от друга — нет. Разве вы не знаете, как стыдлива дружба? Друг не любит своего друга, ему было бы стыдно.

— А я думала...— начала было Джейн и остановилась.

— Знаю,— сказал хозяин.— Вы не виноваты. Вас не предупредили. Никто никогда не говорил вам, что послушание и смирение необходимы в супружеской любви. Именно в ней нет равенства. Что же до вас, идите домой. Можете к нам вернуться. А пока поговорите с мужем, и я поговорю с теми, кому подвластен.

— Когда они к вам придут?

— Они приходят, когда хотят. Но мы с вами слишком торжественно беседуем. Лучше я покажу вам умилительную и смешную сторону послушания. Вы не боитесь мышей?

— Кого? — удивилась Джейн.

— Мышей.

— Нет,— растерянно отвечала она.

Он позвонил в колокольчик, и почти сразу явилась Айви Мэггс.

— Принесите мне завтрак, пожалуйста,— сказал он.— Вас покормят внизу, дитя мое, и посущественней. Но можете посмотреть, как я ем. Я покажу вам одну из радостей нашего дома.

Айви Мэггс вернулась с подносом, на котором был бокал, маленькая бутылка и хлебец. Поставив поднос на столик у тахты, она ушла.

— Видите,— сказал хозяин.— Но это очень вкусно.— Он отломил себе хлеба, налил вина и смахнул крошки на пол.— Теперь сидите тихо, Джейн.

Он вынул из кармана серебряный свисток и тихо просвистел одну ноту. Джейн сидела не шевелясь, пока комната наполнялась весомым молчанием; потом она услышала шорох и увидела, что три толстые мыши прокладывают путь сквозь ворс ковра. Когда они подошли ближе, она различила блеск их глазок и даже трепетанье носиков. Хотя она сказала, что не боится мышей, ей стало неприятно, и она с трудом заставила себя сидеть все так же тихо. Именно поэтому она и увидела впервые мышью как она есть — не какое-то мелькание, а маленького зверька, похожего на крохотного кенгуру, с нежными ручками и прозрачными ушками. Все три сидели на задних лапах, бесшумно подбирая крошки, а когда съели, что могли, хозяин свистнул снова, и они, взмахнув хвостами, юркнули за ящик для угля.

— Вот,— сказал хозяин, весело глядя на Джейн («Нет, как же я могла подумать, что он старый!..».)— Все очень просто: людям надо убирать крошки, мыши рады убрать их, тут и ссориться не из-за чего. Видите, послушание — скорее танец, чем палка, особенно когда речь идет о мужчине и женщине; то он ее слушается, то она его.

— Какие же мы для них великаны!..— невпопад сказала Джейн, думая о мышях; но вдруг поняла, что думает именно о великанах и даже ощущает их рядом. Какие-то огромные существа приближались к ней. Ей стало трудно дышать, ее покинули и силы, и чувства. В поисках защиты она взглянула на хозяина и увидела, что он маленький, как она. Вся комната была маленькой, словно мышинная норка, и потолок как-то накренился, будто надвигающаяся громада сдвинула его. Сквозь страх Джейн слышала заботливый голос.

— Скорей! — говорил он.— Уходите! Здесь не место таким, как мы, но я привык. Ступайте домой!..

Когда Джейн покинула деревушку на холме и спустилась к станции, она увидела, что туман рассасывается и там. В нем открылись окна, и, когда поезд двинулся, он то и дело нырял в озера предвечернего света.

В дороге ее душа так расслоилась, что можно было насчитать целых три или четыре Джейн.

Первая Джейн вспоминала каждое слово хозяина и каждый его взгляд. Небольшой набор современных идей, составлявший до сих пор выделенную ей долю мудрости, смыло потоком чувств, которых она не понимала и не могла сдержать. Вторая Джейн пыталась сдержать его и на первую глядела косо, ибо всегда недолюбливала таких женщин. Однажды, выйдя из кино, она слышала, как молоденькая продавщица говорит подружке: «Если бы он на меня так посмотрел, я бы пошла за ним куда хочешь». Была ли права вторая Джейн, приравнивая к ней Джейн-первую, мы не знаем; но она приравнивала и вынести этого не могла. Нет, сдаться, как дура, при первом же слове какого-то чужого человека, забыть о своем достоинстве (и самой того не заметить), о своей свободе, которую она так ценила и даже считала главным для взрослой, уважающей себя, умной женщины... это попросту низко, пошло, вульгарно.

Третья Джейн была совсем новой. Первая, с грехом пополам, существовала в детстве, вторую Джейн считала «своим истинным, нормальным я». О третьей она и не подозревала. Из неведомых источников благодати или наследственности ей являлись мысли, которые она до сих пор никак не связывала с реальной жизнью. Если бы они подсказывали ей, что нельзя так относиться к чужому мужчине, она бы еще поняла; но они, наоборот, обвиняли ее в том, что она не относится так к своему мужу. То, что она испытала недавно — жалость к Марку, вину перед ним, — не покидало ее. В тот самый час, когда душа ее была полна другим мужчиной, из неведомых глубин поднималось решение дать Марку много больше, чем прежде. Ей даже казалось, что она тем самым даст что-то «ему». Все это было так

странно, что чувства ее мешались, и верх то и дело брала четвертая Джейн, не прилагая к тому усилия и не делая выбора.

Четвертая Джейн просто радовалась. Три других не могли с нею сладить, ибо она вошла в сферу Юпитера, туда, где свет, песня и пир, здоровье и жизнь, сиянье и пышность, веселье и великолепие. Она едва помнила странные чувства, предшествовавшие ее уходу, и радовалась, что ушла. Подумав об этом, она снова подумала о нем. Все возвращало ее к этой мысли, а значит — к радости. Глядя в окошко на прямые лучи солнца, пронзавшие вершины деревьев, она сравнила их со звуками трубы. Взгляд ее останавливался на кроликах и коровах, и сердце трепетало от праздничной нежности к ним. Ее восхитили несколько фраз старого попугайчика, и она оценила острую и светлую мудрость, крепкую, как лесной орех, и английскую, как меловой холм.

С удивлением подумала она о том, что музыка очень давно ушла из ее жизни, и решила сегодня же вечером послушать Баха. Или нет, она почитает на ночь сонеты Шекспира. Даже голод и жажда радовали ее, и она думала, что сделает дома очень много гренков. Радовала ее и собственная красота — без всякого тщеславия она ощущала (верно ли, неверно), что та распускается волшебной розой. Поэтому незачем удивляться, что, когда ее попугайчик вышел в Кьюр Харди, она встала и посмотрелась в зеркало на стене. Действительно, выглядела она хорошо, на удивление хорошо; но в этой мысли почти не было тщеславия. Краса ее цвела для других. Она цвела для него. Он владел ею так безраздельно, что мог уступать другим, и это было выше, полнее, радостней, чем если бы он оставил ее себе.

Когда поезд прибыл в Эджстоу, Джейн решила, что не пойдет на автобус и с удовольствием прогуляется до Сэндауна. Но что же это? Платформа, всегда пустая в это время, кишела народом, как лондонский вокзал в пятницу. Она едва протиснулась сквозь толпу. Люди двигались во все стороны, грубили, сердились, толкались. «Садись обратно в поезд!» — орал кто-то. «Гони отсюда, если не едешь!» — ревел другой. «Какого черта?» — рычал третий над самым ее ухом, потом запричитала жен-

щина: «Ой, господи, господи, что творится!..» С улиц несся страшный шум, как с футбольного стадиона. Было светлее, чем обычно.

4

Через несколько часов перепуганная и усталая до смерти Джейн шла по незнакомой улочке под охраной институтских и каких-то девиц. До этого она двигалась так, как двигается человек, которого то и дело отбрасывает приливом. По Уоррик-стрит пройти не удалось — там громили лавки и что-то жгли. Джейн пошла в обход, но и здесь было то же самое. Она решила сделать петлю побольше, но опять ничего не вышло. Наконец она увидела, что на Боун-лейн пусто и тихо. Больше деваться было некуда. Почти сразу ее остановили институтские полисмены — на них она натыкалась повсюду, кроме тех мест, где шли самые беспорядки. «Здесь хода нет», — сказали они. Потом они отвернулись. Было темно, Джейн совсем вымоталась и попробовала проскочить. Они ее схватили. Вот почему она оказалась в ярко освещенной комнате перед женщиной в форме, стриженной, седой, с большим квадратным лицом. Все было перевернуто, словно полицейские ворвались в чей-то дом и превратили его в участок. Женщина жевала незажженную сигару и не проявляла интереса, пока Джейн себя не назвала. Тогда она посмотрела ей в лицо. Джейн очень устала и перепугалась, но гут ощутила что-то новое: лицо этой женщины было ей мерзко, как бывали мерзки в ранней юности лица толстых мужчин с похотливыми глазками и липкой улыбкой. Оно было до ужаса бесстрастно и до ужаса атчно. Джейн видела, что женщина что-то подумала, потом отказалась от этой мысли, потом ее приняла и зажгла свою сигару. Если бы Джейн знала, как редко мисс Хардкасл это делает, она бы испугалась еще сильнее. Полицейские и девицы это знали. Сама атмосфера в комнате изменилась.

— Джейн Стэддок, — сказала Фея. — Я про вас, миленькая, все знаю. Мы с вашим мужем большие друзья. — Говоря это,

она писала на зеленом листе бумаги.— Так, так,— снова заговорила она.— Скоро вы его увидите. Мы вас подбросим в Бэл-бери. Теперь такой вопрос. Что вы тут делали в ночное время?

— Я шла со станции.

— А где вы были, лапочка?

Джейн не ответила.

— Мужа нет, а она гуляет,— сказала мисс Хардкасл.

— Отпустите меня, пожалуйста,— сказала Джейн.— Уже очень поздно, я устала. Мне надо домой.

— Так вы же не домой,— сказала Фея.— Вы с нами, в Бэл-бери.

— Мой муж меня туда не звал.

Мисс Хардкасл покачала головой:

— Ах, какой! Нехорошо, нехорошо. Ну, мы вас подбросим.

— Я не совсем понимаю.

— А мы вас арестовали,— сказала мисс Хардкасл и положила перед Джейн зеленую бумагу. Джейн увидела то, что и видишь, глядя на документ,— какие-то пункты, что-то заполнено, что-то нет, где-то карандашные пометки, где-то твое собственное имя, а понять ничего нельзя.

— Господи! — вскричала Джейн и кинулась к двери. Конечно, она до нее не добежала. Придя в себя, она заметила, что ее держат двое полицейских.

— Пылкая дамочка! — игриво сказала мисс Хардкасл.— Ну, мы выгоним нехороших дядей...— Она что-то приказала, полисмены вышли и закрыли за собой дверь. Тут Джейн почувствовала, что у нее нет уж совсем никакой защиты.

— Так,— сказала мисс Хардкасл двум девицам в форме.— Посмотрим, посмотрим. Четверть первого... там все идет хорошо. Что ж, Дэзи, можно и передохнуть. Крепче, Китти, вывется! Вот так.

Говоря это, мисс Хардкасл сняла ремень, китель и бросила их на диван. Перед Джейн предстал могучий бюст (как и полагал Яшер, лифчика она не носила), рыхлый, уродливый, едва прикрытый — такое мог бы изобразить сошедший с ума Ру-

бенс. Фея снова села, вынула изо рта сигару, выпустила дым в лицо своей жертве и спросила ее:

— Откуда ехала?

Джейн не ответила и потому, что не могла произнести ни слова, и потому, что знала теперь точно: это и есть те враги рода человеческого, о которых говорил он, и отвечать им нельзя. Героиней она себя при этом не чувствовала. Все стало для нее нереальным, и она словно в полусне слышала приказ: «Лапочки, давайте-ка ее сюда». Как в полусне, она видела, что мисс Хардкасл сидит на стуле, словно в седле, широко расставив обтянутые сапогами ноги. Девицы ловко и умело поставили ее между этими ногами, и мисс Хардкасл свела колени, зажав таким образом пленницу. Рядом с этой люлоедкой было так страшно, что Джейн уже совсем не боялась за себя. Мисс Хардкасл долго глядела на нее и курила ей в лицо. Потом сказала:

— А она ничего.

Потом помолчала опять, потом спросила:

— Куда ездил?

Джейн глядела на нее и не отвечала. Мисс Хардкасл наклонилась, отодвинула ворот блузки и прижала к обнажившемуся плечу свою сигару. Потом помолчала опять, потом спросила:

— Где была?

Сколько раз это повторялось, Джейн не помнила. Во всяком случае, настало время, когда мисс Хардкасл обратилась не к ней, а к одной из девиц:

— Чего тебе, Дэзи?

— Я хочу сказать, мэм, уже пять минут второго.

— Да, летит время... Ну и что? Она у нас легонькая. Устала?

— Нет, мэм, спасибо. Вы сами сказали, мэм, что ровно в час вас ждет капитан О'Хара.

— О'Хара? — сонно повторила мисс Хардкасл и вдруг очнулась. Она вскочила, надела китель. — Ну и ну! — причитала она. — И дуры вы у меня! Что раньше не сказали?

— Боялись, мэм.

— Боялись они! А для чего вы тут, интересно?

— Вы не любите, когда вам мешают, мэм.

— Ладно, разговорились! — крикнула мисс Хардкасл и ударила свою подчиненную по щеке. — Так. Ее веди в машину. Потом застегнешь, дура. Я сейчас, только морду ополосну.

Через несколько секунд Джейн сидела между Дэзи и Китти. На заднем сиденье помещалась и мисс Хардкасл (оно было на пятерых). Машина двигалась сквозь мрак. «Город объезжай, Джо, — говорил голос мисс Хардкасл. — Там сейчас веселье. Ты задами, задами». Даже и так они время от времени натыкались на толпу. Потом машина вдруг стала. «Ты чего?!» — крикнула мисс Хардкасл. Шофер только сопел и что-то дергал. «Что это?» — повторила она, и он отвечал: «Не знаю, мэм». — «Хоть за машиной смотреть уметь бы! — сказала мисс Хардкасл. — Да, нолечить бы вас как следует...» Дорога была пуста, но где-то рядом, судя по шуму, была улица, и далеко не мирная. Шофер вылез и открыл капот. «Значит, так, — сказала мисс Хардкасл. — Вы обе ловите машину. Не словите, через десять минут идите обратно. Живо!» Девицы исчезли в темноте. Мисс Хардкасл бранила шофера, шофер копался в моторе. Шум усиливался. Вдруг шофер выпрямился (Джейн увидела в свете фар, как блестит пот на его лице) и сказал:

— А может, хватит? Если вы такая умная, чините сами.

— Ты это брось, Джо, — сказала мисс Хардкасл. — А то сообщу то да се в настоящую полицию.

— Ну и что? — сказал Джо. — Куда ей до вас! Где я только не был, а перед вами — чистые шуточки. Там хоть с тобой как с человеком, и начальник мужчина, не баба.

— Да, Джо, — сказала мисс Хардкасл. — Только теперь ты так легко не отделаешься.

— Вон как? А если и я штучку-другую расскажу?

— Ой, мэм, говорите с ним получше! — завопила бегущая к ним Китти. — Они идут.

И впрямь какие-то люди — по двое, по трое — показались на дороге.

— Тихо, — сказала девицам мисс Хардкасл. — Давай сюда.

Дэзи и Китти вытащили Джейн из машины и быстро поволокли куда-то. Мисс Хардкасл шла впереди. Они свернули с дороги в какую-то аллею.

— Дорогу знаете? — спросила мисс Хардкасл.

— Нет, мэм, — сказала Дэзи.

— Я не здешняя, мэм, — сказала Китти.

— Ну и народец у меня, — сказала мисс Хардкасл. — Хоть что-нибудь вы знаете?

— Тут вроде нет пути, мэм, — сказала Китти.

Действительно, они зашли в тупик. Мисс Хардкасл постояла с минуту. В отличие от своих девиц, она казалась не испуганной, а приятно возбужденной, и ее даже забавляло, что они так трясутся.

— Да, — сказала она, — ночка что надо. Сама жизнь, а, Дэзи? И чего эти дома пустые? Закрыты все. Лучше нам стоять где стоим.

Шум усилился, и было видно, что большая толпа движется куда-то к западу. Вдруг крики стали совсем дикими.

— Поймали Джо, — сказала мисс Хардкасл. — Если он перерет, он их натравит на нас. Так. Значит, ее отпустим. Чего трясешься, дура? Беги. Бежим поодиночке. Через толпу мы пройдем, головы не теряйте. Что бы ни было, не стрелять. От развилки идите на Биллингэм. Ну-ну-ну! Меньше крику, скорее увидимся.

И она исчезла. Джейн видела, как она нырнула в толпу. Девицы поколебались и пошли за ней. Джейн села на ступеньку. Ожоги болели, но больше ее мучила усталость. Кроме того, ей было очень холодно и немножко мутило. Но усталость была хуже всего, просто хоть засни.

Джейн встряхнулась. Кругом было тихо, она совсем замерзла, болели ноги и руки.

«Кажется, я и впрямь уснула...» — подумала она.

Она встала, распрямилась и пошла по пустынной аллее шоссе. Там был только один человек в железнодорожной форме. «Доброе утро, мисс», — сказал он на ходу. Она постояла и пошла направо. Убегая, Дэзи и Китти швырнули ей пальто, в кармане было полплитки шоколада, она жадно откусила кусок. Когда она доедала шоколад, мимо проехала машина и остановилась.

— Вас не ранили? — спросила женщина.

— Нет... ничего... не знаю... — глупо отвечала Джейн.

Мужчина поглядел на нее и вышел.

— Что-то вы мне не нравитесь, — сказал он. — Вам не плохо? — и спросил о чем-то женщину. Джейн казалось, что она очень давно не слышала доброго, даже нормального голоса, и она чуть не заплакала. Незнакомые люди усадили ее в машину, дали ей бренди и бутерброд, потом спросили, не подвезти ли ее домой. Где она живет? К своему удивлению, Джейн услышала, что говорит: «В Сэнт-Энн». — «Вот и прекрасно, — сказал мужчина, — мы в Бирмингем, как раз по дороге». Джейн опять заснула и проснулась лишь тогда, когда женщина в пижаме, Айви Мэгс, открывала ей дверь. Но она так устала, что не помнила, как добралась до кровати.

Глава VIII

ЛУНА НАД БЭЛБЕРИ

1

— Меньше всего на свете, мисс Хардкасл, — сказал Уизер, — я хотел бы вмешиваться в ваши... э-э-э... частные развлечения. Но помилуйте!..

Едва начался рассвет, однако и. о. был в обычном своем виде, только еще не брился. Быть может, он просидел в кабинете всю ночь, но тогда оставалось неясным, почему в кабинете нет огня. Оба они — и Уизер, и Фея — стояли у холодной черной решетки.

— Куда она денется? — сказала Фея. — Возьмем в другой раз. А попытка, знаете, не пытка. Если бы я вытянула, где она была... мне бы еще минутку-другую... Может, это как раз ихний штаб. Всех бы сразу и накрыли.

— Обстоятельства вряд ли располагали... — начал Уизер, но она его перебила:

— У нас, миленький, время в обрез. Фрост жалуется, что ему трудно, это... входить в контакт с ее сознанием. По вашим ме-

тапсихологиям, или как их там, это значит, что она попадает под чужую власть. Сами же говорили! Хороши мы будем, если он потеряет контакт, пока я его не наладила!

— Мне всегда интересны... э-э-э... ваши взгляды,— сказал Уизер.— Я глубоко ценю их... э-э-э... самобытность... не всегда уместную, прибавим... но существуют предметы, которые не совсем входят в вашу... э-э-э... компетенцию. Ваш профессиональный опыт, если можно так выразиться, иного порядка... На этой фазе мы ареста не планировали. Я опасаясь, как бы нашему главе не показалось, что мы вторглись в несколько чужую область. Я никак не хочу сказать, что я разделяю это мнение. Но все мы согласны в том, что самовольные действия...

— Бросьте, Уизер! — сказала Фея, присаживаясь на край стола.— Я вам не Стал и не Стоун. Сама не маленькая. Так что гибкость оставим. Какой случай, прямо вышла на девочку! Не взяла бы я ее, сами бы молולי про отсутствие инициативы... Пугать меня нечего, все мы повязаны, пропадем — так вместе. А пока не пропали, хороши бы вы были без меня. Девочку сцапать надо? Надо.

— Но не таким же способом! — сказал Уизер.— Мы всегда избегали какого бы то ни было насилия. Если бы арест мог обеспечить... э-э-э... расположение и сотрудничество миссис Стэддок, мы бы не утруждали себя общением с ее супругом. Но если мы даже предположим (гипотетически, конечно), что вашим действиям можно найти оправдание, дальнейшие ваши поступки не выдерживают, как мне это ни прискорбно, и малейшей критики.

— Что я, знала про эту чертову машину?

— Боюсь,— сказал Уизер,— что глава не сочтет инцидент с машиной единственным вашим промахом. Поскольку интересующее нас лицо оказалось пусть слабое, но сопротивление, вряд ли имело смысл прибегать к использованным вами методам. Вы прекрасно знаете, что я везде и всегда стою за полнейшую гуманность. Такие взгляды, однако, вполне допускают применение более решительных средств. Умеренная боль, которую выдержать можно, попросту бессмысленна. Не в ней, нет, не в ней доброта к... э-э... пациенту. Мы предоставили в ваше рас-

поряжение более научные, более цивилизованные средства, способствующие принудительному исследованию. Я говорю неофициально, мисс Хардкасл, и ни в малейшей мере не рещуь предвосхищать реакцию главы. Но я бы изменил своему долгу, если бы не напомнил вам, что не впервые слышу о вашей склонности к... э-э-э... некоторому эмоциональному возбуждению во время работы, которое отвлекает вас от прямых обязанностей.

— А вы найдите кого-нибудь на такое дело,— хмуро откликнулась Фея,— чтоб он еще и пользы не имел!

Уизер взглянул на часы.

— Ладно,— сказала Фея.— На что я сейчас голове? Всю ночь на ногах, могу я хоть выкупаться и пожевать?

— Путь долга,— сказал и. о.,— не бывает легким. Надеюсь, вы не забыли, что у нас особенно высоко ценится пунктуальность.

Мисс Хардкасл встала и потерла руками лицо.

— Выпью-ка я раньше,— сказала она.

Уизер умоляюще воздел руки.

— А вы не опасаетесь, что глава... э-э-э... ощутит запах? — спросил он.

— Бросьте, Уизер, иначе не пойду,— сказала Фея.

Он открыл шкаф и налил ей виски. Потом оба они вышли и шли долго, в другую часть здания. Всюду было темно, мисс Хардкасл освещала фонариком сперва коридоры, увешанные картинками и устланные коврами, потом — коридоры беленые, устланные линолеумом. Сапоги ее ступали тяжело, шлепанцы Уизера скользили бесшумно. Наконец они достигли освещенных мест, где пахло животными и химией, сказали какие-то слова в какую-то дырку, и им открыли дверь. Встретил их Филострада в белом халате.

— Входите,— сказал он,— вас ждут.

— Он что, ругается? — сказала мисс Хардкасл.

— Ш-ш!.. — сказал Уизер.— Во всяком случае, моя дорогая, о нем не следует говорить в подобном тоне. Он столько перенес... положение его так исключительно...

— Идите скорей, — сказал Филострато. — Одевайтесь, мой-тесь, идите.

— Стоп, — сказала Фея. — Минуточку.

— Что такое? — сказал Филострато.

— Сейчас сблкую.

— Здесь нельзя, — забеспокоился итальянец. — Возвращайтесь к себе. Нет, я сперва вам сделаю укол.

— Ладно, все, — сказала мисс Хардкасл. — Не такое видела.

— Тише, прошу вас, — сказал Филострато, — не открывайте вторую дверь, пока мой ассистент не закроет за вами первую. Говорите лишь самое необходимое. Даже не отвечайте «да». Глава поймет, если вы согласны. Не делайте резких движений, не подходите близко, не кричите, а главное — не спорьте. Идем.

2

Давно взошло солнце, когда Джейн, еще в полусне, ощутила непонятную радость. Она открыла глаза, на кровать падал утренний зимний свет.

«Теперь меня не выгонят», — подумала она.

Немного позже вошла Айви Мэггс, принесла завтрак, растопила камин. Джейн присела в кровати и посмотрела на ожоги, алевшие сквозь слишком широкую для нее ночную рубашку. Айви Мэггс вела себя как-то иначе. «А хорошо, что мы обе здесь!» — сказала она, словно они связаны теснее, чем Джейн казалось. Вскоре пришла и мисс Айронвуд. Она осмотрела ожоги и сказала, что позже, днем, можно будет встать. «А пока полежали бы, миссис Стэддок. Что вы хотите почитать? У нас книг много». Джейн попросила «Мэнсфилд-парк», сказки Макдональда и сонеты Шекспира. Когда их принесли, она заснула опять.

Часа в четыре Айви Мэггс посмотрела, как она, и Джейн сказала, что хочет встать. «Хорошо, — сказала Айви, — сейчас я вам чаю принесу. Ванная тут рядом, только там мистер Бульгиттюд. Целый день сидит, когда холодно! Лентяй он у нас... Ничего, я его выгоню».

Когда она ушла, Джейн решила встать, надеясь, что и сама договорится с эксцентричным Бультитьюдом. Ей казалось, что сейчас, сразу, ее ждут веселые приключения. Она надела калат, взяла полотенце и направилась к ванной; так что через минуту, подымаясь по лестнице, Айви Мэггс услышала крик и увидела, как бледная Джейн выскакивает в коридор.

— Ах ты, господи! — сказала она. — Ну, ничего, мы сейчас, — и, поставив на площадку поднос, двинулась к двери.

— Он вас не тронет? — спросила Джейн.

— Да что вы! — сказала Айви. — А вот слушается плохо. Если бы мисс Айронвуд или хозяин, это другое дело.

Она открыла дверь. Рядом с ванной, пыхтя и сопя, сидел огромный бурый медведь с крохотными, словно бусинки, глазками. Айви долго упрекала его, охала, просила, толкала, даже шлепала, и наконец, подняв тяжелое тело, он медленно вышел.

— Пошел бы погулял, — сказала ему Айви. — Ох ты, ох ты, как стыдно! Сидишь тут, людям мешаешь!.. Вы его не бойтесь, миссис Стэддок. Он у нас смиренный. Погладить себя даст. Иди, иди, поздоровайся!

Джейн нерешительно протянула руку, но мистер Бультитьюд был не в духе и прошел мимо. Шагах в десяти он тяжело сел на пол. Зазвенели чашки, ложечки, поднос, еще стоявшие на полу, и все, кто был на первом этаже, узнали, что медведь присел отдохнуть.

— А не опасно держать его в доме? — спросила Джейн.

— Миссис Стэддок, — торжественно сказала Айви, — если бы хозяин завел тигра, мы бы не боялись. Такой уж он со зверями. Да и с нами. Поговорит — и больше тебе никто и не нужен. Вот увидите.

— Не отнесете ли вы чай ко мне? — сказала Джейн и пошла в ванную.

— Хорошо, — сказала Айви Мэггс, стоя в открытых дверях. — Вы бы и при нем купаться могли... только большой он, совсем как человек... не знаю, пристойно ли...

Джейн попросила ее закрыть дверь.

— Ну, мойтесь на здоровье, — сказала Айви, не двигаясь.

— Спасибо, — сказала Джейн.

— У вас все есть? — спросила Айви.

— Спасибо, все, — сказала Джейн.

— Тогда я пойду, — сказала Айви, но снова обернулась. — Мы в кухне — и матушка, и я, и все.

— Миссис Димбл сейчас дома? — спросила Джейн.

— Мы ее матушкой зовем, — сказала Айви. — И вы зовите. Ничего, вы к нашим делам привыкнете. Не очень размывайтесь, чай остынет. И в ванну не лезьте, ранки не заживут. Ну, я пошла.

Когда Джейн помылась, послала, оделась и причесалась как можно тщательней, хотя зеркало и щетки оказались не очень хорошие, она пошла по дому туда, где были люди. В коридоре стояла ни с чем не сравнимая тишина — та самая, что стоит наверху в больших усадьбах зимним днем. Джейн дошла до развилки и услышала странный звук: поб-поб-поб-поб. Взглянув направо, она увидела, что в конце другого коридора, у окна, мистер Бультитьюд, на задних лапах, задумчиво ударяет по большому мячу то одним кулаком, то другим. Она свернула налево и вышла на галерею, откуда лестница вела в большой холл, освещенный и дневным светом, и пламенем камина. Если спуститься туда, поняла она, и подняться снова, по другой лестнице, попадешь к хозяину. Отсюда была видна, хотя и в тени, та часть второго этажа, от нее веяло величием, и Джейн спустилась в холл почти на цыпочках, вспоминая впервые, что было с ней в синей комнате. Из холла она спустилась еще на две ступеньки, пошла по коридору мимо чучела в стеклянном футляре, мимо старинных часов и, ориентируясь на голоса, вышла в кухню.

В большом очаге горел огонь, освещая миссис Димбл, которая сидела в кресле и, по-видимому, чистила овощи. Айви Мэггс и Камилла делали что-то у плиты (должно быть, очагом не пользовались), а в других дверях стоял, вытирая руки, высокий полуседой человек. Вероятно, он только что вошел из сада.

— Идите к нам, Джейн, — радушно сказала миссис Димбл. — Сегодня мы не ждем от вас работы. Посидите тут с нами, поболтаем. Это мистер Макфи, хотя сегодня не его день. Пускай он лучше сам представится.

Мистер Макфи вытер наконец руки, бережно повесил полотенце за дверь, подошел и не без учтивости поклонился. Джейн протянула ему руку. У него рука была большая, шершавая, а лицо — умное и худое.

— Рад вас видеть, миссис Стэддок, — сказал он.

— Не верьте ему, Джейн, — сказала миссис Димбл. — Он тут ваш первый враг. Снам вашим не верит.

— Миссис Димбл! — сказал Макфи. — Я неоднократно объяснял вам разницу между субъективным доверием и научной достоверностью. Первая относится к психологии...

— ...а от второй просто жизни нет, — сказала миссис Димбл.

— Это неправда, миссис Стэддок, — сказал Макфи. — Я очень рад вам. Мои личные чувства никак не связаны с тем, что я требую строго научных опытов, которые подтвердили бы гипотезу относительно ваших снов.

— Конечно, — неуверенно, даже растерянно сказала Джейн, — вы имеете полное право на собственное мнение...

Женщины засмеялись, а Макфи ответил, перекрывая голосом смех:

— Миссис Стэддок, у меня нет мнений. Я устанавливаю факты. Если бы на свете было поменьше мнений, — он поморщился. — меньше бы говорили и печатали глупостей.

— А кто у нас больше всех говорит? — сказала Айви Мэггс. Джейн удивилась: Макфи не реагировал. Он вынул оловянную табакерку и взял понюшку табаку.

— Чего вы тут топчетесь? — спросила Айви Мэггс. — Сегодня день женский.

— Вы мне чаю не оставили? — спросил Макфи.

— Надо вовремя приходить, — сказала Айви, и Джейн подумала, что она говорит с ним точно так же, как с медведем.

— Занят был, — сказал Макфи, садясь к столу. — Полон сельдерей. Где-где, а в огороде женщине не разобраться.

— Что такое «женский день»? — спросила Джейн.

— У нас нет слуг, — отвечала матушка Димбл, — мы сами все делаем. Один день — женщины, другой — мужчины. Простите? Нет, это очень разумно. Он считает, что мужчины и жен-

щины не могут хозяйничать вместе, поссорятся. Конечно, мы в мужской день не слишком придираемся, но вообще все идет хорошо.

— С чего же им ссориться? — спросила Джейн.

— Разные методы, дорогая. Мужчина не может помогать. Сам он хозяйничать может, а помогать — нет. А если помогает, сердится.

— Сотрудничество разнополых лиц, — сказал Макфи, — затрудняет главным образом то, что женщины не употребляют существительных. Если вместе хозяйничают мужчины, один попросит: «Поставь эту миску в другую, побольше, которая стоит на верхней полке буфета». Женщина скажет: «Поставь вот это в то, вон туда». Если же вы спросите, куда именно, она ответит: «Ну, туда!» — и рассердится.

— Вот ваш чай, — сказала Айви Мэгтс. — И пирога вам дам, хотя и не заслужили. А поедите, идите наверх, говорите про ваши существительные.

— Не про существительные, а при помощи существительных, — сказал Макфи, но она уже вышла.

Джейн воспользовалась этим, чтобы тихо сказать миссис Димбл:

— Миссис Мэгтс тут совсем как дома.

— Она дома и есть, — отвечала матушка Димбл. — Ей больше негде жить.

— Вы хотите сказать, наш хозяин ее приютил?

— Вот именно. А почему вы спрашиваете?

— Ну... не знаю... Все же странно, когда она зовет вас матушкой. Надеюсь, я не сноб, но все-таки...

— Вы забыли, он и нас приютил. Мы тут тоже из милости.

— Вы шутите?

— Ничуть. И мы и она живем здесь, потому что нам негде жить. Во всяком случае, нам с Айви. Сесил — дело другое.

— А он знает, что она так со всеми разговаривает?

— Дорогая, откуда мне знать, что знает он!

— Понимаете, он мне говорил, что равенство не так уж важно. А у него в доме... весьма демократические порядки.

— Должно быть, он говорил о духовном равенстве, — сказала матушка Димбл, — а вы ведь не считаете, что вы духовно выше Айви? Или же он говорил о браке.

— Вы понимаете его взгляды на брак?

— Дорогая, он очень мудрый человек. Но он — мужчина, да еще и неженатый. Когда он рассуждает о браке, мне все кажется, зачем столько умных слов, это ведь так просто, само собой понятно. Но многим молодым женщинам не вредно его послушать.

— Вы их не очень жалуете, миссис Димбл?..

— Да, может быть, я несправедлива. Нам было легче. Нас воспитывали на молитвеннике и на книжках со счастливым концом. Мы были готовы любить, чтить, повиноваться, и носили юбки, и танцевали вальс...

— Вальс такой красивый, — сказала Айви, которая уже принесла пирог, — такой старинный.

Тут открылась дверь и послышался голос:

— Если идешь, иди!

И в комнату впорхнула очень красивая галка. За нею вошел мистер Бультитюд, за ним — Артур Деннистон.

— Сколько вам говорить, — сказала Айви Мэгтс, — не водите вы его сюда, когда мы обед готовим!

Тем временем медведь, не догадываясь о ее недовольстве, пересек кухню (как он думал — никому не мешая) и уселся за креслом матушки Димбл.

— Доктор Димбл только что приехал, — сказал ей Артур, — он пошел наверх. Вас тоже там ждут, Макфи.

3

Марк спустился к завтраку в хорошем настроении. Все говорили о том, что бунт прошел прекрасно, и он с удовольствием прочитал в утренних газетах свои статьи. Еще приятней ему стало, когда он услышал, как их обсуждают Стал и Коссер. Они явно не знали, что статьи написаны заранее, и не подозревали, кто их написал. У него все шло в это утро как нельзя луч-

ше. Еще до завтрака он перекинулся словом о будущем Эджстоу и с Фростом, и с Феей, и с самим Уизером. Все они считали, что правительство прислушается к голосу народа (выраженному в газетах) и поставит город хотя бы на время под надзор институтской полиции. Введут чрезвычайное положение, дадут кому-нибудь полную власть. Больше всего подошел бы Феверстон. Как член парламента он представляет нацию, как сотрудник Брэктона — университет, как сотрудник института — институт. Словом, в нем слились воедино все стороны, которые иначе могли бы прийти в столкновение; статьи, которые Марк должен был написать об этом к вечеру, напишутся сами собой. Но и это не все. Из разговоров стало ясно, что есть и другая цель: в свое время, когда вражда к институту дойдет до апогея, Феверстоном можно пожертвовать. Конечно, говорилось это туманней и короче, но Марку было совершенно ясно, что Феверстон уже не в самом избранном кругу. Фея заметила: «Что с Дика взять, политик!..» Уизер, глубоко вздохнув, был вынужден признать, что дарования лорда Феверстона приносили больше плодов на ранней стадии его научного пути. Марк не собирался подсаживать его и даже не хотел, чтобы его подсадел кто-нибудь другой; но все это было ему приятно. Приятно было и то, что он (как выражался он про себя) «вышел на Фроста». Он знал по опыту, что везде есть незаметный человек, на котором почти все держится, и было большой удачей даже узнать, кто это. Конечно, Марку не нравилась рыба холодность Фроста и какая-то излишняя правильность его черт, но каждое его слово (а говорил он мало) било в точку, и Марк наслаждался беседами с ним. Вообще, удовольствие от беседы все меньше зависело от приязни к собеседнику. Началось это, когда Марк стал своим среди прогрессистов; и он считал, что это свидетельствует о зрелости.

Уизер был с ним более чем любезен. К концу беседы он отвел его в сторону и отечески спросил, как поживает супруга. Он надеялся, что слухи об ее... э-э-э... нервной дистонии сильно преувеличены.

«И какая сволочь ему сказала?» — подумал Марк.

— Дело в том, — продолжал Уизер, — что, ввиду вашей высокоответственной работы, институт пошел бы на то... э-э-э... ко-

нечно, это между нами... я говорю по-дружески, вы понимаете, неофициально... мы допустили бы исключение и были бы счастливы увидеть вашу супругу среди нас.

До сих пор Марк не знал, что меньше всего на свете он хотел бы увидеть здесь Джейн. Она не поняла бы многих вещей — того, сколько он пьет... ну, словом, всего, с утра до ночи. К своей (и к ее) чести Марк и представить себе не мог, чтобы она услышала хотя бы один из здешних разговоров. При ней самый смех библиотечного кружка стал бы пустым и призрачным, а то, что ему, Марку, представлялось сейчас простым и трезвым подходом, показалось бы ей, а потом и ему цинизмом, фальшью, злопыхательством. Окажись здесь Джейн, Бэлбери обратится в сплошное непотребство, в жалкую дешевку. Марка просто затошнило при одной мысли о том, как он учил бы Джейн умасливать Уизера или подыгрывать Фее. Он туманно извинился, поблагодарил и поскорее ушел.

Позже, днем, Фея подошла к нему и сказала ему на ухо, облокотившись о его кресло:

— Ну, доигрался!

— Что такое? — спросил он.

— Не знаю, что с тобой, но старика ты довести умеешь. Опасные штучки, опасные...

— О чем вы говорите?

— Мы тут сил не жалеем ради тебя, ублажаем его, думали — все. Он уже собирался зачислить тебя в штат. Так нет же, пять минут поговорили — пять минут, это подумать! — и все к чертям. Психический ты, что ли...

— Что же такое случилось?

— Это ты мне скажи! Он про жену не говорил?

— Говорил. А что?

— Что ты ему ответил?

— Чтобы он не беспокоился, ну, поблагодарил, конечно.

Фея свистнула.

— Да,— сказала она, нежно постучав по его голове костяшками пальцев,— напортачил ты здорово. Ты понимаешь, на что он пошел? Такого у нас в жизни не бывало. А ты его отшил.

Он теперь ходит, ноет: «не доверяют мне», «обидели». Ничего, он тебя обидит будь здоров! Раз ты не хочешь ее брать, значит — не прижился у нас, так он понимает.

— Но это же бред какой-то! Я просто...

— Ты что, не мог ему сказать: «Хорошо, вызову»?

— Мне кажется, это мое дело.

— Мало ты по жене скучаешь! А мне говорили, она очень даже ничего.

Тут прямо на них пошел Уизер, и оба они замолчали.

За обедом Марк сел рядом с Филострато — поблизости не было никого из своих. Итальянец был в духе и говорил много. Только что он приказал срубить несколько больших красивых буков.

— Почему вы это сделали, профессор? — спросил его кто-то через стол. — От дома они далеко. Я, скорее, люблю деревья.

— Да, да, — отвечал Филострато. — Садовые деревья красивы. Но не дикие! Лесное дерево — сорняк. Однажды я видел поистине цивилизованное дерево. То было в Персии. Французский атташе заказал его, ибо там скудная растительность. Оно было металлическое. Грубо сделано, примитивно — но если его усовершенствовать? Изготовить из легкого металла, скажем — алюминия. Придать ему полное сходство с настоящим...

— Вряд ли оно будет похоже, — сказал его собеседник.

— Но какие преимущества! Вам надоело, что оно стоит в одном месте, — и двое рабочих перенесут его, куда вы захотите. Оно бессмертно. С него не опадают листья, на нем не вьют своих гнезд птицы, ни сырости, ни мусора, ни мха.

— Вероятно, экземпляр-другой был бы даже забавен...

— Почему же один-другой? Согласен, теперь нам нужны леса ради атмосферы. Но мы найдем химический способ. За чем же тогда лес? По всей земле не будет ничего, кроме искусственных деревьев. Мы очистим планету.

— Вы хотите сказать, — спросил другой ученый, — что растительность не нужна?

— Именно. Брестесь же вы тут, в Англии, — даже каждый день. В свое время мы побреем землю.

— А как же птицы?

— Я не оставил бы и птиц. На искусственном дереве будут сидеть искусственные, заводные птицы. Устали — выключите. Ни перьев, ни гнезд, ни яиц, ни всей этой грязи.

— Так и всякую жизнь уничтожишь! — сказал Марк.

— Безусловно. Гигиена этого требует. Послушайте, друзья мои. Когда вы видите гниющий плод, вы бросаете его, ибо в нем кишит жизнь.

— Интересно... — сказал первый ученый.

— А что вы называете грязью? Не органические ли продукты? Минералы, говоря строго, грязи не порождают. Истинная нечистота происходит от организмов — пот, слюна, прочие выделения. «Нечистое» и «органическое» — синонимы.

— К чему же вы клоните, профессор? — спросил второй ученый. — Мы ведь и сами организмы, в конце концов.

— Именно. В человеке органическая жизнь произвела Разум. Она сделала свое дело. Больше она нам не нужна. Мы больше не нуждаемся в мире, кишашем жизнью, словно его покрыла плесень. И мы избавимся от нее. Конечно, мало-помалу. Мы постепенно постигаем, как этого добиться. Мы учимся поддерживать тело химическими веществами, а не мертвыми животными и растениями. Мы учимся воспроизводить себе подобных без соития.

— Ну, в этом радости мало... — сказал первый ученый.

— Друг мой, вы уже отделили от деторождения то, что вы зовете радостью. Более того, сама ваша радость исчезает. Конечно, вы так не думаете. Но взгляните на ваших женщин. Больше половины фригидны! Видите? Сама природа начинает избавляться от анахронизмов. Когда они окончательно исчезнут, станет возможной истинная цивилизация. Если бы вы были крестьянином, вы бы это поняли. Станет ли кто пахать на быках? Нет, нет, здесь нужны волы. Пока есть пол, порядка не будет. Когда человек отбросит его, человеком можно будет управлять.

Обед кончился, и, вставая из-за стола, Филострато тихо сказал Марку:

— Сегодня в библиотеку не идите. Понятно? Вы в опале. Зайдите ко мне, побеседуем.

Марк пошел за ним, удивляясь и радуясь, что, хотя он в немилости у самого и. о., Филострато остался ему верен. В кабинете, на втором этаже, Марк уселся у камина, но хозяин расхаживал из угла в угол.

— Мне очень неприятно, молодой мой друг,— сказал он,— что вы испортили отношения с Уизером. Надо их уладить, понятно? Если он предлагает вызвать жену, почему вам ее не вызвать?

— Я и не думал,— сказал Марк,— что ему это так важно.

— Это важно не ему,— сказал итальянец.— Этого хочет глава.

— Глава? — удивился Марк.— Так он же подставное лицо! А ему-то зачем моя жена?

— Вы ошиблись,— сказал Филострато,— он никак не подставное лицо.

Тон его был странен. Оба помолчали.

— То, что я говорил за обедом,— сказал наконец профессор,— истинная правда.

— Нет, зачем Джалсу моя жена? — повторил Марк.

— Джалсу? — спросил Филострато.— При чем тут Джалс? Я сказал вам, что за обедом говорил правду. Мы создаем стерильный мир. Чистый разум, чистые минералы, больше ничего. Что унижает человека? Рождение, соитие, смерть. По-видимому, мы сумеем освободить его от всего этого.

Марк стал сомневаться в том, нормален ли Филострато или хотя бы не пьян ли.

— Кстати, жене вашей я не придаю никакого значения,— говорил тот.— Что мне чьи-то жены? Вся эта сфера внушает мне отвращение. Но если ему это важно... Видите ли, друг мой, вся суть в том, собираетесь ли вы стать одним из нас.

— Я не совсем понимаю,— сказал Марк.

— Вы слишком далеко зашли, чтобы остаться в стороне. Вы — у перекрестка, друг мой. Если вы попытаетесь пойти назад, вас ждут неприятности, как этого глупца Хинджеста. Если вы поистине объединитесь с нами, весь мир... что я... вся Вселенная лежит у ваших ног.

— Конечно, я хочу быть с вами, — сказал Марк, все больше волнуясь.

— Глава полагает, что вы не можете быть поистине нашим, если не привезете свою жену. Вы нужны ему целиком, все — или ничего. Везите ее сюда. Она должна быть нашей.

При этих словах Марка словно окатило холодной водой. И все же... все же здесь, сейчас, под взглядом блестящих глазок итальянца он вообще не мог представить себе Джейн.

— Глава скажет это вам, — продолжал Филострато.

— Джалис приехал? — спросил Марк.

Филострато, не отвечая, отдернул гардину и выключил свет. Туман рассеялся, поднялся ветер. Полная луна глядела на них. Казалось, на них катится мяч. Стерильный свет залил комнату.

— Вот он, мир чистоты, — сказал Филострато. — Голый камень, ни травы, ни лишайника, ни пылинки. Даже воздуха нет. Ничто не портится, не гниет. Горный пик — словно пика, острая игла, которая может пронзить ладонь. Под нею — черная тень, в тени — небывалый холод. Если же сделаешь шаг, выйдешь из тени, ослепительный свет режет зрение, словно скальпель, камень обжигает. Вы погибнете, конечно, но и тогда не станете грязью. В несколько секунд вы станете кучкою пепла — чистым, белым порошком. Никакой ветер не развеет его, каждая мельчайшая пылинка останется там до конца света... но это бессмыслица. Вселенной нет конца.

— Да, — сказал Марк, глядя на луну, — мертвый мир.

— Нет! — почти прошептал Филострато, даже прошелестел, хотя обычно голос у него был резкий. — Там есть жизнь.

— Мы это знаем? — спросил Марк.

— О, sì! Разумная жизнь. Внутри. Великая чистая цивилизация. Они очистили свой мир, почти избавились от органической жизни.

— Как же...

— Им не нужно ни рождаться, ни умирать. Только *capaglia* рождается и умирает. Главные живут вечно. Они сохраняют разум, они хранят его живым, а органическое тело заменяют истинным чудом прикладной биохимии. Им не нужна органическая

пища. Вам понятно? Они почти свободны от природы, они связаны с ней тонкой, очень тонкой нитью.

— Вы думаете, — спросил Марк, указывая на луну, — все это сделали они сами?

— Что же здесь странного? Если убрать растительность, не будет ни воздуха, ни воды.

— Зачем же это?

— Ради гигиены. Однако дело еще не кончено. Там есть и внешние жители, как бы дикари. На другой стороне существует грязное пятно, с лесами, водой и воздухом. Великая раса стремится дезинфицировать планету, но дикари еще сопротивляются. Если бы перед вами предстала другая сторона, вы бы увидели, как уменьшается зеленовато-голубое пятно, словно кто-то чистит серебряную посуду.

— Откуда вы это знаете?

— Я скажу вам об этом в другой раз. У главы много источников информации. Сейчас мне важно вдохновить вас. Я хочу, чтобы вы узнали, что можно сделать... что мы сделаем. Мы победим смерть, другими словами — победим органическую жизнь. Мы выведем из этого кокона Нового Человека, бессмертного, свободного от природы. Природа была нам лестницей, и мы ее оттолкнем.

— Вы думаете, вам удастся сохранить разум без тела?

— Мы уже начали.

Сердце у Марка страшно забилось, он забыл и Уизера, и Джейн.

— Глава, — говорил Филострато, — уже по ту сторону смерти...

— Как, Джалс умер?

— Да при чем тут Джалс? Речь не о нем.

— О ком же?

Тут постучали в дверь, и, не дожидаясь ответа, голос Стрэйка спросил:

— Готов он?

— О да! Вы ведь готовы, мой друг?

— Вы ему объяснили? — сказал Стрэйк, входя. — Пути назад нет, молодой человек. Глава ждет вас. Вы поняли? Глава. Вы

узрите того, кто был убит — и жив. Воскресение Христово — символ. Сегодня вы увидите то, что оно означало.

— О чем вы говорите? — сказал Марк, точнее — хрипло закричал.

— Друг мой прав, — сказал Филострато. — Глава живет вне животной жизни. С точки зрения природы это смерть, но вы услышите живой голос и — скажу вам между нами — подчинитесь ему.

— Кому? — спросил Марк.

— Франсуа Алькасану, — сказал Филострато.

— Он же казнен... — проговорил Марк.

Оба кивнули. Казалось, два лица висят над ним в воздухе, как маски.

— Вы боитесь? — говорил Филострато. — Вам нечего бояться. Вы не из тех, не сапаглия. Мы победили время. Мы победили пространство — один из нас летал на другие планеты. Да, его убили, и записи его неясны, но мы создадим другой корабль...

— Воцарится бессмертный человек, — говорил Стрэйк. — О нем глаголят пророки.

— Конечно, — говорил Филострато, — поначалу это будет дано избранным, немногим...

— А потом всем? — спросил Марк.

— Нет, — отвечал Филострато. — Потом это будет дано одному. Вы ведь не глупы, мой друг? Власть человека над природой — басни для сапаглия. Вы знаете, как и я, что это означает власть одних над другими при помощи природы. «Человек» — абстракция. Есть лишь конкретные люди. Не человек вообще, а некий человек обретет все могущество. Алькасан — первый его набросок. Совершенным будет другой, возможно — я, возможно — вы.

— Грядет царь, — сказал Стрэйк, — вершащий суд на земле и правду на небесах. Вы думали, это мифы. Но это свершится.

— Я не понимаю, не понимаю... — проговорил Марк.

— Ничего трудного здесь нет, — сказал Филострато. — Мы нашли способ сохранять жизнь в мертвце. Алькасан был умным человеком. Теперь, когда он живет вечно, он становится все умнее. Позже мы облегчим его существование — надо признаться, оно

сейчас не слишком комфортабельно. Вы понимаете меня? Одним облегчим, другим... не очень. Мы можем поддерживать жизнь в мертвецах независимо от их воли. Тот, кто станет владыкой Вселенной, будет давать вечную жизнь кому захочет.

— Бог дарует одним вечное блаженство, другим — вечные муки, — сказал Стрэйк.

— Бог? — переспросил Марк. — Я в Бога не верю.

— Да, — сказал Филострато. — Бога не было, но следует ли из этого, что его и не будет?

— Здесь, в этом доме, — сказал Стрэйк, — вы увидите первый набросок Вседержителя.

— Идете вы с нами? — спросил профессор.

— Конечно идет, — сказал бывший священник. — Разве он полагает, что можно не пойти и остаться живым?

— А что до жены, — сказал профессор, — сделайте так, как вам велят.

Теперь Марка могло поддержать лишь бренди, выпитое за обедом, и сбивчивые воспоминания о часах, проведенных когда-то с Джейн или с друзьями. И еще — то омерзение, которое внушали ему два освещенных луной лица. Всему этому противостоял страх, а помогала страху присущая молодым мужчинам вера, что «потом все образуется». К страху и подобию надежды присоединялась лестная мысль о том, что ему доверили такую тайну.

— Да, — сказал он, — да... конечно... иду.

Они вывели его из комнаты. В доме было уже тихо. Когда Марк споткнулся, они взяли его под руки. По длинным коридорам, которых он не видел, они дошли до ярко освещенных мест, где пахло чем-то непонятным. Филострато что-то сказал в отверстие; открылась дверь.

Марк оказался в помещении, похожем на операционный зал. Встретил их какой-то человек в белом халате.

— Снимите костюм, — сказал Филострато.

Раздеваясь, Марк увидел, что стена напротив него вся в каких-то счетчиках. По полу к стене тянулись трубы и шланги, и казалось, что перед тобой многоокая тварь с щупальцами. Че-

ловек в халате смотрел на дрожащие стрелки. Когда все трое разделись, они долго мыли руки, и Филострато вынул щипцами из стеклянного бака гри белых халата. Дали им и маски, и перчатки, как у хирургов. Потом на счетчики смотрел Филострато.

— Так, так, — сказал он. — Еще немного воздуха. Нет, меньше, до деления 0,3. Теперь свет. Немного раствора. Так. — Он обернулся к Стрэйку и Стэддоку. — Готовы.

И он повел их к двери в многоокой стене.

Глава IX

ГОЛОВА САРАЦИНА

1

— Это был самый страшный сон, — сказала Джейн следующим утром. Она сидела в голубой комнате перед ним и Грейс Айронвуд.

— Да, — сказал он. — Пожалуй, вам труднее всего... пока не начнется битва.

— Мне снилась темная комната, — сказала Джейн. — Там странно пахло и раздавались странные звуки. Потом зажегся свет, очень яркий, но я долго не могла понять, на что смотрю. А когда я поняла... я бы проснулась, но я себе не позволила. Сперва мне показалось, что в воздухе висит лицо. Не голова, лицо, вы понимаете. Борода, нос, глаза, нет, глаз не видно за темными очками. А над глазами — ничего. Когда я привыкла к свету, я очень испугалась. Я думала, это маска на шарике, но это была не маска. Скорее это был человек в чалме... я никак не могу объяснить. Нет, это именно голова, но срезанная, верх срезан... и что-то... ну, выкипало из нее. Что-то лезло из черепа. Вокруг была какая-то пленка, не знаю, как прозрачный мешок. Я увидела, что масса эта дрожит или дергается, и сразу подумала: «Убейте же его, убейте, не мучайте!..» Лицо было серое, рот открыт, губы сухие. Вы понимаете, я долго смотрела на него, пока что-то случилось. Скоро я разобрала, что оно не держится

само собой, а стоит на каком-то стояке, на полочке, не знаю, а от него тянутся трубки. То есть от шеи. Да, и шея была, и даже воротничок, а больше ничего — ни груди, ни тела. Я даже подумала, что у этого человека — только голова и внутренности, я трубки приняла за кишки. Но тут я увидела, что они искусственные — тонкие резиновые грубочки, какие-то баллончики, зажимы. Трубки уходили в стену. Потом наконец что-то случилось...

— Вам не дурно, Джейн? — спросила Грейс Айронвуд.

— Нет, ничего, — сказала Джейн. — Только трудно рассказывать. Так вот, внезапно, как будто машину пустили, изо рта пошел воздух с каким-то сухим, шершавым звуком. Потом я уловила ритм — пуф, пуф, пуф, — словно голова дышала. И тут случилось самое страшное — изо рта закапала слюна. Я понимаю, это глупо, но мне его стало жалко, что у него нет рук и он не может вытереть губы. Он их облизал. Как будто машина налаживалась... Борода совсем мертвая, а губы над ней шевелятся. Потом в комнату вошли трое, в белых халатах, в масках, они двигались осторожно, как кошки по стене. Один был огромный, толстый, другой — худощавый. А третий... — Джейн остановилась на секунду. — Это был Марк... мой муж.

— Вы уверены? — спросил хозяин.

— Да, — сказал Джейн. — Это был Марк, я знаю его походку. И ботинки. И голос. Это Марк.

— Простите меня, — сказал хозяин.

— Потом все трое встали перед головой, — продолжала Джейн, — они поклонились ей. Я не знаю, смотрела она на них или нет, — темные очки. Сперва она вот так дышала. Потом заговорила.

— По-английски? — спросила Грейс Айронвуд.

— Нет, по-французски.

— Что она сказала?

— Я не очень хорошо знаю французский. И говорила она странно. Рывками... как будто задышалась. Без всякого выражения. И конечно, лицо у нее не двигалось...

— Хоть что-то вы поняли? — спросил хозяин.

— Очень мало. Толстый, кажется, представил ей Марка. Она ему что-то сказала. Марк попытался ответить, его я поняла, он тоже плохо знает французский.

— Что он сказал?

— Что-то вроде: «Через несколько дней, если смогу».

— И все?

— Да, почти все. Понимаете, Марк не мог это выдержать. Я знала, что он не сможет... я даже хотела ему сказать. Я видела, что он сейчас упадет. Кажется, я пыталась крикнуть: «Да он падает!» Но я не могла, конечно. Ему стало плохо. Они его уволокли.

— И все? — спросила наконец Грейс Айронвуд.

— Да,— сказала Джейн.— Больше я не помню. Я, наверно, проснулась.

Хозяин глубоко вздохнул.

— Что ж,— сказал он Грейс Айронвуд.— Становится яснее и яснее. Надо сейчас же это обсудить. Все дома?

— Нет, доктор Димбл поехал в город, у него занятия. Он вернется только вечером.

— Значит, вечером и соберемся.— Он помолчал и обратился к Джейн.— Боюсь, это печально для вас, дитя мое,— сказал он,— а для него еще печальней.

— Для Марка, сэр?

Хозяин кивнул.

— Не сердитесь на него,— сказал он.— Ему очень плохо. Если нас победят, плохо будет и нам. Если мы победим, мы спасем его, он еще не мог далеко зайти.— Хозяин снова помолчал, потом улыбнулся.— Мы привыкли беспокоиться о мужьях. У Айви, например, муж в тюрьме.

— В тюрьме?

— Да, за кражу. Он хороший человек. С ним все будет хорошо.

Как ни страшно и гнусно казалось Джейн то, что окружало Марка, этому все же нельзя было отказать в величии. Когда же хозяин сравнил его участь с участью простого вора, Джейн покраснела от обиды и не сказала ничего.

— И еще, — продолжал хозяин дома. — Надеюсь, вы поймете, почему я не приглашаю вас на наше совещание.

— Конечно, сэр, — сказала Джейн, ничего не понимая.

— Видите ли, — сказал хозяин, — Макфи считает, что, если вы узнаете нашу догадку, она проникнет в ваши сны и лишит их объективной ценности. Его переспорить трудно. Он скептик, а это очень важная должность.

— Я понимаю, — сказала Джейн.

— Конечно, речь идет только о догадках, — сказал хозяин. — Вы не должны слышать, как мы будем гадать. О том же, что мы знаем достоверно, знать можете и вы... Макфи сам захочет вам об этом поведать. Он испугается, как бы мы с Грейс не погрестили против объективности.

— Я понимаю... — снова сказала Джейн.

— Я бы очень хотел, чтобы он вам понравился. Мы с ним старые друзья. Если нас разобьют, он будет поистине прекрасен. Что он будет делать, если мы победим, я и представить себе не могу.

2

Наутро, проснувшись, Марк почувствовал, что у него болит голова, особенно затылок, и вспомнил, что упал... и только тогда вспомнил все. Конечно, он решил, что это страшный сон. Сейчас это все исчезнет. Какая чушь! Только в бреду он видел когда-то, как передняя часть лошади бежит по лугу, и это показалось ему смешным, хотя и очень страшным. Вот и здесь такая же чушь.

Но он знал, что это правда. Более того, ему было стыдно, что он перед ней сляхобал. Он хотел «быть сильным», но добрые качества, с которыми он так боролся, еще держались, хотя бы как телесная слабость. Против вивисекции он не возражал, но никогда ею не занимался. Он предлагал «постепенно элиминировать некоторые группы лиш», но сам ни разу не отправил старого лавочника в работный дом и не видел, как умирает на холодном чердаке старая гувернантка. Он не знал, что чувствуешь, когда ты уже десять дней не пил горячего чаю.

В общем, надо встать, думал он. Надо что-то делать с Джейн. Видимо, придется взять ее сюда. Он не помнил, когда и как сознание решило это за него. Надо ее привезти, чтобы спасти свою жизнь. Перед этим казались ничтожными и тяга к избранному кругу, и потребность в работе. Речь шла о жизни и смерти. Если они рассердятся, они его убьют и, может быть, оживят... О господи, хоть бы они умертвили эту страшную голову! Все страхи в Бэлбери — он знал теперь, что каждый здесь трясся от страха, — только проекция этого, самого жуткого ужаса. Джейн привезти надо, делать нечего.

Мы должны помнить, что в его сознании не закрепилась прочно ни одна благородная мысль. Образование он получил не классическое и не техническое, а просто современное. Его миновали и строгость абстракций, и высота гуманистических традиций; а выправить это сам он не мог, ибо не знал ни крестьянской смекалки, ни аристократической чести. Разбирался он только в том, что не требовало знания, и первая же угроза его телесной жизни победила его. И потом, голова так болела, ему было так плохо. Хорошо, что в шкафу есть бутылка. Он выпил и тогда смог побраться и одеться.

К завтраку он опоздал, но это было не важно, есть он не мог. Выпив несколько чашек черного кофе, он пошел писать письмо Джейн и долго сидел, рисуя что-то на промокашке. На что им Джейн, в конце концов? Почему именно Джейн? Неужели они поведут ее к голове? Впервые за всю жизнь в душе его забрезжило бескорыстное чувство: он пожалел, что встретил ее, женился на ней, втянул ее в эту мерзость.

— Привет, — раздался голос над ним. — Письма пишем?

— Черт! — сказал Марк. — Я прямо ручку выронил.

— Подбери, — сказала мисс Хардкасл, присаживаясь на стол.

Марк подобрал ручку, не поднимая глаз. С тех пор как его били в школе, он не знал сочетания такой ненависти с таким страхом.

— У меня плохие новости, — сказала Фея.

Сердце у него подпрыгнуло.

— Держись, Стэдлок, ты же мужчина.

— В чем дело?

Она ответила не сразу, и он знал, что она смотрит на него, проверяя, натянуты ли струны.

— Узнавала я про твою, — сказала она наконец. — Все так и есть.

— Что такое? — резко спросил Марк и посмотрел на нее. Сигару она еще не зажгла, но спички уже вынула.

— Что с моей женой? — крикнул Марк.

— Тиш-ше! — сказала мисс Хардкасл. — Не ори, услышат.

— Вы мне скажете, что с ней?

Она опять помолчала.

— Что ты знаешь о ее семье?

— Много знаю. При чем это здесь?

— Да так... интересно... и по материнской линии, и по отцовской?

— Какого черта вы тянете?

— Ай, как грубо! Я для тебя стараюсь. Понимаешь... странная она какая-то.

Марк хорошо помнил, какой странной она была в последний раз. Новый ужас накатил на него — может, эта гадина говорит правду?

— Что она сделала? — спросил он.

— Если она не в себе, — продолжала Фея, — послушай меня, Стэддок, вези ее к нам. Тут за ней присмотрят.

— Вы мне не сказали, что она такое сделала.

— Я бы твою жену не отдала в вашу тамошнюю психушку. А теперь тем более. Будут оттуда брать на опыты. Ты вот тут подпишись, а я вечером съезжу.

Марк бросил ручку на стол.

— Ничего я не подпишу. Вы мне скажите, что с ней.

— Я говорю, а ты мешаешь. Она что-то порет, кто-то к ней вломился или на станции напал, не разберешь, и жег ее сигарами. Тут, понимаешь, увидела она мою сигару — и пожалуйста! Значит, это я ее жгла. Как тут поможешь? Я и уехала.

— Мне надо немедленно попасть домой, — сказал Марк.

— Ну прямо! — сказала Фея и тоже встала. — Нельзя.

— То есть как нельзя? Надо, если это правда.

— Ты не дури, — сказала Фея. — Я знаю, что говорю. Положение у тебя — хуже некуда. Уедешь без спросу — все. Давай-ка я съезжу. Вот подпиши тут, будь умница.

— Вы же сами только что сказали, она вас не выносит.

— Ладно, перебьюсь. Конечно, без этого бы проще... Эй, Стэддок, а она не ревнует?

— К кому, к вам? — спросил он, не скрывая омерзения.

— Куда тебя несет? — резко спросила Фея.

— К Уизеру, потом домой.

— Ты со мной лучше не ссорься...

— А идите вы к черту! — сказал Марк.

— Стой! — крикнула Фея. — Не дури, так-перетак!

Но Марк был уже в холле. Все стало ясным для него. Сперва — к Уизеру, не просить, чтобы тот отпустил, а просто сообщить, что он уходит, жене плохо, и не ждать ответа. Дальнейшее было туманней, но это его не тревожило. Он надел пальто, шляпу, вбежал наверх и постучался к и. о. Ответа не было. Тогда Марк заметил, что дверь прикрыта неплотно. Он толкнул ее и увидел, что и. о. сидит к нему спиной. «Простите, — сказал Марк, — можно с вами поговорить?» Ответа не было снова. «Простите», — сказал он громче, но Уизер не шелохнулся. Марк решительно обошел его и тут же испугался — ему показалось, что перед ним труп. Нет, Уизер дышал, даже не спал, глаза у него были открыты. Он скользнул по Марку взглядом. «Простите», — опять начал Марк, но он не слушал. Он витал где-то далеко, и Марку явилась дикая мысль: а вдруг душа его газовым облачком летает в пустых и темных тупиках Вселенной? Из водянистых глаз глядела бесформенная бесконечность. В комнате было холодно и тихо, часы не шли, камин погас. Марк не мог говорить, не мог и выйти, ибо Уизер его видел.

Наконец и. о. заговорил, глядя куда-то, быть может — в небо:

— Я знаю, кто это. Ваша фамилия Стэддок. Почему вы сюда вошли? Вам лучше не входить. Удалитесь.

Именно тогда нервы у Марка окончательно сдали. Он кинулся вниз через три ступеньки, пересек холл, выскочил во двор и побежал по дорожке. Все снова стало ясно. Вон по той тропинке он за полчаса добежит до автобусной станции. О будущем

он вообще не думал. Важны были только две вещи: выбраться отсюда и вернуться к Джейн. Госка по ней, вполне телесная, не была вожделением — он чувствовал, что жена его дышит милостью и силой, смывающими здешнюю мерзость. Он уже не думал о том, что она сошла с ума. По молодости своей не веря в настоящую беду, он знал, что надо только вырваться из сети, и все будет хорошо, и они будут вместе, словно ничего не случилось.

Он уже вышел из сада, переходил дорогу, к деревьям, и вдруг остановился. Перед ним на тропинке стоял высокий, немного сутулый человек и что-то мямдил про себя. То был Уизер. Марк повернулся, постоял, такой боли он еще не испытывал. Потом устало — так устало, что глаза у него заслезились, — он медленно побрел назад.

3

У мистера Макфи была на первом этаже комнатка, которую он называл кабинетом. Женщины входили туда только с его разрешения; и сейчас в этом пыльном, но аккуратном помещении сидела Джейн, которую он пригласил, чтобы «объективно рассмотреть ситуацию».

— Скажу вам, миссис Стэддок, — начал он, — что хозяина нашего знаю очень давно. Он был филологом. Не берусь утверждать, что филология точная наука, но в данном случае я лишь отмечаю, что он безусловно умен. У нас не частная беседа, и не буду предвосхищать выводы, а потому не скажу, что воображение было у него всегда развито. Его фамилия Рэнсом.

— Неужели тот, который написал «Диалектическую семантику»? — спросила Джейн.

— Он самый. Так вот, шесть лет назад — у меня все записано, но сейчас это неважно — он исчез в первый раз. Совершенно исчез на девять месяцев. Я думал, он утонул. И вдруг он оказался у себя, в Кембридже, и его немедленно отправили в больницу. На три месяца. Где он был, он сказал только близким друзьям.

- Где же? — спросила Джейн.
- Он сказал, — и мистер Макфи взял понюшку табаку, — что он был на Марсе.
- Он бредил?
- Нет, нет. Он и сейчас так говорит. Судите, как хотите, а он говорит так.
- Я ему верю, — сказала Джейн.
- Я сообщаю вам факты, — сказал Макфи. — Он же сообщил нам, что его похитили и увезли на Марс профессор Уэстон и некий Дивайн, теперь он лорд Феверстон. Он от них убежал и был там какое-то время один.
- Там нет жизни?
- Мы знаем лишь то, что сообщает он. Вы, конечно, понимаете, миссис Стэддок, что даже здесь, на Земле, человек в полном одиночестве, скажем, географ-исследователь, может впасть в самое странное состояние. Мне говорили, что он может забыть, кто он.
- Вы думаете, ему все примерещилось?
- Я ничего не думаю. Я излагаю. По его словам, там есть самые разные формы жизни — может быть, поэтому он развел здесь такой зверинец. Но не в том дело. Нам важно, что он там встретил так называемых эльдилов.
- Это животные?
- Вы пытались когда-нибудь определить, что значит слово «животные»?
- Н-нет... Я хотела спросить, это разумные существа? Говорят они?
- Да. Они разумны, хотя речь и разум не одно и то же.
- Значит, они и есть марсиане?
- Ничуть не значит. Судя по его словам, они бывают на Марсе, но живут в космосе.
- Там же нечем дышать!
- Я вам рассказываю, что говорит доктор Рэнсом. По его словам, они не дышат, и не размножаются, и не умирают. Как вы понимаете, последнее утверждение не основано на опыте.
- На что же они похожи?

- Я не вполне готов ответить на этот вопрос.
 - Большие они? — против воли спросила Джейн.
- Макфи высморкался.

— Суть дела не в том, миссис Стэддок,— сказал он.— Доктор Рэнсом утверждает следующее: с тех пор как он вернулся на Землю, эти существа посещают его. Он исчез еще раз, отсутствовал более года и, по его словам, был на Венере, куда его доставили они.

- Они и на Венере живут?

— Простите, этот вопрос показывает, что вы не совсем меня поняли. Они вообще не обитают на планетах. Если мы допустим, что они существуют, придется представить себе, что они как бы плавают в космосе, присаживаясь на ту или иную планету, словно птица на дерево. По его словам, некоторые из них как-то связаны с определенными планетами, но, повторяю, не обитают на них.

- Они людям не вредят?

— Доктор Рэнсом полагает, что нет, но есть одно исключение.

- Какое?

— Эльдилы, которые издавна связаны с Землей. Нам, землянам, не повезло с паразитами. Здесь-то мы и подходим к сути дела.

Джейн ждала, удивляясь тому, что совсем не удивляется.

— Короче говоря,— продолжал он,— или этот дом посещают эльдилы, или мы все подвержены галлюцинациям. Именно эльдилы открыли Рэнсому, что существует заговор против человечества. Более того, именно они советуют ему, как бороться... если здесь применимо это слово. Вы спросите, можно ли победить могучих врагов, поливая грядки и дрессируя медведей? Я и сам задавал этот вопрос. Ответ всегда один: мы ждем приказа.

— От эльдилов? Нет, я все-таки не пойму. Вы сами сказали, что наши, земные, человеку враждебны.

— Вот это хороший вопрос. К нам земные не ходят. У нас другие, космические.

- Неужели они приходят сюда?

- Так полагает доктор Рэнсом.
- Должны же вы знать, это правда или нет?
- Откуда?
- Вы их видели?

— На ваш вопрос нельзя ответить ни положительно, ни отрицательно. Я видел многое — и радугу, и зеркало, и закат, не говоря о снах. Признаю, что здесь, в доме, я наблюдал явления, которые объяснить не могу. Но никто не являлся, когда я собирался вести запись или хоть как-нибудь их проверить.

— Разве видеть самому — недостаточно?

— Достаточно для детей и животных.

— А для разумных людей?

— Мой дядя, доктор Дункансон (быть может, вам доводилось о нем слышать), говорил: «Поклянитесь мне на слове Божьем», — и клал на стол большую Библию. Так он умирал тех, кто хотел рассказать о видениях. У меня, миссис Стэддок, вера иная, но принципы те же. Если кто-нибудь хочет, чтобы Эндрью Макфи в него поверил, пусть явится, будет так добр, открыто, при свидетелях, не стесняясь ни фотоаппарата, ни термометра.

— Значит, вы что-то видели?

— Да. Но это не разговор. Бывают обманы чувств, бывают фокусы...

— Чтобы он!.. — сердито воскликнула Джейн. — Никогда не поверю!..

— Я бы предпочел, миссис Стэддок, обходиться без слов этого типа. Что такое «верить»? Честный исследователь обязан принимать в расчет и фокусы. Если такая гипотеза противоречит чувствам — тем более. Существует сильная психологическая опасность, что он о ней забудет.

— Есть же верность, в конце концов, — сказала Джейн.

Макфи, бережно закрывающий табакерку, поднял глаза.

— Да, — сказал он. — Она есть. Когда вы станете старше, вы поймете, что такую большую ценность нельзя отдавать отдельным лицам.

Тут раздался стук в дверь.

— Войдите, — сказал Макфи, и вошла Камилла.

— Вы кончили, мистер Макфи? — спросила она. — Джейн общала погулять со мной до ужина.

— Что ж, дорогие дамы, гуляйте, — печально произнес шотландец. — Они захватят всю страну, пока мы прохладимся.

— Жаль, что вы не читали стихов, которые я сейчас прочла, — сказала Камилла. — Там все сказано в двух строчках:

Не торопи грядущего, глупец.
Терпения с нас требует Творец.

— Что это? — спросила Джейн.

— «Талиесни», — отвечала Камилла.

— Мистер Макфи, наверное, любит одного Бернса.

— Бернса! — презрительно выговорил Макфи, доставая из письменного стола огромный лист бумаги. — Не буду вас задерживать.

— Он все рассказал? — спросила Камилла в коридоре.

— Да, — ответила Джейн и, что редко с ней случалось, схватила спутницу за руку. Ими обеими владело чувство, которое они не сумели бы назвать. Когда они отворили дверь в сад, они увидели то, что, при всей своей естественности, потрясло их, словно знамение.

Ветер дул весь день, и небо очистилось. Холод обжигал, звезды сурово сверкали, высоко наверху висела луна — не томная луна любовных песен, но охотница, дикая лева, покровительница безумных. Джейн стало страшно.

— Он сказал... — начала она.

— Я знаю, — сказала Камилла. — Вы поверили?

— Да.

— А он объяснил, почему у Рэнсома такой вид?

— Молодой? То есть, как у молодого, но...

— Такими становятся те, кто вернулся с планет. Во всяком случае, с Переландры. Там и сейчас райский сад. Попросите, он вам расскажет.

— А он умрет?

— Его возьмут на небо.

— Камилла!

— Да?

— Кто он?

— Человек, моя дорогая, Пендрагон, повелитель Логриса. Весь этот дом, все мы, и мистер Бультитьюд, и Пинчи — то, что осталось от Логрского королевства. Идем туда, на самый верх. Какой ветер! Наверное, сегодня они придут.

4

Джейн купалась под присмотром барона Корво, пока остальные совещались у Рэнсома.

— Так, — сказал Рэнсом, когда Грейс Айронвуд кончила читать свои записи. — По-видимому, все это правда.

— Правда? — переспросил Димбл. — Я не совсем вас понимаю. Неужели они могут это сделать?

— А как по-вашему, Макфи? — спросил Рэнсом.

— Могут, могут, — сказал Макфи. — Такие опыты давно ставят на животных. Отрежут голову, тело выбросят. Если кровь подавать под нужным давлением, голова какое-то время продержится.

— Что ж это, господи! — сказала Айви Мэгс.

— Вы хотите сказать, голова останется живой? — спросил Димбл.

— Это слово не имеет четкого значения. Какие-то функции в ней сохраняются, с обычной, житейской точки зрения она будет жива. Что же до мышления... если бы речь шла о человеке... не знаю.

— Речь о человеке шла, — сказала Грейс Айронвуд. — Такой опыт ставили в Германии. С головой казненного.

— Это точно? — с большим интересом спросил Макфи. — А вы не знаете, какие были результаты?

— Нет, больше не могу! — сказала Айви и быстро вышла из комнаты.

— Значит, эта мерзость не сон, — сказал мистер Димбл.

Он был очень бледен. Жена его, напротив, являла лишь ту слержанную гадливость, с какой дамы старого закала выслушивают неприятные подробности, если этого нельзя избежать.

— Доказательств у нас нет, — сказал Макфи, — я сообщаю факты. То, что она видела во сне, возможно.

— А что это за чалма? — спросил Деннистон. — Что у него там выкипает?

— Сами понимаете, что это может быть, — сказал Рэнсом.

— Я не уверен, что понимаю, — сказал Димбл.

— Предположим, — сказал Макфи, — что все это правда. Тогда исследователям этого типа прежде всего захочется подстегнуть мозг. Они будут пробовать разные стимуляторы. Потом, вероятно, они откроют череп, чтобы... да, чтобы мозг выкипал наружу. По их мнению, это должно увеличить его возможности.

— А на самом деле? — спросил Рэнсом.

— Мне кажется, здесь они ошиблись, — сказала Грейс Айронвуд. — Это приведет к безумию или не даст ничего. Однако я не знаю точно.

Все помолчали.

— Можно предположить, — сказал Димбл, — что ум его усилился, но преисполнен страдания и злобы.

— Мы не вправе судить, — сказала Грейс Айронвуд, — очень ли он страдает. Вероятно, поначалу болела шея.

— Важно не это, — сказал Макфи. — Важно решить, что теперь делать.

— Одно мы знаем точно, — сказал Деннистон. — Движение проникло в другие страны. Чтобы получить эту голову, они должны были иметь своих людей хотя бы во французской полиции.

— Логично, — сказал Макфи, потирая руки. — Но возможно иное допущение: взятка.

— Нет, знаем мы и другое, — сказал Рэнсом. — Мы знаем, что, в определенном смысле, они умеют достигать бессмертия. Они создали новый вид, как бы новую ступень эволюции. Для них и мы, и все люди — просто кандидаты в бессмертные.

— Однако, — сказал Макфи, — надо ли нам терять голову, если кто-то потерял тело? Выкипают у него мозги или нет, но мы с ним потягаемся — и вы, доктор Димбл, и вы, доктор Рэнсом, и Артур, и я. Мне хотелось бы узнать, какие будут приняты меры.

И, постучав костяшками по колену, он строго посмотрел на Рэнсома. Лицо Грейс Айронвуд преобразилось, словно занялись поленья в камине.

— Быть может, мистер Макфи,— сказала она,— вы разрешите нашему руководителю решать самому?

— Быть может, доктор,— сказал Макфи,— вы разрешите совету знать о его планах?

— Что вы имеете в виду? — спросил Димбл.

— Вот что,— сказал Макфи.— Простите за напоминание, но враги захватят всю страну, пока мы выжидаем. Если бы меня послушались полгода тому назад, страну бы захватили мы. Я знаю, вы скажете, что так действовать нельзя. Может, и нельзя. Но если вы и нас не слушаете, и сами ничего не решаете, зачем мы тут сидим? Не набрать ли вам лучших советников?

— А нас распустить? — спросил Димбл.

— Вот именно,— сказал Макфи.

Рэнсом улыбнулся.

— У меня нет на это прав,— сказал он.

— Тогда,— спросил Макфи,— по какому праву вы нас призвали?

— Я вас не призывал,— сказал Рэнсом.— Тут какое-то недоразумение. Вам казалось, что я вас выбирал?

Никто не отвечал ему.

— Казалось вам?

— Что до меня,— сказал Димбл,— все случилось само собой. Вы ни о чем меня не просили. Потому я и считал себя как бы попутчиком. Я думал, с другими было иначе.

— Вы знаете, почему мы с Камиллой здесь,— сказал Деннистон.— Конечно, мы не загадывали заранее, на что мы можем пригодиться.

Грейс Айронвуд заметно побледнела.

— Вы хотите?..— начала она, но Рэнсом взял ее за руку.

— Нет,— сказал он,— не рассказывайте, как кто сюда пришел.

Макфи ухмыльнулся.

— Вижу, куда вы гнете,— сказал он.— Мы попали сюда случайно. Но позволю себе заметить, доктор Рэнсом, что все это не

так просто. Не помню, кто и когда назначил вас нашим начальником, но вы ведете себя как вождь, а не как хозяин дома.

— Да, я вождь,— сказал Рэнсом.— Неужели вы думаете, что я бы отважился на это, если бы решали вы или я? Вы не выбирали меня, и я не выбирал вас. Даже те, кому я служу, меня не выбирали. Я попал в их мир случайно, как попали ко мне и вы, и даже звери. Если хотите, мы — организация, но не мы ее организовали. Вот почему я не вправе и не могу вас отпустить.

Все помолчали снова, и было слышно, как потрескивают поленья.

— Если больше обсуждать нечего,— сказала Грейс Айронвуд,— не дадим ли мы отдохнуть доктору Рэнсому?

— Нет,— сказал Рэнсом.— Надо еще поговорить о многом.

Макфи, начавший было стряхивать с колен крошки, замер, а Грейс Айронвуд с облегчением расслабилась.

— Сегодня мы узнали о том,— сказал Рэнсом,— что творится сейчас в Бэлбери. Но я думаю о другом.

— Да? — серьезно сказала Камилла.

— О чем это? — спросил Макфи.

— О том,— сказал Рэнсом,— что лежит под Брэгдонским лесом.

— До сих пор думаете? — спросил Макфи.

— Да, все время,— отвечал Рэнсом.— Мы кое о чем догадывались. Вероятно, это опаснее головы. Враг ставит многое на эту карту. Когда силы Бэлбери объединятся с древними силами, Логрис, то есть человек, будет окружен. Мы должны им помешать. Но сейчас еще рано. Мы не можем проникнуть в лес. Надо дожидаться, пока они найдут... его. Я не сомневаюсь, что мы об этом узнаем. А сейчас — надо ждать.

— Не верю я этой басне,— сказал Макфи.

— Я думала,— сказала Грейс Айронвуд,— что мы не употребляем слов типа «верить». Я думала, мы наблюдаем факты, избегаем поспешных выводов...

— Если вы будете препираться,— сказал Рэнсом,— я вас положю.

Поначалу никто из них не мог понять, зачем институту Бреддонский лес. Почва там не вынесла бы огромного здания (во всяком случае, для этого пришлось бы проделать много дорогих работ), а город для института не подходил. Несмотря на недоверие Макфи, Рэнсом, Димбл и Деннистон занялись этим вопросом и пришли к важным выводам. Все трое знали теперь о временах короля Артура то, до чего наука не дойдет и за сотни лет. Они знали, что Эджстоу лежит в самом центре Логгского королевства, что деревня Кьюр Харди хранит бывшее имя *Sueug Hardi* и что исторический Мерлин жил и колдовал именно здесь.

Что он там делал, они не знали; но, каждый своим путем, зашли так далеко, что не могли уже считать сказкой предания о его силе или отнести эту силу к тому, что люди Возрождения звали магией. Димбл даже утверждал, что хороший филолог может распознать по тексту, о магии идет речь или о чем ином. «Что общего, — говорил он, — между таинственными оккультистами вроде Фауста или Просперо, с их ночными бдениями, черными книгами, пособниками-бесами, и Мерлином, который творит невозможное просто потому, что он Мерлин?» Рэнсом с ним соглашался. Он полагал, что ведовство или, точнее, ведение Мерлина — остаток чего-то очень древнего, попавшего в Западную Европу после того, как пал Нуминор, и хранившего следы тех времен, когда отношения духа и материи были на Земле иными. Ведение это по сути своей отличалось от ренессансной магии. Вероятно (хотя и не наверное), оно было гораздо невиннее, и уж во всяком случае пользы от него было гораздо больше. Ведь Парацельс и Агриппа почти ничего не достигли, и сам Бэкон, возражавший против магии только по этой причине, признал, что маги «не преуспели в величии и верности трудов». Поистине, могло показаться, что магия, столь бурно расцветшая в те времена, вела лишь к тому, что человек губил душу, не получая ничего взамен.

Если догадки были правильны, это значило очень многое. Это значило, что ГНИИЛИ, в самой своей сердцевине, связан уже не только с нынешней, научной формой власти. Конечно, другой вопрос, знали ли об этом сотрудники института; но Рэнсом часто напоминал себе: «Дело не в том, как собираются действовать люди — это все равно решат темные эльдилы, — а в том, как они будут действовать. Возможно, помогаясь Брэгдонского леса, они знают, чего ищут; возможно, они придумали какую-то причину — теорию о почве, о воздухе, о неизвестных излучениях, — чтобы это объяснить». Рэнсом полагал, что в определенной степени важен сам лес — ведь не зря считают, что место небезразлично. Однако сон о спящем под землей многое объяснил. Значит, главное — внизу, под лесом, и это — тело Мерлина. Когда эльдилы сказали ему, что так оно и есть, он не удивился. Не удивлялись и они: земные формы бытия — зачатие, рождение, смерть — были для них не менее странными, чем пятнадцативековой сон. Для них, созидающих нашу природу, ничто не становится «естественным». Они всегда видят неповторимость каждого акта творения. Для них нет общего; все, по отдельности, рождается, словно шутка или песня, из чудотворного самоограничения Творца, отбрасывающего мириады других возможностей ради этого, вот этого творения. Эльдилы не удивлялись, что тело лежит нетленно пятнадцать веков, — они знали миры, где нет тления. Эльдилы не удивлялись, что душа осталась связанной с ним, — они знали бесконечное множество способов, какими дух соединяется с материей, от полного слияния, созидающего нечто третье, до встреч коротких, как соитие. Они принесли не весть о чуде, а важную новость. Мерлин не умер. Жизнь его при определенных условиях вернется в тело.

Они не сказали этого раньше, потому что не знали. В спорах с Макфи Рэнсому особенно мешало то, что их шотландец — как, впрочем, многие — почему-то считал: если есть существа мудрее и сильнее людей, они всеведущи и всемогущи. Конечно, эльдилы были очень сильны, они могли разрушить Бэлбери, но сейчас это не было нужно. Сознания же человека они прямо уви-

деть не могли. О Мерлине они узнали иначе, по особому сочетанию признаков, указывающему на то, что в этом месте кто-то увел с главной дороги времени в неведомые нам поля. Ведь не только прошлое и будущее отличны от настоящего.

Вот почему Рэнсом не спал и думал, когда остался один. Он не сомневался, что враги нашли Мерлина, а если нашли — сумеют разбудить. Тогда соединятся две силы, и это решит судьбу Земли. Несомненно, темные эльдилы веками подготавливали это. Естественные науки, невинные и даже полезные сами по себе, уже при Рэнсоне пошли куда-то в сторону. Конечно, их сводили с пути в определенном направлении. Темные эльдилы непрестанно внушали ученым сомнения в объективной истине, а потом и равнодушие к ней, и это привело к тому, что важной стала лишь сила. Смутные толки об *élan vital* и заигрывания с панпсихизмом воскрешали понемногу любезную магам *Anima mundi*. Мечты о предназначении человека и его далеком будущем извлекали из могилы старое человекобожие. Опыты над животными и работа на трупах приучали к тому, что ради прогресса нужно прежде всего перебороть себя и делать то, чего душа делать не позволяет. Теперь это все достигло такой степени, что стоящие за этим решили: можно выгнуть науку назад, чтобы она сомкнулась с древними, забытыми силами. По-видимому, раньше это было невыполнимо. Этого нельзя было сделать в XIX веке, когда твердый материализм не позволил бы ученым поверить в такие вещи; а если бы они и поверили, унаследованная порядочность не позволила бы им касаться нечистого. Пережитком прошлого века был Макфи. Теперь все изменилось. Вероятно, мало кто знал в Бэлбери, что происходит, но, если они узнают, они будут как солома перед ветром. Что сочтут они непотребным, когда нравственность для них — побочный продукт биологических и экономических процессов? Времена созрели. С точки зрения преисподней, к этому вела вся человеческая история. Падший человек уже может стряхнуть те ограничения, которые само милосердие наложило на его силу. Если он это сделает, воплотится ад. Дурные люди, ползающие сей-

час по маленькой планете, обретут состояние, которое прежде обретали лишь по смерти, и станут прямым орудием темных сил. Природа станет им рабыней, и предел положит лишь конец времен.

Глава X

ЗАХВАЧЕННЫЙ ГОРОД

1

До сих пор, что бы ни случилось днем, Марк спал хорошо, но в эту ночь он спать не мог. Письма он не написал и весь день слонялся, скрываясь от людей, ночью, лежа без сна, он ощутил свои страхи с новой силой. Конечно, в теории он был материалистом; конечно (тоже в теории), он давно вышел из возраста ночных страхов. Но сейчас это ему не помогло. Всех, кто ищет в материализме защиты (а таких людей немало), ждет разочарование. Да, то, чего вы боитесь, — невысказано. Что ж с этого? Лучше вам? Нет. Так как же? Если уж видишь духов, лучше в них верить.

Чай принесли раньше, чем всегда, а с ним — и записку. Уизер настоятельно просил зайти к нему немелленно по чрезвычайно срочному делу. Марк пошел.

В кабинете была Фея. К удивлению и (сперва) к радости Марка, и. о., по всей видимости, не помнил об их последнем разговоре. Он был вежлив, даже ласков, но очень серьезен.

— Доброе утро, доброе утро, мистер Стэддок, — сказал он. — Я ни за что на свете не стал бы вас беспокоить, если бы не был уверен, что вам самому лучше узнать обо всем как можно раньше. Вы понимаете, конечно, что разговор наш сугубо конфиденциален. Тема его не совсем приятна. Надеюсь, в ходе беседы вы поймете (садитесь, садитесь), как мудро мы поступили в свое время, оградив от постороннего вмешательства нашу полицию, если можно ее так назвать.

Марк облизал губы и присел.

- Ты потерял бумажник, Стэддок,— вдруг сказала Фея.
- Что? — переспросил Марк.— Бумажник?
- Да. Бумажник. Штуку, в которой лежат всякие бумажки.
- Потерял. Вы его нашли?

— В нем три фунга десять шиллингов денег, корешок от почтового перевода, письма, подписанные именами «Миртл», «Дж. Херншоу», «Ф. Э. Браун», «М. Бэлчер», и счет за костюм от мастерской «Саймонс и сын», Маркет-стрит, 32, Эджстоу. Так?

— Примерно так.

— Вот он.— Она указала на стол.— Нет, не бери!

— Что происходит? — спросил Марк тем голосом, каким говорил бы военный при подобных обстоятельствах и который в полицейском протоколе назвали бы «угрожающим».

— Этот бумажник,— сказала мисс Хардкасл,— обнаружен в траве за пять с небольшим ярдов от тела Хинджеста.

— Господи! — вскричал Марк.— Вы же не думаете... нет, чепуха какая!

— Незачем апеллировать ко мне,— сказала мисс Хардкасл.— Я не адвокат, не судья, не присяжный. Я излагаю факты.

— Но вы считаете, что меня могут обвинить?

— Напротив,— сказал Уизер.— Перед нами один из тех случаев, когда особенно очевидна польза собственной исполнительной власти. Перед нами ситуация, которая, как мне это ни прискорбно, могла бы доставить вам множество огорчений, имея вы дело с обычной полицией. Не знаю, достаточно ли ясно дала вам понять мисс Хардкасл, что бумажник нашли ее подчиненные.

— Что вы хотите сказать? — спросил Марк.— Если мисс Хардкасл не считает, что я виноват, зачем все эти разговоры? Если считает, почему не сообщит куда надо? Это ее долг.

— Дорогой мой друг,— промолвил Уизер назидательным тоном,— в делах такого рода мы и в малейшей степени не намерены определять предел правомочий нашей институтской полиции. Я не беру на себя смелости утверждать, в чем состоит долг мисс Хардкасл.

— Значит,— сказал Марк,— у мисс Хардкасл, по ее мнению, достаточно фактов для моего ареста, но она любезно предлагает их скрыть?

— Усек! — сказала Фея и впервые на его памяти закурила свою сигару.

— Но я не этого хочу,— продолжал он.— Я ни в чем не виноват.— Бремя свалилось с него, но он, почти не замечая, гнул в другую сторону.— Я сам пойду в настоящую полицию.

— Хочешь сесть,— сказала Фея,— дело твое.

— Я хочу оправдаться,— сказал Марк.— Обвинение немедленно рассеется. Зачем мне его убивать? И алиби у меня есть, я был здесь, спал.

— Да?..— протянула Фея.

— Что такое?

— Знаешь ли, мотив найдется всегда. Всякий может убить всякого. Полицейские — люди как люди. Запустят машину, надо же им что-нибудь доказать.

Марк уговаривал себя, что ему не страшно. Если бы только Уизер не топил так жарко или хоть открывал окно...

— Вот письмо,— сказала Фея.

— Какое письмо?

— Твое. Какому-то Пэлему, из вашего Брэктона. Написано полтора месяца назад. Вот, пожалуйста: «А Яшеру давно пора в лучший мир».

Марк вспомнил, и ему стало просто физически больно. То была записочка, и такой стиль очень ценили «свои люди».

— Как оно к вам попало? — спросил Марк.

— Мне представляется, мистер Стэддок,— сказал Уизер,— что мы не вправе требовать от мисс Хардкасл подобных разъяснений... Конечно, это ни в малой степени не опровергает моих постоянных заверений в том, что все сотрудники института живут поистине единой жизнью. Однако неизбежно существуют различные сферы, не отграниченные друг от друга, но выявляющие собственную сущность, тесно связанную, конечно, с этосом целого... и некоторая излишняя откровенность... э-э-э... наносила бы урон нашим же интересам.

— Неужели вы думаете, — сказал Марк, — что эту записку можно принять всерьез?

— А ты что-нибудь объяснял полицейскому? — спросила Фея. — Твоему, настоящему?

Марк не ответил.

— Алиби тоже фиговое, — продолжала мисс Хардкасл. — Ты говорил с Биллом за столом. Когда он уезжал, вас видели вместе у выхода. Как ты вернулся, никто не видел. Вообще, неизвестно, что ты делал до самого утра. Мог уехать с ним и лечь так в два пятнадцать. Ночью, понимаешь, подморозило. Грязи на ботинках могло и не быть.

Как в былое время, в приемной у зубного врача или перед экзаменом, все сместилось, и Марку уже мерещилось, что тюрьма и эта закрытая комната, собственно, одно и то же. Главное — вырваться на воздух, от кряканья и. о., Феиной сигары, огромного портрета на стене.

— Вы советуете мне, сэр, — сказал он, — не идти в полицию?

— В полицию? — удивился Уизер, словно об этом и речи не было. — Это было бы по меньшей мере опростчиво, мистер Стэддок... и не совсем порядочно по отношению к своим коллегам, особенно к мисс Хардкасл. Мы не могли бы в дальнейшем оказывать вам помощь...

— Именно, — сказала Фея. — Если ты в полиции, ты в полиции.

Минута решимости ушла, и Марк этого не заметил.

— Что же вы предлагаете? — спросил он.

— Я? — спросила Фея. — Ты скажи спасибо, что это мы нашли бумажник.

— Это исключительно счастливая случайность, — сказал Уизер, — не только для мистера Стэддока, но и для всего института. Мы не могли бы оставаться в стороне...

— Одно жаль, — сказала Фея. — У нас не твоя записка, а копия. Конечно, и то хлеб.

— Значит, сейчас ничего нельзя сделать? — спросил Марк.

— В настоящее время, — сказал Уизер, — вряд ли возможны какие-либо официальные действия. Но все же я бы вам сове-

товал в ближайшие месяцы соблюдать... э-э... крайнюю осторожность. Пока вы с нами, Скотленд-Ярд вряд ли сочтет удобным вмешиваться без совершенно явных улик. Вполне вероятно, что они захотят помериться с нами силами, но я не думаю, что они воспользуются именно этим случаем.

— А вы не собираетесь искать вора? — спросил Марк.

— Вора? — спросил Уизер.— У меня нет сведений о том, что тело ограблено.

— Того, кто украл бумажник.

— Ах, бумажник!.. Понятно, понятно... Следовательно, вы обвиняете в краже одного или нескольких сотрудников института?

— Да господи! — закричал Марк.— А сами вы что думаете? По-вашему, я там был? Может, я и убил?

— Я очень попросил бы вас не кричать, мистер Стэддок,— сказал и. о.— Прежде всего, это невежливо, особенно при даме. Насколько мне припоминается, никаких обвинений мы не выдвигали. Лично я пытался порекомендовать вам определенную линию поведения. Я уверен, что мисс Хардкасл со мной согласна.

— Мне все одно,— сказала Фея.— Не знаю, чего он орет, когда мы хотим его выручить, но дело его. Некогда мне здесь околачиваться.

— Нет, вы поймите...— сказал Марк.

— Прошу вас, возьмите себя в руки, мистер Стэддок,— сказал Уизер.— Как я уже неоднократно говорил, мы — единая семья и не требуем от вас формальных извинений. Все мы понимаем друг друга и одинаково не терпим... э-э-э... сцен. Со своей же стороны позволю себе заметить, что нервная неустойчивость навряд ли вызовет благоприятную реакцию у нашего руководства.

Марк давно перестал думать о том, возьмут его или нет, но сейчас понял, что увольнение равносильно казни.

— Простите, сорвался,— сказал он.— Что же вы мне советуете?

— Сиди и не рыпайся,— сказала Фея.

— Мисс Хардкасл дала вам превосходный совет, — сказал и. о. — Здесь вы у себя дома, мистер Стэдлок, у себя дома.

— Да, кстати, — сказал Марк. — Я не совсем уверен, что жена приедет — она прихворнула...

— Я забыл, — сказал и. о., и голос его стал тише, — поздравить вас, мистер Стэдлок. Теперь, когда вы видели его, мы ощущаем вас своим в более глубоком смысле. Несомненно, вы не хотели бы оскорбить его дружеские... да что там, отеческие чувства... Он очень ждет миссис Стэдлок.

— Почему? — неожиданно для самого себя спросил Марк.

— Дорогой мой, — отвечал Уизер, странно улыбаясь, — мы стремимся к единству. Семья, единая семья... Вот мисс Хардкасл скучает без подруги. — И прежде чем Марк опомнился, он встал и зашлепал к дверям.

2

Марк закрыл за собой дверь и подумал: «Вот, сейчас. Они оба там». Он кинулся вниз, выскочил во двор, не задерживаясь у вешалки, быстро пошел по дорожке. Планов у него не было. Он знал одно: надо добраться до дому и предупредить Джейн. Он даже не мог убежать в Америку — он знал из газет, что США горячо одобряют работу ГНИИЛИ. Писал это какой-то бедняга вроде него. Но то была правда — от института нельзя скрыться ни на корабле, ни в порту, нигде.

Когда он дошел до тропинки, там, как и вчера, маячил высокий человек, что-то напевая. Марк никогда не дрался, но тело его было умней души, и удар пришелся прямо по лицу призрачного старика. Вернее, удара не было. Старик исчез.

Сведущие люди так и не выяснили, что же это означало. Быть может, Марк так измучился, что и. о. просто мерещился ему. Быть может, сильная личность в полном разложении обретает призрачную вездесущность (чаще это бывает после смерти). Быть может, наконец, душа, утратившая благо, получает взамен, хотя и на время, суетную возможность умножаться в пространстве. Как бы то ни было, старик исчез.

Тропинка пересекала припорошенное снегом поле, сворачивала налево, огибала сзади ферму, ныряла в лес. Выйдя из лесу, Марк увидел вдалеке колокольню; ноги у него горели, он проголодался. На дороге ему повстречалось стадо коров, они пригнули головы и замычали. Он перешел по мостику ручей и, миновав еще один луг, добрался до Кортхэмптона, откуда и ходил автобус.

По деревенской улице ехала телега. В ней между матрасами, столами и еще какой-то рухлядью сидели женщина и трое детей, один из которых держал клетку с канарейкой. Вслед за ними появились муж и жена с тяжело нагруженной коляской, потом — машина. Марк никогда не видел беженцев, иначе он сразу понял бы, в чем дело.

Поток был бесконечен, и Марк с большим трудом добрался до автобусной станции. Автобус на Эджстоу шел только в двенадцать пятнадцать. Марк стал бродить по площадке, ничего не понимая, — обычно в это время в деревне было очень тихо. Но сейчас ему казалось, что опасность — только в Бэлбери. Он думал то о Джейн, то об яичнице, то о черном, горячем кофе. В половине двенадцатого открылся кабачок. Он зашел туда, взял кружку пива и бутерброд с сыром. Народу там почти не было. За полчаса, один за другим, вошли четыре человека. Поначалу они не говорили о печальной процессии, тянувшейся за окнами; они вообще не говорили, пока человек с лицом, похожим на картошку, не сказал неизвестно кому: «А я вчера Рэмболда видел». Никто не отвечал минут пять, потом молодой парень сказал: «Наверное, сам жалеет». Разговор о Рэмболде шел довольно долго, прежде чем хоть кто-нибудь коснулся беженцев.

— Идут и идут, — сказал один.

— Да уж... — сказал другой.

— И откуда берутся... — сказал третий.

Понемногу все прояснилось. Беженцы шли из Эджстоу. Одних выгнали из дому, других разорил бунт, третьих — восстановление порядка. В городе, по всей видимости, царил террор. «Вчера, говорят, штук двести посадили», — сказал кабатчик. «Да, ребята у них... — сказал парень. — Даже моему старику въеха-

ли...» Он засмеялся. «Им что рабочий, что полицейский», — сказал первый, с картофельным лицом. На этом обсуждение застопорилось. Марка очень удивило, что никто не выражал ни гнева, ни сочувствия. Каждый знал хотя бы одного беженца, но все соглашались в том, что слухи преувеличены. «Сегодня писали, все уже хорошо», — сказал кабатчик. «Кому-нибудь всегда плохо», — сказал картофельный. «А что с того? — сказал парень. — Дело, оно дело и есть». — «Вот и я говорю, — сказал кабатчик, — ничего не попишешь». Марк слышал обрывки собственных статей. По-видимому, он и ему подобные работали хорошо; мисс Хардкасл переоценила сопротивляемость «простого народа».

3

Автобус оказался пустым, все двигались ему навстречу. Марк вышел на Маркет-стрит и поспешил к дому. Город совершенно изменился. Каждый третий дом был пустым, многие витрины — заколочены. Когда Марк добрался до особняков с садиками, он увидел почти на всех белые доски, украшенные символом ГНИИЛИ — голым атлетом с молнией в руке. На каждом углу стоял институтский полисмен в шлеме, с дубинкой и с револьвером на ремне. Марк надолго запомнил их круглые, белые лица, медленнодвигающиеся челюсти (полицейские жевали резинку). Повсюду висели приказы с подписью «Феверстон».

А вдруг и Джейн ушла? Он почувствовал, что этого не вынесет. Задолго до дома он проверил, в кармане ли ключ. Дверь была заперта. Значит, нет Хагчинсонов, с первого этажа. Он отпер дверь и вошел. На лестнице было холодно, на площадке — темно. «Джейн!» — крикнул он, входя в квартиру и не надеясь ни на что. На коврике у двери он увидел пачку нераспечатанных писем. Внутри все было прибрано. Кухонные полотенца не сохранили ни капли влаги, хлеб в корзинке зацвел, молоко давно скисло. Уже понимая, он бродил по комнатам, тихим и трогательным, как все покинутые жилища. Он сердился; он искал записку; он пошел посмотреть письма, но почти все были от него. Вдруг в передней он заметил надорванный конверт

письма, адресованного миссис Димбл, туда, в ее домик. Значит, она была здесь! Эти Димблы всегда его недолюбливали. Наверное, увезли Джейн к себе. Надо пойти к Димблу, в его колледж.

От этого решения ему стало легче. После всего, что он испытал, ему очень хотелось стать обиженным мужем, разыскивающим жену. По дороге в Нортумберленд он выпил. Увидев на «Бристолле» вывеску института, он чертыхнулся было и прошел мимо, когда вспомнил, что сам он — крупный сотрудник ГНИИЛИ, а не сброд, который теперь сюда не пускают. Они спросили его, кто он, и сразу стали любезны. Заказывая виски, он чувствовал, что вправе отдохнуть, и сразу же заказал еще. Гнев на Димблов усилился, прочие чувства смягчились. В конце концов, насколько лучше и вернее быть своим, чем каким-то чужаком. Даже и сейчас... ведь нельзя всерьез принимать это обвинение! Так уж они делают дела. Уизер просто хочет покрепче привязать его к Бэлбери и заполучить туда Джейн. А что такого, в сущности? Не может же она жить одна. Если муж идет в гору, придется ей стать светской дамой. В общем, надо скорей увидеть этого Димбла.

Из ресторана он вышел, как сам бы это назвал, другим человеком. С этих пор и до последнего распутия человек этот появлялся в нем внезапно и побеждал на время все остальное. Так, кидаясь из стороны в сторону, пробивался сквозь молодость Марк Стэддок, еще не обретший личности.

— Прошу, — сказал д-р Димбл. Он отпустил последнего ученика и собирался домой.

— Ах, это вы, Стэддок! — сказал он, когда тот вошел. — Прошу, прошу!

Он хотел говорить приветливо, но удивлялся и приходу Марка, и его виду. Марк потолстел, стал каким-то землистым и пошловатым, что ли.

— Где Джейн? — спросил Марк.

— Я не могу вам сказать, — ответил Димбл.

— Вы не знаете?

— Я не могу сказать.

Согласно программе, именно сейчас Марк должен был повести себя как мужчина. Что-то изменилось. Димбл всегда дер-

жался с ним очень вежливо и всегда недолюбливал его. Марк не обижался, он не был злопамятным, он просто пытался ему понравиться. Он любил нравиться. Когда с ним бывали сухи, он мечтал не о мщении, а о том, как он очарует и пленит обидчика. Если он и бывал нелюбезным, то лишь к стоящим ниже, к чужакам, заискивающим перед ним. В сущности, он уже был недалеко от подхалимства.

— Я вас не понимаю,— сказал он.

— Если вы хотите, чтобы вашу жену не трогали,— сказал Димбл,— лучше не спрашивайте меня.

— Не трогали?

— Да,— очень серьезно отвечал Димбл.

— Кто?

— А вы не знаете?

— Что такое?

— В ночь бунта ее схватила институтская полиция. Она убежала, но они ее пытали.

— Пытали?

— Да, жгли сигарой.

— В том-то и дело,— сказал Марк.— Она... у нее нервное истощение. Понимаете, ей примерещилось...

— Врач, лечивший ожоги, думает иначе.

— О господи! — воскликнул Марк.— Неужели правда? Нет, посудите сами...

Димбл спокойно смотрел на него, и он умолк.

— Почему же мне не сообщили?

— Кто, ваши коллеги? Странный вопрос. Вам виднее, чем они занимаются.

— Почему вы мне не сказали? Вы были в полиции?

— В институтской?

— Нет, в простой.

— Вы действительно не знаете, что в Эджстоу обычной полиции больше нет?

— Ну, есть какие-нибудь судьи...

— Есть полномочный представитель, лорд Феверстон. Вижу, вы не понимаете. Город захвачен.

— Почему же вы не связались со мной?

— С вами? — переспросил Димбл; и на один миг, впервые в жизни, Марк увидел себя со стороны. От этого у него занялось дыхание.

— Да, — начал он, — вы меня всегда недолюбливали. Но не до такой же степени...

Димбл молчал, но Марк не знал причины. Много лет он укорял себя за то, что не любит Марка; укорял и сейчас.

— Что ж, — сказал Марк, — говорить не о чем. Я хочу знать одно: где Джейн.

— Вы хотите, чтобы ее забрали в Бэлбери?

— Не понимаю, по какому праву вы меня допрашиваете. Где моя жена?

— Я не могу вам сказать. Она не у меня и не под моим покровительством. Ей хорошо. Если вам есть еще до этого дело, оставьте ее в покое.

— Что я, преступник или заразный? Почему вы мне не скажете?

— Вы сотрудник института. Они ее пытали. Они не трогают ее только потому, что не знают, где она.

— Если виноват институт, неужели вы думаете, что я это так оставлю? За кого вы меня принимаете?

— Я могу только надеяться, что у вас еще нет большой власти. Если власти у вас нет, вы Джейн не защитите. Если есть, вы — то же самое, что институт.

— Невероятно! — сказал Марк. — Ну хорошо, я там работаю, но вы же меня знаете?

— Нет, — сказал Димбл, — не знаю. Что мне известно о ваших мыслях и целях?

Марку казалось, что он глядит на него не с гневом, даже не с презрением, а с брезгливостью, словно перед ним какая-то мерзость, которую достойный человек не должен замечать. Марк ошибался. Димбл старался сдержаться. Он изо всех сил старался не злиться, не презирать, а главное — не наслаждаться злостью и презрением.

— Тут какая-то ошибка, — снова начал Марк. — Наверное, полисмен напился. Я разберусь, они у меня...

— Это была начальница вашей полиции, мисс Хардкасл.

— Прекрасно. Что же вы думаете, я это так оставлю? Нет, тут ошибка.

— Вы хорошо знаете мисс Хардкасл? — спросил Димбл.

Марк молча кивнул. Он думал (и ошибался), что Димбл читает его мысли и знает, что он ни в чем не сомневается и совершенно беспомощен перед Феей. Вдруг Димбл заговорил громче.

— Вы можете справиться с ней? — сказал он. — Вы так далеко продвинулись? Что ж, значит, вы убили и Хинджеста, и Комтона. Значит, по вашему приказу схватили и избили до смерти Мэри Прэскот. Значит, по вашему приказу воров — честных воров, чьей руки вы не достойны коснуться, — забрали из-под власти судей и присяжных и перевели в Бэлбери, чтобы подвергнуть там унижениям и пыткам, которые у вас зовут лечением. Это вы изгнали из дому две тысячи семейств в болота и пустоши. Это вы скажете мне, где Плейс, и Руоли, и восьмидесятилетний Каннингэм. Если вы зашли так далеко, я не доверю вам не только Джейн, но и уличную собаку.

— Ну что вы... — начал Марк. — Это просто странно. Я знаю, допущены какие-то несправедливости. Так всегда бывает, особенно вначале. Но неужели я должен отвечать за все, что пишут в желтой прессе?

— В желтой прессе! — воскликнул Димбл, и Марку показалось, что он вырос. — Какая чушь! Вы думаете, я не знаю, что институт держит в руках все газеты, кроме одной? А она сегодня не вышла. Печатники забастовали. Говорят, бедняги, что не станут печатать статьи против народного института. Вам виднее, чем мне, откуда идет газетная ложь.

Как ни странно, Марк, долго живший в мире, где не ведают милосердия, почти не встречал истинного гнева. Он часто видел злобу, но выражалась она в гримасах, взглядах и жестах. Голос и глаза доктора Димбла поразили его. В Бэлбери вечно толковали о том, что враги «поднимут крик», но он не представлял, как это выглядит на самом деле.

— Да ничего я не знаю! — заорал он в свою очередь. — Черт, это мою жену пытали, не вашу!

— Могли пытать и мою. От них не защищен ни один англичанин. Они пытали женщину, человека. Важно ли, чья она жена?

— Сказано вам, я им всем покажу! И этой ведьме, и всем...

Димбл молчал. Марк понимал, что говорит чепуху, но остановиться не мог. Если бы он не кричал, он бы слишком растерялся.

— Да я сам от них уйду! — орал он.

— Вы серьезно? — спросил Димбл и посмотрел на него.

Марку, в чьей душе бестолково метались обида, тщеславие, стыд и страхи, взгляд этот показался беспощадным. На самом деле в нем светилась надежда, ибо любовь всегда надеется. Была в нем и настороженность; и потому Димбл больше не сказал ничего.

— Я вижу, вы мне не доверяете, — сказал Марк, и лицо его само собой приняло то достойное и оскорбленное выражение, которое помогало ему еще в школе, когда его вызывали к директору.

Димбл не любил лгать.

— Да, — сказал он. — Не совсем доверяю.

Марк пожал плечами и отвернулся.

— Стэддок, — сказал Димбл, — сейчас не время лукавить и льстить. Быть может, мы оба скоро умрем. Я не хочу умирать с любезной ложью на устах. Я вам не верю. Как могу я вам верить? Вы — больше ли, меньше ли — сотрудничаете с худшими в мире людьми. Ваш приход ко мне может оказаться ловушкой.

— Неужели вы меня так плохо знаете? — снова сказал Марк.

— Перестаньте говорить чепуху! — сказал Димбл. — Перестаньте позировать хоть на минуту. Какое право вы имеете на такие слова? Кто вы? Они губили и лучших, чем мы с вами. Стрэйк был порядочным человеком. Филострато хотя бы гений. Даже Алькасан — да, да, я знаю... был просто убийцей, все лучше, чем теперь. Почему же вам быть исключением?

Марк говорить не мог. Его потрясло, что Димбл столько знает, и он уже ничего ни с чем связать не мог.

— И все-таки,— продолжал Димбл,— я пойду на риск. Я поставлю на карту то, перед чем и ваша и моя жизнь ничего не значат. Если вы всерьез хотите уйти из института, я помогу вам.

На миг перед Марком приоткрылись райские врата, но он сказал:

— Я... я должен обдумать.

— Некогда,— сказал Димбл.— И думать вам не о чем. Я предлагаю вам вернуться к людям. Решайте сейчас, сию минуту.

— Но ведь речь идет о моей будущей деятельности...

— Деятельности! — сказал Димбл.— Речь идет о гибели... или о единственном шансе на спасение.

— Я не совсем понимаю,— сказал Марк.— Вы все время намекаете на какую-то опасность. В чем дело? От кого вы хотите защитить меня... или Джейн?

— Я не могу вас защитить,— сказал Димбл.— Теперь никто не защищен, битва началась. Я предлагаю вам бороться вместе с теми, кто прав. Кто победит, я не знаю.

— Вообще-то,— сказал Марк,— я и сам думал уйти. Но еще не все решено. Вы как-то странно разговариваете. Можно, я зайду к вам завтра?

— Вы уверены, что тогда решитесь?

— Ну, через часок? В конце концов, это разумно. Вы не уйдете?

— Что изменит час? Вы просто надеетесь, что за это время разум ваш станет еще туманней.

— Вы здесь будете?

— Если хотите, буду. Но толку из этого не выйдет.

— Я должен подумать,— сказал Марк.— Я хочу все обдумать,— и вышел, не дожидаясь ответа.

На самом деле он хотел выпить и закурить. Думал он и так слишком много. Одна мысль гнала его к Димблу, как гонит ребенка к взрослому невыносимый страх. Другая шептала: «Ты с ума сошел! Они тебя разыщут. Как он тебя защитит? Они тебя убьют». Третья заклинала не терять с таким трудом завоеванного положения — ведь есть, должен быть какой-нибудь средний путь. Четвертая гнала от Димбла; и впрямь, Марку становилось

плохо при одном воспоминании о его голосе. И он стремился к Джейн, и он сердился на Джейн, и хотел больше никогда не видеть Уизера, и хотел вернуться и все с ним уладить. Ему хотелось и безопасности, и небрежного благородства; ему хотелось, чтобы Димблы восхищались его мужеством, а Бэлбери — его сообразительностью; ему хотелось, наконец, выпить еще виски. Начинался дождь, болела голова. А, черт! И почему у него такая наследственность? Почему его так плохо учили? Почему общество так глупо устроено? Почему ему так не везет?

Он пошел быстрее.

Когда он дошел до колледжа, дождь лил вовсю. У входа стояла машина, около нее топтались три человека в форменных плащах. Позже он вспоминал, как блестела мокрая клеенка. Кто-то посветил фонариком ему в лицо.

— Простите, сэръ,— услышал он.— Ваше имя.

— Стэддок,— сказал Марк.

— Марк Гэнсби Стэддок,— сказал полицейский,— вы арестованы по обвинению в убийстве Уильяма Хинджеста.

4

Доктор Димбл ехал в Сэнт-Энн очень недовольный собой, мучаясь мыслью о том, что, будь он умнее или добрее с этим несчастным человеком, толку вышло бы больше.

«Не сорвал ли я на нем гнев? — думал он.— Не был ли я самодоволен? Не сказал ли слишком много?»

Потом, как обычно с ним бывало, недоверие к себе стало глубже.

«А может, я просто не желал говорить прямо? Хотел унижить его, обидеть? Упивался своей добродетелью? Может, весь Бэлбери сидит в моей собственной душе? “Таким бываю я,— вспомнил он слова брата Лаврентия,— всякий раз, когда Ты оставишь меня на меня самого”».

Выбравшись за город, он поехал медленно, почти ползком. Небо на западе стало алым, сверкали первые звезды. Далеко внизу, в долине, мерцали огоньки Кьюр Харди, и он подумал:

«Слава богу, хоть эта деревня далеко от Эджстоу». Белая сова мелькнула перед ним, исчезла слева, в лесном полумраке, и он обрадовался, что уже темнеет. Приятная усталость окутала его, он предвкушал, как хорошо проведет вечер и как рано ляжет.

— Вот он! Ой, доктор Димбл! — закричала Айви Мэггс, когда он подъехал к воротам усадьбы.

— Не ставьте машину в гараж, — сказал Деннистон.

— Сесил! — сказала жена, и он увидел, что она испугана.

По-видимому, его ждал весь дом.

Чуть позже, моргая от яркого света, он понял, что вечер хорошо не проведет. У очага сидел Рэнсом, на плече у него при-
мостились барон Корво, у ног — мистер Бультитьюд. Все поужи-
нали, и жена с Айви Мэггс кормили мистера Димбла на краю
кухонного стола.

— Ты ешь, ешь, — говорила миссис Димбл. — Они тебе са-
ми все расскажут. Поешь как следует.

— Вам придется опять выйти, — сказала Айви Мэггс.

— Да, — сказал Рэнсом, — время действовать. Мне очень
жаль посылать вас, когда вы только что пришли, но битва на-
чалась.

— Повторяю, — сказал Макфи, — совершенно абсурдно
посылать человека, который старше вас и работал целый день,
когда мне абсолютно нечего делать.

— Нет, Макфи, — сказал Рэнсом, — вам идти нельзя. Во-пер-
вых, вы не знаете языка. Во-вторых, — сейчас не время хитрить, —
вы никогда не препоручали себя защите Малельдила.

— При таких обстоятельствах, — сказал Макфи, — я готов
признать ваших эльдилов и существо, которое они считают сво-
им царем. Я...

— Нет, — сказал Рэнсом. — Я не пошлю вас. Это все равно
что посылать против танка трехлетнее дитя. Положите лучше
карту вон там, Димбл посмотрит, пока ест. А теперь молчите.
Итак, Димбл, под Брэгдонским лесом действительно покоил-
ся Мерлин. Да, он спал, если хотите. Пока еще нет оснований
считать, что враг нашел его. Всё поняли? Нет, подождите, ешьте.
Вчера Джейн Стэддок видела самый важный из своих снов.

В склеп ведут не ступеньки, а длинный пологий проход. А, понимаете теперь? Вот именно. Джейн думает, что может найти вход — под кучей камней, в рожице... что там такое, Джейн?

— Белые ворота, сэр. Простые ворота, с крестовиной наверху, она сломана. Я их узнаю.

— Видите, Димбл? Тоннель выхолит наружу за пределами институтской земли.

— Другими словами, мы можем попасть в лес как бы снизу?

— Вот именно. Но это не все.

Димбл, не переставая есть, посмотрел на него.

— По-видимому, — сказал Рэнсом, — мы почти опоздали.

Он проснулся.

Димбл есть перестал.

— Джейн видела пустой склеп, — сказал Рэнсом.

— Значит, враг нашел его?

— Нет. Насколько можно понять, он сам проснулся.

— Господи! — сказал Димбл.

— Ты ешь, дорогой, — сказала ему жена.

— Что же это значит? — спросил он, глядя ее руку.

— По-видимому, это значит, что все запланировано очень давно, — сказал Рэнсом. — Мерлин вышел из времени, чтобы вернуться именно теперь.

— Вроде адской машины, — сказал Макфи. — Поэтому я...

— Вы не пойдете, Макфи, — сказал Рэнсом.

— Его уже там нет? — спросил Димбл.

— Сейчас, наверное, нет, — сказал Рэнсом. — Повторите, пожалуйста, Джейн, что вы видели.

— В проходе был человек, — сказал Джейн. — Огромный... Там темно, я его не разглядела, он тяжело дышал. Сперва я подумала, это зверь. Я двигалась с ним по проходу, становилось все холодней, снаружи входил воздух. Проход кончался кучей камней, и человек начал их отбрасывать. А я оказалась вдруг снаружи. Тогда я и увидела ворота.

— Видите, — сказал Рэнсом, — похоже, что они еще не вошли с ним в контакт. Мы должны его перехватить. Это наш един-

ственный шанс. А ворота, мне кажется, должны быть к югу от леса. Поищите сперва там, на Игонской дороге, а нет — вот здесь, где начинается шоссе на Кьюр Харди.

— Мы будем там через полчаса, — сказал Димбл, не снимая лацони с руки миссис Димбл.

— Непременно надо идти сегодня? — смущенно спросила она.

— Надо, Маргарет, — сказал Рэнсом. — Если враг вступит с ним в связь, битва проиграна.

— Я понимаю, — сказала миссис Димбл. — Простите.

— Если идет Джейн, — сказала Камилла, — можно пойти и мне?

— Джейн ведет, — сказал Рэнсом. — А мы должны быть дома. Мы — все, что осталось от Логрского королевства. В вашем чреве — его будущее. Так вот, Димбл, ориентироваться, я думаю, он будет плохо...

— А... а если мы найдем его, сэр?

— Тут и начнется ваше дело, Димбл. Только вы знаете язык. Он может знать его, а не знает — хотя бы поймет, кто перед ним. Но будьте очень осторожны. Не бойтесь, но не поддавайтесь его чарам.

— Вот уж я бы... — начал Макфи.

— Вас он усыпит за десять секунд, — сказал Рэнсом.

— Что я должен говорить? — спросил Димбл.

— Что во имя Малельдила, и всех эльдилов, и всех планет вы пришли от того, кто восседает сейчас на престоле Пендрагонов и велит ему идти с вами.

Димбл, очень бледный, поднял голову, и великие слова полились из его уст. Сердце Джейн сильно забило. Все прочие сидели очень тихо — даже птица, кошка, медведь — и смотрели на него. Голос был им незнаком, словно речь лилась сама или словно то была не речь, а совместное действие эльдилов и Пендрагона. На этом языке говорили до грехопадения, на нем говорят по ту сторону Луны, и значения в нем соединены со звуками не случайно, и даже не по давней традиции, но сочетаются с ними воедино, как сочетается образ солнца с каплей

воды. Это — сам язык, каким, по велению Малельдила, возник он из живого серебра планеты, которую зовут на Земле Меркурием, на небе — Виритрильбией.

— Спасибо,— сказал Рэнсом, и при этом знакомом слове домашнее тепло кухни вернулось к ним.— Если он с вами пойдет, прекрасно. Если не пойдет... что же, Димбл, положитесь на свою веру. Препоручите волю Малельдилу. Душу вы погубить не можете. Во всяком случае, Мерлин не может погубить вашу душу.

— Я понимаю,— сказал Димбл, и все долго молчали.

— Не плачьте, Маргарет,— сказал наконец Рэнсом.— Если они убьют Сесила, нам всем останется жить несколько часов. Вы пробудете в разлуке больше при нормальных обстоятельствах. А теперь, джентльмены, попрощайтесь с женами. Сейчас около восьми. Собираемся здесь в четверть девятого.

— Хорошо,— отвечали Деннистон и Димбл, а Джейн осталась на кухне с Айви, зверями и двумя мужчинами.

— Согласны ли вы,— спросил ее Рэнсом,— повиноваться Малельдилу?

— Сэр,— сказала Джейн,— я ничего о нем не знаю. Я повинуюсь вам.

— Пока достанет и этого,— сказал Рэнсом.— Небо милостиво: когда ваша воля добра, оно помогает ей стать добрее. Но Малельдил ревнив. Придет время, когда Он потребует от вас все. А на сегодня — хорошо и так.

— В жизни не слышал такого бреда,— сказал Макфи.

Глава XI

ТРЕБУЕТСЯ МЕРЛИН

I

— Ничего не вижу,— сказала Джейн.

— Этот дождь все портит,— сказал Димбл с заднего сиденья.— Мы еще на Итонской дороге, Артур?

— Вроде бы да,— сказал Деннистон.

— А что толку? — сказала Джейн. — Я ничего не вижу, хотя слишком открыто. Мы могли сто раз проехать мимо. Надо выйти и пойти пешком.

— Джейн права, — сказал Деннистон.

— Ой, смотрите! — воскликнула Джейн.

— Не вижу никаких ворот, — сказал Димбл.

— Что, огонь? — сказал Деннистон.

— Да это же костер!..

— Какой костер?

— Я видела костер в рошице. Да, не говорила, забыла! Только сейчас вспомнила. Это был самый конец. И самое важное. Он там сидел, Мерлин. Сидел у костра в роще, когда я вышла из-под земли. Ой, скорей! Там и ворота, это близко.

Все двинулись за ней, и открыли калитку, и вышли на какой-то луг. Димбл молчал: ему было стыдно, что он боится до дурноты. Быть может, он лучше других представлял себе, что может случиться с ними.

Джейн шла первой, за ней Деннистон, то и дело ее поддерживая и светя фонариком под ноги. Говорить не хотелось никому.

Сразу, как только они сошли с дороги, все изменилось, словно начался не истинный, а призрачный мир. Каждую секунду казалось, что рядом пропасть. Шли они по тропинке, вдоль изгороди, и мокрые ветви, как щупальца, цеплялись за них. Все, что ни появлялось в маленьком круге света, — клочья травы, лужицы, листья, прилипшие к обломанным сучкам, желто-зеленые глазки каких-то небольших тварей, — было проще, обычной, чем могло быть, словно притворилось на минуту и снова сбросит личину, оставшись в темноте. Кроме того, все казалось слишком маленьким перед холодной, исполненной звуков мглой.

Страх, который Димбл испытал сразу, стал проникать в души Джейн и Деннистона, как проникает вода в пробоину судна. Они только сейчас поняли, что не верили в Мерлипа по-настоящему. Тогда, на кухне, им казалось, что они верят Рэнсому, но это было не так. Страшное еще ожидало их. Только здесь, в темноте, они ощутили впрямую, что кто-то умер и не умер,

что кто-то вышел из тьмы, разделяющей Древний Рим и начало Англии.

«Темные века», — думал Димбл; как легко было прежде и читать это, и писать.

Теперь сама Тьма лежала перед ними. В страшной лошине их поджидало давно ушедшее столетие.

Вдруг вся Британия, которую он так хорошо знал как ученый, живьем встала перед ним. Он увидел маленькие города, на которых лежал отсвет Рима, — Камальдунум, Карлеон, Глестонберри; церковка, одна-две виллы, кучка домов, насыпь, а за ней, почти до самых ворот — мокрые, густые леса, устланные листьями, которые падали на эту землю еще до того, как Британия стала островом. Волки, прилежные бобры, огромные болота и глаза в чаще — глаза тех, кто жил здесь не только до Рима, но и до самой Британии, древних, несчастных, обездоленных существ, превратившихся в эльфов, чудищ, лесовиков позднейшего предания. Но еще хуже, чем леса, были места без леса — маленькие вотчины забытых королей; общины и сообщества друинов; стены, замешенные на младенческой крови. Этот век, вырванный из своей эпохи и ставший потому стократ ужасней, двигался им навстречу и через несколько минут должен был их поглотить.

Они уткнулись в изгородь и несколько минут, светя фонариком, отцепляли от веток волосы Джейн. Поле кончилось. Отсюда огонь был виден плохо, но все же можно было заметить, что он то разгорается, то гаснет. Оставалось искать калитку или дверку. Они нашли какие-то воротца, но те были заперты. Здесь снова началась низина, они хлюпали по воде. Пришлось немного подняться, огонь исчез, а когда он стал виден, он почему-то оказался слева и довольно далеко.

До сих пор Джейн не удавалось представить, что же их ждет. Теперь сцена на кухне стала обретать смысл. Он велел мужчинам попрощаться с женами. Значит... значит, по этому мокрому полю они идут к смерти. Столько слышишь о ней (как о любви), поэты о ней пишут, а вот она какая. Но не это главное. Джейн попыталась увидеть все иначе, так, как видят ее новые друзья.

Она давно не сердилась, что Рэнсом распоряжается ею и еще отдаст при этом и Марку, и Малельдилу, ничего не оставляя себе самому. Это она приняла. О Марке она думала мало, ибо мысли о нем все чаще вызывали в ней жалость и раскаяние. А вот Малельдил... До этих минут она и не думала о нем. Она верила в эльдилов, верила и в то, что они кому-то подчиняются. как и Рэнсом, и весь дом, даже Макфи, но никак не связывала все это с тем, что зовется религией. Пропасть между конкретными, страшными вещами и, скажем, молитвой матушки Димбл была слишком велика. Одно дело — ужас ее снов, радость послушания, свет из-под синей двери, великая борьба: совсем другое — церковный запах, кошмарные литографии (Христос метра в два ростом, похожий на умильную барышню), непонятные уроки Закона Божия, суетливая ласковость священников. Но сейчас, если рядом смерть, нужно свести это воедино. В конце концов, случиться могло все, что угодно. Мир оказался совсем не таким, как она думала, и она не удивлялась ничему. Очень может быть, что Малельдил — просто Бог. Может быть, есть жизнь после смерти, рай, преисподняя. Мысль эта мелькнула в ее сознании словно искра, и снова все спуталось, но и этого было достаточно, чтобы она воспротивилась: «Нет, не могу, почему же мне раньше не сказали!» Ей не пришло в голову, что она бы и слушать не стала.

— Смотрите, Джейн, — сказал Деннистон, — куст.

— По-моему, — сказала Джейн, — это, скорее, овца.

— Нет. Это кусты... А вон деревья...

— Да, — сказал Димбл. — Это ваша роша. Мы почти у места.

Земля перед ними шла вверх еще ярдов двадцать, потом холм обрывался. Теперь они видели лесок, а кроме того, каждый различил бледные мерцающие лица своих спутников.

— Я пойду первым, — сказал Димбл.

— Как я вам завидую, что вы не боитесь! — сказала Джейн.

— Тише, прошу вас!.. — сказал он.

Они осторожно дошли до обрыва и остановились. Внизу, в ложбинке, горели довольно большие поленья. Вокруг росли кусты, и пляшущие тени мешали все рассмотреть. Кажется, за

костром стоял шалаш; Деннистону показалось, что он видит и перевернутую тележку, а у костра стоит котелок.

— Есть там кто-нибудь? — тихо спросил Димбл.

— Не знаю, — ответил Деннистон. — Подождите минутку.

— Смотрите! — сказала Джейн. — Вон там, где пламя отнесло ветром!

— Что? — спросил Димбл.

— Вы не видите?

— Ничего не вижу.

— Кажется, я вижу человека, — сказал Деннистон.

— Да, вроде бы бродяга, — сказал Димбл. — То есть в современной одежде.

— Какой он с виду?

— Не знаю.

— Надо идти вниз, — сказал Димбл.

— А можно тут спуститься? — сказал Деннистон.

— Не с этой стороны, — сказал Димбл. — Мне кажется, правее есть тропинка. Пойдем опять вдоль изгороди, пока не наткнемся на нее.

Они говорили тихо, огонь трещал все громче, дождь перестал. Осторожно, словно солдаты в лесу, они стали пробираться от дерева к дереву.

— Стойте! — вдруг прошептала Джейн.

— В чем дело?

— Кто-то шевелится.

— Где?

— Внизу. Совсем близко.

— Я ничего не слышал.

— Теперь ничего и нет.

— Идемте дальше.

— Вы что-нибудь слышите, Джейн?

— Нет, сейчас тихо.

Они прошли еще несколько шагов.

— Стой! — сказал Деннистон. — Джейн права. Там что-то есть.

— Заговорить мне? — спросил Димбл.

— Подождите немного. Да, есть. Смотрите! Ах ты, да это ослик...

— Так я и думал, — сказал Димбл. — Это бродяга, лудильщик... Вот его ослик. А спуститься надо...

Они двинулись дальше и вышли на заросшую тропинку. Шла она петлей, и все же шалаш или палатку уже не загораживал костер.

— Вот он, — сказала Джейн.

— Да, вижу, — сказал Деннистон. — Действительно, бродяга. Видите его, Димбл? Старик с бородой, в старой куртке и в черных штанах. Вон, ногу вытянул, пальцы торчат из башмака!

— Вон там? — сказал Димбл. — Я думал, это бревно. Но у вас лучше зрение. Вы уверены, что это человек?

— Вроде бы да. Не знаю, глаза устали. Слишком тихо он сидит. Если это человек, он заснул.

— Или умер, — сказала Джейн, резко вздрогнув.

— Что ж, — сказал Димбл. — Идемте вниз.

Меньше чем за минуту они спустились вниз. Палатка там была, и какое-то тряпье в палатке, и жестяная тарелка, и несколько спичек, и кучка табаку, но человека не было.

2

— Я вот чего не понимаю, — сказала Фея. — Что вы над ним трясетесь? То вы так, то сяк! Разводили тут про убийство, теперь он сидит один, а толку-то? Может, сработает, а может — нет. Да я бы его за двадцать минут расколола. Видали мы таких.

Так говорила Фея Уизеру той же ненастной ночью, часов в двенадцать. Был с ними и третий, профессор Фрост.

— Уверяю вас, мисс Хардкасл, — сказал и. о., глядя поверх Фроста, — ваши мнения всегда вызывают у меня живейший интерес. Но если я вправе так выразиться, перед нами — один из тех случаев, когда... э-э-э... принудительные собеседования привели бы к нежелательным результатам.

— Почему это? — угрюмо спросила Фея.

— Простите, если я вам напомню, — сказал Уизер, — не потому, что вы не знали, из чисто методологических соображе-

ний, — нам нужен не он. Я хочу сказать, мы все будем рады увидеть среди нас миссис Стэддок, главным образом — в связи с ее поразительными психическими способностями. Конечно, употребляя слово «психический», я не отдаю предпочтения никакой гипотезе.

— В общем, сны, — сказала Фея.

— Можно предположить, — продолжал Уизер, — что на нее оказало бы нежелательное действие, если бы мы доставили ее насильно, а здесь она обнаружила, что ее муж находится в... э-э-э... не совсем естественных, хотя и временно, условиях, неизбежно связанных с вашим методом исследования. Искомая способность могла бы исчезнуть.

— Мы еще не слышали донесения, — спокойно сказал Фрост. — Прошу вас, майор.

— Все к собакам, — сказала Фея. — Поехал он в Нортумберленд. После него оттуда вышли три человека: Ланкастер, Лили и Димбл. Перечисляю по значимости. Ланкастер — верующий и большая шишка. В родстве со всякими епископами. Черт-те сколько написал. Лили — вроде того, но потише. Правда, сами помните, в прошлом году он нам попортил кровь в этой комиссии насчет высших школ. В общем, люди опасные. Деловые, что называется. Димбл — не то. Божья коровка. Против него ничего и не скажешь, знает свою науку, и все. Не такой он знаменитый... ну, может, у этих, филологов. Хватки нет, совести — завались, в общем — толку от него мало. Те двое ему не чета, те кой-чего смыслят, особенно Ланкастер. Такого и нам заполучить не грех, если б не эти... взгляды.

— Вы могли бы сообщить майору Хардкасл, — сказал Фрост, — что эти характеристики нам известны.

— Действительно, — сказал Уизер, — поскольку час поздний... мы не хотели бы переутомлять вас, мисс Хардкасл... Не перейдете ли вы к более существенным положениям вашего... э-э... доклада?

— Ладно, — сказала Фея. — Людей у меня было мало. Сами знаете, спасибо, что мы вообще его увидели. Все у меня были заняты, пришлось обойтись чем есть. Шесть человек я поставила у колледжа, в штатском, ясное дело. Потом грех, кто получ-

ше, послала за Ланкастером. Через полчаса получила телеграмму, он в Лондоне. Может, там чего найдут. С Лили я попотела. Ходил мест в пятнадцать. Всё взяли на заметку. Димбл вышел последний, у меня оставался один человек, и тут О'Хара звонит, людей ему надо. Ну я решила, бог с ним, с Димблом. Каждый день ходит на службу и вообще пустое место.

— Я не совсем понимаю, — сказал Фрост, — почему вы не послали людей в само здание.

— А из-за вашего Феверстона, — сказала Фея. — Нас теперь в колледж не пускают, если хотите знать. Говорила я, не наш человек. Крутит. С университетом заигрывает. Помяните мое слово, вы еще с ним наплачетесь.

Фрост посмотрел на Уизера.

— Я ни в малейшей степени не стану отрицать, — сказал и. о., — что некоторые действия лорда Феверстона вызывают у меня недоумение. Однако мне было бы невыразимо тяжело предположить, что он...

— Стоит ли задерживать майора Хардкасл? — спросил Фрост.

— Вы совершенно правы! — сказал Уизер. — Я чуть не забыл, моя дорогая мисс Хардкасл, как вы устали и как я ценю ваше время. Не позволяйте нам злоупотреблять вашей добротой. Вам совершенно ни к чему утруждать себя скучными мужскими делами.

— А может, — сказала Фея, — пустить к нему моих ребят? Так, слегка. Жаль, столько крутилась, и никакой тебе радости.

Уизер, учтиво улыбаясь, стоял у дверей, и вдруг лицо его изменилось. Бледные полуоткрытые губы, седые завитки, блеклые глаза лишились какого бы то ни было смысла. Мисс Хардкасл показалось, что на нее смотрит маска. И она молча вышла из кабинета.

— Не кажется ли вам, — сказал Уизер, возвращаясь на свое место, — что мы придаем слишком большое значение жене этого Стэддока?

— Мы действуем согласно приказу от первого октября, — сказал Фрост.

— О... я не о том...— сказал Уизер.

— Разрешите напомнить вам факты,— сказал Фрост.— Мы наблюдали полностью только один сон, очень важный, конечно, давший нам, хотя и не совсем точно, ценные сведения. Тем самым, мы поняли, что злоумышленники могут использовать ее в своих целях.

— Я ни в малейшей мере не отрицаю...

— Это первое,— продолжал Фрост.— Второе: ее сознание стало менее прозрачным. К настоящему времени наука нашла этому одно объяснение. Так бывает, когда данное лицо попадает по собственной воле под влияние враждебной нам силы. Таким образом, мы не видим ее снов и знаем, что она — под чужим влиянием. Это опасно само по себе. Но это означает, что через нее мы можем попасть в штаб-квартиру врага. По-видимому, Хардкасл права, под пыткой он выдал бы адрес жены. Но, как вы сами сказали, если она увидит его в соответствующем состоянии, вряд ли мы сможем надеяться на сны. Это — первое возражение. Второе: нападать на врага очень опасно. По всей вероятности, они защищены, и против такой защиты у нас средств нет. Наконец, третье: он может адреса не знать. В таком случае...

— Я был бы чрезвычайно огорчен,— сказал Уизер.— Научное исследование (я не применял бы слова «пытка») совершенно нежелательно, когда исследуемый ничего не знает. Если не прекратить опыта, он не оправится... если прекратить, останется чувство, что он все-таки знал ответ...

— В общем, выход один,— сказал Фрост.— Пускай сам везет сюда жену.

— А не могли бы мы,— сказал Уизер еще отрешенней, чем обычно,— привлечь его к нам несколько сильнее?... Я имею в виду, мой дорогой друг, истинную, глубокую перемену.

Фрост осклабился во весь свой большой рот, показывая белые зубы.

— Я предполагал к этому перейти,— сказал он.— Я сказал «пускай везет жену». Возможностей для этого две: на низшем уровне, например — страх или похоть, и на высшем. если он сольется с нашим делом и поймет, что нам надо.

— Вот именно... — сказал Уизер. — Я бы выразился несколько иначе, но вы совершенно правы.

— А вы что собирались делать?

— Мы думали предоставить его на время самому себе... чтобы созрели... э-э-э... психологические плоды... Полагаемся мы — со всею гуманностью, конечно — и на небольшие неудобства... скажем, он не ел. Сигареты у него забрали. Нам бы хотелось, чтобы его сознание пользовалось только собственными ресурсами.

— Ясно. Еще что?

— Мы бы с ним побеседовали... Я не уверен, что следовало бы вмешиваться лично мне. Хорошо, если бы он подольше думал, что находится в полиции. Потом, конечно, следует ему сообщить, что он, собственно, у нас. Было бы желательно заметить, что это ничуть не освобождает его от обвинения...

— Да... — сказал Фрост. — Плохо то, что вы полагаетесь только на страх.

— Страх? — переспросил и. о., будто никогда не слышал этого слова. — Я не вполне улавливаю ход вашей мысли. Насколько мне помнится, вы не поддерживали мисс Хардкасл, когда она намекала на прямое вмешательство... если я ее правильно понял.

— А вы, наверное, хотели подсунуть ему таблетки?

Уизер тихо вздохнул и ничего не ответил.

— Ерунда, — сказал Фрост. — Под влиянием стимуляторов мужчину тянет не к жене. Я говорю, нельзя полагаться на один страх. За много лет я пришел к выводу, что результаты его непредсказуемы, пациент может вообще утратить способность к действию. Есть другие средства. Есть похоти.

— Я все же не совсем понимаю вас. Вы только что...

— Не те, посильнее...

Уизер на Фроста не глядел, но кто-то из них постепенно двигал свой стул, и сейчас они сидели рядом, почти касаясь друг друга коленями.

— Я беседовал с Филострато, — тихо и четко выговорил Фрост. — Он бы понял меня, если бы знал. Присутствовал и ассистент, Уилкинс. Ни тот ни другой не проявили интереса.

Им важно одно: голова живет. Что она говорит, для них значения не имеет. Я зашел очень далеко. Я спрашивал их, почему же она мыслит, откуда берет сведения. Ответа не было.

— Вы полагаете,— сказал Уизер,— что мистер Стэддок окажется восприимчивее?

— Именно,— сказал Фрост.— Вы-то знаете, что нам нужна не столько власть над Англией, сколько люди, личности. Самая сердцевина человека, преданная делу, как мы с вами... Вот чего хотим мы, вот чего от нас требуют. Пока что мы немногого добились.

— Вы считаете, Стэддок подойдет?

— Да,— сказал Фрост.— Они с женой интересны как пара, в генетическом плане. Кроме того, человек такого типа не окажет сопротивления.

— Я всегда стремлюсь к единству,— сказал Уизер.— Я стремлюсь к возможно более тесным связям... э-э... переходящим, я бы сказал, пределы личности. К взаимопроникновению, к истинному поглощению... Словом, я с превеликой радостью приму... впитаю... вберу в себя этого молодого человека.

Теперь они сидели так близко, что лица их соприкасались, словно они вот-вот поцелуются. Фрост подался вперед, пенсне его сверкало, глаз не было видно. Уизер обмяк, рот у него был открыт, губа отвисла, глаза слезились, как будто он сильно выпил. Плечи его мелко тряслись; вдруг он захихикал. Фрост лишь улыбался, но улыбка его становилась все холодней и шире. Он схватил Уизера за плечо. Раздался стук. Большой справочник упал на пол. Два старых человека раскачивались, крепко обхватив друг друга. И постепенно, мало-помалу, начавшись со слабого визга, разрастался нелепый, дикий, ни на что не похожий, скорее звериный, чем старческий, смех.

3

Когда Марка вывели в дождь из полицейской машины и быстро затолкали в маленькую, ярко освещенную комнату, он не знал, что он в Бэлбери, а если бы и знал, не испугался, ибо думал не о том. Он был уверен, что его повесят.

Никогда еще он не был вблизи от смерти; и сейчас, взглянув на свою руку (он потирал руки, было холодно), он подумал, что вот эта самая рука, с желтым табачным пятном на указательном пальце, будет скоро рукой трупа, а потом — скелета. Ему даже не стало страшней, хотя на телесном уровне признаки страха были. Его потрясла немыслимость всего этого. Да, это было немыслимо, но совершенно реально.

Потом он вспомнил мерзкие подробности казней, сообщенные ему Феей, но этого сознание уже не вместило. Какие-то смутные образы мелькнули перед ним и сразу исчезли. Вернулась главная мысль, мысль о смерти. Перед ним встала проблема бессмертия, но и она его не тронула. При чем тут будущая жизнь? Счастье в другом, бесплотном мире (ему не приходило в голову, что там может быть и несчастье) не утешало его. Важно было одно: его убьют. Это тело — слабое, жалкое, совершенно живое тело — станет мертвым. Есть душа или нет, теперь неважно. Тело сопротивлялось, и больше ни для чего не оставалось места.

Марку стало трудно дышать, и он посмотрел, нет ли здесь хоть какой вентиляции. Над дверью была какая-то решетка. Собственно, кроме двери и решетки вообще ничего не было. Белый пол, белый потолок, белые стены, ни стула, ничего, и яркий свет.

Что-то во всем этом подсказало ему правду; но промелькнувшая надежда сразу угасла. Какая, в сущности, разница, избавятся они от него при помощи властей или сами, как от Хинджеста? Теперь он понял, что с ним тут творилось. Конечно, все они, его враги, ловко играли на страхах и надеждах, чтобы довести его до полного холуйства, а потом — убить, и если он не выдержит, и если он отслужит свое. Как же он раньше не видел? Как мог он подумать, что чего-нибудь добьется от этих людей?

Нет, какой же он дурак, какой неразвитый болван! Он сел на пол, ноги у него не стояли, словно он прошел двадцать пять миль. Почему он поехал в Болбери тогда, вначале? Неужели нельзя было понять из первого разговора с Уизером, что здесь —

ложь на лжи, интриги, грызня, убийства, а тем, кто проиграл, пошады нет? Он вспомнил, как Феверстон произнес: «От романтики не вылечишь». Да, вот почему он поймался — Уизера хвалил Феверстон. Как же он поверил ему, когда у него акулья пасть, и он такой наглый, и никогда не глядит тебе в лицо? Джейн или Димбл раскусили бы его сразу. На нем просто написано «подлец». Купиться могут только марионетки, вроде Кэрри и Бээби. Но ведь сам он, Марк, до встречи с Феверстоном не считал их марионетками. Очень ясно, сам себе не веря, он вспомнил, как льстило ему, что он стал для них своим. Еще труднее было поверить, что гораздо раньше, в самом начале, он глядел на них чуть не с трепетом и пытался уловить их слова, прячась за книгой, и мечтал, всей душой мечтал, чтобы кто-нибудь из них сам подошел к нему. Потом, через несколько долгих месяцев, это случилось. Марк вспомнил, как он — чужак, стремящийся стать своим, — выпивает и слушает гадости с таким восторгом, словно его допустили в круг земных царей. Неужели этому не было начала? Неужели он всегда был болваном? И тогда, в школе, когда он перестал учиться, и чуть не умер с горя, и потерял единственного друга, пытаясь попасть в самый избранный круг? И в самом детстве, когда бил сестру за то, что у нее есть секреты с соседской девочкой?

Он не мог понять, почему не видел этого раньше. Он не знал, что такие мысли часто стучались к нему, но он не впускал их, ибо тогда пришлось бы переделать заново все, с самого начала. Сейчас запреты эти исчезли, потому что ничего нельзя было сделать. Его повесят. Жизнь окончена. Паутину можно смахнуть, ведь иначе жить не придется, уже не нужно платить по счету, предьявленному истиной. Вероятно, Фрост и Уизер не предвидели, что испытания страхом смерти дадут такой результат.

Никаких нравственных соображений у Марка сейчас не было. Он не стыдился своей жизни, он сердился на нее. Он видел, как сидит в кустах, подслушивая беседы Миртл с Памелой и не разрешая себе думать о том, что ничего интересного в них нет. Он видел, как убеждает себя, что ему очень весело со школьными кумирами, когда ему хотелось погулять с Пирсо-

ном, которого так больно было бросить. Он видел, как прилежно читает похабщину и пьет, когда тянет к лимонаду и классикам. Он вспоминал, сколько сил и времени тратил на каждый новый жаргон, как притворялся, что ему что-то интересно или известно, как отрывал от сердца почти все, к чему был действительно привязан, как унизительно уверял себя, что вообще можно общаться с теми, школьными, или с теми, в Брэктоне, или с этими, в ГНИИЛИ. Делал ли он когда-нибудь то, что любит? Хотя бы ел, пил? Ему стало себя жалко.

В обычных условиях он бы свалил на что-нибудь вину за эту пустую, нечистую жизнь и успокоился. Но сейчас ему не припомнились ни система, ни комплекс неполноценности, в котором виноваты родители, ни нынешнее время. Он никогда не жил своими взглядами, они были связаны лишь с тем внешним обличьем, которое сейчас с него сползало. Теперь он знал, о том не думая, что он, и только он, выбрал мусор и битые бутылки, пустые жестянки, мерзкий пустырь.

Нежданная мысль настигла его — он подумал, что Джейн будет лучше, когда он умрет. Четыре раза в его жизни пустырю угрожало вторжение извне: Миртл в детстве, Пирсон в школе, Деннистон в университете, потом — Джейн. Сестру он победил, когда стал гениальным братом, у которого такие друзья. Ее восторги и вопросы подстегивали его; но, пересадив этот цветок на пустырь, он утратил возможность мерить себя другой меркой. Пирсона и Деннистона он бросил. Теперь он знал, что собирался он сделать с Джейн: она должна была стать дамой из дам, к которой вхожи только самые избранные, но и те заискивают перед ней. Что ж, ей повезло... Теперь он знал, какие родники, и ручьи, и реки радости, какие лошины и луга, и зачарованные сады были от него скрыты. Он и сам не мог проникнуть к ней, и ее не мог испортить. Она ведь из таких, как Пирсон, Деннистон, Димбл, — из тех, кто умеет просто любить, ни к чему не подлаживаясь. Она не похожа на него. Хорошо, что она от него избавится.

В эту минуту он услышал, как поворачивается ключ в скважине. Все мысли исчезли; остался только ужас. Марк вскочил

и прислонился к стене рядом с дверью, словно мог спрятаться от того, кто войдет.

Вошел человек в сером костюме. Он посмотрел на Марка, но стекла пенсне скрыли его взгляд. Марк его узнал. Теперь он не сомневался, что находится в Бэлбери, но не это потрясло его. Профессор Фрост стал совсем другим. Все было прежним — и борода, и белый лоб, и четкие черты, и холодная улыбка. Но Марк не мог понять, как же он не видел того, от чего убежал бы с воплем любой ребенок, а собака, глухо рыча, забилась бы в угол. Сама смерть была не так страшна, как мысль о том, что несколько часов тому назад он, в каком-то смысле, верил этому человеку, искал его общества и даже убеждал самого себя, что с ним интересно.

Глава XII

НЕНАСТНАЯ НОЧЬ

1

- Здесь никого нет, — сказал Димбл.
- Только что был, — сказал Деннистон.
- Вы действительно кого-то видели? — спросил Димбл.
- Кажется, видел, — отвечал Деннистон.
- Тогда он далеко уйти не мог, — сказал Димбл.
- Может, кликнем его? — предложил Деннистон.
- Тише! — сказала Джейн, и они помолчали.
- Там просто осел гуляет, — сказал Димбл. — Вон, наверху. Они помолчали снова.
- Что тут с этими спичками? — сказал Деннистон, глядя на истоптанную землю у костра. — Зачем бродяге их разбрасывать?
- С другой стороны, — сказал Димбл, — не мог же Мерлин принести их из пятого века!
- Что нам делать? — спросила Джейн.
- Страшно подумать, — сказал Деннистон, — что скажет Макфи...

— Лучше нам сесть в машину и поискать белые ворота,— сказал Димбл.— Куда вы смотрите, Артур?

— На следы,— сказал Деннистон, отошедший немного в сторону.— Вот! — Он посветил фонариком.— Здесь было несколько человек. Нет, не идите, затопчете! Смотрите. Неужели не видите?

— А это не наши следы?

— Нет, они не в ту сторону. Вот... и вот.

— Может, это бродяга?

— Если бы он пошел туда, мы бы его видели,— сказала Джейн.

— Он мог уйти раньше,— сказал Деннистон.

— Но мы же его видели! — сказала Джейн.

— Пойдем по следу,— предложил Димбл.— Вряд ли мы зайдем далеко... Если следы оборвутся, вернемся на дорогу, будем искать ворота.

Вскоре глина сменилась травой, следы исчезли. Они дважды обошли ложбину, не нашли ничего и вернулись на дорогу. Было очень красиво, на небе сверкал Орион.

2

Уизер почти не спал. Когда это было необходимо, он принимал снотворное, но такое случалось нечасто, ибо и днем и ночью он жил жизнью, которую трудно назвать бодрствованием. Он научился уводить куда-то большую часть сознания и соприкасался с миром едва ли четвертью мозга. Цвета, звуки, запахи и прочие ощущения били по его чувствам, но не достигали души. Манера его, принятая с полвека тому назад, работала сама собой, как пластинка, и он препоручал ей и беседы с людьми, и рутину заседаний. Так слагалась изо дня в день знакомая всем личина, а сам он жил другой, собственной жизнью. Он достиг того, к чему стремились многие мистики,— дух его освободился не только от чувств, но и от разума.

Итак, он не спал, когда Фрост покинул его и ушел к Марку. Всякий, кто заглянул бы в кабинет, увидел бы, что он сидит за

столом, склонив голову и сцепив руки. Глаза его закрыты не были. Не было и выражения на лице, ибо находился он не здесь. Мы не знаем, страдал ли он там, наслаждался или испытывал что-нибудь иное, что испытывают такие души, когда нить, связующая их с естественным течением жизни, натянута до предела, но еще цела. Когда у его локтя зазвенел телефон, он сразу взял трубку.

— Слушаю, — сказал он.

— Это Стоун, сэр. — послышалось в трубке. — Мы нашли то место.

— Да...

— Там ничего нет, сэр.

— Ничего нет?

— Да, сэр.

— Вы уверены, дорогой мой, что не ошиблись? Вполне допустимо...

— Уверен, сэр. Это склеп. Каменный, но есть и кирпич. В середине — возвышение, вроде кровати или алтаря.

— Правильно ли я вас понял? Вы говорите, что там ничего нет и ничего не было?

— Нам показалось, сэр, что недавно туда лазали.

— Прошу вас, выражайтесь как можно точнее.

— Понимаете, сэр, там есть выход... такой тоннель, он ведет к югу. Мы по нему пролезли. Он выходит наружу далеко, уже за лесом.

— Выходит наружу? Вы хотите сказать, что имеется вход... Отверстие или дверь?

— В том-то и дело, сэр! Наружу мы вышли, но никаких дверей там нет. Похоже, что их взорвали. Точнее, вид такой, словно кто-то оттуда вылетел. Мы совсем замучились.

— Так, так... Что вы сделали, когда вышли?

— То, что вы сказали, сэр. Я собрал всех полицейских, какие были поблизости, и послал их искать этого человека.

— Ага, ага... Как же вы его описали?

— Точно так, как вы мне описывали, сэр: старик с длинной или грубо остриженной бородой, в мантии или другой необыч-

ной одежде. Мне пришло в голову, сэр, что он может быть и без одежды.

— Почему же вам это пришло в голову?

— Видите ли, сэр, я не знаю, как долго он там пробыл, но я слышал, что одежда может рассыпаться при соприкосновении с воздухом. Вы не думайте, я понимаю, что дело не мое. Но мне показалось...

— Вы совершенно правильно полагаете, — сказал Уизер, — что малейшее любопытство с вашей стороны может привести к тяжелым последствиям. Для вас, для вас, я пекусь о ваших интересах... учитывая ваше... э-э-э... щекотливое положение...

— Большое спасибо, сэр. Я очень рад, что вы со мной согласились насчет одежды.

— Ах, насчет одежды! Сейчас не время обсуждать этот вопрос. Что же вы приказали своим людям, если они найдут это... э... лицо?

— С одной партией, сэр, я послал моего помощника, отца Дойла, он знает лагерь. Кроме того, я позвонил инспектору Рэнгу, как вы мне сказали, и поручил ему еще несколько человек. В третью партию я включил нашего сотрудника, который знает валлийский язык.

— Вы не подумали о том, чтобы самому возглавить одну из партий?

— Нет, сэр. Вы сказали, чтобы я сразу звонил, если мы что-нибудь найдем. Я не хотел терять времени.

— Понятно, понятно... Что ж, ваши действия можно истолковать и так. Вы хорошо объяснили, как бережно, если вы меня понимаете, нужно обращаться с этим... э-э-э... лицом?

— Очень хорошо, сэр.

— М-да... Что ж, в определенной степени я могу надеяться, что сумею представить ваши действия в надлежащем свете тем из наших коллег, чьего расположения вы так неосмотрительно лишились. Вы меня поймите, мой дорогой! Если бы мне удалось склонить на вашу сторону, скажем, мисс Хардкасл или мистера Стэддока... убедить их в ваших... а... э... вам не пришлось бы беспокоиться о своем будущем и своей... э-э... безопасности.

— А что мне сейчас делать, сэр?

— Мой молодой друг, помните золотое правило. В том исключительном положении, к которому привели ваши прежние промахи, губительны лишь две ошибки: с одной стороны, вам ни в коей мере нельзя терять инициативы, предприимчивости. С другой стороны, малейшее превышение своих полномочий, малейшее нарушение границ вверенного вам круга действий может вызвать последствия, от которых я не сумею вас защитить. Если же вы избежите и той и другой крайности, вам беспокоиться не о чем.

Не ожидая ответа, он повесил трубку и позвонил в звонок.

3

— Где же эти ворота? — сказал Димбл.

Дождь перестал, было много светлее, но ветер дул так сильно, что приходилось кричать. Живая изгородь, мимо которой они шли, металась на ветру, и ветви ее хлестали по звездам.

— Мне казалось, тут ближе, — сказал Деннистон.

— И суше, — сказала Джейн.

— Правда, — сказал Деннистон, останавливаясь. — Здесь много камней. Мы не там, где были.

— Мне кажется, — мягко сказал Димбл, — мы там же. Когда мы вышли из рошицы, мы свернули немного левее, и я помню...

— А может, мы вылезли из лошины с другой стороны? — предположил Деннистон.

— Если мы сейчас пойдем иначе, — сказал Димбл, — мы будем кружить всю ночь. Не надо. В конце концов мы выйдем на дорогу.

— Ой! — воскликнула Джейн. — Что это?

Все прислушались. Из-за ветра казалось, что быстрые, мерные удары раздаются далеко, но почти сразу большая лошадь пронеслась мимо них. Они отскочили к изгороди. Грязь из-под копыт окатила Деннистона.

— Остановите ее! — кричала Джейн. — Остановите! Скорей!

— Зачем? — спросил Деннистон, вытирая лицо.

— Крикните вы, доктор Димбл! — волновалась Джейн. — Пожалуйста! Вы не видите?

— Что я должен видеть? — с трудом выговорил Димбл, когда все они, заразившись волнением от Джейн, побежали за лошадью.

— На ней человек, — сказала Джейн, задышавшись. Она совсем выбилась из сил и потеряла туфлю.

— Человек? — повторил Деннистон и тут же крикнул: — Господи! Так и есть! Вон, вон, слева от вас...

— Мы его не догоним, — сказал Димбл.

— Стой! Мы друзья! Amis! Amici!* — надрывался Деннистон.

Димбл кричать не мог. Он был стар, утомился еще за день, а теперь с его сердцем происходило именно то, значение чего врачи объяснили ему несколько лет назад. Этого он не испугался, но кричать не мог, тем более — на древнем языке. Пока он стоял, пытаясь отдышаться, Деннистон и Джейн снова воскликнули: «Смотрите!» — и он увидел высоко среди звезд огромного коня, летящего через изгородь, и огромного человека на коне. Джейн показалось, что человек оглянулся, словно смеясь над ними. Грязь громко чавкнула, и перед ними остались только ветер и звезды.

4

— Вы в большой опасности, — сказал Фрост, заперев двери. — С другой стороны, перед вами открываются великие возможности.

— Значит, я не в полиции, а в институте, — сказал Марк.

— Да. Опасность от этого не меньше. Скоро институт получит официальное право на ликвидацию. Он и сейчас им пользуется. Мы ликвидировали Хинджеста и Комтона.

— Если вы убьете меня, зачем этот фарс с обвинением?

* Друзья! (фр., лат.)

— Прежде всего, попрошу вас: будьте строго объективны. Досада и страх — результат химических процессов, как и все наши реакции. Смотрите на свои чувства с этой точки зрения. Не давайте им уводить вас в сторону от фактов.

— Ясно,— сказал Марк. Ему было важно одно: во что бы то ни стало сохранить свой новый взгляд; а он ощущал, что где-то шевелится прежнее неискреннее полудоверие.

— Обвинение мы включили в программу со строго определенной целью,— сказал Фрост.— Через такие испытания проходит всякий, прежде чем стать своим.

Сердце у Марка сжалось снова — несколько дней назад он проглотил бы любой крючок с такой наживкой. Только близость смерти дала ему увидеть, как все это мелко. То есть сравнительно мелко... ведь и сейчас...

— Не вижу, к чему вы клоните,— сказал он.

— Подойдем объективно. Люди, связанные субъективными чувствами приязни или доверия, прочного круга не создадут. Как я уже говорил, чувства зависят от химических процессов. В принципе, их можно вызвать уколами. Вы должны пройти серию противоречащих друг другу чувств к Уизеру и другим, чтобы дальнейшее сотрудничество вообще на чувствах не базировалось. Если уж выбирать, более конструктивна неприязнь. Ее не спутаешь с так называемой сердечной привязанностью.

— Дальнейшее сотрудничество? — сказал Марк, притворяясь, что обрадовался. Это было нетрудно. Прежнее могло вот-вот вернуться.

— Да,— сказал Фрост.— Мы выбрали вас как возможного кандидата. Если вы испытаний не пройдете, мы будем вынуждены вас ликвидировать. Я не играю на ваших страхах. Они смазали бы ход процесса. Самый процесс совершенно безболезнен, ваши нынешние реакции — чисто физические.

Марк посмотрел на него и сказал:

— Это... это очень хорошо.

— Если хотите,— сказал Фрост,— я дам вам необходимую информацию. Начну с того, что линию института не определяем ни Уизер, ни я.

— Алькасан? — спросил Марк.

— Нет. Филострато и Уизер ошибаются. Несомненно, честь им и слава, что он не разложился. Но говорим мы не с ним.

— Значит, он и правда... мертв? — спросил Марк.

Притворяться не пришлось, он очень удивился.

— При нынешнем развитии науки на этот вопрос ответа нет. Быть может, он вообще не имеет смысла. Артикуляционный аппарат Алькасана используется другим разумом. Теперь слушайте внимательно... Вы, наверное, не слышали о макробах.

— О макробах? — удивился Марк. — Ну что вы...

— Я сказал не «микробы», а «макробы». Слово говорит само за себя. Мы давно знаем, что существуют организмы ниже уровня животной жизни. Их действия всегда оказывали немалое влияние на людей, но о них ничего не знали, пока не изобрели микроскоп.

— И что же? — спросил Марк. Любопытство подмывало снизу его недавнюю решимость.

— Сообщу вам, что соответствующие организмы существуют и выше уровня животной жизни. Слово «выше» я употребляю не в биологическом смысле, структура макроба весьма проста. Я имею в виду иное: они долговечней, сильнее и умнее животного мира.

— Умнее обезьян? — сказал Марк. — Тогда это почти люди!

— Вы меня не поняли. В животный мир я, естественно, включаю человека. Макробы умнее нас.

— Почему же мы с ними не общаемся?

— Мы общаемся. Но прежде это происходило нерегулярно и натыкалось на серьезные препятствия. Кроме того, умственный уровень человека не представлял тогда особого интереса для макробов. Общение, повторю, было редким, но влиять на людей они влияли. На историю, скажем, они воздействовали гораздо больше, чем микробы. Теперь мы знаем, что всю историю следовало бы переписать. Истинные причины событий историкам неизвестны. Потому историю и нельзя считать наукой.

— Разрешите, я присяду, — сказал Марк и снова сел на пол. Фрост стоял прямо, опустив руки по швам.

— Мозг и артикуляционный аппарат Алькасана, — продолжал он, — служат проводниками в общении макробов с людьми. Круг, в который вас, быть может, примут, знает сотрудничество двух этих видов, создавших уже сейчас совершенно новую ситуацию. Как вы увидите, этот скачок гораздо больше, чем превращение обезьяны в человека. Точнее будет сравнить его с возникновением жизни.

— Надо понимать, — сказал Марк, — что эти организмы благосклонны к людям?

— Если вы подумаете хотя бы минуту, — сказал Фрост, — вы поймете, что ваше высказывание имеет смысл разве что на уровне грубейшего обыденного мышления. И добрые, и злые чувства — результат химических процессов. Они предполагают организм нашего типа. Первые же шаги к контакту с макробами покажут вам, что многие ваши мысли — вернее, то, что вы мыслями считали, — побочный продукт чисто телесных процессов.

— Я хотел сказать, их цели совпадают с нашими?

— Что вы называете нашими целями?

— Ну... овладение природой... уничтожение войн, нищеты и других регрессивных явлений... в общем, сохранение и развитие человеческого рода.

— Не думаю, что псевдонаучный язык существенно меняет давно отжившую этику. Но к этому я вернусь позднее. Сейчас замечу, что сохранение человеческого рода вы трактуете неверно. Вы просто прикрываете обобщениями субъективные чувства.

— В конце концов, — сказал Марк, — уже для одного овладения природой нужно очень много людей. Если же создается избыток населения, не войнами же его уменьшать.

— Ваша идея — пережиток условий, исчезающих на наших глазах, — сказал Фрост. — Прежде действительно было необходимо большое количество крестьян, и война наносила урон экономике. Теперь необразованные слои общества становятся балластом. Современные войны ликвидируют отсталый элемент, оставляя в неприкосновенности технократов и усиливая их власть. Сравним наш вид с неким животным, которое нашло

способ упростить процессы питания и движения и больше не нуждается в сложных органах. Тем самым и тело его упростится. В наше время, чтобы поддерживать мозг, достаточно одной десятой части тела. Индивидуум, собственно, станет головой. Род человеческий станет технократией.

— Понятно, — сказал Марк. — Я, правда, думал, что интеллектуальное ядро общества будет увеличиваться за счет образования.

— Чистая химера. Подавляющее большинство людей способно только получать информацию. Их невозможно научить той полной объективности, которая нам нужна. Они всегда останутся животными, воспринимающими мир сквозь туман субъективных реакций. Но если бы они и смогли перемениться, время больших популяций прошло. То был кокон, в котором созрел человек-технократ, обладающий объективным мышлением. Теперь этот кокон не нужен ни макробам, ни тем избранникам, которые могут с ними сотрудничать.

— Значит, две мировые войны вы бедами не считаете?

— Напротив. Было бы желательно провести не менее шестнадцати больших войн. Я понимаю, какие эмоциональные, то есть — химические реакции вызывает это утверждение, и вы зря расходуете силы, пытаясь их скрыть. Я не предполагаю, что вы уже способны владеть такими процессами. Фразы этого типа я произношу намеренно, чтобы вы постепенно приучились смотреть на вещи с чисто научной точки зрения.

Марк смотрел на пол. На самом деле он не испытал почти никаких чувств и даже удивился, обнаружив, как мало трогают его рассуждения о далеком будущем. Сейчас ему было не до того. Он был поглощен борьбой между твердым решением не верить, не поддаваться — и сильной, как прилив, тягой совсем иного рода. Наконец перед ним именно тот, избранный круг, такой избранный, что центр его даже вне человечества. Тайна из тайн, высшая власть, последняя инициация. Гнусность всего этого ничуть не уменьшала притягательности. Он подумал, что Фрост знает все о его смятении, о соблазне, об убывающей решимости и ставит на соблазн.

Какие-то звуки за дверью стали громче, и Фрост крикнул:
— Пошли вон!

Но там не успокоились, кто-то на кого-то орал, стучались еще громче. Фрост, широко улыбаясь, открыл дверь. Ему сунули в руку записку. Он прочитал ее, вышел, не глядя на Марка, и повернул ключ в замке.

5

— Как же они у нас дружат! — сказала Айви Мэгте, глядя на мистера Бультитьюда и кошку по имени Пинчи. Медведь сидел у очага, привалившись к теплой стене, а кошка, нагулявшись по кухне, долго терлась о его живот и наконец улеглась между задними лапами. Щеки у него были толстые, глазки — маленькие, и казалось, что он улыбается. Барон Корво, так и не слетевший с хозяйского плеча, спал, сунув голову под крыло.

Миссис Димбл еще не ложилась. Тревога ее достигла той степени, когда любая мелочь грозит раздражением. Но по ее лицу никто бы этого не понял. За столько лет она научилась обуздывать волю.

— Когда мы говорим о них «дружат», — сказал Макфи, — мы уподобляем их людям. Трудно уберечься от иллюзии, что у них есть личность в нашем смысле слова. Но доказательств этого у нас нет.

— Чего же ей тогда от него нужно? — спросила Айви.

— Бьть может, ее тянет к теллу, — сказал Макфи, — она укрывается от сквозняка. Вероятно, играют роль и преобразенные сексуальные импульсы.

— Ну, знаете! — сказала Айви. — И не стыдно, про смирных зверей! В жизни я не видела, чтоб наш Бультитьюд или Пинчи, бедняжка...

— Я сказал «преобразенные», — поправил ее Макфи. — Им приятно тереться друг о друга. Возможно, паразиты в их волосяном покрове...

— Это что, блохи? — воскликнула Айви. — Да вы знаете не хуже меня, какие они чистенькие!

Она была права, ибо сам же Макфи облачался ежемесячно в комбинезон и купал медведя в ванне, намыливал от хвоста до носа, долго поливал теплой водой и насухо вытирал. Занимало это целый день, и он никому не разрешал помогать себе.

— А вы как думаете, сэр? — спросила Айви Рэнсома.

— Я? — откликнулся он. — По-моему, Макфи вносит в их жизнь различия, которых там нет. Надо стать человеком, чтобы отличить ощущения от чувств — точно так же, как нужно обрести духовное начало, чтобы отличить чувства от любви. Кошка и медведь их не различают, они испытывают нечто единое, где есть зародыши и дружбы, и физической потребности.

— Я не отрицаю, что им приятно быть вместе... — начал Макфи.

— А я что говорила! — восклицала тем временем Айви Мэггс.

— ...но хочу разобраться в этой проблеме, — продолжал Макфи, — так как она связана с одним серьезным заблуждением. Система, принятая в этом доме, основана на лжи.

Грейс Айронвуд открыла глаза (она почти дремала до сих пор), а матушка Димбл шепнула Камилле: «Господи, пошел бы он спать!...»

— Что вы имеете в виду? — спросил Рэнсом.

— Вот что. Мы, с переменным успехом, пытаемся проводить некую линию, которую последовательно выдержать нельзя. Медведя держат в доме, кормят яблоками, медом...

— Вот это да! — сказала Айви. — И кто же его кормит, как не вы?

— Итак, — сказал Макфи, — медведя перекармливают и держат, повторяю, в доме, а свиней держат в хлеву и убивают. Я хотел бы узнать, где тут логика.

— Чепуха какая, — сказала Айви Мэггс, растерянно глядя то на улыбающегося Рэнсома, то на серьезного Макфи. — Кто же это из медведя делает ветчину?!

Макфи нетерпеливо взмахнул рукой, но ему помешали говорить смех Рэнсома и сильный порыв ветра, от которого задрожали окна.

— Как им тяжело! — сказала миссис Димбл.

— Я люблю такую погоду, — сказала Камилла. — Люблю гулять, когда ветер и дождь. Особенно в холмах.

— Любите? — удивилась Айви. — А я — нет. Вы послушайте, как вост. Я бы тут одна не могла, без вас, сэр. Мне все кажется, в такую погоду они к вам приходят.

— Им безразлична погода, Айви, — сказал Рэнсом.

— Никак не пойму, сэр, — сказала Айви. — Ваших я очень боюсь, а Бога — нет, хотя Он вроде бы пострашней.

— Он был пострашней, — сказал Рэнсом. — Вы правы, Айви, с ангелами человеку трудно, даже если и ангел добрый, и человек. Апостол об этом пишет. А с Богом теперь иначе, после Вифлеема.

— Скоро и Рождество, — сказала Айви, обращаясь ко всем.

— Мистер Мэггс уже будет с нами, — сказал Рэнсом.

— Через два дня, сэр, — сказала Айви.

— Неужели это только ветер? — спросила Грэйс Айронвуд.

— Мне кажется, это лошадь, — сказала миссис Димбл.

Макфи вскочил.

— Пусти, Бульгитьюд, — сказал он. — Дай возьму сапоги.

Он бормотал что-то еще, натягивая макинтош, но слов никто не разобрал.

— Не дадите ли вы костыль, Камилла? — сказал Рэнсом. — Подождите, Макфи, мы выйдем к воротам вместе. Женщины останутся здесь.

Четыре женщины не двинулись, а двое мужчин стояли через минуту в больших сенях. Ветер колотил в дверь, и нельзя было понять, стучится ли в нее человек.

— Откройте, — сказал Рэнсом. — И встаньте позади меня.

Макфи не сразу отодвинул засовы. Мы не знаем, собирался ли он отойти потом назад, но ветер отшвырнул дверь к стене, и его зажало между стеной и дверью. Рэнсом стоял неподвижно, опираясь на костыль. Свет, идущий из кухни, высветил на фоне черного неба огромного коня. Морда его была в пене, желтые зубы скалились, алые ноздри раздувались, глаза горели, уши трепетали. Он подошел так близко, что передние копыта стояли на пороге. На нем не было ни седла, ни узды, ни стремян; но в эту самую минуту с него спрыгнул огромный человек. Лицо

его закрывала разметанная ветром рыже-седая борода; и лишь когда он сделал шаг, Рэнсом увидел куртку цвета хаки, обтрепанные штаны и рваные ботинки.

6

В большой комнате, где горел камин, сверкало на столиках вино и серебро, а посередине стены стояло огромное ложе. Уизер смотрел, как четыре человека бережно, словно слуги или врачи, несут на носилках длинный сверток. Когда они опустили его на постель, Уизер еще шире открыл рот, и хаос его лица сменился на минуту чем-то человеческим. Он увидел голое тело. Незнакомый был жив, хотя и без сознания. Уизер приказал положить ему к ногам грелку и поднять на подушки голову. Когда все это сделали и он остался наедине с прибывшим, и о. придвинул кресло к кровати и принялся смотреть. Голова была большая, но казалась еще больше из-за бурой спутанной бороды и шапки бурых волос. Лицо было выдублено непогодой, шея — вся в морщинах. Человек лежал, закрыв глаза, и как будто бы улыбался. Уизер смотрел на него и так и сяк, менял угол, зашел сзади, словно искал и не мог найти какой-то черты. Через четверть часа в комнату мягко вошел профессор Фрост.

Он посмотрел на незнакомца сперва с одной, потом — с другой стороны кровати.

— Спит он? — спросил Уизер.

— Не думаю, скорее — что-то вроде транса. Где они его нашли?

— В ложбине, за четверть мили от выхода. Выследили по следу босых ног.

— Склеп пустой?

— Да. Стоун звонил мне.

— Вы распорядитесь насчет Стоуна?

— Да, да. А что вы о нем думаете?

— Я думаю, это он, — сказал Фрост. — Место верное. Отсутствие одежды трудно объяснить иначе. Череп такой, как я и полагал.

— Но лицо...

— Да, лицо не совсем такое...

— Я был уверен, — сказал и. о., — что узнаю посвященного, и даже того, кто может им стать. Вы меня понимаете... Сразу видно, что Стэддок или Стрэйк подойдут, а мисс Хардкасл, при всех ее превосходных качествах...

— Да. Вероятно, надо быть готовыми к тому, что он... не-отесан. Кто знает, какие у них тогда были методы?

— Быть может, опыт опасней, чем нам казалось.

— Я давно вас прошу, — сказал Фрост, — не вносить в научное обсуждение эмоциональных элементов.

И оба они замолчали, ибо новоприбывший открыл глаза.

От этого лицо его обрело смысл, но понятней не стало. По всей вероятности, он на них смотрел, но неизвестно, видел ли. Уизеру показалось, что главное в этом лице — осторожность. Не напряженность и не растерянность, а привычная, бесстрастная настороженность, за которой должны стоять долгие годы мирно и даже весело принимаемых передраг.

Уизер встал и откашлялся.

— *Magister Merline*, — сказал он. — *Sapientissime britonum secreti secretorum possesor, incredibilii quondio afficimur quod te in domum nostrum accipere nobis... ah... contingit. Scito nos etiam baud imperitos esse magnam artis... et... ut ita dicam...*

Голос его утас. Было слишком ясно, что голый человек не обращает на его слова никакого внимания. Быть может, он не так произносит? Нет, новоприбывший, судя по лицу, просто не понимает и даже не слушает.

Фрост взял графин, налил бокал вина и поднес его гостю с низким поклоном. Тот взглянул на вино то ли лукаво, то ли нет и сел, являя мохнатую грудь и могучие руки. Он указал пальцем на столик. Фрост тронул другой графин; гость покачал головой.

— Я полагаю, — сказал Уизер, — что наш уважаемый... э-э... друг указывает на кувшин. Не знаю, что они там поставили...

— Пиво... — сказал Фрост.

— Маловероятно... хотя... мы плохо знакомы с обычаями тех времен...

Фрост налил пива и поднес гостю. Загадочное лицо впервые осветилось. Гость отвел рукой усы и стал жадно пить. Голова его все больше откидывалась назад. Выпив все до капли, он утер губы тыльной стороной руки и глубоко вздохнул — то был первый звук, который он испустил за все время. Потом снова указал на столик.

Они подносили ему еду и пиво раз двадцать — Уизер подобострастно, Фрост бесшумно, как бывалый лакей. Ему предлагали разные яства, но он выказал предпочтение холодному мясу, пикулям, хлебу, сыру и маслу. Масло он ел с ножа. Вилки он явно не знал и мясо рвал руками, а кость сунул под подушку. Жевал он громко. Насвшись, он снова показал на пиво, выпил его в два глотка, утер губы пододеяльником, высморкался в руку и вроде бы собрался уснуть.

— Ah... eh... domine... — заторопился Уизер, — *nihil magis mihi displiceret quam ut tibi ullo modo... ah... molestiam essem. Altamen, venia tua...*

Гость не слушал. Трудно было определить, закрыты ли его глаза, или он смотрит из-под опущенных век, но разговаривать он не собирался. Фрост и Уизер обменялись недоуменным взглядом.

— Сюда нет другого входа? — спросил Фрост.

— Нет, — сказал Уизер.

— Пойдемте все обсудим. Дверь оставим открытой. Если она задвигается, мы услышим.

7

Когда Марк остался один, сперва он почувствовал облегчение. Он по-прежнему боялся, что с ним будет, но в самой сердцевине страха родилась странная легкость. Больше не надо завоевывать их доверие, раздуть жалкие надежды. Прямая борьба после такого множества дипломатических ошибок даже болдила. Конечно, он может проиграть, но сейчас он против них, и все тут. Он вправе говорить о «своей стороне». Он — с Джейн и со всем, что она воплощает. Собственно, он даже ее переиграл, она не участвует в битве...

Одобрение совести — очень сильное средство, особенно для тех, кто к нему не привык. За две минуты Марк перешел от облегчения к смелости, а от нее — к необузданной отваге. Он видел себя героем, мучеником, Джеком-победителем, беззаботно играющим на великаньей кухне, и образы эти обещали изгнать то, что он перевидал за последние часы. Не всякий, в конце концов, устоит против таких предложений. Как был бы он когда-то польщен!..

Как был бы он польщен... Внезапно, очень быстро, неведомая похоть охватила его. Те, кто ее испытал, сразу узнают, какое чувство трясло его, как собака трясет добычу: те, кто не испытал, ничего не поймут. Некоторые описывают такую похоть в терминах похоти плотской, и это очень много говорит, но лишь тем, кто испытал. С плотью это ни в малой мере не связано, хотя двумя чертами похоже на плотскую похоть, какой она становится в самых темных и глубоких подвалах своего запутанного, как лабиринт, дома. Словно плотская похоть, это лишает очарования все остальное. То, что Марк знал доселе: влюбленность, честолюбие, голод, вождление, наконец, — стало как слабый чай, как дешевая игрушка, на которую не потратишь и мельчайшего чувства. Бесконечное очарование новой, неведомой похоти всосало все другие страсти, и мир остался выцветшим, пресным, жухлым, словно брак без любви или мясо без соли. О Джейн он мог теперь думать только чувственно, но вождления к ней не испытывал, — змея эта стала жалким червяком, когда он увидел дракона. И еще одним это походило на плотскую похоть: развратному человеку незачем говорить, что кумиры его ужасны, ибо к ужасу его и тянет. Он стремится к безобразному, красота давно не возбуждает его, она стала для него слишком слабой. Так и здесь. Существа, о которых говорил Фрост (Марк не сомневался, что они — с ним, в комнате), губили и род человеческий, и всякую радость; но именно потому его влекло, тянуло, притягивало к ним. Никогда до сих пор он не знал, как велика сила того, что противно природе. Теперь он понял непонятные прежде картины, и объективность, о которой говорил Фрост,

и древнее вдовство. Перел ним встало лицо Уизера, и он с острой радостью увидел, что и тот понимает. Уизер знал.

Вдруг он вспомнил, что его, наверное, убьют. При этой мысли он снова увидел голые белые стены и яркий свет. Он заморгал. Где же он был только что? Конечно, ничего общего между ним и Уизером нет. Конечно, они его убьют в конце концов, если он чего-нибудь не измыслит. О чем же он думал, что чувствовал, если это забыл?

Постепенно он понял, что выдержал нападение и сумел ему воспротивиться; и тут его охватил еще один страх. В теории он был материалистом, но бессознательно, даже беспечно верил, что воля его свободна. Нравственные решения он принимал редко и, когда два часа назад решил не верить институтским, не сомневался, что это — в его власти. Ему и в голову не приходило, что кто-то может так быстро изменить до неузнаваемости его разум. Он знал, что волен передумать, а больше никаких помех не видел. Если же бывает так... Нет, это нечестно. Ты пытаешься, впервые в жизни, поступить правильно — так, что и Джейн, и Димбл, и тетя Джилли тебя бы одобрили. Казалось бы, мир должен тебя поддержать (полудикарский тезис был в Марке гораздо сильнее, чем он думал), а он, именно в эту минуту, покидает тебя! Значит, что-то в мире не так. Какие-то странные законы. Ты мучайся, а он...

Выходит, циники правы. И тут он остановился. Какой-то привкус сопровождал эти мысли. Неужели снова начинают? Нет, нет, не надо! Он сжал руки. Нет, ни за что! Он больше не выдержит. Если бы здесь была Джейн, или миссис Димбл, или Деннистон!.. Хоть кто-нибудь. «Не пускайте меня, не пускайте меня туда!» — сказал он, и еще раз, громче: «Не пускайте!» Все, что можно назвать им самим, вложил он в эту мольбу, и странная мысль, что карта — последняя, уже не испугала его. Больше делать было нечего. Сам того не зная, он разрешил мышцам расслабиться. Тело его очень измучилось и радовалось даже твердым доскам пола. Комната стала чистой и пустой, словно и она

устала от всего, что вынесла, — чистой, как небо после дождя, пустой, как наплакавшийся ребенок. Марк смутно подумал, что скоро рассвет, и заснул.

Глава XIII

ОНИ ОБРУШИЛИ НА СЕБЯ НЕБО

1

— Стой где стоишь, — сказал Рэнсом. — Кто ты и зачем пришел?

Оборванный великан склонил голову набок, словно хотел лучше расслышать. В ту же минуту ворвался ветер и захлопнул дверь в кухню, отделив троих мужчин от женщин. Незнакомец сошел с порога.

— *Sta*, — громко сказал Рэнсом. — *In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti dic mihi qui sis et quam vinisti.*

Незнакомец поднял руку и откинул волосы со лба. Свет падал на его лицо, и оно показалось Рэнсому беспредельно мирным. Все тело его было свободно, словно он спал. Стоял он очень тихо. Каждая капля дождя падала с его куртки туда, куда упала прежняя капля.

Секунды две он глядел на Рэнсома без особого любопытства; потом посмотрел налево, где, за входной дверью, откинутой ветром к стене, стоял Макфи.

— Выходи, — сказал он по-латыни.

Говорил он почти шепотом, но голос его был так звучен, что задрожали даже эти не поколебленные ветром стены. Еще больше удивило Рэнсома, что Макфи немедленно вышел. Незнакомец окинул его взглядом и обратился к Рэнсому:

— Раб, скажи хозяину этого дома, что я пришел.

Ветер, налетая сзади, рвал его одежду и волосы, но он стоял, как большое дерево. И говорил он так, как заговорило бы

дерсу,— медленно, терпеливо, неторопливо, словно речь текла по корням, сквозь глину и гравий, из глубин Земли.

— Я здесь хозяин,— отвечал Рэнсом на том же языке.

— Оно и видно,— сказал пришелец.— А этот жалкий раб — твой епископ.

Он не улыбнулся, но в глазах его мелькнула усмешка, и он повторил:

— Скажи своему господину, что я пришел.

— Ты хочешь,— спросил Рэнсом,— чтобы я сообщил об этом своим господам?

— В келье монаха и галка научится латыни,— сказал пришелец.— Покажи нам, как ты их кличешь, смерд.

— Мне понадобится другой язык,— сказал Рэнсом.

— Зови по-гречески.

— Нет, не греческий.

— Послушаем, знаешь ли ты еврейскую речь.

— И не еврейский.

— Что ж, если хочешь болтать, как варвары, я тебя переболтаю. То-то потеха!

— Быть может,— сказал Рэнсом,— язык этот покажется тебе варварским, ибо его не слышали давно. Даже в Нуминоре на нем говорили редко.

— Твои господа доверяют тебе опасные игрушки,— сказал пришелец и немного помолчал.— Плохо принимают гостей в этом доме. В спину мне дует ветер, а я долго спал. Ты видишь, я переступил порог.

— Закройте дверь, Макфи,— сказал Рэнсом по-английски.

Ответа не было, и, оглянувшись впервые, он увидел, что Макфи спит на единственном стуле.

— Что это значит? — спросил Рэнсом, остро глядя на пришельца.

— Если ты тут хозяин,— сказал тот,— ты знаешь и сам. Если ты не хозяин, должен ли я отвечать? Не бойся, я не причиню вреда этому рабу.

— Это мы скоро увидим, — сказал Рэнсом. — А пока входи, я не боюсь. Скорее, я боюсь, как бы ты не ушел. Закрой двери сам, ты видишь — у меня болит нога.

Не отрывая глаз от Рэнсома, пришелец отвел назад левую руку, нашупал засов и запер дверь. Макфи не шевельнулся.

— Кто же твои господа? — спросил пришелец.

— Господа мои — Уарсы, — отвечал Рэнсом.

— Где ты слышал это слово? — спросил пришелец. — Если ты и впрямь учен, то почему ты одет как раб?

— Ты и сам одет не лучше, — сказал Рэнсом.

— Удар твой меток, — сказал пришелец, — и знаешь ты много. Ответь же мне, если посмеешь, на три вопроса.

— Отвечу, если смогу, — сказал Рэнсом.

Словно повторяя урок, пришелец напевно начал:

— Где Сульва? Каким она ходит путем? Где бесплодна утроба? Где холодны браки?

Рэнсом ответил:

— Сульва, которую смертные зовут Луною, движется в низшей сфере. Через нее проходит граница падшего мира. Сторона, обращенная к нам, разделяет нашу участь. Сторона, обращенная к небу, прекрасна, и блажен, кто переступит черту. На здешней стороне живут несчастные твари, исполненные гордыни. Мужчина берет женщину в жены, но детей у них нет, ибо и он и она познают лишь хитрый образ, движимый бесовской силой. Живое тело не влечет их, так извращена похоть. Детей они создают злым искусством, в неведомом месте.

— Ты хорошо ответил, — сказал пришелец. — Я думал, только три человека это знают. Второй мой вопрос труднее: где кольцо короля, в чьем оно доме?

— Кольцо короля, — сказал Рэнсом, — на его руке, в царском доме, в круглой, как чаша, земле Абходжин, за морем Лур, на Переландре. Король Артур не умер, Господь забрал его во плоти, он жлет конца времен и сотрясения Сульвы с Енохом, Илией и Мельхиседеком. В доме царя Мельхиседека и сверкает кольцо.

— Хороший ответ,— сказал пришелец.— Я думал, лишь двое это знают. На третий вопрос ответит лишь один. Когда спустится Лурга? Кто будет в те дни Пендрагоном? Где учился он бранному делу?

— На Переландре я учился брани,— сказал Рэнсом.— Лурга спустится скоро. Я Пендрагон.

Только он произнес эти слова, ему пришлось отступить, ибо пришелец зашевелился. Каждый, кто видел бы их сейчас, подумал бы, что дело идет к драке. Тяжко и мягко, словно гора, сползшая в море, гость опустил на одно колено. Однако лицо его было вровень с лицом Рэнсома.

2

— Да, возникает непредвиденная трудность,— сказал Уизер, когда они с Фростом уселись у открытой двери.— Должен признаться, не думал, что нас ожидают... э-э... лингвистические неувязки.

— Нужен кельтолог,— сказал Фрост.— У нас с филологией слабо. Подошел бы Рэнсом. Вы ничего о нем не слышали?

— Вряд ли нужно напоминать,— сказал Уизер,— что доктор Рэнсом интересуется нас не только как филолог. Смею вас заверить, если бы мы напали на малейший след, мы бы давно... э-э... имели удовольствие видеть его среди нас.

— Сам понимаю. Наверное, он на Земле... Хорошо по-валлийски говорит Стрэйк. У него мать из Уэльса.

— Было бы чрезвычайно желательно,— сказал Уизер,— сохранить все... э-э-э... в семейном кругу. Мне исключительно неприятно приглашать кельтологов со стороны.

— Ничего, мы его потом спишем. Другое плохо, время уходит. Как у вас там Стрэйк?

— Превосходно! Я даже сам теряюсь. Он продвигается так быстро, что мне придется оставить свой проект. Я хотел объединить наших... э-э... подопечных, сопоставив тем самым наши методы. Конечно, нет и речи о каком бы то ни было соперничестве...

— Еще бы, я работал со Стэддоком только один раз. Результат — оптимальный. Про Стрэйка я спросил, чтобы узнать, может ли он тут дежурить. А вообще, пусть дежурит Стэддок. Пока там что, а сейчас пускай трудится.

— Вы думаете, мистер... э... Стэддок... достаточно продвинулся?

— Это неважно. Что он может сделать? Выйти он не выйдет. Нам нужно, чтобы кто-нибудь стерег, а ему — польза.

3

Макфи, только что переспоривший и Рэнсома, и Алькасона, почувствовал, что кто-то трясет его за плечо. Потом он ощутил, что ему холодно, а левая нога у него затекла, и увидел прямо перед собой лицо Деннистона. Народу в сених было много — и Деннистон, и Джейн, все усталые и вымокшие.

— Что с вами?

— Ничего,— сказал Макфи, проглотил несколько раз и облизал губы.— Ничего.— Тут он выпрямился.— Эй, где же он?

— Кто? — спросил Деннистон.

— Трудно сказать,— отвечал Макфи.— Понимаете, я сразу уснул.

Все переглянулись. Макфи вскочил.

— Господи! — крикнул он.— Да тут же был Рэнсом! Не знаю, что со мной случилось. Наверное, это гипноз. Прискакал человек на лошади...

Все обеспокоились. Деннистон распахнул дверь в кухню, и в свете очага взорам новоприбывших предстали четыре спящие женщины. Спала и птица на спинке стула, спал и мелведь, по-детски посвистывая. Миссис Димбл уронила голову на стол, вязанье — на колени (Димбл смотрел на нее с той жалостью, с какой мужчина смотрит на спящего, особенно — на жену). Камилла свернулась в качалке, как кошка, которая спит где угодно. Айви дышала ртом, а Грейс Айронвуд сидела прямо, словно она с суровым терпением приняла унижительное бремя насильственного сна.

— Будить их некогда, — сказал Макфи. — Идемте наверх.

Они пошли, зажигая по пути свет, через пустые комнаты, беспомощные, как все комнаты ночью, — огонь в камине погас, часы остановились, на диване газета. Никто и не ждал увидеть что-нибудь другое на первом этаже.

— Свет наверху, — сказала Джейн, когда они дошли до лестницы.

— Мы сами зажгли, еще в коридоре, — сказал Димбл.

— Нет, это не то, — сказал Деннистон.

— Простите, — обратился Димбл к Макфи, — мне лучше идти первым.

Еще со второй площадки Джейн и Деннистон заместили, что первые двое вдруг остановились. Хотя у нее немислимо устали ноги, Джейн кинулась вперед и увидела то, что видели Димбл и Макфи.

Наверху, у баллюстрады, стояли два человека в пышных одеждах, один — в алой, другой — в светло-синей. Страшная мысль поразила Джейн: собственно, что она знает о Рэнсоне? Он заманил ее сюда... из-за него она узнала сегодня, что такое адский страх... Теперь он стоит вот с этим, и они ведут себя как ведут себя такие люди, когда остаются одни. Один пролежал много лет в земле, другой побывал на небе... Больше того, один говорил, что другой им враг, а теперь они слились, словно две капли ртути. Рэнсом стоял очень прямо, без костыля. Свет падал сзади, и от его бороды шло сияние, а волосы сверкали чистым золотом. Вдруг Джейн поняла, что смотрит, ничего не видя, прямо на пришельца. Он был огромен и что-то говорил, указывая на нее.

Слов она не поняла, но их понял Димбл.

— Сэр, — говорил Мерлин на какой-то странной латыни, — вот лукавейшая дама из всех живущих на земле.

— Сэр, ты неправ, — отвечал Рэнсом. — Эта дама грешна, как и все мы, но она не лукава.

— Сэр, — сказал Мерлин, — знай, что она причинила королевству величайшее зло. Ей и ее господину было суждено за-

часть дитя, которое, возросши, изгнало бы наших врагов на тысячу лет.

— Она недавно замужем,— сказал Рэнсом.— Дитя еще родится.

— Сэр,— сказал Мерлин,— оно не родится, ибо час миновал. Она и ее господин бесплодны по своей воле. Я не знал, что вам ведомы мудрости Сульвы. И в отцовском роду, и в материнском рождение это уготовили сто поколений. Если сам Господь не совершит чуда, такое сочетание людей и звезд не повторится.

— Молчи,— сказал Рэнсом.— Она понимает, что речь идет о ней.

— Было бы великой милостью,— сказал Мерлин,— отрубить ей голову, ибо поистине тяжело глядеть на нее.

Димбл загородил собою растерянную Джейн и громко спросил:

— Рэнсом, что это значит?

Мерлин что-то говорил, и Рэнсом слушал его.

— Отвечайте! — сказал Димбл.— Что случилось? Почему вы так одеты? Зачем вы беседуете с этим кровожадным стариком?

— Доктор Рэнсом,— сказал Макфи, глядевший на пришельца, как терьер на сенбернара,— я не знаю латыни, но прекрасно знаю, что вы разрешили загипнотизировать меня. Поверьте, не так уж приятно видеть вас в оперном костюме с этим йогом, шаманом или кто он там есть. Скажите ему, чтобы он на меня так не смотрел. Я его не боюсь. Если вы, доктор Рэнсом, перешли на их сторону, я здесь не нужен. Можете меня убить, но смеяться над собой я не дам. Мы ждем ответа.

Рэнсом молча глядел на них.

— Неужели дошло до этого? — спросил он наконец.— Неужели вы мне не верите?

— Я верю вам, сэр,— сказала Джейн.

— Чувства к делу не относятся,— сказал Макфи.

— Что ж,— сказал Рэнсом,— мы ошиблись. Ошибся и враг. Это Мерлин Амвросий. Он с нами. Вы знаете, Димбл, что такая возможность была.

— Да,— сказал Димбл,— была... но посудите сами: вы стоите здесь рядом, и он говорит такие жестокие слова...

— Я и сам удивляюсь его жестокости,— сказал Рэнсом.— Но, в сущности, можно ли ожидать, чтоб он судил о наказании как филантроп девятнадцатого века? Кроме того, он никак не поймет, что я не полномостный король.

— Он... он верит в Бога? — спросил Димбл.

— Да,— отвечал Рэнсом.— А олелся я так, чтобы его почтить. Он пристыдил меня. Он думал, что мы с Макфи — рабы или слуги. В его дни никто не надел бы по своей воле бесцветных и бесформенных одежд.

Мерлин заговорил снова.

— Кто эти люди? — спросил он.— Если они твои рабы, почему они столь дерзки? Если они твои враги, почему ты терпишь их?

— Они мои друзья,— начал Рэнсом, но Макфи перебил его.

— Должен ли я понять, доктор Рэнсом,— спросил он,— что вы предлагаете нам включить в нашу среду этого человека?

— Не совсем так,— отвечал Рэнсом.— Он давно с нами. Я могу лишь просить вас, чтобы вы это признали.

Мерлин обратился к Димблу:

— Пендрагон сказал мне, что ты считаешь меня жестоким. Это меня удивляет. Третью часть имения я отдавал нищим и вдовам. Я никого не убивал, кроме негодяев и язычников. Что же до женщины, пускай живет. Не я господин в этом доме. Но так ли важно, слетит ли с плеч ее голова, когда королевы и дамы, которые погнушались бы взять ее в служанки, гибли за меньшее? Даже этот висельник (*sciscarius*), что стоит за тобою,— да, да, я говорю о тебе, хотя ты знаешь лишь варварское наречие! — даже этот жалкий раб, чье лицо подобно скисшему молоку, ноги — ногам аиста, а голос — скрипу пилы о полено, даже он, этот карманник (*seciog zonarius*) не избежал бы у меня веревки. Его не повесили бы, но высекли.

— Доктор Рэнсом,— сказал Макфи,— я был бы вам благодарен...

— Мы все устали, — перебил его Рэнсом. — Артур, затопите камин в большой комнате. Разбудите кого-нибудь из женщин, пусть покормят гостя. Поешьте и сами, а потом ложитесь. Завтра не надо рано вставать. Все будет очень хорошо.

4

— Да, нелегко с ним, — сказал Димбл на следующий день.

— Ты очень устал, Сесил, — сказала его жена.

— Он... с ним трудно говорить. Понимаешь, эпоха важнее, чем мы думали.

— Я заметила, за столом. Надо было догадаться, что он не видел вилки... Сперва мне было неприятно, но он так красиво ест...

— Да, он у нас джентльмен в своем роде. И все-таки... нет, ничего.

— А что было, когда вы разговаривали?

— Все приходилось объяснять и нам и ему. Мы еле втолковали, что Рэнсом не король и не хочет стать королем. Потом он никак не понимал, что мы не британцы, англичане... он называет это «саксы». А тут еще Макфи выбрал время, стал объяснять, в чем разница между Шотландией, Ирландией и Англией. Ему кажется, что он — кельт, но он такой же кельт, как Бультитюд. Кстати, Мерлин Амвросий изрек о нем пророчество.

— Какое?

— Что еще до Рождества этот медведь совершит то, чего не совершал ни один медведь в Британии. Он все время пророчествует, кстати и некстати. Как будто это зависит не от него... Как будто он и сам больше не знает... просто поднялась в голове заслонка, он что-то увидел, и она опустилась. Довольно жутко.

— С Макфи они ссорились?

— Да нет. Мерлин не принимает его всерьез. Кажется, он считает его шутом Рэнсома. А Макфи, конечно, непреклонен.

— Говорили вы о делах?

— Более или менее. Нам очень трудно понять друг друга. Кто-то сказал, что у Айви муж в тюрьме, и он спросил, почему мы не возьмем тюрьму и его не освободим. И так все время.

— Сесил, а будет от него польза?

— Боюсь, что слишком большая.

— То есть как это?

— Понимаешь, мир очень сложен...

— Ты часто это говоришь, дорогой.

— Правда? Неужели так же часто, как ты говоришь, что у нас когда-то были пони и двуколка?

— Сесил! Я сто лет о них не вспоминала.

— Дорогая моя, позавчера ты рассказывала об этом Камилле.

— О, Камилла! Это дело другое. Она же не знала!

— Допустим... ведь мир исключительно сложен...

Оба они помолчали.

— Так что же твой Мерлин? — спросила миссис Димбл.

— Да, ты замечала, что все на свете, совершенно все, утоньшается, сужается, заостряется?

Жена ждала, зная по опыту, как разворачивается его мысль.

— Понимаешь. — продолжал он, — в любом университете, городе, приходе, в любой семье контрасты не так четко выделялись. А потом все станет еще четче, еще точнее. Добро становится лучше, зло — хуже; все труднее оставаться нейтральным даже с виду... Помнишь, в этих стихах, небо и преисподняя вгрызаются в землю с обеих сторон... как это?.. «пока не турурум ее насквозь». Съедят? Нет, ритм не подходит. Проедят, наверное. И что с моей памятью? Ты помнишь эту строку?

— Я тебя слушаю и вспоминаю слова из Писания о том, что нас веют, как пшеницу.

— Вот именно! Может, «течение времени» означает только это. Речь не об одном нравственном выборе, все разделяется резче. Эволюция в том и состоит, что виды меньше и меньше похожи друг на друга. Разум становится все духовней; плоть — все материальней. Даже поэзия и проза все дальше отходят одна от другой.

С легкостью, рожденной опытом, матушка Димбл отвела опасность, всегда грозившую их беседам.

— Да,— сказала она.— Дух и плоть. Вот почему таким людям, как Стэддоки, не дается счастья.

— Стэддоки? — удивился Димбл.— Ах да, да! Это связано, конечно... Но я о Мерлине. Понимаешь, в его время человек мог то, чего он сейчас не может. Сама Земля была ближе к животному. Мыслительный процесс был ближе к физическому действию. Тогда еще жили на земле нейтральные существа...

— Нейтральные?

— Конечно, разумное создание или повинуется Богу, или нет. Но по отношению к нам, людям, они были нейтральны.

— Ты про эльдилов... про ангелов?

— Слово «ангел» неоднозначно. Уарсы — не ангелы в том смысле, в каком мы говорим об ангеле-хранителе. Строго терминологически, они — «силы». Но суть в другом. Даже эльдилов сейчас легче разделить на злых и добрых, чем при Мерлине. Тогда на Земле были твари... как бы это сказать... занятые своим делом. Они не помогали человеку и не вредили. У Павла об этом говорится. А еще раньше... все эти боги, феи, эльфы...

— Ты думаешь, они есть?

— Я думаю, они были. Теперь для них нет места, мир сузился. Наверное, не все они обладали разумом. Одни из них были наделены очень смутным сознанием, вроде животных. Другие... да я не знаю. Во всяком случае, среди них жил такой вот Мерлин.

— Даже страшно становится...

— Это и было страшно. Даже в его время, а тогда это уже кончалось, общение с ними могло быть невинным, но не безопасным. Они как бы сортировали тех, кто вступил с ними в контакт. Не нарочно, иначе они не могли. Мерлин благочестив и смиренен, что хочешь, но чего-то он лишен. Он слишком спокоен, словно ограбленная усадьба. А все потому, что он знал больше, чем нужно. Это как с многоженством. Для Авраама оно грехом не было, но мы ведь чувствуем, что даже его оно в чем-то обездолило.

— Сесил,— спросила миссис Димбл,— а это ничего, что Рэнсом использует такого человека? Не выйдет ли, что мы сражаемся с Бэлбери их оружием?

— Нет,— сказал Димбл.— Я об этом думал. Мерлин и Бэлбери противоположны друг другу. Он последний остаток старого порядка, при котором, с нашей точки зрения, дух и материя едины. Он обращается с природой как с живым существом, словно улещает ребенка или понукает коня. Для современных людей природа — машина, которую можно разобрать, если она плохо работает. Но еще современной — институт. Он хочет, чтобы ему помогли с ней управляться сверхъестественные... нет, противоестественные силы. Мерлин действовал изнутри, они хотят ворваться снаружи.

Скорей уж Мерлин воплощает то, что мир давно утратил. Знаешь, ему запрещено прикасаться заостренным орудием к чему бы то ни было живому.

— Ах, господи! — сказала миссис Димбл.— Шесть часов. А я обещала Айви прийти на кухню в четверть шестого. Нет, ты не иди!

— Удивительная ты женщина,— сказал Димбл.— Тридцать лет вела свой дом, а как прижилась в этом зверинце.

— Что тут такого! — сказала миссис Димбл.— Дом и Айви вела, а ей хуже. У меня хоть муж не в тюрьме.

— Ничего,— сказал Димбл,— подожди, пока Мерлин Амвросий начнет действовать.

5

Тем временем Мерлин и Рэнсом беседовали в синей комнате. Рэнсом лежал на тахте, Мерлин сидел в кресле, ровно поставив ноги и положив на колени большие бледные руки, словно деревянная статуя короля. Одежд он не снял, но под ними ничего не было — он страдал от жары и боялся брюк. После купанья он потребовал благовоний, и ему купили в деревне бриллиантин. Теперь борода его и волосы испускали сладкий запах.

Мистер Бультьюд так упорно стучался в дверь, что ему открыли, и он сидел поближе к волшебнику, жадно поводя носом.

— Сэр,— говорил Мерлин,— я не могу постигнуть, как ты живешь. Купанью моему позавидовал бы император, но никто не служил мне. Постель моя мягче сна, но я одеваюсь сам, словно смерд. Окна столь прозрачны и чисты, что я вижу небо, но я живу один, как узник в темнице. Вы едите сухое и пресное мясо, но тарелки ваши глаже слоновой кости и круглее солнца. В доме тихо и тепло, как в раю, но где музыканты, где благовоения, где золото? У тебя нет ни псов, ни соколов. Вы живете не как лорды и не как монахи. Я говорю это, сэр, ибо ты спросил меня. Важности в этом нет. Теперь, когда нас слышит последний из семи медведей Логриса, время говорить об ином.

Он смотрел на Рэнсома и вдруг наклонился к нему.

— Рана снова терзает тебя? — спросил он.

Рэнсом покачал головой.

— Нет,— сказал он,— дело не в том. Нам придется говорить о странных вещах.

— Сэр,— мягче и глуше сказал Мерлин,— я могу снять боль с твоей пяты, словно смыть ее губкой. Дай мне семь дней, чтобы я осмотрелся в этом краю, обновил старую дружбу. И с лесами этими, и с полями мы побеседуем о многом.

Говоря это, он подался вперед, и лицо его было вровень с мордой медведя, словно и они беседовали о многом. Взгляд у него стал как у зверя — не хищный и не хитрый, но исполненный терпеливого, безответственного лукавства.

— Я могу,— говорил Мерлин,— освободить тебя от мучений.

Хотя он и вымылся, и умастился бриллиантином, от него все сильнее пахло мокрым листом, стоячей водой, илом, камнями. Лицо его становилось все отрешенней, словно он вслушивался в едва уловимые звуки — шорох мышей, шлепанье лягушек, журчанье струй, похрустывание сучьев, мягкие удары лесных орехов о землю, шелестенье травы. Медведь закрыл глаза, комната как бы засыпала под наркозом.

— Нет,— сказал Рэнсом и лоднял голову, склонившуюся было на грудь.

Выпрямился и волшебник. Медведь открыл глаза.

— Нет,— повторил Рэнсом.— Тебя не для того извлекли из могилы, чтобы ты утишил мою боль. Наши лекарства сделали бы это не хуже, но я должен претерпеть до конца. Больше мы об этом говорить не будем.

— Я повинуюсь тебе, сэр,— сказал друид,— но эта я не мыслит. Былая дружба поможет мне исцелить королевство.

И снова послышался густой, сладкий запах.

— Нет,— еще громче сказал Рэнсом.— Теперь этого делать нельзя, вода и лес утратили душу. Конечно, ты можешь разбудить их, но королевству это не поможет. Ни буре, ни наводнению не одолеть нашего врага. Оружие сломится в твоей руке, ибо мерзейшая мощь стоит перед нами, как в дни, когда царь Нимрод хотел достигнуть небес.

— Господин мой,— сказала Мерлин,— разреши мне пробудить скрытые силы...

— Я запрещаю тебе,— сказал Рэнсом.— Это против закона. Быть может, скрытые силы еще и дремлют в земле, но будить их нельзя. Даже и в твои дни это было не совсем законно. Вспомни, мы думали, что ты станешь на сторону врагов. Каждое Свое дело Господь творит ради каждого. Ты проснулся и для того, чтобы спасти душу.

Мерлин откинулся в кресло, и медведь лизнул его руку.

— Сэр,— сказал он,— если мне не дозволено служить вам своим искусством, ты взял в свой дом глупую грудку плоти. Сражаться я не могу.

— И не надо,— сказал Рэнсом и немного помолчал.— Земная сила не справится с нашим врагом.

— Что ж, будем молиться,— сказал Мерлин.— Однако меня называли чернокнижником. Это ложь, но я не знаю, сэр, зачем я проснулся.

— Молиться мы будем,— сказал Рэнсом,— но я говорю не о том. Тварные силы есть не на одной Земле.

Мерлин молча глядел на него.

— Ты знаешь, о чем я говорю,— продолжал Рэнсом.— Разве я не сказал тебе сразу, что господа мои — Уарсы?

— Сказал, — ответил Мерлин. — Потому я и понял, что ты посвящен в тайны. Ведь по этому слову мы узнаем друг друга.

— Вот как? — удивился Рэнсом. — Я не знал.

— Почему же ты сказал так?

— Потому что это правда.

Волшебник облизнул побледневшие губы, потом простер руки.

— Ты мать мне и отец, — сказал он, глядя на Рэнсома, словно испуганный ребенок. — Дозволь мне говорить или убей меня, ибо я — в твоей леснице. Когда-то я слышал, что есть люди, беседующие с богами. Власий, мой учитель, помнил несколько слов их языка. Но ты знаешь и сам, что даже те были не сами Уарсы, а их земные теги. Земная Венера, земной Меркурий, не Переландра, не Виритрильбия...

— Я говорю не о земных тенях, — сказал Рэнсом. — Я стоял перед Марсом и перед Венерой в их собственном царстве. Врага одолеют силы и сильнейшие их.

— Господин мой, — сказал Мерлин, — этого быть не может, ибо это нарушило бы Седьмой закон.

— В чем он состоит? — спросил Рэнсом.

— Всемиловитейший Господь поставил Себе законом не посылать этих сил на Землю до конца времен. Быть может, конец наступил?

— Быть может, он начался, — сказал Рэнсом, — но я ничего о том не знаю. Малельдил поставил законом не посылать небесных сил на Землю, но техникой и наукой люди проникли на небо и потревожили силы. Все это происходило в пределах природы. Злой человек на утлой машине проник в сферу Марса, и я был его пленником. На Малакандре и на Переландре я встретил моих повелителей. Ты понимаешь меня?

Мерлин склонил голову.

— Так злой человек, подобно Иуде, сделал не то, что думал. Теперь на земле из всех людей один узнал Уарсов и говорил на их языке не чудом Господним и не волшебством Нуминора, а просто как путник, повстречавший других по дороге. Наши враги лишили себя защиты Седьмого Закона. Они сломали барьер, который Сам Бог не пожелал бы сломать. Вот почему силы небес приходили в этот дом и в комнате, где ты сидишь, беседовали со мной.

Мерлин побледнел сильнее. Медведь незамтно нюхал его руку.

— Я стал мостом,— сказал Рэнсом.— Посредником.

— Сэр,— проговорил Мерлин,— если они будут действовать сами, они разрушат Землю.

— Они не будут,— сказал Рэнсом.— Вот почему им нужен человек.

Волшебник провел по лбу большой рукой.

— Человек, чей разум открыт им и кто открывает его по своей воле. Господь свидетель, я сделал бы это, но они не хотят входить в неискушенную душу. И чернокожничник не нужен им, он не вместит их чистоты. Им нужен тот, в чьи дни волшебство еще не стало злом... и все же он должен быть способным к покаянию. Скажу прямо, им требуется хорошее, но не слишком хорошее орудие. Кроме тебя, у нас, в западной части мира, таких людей нет. Ты же...

Он остановился, ибо Мерлин встал и из уст его вырвался дикий вопль, подобный звериному реву, хотя это было древним кельтским плачем. Рэнсом даже испугался, увидев, как по длинной бороде бегут крупные детские слезы. Все римское слетело с волшебника, он был теперь не знающим стыда чудищем, воющим на диких наречьях, одно из которых напоминало валлийский язык, другое — испанский.

— Прекрати! — закричал Рэнсом.— Не срами и себя и меня.

Безумие прекратилось сразу. Мерлин сел в кресло. Как ни странно, он ничуть не был смущен тем, что до такой степени утратил власть над собой.

— И для меня,— сказал Рэнсом,— не просто встретить тех, кто спустится в мой дом. На сей раз придут не только Малакандра и Переландра. Я не знаю, как сможем мы глядеть им в лицо. Но мы не вправе глядеть в лицо Божье, если от этого откажемся.

Волшебник ударил ладонью по колену.

— Mehercule!* — воскликнул он.— Не слишком ли мы поспешны? Ты Пендрагон, но и я — верховный советник ко-

* Клянусь Геркулесом! (лат.)

ролевства, и я посоветую тебе иное. Если силы уничтожат нас, да свершится воля Божья. Но дошло ли до этого, сэръ? Ваш саксонский король, сидящий в Виндзоре, может помочь вам.

— Он ничем помочь не может.

— Если он так слаб, почему бы его не свергнуть?

— Я не собираюсь свергать королей. Их помазал на царство архиепископ. В Логриссе я Пендрагон, в Британии — королевский подданный.

— Значит, графы, легаты, епископы творят зло без его ведома?

— Творят, конечно, но не они нам опасны.

— Разве мы не можем встретить врагов в честном бою?

— Нас четверо мужчин, пять женщин и медведь.

— Некогда Логрисс состоял из меня, одного рыцаря и двух отроков. Но мы победили.

— Сейчас не то. У них есть орудие, называемое прессой. Мы умрем, и никто даже не узнает о нас.

— А как же священство? Неужто нам не помогут служители Божьи? Не может быть, чтобы они все развратились.

— Вера теперь разорвана на куски. Но если бы она и была едина, христиан очень мало. Не жди от них помощи.

— Тогда позовем людей из-за моря. Разве не явятся на наш зов все христиане Нейстрии, Ирландии, Бенвика, чтобы очистить эту землю?

— Христианских королей больше нет. Страны, о которых ты говоришь, стали частью Британии или еще глубже погрязли в неправде.

— Что ж, обратимся к тому, кто поставлен сражать тиранов и оживлять королевства. Воззовем к императору.

— Императора больше нет.

— Нет императора?.. — начал Мерлин и продолжать не смог. Несколько минут он сидел молча, потом проговорил: — Да, в дурной век я проснулся. Но если весь Запад отступил от Бога, быть может, мы не преступим закона, если взглянем дальше. В мои времена я слышал, что существуют люди, не знающие нашей веры, но почитающие Творца. Сэръ, мы вправе искать помощи там, за Византийским царством. Вам виднее, что там

есть — Вавилон ли, Аравия, — ибо ваши корабли обошли вокруг всего света.

Рэнсом покачал головой.

— Ты все никак не поймешь, — сказал он. — Яд варили здесь, у нас, но он теперь повсюду. Куда бы ты ни пошел, ты увидишь машины, многолюдные города, пустые троны, бесплодные ложа, обманные писания, людей, обольщаемых ложной надеждой и мучимых истинной скорбью, поклоняющихся творению рук своих, но отрезанных от матери своей, Земли, и отца своего, Неба. Можешь идти на восток, пока он не станет западом и ты не вернешься сюда через океан. Повсюду ты увидишь лишь тень крыла, покрывающего Землю.

— Значит, это конец? — спросил Мерлин.

— Нет, — сказал Рэнсом, — это значит, что есть только один путь. Да, если бы враги наши не ошиблись, у нас не было бы надежды. Если бы собственной злой волей они не ворвались туда, к нездешним силам, теперь бы настал час их победы. Но они пришли к богам, которые не шли к ним, и обрушили на себя небо. Тем самым они погибнут. Ты видишь, другого выхода нет. Осталось одно: повинуйся.

Бледное лицо стало медленно меняться, понемногу обретая почти звериное выражение — очень земное, очень простое и довольно хитрое.

— Знал бы я это все, — сказал наконец Мерлин, — я бы тебя усыпил, как твоего шута.

— Я плохо сплю с тех пор, как побывал на небе, — отвечал Рэнсом.

Глава XIV

«ЖИЗНЬ — ЭТО ВСТРЕЧА»

1

День и ночь сравнивались для Марка, и он не знал, сколько минут или часов проспал он, когда к нему снова явился Фрост. Он так и не ел. Профессор пришел спросить, надумал ли он что-

нибудь после их разговора. Марк решил сдаваться не сразу, чтобы получилось убедительней, и ответил, что его беспокоит лишь одно: он не совсем понял, какая польза ему в частности и людям вообще от сотрудничества с макробами. Он ясно видит, что все действуют так или иначе отнюдь не из долга перед обществом (это лишь пристойный ярлык). Человеческие поступки порождает организм, и их различие определяется особенностями поведенческих моделей данного социума. Что заменит теперь эти внеразумные мотивы? На каком основании следует отныне осуждать или одобрять тот или иной поступок?

— Если вы хотите употреблять эти термины, — сказал Фрост, — лучший ответ дал нам Уолдингтон. Существование само себя оправдывает. Процесс, именуемый эволюцией, оправдан тем, что именно так действуют биологические сообщества. Контакт между высшим биологическим видом и макробами оправдан тем, что он существует.

— Значит, — сказал Марк, — нет смысла спрашивать, не движется ли Вселенная к тому, что мы называли бы злом?

— Никакого смысла, — сказал Фрост. — Суждение ваше отражает лишь чувства. Сам Гексли впадал в такую ошибку, называя «беспощадной» борьбу за существование. На самом деле, по словам Уолдингтона, межвидовая борьба настолько же вне эмоций, как интеграл. При объективном взгляде на вещи нет внешнего, нравственного критерия, порожденного чувством.

— Следовательно, — сказал Марк, — нынешний ход событий оправдан, даже если он приведет к исчезновению жизни?

— Несомненно, — ответил Фрост, — если вы настаиваете на этих понятиях. На самом деле вопрос ваш вообще не имеет смысла. Он предполагает причинно-следственную модель мира, идущую от Аристотеля, который, в свою очередь, лишь привнес в систему опыт аграрного общества времен железного века. Вы попусту тратите время, размышляя о причинах. Не причина порождает действие, а действие причину. Когда вы достигнете объективности, вы увидите, что все мотивы — чисто телесны, субъективны. Вам они не будут нужны. Их место займет

то, чего вы сейчас не поймете. Действия же ваши станут много эффективнее.

— Понимаю...— сказал Марк. Такую философию он знал и действительно понял, что именно к этому придешь, если думать, как он думал прежде. Это было ему чрезвычайно противно.

— Именно поэтому,— продолжал Фрост,— вы должны пройти систематический курс объективности. Представьте себе, что у вас убивают в зубе нерв. Мы просто уничтожим систему инстинктивных предпочтений, как этических, так и эстетических, какой бы логикой они теперь ни прикрывались.

— Ясно,— сказал Марк и прибавил про себя, что, если уж освобождаться от этики, он бы прежде всего расквасил профессору морду.

Потом Фрост куда-то его повел и чем-то покормил. Здесь тоже не было окон, горел свет. Профессор стоял и смотрел на Марка. Тот не знал, нравится ли ему еда, но был слишком голоден, чтобы отказаться, да это и не было возможно. Когда он поел, Фрост повел его к голове, но, как ни странно, ни мыться, ни облачаться в одежды хирурга они не стали, а быстро прошли к какой-то двери. Впуская его неизвестно куда, Фрост сказал: «Я скоро вернусь» — и ушел.

Сперва Марку в этой комнате стало легче. Он увидел длинный стол, как для заседаний, восемь-девять стульев, какие-то картины и, что удивительно, стремянку. Окон снова не было, а свет поистине напоминал дневной, таким он был серым и холодным. Не было и камина, и казалось, что в комнате очень холодно.

Наблюдательный человек заметил бы, что все немного смещено. Марк почувствовал что-то, но причину понял не сразу. Дверь направо от него была не совсем посередине стены и казалась чуточку кривой. Он начал было искать, где же этого впечатления нет, но ему стало страшно, и он отвернулся.

Тогда он увидел пятна на потолке. Не от сырости, настоящие черные пятна, разбросанные там и сям по бледно-бурому фону. И не так уж много, штук тридцать... а может, все сто?

Он решил не попадаться в ловушку, не считать их. Но его раздражало, что они расположены без всякого порядка. А может, он есть? Вон там, справа, пять штук... Да, какой-то рисунок проступает. Потому это все так уродливо, что вроде проступает, вроде нет... Тут Марк понял, что это еще одна ловушка, и стал смотреть вниз.

Были пятна и на столе, только белые, не совсем круглые. Кажется, они разбросаны так же, как те, на потолке. Или нет? Ах, вон что! Сейчас, сейчас... Рисунок такой же, но не везд. Марк снова одернул себя, встал и принялся рассматривать картины.

Некоторые из них принадлежали к школе, которую он знал. Был среди них портрет девицы, разинувшей рот, который порос изнутри густыми волосами, и каждый волос был выписан с фотографической точностью, хоть потрогай. Был большой жук, играющий на скрипке, пока другой жук его ест, и человек с пробочниками вместо рук, кулающийся в мелком, невеселой окраски море, под зимним закатным небом. Но больше было других картин. Сперва они показались Марку весьма обычными, хотя его и удивило, что сюжеты их главным образом из Евангелия. Только со второго или третьего взгляда он заметил, что фигуры стоят как-то странно. И кто это между Христом и Лазарем? Почему под столом Тайной вечери столько мелких тварей? Только ли из-за освещения каждая картина похожа на страшный сон? Когда Марк задал себе эти вопросы, обычность картин стала для него самым страшным в них. Каждая складка, каждая колонна значили что-то, чего он понять не мог. Перед этим сюрреализм казался просто дурачеством. Когда-то Марк слышал, что «крайнее зло невинно для непосвященных», и тицетно пытался это понять. Теперь он понял.

Отвернувшись от картин, он снова сел. Он знал, что никто не собирается свести его с ума в том смысле, в каком он, Марк, понимал эти слова прежде. Фрост делал то, что сказал. Комната эта была первым классом объективности — здесь начиналось уничтожение чисто человеческих реакций, мешающих макробам. Дальше пойдет другое — он будет есть какую-нибудь мер-

зость, копаться в крови и грязи, выполнять ритуальные непристойности. С ним ведут себя честно: ему предлагают то самое, что и они прожили, чтобы отделиться от всех людей. Именно так Уизер стал развалиной, а Фрост — твердой сверкающей иглой.

Примерно через час длинная, словно гроб, комната привела к тому, о чем ни Фрост, ни Уизер не помышляли. Вчерашнего нападения не было, и — потому ли, что он через это прошел, потому ли, что неизбежность смерти уничтожила привычную тягу к избранным, или потому, наконец, что он воззвал о помощи, — нарочитая извращенность комнаты породила в его памяти дивный образ чистоты и правды. На свете существовала нормальная жизнь. Он никогда об этом не думал, но она существовала и была такой же реальной, как то, что мы трогаем, едим, любим. К ней имели отношение и Джейн, и яичница, и мыло, и солнечный свет, и галки, кричавшие в Кьюр Харди, и мысли о том, что где-то сейчас день. Марк не думал о нравственности, хотя (что почти то же самое) впервые приобщился к нравственному опыту. Он выбирал и выбрал нормальное. Он выбрал «все это». Если научная точка зрения уводит от «этого», черт с ней. Решение так потрясло его, что у него перехватило дух. Такого он еще не испытывал. Теперь ему было все равно, убьют его или нет.

Я не знаю, надолго ли его хватило бы, но, когда Фрост вернулся, он был на самом подъеме. Фрост повел его в комнату, где пылал камин и спал какой-то человек. Свет, игравший на хрустале и серебре, так развеселил его сердце, что он еле слушал, когда Фрост приказывал сообщить им с Уизером, если человек проснется. Говорить ничего не надо, да это и бесполезно, так как неизвестный не понимает по-английски.

Фрост ушел. Марк остался один на один с новой, неведомой ему беспечностью. Он не знал, как выбраться отсюда живым, если не служить макробам, но пока можно было хорошо поесть. Еще бы и покурить у камина...

— Тыфу ты! — сказал он, не найдя сигарет в кармане.

Тогда человек открыл глаза.

— Простите... — начал Марк.

Человек присел в постели и мигнул в сторону дверей.

— Э? — сказал он.

— Простите... — повторил Марк.

— Э? — снова сказал человек. — Иностранцы?

— Вы говорите по-английски? — удивился Марк.

— Ну!.. — сказал человек, помолчал и прибавил: — Хозяин, табачку не найдется?

2

— Кажется, — сказала матушка Димбл, — больше тут сделать ничего нельзя. Цветы расставим попозже.

Обращалась она к Джейн, а обе находились в павильоне, то есть в каменном домике у той калитки, через которую Джейн впервые вошла в усадьбу. Они готовили комнату для Айви и ее мужа. Сегодня кончался его срок, и Айви еще с вечера поехала в город, чтобы переночевать у родственницы и встретить его утром, когда он выйдет за ворота тюрьмы.

Когда миссис Димбл сказала, куда пойдет, мистер Димбл отвечал: «Ну, это недолго». Я — мужчина, как и он, и потому не знаю, что могли делать здесь две женщины столько часов кряду. Джейн и та удивлялась. Матушка Димбл обратила немудреное занятие не то в игру, не то в обряд, напоминавший Джейн, как в детстве она помогала украшать церковь перед Пасхой или перед Рождеством. Вспоминала она и эпигаламы XVI века, полные шуток, древних суеверий и сентиментальных предрассудков, касающихся супружеского ложа. Джейн вспоминала добрые знамения у порога, фей у очага и все то, чего и в малой мере не было в ее жизни. Совсем недавно она сказала бы, что это ей не нравится. И впрямь, как нелеп и строгий и лукавый мир, где сочетаются чувственность и чопорность, стилизованный пыл жениха и условная скромность невесты, благословения, непристойности и полная уверенность в том, что всякий, кроме главных действующих лиц, должен напиться на свадьбе до бесчувствия! Почему люди сковали ритуалами самое свободное на свете? Однако сейчас она сама не знала, что чувст-

вует, и была уверена лишь в том, что матушка Димбл — в этом мире, а она — нет. Матушка хлопотала и восторгалась совсем как те женщины, которые могли отпустить шекспировские шуточки о гульфиках или о рогносах и тут же преклонить колени перед алтарем. Все это было очень странно — в умном разговоре о непристойных вещах могла участвовать она сама, а миссис Димбл, дама девятисотых годов, сделала бы вид, что не слышит. Быть может, и погода разволновала Джейн — мороз кончился, и стоял один из тех мягких, светлых дней, какие бывают в начале зимы.

Вчера, до отъезда, Айви рассказывала ей про свои дела. Муж ее украл немного денег в прачечной, где работал истопником. Случилось это раньше, чем они познакомились, он был тогда в плохой компании. Когда она стала с ним гулять, он совсем исправился, но тут-то все и открылось, и его посадили через полтора месяца после свадьбы. Джейн почти ничего не говорила. Айви не стыдилась тюрьмы, и Джейн не могла проявить ту машинальную доброту, с которой принимают горести бедных. Не могла она проявить и широты взглядов, ибо Айви твердо знала, что красть нельзя; однако ей и в голову не приходило, что это как-нибудь может повлиять на ее отношения с мужем — словно, выходя замуж, идешь и на этот риск.

— Не поженишься, — говорила она, — никогда о них все не узнаешь.

Джейн с этим согласилась.

— Да у них то же самое, — продолжала Айви. — Отец говорит: в жизни бы не женился, если бы знал, как мать храпит.

— Это не совсем одно и то же, — возразила Джейн.

— Ну, не одно, так другое, — не сдавалась Айви. — Им с нами тоже нелегко. Приходится им, беднягам, жениться, если они не подлизы, а все ж скажу, и с нами намучаешься, с самыми хорошими. Помню, еще до вас, матушка что-то говорила своему доктору, а он сидит, читает, чиркает карандашиком, а ей все: «Да, да», «Да, да». Я говорю: «Вот, матушка, как они с женами! Даже не слушают». А она мне ответь: «Айви, а разве можно слушать все, что мы говорим?» Я уступать не хотела, особен-

но при нем, и отвечаю: «Можно». Но вообще-то она права. Бывает, говоришь ему, говоришь, он спросит: «Что?» — а ты сама не помнишь.

— Это совсем другое дело, — опять сказала Джейн. — Так бывает, когда у людей разные интересы...

— Ой, как там мистер Стэддок? — сказала Айви. — Я бы на вашем месте и ночи не спала. Но вы не бойтесь, хозяин все уладит, все будет хорошо.

Сейчас миссис Димбл ушла в дом за какой-то вещью, которая должна была завершить их работу. Джейн немного устала и присела на подоконник, подпершись рукой. Солнце светило так, что стало почти жарко. Она знала, что, если Марк вернется, она будет с ним, но это не пугало ее, ей просто было совсем неинтересно. Теперь она не сердилась, что он когда-то предпочитал ее самое — ее словам, а свои слова — и тому и другому. Собственно, почему он должен ее слушать? Такое смирение было бы ей приятно, если бы речь шла о ком-нибудь более увлекательном, чем Марк. Конечно, с ним придется обращаться по-новому, когда они встретятся; но радости в этих мыслях она не находила, словно предстояло заново решить скучную задачу на исписанном листе. Джейн застыдилась, что ей настолько все равно, и тут же поняла, что это не совсем так. Впервые она представила себе, что Марк может не вернуться. Она не подумала, как будет жить после этого сама; она просто увидела, что он лежит на кровати и руки его (к худу ли, к добру ли, непохожие ни на чьи другие) вытянуты и неподвижны, как у куклы. Ей стало холодно, хотя солнце пекло гораздо сильнее, чем бывает в это время года. Кроме того, стояла такая тишина, что она слышала, как прыгает по дорожке какая-то птичка. Дорожка вела к калитке, через которую она сама вошла в усадьбу. Птичка допрыгала до самого павильона и присела кому-то на ногу. Только тогда Джейн заметила, что очень близко, на пороге, кто-то сидит — так тихо, что она об этом не знала.

Женщина, сидевшая на пороге, была одета в длинное, огненного цвета платье с очень низким вырезом. Такое платье Джейн видела у жрицы на милойской вазе. Лицо и руки у женщины были темно-золотые, как мед, голову она держала очень пря-

мо, на щеках ее проступал густой румянец, а черные, большие, коровьи глаза смотрели прямо на Джейн. Женщина ничуть не походила на миссис Димбл, но, глядя на нее, Джейн увидела то, что сегодня пыталась и не могла уловить в матушкином лице.

«Она смеется надо мной,— подумала Джейн.— Нет, она меня не видит».

Стараясь не смотреть на нее, Джейн вдруг обнаружила, что сад кишит какими-то смешными существами, толстыми, крохотными, в красных колпаках с кисточками,— вот они, без сомнения, над ней смеялись. Они показывали на нее пальцами, кивали, подмигивали, гримасничали, кувыркались, ходили на головах. Джейн не испугалась — быть может, потому, что становилось все жарче,— но рассердилась, ибо снова подумала то, что уже мелькало у нее в мыслях: а вдруг мир просто глуп? При этом ей припомнилось, как громко, нагло, бесстыже смеялись ее холостые дядюшки и как она злилась на них в детстве. Собственно, от этого и пыталась она убежать, когда, еще в школе, так захотела приобщиться к умным спорам.

И тут она все-таки испугалась. Женщина встала — она была огромна — и, полая платьем, вошла в комнату. Карлики кинулись за ней. В руке у нее оказался факел, и комнату наполнил сладкий, удушливый дым.

«Так и поджечь недолго...» — подумала Джейн, но тут же заметила, что карлики переворачивают все вверх дном.

Они стащили простыни на пол, кидали вверх подушки, перья летели, и Джейн кричала: «Да что же это вы?» Женщина коснулась картины, свет хлынул из нее. Все пылало, когда Джейн поняла, что это и не пламя, и не свет, а цветы. Из ножек кровати выползал плющ, на красных колпачках цвели розы, и лилии, выросшие у ног, показывали ей желтые языки. От запахов, жары и шума ей становилось дурно, но она и не подумала, что это сон. Сны принимают за видения; видения не принимают за сны.

— Джейн! Джейн! — раздался голос миссис Димбл.— Что это с вами?

Джейн выпрямилась. Все исчезло, только постель была разворочена. Сама она сидела на полу. Ее знобило.

— Что случилось? — спросила миссис Димбл.

— Не знаю, — сказала Джейн.

— Вам плохо?

— Я должна видеть мистера Рэнсома. Нет, все в порядке, вы не волнуйтесь, я сама встану. Только мне надо его сейчас же видеть.

3

Душа у мистера Бультитьюда была мохнатой, как и тело. В отличие от человека, он не помнил ни зоологического сада, откуда сбежал, ни прихода своего в усадьбу, ни того, как он доверился ее обитателям и привязался к ним. Он не знал, что они — люди, а он медведь. Он вообще не знал, что он — это он; все, выраженное словами «я» и «ты», не вмещалось в его сознание. Когда Айви давала ему меду, он не различал ее и себя; благо являлось к нему, и он радовался.

Конечно, вы можете сказать, что любовь его была корыстной — он любил людей за то, что они его кормят, греют, ласкают, утешают. Но с корыстной любовью обычно связывают расчет и холод; у него же их не было. На своекорыстного человека он походил не больше, чем на великодушного. В жизни его не было прозы. Выгоды, которые мы можем презирать, сияли для него райским светом. Если бы один из нас окунулся на миг в теплое, радужное озерцо его души, он подумал бы, что попал на небо, — и выше и ниже нашего разума все не так, как здесь, посередине. Иногда нам являются из детства образы безымянного блаженства или страха, не связанные ни с чем, — чистое качество, прилагательное, плывущее в лишенном существительных мире. В такие минуты мы и заглядываем туда, где мистер Бультитьюд жил постоянно, нежась в теплой и темной водиче.

Сегодня, против обыкновения, его пустили гулять без намордника. Намордник ему надевали потому, что он очень любил фрукты и сладкие овощи. «Он смирный, — объясняла Айви

своей бывшей хозяйке, — а вот честности в нем нет. Дай ему волю, все подьест». Сегодня намордник надеть забыли, и мистер Бультитьюд провел приятнейшее утро среди брюквы. Попозже, когда перевалило за полдень, он подошел к садовой стене. У стены рос каштан, на который легко влезать, чтобы потом спрыгнуть на ту сторону, и медведь стоял, глядя на этот каштан. Айви Мэггс описала бы то, что он чувствовал, словами: «Он-то знает, что туда ему нельзя!» Мистер Бультитьюд видел все иначе. Нравственных запретов он не ведал, но Рэнсом запретил ему выходить из сада. И вот, когда он приближался к стене, таинственная сила встала перед ним, словно облако; однако другая сила влекла его на волю. Он не знал, в чем тут дело, и даже не мог подумать об этом. На человеческом языке это вылилось бы не в мысль, а в миф. Мистер Бультитьюд видел в саду пчел, но не видел улья. Пчелы улетали туда, за стену, и его тянуло туда же. Я думаю, ему мерещились бескрайние луга, бесчисленные ульи и крупные, как птицы, пчелы, чей мед золотистой, гуще, слаще самого меда.

Сегодня он терзался у стены больше, чем обычно. Ему не хватало Айви Мэггс. Он не знал, что она живет на свете, и не вспоминал ее как человек, но ему чего-то не хватало. Она и Рэнсом, каждый по-своему, были его божествами. Он чувствовал, что Рэнсом — важнее; встречи с ним были тем, чем бывает для нас, людей, мистический опыт, ибо этот человек принес с Переландры отблеск потерянной нами власти и мог возвышать души зверей. При нем мистер Бультитьюд мыслил невысказанное, делал невозможное, трепетно внемля тому, что являлось из-за пределов его мохнатого мира. С Айви он радовался, как радуется дикарь, трепещущий перед Богом, среди незлобивых богов роции и ручья. Айви кормила его, брала, целый день говорила с ним. Она твердо верила, что он все понимает. В прямом смысле это было неверно, слов он не понимал. Но речь самой Айви выражала не столько мысли, сколько чувства, ведомые и Бультитьюду, — послушание, довольство, привязанность. Тем самым, они друг друга понимали.

Мистер Бультитьюд трижды подходил к дереву и трижды отступал. Потом, очень тихо и воровато, он на дерево полез.

Над стеной он посидел с полчаса, глядя на зеленый откос, спускающийся к дороге. Иногда его клонило в сон, но в конце концов он грузно спрыгнул. Тут он так перепугался, что сел на траву и не двигался, пока не услышал рокота.

На дороге показался крытый грузовик. Один человек в институтской форме вел его, другой сидел рядом.

— Эй, глянь! — крикнул второй. — Может, прихватим?

— Чего это? — спросил водитель.

— Возьми глаза в руки!

— Ух ты! — сказал водитель. — Медведюга. А это не наш?

— Наша в клетке сидит, — отвечал его спутник.

— Может, сбежала?

— Досюда бы не дошлепала. Это ж по сорок миль в час! Нет, я не про то. Давай-ка этого возьмем.

— Приказа нет, — сказал водитель.

— Так-то оно так, да ведь волка нам не дали...

— Ничего не попишешь. Вот старуха собачья. Не продам, говорит, ты свидетель. Уж мы ей и то, и это, и опыты у нас — одно удовольствие, и зверей жуть как любят... В жизни столько не врал. Не иначе, Лен, как ей натрепались.

— Верно, Сид, мы ни при чем. Только нашим это все одно. Или делай дело, или сматывай.

— Сматывай? — сказал Сид. — Хотел бы я видеть, кто от них смотался.

Лен сплюнул.

— В общем, — сказал Сид, — чего его, тащить?

— Все лучше, чем так, — сказал Лен. — Они, медведи, денег стоят. Да и нужен им, я сам слышал. А тут он и гуляет.

— Ладно, — не без иронии заметил Сид. — Приспичило — веди его сюда.

— А мы его усыпим...

— Свой обед не дам, — сказал Сид.

— Да уж, от тебя жли, — сказал Лен, вынимая промасленный сверток. — Скажи спасибо, что я капать не люблю.

— Прямо, не любишь! — сказал Сид. — Все знаем.

Тем временем Лен извлек из свертка толстый бутерброд и полил его чем-то из скляночки. Потом он открыл дверцу, вы-

лез и сделал один шаг, придерживая дверцу рукой. Медведь сидел очень тихо ярдов за шесть от машины. Лен изловчился и швырнул ему бутерброд.

Через пятнадцать минут медведь лежал на боку, тяжело дыша. Лен и Сид завязали ему морду, связали лапы и с трудом поволокли к машине.

— Надорвал я чего-то... — сказал Сид, держась за левый бок.

— Грам-та-ра-рам, — сказал Лен, отирая пот, заливающий ему глаза. — Поехали.

Сид влез на свое место и посидел немного, с трудом выговаривая «ох ты, Господи» через равные промежутки времени. Потом он завел мотор, и они удалились.

4

Теперь, когда Марк не спал, время его делилось между незнакомцем и уроками объективности. Мы не можем подробно описать, что именно он делал в комнате, где потолок был испещрен пятнами. Ничего значительного и даже страшного не происходило, но подробности для печати не подходят и по детскому своему непотребству, и просто по нелепости. Иногда Марк чувствовал, что хороший, здоровый смех мигом разогнал бы здешнюю атмосферу, но, к несчастью, о смехе не могло быть и речи. В том и заключался ужас, что мелкие пакости, способные позабавить лишь глухого ребенка, приходилось делать с научной серьезностью, под надзором Фроста, который держал секундомер и записывал что-то в книжечку. Некоторых вещей Марк вообще не понимал. Например, нужно было время от времени влезать на стремянку и трогать какое-нибудь пятно, просто трогать, потом спускаться. Но то ли под влиянием всего остального, то ли еще почему, упражнение это казалось самым непотребным. А образ «нормального» укреплялся с каждым днем. Марк не знал до сих пор, что такое идея; он думал, что это — мысль, мелькающая в сознании. Теперь, когда сознание постоянно отвлекали, а то и наполняли гнусными образами, идея стояла перед ним сама по себе, как гора, как скала, которую не сокрушить, но о которую можно опереться.

Спаситься ему помогал и незнакомец. Трудно сказать, что они беседовали. Каждый из них говорил, но получалась не беседа, а что-то другое. Незнакомец изъяснялся так туманно и питал такую склонность к пантомиме, что более простые способы общения на него не действовали. Когда Марк объяснил, что табачку у него нет, он шесть раз кряду высыпал на колено воображаемый табак, чиркал невидимой спичкой и изображал на своем лице такое наслаждение, какого Марку встречать не доводилось. Тогда Марк сказал, что «они» не иностранцы, но люди чрезвычайно опасные и лучше всего не вступать с ними в общение.

— Ну!..— отвечал незнакомец.— Э?..

И, не прикладывая пальца к губам, разыграл сплошную пантомиму, означавшую то же самое. Отвлечь его от этой темы было нелегко. Он то и дело повторял: «Чтоб я, да им?.. Не-е! Это уж спасибо... мы-то с вами... а?» И взгляд его говорил о таком тайном единении, что у Марка теплело на сердце.

Решив наконец, что тема исчерпана, Марк начал было:

— Значит, нам надо...

Но незнакомец снова принялся за свою пантомиму, повторяя то «э?» то «э!».

— Конечно,— сказал Марк,— мы с вами в опасности. Поэтому...

— Э!..— сказал незнакомец.— Иностранцы?

— Нет, нет,— сказал Марк.— Они англичане. Они думают, что вы иностранец. Поэтому они...

— Ну! — прервал его незнакомец.— Я и говорю. Иностранцы. Уж я-то их знаю! Чтоб я им... да мы с вами... э!

— Я все думаю, что бы нам предпринять,— сказал Марк.

— Ну,— одобрил незнакомец.

— И вот...— начал Марк, но незнакомец с силой воскликнул:

— То-то и оно!

— Простите? — спросил Марк.

— А! — сказал незнакомец и выразительно похлопал себя по животу.

— Что вы имеете в виду? — спросил Марк.

Незнакомец ударил одним указательным пальцем по другому, словно отсчитал первый довод в философском споре.

— Сырку пожарим, — сказал он.

— Я сказал «предпринять» в смысле побега, — несколько удивился Марк.

— Ну, — сказал незнакомец. — Папаша мой, понимаешь. В жизнь свою не болел. Э? Сколько жил, не болел.

— Это поразительно, — признал Марк. — Вероятно, ему был полезен свежий воздух.

— А почему? — спросил незнакомец, с удовольствием выговаривая такую связную фразу. — Э?

Марк хотел ответить, но его собеседник дал понять, что вопрос риторический.

— А потому, — торжественно произнес он, — что жарил сыр. Воду гонит из брюха. Гонит воду. Э? Брюхо чистит. Ну!

Следующие беседы шли примерно так же. Марк всячески пытался понять, как его собеседник попал в Бэлбери, но это было нелегко. Почетный гость говорил преимущественно о себе, но речь его явно состояла из каких-то ответов неизвестно на что. Даже когда она становилась яснее, Марк не мог разобраться в аллюзиях, ибо ничего не знал о бродягах, хотя и написал статью о бродяжничестве. Примерно получалось, что совершенно чужой человек заставил незнакомца оддать ему одежду и усыпил его. Конечно, в такой форме истории Марк не слышал. Бродяга говорил так, словно Марк все знает, а любой вопрос вызывал к жизни лишь очередную пантомиму. После долгих и обильных возлияний Марк добился лишь возгласов: «Ну! Он уж, я тебе скажу!..», «Сам понимаешь!..», «Да, таких поискать!..» Произносил это бродяга с умилением и восторгом, словно кража его собственных брюк восхищала его.

Вообще, восторг был основной его эмоцией. Он ни разу не высказал нравственного суждения, не пожаловался, ничего не объяснил. Судя по рассказам, с ним вечно творилось что-то несправедливое или просто непонятное, но он никогда не обижался и даже радовался, лишь бы это было в достаточной мере удивительно.

Нынешнее положение не вызывало в нем любопытства. Он его не понимал, но он и не ждал смысла от того, что с ним случилось. Он горевал, что нет табачку, и считал иностранцев опасными, но знал свое: надо побольше есть и пить, пока дают. Постепенно Марк этим заразился. От бродяги плохо пахло, он жрал, как зверь, но непрерывная пирушка, похожая на детский праздник, перенесла Марка в то царство, где веселились мы все, пока не пришло время приличий. Каждый из них не понимал и десятой части того, что говорит другой, но они становились все ближе. Лишь много лет спустя Марк понял, что здесь, где не осталось места тщеславию и надежды было не больше, чем на кухне у людоеда, он вошел в самый тайный и самый замкнутый круг.

Время от времени одиночество их нарушали. Фрост, или Уизер, или оба они приводили какого-нибудь человека, который обращался к бродяге на неведомом языке, не получал ответа и удалялся. Бродяга, покорный непонятному и по-звериному хитрый, держался превосходно. Ему и в голову не приходило разочаровать своих тюремщиков, ответив по-английски. Он вообще не любил разочаровывать. Спокойное безразличие, сменявшееся иногда загадочно-острым взглядом, сбивало его хозяев с толку. Уизер тщетно искал на его лице признаки зла; но не было там и признаков добродетели. Такого он еще не встречал. Он знал дураков, знал трусов, знал предателей, возможных сообщников, соперников, честных людей, глядевших на него с ненавистью. Но этого он не знал.

Так шли дела, пока наконец все не переменялось.

5

— Похоже на ожившую картину Тициана, — сказал Рэнсом, когда Джейн поведала ему, что с ней произошло.

— Да, но... — начала Джейн и замолчала. — Конечно, похоже, — снова заговорила она. — и женщина, и карлики... и свет. Мне казалось, что я люблю Тициана, но я, наверное, не принимала его картины всерьез. Знаете, все хвалят Возрождение...

— А когда вы увидели его сами, оно вам не понравилось?
Джейн кивнула.

— А было ли это, сэръ? — спросила она. — Бывают ли такие вещи?

— Да, — сказал Рэнсом, — я думаю, это было. Даже на этом отрезке земли, в нашей усадьбе, есть тысячи вещей, которых я не знаю. Кроме того, Мерлин многое притягивает. С тех пор как он здесь, мы не совсем в двадцатом веке. А вы... вы же ясновидящая. Наверное, вам суждено ее встретить. Ведь именно к ней вы бы и пришли, если бы не нашли другого.

— Я не совсем понимаю вас, — сказал Джейн.

— Вы говорите, она напомнила вам матушку Димбл. Да, они похожи, матушка в дружбе с ее миром, как Мерлин в дружбе с лесами и реками. Но сам он — не лес и не река. Матушка приняла все это и освятила. Она — христианская жена. А вы — нет. Вы и не девственница. Вы вошли туда, где нужно ждать встречи с этой женщиной, но отвергли все, что с ней случилось с той поры, как Малельдил пришел на Землю. Вот она и явилась вам как есть, в бесовском обличье, и оно не понравилось вам. Разве не так было и в жизни?

— Вы считаете, — медленно сказала Джейн, — что я что-то подавляла?

Рэнсом засмеялся тем самым смехом, который так сердил ее в детстве.

— Да, — сказал он. — Не думайте, это не по Фрейд, он ведь знал лишь половину. Речь идет не о борьбе внешних запретов с естественными желаниями. Боюсь, во всем мире нет норы, где можно спрятаться и от язычества, и от христианства. Представьте себе человека, который брезгает есть пальцами, но отказывается от вилки.

Джейн залилась краской не столько от этих слов, сколько от того, что Рэнсом смеялся. Он ни в коей мере не был похож на матушку Димбл, но вдруг ей открылось, что он — с ними. Конечно, сам он не принадлежал к медно-жаркому, древнему миру, но он был допущен туда, а она — нет. Открытие это поразило ее. Рухнула стародевичья мечта найти наконец мужчи-

ну, который понимает. До сих пор она принимала как данность, что Рэнсом — самый бесполой из знакомых ей мужчин; и только сейчас она поняла, что мужественность его сильнее и глубже, чем у других. Она твердо верила, что внеприродный мир — чисто духовен, а слово это было для нее синонимом неопределенной пустоты, где нет ничего — ни половых различий, ни смысла. А может, то, что там есть, сильнее, полнее, ярче с каждой ступенькой? Быть может, то, что ее смущало в браке, — не пережиток животных инстинктов или варварства, где царил самец, а первый, самый слабый отсвет реальности, которая лишь на самом верху являет себя во всей красе?

— Да, — сказал Рэнсом, — выхода нет. Если бы вы отвернулись от мужчин по призванию к девственности, Господь бы это принял. Такие души, минуя брак, находят много дальше ту, большую мужественность, которая требует и большего послушания. Но вы страдали тем, что старые поэты называли *daungier*. Мы называем это гордыней. Вас оскорбляет мужское начало само по себе — золотой лев, крылатый бык, который врывается, круша преграды, в садик вашей брезгливой чопорности, как ворвались в прибранный павильон наглые карлики. От самца уберечься можно, он существует только на биологическом уровне. От мужского начала уберечься нельзя. Тот, Кто выше нас всех, так мужествен, что все мы — как женщины перед Ним. Лучше примириться с вашим противником.

— Вы думаете, я стану христианкой? — сказала Джейн.

— Похоже на то, — сказал Рэнсом.

— Я... я еще не понимаю, при чем тут Марк, — сказала Джейн.

Это было не совсем так. Мир, представший ей в видении, сверкал и бушевал. Впервые поняла она ветхозаветные образы многоликих зверей и колес. Но странное чувство смущало ее: вель это она должна говорить о таких вещах христианам. Это она должна явить свой буйный и сверкающий мир им, знающим лишь бесцветную скорбь; это она должна показать самозабвенную пляску им, знающим лишь угловатые позы мучеников с витража. К такому делению мира она привыкла. Но сейчас витраж засветился перед ней лазурью и пурпуром. Где же

в этом новом мире должен быть Марк? Во всяком случае, не там, где был. У нее отнимали что-то утонченное, умное, современное, казалось бы — духовное, ничего не требовавшее от нее и ценившее в ней те качества, которые ценила она сама. А может, ничего такого и не было? Она спросила, чтобы оттянуть время:

— Кто же эта женщина?

— Точно не знаю, — сказал Рэнсом, — но догадываюсь. Вы слышали о том, что каждая планета воплощена еще раз на каждой другой?

— Нет, сэр, не слышала.

— А это так. Небесные силы представлены и на Земле, а на любой планете есть маленький неподвижный двойник нашей планеты. Вот почему был Сатурн в Италии, Зевс в Греции. Тогда, в древности, люди встречали именно этих, земных двойников и звали их богами. Именно с ними вступали в общение такие, как Мерлин. Те же, что обитают дальше Луны, на Землю не спускались. В вашем случае это была земная Венера, двойник небесной Переландры.

— Вы думаете, что...

— Я знаю. Этот дом — под ее влиянием. Даже в земле нашей есть медь. Кроме того, земная Венера будет сейчас очень активна. Вель сегодня спустится ее небесная сестра.

— Я забыла, — сказала Джейн.

— Когда она придет, вы этого уже не забудете. Всем вам лучше собраться вместе — скажем, в кухне. Навверх не ходите. Сегодня ночью Мерлин предстанет перед пятью моими повелителями — перед Виритрильбией, Переландрой, Малакандрой, Глундом и Лургой. Они передадут ему силу.

— Что же он будет делать, сэр?

Рэнсом засмеялся.

— Первый шаг нетруден. Бэлбери ищет кельтолога. Мы им его пошлем. Да, слава Господу Христу, мы пошлем им переводчика! Они сами призвали своего губителя. Первый шаг нетруден... и потом все пойдет легко. Когда сражаешься с теми, кто служит бесам, хорошо то, что бесы эти ненавидят своих слуг не

меньше, чем нас. Как только несчастные пешки теряют цену, их господа завершают работу сами, ломая свои орудия.

В дверь постучались, и вошла Грейс Айронвуд.

— Вернулась Айви, сэр, — сказала она. — Вам бы лучше поговорить с ней. Нет, она одна. Она его и не видела. Срок он отбыл, но его не отпустили. Его послали в Бэлбери на лечение. Да, теперь так... Приговора не требуется... но Айви очень плачет, она совсем плоха.

6

Джейн вышла в сад. Она поняла, что говорил Рэнсом, но не приняла. Сравнение мужской любви с любовью Божией (даже если Бога нет) показалось ей кощунственным и непристойным. До сих пор религия представлялась ей чем-то вроде прозрачных благовоний, тянущихся от души вверх, в небо, которое радо их принять. Тут она вспомнила, что ни Рэнсом, ни Димбл, ни Камилла никогда не говорили о религии. Они говорили о Боге. Они ведали не тонкий туман, поднимающийся вверх, но сильные, могучие руки, протянутые к нам, книзу. А вдруг ты сама — Чье-то создание и этот Кто-то любит тебя совсем не за то, что ты считаешь «собой»? Вдруг и Димблы, и Марк, и даже холостые дядюшки ценят в тебе не тонкость и не ум, а беззащитность? Вдруг Машельдил согласен с ними, а не с тобой? На секунду ей предстал нелепый мир, где сам Бог не может понять ее и принять всерьез. И тогда, у кустов крыжовника, все преобразилось. Земля под кустами, мох на дорожке, кирпичный бордюр газона были такими же и совсем иными. Она переступила порог. Она вошла в мир, где с нею был Кто-то. Он терпеливо ждал ее, и защиты от Него не было. Теперь она знала, что Рэнсом говорил неточно или она сама не понимала его слов. Веление и мольба, обращенные к ней, не имели подобий. Все правые веления и мольбы проистекали от них, и только в этом свете можно было понять их, но оттуда, снизу, нельзя было догаться ни о чем. Такого не было нигде. Вообще, ничего другого не было; но все походило на это и лишь потому существовало. Маленький об-

раз, который она называла «я», пропал в этой высоте, глубине, широте, как пропадает в небе птица. «Я» называлось другое существо, еще не знакомое ей, да и не существующее, а только вызываемое к жизни велением и мольбой. То была личность, но и вещь, сотворенная на радость Другому, а через Него — и всем другим. Нет, ее творили сейчас, не спросясь, по-своему, творили в ликованиях и муке, но она не могла сказать, кто же ликовал и мучится — она или ее Творец.

Описание наше длинно. Самое важное, что случилось с Джейн за всю ее жизнь, уместилось в миг, который едва ли можно назвать временем. Рука ее схватила лишь память о нем. И сразу же изо всех уголков души заговорили голоса: «Берегись! Не сходи с ума! Не поддавайся!»

Потом, вкрадчивей и тише:

«Теперь и у тебя есть мистический опыт. Это интересно. Это очень редко. Ты будешь лучше понимать поэтов-метафизиков».

И наконец:

«Это понравится ему».

Но система укреплений, оберегавшая ее, уже пала, и она не слушала ничего.

Глава XV

БОГИ СПУСКАЮТСЯ НА ЗЕМЛЮ

1

Усадьба Св. Анны была пуста. Только в кухне, поближе к огню, сидели Димбл, Деннистон, Макфи и дамы, а далеко от них, в синей комнате — Мерлин и Пендрагон.

Если бы кто-нибудь поднялся по лестнице, ему, уже в коридоре, преградил бы путь не страх, а какой-то на ощупь осязаемый барьер. Если бы он все же прошел дальше, он услышал бы какие-то звуки, но не голоса, и увидел бы свет под дверью синей комнаты. Двери бы он не достиг, но ему бы показалось,

что дом дрожит и покачивается, словно корабль, и он почувствовал бы, что Земля не прочное дно мироздания, а шарик, катящийся сквозь густую, населенную среду.

Мерлин и Рэнсом стали ждать своих гостей, как только село солнце. Рэнсом лежал, Мерлин сидел рядом, сложив руки и слегка подавшись вперед. Иногда по его бурой щеке скатывалась капля пота. Поначалу он думал ждать на коленях, но Рэнсом этого не разрешил и сказал: «Помни, они — служители, как и мы с тобой!» Занавесей не задернули, света не зажигали, но в окна вливался свет, сперва морозно-алый, потом — звездный.

На кухне пили чай, когда что-то случилось. До сих пор все говорили потише, как дети, которые боятся помешать взрослым, занятым чем-нибудь непонятным — скажем, читающим завещание. Вдруг они заговорили громко, разом, перебивая друг друга. Со стороны могло показаться, что они пьяны. Никому не удалось припомнить потом, о чем шла речь.

Они играли не словами, а мыслями, парадоксами, образами, выдумками, и гипотезы — то ли смешные, то ли серьезные — рождались одна за другой. Даже Айви забыла свою печаль, а матушка Димбл часто рассказывала впоследствии, как муж ее и Артур, стоя у камина, с небывалым блеском вели словесный поединок, взмывая все выше, словно птицы или самолеты в бою. За всю свою жизнь она не слышала такого красноречия, такого точного ритма, таких догадок и метафор. Но вспомнить, о чем они говорили, она не могла.

Вдруг все замолкли, словно улегся ветер. Усталые, несколько ошеломленные, они глядели друг на друга; а наверху тем временем происходило иное.

Рэнсом вцепился в край тахты, Мерлин сжал губы. По комнате разлился свет, которого никто из людей не мог бы ни назвать, ни вообразить. Больше ничего, только свет. Сердца у обоих мужчин забились так быстро, что им показалось, будто тела их сейчас разобьются вдребезги. Но разлетелись не тела их, а разум: желания, воспоминания, мысли дробились и снова сливались в сверкающие шарики. К их счастью, они любили стихи; тот, кто не приучен видеть сразу и два, и три, и больше

смыслов, просто не вынес бы этого. Рэнсом, много лет изучавший слово, испытывал небесное наслаждение. Он находился в самом сердце речи, в раскаленном горниле языка. Ибо сам повелитель смыслов, вестник, герольд, глашатай явился в его дом. Пришел Уарса, который всех ближе к Солнцу, — Виритильбия, звавшийся Гермесом, Меркурием на Земле.

На кухне все растерянно молчали. Джейн чуть было не заснула, но ее разбудил стук выпавшей из рук книги. Было очень тепло. Она всегда любила, когда в камине — дрова, а не уголь, но сейчас поленья пахли особенно приятно, так приятно, что ей вспомнились ладан и фимиам. Димблы тихо беседовали друг с другом, лица их изменились. Теперь они казались не старыми, а вызревшими, как поле в августе, спокойное, золотое, налившееся исполненной надеждой. Артур что-то шептал Камилле. На них она даже не могла смотреть — не из зависти, но потому, что их окружало невыносимое сияние. У ног их — мягко и легко, как дети, — плясали человечки, не грубые и не смешные, а светлые, с пестрыми крылышками и палочками из слоновой кости.

Мерлин и Рэнсом тоже ощутили, что стало теплее. Окна сами собой распахнулись, но извне ворвался не холод, а теплый ветер, который и летом редко дует в Англии. По щекам Рэнсома потекли слезы. Только он знал, какие моря и острова овеивает это тепло. Мерлин этого не знал, но и у него заныла та неизлечимая рана, с которой рождается человек, и жалобные, древние причитания полились с его уст. Стало еще жарче. Оба вздрогнули: Мерлин — потому что не понимал, Рэнсом — потому что понял. В комнату ворвался яркий свет, убийственный и жертвенный свет любви — не той, умягченной Воплощением, которую знают люди, а той, что обитает в третьем небе. Мерлин и Рэнсом ощущали, что сейчас она сожжет их. Они ощущали, что вынести ее не могут. Они ощущали, что не снесут ее холода. Так вошла Переландра, которую звали на Земле Афродитой и Венерой.

Внизу, на кухне, Макфи шумно двинул стулом по плиточному полу, словно грифелем по доске.

— Джентльмены! — воскликнул он. — Какой позор! Как нам не стыдно тут сидеть!

Глаза у Камиллы сверкнули.

— Идем! — воскликнула она. — Идем же!

— О чем вы, Макфи? — спросил Димбл.

— О битве! — вскричала Камилла.

— Один сержант говорил, — сказал Макфи, — «Ух, хорошо, когда ему голову проломишь!»

— Господи, какая гадость! — сказала магушка Димбл.

— Это, конечно, жутковато, — сказала Камилла. — Но... ах, вскочить бы сейчас на коня!..

— Не понимаю, — сказал Димбл. — Я не храбр. Но, знаете ли, мне показалось, что я уже не так боюсь раны или смерти...

— Да, нас ведь могут убить, — сказала Джейн.

— Когда мы вместе, — сказала миссис Димбл, — было бы... нет, я совсем не герой... но все же это хорошая смерть.

И каждый, взглянув на другого, подумал: «С ним не страшно умереть».

Наверху было примерно то же самое. Мерлин видел знамя Пречистой над тяжкою конницей бриттов, римлян и светловолосых варваров. Он слышал, как лязгают мечи о древо щитов, как воют люди, свищут стрелы. Видел он и вечер, костры на холме, отражения звезд в кровавой воде, орлов в темнеющем небе. Бодрый холод морским ветром ворвался к ним, и оба они ощутили неукоснительный ритм мироздания, смену зимы и лета, танец атомов, повиновение серафимов. Под грузом повиновения воля их держалась прямо, они стояли весело, трезвенно и бодро, не ведая ни страхов, ни забот, и жизнь обрела для них торжественную легкость победного шествия. Как человек, коснувшийся лезвия, Рэнсом узнал чистый холод Малакандры, которого звали на Земле Марсом, Аресом, Тором, и приветствовал своих гостей на небесном языке.

Мерлину он сказал, что именно теперь нужно держаться, ибо первые трое — ближе к человеку, что-то соответствует в них мужскому и женскому началу, их понять нам легче, а в тех, кто сейчас придет, тоже есть что-то, соответствующее роду — но не такому, какой ведом на Земле. К тому ж они сильнее, стар-

ше и миров их не коснулось благое унижение органической жизни.

«Пошевелите поленья. Деннистон», — сказал Макфи. «Похолодало», — сказал Димбл, и все подумали о жухлой траве, о мерзнувших птицах, о темной чаше. Потом — о темноте ночи, потом — о беззвездной бездне вселенской пустоты, в которую канет всякая жизнь. Куда уходят годы? Может ли Сам Господь вернуть их? Печаль стужалась. Стужалось и сомнение — нужно ли вообще что-нибудь понимать?

Сатурн, называемый в небесах Лургой, стоял в синей комнате. Перед его свинцово-тяжкой древностью сами боги ощущали себя слишком молодыми. Он был стар и могуч, словно гора. Рэнсому и Мерлину стало очень холодно, и сила Лурги вливалась в них невыразимой печалью. Внизу, на кухне, никто не мог потом вспомнить, как же это было: вдруг закипел чайник и запенился пунш. Кто-то попросил Артура что-нибудь сыграть. Стулья сдвинули к стенам, начался танец. Никто не вспомнил потом, что же они танцевали. Они мерно хлопали в ладоши, кланялись, били об пол ногой, высоко подпрыгивали. Ни один из них не чувствовал себя смешным. Всем казалось, что кухня стала королевским дворцом, а танец величав и прекрасен, как торжественная церемония.

Синяя комната осветилась радостным светом. Перед первыми четырьмя человек склоняется, перед пятым он умирает, ибо, если он не умрет, он засмеется. Даже если ты калека, твой шаг станет царственным; даже если ты нищий, лохмотья твои станут мантией. Праздничная радость, веселое величие, пышность, вежество, торжество исходили от пришельца. Чтобы создать отдаленное его подобие, мы трубим в трубы, бьем в колокола, воздвигаем триумфальные арки. Он был подобен зеленой волне, увенчанной тепло-белой пеной и разбивающейся о скалы с грозным смехом; музыке на пиру, такой ликующей и такой высокой, что радость, родственная страху, охватывает гостей. Пришел царь царей, Уарса Глунд, которого звали на Земле Юпитером и, трепеща перед его творческой силой, принимали за Самого Творца.

С приходом его в синей комнате воцарился праздник. Захваченные славословием, которое вечно поют пятеро совершенных, люди забыли на время, зачем те пришли. Но Уарсы напомнили об этом и даровали Мерлину новую силу.

Наутро он был другим. Он сбрил бороду, но главное — он больше не принадлежал себе. После завтрака Макфи посадил его в машину и высадил неподалеку от Бэлбери.

2

Марк дремал у бродягиного ложа, когда явились посетители. Первым вошел Фрост и придержал дверь, впуская в комнату Уизера и еще одного, незнакомого человека.

Новоприбывший — в грубой рясе, с широкополой шляпой в руке — был очень высок, чисто выбрит, изрезан морщинами и голову держал немного склоненной. Марк сразу решил, что это — простой монах, знающий по случайности древние наречия, такие же темные, как он сам. Было неприятно видеть его рядом с этими негодяями, наблюдавшими не без холодной брезгливости за ходом эксперимента.

Уизер что-то сказал незнакомцу по-латыни, Марк не понял и подумал: «Ну конечно, он священник. Где они его откопали? Может, грек? Непохоже... Скорей уж русский». Однако больше он не гадал, ибо его приятель, открывший было глаза, крепко зажмурился и стал себя странно вести. Сперва он захрюкал и повернулся к прочим спиной. Незнакомец шагнул к кровати и произнес два-три слова. Бродяга — медленно, словно тяжелый корабль, послушный рулю, — перекатился на другой бок и уставился на пришельца. Тот заговорил опять; лицо у бродяги исказилось, и он — заикаясь, кашляя, тяжело дыша — выговорил высоким голосом какую-то непонятную фразу.

Так беседа и пошла. Бродяга стал говорить глаже, но голос у него был совсем не тот, который часто слышал Марк. Вдруг он присел в постели, указывая пальцем на Уизера и Фроста. Пришелец что-то спросил. Бродяга что-то ответил.

Тогда пришелец отступил назад, несколько раз перекрестился и быстро заговорил по-латыни, обращаясь к начальни-

кам. Лица их менялись, пока он говорил, — они все больше походили на собак, идущих по следу. Пришелец кинулся к дверям, подобрав ряску; они его перехватили. Фрост скалился совершенно как пес. Уизер уже не смотрел вдаль. Пришелец осторожно двинулся к кровати. Бродяга застыл, подобострастно глядя на него.

Снова началась беседа. Бродяга опять указал на Уизера и Фроста, пришелец перевел его слова на латынь. Уизер и Фрост переглянулись. Дальше пошел чистый бред. Очень осторожно, трясаясь и кряхтя, и. о. стал опускаться на колени; через полсекунды опустился и Фрост с каким-то металлическим лязганьем. Он посмотрел снизу на Марка, и лицо его скривилось от злости, такой сильной, что она уже не была страстью и обжигала холодом, словно металл на морозе. «На колени!» — крикнул он и отвернулся. Марк так и не вспомнил потом, забыл он послушаться или с этого и начался его бунт.

Бродяга опять заговорил, не отрывая глаз от пришельца. Тот перевел и отступил в сторону. Уизер и Фрост поползли к кровати. Бродяга сунул им грязную мохнатую руку. Они ее поцеловали. Он приказал что-то еще. Уизер стал возражать (все по-латыни), указывая на Фроста. Слова *venia tua*, тут же исправлявшиеся на *venia vestra*, звучали так часто, что и Марк их понял. Но бродяга был непреклонен. Уизер и Фрост покинули комнату.

Как только закрылась дверь, бродяга рухнул, словно из него выпустили воздух. Он катался по кровати, бранился, но Марк не слушал его, ибо пришелец теперь обернулся к нему самому. Чтобы лучше его понять, Марк поднял голову, но она сразу упала, и, сам того не заметив, он крепко заснул.

— Ну как?.. — спросил Фрост.

— По... поразительно, — еле выговорил Уизер.

Они шли по проходам и говорили очень тихо.

— Куда мы идем? — спросил Фрост.

— В мои комнаты, — сказал Уизер. — Если вы помните, он просил, чтобы ему дали одежду.

— Он не просил. Он приказал.

Уизер не ответил. Они вошли в его спальню и закрыли дверь.

— Я полагаю, это ему подойдет, — сказал Уизер, выкладывая одежду на постель. — Мне кажется, баскский... э-э... священнослужитель вам не совсем приятен. Я не разделяю вашей неприязни к религии. Я говорю не о христианстве в его примитивной форме, но в религиозных кругах... я сказал бы, в клерикальных сферах... время от времени попадаются чрезвычайно ценные виды духовности. Как правило, носители их в высшей степени деятельны. Отец Дойл, хотя он и не очень даровит, — один из лучших наших сотрудников, а Стрэйк способен к полной самоотдаче (вы, если не ошибаюсь, называете ее объективностью?). Это — редкость, немалая редкость.

— Что вы предлагаете?

— Прежде всего нужно посоветоваться с головой. Как вы понимаете, слово это я употребляю условно, лишь для краткости.

— Не успеем. Скоро банкет. Через час приедет Джалс. Мы с ним прокрутимся до ночи.

Уизер об этом забыл; но испугало его именно то, что ему отказала память, словно на него впервые дохнула зима.

— Нечего и говорить, их обоих придется туда взять, — сказал Фрост. — Одних оставлять нельзя.

— Однако мы их оставили... с этим вашим Стэддоком. Надо скорей вернуться.

— А что с ними дальше делать?

— Обстоятельства подскажут...

Словом, бродягу выкупали и одели, а когда это кончилось, пришелец в рясе сообщил, что он требует, чтобы ему показали весь дом.

— Мы будем чрезвычайно рады... — начал Уизер.

Бродяга перебил его. Пришелец сказал:

— Он требует, чтобы вы показали ему голову, зверей и узников. Кроме того, он пойдет только с одним из вас. С вами. — И он указал на Уизера.

— Я не допущу, — вмешался Фрост, но Уизер не дал ему кончить.

— Дорогой мой Фрост, — сказал он, — вряд ли сейчас время... э-э-э... К тому же один из нас должен встретить Джалса.

Пришелец сказал:

— Простите меня, это не мои слова, я обязан перевести. Он запрещает говорить при нем на незнакомом языке. Он привык, это его слова, чтобы ему повиновались. Он спрашивает, хотите ли вы, чтобы он был вашим другом или врагом.

Фрост двинулся к кровати, но говорить не смог. В голову ему приходили какие-то нелепые обрывки слов. Он знал, что общение с макробами может повлиять на психику, даже совсем ее разрушить, однако приучил себя об этом не думать. Быть может, это началось. Фрост напомнил себе, что страх — продукт химических реакций. Кроме того, в самом лучшем случае, это лишь предвестник конца. Перед ним еще масса работы. Он переживает Уизера. Стрэйка он убьет. Он отошел в сторону, а Мерлин, бродяга и Уизер вышли из комнаты.

Фрост не ошибся — он сразу же обрел дар речи и без труда сказал, тряся Марка за плечо:

— Нашли место спать! Идем.

3

В одеждах доктора философии бродяга ходил по дому осторожно, словно по яйцам. Время от времени лицо его искажалось, но ему не удавалось произнести ни слова, если Мерлин не оборачивался к нему и его не спрашивал. Он ничего не понимал, но далеко не впервые с ним творились непонятные вещи.

Тем временем, войдя в длинную комнату, Марк увидел, что стол отодвинут к стене. На полу лежало огромное распятие, почти в натуральную величину, выполненное в испанском духе — с предельным, жутким реализмом.

— У нас есть полчаса, — сказал Фрост, глядя на секундомер, и велел Марку топтать и как угодно оскорблять распятие.

Джейн отошла от христианства в детстве — тогда же, когда перестала верить в Санта-Клауса, но Марк не знал его вообще. Поэтому сейчас ему впервые пришло в голову: «А вдруг в этом

что-нибудь есть?» Фрост знал, что первая реакция может быть такой, очень хорошо знал, ибо и ему пришла поначалу эта мысль. Но выбора не было. Это непременно входило в посвящение.

— Нет, вы посудите сами... — начал Марк.

— Что, что? — сказал Фрост. — Быстрее, у нас мало времени.

— Это же просто суеверие, — сказал Марк, указывая на страшное белое тело.

— И что же?

— Какая же тут объективность? Скорее, субъективно его оскорбляют. Ведь это просто кусок дерева...

— Вы видите поверхностно. Если бы вы не выросли в христианском обществе, вас бы это упражнение не касалось. Конечно, это суеверие, но именно оно давит на нашу цивилизацию много столетий. Можно экспериментально доказать, что оно существует в подсознании у лиц, которые сознательно его отвергают. Тем самым упражнение целесообразно, и обсуждать тут нечего. Практика показывает, что без него обойтись нельзя.

Марк сам удивился тому, что чувствует. Без всякого сомнения, перед ним лежало не то, что поддерживало его в эти дни. Невыносимое, жуткое изображение было, на свой лад, так же далеко от «нормального», как и все остальное в комнате. Марк не мог выполнить приказ, и поэтому ему казалось, что гнусно оскорбляют такое страдание, даже если страдалец вырезан из дерева. Но дело было не только в том. Все здесь как-то изменилось. Оказывается, дихотомия «нормальное» — «ненормальное» или «здоровое» — «больное» работает не всегда. Почему тут распятие? Почему самые гнусные картины — на евангельскую тему? «Куда бы я ни ступил, — думал Марк, — я могу свалиться в пропасть». Ему хотелось врасти копытами в землю, как врастает осел.

— Прошу вас, быстрее, — сказал Фрост.

Спокойный голос, которому он так часто подчинялся, чуть не сломил его. Он шагнул было вперед, чтобы скорей отделаться от этой ерунды, когда беззащитность распятого остановила

его. Никакой логики не было. Эти руки и ноги казались особенно незащитными именно потому, что они сделаны из дерева и уж никак, ничем не могут ответить. Безответное лицо куклы, которую он отобрал у Миртл и разорвал на куски, вспомнилось ему.

— Чего вы ждете, Стэддок? — спросил Фрост.

Марк понимал, как велика опасность. Если он не послушается, отсюда ему не уйти. Страх снова подступил к нему. Он сам был незащитным, как этот Христос. Когда он это подумал, распятие предстало перед ним в новом свете — не куском дерева и не произведением искусства, а историческим свидетельством. Конечно, христианство — чушь, но этот человек жил на свете и пострадал от Бэлбери тех дней. Тогда Марк понял, почему, хотя он и не здоров, и не нормален, он тоже противостоит здесь извращенности. Вот что бывает, когда правда встречает неправду; вот что делает неправда с правдой и сделает с ним, если он правде не изменит. Это — перекресток, крест.

— Вы собираетесь работать? — сказал профессор, глядя на стрелки. Он знал, что Джалс вот-вот прибудет и в любую минуту его могут вызвать. Заниматься сейчас он решил и по наитию (с ним это случалось все чаще), и потому, что спешил заручиться сообщником. В ГНИИЛИ было только трое посвященных — он, Уизер и, быть может, Стрейк. Именно им придется иметь дело с Мерлином. Тот, кто поведет себя правильно, может стать для остальных тем, чем все они были для института, а институт — для Англии. Он знал, что Уизер только и ждет от него какого-нибудь промаха. Значит, надо поскорей перевести Марка через черту, за которой подчинение макробам и своему наставнику становится психологической, даже физической потребностью.

— Вы меня слышите? — спросил он.

Марк молчал. Он думал, и думал напряженно, ибо знал, что, остановись он хоть на миг, страх сломит его. Да, христианство — выдумка. Смешно умирать за то, во что не веришь. Даже этот человек на этом самом кресте обнаружил, что все было ложью, и умер, крича о том, что Бог, которому он так верил,

оставил его. Этот человек обнаружил, что все мироздание — обман. Но тут Марку явилась мысль, которая никогда ему не являлась: хорошо, мироздание — обман, но почему же надо вставать на его сторону? Предположим, правда совершенно беспомощна, над ней глумятся, ее терзают, убивают, наконец. Ну и что? Почему не погибнуть вместе с ней? Ему стало страшно оттого, что самый страх исчез. Все эти страхи прикрывали его, они защищали его всю жизнь, чтоб он не совершил того безумия, которое совершает сейчас, когда говорит, обернувшись к Фросту:

— Да будь я проклят, если это сделаю!

Он не знал и не думал, что будет дальше. Он не знал, позвонит ли Фрост в звонок, или застрелит его, или прикажет снова. Фрост глядел на него, а он на Фроста. Потом он увидел, что Фрост прислушивается. Потом открылась дверь, и в комнате оказалось сразу много народу — человек в красной мантии (бродягу он не узнал), и странный священник, и Уизер.

4

В большой гостиной царило беспокойство. Хорес Джале, директор института, уже полчаса как прибыл. Его повели в кабинет и. о., но и. о. там не было. Его повели в директорский кабинет и надеялись, что он там застрянет; он не застрял. Через пять минут он свалился им на голову и стоял теперь спиной к огню, попивая херес, а главные люди института стояли перед ним.

Беседовать с ним было всегда нелегко, ибо он упорно считал себя настоящим директором и верил, что основные идеи принадлежат ему. Поскольку он не знал другой науки, кроме той, которую ему преподавали в Лондонском университете лет пятьдесят назад, и другой философии, кроме той, которую он почерпнул из Геккеля, Джозефа Маккэба и Уинвуда Рида, обсуждать с ним работу института не представлялось возможным. Приходилось измышлять ответы на бессмысленные вопросы и восхищаться мыслями, которые были и глупыми, и от-

стальными даже в свое время. Вот почему никто не мог обойтись без Уизера, который, один из всех, владел стилем, совершенно удовлетворявшим директора.

Джалс был очень мал ростом, а ноги у него были такие короткие, что его, без должного милосердия, сравнивали с уткой. Былое благодушие его лица подпортили годы чванства и роскошества. Когда-то повести принесли ему славу и влияние; потом он стал издателем научно-популярного еженедельника, и это придало ему такую силу, что имя его понадобилось ГНИИЛИ.

— Я ему и говорю, — сообщил собеседнику Джалс. — Вы, наверное, не знаете, ваше преосвященство, но современные исследования доказали, что иерусалимский храм был не больше деревенской церквушки.

— Н-да!.. — сказал про себя Феверстон, стоявший чуть поодаль.

— Еще хересу, директор? — сказала мисс Хардкасл.

— С удовольствием, — сказал Джалс. — Недурной, недурной, хотя я бы вам мог показать местечко, где он получше. Как ваша работа, мисс Хардкасл? Реформируете систему наказаний?

— Движемся понемногу, — отвечала Фея. — Если чуть-чуть изменить метод, который...

— Я всегда говорю, — заметил Джалс, не давая ей кончить, — почему бы не лечить преступность, как болезнь? Я, знаете ли, против наказаний. Надо выправить человека, помочь ему... возродить в нем интерес к жизни. Если мы взглянем с этой точки зрения, все прояснится. Надеюсь, вы читали мою речь по этому вопросу?..

— Я совершенно с вами согласна, — сказала Фея.

— И правильно, — одобрил Джалс. — А вот Хинджест возражал мне. Кстати, убийцу не нашли? Жаль старика, но я его недолюбливал. Как говорит Уизер... Да, а где же он?

— Наверное, сейчас придет, — сказала Фея. — Не пойму, куда он подевался.

— Он будет очень жалеть, — сказал Филюстрато, — что не смог вас приветствовать сразу.

— Ну, это ничего,— сказал Джалс.— Я не формалист, хотя, честно говоря, я думал, он меня встретит. А вы прекрасно выглядите, Филострато. Слежу, слежу за вашей работой. Я, знаете, считаю вас одним из благодетелей человечества.

— В том-то и дело,— сказал Филострато.— Мы как раз начали...

— Помогаю, как могу,— сказал Джалс,— хотя и не смыслю — хе-хе — в технических тонкостях. Много лет положил я на эту борьбу! Главное — сексуальный вопрос. Я всегда говорю, надо снять эти запреты, и все пойдет гладко. Викторианская скрытность нам вредит, да, вредит! Дай мне волю, каждый юноша и каждая девушка...

— У-ух! — тихо сказал Феверстон.

— Простите,— сказал Филострато (он был иностранцем и еще надеялся просветить директора), — дело не совсем в этом...

— Знаю, знаю,— перебил Джалс и положил на его рукав толстый указательный палец.— Вижу, вы не читаете моего журнала. Очень вам советую проглядеть одну статейку в первом номере за прошлый месяц...

Часы отбили четверть.

— Когда мы пойдем к столу? — спросил Джалс. Он очень любил банкеты, особенно такие, на которых ему доводилось говорить речь. Жрать он не любил.

— В четверть восьмого,— сказала мисс Хардкасл.

— Знаете ли,— сказал Джалс,— этот Уизер мог бы и прийти. Я не придиричивый человек, но, между нами, я обижен. Что это такое, наконец?

— Надеюсь, с ним ничего не случилось.— сказала мисс Хардкасл.

— Мог бы и не уходить в такой день,— сказал Джалс.

— Ессо! — сказал Филострато.— Кто-то идет.

Действительно, в комнату вошел Уизер. но не один, и лицо его было еще бессвязней, чем обычно. Его таскали по собственному институту, как лакея. Хуже того, становилось все яснее, что этот гнусный маг и его переводчик собираются присутствовать на банкете. Никто не понимал лучше Уизера, как нелепо представлять Джалсу старого священника, который не гово-

рит по-английски, и нечто вроде сомнамбулы-шимпанзе в одеждах доктора философии. О том, чтобы все объяснить, и речи быть не могло. Для Джалса «средневековый» значило «дикий», а слово «магия» вызывало в его памяти лишь «Золотую ветвь». Кроме того, пришлось таскать за собой и Стэддока. К довершению бед, предполагаемый Мерлин сразу же рухнул в кресло и закрыл глаза.

— Дорогой друг,— начал Уизер, несколько задыхаясь,— я бесконечно... э-э... польщен. Я надеюсь, что вы без нас не скучали. К моему великому сожалению, меня отозвали перед самым вашим приездом. Удивительное совпадение... другой весьма выдающийся человек присоединился к нам в то же самое время...

— Кто это? — резко спросил Джалс.

— Разрешите мне...— сказал Уизер, отступая в сторону.

— Вот этот?...— спросил Джалс.

Предполагаемый Мерлин сидел, свесив руки по обе стороны кресла. Глаза его были закрыты, по лицу блуждала слабая улыбка.

— Он что, пьян? Болен? Кто он, в конце концов?

— Видите ли, он иностранец...— начал Уизер.

— Мне кажется, это не значит, что ему можно спать, когда его представляют директору! — сказал Джалс.

— Тсс,— сказал Уизер, отводя Джалса в сторону.— Есть обстоятельства... их чрезвычайно трудно сейчас объяснить... если бы я успел, я бы непременно посоветовался с вами... видите ли, наш гость несколько эксцентричен...

— Да кто он? — настаивал Джалс.

— Его зовут... э... Амброзиус, доктор Амброзиус...

— Не слышал,— фыркнул Джалс. В другое время он бы в этом не признался, но все так плохо шло, что он забыл о тщеславии.

— Мало кто слышал о нем...— сказал Уизер.— Но скоро услышат многие. Именно потому...

— А это кто? — Джалс указал на истинного Мерлина.

— О, это просто переводчик доктора Амброзиуса!

— Переводчик? По-английски говорит?
— К сожалению, нет.
— А другого вы найти не могли? Не люблю священников!
Нам они ни к чему. А вы кто такой?

Вопрос был обращен к Стрэйку, который шел прямо на директора.

— Мистер Джалс, — начал он. — Я несу вам весть, которую...

— Отставить, — сказал Фрост.

— Ну что это вы, мистер Стрэйк, что это вы!.. — сказал Уизер; и они поскорее вывели его, подталкивая с обеих сторон.

— Вот что, Уизер, — изрек Джалс, — прямо скажу, я недоволен. Еще один священник! Нам придется с вами серьезно поговорить. Мне кажется, вы распоряжаетесь за моей спиной. Тут, простите, какая-то семинария! Этого я не потерплю. Не потерпит и народ.

— Конечно, конечно, — сказал Уизер. — Я понимаю ваши чувства. Более того, я разделяю их. Поверьте, я вам все объясню. Мне кажется, доктор Амброзиус уже оправился... о, прошу прощения, да вот и он!

Под взглядом Мерлина бродяга поднялся и подошел к директору, протягивая руку. Джалс кисло пожал ее. Доктор Амброзиус ему не нравился. Еще меньше нравился ему переводчик, возвышающийся, словно башня, над ними обоими.

Глава XVI

БАНКЕТ В БЭЛБЕРИ

1

Марк с неописуемым наслаждением предвкушал банкет, где угостят на славу. За столом справа от него сел Филострато, слева — какой-то незаметный новичок. Даже Филострато казался милым и похожим на человека по сравнению с посвященными, новичок же растрогал Марка донельзя. Бродяга, к его удивлению, сидел во главе стола, между Джалсом и Уизером;

смотреть туда не стоило, ибо он сразу же подмигнул Марку. Удивительный священнослужитель тихо стоял за стулом бродяги. Ничего существенного не случилось, пока не провозгласили гостя за монарха и Джалс не начал свою речь.

Поначалу было так, как всегда бывает. Пожилые жуиры, умиротворенные вкусной едой, благодушно улыбались, ибо их не проймешь никакой речью. Там и сям маячили задумчивые лица тех, кого долгий опыт научил думать о своем, что бы ни говорили, и вставлять, где надо, гул одобрения или смех. Беспокойно морщились молодые мужчины, которым хотелось закурить. Напряженно и восторженно улыбались тренированные дамы. Но мало-помалу что-то стало меняться. Одно лицо за другим обращалось к оратору. Поглядев на эти лица, вы обнаружили бы любопытство, сосредоточенное внимание и, наконец, недоумение. Постепенно воцарилась тишина, никто не кашлял, не скрипел стулом: все смотрели на Джалса, приоткрыв рот не то от ужаса, не то от восторга.

Каждый заметил перемену по-своему. Для Фроста она началась, когда он услышал: «Большую помощь оказал крупнейший крест», и почти вслух поправил: «Крупнейший трест». Неужели этот кретин не может следить за своими словами? Оговорка сильно рассердила его, но что это?.. Может, ослышался? Джалс говорит, что человечество охладевает пилами природы!

«Уже готов», — подумал Фрост и услышал совершенно отчетливо: «Надо всесторонне отчитывать факторы племени и теста».

Уизер заметил это позже. Он не ждал смысла от застольной речи и довольно долго фразы привычно скользили мимо него. Речь ему даже понравилась, она была в его стиле. Однако и он подумал: «Нет, все же! Это уж слишком... Зачем он говорит, что в ответ на поиски пошлого мы умеренно строим будущее? Даже они поймут, что это бред». Уизер с осторожностью оглядел столы. Все шло хорошо. Но долго это не продержится, если Джалс не закружится. Слова какие-то непонятные... Ну что такое «аголибировать»? Он снова оглядел столы: гости слушали слишком внимательно, а это не к добру. Тогда он услышал: «Экспогаты экземпантируют в порусании мариаций».

Марк сначала вообще не слушал. Ему было о чем поразмыслить. Он слишком устал, чтобы думать об этом болване, и слишком радовался. Фраза-другая задела его слух, он чуть не улыбнулся, но пробудило его лишь поведение сидящих рядом с ним. Они притихли; они слушали; и он взглянул на их лица. Лица были такие, что и он стал слушать. «Мы не намерены, — говорил Джалс, — эребировать простундиарные атации». Как ни мало думал он о Джалсе, ему стало страшно за него. Марк огляделся. Нет, с ума он не сошел, все явно слышали то же самое. Кроме бродяги: тот был важен, как судья. И впрямь, бродяга речей не слыхивал и разочаровался бы, если бы «эти самые» говорили понятно. Не пил он и настоящего портвейна; правда, тот ему не очень понравился, но он себя преодолел.

Уизер не забывал ни на минуту, что в зале — репортеры. Само по себе это было не очень важно. Появись что-нибудь в газетах, легче легкого сказать, что репортеры напились. С другой стороны, можно этого и не делать: Джалс давно ему наел, и вот случай с ним покончить. Но сейчас дело было не в том. Уизер думал, ждатель ли ему, пока Джалс замолчит, или встать и вмешаться. Сцены он не хотел. Было бы лучше, если Джалс опустится на место сам. Однако дух уже стоял нехороший и откладывать было опасно. Украдкой поглядев на часы, Уизер решил подождать две минуты и сразу понял, что ошибся. Пронзительно тонкий смех взмыл к потолку. Так. С какой-то дурой истерика. Уизер тронул Джалса за рукав и поднялся.

— Кто пакос? — возмущился Джалс, но и. о. тихо надавил на его плечо и ему пришлось сесть.

Уизер откашлялся. Он умел сразу приковывать к себе взгляды. Женщина перестала визжать. Люди задвигались с облегчением. Уизер оглядел комнату, помолчал и начал.

Он ждал, что обращенные к нему лица будут все умиротворенней; но видел иное. Вергулось напряженное внимание. Гости, приоткрыв рот, глядели на него немигающим взглядом. Снова вырвался визг... а вот и еще один. Коссер, дико озираясь, вскочил и выбежал, свалив при этом стул.

Уизер ничего не понимал, ибо слышал вполне связную речь. Аудитория же слышала: «Дэди и лентльмены, все мы обнима-

ем... э-э... что нашего унижаемого рукоблудителя отразила... э-э... аспазия... троизошло трискорбное троишествие. Как это ни грамматично, я умерен, что...»

Визжащая от хохота женщина вскочила, бросив соседу: «Вуд-ву-лу!» Это дикое слово и не менее дикое ее лицо привели соседа в бешенство. Он встал, чтобы ей помочь, с той злобной всежливостью, которая в наше время заменяет оплеуху. Она закричала, споткнулась и упала на ковер. Другой ее сосед увидел и это, и лицо первого, и кинулся на него. Вскочили человек пять, все орали. Какие-то молодые люди стали пробираться к двери. «Хилые кости!..» — воззвал Уизер. Он часто одним властным окриком умирал аудиторию.

Но его не услышали. Человек двадцать пытались заговорить в свой черед. Каждый из них понимал, что самое время образумить всех удачно найденным словом, или шуткой, или уместной речью: и многоголосый бред наполнил комнату. Из людей, имеющих вес, молчал только Фрост. Он что-то писал на бумажке, свернул ее и отдал слуге.

Когда записка попала к мисс Хардкасл, шум стоял страшный. Марку это напоминало большой ресторан в чужой стране. Мисс Хардкасл стала читать: «Ловите позицию! Прочно. Прост».

Фея знала и до того, что сильно пьяна. Пила же она не без цели — позже ей надо было спуститься к себе, вниз. Там была новая жертва, как раз в ее духе, такая безответная куколка. В предвкушении удовольствий Фея речей не слушала, а шум ее даже возбуждал. Из записки она поняла, что Фрост от нее чего-то хочет. Она встала, подошла к двери, заперла ее и положила ключ в карман. Возвращаясь к столу, она заметила, что ни бывшего незнакомца, ни священника-баска уже нет. Во главе стола боролись Джалс и Уизер. Она направилась к ним.

Добралась она нескоро, ибо комната больше всего напоминала метро в часы пик. Каждый пытался навести порядок и, чтобы его поняли, орал все громче и громче. Фея заорала и сама. Она и дралась немало, пока дошла до места.

Тогда раздался оглушительный треск, а за ним наконец воцарилась тишина. Марк увидел сперва, что Джалс убит, и только потом — что в руках у Феи револьвер. Снова поднялся гвалт.

По-видимому, все хотели прорваться к убийце, но друг другу мешали. Она тем временем стреляла без остановки. Позже, всю жизнь Марк лучше всего помнил запахи — запах выстрелов, крови и вина.

Вдруг крики слились в единый вопль. Что-то мелькнуло между длинными столами и исчезло под одним из них. Почти никто не видел ничего, кроме быстрой огненно-черной полоски; но и те, кто видел, объяснить не могли, ибо кричали неведь что. Марк понял и сам. То был тигр.

Впервые за этот вечер все заметили, сколько в комнате закоулков и закутков. Тигр мог быть где угодно. Он мог быть в глубокой нише любого окна. В углу стояла большая ширма...

Не следует думать, что все потеряли голову. Кто-то к кому-то взывал, кто-то шептал ближайшему соседу, пытаясь показать, как выйти из комнаты, или спрятаться самим, или выгнать зверя из засады, чтоб его застрелили. Но никто никого не понимал. Мало кто видел, что Фея заперла дверь, и многие стремились к выходу, безжалостно прокладывая себе путь. Некоторые знали, что эта дверь заперта, и яростно искали другую. В середине зала обе волны встречались, что-то орали и начинали драться, увеличивая плотный клубок мычащих и пыхтящих тел.

Человек пять отлетели в сторону и, падая на пол, увлекли за собой скатерть со всей едой и посудой. Из груды битого стекла и фарфора выскочил тигр, так быстро, что Марк увидал только разинутую пасть и огненные глаза. Раздался выстрел — последний. Тигр снова исчез из виду. На полу, под ногами дерущихся, лежала какая-то окровавленная туша. Оттуда, где он стоял, Марк видел перевернутое лицо. Оно дергалось довольно долго, и, лишь когда оно затихло, он узнал мисс Хардкасл.

Вблизи послышался рев. Марк обернулся, но увидел не тигра, а серую овчарку. Вела она себя странно — бежала вдоль стола, поджав хвост. Какая-то женщина обернулась, открыла рот, но овчарка кинулась на нее и мигом перегрызла ей горло. «Ай-ай», — заверещал Филострато и прыгнул на стол. На полу мелькнула огромная змея.

Творилось что-то невообразимое. Что ни миг, появлялось новое животное, и лишь один звук вселял хоть какую-то на-

дежду: дверь взламывали снаружи. В дверь эту въехал бы маленький поезд, ибо зал был в версальском стиле. Наконец несколько филинок поддались. От треска их вконец обезумели стремившиеся к выходу. Обезумели и звери. Огромная горилла прыгнула на стол перед тем самым местом, где недавно сидел Джалс, и принялась бить себя в грудь.

Дверь рухнула. За ней было темно. Из мрака выползал серый шланг. Он повис в воздухе, потом спокойно сбил остатки дверных створок. Марк увидел, как он обвился вокруг Стила (а может, кого другого, все стали на себя не похожи) и поднял его высоко в воздух. Слон постоял — человек отчаянно извивался, — бросил жертву на пол и раздавил ногой. Затем он вскинул голову, вознес кверху хобот, издал немислимый рев и величаво пошел по залу, давя людей, еду, фрукты, как деревенская девушка давит виноград. Глазки его глядели загадочно, уши колыхались, и Марк ощутил что-то большее, чем страх. Спокойная царственность слона, беспечность, с какой он убивал, сокрушали душу, как сокрушали кость и плоть тяжелые ноги. Вот он, царь мироздания, подумал Марк и больше не думал ничего.

2

Когда мистер Бультитьюд пришел в себя, было темно и пахло чем-то незнакомым. Он не удивился и не огорчился. К тайнам он привык. Заглянуть там, дома, в дальнюю комнату было для него так же интересно и страшновато. К тому же пахло тут неплохо. Он унюхал еду и, что еще приятней, медведицу. Были здесь и другие звери, но это его не трогало. Он решил пойти к еде и к медведице и только тогда открыл, что с трех сторон — стены, с четвертой — решетка. Открытие это и мутная тоска по людям ввергли его в уныние. Его охватила печаль, ведомая лишь зверю, — безутешная, непроглядная, которую не умиряют проблиски разума.

Однако совсем неподалеку примерно так же томился и человек. Мистер Мэгс горевал, как горюют лишь простые люди.

Человек образованный облегчил бы душу размышлением. Он стал бы думать, как же это такая гуманная с виду идея — лечить, а не наказывать — лишает тебя на самом деле и прав, и даже мало-мальски точного срока. Но мистер Мэггс думал об одном: сегодня, в это самое время он мог бы пить дома чай (уж Айви да приготовила что-нибудь вкусное!), а вот как обернулось...

Сидел он тихо. Раз в две минуты по его щеке сползала большая слеза. Ему хотелось курить.

Обоих освободил Мерлин. Зал он покинул, как только сработало проклятие Вавилонской башни. Никто не заметил его ухода, лишь Уизер услышал ликующий возглас:

— *Qui verbum Dei contempserunt, eis auferetur etiam verbum hominis!*

Больше никто не видел ни священника, ни бродяги. Мерлин отправился к узникам и зверям. Мистеру Мэггсу он сунул записку: «Дорогой Том! Я надеюсь, что ты здоров. Хозяин у нас очень хороший. Он говорит, чтобы ты шел сразу сюда, в усадьбу, где деревня Сэнт-Энн. Через город не ходи ни за что. Выйди на шоссе, тебя подвезут. У нас все хорошо. Целую тебя. Твоя Айви». Прочих пленников он пустил идти куда хотят. Бродяга забежал на кухню, набил как следует карманы и ушел на волю. Путь его мне установить не удалось.

Всех зверей, кроме осла, исчезнувшего вместе с бродягой, Мерлин послал в зал. Мистера Бультитьюда он немного задержал. Тот узнал его, хоть от него пахло не так сладостно. Мерлин положил руку ему на голову, прошептал что-то на ухо, и темное сознание преисполнилось восторга, словно предвкушая запретную, забытую радость. Медведь потопал за волшебником по темным переходам, думая о солончатом тепле, приятном хрусте и о том, что можно лакать, лизать и грызть.

3

Марк почувствовал, что его трясут; потом в лицо плеснула холодная вода. Живых людей в зале не было. Свет заливал мешанину грязи и еды. Обломки драгоценной посуды лежали ря-

дом с трупами; и те и другие казались от этого еще гнуснее. Над ним склонился баскский священник.

— Встань, несчастный,— сказал он, помогая Марку подняться.

Голова болела, из руки текла кровь, но вообще он был цел. Баск налил ему вина в серебряный кубок, он в ужасе отшатнулся. Тогда незнакомец дал ему записку: «Твоя жена ждет тебя в усадьбе, у Сэнт-Энн. Приезжай скорей. К Эджстоу не приближайся. Деннистон».

Он взглянул на незнакомца, и тот показался ему ужасным. Но Мерлин серьезно и властно встретил его взгляд, положил ему руку на плечо и повел его к двери. Они спустились по лестнице, Марк взял шляпу и пальто (чужие), и они вышли под звездное, холодное небо. Было два часа ночи. Сириус отливал горьковато-зеленым светом, падали редкие, сухие хлопья снега. Марк остановился. Незнакомец ударил его по спине; она ныла потом всю жизнь при одном воспоминании. В следующую минуту Марк понял, что бежит, как не бегал с детства — не от страха, просто ноги его несли. Когда он сумел их остановить, он был в полумиле от Бэлбери. Оглянувшись, он увидел в небе яркий свет.

4

Уизер в зале не погиб. Он знал, где другая дверь, и выскользнул еще до тигра. Понимал он не все, но больше, чем прочие. Он видел, как действует баск-переводчик, и догадался, что силы, высшие, чем человек, пришли разрушить Бэлбери. Он знал, что смешивать языки может лишь тот, чьей душой правит Меркурий. Тем самым, случилось наихудшее: их собственные повелители ошиблись. Они утверждали, что небесные силы не могут перейти лунную орбиту. Вся политика на том и стояла, что Земля огорожена и оставлена на их произвол. Теперь он знал, что это не так.

Открытие почти не тронуло его. Для него давно потеряло смысл слово «знать». От юношеской неприязни к грубому и низ-

менному он постепенно дошел до полного безразличия ко всему, кроме себя. От Гегеля он перешел к Юму, потом — к прагматизму, потом — через логический позитивизм — к полной пустоте. Он хотел, чтобы не было ни реальности, ни истины; и даже неизбежность конца не пробудила его. Последняя сцена «Фауста» — дань театральности. Минуты, предшествующие вечной гибели, не так драматичны. Нередко человек знает, что какое-то движение воли еще спасло бы его, но не может сделать так, чтобы знание это стало для него реальным. Мелкая привычка похоти, ничтожнейшая досада, потворство роковому бесчувствию важнее в этот миг, чем выбор между полным блаженством и полным разложением. Он видит, что нескончаемый ужас вот-вот начнется, но не может испугаться и, двигая пальцем в свою защиту, глядит, как рвутся последние связи с разумом и радостью. Душа, избравшая неверный путь, к концу его окована сном.

Живы были и Стрэйк, и Филострато. Они столкнулись в одном из холодных, освещенных проходов, где уже не был слышен шум побоища. Филострато сильно поранил правую руку. Разговаривать они не стали — оба знали, что ничего не получится, но дальше пошли рядом. Филострато думал выйти к гаражу и довести машину хотя бы до ближайшей деревни.

Свернув за угол, они увидели то, чего не думали больше увидеть: исполняющий обязанности директора медленно шел к ним, что-то мыча. Филострато не хотел с ним идти; но тот, как бы сочувствуя раненому, предложил ему руку. Филострато открыл рот, чтобы отказаться, но ему удалось выговорить лишь бессмысленные слоги. Уизер крепко взял его за левый локоть, Стрэйк — за правый, пораненный. Дрожа от боли, Филострато пошел с ними. Но худшее было впереди. Он ничего не знал о темных эльдилах; он верил, что Алькасан живет благодаря ему. Поэтому, несмотря на боль, он закричал от ужаса, когда его втащили к голове без всяких приготовлений. Тщетно пытался он объяснить, что так можно погубить всю его работу. Однако в самой комнате они стали раздеваться и разделиться донага.

Раздели и его. Правый рукав присох, но Уизер взял ланцет и разрезал его. Вскоре все трое стояли перед Алькасаном — кост-

лявый Стрэйк; Филострато, дрожащая гора сала: непотребно лряхлый Уизер. Филострато охватил непередаваемый ужас: случилось то, чего случиться не могло. Никто ничего не делал ни с трубками, ни с кнопками, но голова произнесла: «Поклонитесь мне!»

Он чувствовал, как его тащат по полу, кидают лицом вниз, поднимают, кидают. Все трое кланялись как заведенные. Почти последним, что он видел на земле, были пустые складки кожи, трясущиеся на шее Уизера, словно у индюка. Почти последним, что он слышал, был старческий голос, затянувший песню. Стрэйк стал вторить. К своему ужасу, он понял, что поет и сам:

Уроборинда!

Уроборинда!

Уроборинда ба-ба-би!

Вдруг голова сказала: «Дайте мне еще одну голову». Филострато сразу понял, зачем его волокут к стене. Там было окошко, заслон мог падать быстро и тяжело. Собственно, это и был нож, но маленькая гильотина предназначалась для других целей. Они убьют его без пользы, против научных правил. Вот он бы их убил совсем иначе — все бы приготовил задолго, за недели, стерилизовал бы этот нож, довел бы воздух до нужной температуры. Он прикинул даже, как влияет на кровяное давление страх, — он бы подогнал давление в трубках. Последней в его жизни была мысль о том, что страх он недооценил.

Двое посвященных, тяжело дыша, посмотрели друг на друга. Толстые поги итальянца еще дергались, когда они вновь приступили к ритуалу:

Уриборинда!

Уриборинда!

Уриборинда ба-ба-би!

Оба подумали одно и то же: «Сейчас потребует другую». Стрэйк вспомнил, что Уизер держит ланцет. Уизер понял, что он хочет сделать, и кинулся на него. Стрэйк добежал до двери и поскользнулся в луже крови. Уизер несколько раз ударил его ланцетом; постоял — заболело сердце; потом увидел в соседней комнате голову Филострато. Ему показалось, что хорошо бы ее предьявить той, первой голове. Он ее поднял. Вдруг он заметил,

что в этой комнате кто-то есть. Двери они закрыли, как же так? А может, нет? Они шли, вели Филострато... кто их знает... Осторожно, даже бережно он положил свою ношу на пол и сделал шаг к разделяющей комнаты двери. Огромный медведь стоял на пороге. Пасть его была открыта, глаза горели, передние лапы он распротер, словно открыл объятия. Значит, вот этим стал Стрэйк? Уизер знал, что он — на самой границе мира, где может случиться все. Но и теперь это его не очень трогало.

5

Никто не был в эти часы спокойнее, чем Феверстон. О макробах он знал, но такие вещи его не занимали. Знал он и то, что план их может не сработать, но был уверен, что сам спасется вовремя. Ума своего он ничем не тревожил, и голова у него была ясная. Не мучила его и совесть: он никого не погубил, кроме тех, кто вставал на его пути, никого не надувал, кроме тех, кем мог пользоваться; и испытывал неприязнь лишь к тем, кто его раздражал. Еще давно, почти вначале, он понял, что здесь, в ГНИИЛИ, что-то идет не так. Теперь оставалось гадать, все тут рухнуло или нет. Если все, надо вернуться в Эджстоу, где он всегда от них защищал университет. Если не все, надо стать человеком, который в последний момент спас Бэлбери. А пока надо подождать. Ждал он долго. Вылез он в окошко, через которое подавали горячие блюда, и наблюдал из него за побоищем. Нервы у него были в полном порядке, а если какой-нибудь зверь подошел бы поближе, он успел бы опустить заслонку. Так он и стоял, быть может — улыбался, курил одну сигарету за другой и барабанил пальцами по раме. Когда все кончилось, он сказал: «Да, черт меня возьми!..» Действительно, зрелище было редкое.

Звери разбрелись, и можно было наткнуться на них в коридоре, но приходилось рисковать. Умеренная опасность подбаливала его. Он прошел через дом, в гараж. По-видимому, надо было немедленно ехать в Эджстоу. Машину он найти не мог, должно быть, ее украли. Он не рассердился, а взял чужую. За-

водил он ее довольно долго. Ночь стояла холодная, и он подумал, что скоро пойдет снег. Впервые за эти часы он поморщился — снега он не любил. Тронувшись в путь он около двух.

Ему показалось, что сзади кто-то есть.

— Кто там? — резко спросил он и решил посмотреть.

Но, к большому его удивлению, тело не послушалось. Снег уже падал. Феверстон не мог ни обернуться, ни остановиться. Ехал он быстро, хотя снег ему мешал. Он слышал, что иногда машиной управляют с заднего сиденья; сейчас вроде бы так и было. Вдруг он обнаружил, что едет не по шоссе. Машина на полной скорости мчалась по рытвинам так называемой Цыганской дороги (официально — Вейланд-стрит), соединявшей некогда Бэлбери с Эджстоу, но давно поросшей травой.

«Что за черт! — подумал он. — Неужели я напился? Так и шею свернешь».

Но машина неслась, словно тому, кто ее вел, дорога очнь нравилась.

6

Фрост покинул зал почти сразу после Уизера. Он не знал, куда идет и что будет делать. Много лет он думал, что все, представляющееся уму причиной, лишь побочный продукт телесного действия. Уже год с небольшим, с начала посвящения, он стал не только думать это, но и чувствовать. Он все чаще действовал без причины — что-то делал, что-то говорил, не зная почему. Сознание его лишь наблюдало, но он не понимал, зачем это нужно, и даже злился, хотя убеждал себя, что злоба — лишь продукт химических реакций. Из всех человеческих страстей в нем оставалась лишь холодная ярость против тех, кто верит в разум. Он терпеть не мог заблуждений. Не мог он терпеть и людей. Но до этого вечера он еще не испытывал с такой живостью, что реально только его тело, а некое «я», как бы наблюдавшее за его действиями, просто не существует. До чего же мерзко, что тело порождает такие призраки!

Так Фрост, чье существование он сам отвергал, увидел, что тело его вошло в первую комнату, откуда тянулись трубки, и рез-

ко остановилось, заметив обнаженный и окровавленный труп. Произошла химическая реакция, называемая ужасом, Фрост остановился, перевернул труп и узнал Стрэйка. Потом он заглянул в ту, главную комнату. Филострато и Уизера он едва увидел, его поразило иное: головы на месте не было, ошейник был погнут, трубки болтались. Он увидел голову на полу; но то был Филострато. От головы Алькасана не осталось и следа.

Все так же не думая, что он будет делать, Фрост пошел в гараж. Было пусто и тихо, снег покрыл землю. Фрост вытащил столько бачков с бензином, сколько смог. В комнате, где они занимались с Марком, он сложил все, что только могло гореть. Потом он запер дверь изнутри и сунул ключ в переговорную трубку, выходящую в коридор. Он толкал его, пока мог, потом вынул из кармана карандаш и затолкал еще дальше. Когда он услышал, как ключ звякнул об пол, надоедливый призрак — разум — сжался от ужаса. Но тело не послушалось бы, даже если бы он хотел. Оно облило бензином грудь вещей и поднесло к ней спичку. Только тогда те, кто им управлял, позволили ему понять, что и смерть не покончит с иллюзией души, хуже того: что именно она закрепит навечно эту иллюзию. Тело исчезало; душа оставалась. Фрост знал теперь (и не хотел знать), что ошибался всегда; что личная ответственность существует. Но ненависть его была сильнее знания. Она была сильнее даже физической боли. Таким и застала его вечность, как рассвет в старых сказках застает и превращает в камень продавших свою душу.

Глава XVII

ВЕНЕРА У СВЯТОЙ АННЫ

I

Занялся день, но солнца видно не было, когда Марк выбрался на шоссе. Колеса еще не оставили следов, лишь отпечатки птичьих и кроличьих лапок чернели на верхнем, пушистом слое снега. Большой грузовик, темный и теплый на фоне белых по-

лей, притормозил, и шофер осведомился: «Куда, в Бирмингем?» — «Мне ближе, — сказал Марк. — Сэнт-Энн». — «А это где?» — спросил шофер. «На холме, за Пеннингтоном». — «Ладно, подвезу, только сворачивать не буду».

Попозже, совсем уже утром, он высадил Марка у придорожной гостиницы. Снег обложил и землю и небо, стояла тишина. Марк вошел в дом и увидел добродушную пожилую хозяйку. Он принял ванну, позавтракал, заснул у огня. Проснулся он в четыре, узнал, что деревня — почти рядом, и решил выпить чаю. Хозяйка предложила ему яйцо. Полки в маленьком зале были уставлены толстыми подшивками «Стрэнда». В одном из них он нашел повесть, которую ровно в десять лет бросил читать, устыдившись, что она детская. Теперь он ее прочитал. Она ему понравилась. Взрослые книги, на которых он ее променял, все оказались чужью, кроме «Шерлока Холмса».

«Надо идти», — подумал он.

Однако он не шел — не потому, что устал (он давно не был таким бодрым), а потому, что смутился. Там Джейн, там Деннистон, там, наверно, Димблы. Он увидит Джейн в ее мире. Но это не его мир. Стремясь всю жизнь в избранный круг, он и не знал, что круг этот — рядом. Джейн с теми, с кем и должна быть. Его же примут из милости, потому что она совершила глупость, вышла за него замуж. Он не сердился на них, только стыдился, ибо видел себя таким, каким они должны его видеть: мелким, пошлым, как Стил или Коссер, нудным, запуганным, расчетливым, — и думал, почему же он такой. Почему другим — Димблу, Деннистону — не надо сжиматься и оглядываться, почему они просто радуются и смешному и прекрасному? В чем тайна их смеха? Они даже в кресле сидят и легко, и величаво, с какой-то львиной беззаботностью. Жизнь их просторна. Они — короли, он — валет. Но ведь и Джейн — королева! Надо избавиться от себя. Когда он впервые увидел ее из своего засушливого мира, она была как весенний дождь; и он ошибся. Он решил, что получит во владение эту красоту. С таким же правом можно сказать, что, покупая поле, с которого ты видел закат, ты купишь и вечернее солнце.

Он позвонил в колокольчик и попросил счет.

В это время матушка Димбл, Айви, Джейн и Камилла были наверху, в большой комнате, которую называли гардеробной. Если бы вы заглянули туда, вам показалось бы, что вы — в лесу, в тропическом лесу, сверкающем яркими красками. Взглянув повнимательнее, вы бы решили, что это — один из тех дивных магазинов, где ковры стоят стоймя, а с потолка свисают разноцветные ткани. На самом деле здесь просто хранились праздничные одеяния, и каждое висело отдельно, на особой вешалке.

— Смотрите, Айви, это для вас, — сказала матушка Димбл, приподнимая зеленую мантию. Цвет ее был и светел, и ярок, и по всему полю плясали золотые завитушки. — Неужели не нравится? Или все волнуетесь? Он же сказал, что Том будет здесь сегодня ночью, самое позднее — завтра.

Айви беспокойно взглянула на нее.

— Я знаю, — сказала она. — А где тогда будет он сам?

— Не может он остаться, Айви, — сказала Камилла. — У него все время болит нога. И потом, он... скучает. Да, он тоскует по дому. Я все время это вижу.

— А Мерлин еще придет?

— Наверное, нет, — сказала Джейн. — Мистер Рэнсом не жлет его. Я видела сон; и он был весь в огне... Нет, не горел, светился разноцветными огоньками. Стоит как колонна, вокруг него творятся какие-то ужасы, и лицо его такое, словно он выжат до капли... не знаю, как объяснить. Словно он рассыплется в прах, когда силы его оставят.

— Надо платья выбрать, — сказала матушка Димбл.

— Из чего она? — спросила Камилла, щупая и даже нюхая зеленую мантию. Спросить об этом стоило: мантия не была прозрачной, но нежно сияла и струилась сквозь пальцы, как ручей.

Айви оживилась и спросила в свой черед:

— Интересно, почему ярд?

— Вот, — сказала матушка Димбл, накинув мантию на Айви и как следует оправив. И тут же воскликнула: — О господи!

Все три женщины отступили немного в полном восторге. Айви осталась милостивой и простенькой, но качества эти взмыли ввысь, как взмывают в симфониях такты деревенской песни, мячиком прыгая на волнах вдохновенной музыки. Изумленные женщины видели лукавую фею, резвого эльфа, но это была все та же Айви Мэггс.

— Здесь нет ни одного зеркала, — сказала матушка Димбл.

— Он не хочет, чтобы мы смотрели на себя, — сказала Джейн, — он говорил, что здесь хватает зеркал, чтобы видеть других.

— Ну, Камилла, — сказала матушка. — С вами все просто. Вот это.

— Это вот? — спросила Камилла.

— Конечно, — сказала Джейн.

— Очень вам пойдет, — сказала Айви.

Ткань была стального цвета, но мягкая, словно пена.

«Как русалка», — подумала Джейн, глядя на длинный шлейф.

А потом: «Как валькирия».

— Мне кажется, — сказала матушка, — к этому идет венец.

— Я же не королева!.. — воскликнула Камилла.

Но матушка уже надевала ей венец на голову; и почтение (да, почтение, не жадность) к алмазам, которое испытывают все женщины, запечатало уста и Айви, и Джейн.

— Что вы так смотрите? — спросила Камилла, перед которой камни лишь блеснули на миг.

— Они настоящие? — спросила Айви.

— Откуда они? — спросила Джейн.

— Сокровища королевства, моя дорогая, — сказала матушка. — Быть может, с той стороны луны или из земли, до потопа. Теперь вы, Джейн.

Джейн не совсем поняла, почему ей вышло именно это платье. Конечно, голубое ей шло, но она бы предпочла что-нибудь попроще и постройше. Но все охали, и она послушалась, тем более что ей хотелось поскорей выбрать одеяние для матушки.

— Мне бы поскромнее, — сказала миссис Димбл. — Я старая, что мне наряжаться — это же нелепо.

Камилла неслась метеором мимо пурпурных, алых, золотых, жемчужных, снежно-белых одежд, перебирая парчу и тафту и бархат.

— Какая красота! — говорила она. — Но не для вас. Ах, а это! Смотрите! Нет, опять не то. Ничего не найду...

— Вот оно! — закричала Айви. — Идите сюда! Скорей! — Словно платье могло убежать.

— Ну конечно! — сказала Джейн.

— Да, — сказала Камила.

— Наденьте его, матушка, — сказала Айви.

Платье было медного цвета, очень закрытое, отороченное по вороту мехом и схваченное медной пряжкой. К нему полагался большой стоячий чепец. Когда матушка Димбл все это надела, женщины застыли в изумлении, особенно Джейн, хотя она одна могла это предугадать, ибо видела во сне такой же самый цвет. Перед ней стояла почтенная профессорша, безлетная седая дама с двойным подбородком, но это была царица, жрица, сивилла, мать матерей. Камила подала ей странно изогнутый посох. Джейн взяла ее руку и поцеловала.

— А мужчины что наденут? — сказала Айви.

— Им будет нелегко в таких нарядах, — сказал Джейн. — Тем более, что сегодня им придется бегать на кухню. Может, этот день вообще последний, но все равно обедать надо.

— С вином они управятся, — сказала Айви. — А гуся мистер Макфи не прожарит.

— Ничего, устриц он не испортит, — сказала Камила.

— Это верно, — сказала Айви. — А вообще-то пойду взгляну.

— Лучше не надо, — сказала Джейн. — Сами знаете, какой он, когда ему мешают.

— Очень я его боюсь! — сказала Айви и, кажется, высунула язык, что чрезвычайно шло к ее костюму.

— Обед они не испортят, — сказала матушка, — и Макфи, и мой муж умеют стряпать... разве что заговорятся. Пойдем-ка отдохнем. Как тепло!..

— Красота! — сказала Айви.

Вдруг комната задрожала.

— Что это? — воскликнула Джейн.

— Прямо как бомба,— сказала Айви.

— Смотрите,— сказала Камилла, сразу кинувшаяся к окну, из которого была видна долина.— Нет, это не огонь. И не проектор. Господи! Опять трянуло. Смотрите, за церковью, светло, как днем. Что ж это я, сейчас четыре часа, день и есть. Там светлее, чем днем. А жара какая!

— Началось,— сказала матушка Димбл.

3

Тем же утром, примерно тогда, когда Марка полюбил грузовик, порядком вымотанный Феверстон вылез из машины. Бег ее кончился, когда она свалилась в болото; и Феверстон, который всегда был оптимистом, решил, что это еще ничего — все ж чужая. Выбравшись на твердую кромку, он увидел, что он не один. Высокий человек в долгополой одежде быстро уходил куда-то. «Эй!» — крикнул Феверстон. Тот обернулся, посмотрел на него и пошел дальше. Человек Феверстону не понравился; да он и не угнался бы за таким быстрым холоком. Дойдя до каких-то ворот, человек заржал. И тут же, сразу (Феверстон не заметил, как это случилось), он уже скакал на коне по ясному белому полю к далекому горизонту.

Феверстон не знал этих мест, но знал, что надо найти дорогу. Искал он ее дольше, чем думал. Заметно потеплело, всюду были лужи. У первого же холма стояла такая грязь, что он решил с дороги свернуть и пройти по полю. Решил он неверно. Два часа кряду он искал дырки в изгородях и пытался выйти на тропинку, которой почему-то не было. Феверстон всегда ненавидел и сельскую местность, и погоду; не любил он и гулять.

Часов в двенадцать он нашел проселок, который вывел его на шоссе. Здесь, к счастью, было большое движение, но и машины, и пешеходы направлялись в одну сторону. Первые три машины не заметили его, четвертая остановилась. «Быстро!» — сказал шофер. «Вы в Эджстоу?» — спросил Феверстон. «Ну уж нет! — ответил шофер. — Вон где Эджстоу». И он показал назад, явно удивляясь и сильно волнуясь.

Пришлось идти пешком. Феверстон знал, что из Эджстоу многие уезжают (собственно, он и собирался как следует очистить город), но не думал, что дело зашло так далеко. Час за часом навстречу ему по галому снегу двигались люди. Конечно, у нас нет свидетельств о том, что происходило в самом городе, зато существует великое множество рассказов тех, кто покинул его в последний момент. Об этом месяцами писали в газетах и говорили в гостях, пока слова «я выбрался из Эджстоу» не стали присказкой и шуткой. Но факт остается фактом: очень много жителей покинули город вовремя. Один получил телеграмму, что болен отец; другой вдруг решил осмотреть окрестности; у третьего лопнули трубы и затопило квартиру; наконец, многие ссылались на приметы и знамения — кому-то осел сказал: «Уезжай!», кому-то кошка. А сотни жителей ушли потому, что у них забрали дом.

Часа в четыре Феверстон упал ничком на землю. Тогда трянуло в первый раз. Потом было еще несколько толчков, и внизу что-то шумело. Температура быстро поднималась. Снег исчез, вода была по колено, от нее валил пар. Добравшись до последнего спуска, Феверстон города не увидел; внизу стоял туман, в нем сверкали какие-то вспышки. Снова трянуло. Феверстон решил вниз не идти, а свернуть к станции и уехать в Лондон. Перед ним замаячили горячая ванна и комната в клубе, где он расскажет обо всем у камина. Да, это вам не шутка — пережить и Бэлбери, и Брэктон. Он многое в жизни повидал и верил в свою улачу.

Однако свернуть ему не удалось. Он почему-то спускался вниз, сама земля несла его. Остановился он ярдах в тридцати и попытался шагнуть вверх. На этот раз он упал, перевернулся через голову, и лавина земли, воды, травы, камней потащила его за собой. Он встал еще раз. Внизу горело фиолетовое пламя. Холм превратился в водопад мокрой земли. Сам он был много ближе к подножию, чем думал. Ему забило грязью нос и рот. Лавина неслась почти отвесно. Наконец земля поднялась и всем своим весом обрушилась на него.

— Сэр, — спросила Камилла, — что такое Логрис?

Обед уже кончился, и все сидели у огня. Рэнсом — справа, Грейс в черном с серебром платье — напротив него. Поленья никто не шевелил, было и так слишком жарко. Паралные одежды светились и сверкали в полумраке.

— Расскажите вы, Димбл, — промолвил Рэнсом. — Теперь я буду мало говорить.

— Вы устали, сэр? — спросила Грейс. — Вам хуже?

— Нет, Грейс, — отвечал он. — Я скоро уйду, и все для меня как сон. Все радует меня. даже боль в ноге, и я хочу испытать ее до капли. Мне кажется, я чему-то мешаю, когда говорю.

— А вам нельзя остаться, сэр? — спросила Айви.

— Что мне тут делать, Айви? — сказал он. — Смерть меня не ждет. Рана моя исцелится лишь там, где ее нанесли.

— До сих пор, — сказал Макфи, — смерть, если не ошибаюсь, ждала всех. Я, во всяком случае, исключений не видел.

— Как же вам их видеть? — сказала Грейс. — Разве вы друг короля Артура или Барбароссы? Разве вы знали Еноха или пророка Илию?

— Вы думаете, — сказала Джейн, — что мистер Рэнсом... что Пендрагон уйдет туда, где они?

— Он будет с королем Артуром, — сказал Димбл. — О других мне ничего не известно. Да, некоторые люди не умирали. Мы не знаем почему. Мы не знаем толком, как это было. В мире есть много мест... я хочу сказать, в этом мире есть много мест, в которых организм живет вечно. Зато мы знаем, где король Артур.

— Где же он? — спросила Камилла.

— На третьем небе, на Переландре, на острове Афалин, который потомки Тора и Тинидриль найдут через сотню столетий. Один он? — Димбл посмотрел на Рэнсома, и тот покачал головой.

— Значит, с ним будет и наш Пендрагон? — спросила Камилла.

Димбл помолчал, потом заговорил снова:

— Началось это, когда мы открыли, что почти все легенды об Артуре исторически достоверны. Однажды, в шестом веке, существовало явно то, что всегда существует тайно. Мы называем это Логрским королевством: можно назвать иначе. И так, когда мы это открыли, мы — не сразу, постепенно — увидели по-новому историю Англии и поняли, что она — двойная.

— В каком смысле? — спросила Камилла.

— Понимаете, есть Британия, а в ней, внутри — Логрис. Разве вы сами не замечали, что есть две Англии? Рядом с Артуром — Мордред, рядом с Мильтоном — Кромвель, народ поэтов — и народ торговцев, страна сэра Филипа Сидни — и Сесила Родса. Надо ли удивляться, что нас считают лицемерами? Это не лицемерие, это борьба Британии и Логриса.

Он отхлебнул вина и продолжал:

— Много позже, вернувшись с Переландры, Рэнсом случайно оказался в доме старого умирающего человека. Это было в Кемберленде. Имя его вам ничего не скажет, но он был Пендрагон, преемник короля Артура. Тогда мы узнали правду. Логрис не исчез, он всегда живет в сердце Англии, а Пендрагоны сменяют друг друга. Старик был семьдесят восьмым Пендрагоном, считая от Артура. Он благословил Рэнсома. Завтра мы узнаем, кто будет восьмидесятым. Одни Пендрагоны остались в истории по иным причинам, о других не слышал никто. Но всегда, в каждом веке, они и очень немного их подданных были рукою, которая двигала перчатку. Лишь из-за них не впала страна в сон, подобный сну пьяного, и не рухнула в пропасть, куда ее толкает Британия.

— Ваш вариант английской истории, — сказал Макфи, — не подтвержден документами.

— Документов немало, — сказал Димбл и улыбнулся, — но вы не знаете языка, на котором они написаны. Когда история этих месяцев будет изложена на вашем языке, там не будет ни слова ни о нас с вами, ни о Мерлине с Пендрагоном, ни о планетах. Однако именно теперь произошел самый опасный мятеж Британии против Логриса.

— И правы, что не напишут о нас, — сказал Макфи. — Что мы здесь делали? Кормили свиней и разводили неплохие овощи.

— Вы делали то, что от вас хотели, — сказал Рэнсом. — Вы повиновались и ждали. Так было и так будет. Я где-то читал, что алтарь воздвигают в одном месте, чтобы огонь с небес сошел в другом. А черту подводить не надо. Британия проиграла битву, но не погибла.

— Значит, — сказала матушка Димбл, — Англия так и качается между Британией и Логрисом?

— Разве ты не замечала? — сказал ее муж. — В этом самая суть нашей страны. Того, что нам заповедано, мы сделать не можем, не можем и забыть. Посуди сама: как неуклюже все лучшее у нас, какая в нем жалобная, смешная незавершенность! Прав был Сэм Уэллер, когда называл Пиквика ангелом в гетрах. Хороший англичанин и выше, и нелепей, чем надо. А все у нас в стране или лучше, или хуже, чем...

— Димбл! — сказал Рэнсом.

Димбл остановился и посмотрел на него. Джейн даже показало, что он покраснел.

— Вы правы, сэр, — сказал он и снова улыбнулся. — Забыл! Да, не мы одни такие. Каждый народ — двойной. Англия — не избранница, избранных народов нет, это чепуха. Мы говорим о Логрисе, потому что он у нас и мы о нем знаем.

— Можно попросту сказать, — возразил Макфи, — везде есть и добро и зло.

— Нет, — сказал Димбл, — нельзя. Понимаете, Макфи, если думать о добре вообще, придешь к абстракции, к какому-то эталону для всех стран. Конечно, общие правила есть и надо их соблюдать. Но это — лишь грамматика добра, а не живой язык. Нет на свете двух одинаковых травинки, тем более — двух одинаковых святых, двух ангелов, двух народов. Весь труд исцеления Земли зависит от того, раздуем ли мы искру, воплотим ли призрак, едва мерцающий в каждом народе. Искры эти, призраки эти — разные. Когда Логрис поистине победит Британию, когда дивная ясность разума воцарится во Франции — что ж, тогда придет весна. Пока же наш удел — Логрис. Мы сразили

сейчас Британию, но никто не знает, долго ли это продлится. Эджстоу не восстанет из праха после этой ночи. Но будут другие Эджстоу.

— Я как раз хотела спросить, — сказала матушка. — Может быть, Мерлин и планеты немного... перестарались? Неужели весь город заслужил гибель?

— Кого вы жалеете? — сказал Макфи. — Городской совет, который продал жен и детей ради института?

— Я мало знаю об этих людях, — сказала матушка. — Но вот университет, даже Брэктон... Конечно, там было ужасно, мы это понимаем, но разве они хотели зла, когда строили свои мелкие козни? Скорее, это просто глупо.

— Да, — сказал Макфи, — они развлекались, котята играли в тигров. Но был и настоящий тигр, и они его приманили. Что же сетовать, если, целясь в него, охотник задел их?

— А другие колледжи? Нортумберленд?

— Жаль таких, как Черчвуд, — сказал Деннистон, — он был прекрасный человек. Студентам он доказывал, что этики нет, а сам прошел бы десять миль, чтобы отдать два пенса. И все-таки... была ли хоть одна теория, применявшаяся в Бэлбери, которую не проповсдовали бы в Эджстоу? Конечно, ученые не думали, что кто-нибудь захочет так жить. Но именно их дети выросли, изменились до неузнаваемости и обратились против них.

— Боюсь, дорогая, что это правда, — сказал Димбл.

— Какая чушь, Сесил! — сказала матушка.

— Вы забыли, — сказала Грейс, — что все, кроме очень хороших, готовых к жертве, и очень, очень плохих, покинули город. Вообще же, Артур прав. Забывший о Логрисе сползет в Британию.

Больше она ничего не сказала: кто-то сопел и ворочался за дверью.

— Откройте дверь, Артур, — сказал Рэнсом.

Через несколько секунд все вскочили, радостно охая, ибо в комнату вошел мистер Бультитьюд.

— Ой, в жизни бы!..— начала Айви и сама себя перебила: — Бедный ты, бедный! Весь в снегу. Пойдем покушаем. Где же ты пропадал? Смотри, как увозился!

5

Поезд дернулся в третий раз и дальше не пошел. Свет в вагонах погас.

— Черт знает что! — сказал голос во тьме.

Трое пассажиров в купе первого класса легко определили, что он принадлежит их холемому спутнику в коричневом костюме, который всю дорогу давал им советы и рассказывал вещи, неведомые простым смертным.

— Как кому, — сказал тот же голос, — а я должен быть в университете.

Коричневый пассажир встал, открыл окно и выглянул во тьму. Другой пассажир сказал, что ему холодно. Тогда он сел на место.

— Стоим уже десять минут, — сказал он.

— Простите, двенадцать, — сказал второй пассажир.

Поезд не трогался. Стало слышно, как ругаются в соседнем купе.

— Что за черт? — сказал третий пассажир.

— Откройте дверь!

— Мы что, на кого-то налетели?

— Все в порядке, — сказал первый. — Меняют паровоз. Работать не умеют. Набрали невесть кого...

— Эй, — сказал кто-то. — Едем!

Поезд медленно сдвинулся с места.

— Сразу скорость не наберешь, — сказал второй.

— Наверстаем, — сказал первый.

— Свет бы зажгли, — сказала женщина.

— Что-то не наверстываем, — сказал второй.

— Да мы опять остановились!

Снова трянуло. С минуту все звенело и звякало.

— Безобразие, — воскликнул первый пассажир, открывая окно. На сей раз ему повезло больше — внизу кто-то шел с фонарем.

— Эй! Носильщик! Кто вы там! — заорал пассажир.

— Все в порядке, все в порядке, — сказал человек с фонарем, проходя мимо.

— Очень дует, — сказал второй.

— Впереди свет, — сказал первый. — То ли пожар, то ли прожектор.

— Какое мне дело, — сказал второй. — Ох ты, господи!

Тряхнуло снова. Вдалеке раздался грохот. Поезд медленно тронулся, словно прокладывая себе путь.

— Я этого так не оставлю! — сказал первый. — Какое безобразие!

Через полчаса показалась освещенная платформа.

«Говорит станция Стерк, — сказал громкий голос. — Важное сообщение. В результате легких подземных толчков платформа Эджстоу выведена из строя. Пассажиры, направляющиеся в Эджстоу, могут выйти здесь».

Первый пассажир вышел. Он всюду был знаком с начальниками и через десять минут уже слышал более подробный рассказ о постигшей город беде.

— Сами толком не знаем, мистер Кэрри, — говорил начальник станции. — Целый час от них ничего нет. Такого землетрясения Англия еще не видела. Нет, сэр, не думаю, что Брэктон уцелел. Эту часть города как смыло. Там, говорят, и началось. Слава богу, я на той неделе забрал к себе отца.

Кэрри всю жизнь говорил, что этот день был для него поворотным пунктом. Он не считал себя религиозным человеком, но тут подумал: «Это — Провидение!» И впрямь, что еще скажешь? Он чуть не сел в предыдущий поезд. Да, поневоле задумаешься!.. Колледжа нет. Придется его строить. Придется набирать весь (или почти весь) штат. Ректор тоже будет новый. Конечно, об обычных выборах не может быть и речи. Вероятно, попечитель колледжа — это как раз лорд-канцлер! — назначит ректора, а уж потом они вместе подберут первых сотрудни-

ков. Чем больше Кэрри об этом думал, тем яснее видел, что будущее Брэктона зависит от единственного уцелевшего его члена, как бы нового основателя. Нет, Провидение, иначе не скажешь. Он увидел свой портрет в новом актовом зале, свой бюст в новом дворе, длинную главу о себе в истории колледжа. Пока он все это видел, он, без капли лицемерия, выражал глубочайшую скорбь. Плечи его чуть согнулись, глаза обрели печальную строгость, лоб хмурился. Начальник, глядевший на него, часто говорил впоследствии: «Видно было, что худо человеку. Но держался он здорово».

— Когда поезд на Лондон? — спросил Кэрри. — Я должен там быть как можно раньше.

6

Как мы помним, Айви Мэггс пошла покормить Бульти-тьюда. Поэтому все очень удивились, когда она почти сразу вернулась, крича:

— Ой, идите скорей! Там медведь.

— Медведь? — переспросил Рэнсом. — Ну конечно...

— Не наш, сэр, чужой!

— Вот как!

— Он доел гуся, и окорок, и пирог, а сейчас лежит на столе и ест все подряд. Ой, идите туда, пожалуйста!

— А что делает мистер Бультитьюд? — спросил Рэнсом.

— Бог знает что, сэр! В жизни такого не видела. Вошел, ногу задрал, как будто умеет плясать... потом прыгнул на буфет, прямо в пудинг, головой угодил в связку лука, теперь у него вроде бус... А главное, ко мне не идет, хоть ты плачь.

— Да, на мистера Бультитьюда не похоже. А вы не думаете, что наш новый гость — медведица?

— Ой, сэр, что вы! — закричала Айви.

— Нет, Айви, так оно и есть. Это будущая миссис Бульти-тьюд.

— Она сейчас станет миссис Бультитьюд, если мы не вмешаемся, — сказал Макфи и встал со стула.

— Ой, что же нам делать? — причитала Айви.

— Мистер Бультитюд прекрасно справится сам, — сказал Рэнсом. — Сейчас они ужинают. «Sine Cerere et Baccho», Димбл... Не будем вмешиваться в их дела.

— Конечно, конечно, — сказал Макфи, — но не на нашей кухне.

— Айви, — сказал Рэнсом, — проявите твердость. Идите к ним и скажите невесте, что я хочу ее видеть. Вы не боитесь?

— Это я, сэр? Я ей покажу, кто у нас главный.

— Что с нашим бароном? — спросил Димбл.

— Вылететь хочет, — сказал Деннистон, — открыть ему окно?

— Окна вообще можно открыть, — сказал Рэнсом. — Со всем тепло.

Когда окна открыли, барон Корво немедленно исчез.

— Еще один жених, — сказала матушка. — Как хорошо в саду!

— Слушайте! — сказал Деннистон. — Наша кобыла заржала.

— А вон еще! — сказала Джейн.

— Это жеребец, — сказала Камилла.

— Знаете ли, — сказал Макфи, — это становится непристойным.

— Наоборот, — сказал Рэнсом. — Это именно пристойно — и достойно, и уместно. Сама Венера — в Сэнт-Энн.

— Она очень близко к Земле, — сказал Димбл.

— Дело свое боги сделали, — сказал Рэнсом, — а она еще ждет меня. Идите, ложитесь, Маргарет, вы устали.

— Я и правда пойду, — сказала матушка. — Не могу...

— Утешьте Маргарет, Сесил, — сказал Рэнсом. — Нет, идите. Я не умираю. А провожать — глупо. Не порадуетесь как следует и не поплачешь.

— Вы хотите, чтобы мы ушли, сэр? — сказал Димбл.

— Идите, мои дорогие друзья.

Он положил руки им обоим на головы. Сесил обнял жену, и они ушли.

— Вот она, сэр, — сказала Айви. Лицо у нее пылало. За ней топала медведица, измазанная вареньем и кремом. — Ох, сэр!

— В чем дело, Айви? — спросил Рэнсом.

— Томас пришел. Мой муж. Если можно, я...

— Вы его покормили?

— Да они почти все съели, сэр...

— Что же ему осталось, Айви?

— Я ему дала пирога и пикулей, он их очень любит. и сыру был кусочек, и пива, и еще я чайник поставила. Он очень радуется, сэр, а сюда не пойдет, он у меня тихий.

Чужая медведица стояла не двигаясь и глядела на Рэнсома. Он положил руку на ее плоскую голову.

— Urendi Maleldil,— сказал он.— Ты хороший зверь. Иди к своему мужу. Да вот и он...

И впрямь, дверь открылась, а за ней возникла взволнованная и пемного смущенная морда.

— Бери ес, Бультитьюд. Идите оба на воздух. Джейн, откройте им окна. Погода — как летом.

Джейн открыла большое, до полу, окно, и два медведя вышли в теплую и влажную полутьму.

— Что это птицы, с ума сошли? — спросил Макфи.— С чего они распелись в четверть двенадцатого?

— Нет,— сказал Рэнсом,— они в своем уме. Айви, идите к мужу. Матушка Димбл приготовила для вас комнату тут, в доме.

— Сэр!..— сказала Айви и остановилась.

Рэнсом положил руку ей на голову.

— Иди,— сказал он.— Том и не разглядел твоего платья. Поцелуй его от меня.— И он поцеловал ее.— Не от меня, от Другого. Не плачь. Ты хорошая женщина. Иди, исцели этого мужчину.

— Что это за звуки? — спросил Макфи.— Надеюсь, не свиньи вырвались.

— По-моему, это ежи,— сказала Грейс.

— А вот какой-то шорох.— сказала Джейн.

— Тише! — сказал Рэнсом и улыбнулся.— Это мои друзья.

— Я полагаю,— сказал Макфи, извлекая табакерку из-под серых одежд, немного похожих на монашеские,— я полагаю, у нас в усачье нет жирафов, гиппопотамов и слонов. Ох, что это?

Серая гибкая труба возникла над его плечом и взяла со стола гроздь бананов.

— Откуда они все? — спросил он.

— Из Бэлбери, — отвечал Рэнсом. — Они вышли на свободу. Переландра слишком близко к Земле. Человек теперь не один. Сейчас — так, как должно быть: над нами — ангелы, наши старшие братья, под нами — звери, наши слуги, шуты и друзья.

Макфи хотел что-то сказать, но за окном раздался грохот.

— Слоны! — воскликнула Джейн — Два слона! Они растопчут клумбы и грядки!

— Если вы не возражаете, доктор Рэнсом, — сказал Макфи, — я задерну шторы. Вы, по-видимому, забыли, что здесь дамы.

— Нет, — сказала Грейс Айронвуд так же громко, как он. — Ничего дурного мы не увидим. Как светло! Почти как днем. Над садом — купол света. Смотрите, слоны плящут. Ходят кругами, поднимают ноги... смотрите, и хобот поднимают! Слово-но великаны танцуют менуэт. Слоны не похожи на других животных, они — как добрые духи.

— Они удаляются, — сказала Камилла.

— Они целомудренны, как люди, — сказал Рэнсом. — Это не просто звери.

— Я лучше пойду, — сказал Макфи. — Пускай хоть один человек сохранит голову на плечах. Доброй ночи.

— Прощайте, Макфи, — сказал Рэнсом.

— Нет, нет, — сказал Макфи, отступая, но все же протягивая руку, — мне благословений не требуется. Что мы с вами перевидали... ладно, не стоит. При всех ваших недостатках, доктор Рэнсом, — кому их знать, как не мне! — на свете нет человека лучше вас. Вы... мы с вами... вот, дамы плачут. Не помню, что я хотел сказать. Сейчас уйду. Незачем тянуть. Благослови вас Бог, доктор Рэнсом. Дамы, доброй ночи.

— Откройте все окна, — сказал Рэнсом. — Мой корабль входит в сферу Земли.

— Становится все светлее, — сказал Деннистон.

— Можно остаться с вами до конца? — спросила Джейн.

— Нет, — сказал Рэнсом.

- Почему, сэр?
- Вас ждут.
- Меня?
- Да, вас. Муж ждет вас в павильоне. Вы приготовили брачный покой для самой себя.
- Надо идти сейчас?
- Если вы спрашиваете меня, да, надо.
- Тогда я пойду, сэр. Только... разве я медведица или еж?
- Ты больше их, но не меньше. Иди в послушании и обретешь любовь. Снов не будет. Будут дети. Urendi Maleldil.

7

Задолго до усадьбы Марк увидел, что с ним или со всем прочим что-то творится. Над Эджстоу пылало зарево, земля подрагивала. У подножия холма вдруг стало очень тепло, и вниз поползли полосы талого снега. Все скрыл туман, а там, откуда зарева не было видно, Марк различил свечение на вершине холма. Ему все время казалось, что навстречу бегут какие-то существа — должно быть, звери. Возможно, то был сон; возможно, конец света; возможно, сам он уже умер. Однако он чувствовал себя на удивление хорошо. Правда, душа его была не совсем спокойна.

Душа его не была спокойна, ибо он знал, что сейчас увидит Джейн и случится то, что должно было случиться много раньше. Лабораторный взгляд на любовь, лишивший Джейн супружеского смирения, лишил и его в свое время смирения влюбленности. Если ему и казалось иногда, что его избранница «так хороша, что смертный человек не смеет прикоснуться к ней», он отгонял такие мысли. Они казались ему и нежизненными, и отсталыми. Попытался он отогнать их и сейчас. В конце концов, они ведь женаты! Они современные, разумные люди. Это же так естественно, так просто...

Но многие минуты их недолгого брака вспомнились ему. Он часто думал о том, что называл «ее штуками». Теперь наконец он подумал о себе, и мысль эта не уходила. Безжалост-

но, все четче взору его открывался наглый самец с грубыми руками, топочущий, гогочущий, жующий, а главное — врывающийся туда, куда не смели вступить великие рыцари и поэты. Как он посмел? Она бела, словно снег, она нежна и величава, она священна. Нет, как он посмел? И не знал, что совершает святотатство, когда был с ней таким небрежным, таким глупым, таким грубым! Сами мысли, мелькавшие иногда на ее лице, должны были уберечь ее от него. Она и хотела огородиться ими, и не ему было врываться за ограду. Нет, она сама впустила его, не зная, что делает, а он, как последний подлец, воспользовался этим. Он вел себя так, словно заповедный сад по праву принадлежит ему.

Все, что могло стать радостью, стало печалью, ибо он поздно понял. Он увидел изгородь, сорвал розу, нет, хуже, порвал ее грязными руками. Как он посмел? Кто его простит? Теперь он знал, каким его видят равные ей. Ему стало жарко. Он стоял один в тумане.

Слово «дама» было для него всегда смешным и даже насмешливым. Он вообще слишком много смеялся. Что ж, теперь он будет служить ей. Он ее отпустит. Ему было стыдно даже подумать иначе. Когда прекрасные дамы в сверкающем зале беседуют с милой важностью или нежной веселостью о том, чего ему и знать не дано, как не радоваться, если их оставит грубая тварь, которой место в стойле? Что делать с ними, если даже его восхищение может оскорбить их? Он считал ее холодной, а она была герпеливой. От этой мысли ему стало больно. Теперь он любил Джейн, но поправить не мог ничего.

Мерцающий свет стал ярче. Взглянув наверх, он увидел женщину у двери — не Джейн, совсем другую, очень высокую, выше, чем может быть человек. Свет шел от нее. На ней пламенело медно-красное платье. Лицо ее было загадочным, слишком спокойным, невысказанно прекрасным. Она открыла дверь. Он не посмел послушаться («Да, — сказал он, — я умер») и вошел в невысокий дом. Там невыразимо сладостно пахло, пылал огонь, у широкого ложа стояли вино и угощение.

А Джейн вышла из дому и под пение птиц, по мокрой траве, мимо качелей, теплицы и амбаров спустилась по ступеням смирения к маленькому павильону. Сперва она думала о Рэнсоме, потом о Боге, потом — о браке и ступала так осторожно, словно совершала обряд. Думала она и о детях, и о боли, и о смерти. На полпути она стала думать о Марке и о его страданиях. Полойдя к павильону, она удивилась, что дверь закрыта, окна — темны. Когда она стояла, держась за косяк, новая мысль посетила ее: а вдруг она Марку не нужна? Вдруг он к ней не пришел? Никто не мог бы сказать, что она испытала — облегчение или обиду: но дверь она не открыла. Тут она заметила, что окно распахнуто. В комнате, на стуле, грудой лежала одежда, и рукав рубашки, его рубашки, перекинулся через подоконник. Он же отсыреет... Нет, что за человек! Самое время ей войти.

Космическая трилогия

Романы, объединенные этим названием, заметно отличаются друг от друга. Первый из них, «За пределы Безмолвной планеты», вполне похож на ту «научную фантастику», которая связана для англичан с именем Дж. Г. Уэллса. Если бы не было следующих книг, можно было бы не заметить, что это писал христианин; большинство рецензентов и не заметило. Очарование безгрешных обитателей Малакандры нимало не тронуло их, ну — марсиане и марсиане. Не заметили и того, что Дивайн с Уэстоном — не просто «отрицательные герои», а воплощение того самого духа, который приводил в отчаяние Льюиса и его единомышленников. Да, циники, да, прагматики, но вне сюжета, в обычной жизни — разве не таков нормальный, взрослый человек? Эталон «постхристианского мира» пережил 20–30-е годы, мало того — он укрепился, перейдя от «элиты» к массе. Это очень грустно, и лучше об этом помнить.

«Переландра» написана совсем иначе, не случайно из нее сделали оперу. Льюису удалось передать то ощущение райской красоты, которое мучало и привлекало его с тех пор, как старший брат показал ему кружочек мха, утыканный цветами. Во всяком случае, очень многие воспринимают книгу именно так и любят больше остальных его романов. За десять лет до того он написал первый вариант своей аллегории «Кружной путь», где мальчик по имени Джон мельком увидел несказанно прекрасный остров и отправился его искать. Сорокапятилетний Льюис попытался, а может быть — и сумел описать планету, подобную этому острову. Почти через двадцать лет, когда жизнь его кон-

чалась, он говорил, что любит «Переландру» больше всех своих книг.

«Мерзейшую мощь» нередко считают подражанием «мистическим триллерам» Чарльза Уильямса. Конечно, Уильямс — прототип Рэнсома во всех трех книгах, а здесь Льюис пытался передать ощущение царственности, которое иногда вызывал этот скромный худощавый человек, похожий не на Артура или Соломона, а, по словам того же Льюиса, на ангела и на шимпанзе.

Когда в 1945 году вышел первый вариант романа, его приняли гораздо хуже, чем, на мой взгляд, он того заслуживает. Ученые мгновенно обиделись, особенно — крупнейший генетик Холдейн, написавший резкую статью. Льюис ответил, что «обличает» он не ученых, но особый дух, который может проявиться где угодно; а Промысел Божий очень скоро показал Холдейну, что такое бесовство в научном мире, — его науку, генетику, через два года изничтожали в той самой стране, которой этот левый интеллектуал искренне восхищался.

Есть и читатели, которым ближе всего именно эта книга. Один из них назвал ее романом о браке. Можно считать и так, брак Джейн и Марка — стержень сюжета, а браки Айви с Томом, Камиллы с Артуром, Матушки с доктором Димблом напоминают, каким становится этот таинственный союз, когда участники его не ставят себя в центр мира. Тема была очень важной для Льюиса, почти болезненно важной в те самые годы, когда он задумывал и писал роман.

Сама я люблю этот роман больше всех других — так люблю, что переводила его для друзей в те самые годы, когда наша жизнь была такой, как в нем, только хуже (1980–1983). И тогда, и теперь, после крушения ГНИИЛИ, часто думаешь о том, что Льюис — истинный провидец. Как он угадал одну из тех страшных баб, из-за которых мы столько мучились! Как изобразил идеал мира сего, человека «без дураков», лорда Феверстона! Как (тут даже страшно писать) передал то, чего, дай бог, не бывает, — полную замену души бесовской силой! Словом, я очень люблю эту книгу и часто пытаюсь убедить, что написа-

на она блестяще. Надеюсь, даже те, кто с этим не согласен, подсознательно отгаивают, попадая в маленький мир Святой Анны.

Отгаивают — но редко признаются в этом себе или другим. Слашавостью, фальшью, служением двум господам мы, называющие себя христианами, так оттолкнули людей, что многие кинулись сперва к «горькой правде», а там — и к полной неправде, только бы она была горькой. Отвечая на вопросы в одном солидном журнале, поголовно все признались в любви только к тем писателям, от которых человеку становится намного хуже или становится хуже сам человек. Христианская словесность — Дороти Сэйерс, Льюис, Уильямс, Честертон — идет по разряду легкой, фантастической, детской. Последнее слово не случайно. В мир, где царствует Бог, нельзя войти, если не станешь доверчивым и беспомощным, как хороший ребенок. Романы, которые писал Льюис, годятся только для такого царства.

При всей своей любви и к этой трилогии, и вообще к Льюису, я понимаю тех, кому кажется, что романам иногда недостает милости. Можно ответить, что это — аллегории; но что ни говори, некоторые сцены могут вызвать почти инстинктивный протест, такую судорогу нравственного чувства. Я думаю, дело в том, что Льюис попытался персонифицировать зло, описать «нелюдей». На этом пути подстерегает что-то вроде дуализма, хотя бы — то, что именуют «онтологизацией зла». Сейчас и здесь мы очень к этому склонны, нам только дай выделить и счесть «нелюдьми» тех, с кем мы не согласны; то, что сравнительно безвредно в среде деликатных и великодушных существ, становится исключительно опасным. Льюис сам разберется (или разобрался) с Богом, имел ли он право на такую жесткость; мы этого права не имеем.

Н. Трауберг

Примечания

За пределы Безмолвной планеты

Роман впервые опубликован в 1938 г. Перевод выполнен С. Кошелевым (главы I–XII), М. Мушинской (главы XIII–XVIII), А. Казанской; под ред. Н. Трауберг (главы XIX–XXII, Постскрипtum) по изданию: *Lewis C. S. Out of the Silent Planet*. Lnd., 1976.

С. 7. *Наддерби, Стерк...* — В тридцатые годы Льюис увлекался длительными пешими прогулками по Оксфордширу, откуда и декорации, на фоне которых начинается роман, и выбор названий местечек, представляющих собой слегка измененные названия деревень, где бывал Льюис.

С. 11. *...красота летнего неба...* — Действие происходит, видимо, в августе, а почему — см. примечание к с. 143.

С. 13. *Шредингер, Эрвин* (1887–1961) — австрийский физик-теоретик, один из создателей квантовой механики, автор знаменитого уравнения Шредингера, описывающего все материальные тела и Вселенную в целом как волновую функцию.

Есперсен, Отто (1860–1943) — датский языковед, автор фундаментального труда «Философия грамматики». Оба ученых упоминаются Дивайном как показатели высшего уровня сложности в соответствующих науках.

С. 16. *Лестерский колледж* — один из колледжей Кембриджского университета.

С. 28. *Корабль имеет форму сферы...*— Здесь Уэстон (и Льюис) грешат против законов физики. Если даже допустить, что корабль Уэстона имел при диаметре в 100 метров вес в 1000 тонн (а из текста романа видно, что он был гораздо меньше), то среднего человека (70 кг) притягивало бы к его центру с практически неощутимой силой в 0,007 миллиграмма. В космических кораблях может действительно существовать искусственная сила тяжести в случае, если корабль вращается вокруг своей оси, но направлена она *от центра* корабля, а не наоборот.

С. 33. *Мильтон*, Джон (1608—1674) — английский поэт, автор поэм «Потерянный рай» и «Возвращенный рай».

С. 40. *...провалы, разрывы в живой ткани небес.*— Параллель к этим рассуждениям Рэнсома можно усмотреть как в понятиях гностиков, считавших материальный мир злом, возникшим по воле и вследствие вмешательства Демиурга, который сотворил вещество и пленил в нем Эннойю (Мировую душу и порождение эфира), так и в теориях современной физики, представляющих материальные образования как гравитационные ступки в пространстве-времени.

С. 43. *...они слишком крутые...*— При силе тяготения на Марсе, составляющей меньше половины земной, высота волны при равной силе ветра должна быть больше, чем на Земле.

С. 70. *...Малельдил Юный...*— Здесь, как и далее, Льюис разумеет христианскую Пресвятую Троицу: Бога Отца (Древний), Бога Сына (Малельдил Юный) и Святого Духа (Третий).

С. 97. *...высшая форма тела...*— Приведенные здесь суждения Льюиса о гиперсветовых скоростях полностью оригинальны и не имеют источников в современной ему физике. В воззрениях на «ангелов»-эльдилов Льюис отступает от традиционных воззрений христианской англелологии на них как на «тварных, высших человека, бесплотных, духовных существ», прилавав им кроме духовности и вещественность, но иной физической природы, чем у обычной «посюсторонней» твари. Этим он сблизается со многими оригинальными мыслителями нашего века (приведем хотя бы Даниила Андреева), которые под влиянием

современных достижений физики и математики отказываются от понимания сверхъестественного как «внефизического», не подчиненного природным законам, а видят его как недоступное нам измерение единого Существования.

С. 114. ...*крылатую фигуру, похожую на Уарсу...*— Льюис связывает привычные со времен Вавилонии человекоподобные символы, связанные с планетами Солнечной системы (известные и ныне всем любителям астрологии), как сохраненные народной мифологией подлинные зримые обличья ангелов-покровителей (Престолов).

С. 143. ...*Земля теперь не в противостоянии.*— В противостоянии Марс оказывается в среднем через 780 дней. «Великие противостояния» (когда расстояние от него до Земли сокращается до 56 млн км) бывают в августе раз в 15–17 лет.

С. 154. *Бернардус Сильвестрис* — вымышленный Льюисом автор.

Усиарх — имя составлено из *ousia* — сущность, первоначало; и *arches* — верховный (*др.-греч.*).

С. 157. ...*температура у хросса* — 103°.— Исчисление по Фаренгейту; по Цельсию — 39°.

С. 159. *Чосер*, Джефри (1340–1400) — великий английский поэт.

С. 161. *Глундандра (Юпитер) из них самая большая...* — Юпитер не только значительно превышает размерами все другие планеты Солнечной системы, но и единственный из них излучает тепло (вдвое больше, чем получает от Солнца). Кроме того, приборы периодически фиксируют и радиоизлучения. Видимо, не зря народы древности давали ему имя своего верховного божества («Звезда Зевса» — греки, «Асирис» — египтяне, «Аурамазда» — персы, «Мардук» — вавилоняне и т. д.).

Переландра

Роман впервые опубликован в 1943 г. Также печатался под названием «*Voyage to Venus (Perelandra)*». Перевод выполнен Л. Сумм по изданию: *C. S. Lewis. Perelandra. New York, 1962*; подготовлен к изданию при участии Н. Трауберг.

С. 173. *Архонт* — в учении гностиков дух-повелитель одной из семи небесных сфер, которые связывались с семью известными в то время планетами Солнечной системы. Льюис использует это гностическое понятие в данном случае как синоним Уарсы, иначе — ангела-покровителя планеты.

С. 177. *Престолы и Господства* — в христианской ангелологии ангельские чины (соответственно, 3-й чин 1-й степени и 1-й чин 2-й степени). По предназначению, согласно Дионисию Ареопагиту, Престолы — «седалища Господа Вседержителя» и Господства — «помогающие людям владеть собой и начальствующие над низшими ангелами».

...*против духов злобы поднебесных...* — см. Еф. 6:12: «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных».

С. 179. *Кембрий* — первый период палеозойской эры в геологической хронологии: начало его соответствует времени 570 млн лет назад.

Скьяпарелли, Джованни Вирджинио (1835–1910) — великий итальянский астроном, автор многих впечатляющих открытий, в частности — марсианских каналов (*ит. canatt*, что на самом деле означает «пролив», «желоб»).

С. 198. *Поуп*, Александр (1688–1744) — английский поэт, прославившийся в первую очередь как переводчик Гомера. Приведенная строчка взята из «Опыта о человеке» (1733).

С. 212. *В вашем мире Малельдил впервые принял этот образ...* — имеется в виду как сотворение человека (ср. Быт. 1: 27: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его...»), так и воплощение Иисуса Христа в человеческом образе.

С. 217. *Сам Малельдил заплакал...* — см. Мф. 27:46 или же Мк. 15:34.

С. 221. *Геркулесовы столпы*, или столпы Мелькарта — античное название скал, между которыми пролегает Гибралтарский пролив: Гибралтара и Сеуты.

С. 225. ...*падучая звезда...* — ср. Лк. 10:18 («Я видел Сатану, спадшего с неба как молнию...»), а также Откр. 8:10: «Третий

Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику...»

С. 239. *Бог — это Дух.* — Ср. Ин. 4:24: «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине».

С. 252. *...зачепили утренние звезды...* — ср. Иов 38:7 («...при общении ликования утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости»), но надо также иметь в виду, что представление о музыке («пении») звезд или небесных сфер является общедревне-восточным, откуда оно проникло и в Европу (упомянем хотя бы представления пифагорейцев).

С. 258. *...затем я и пришел, чтобы вы имели Смерть...* — Нелюдь-Уэстон ернически перефразирует слова Христа (Ин. 10: 10): «Я пришел для того, чтоб имели жизнь и имели с избытком».

С. 265. *Счастливый грех Адама...* — «*felix peccatum Adae*», выражение, допущенное блаженным Августином в его труде «О граде Божием». Августин подразумевает то же, что и Рэнсом, а именно, что с грехом Адама в мир вошла не только смерть, но и необходимость воплощения Искупителя в человеческом образе.

С. 282. *«Нам, смертным...»* — «Нам, смертным, не дано успехом править, Но мы его, Семпроний, завоеуем»: строки из трагедии «Катан» Дж. Аддисона (1672–1719), английского писателя и журналиста.

С. 283. *Гораций* — имеется в виду Гораций Коклес, римский воин, который в одиночку защищал мост через Тибр от наступавшей армии этрусков.

Константин Великий (285–337) — римский император, первым из цезарей освободил христиан от гонений и вернул им гражданские права; перед смертью крестился. Широко известна легенда, согласно которой Константин в битве с претендентом на престол Максенцием увидел на небе знак креста и слова «*In hoc signo vinces*» («Сим победиши»), после чего дал обет принять крещение, вступил в сражение и одержал победу.

С. 287. *Он струсит, как Петр...* — см. Мф. 26:69–75.

С. 288. *...сидит перед ним, как Пилат!* — см. Мф. 27.

С. 292. *«Элой! Элой! ламма савахфани?»* — Мк. 15:34: «возпил Иисус громким голосом: “Элой! Элой! ламма савахфа-

ни?” что значит: “Боже мой! Боже мой! для чего Ты Меня оставил?”».

С. 295. «*Битва при Мальдоне*» — англосаксонская героическая поэма, в которой описывается битва между эссекским ополчением и вторгшимися в Англию викингами. Поэма была хорошо известна в кругу «Инклингов», к которым принадлежал и Льюис; позже она послужила основой для поэмы Толкина «Возвращение домой Бьортнота, сына Бьорнхольма».

С. 311. «*Илиада*», «*Одиссея*», «*Энеида*», «*Песнь о Роланде*», «*Потерянный рай*», «*Калевала*», «*Охота на снарка*» — поэмы, соответственно, первые две Гомера, далее Вергилия, старофранцузская, Мильтона, финская и Льюиса Кэрролла. Все эти поэмы объединяет их «эпический» характер и поединок главных героев как ключевой момент повествования.

С. 322. *Была она в пятке...* — Весь отрывок, связанный с раной Рэнсома, представляет собой перифраз библейского стиха (Быт. 3:15): «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Действительно, Нелюдь был окончательно поражен Рэнсомом в голову камнем, но Рэнсом был «ужален» побежденным в пяту.

Теллус (лат.) — Земля.

С. 327. ...*Элвин, друг эльдилов.* — Имя «Элвин», как и однокоренные ему имена (Элфрид и т. п.), происходит от сочетания древнеанглийского «elves» (добрые сверхъестественные существа) со словом «wīpe» — «друг», «защитник» и т. п.

С. 328. *Одна из притч Малельдила...* — см. притчу о талантах, Мф. 25; а также Пс. 8:4–10.

С. 332. *Тонический, силлабический стих* — системы стихосложения, в первой из которых учитывается только число ударений в стихе, а во второй — и количество слогов.

С. 333. *Вергилий*, Марон Публий (70–19 до Р. Х.) — римский поэт, автор «Энеиды».

С. 335. «*А впрочем, ковчег здесь не потребуются*». — Рэнсом имеет в виду, что, поскольку мир Переландры избежал грехопадения, не нужен Всемирный потоп (см. Быт. 6–8).

С. 337. *Тор и Тинидриль, Бару и Баруа, Аск и Эмбла, Ятсур и Ятсура* — имена перволюдей или первых божественных пар в различных мифологиях: скандинавской, иранской, ведической.

С. 341. ...о *Малельдиле, о Его Отце и о Третьем*.— См. «За пределы Безмолвной планеты», с. 70.

С. 346. *Вот утренняя звезда... Труба прозвучала...*— см. Откр. 2:28: «И дам ему звезду утреннюю»; Откр. 4:1: «После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: взойди сюда, я покажу тебе, чему надлежит быть после сего».

Мерзейшая мощь

Роман впервые издан в 1945 г. Перевод выполнен Н. Трауберг по изданию: *C. S. Lewis. That Hideous Strength. A modern fairy-tale for grown-ups. Lnd., 1955.*

С. 354. *Дж. Макнил* — Льюис посвятил свой роман Дж. Макнилу, учителю английского языка и словесности в одной из школ, где он учился в 1910—1914 гг.

С. 355. *Толкин Дж. Р. Р.* (1892—1973) — английский филолог и писатель; вместе с Льюисом они образовали в Оксфорде литературный клуб «Инклингов». *Нуменор*, или, как со слуха записал Льюис, «Нуминор» (к тому времени «Сильмариллион», из которого взято это название, существовал только в рукописи), — островное королевство, «Западный Край» предначальной эпохи Средиземья, образ, восходящий во многом к Платоновой Атлантиде. Он был разрушен валарами, божественными правителями Средиземья, за свои прегрешения — в особенности за то, что жители его нарушили запрет на плавание в земли Западных Владык. Среди других прегрешений нуменорцев — их стремление обрести земное бессмертие, во имя которого они пытались воскрешать своих мертвецов. Этот сюжет, несомнен-

но, повлиял на Льюиса; мы легко можем обнаружить это влияние в описании схожей «деятельности» колдунов из Бэлбери.

С. 356. *Линдсей*, сэръ Дэвид (1485 — ок. 1555; традиционное русское написание — Линзи) — шотландский поэт и драматург, воспитатель наследника английского престола принца Иакова. Среди прочих произведений оставил весьма длинную поэму (около семи тысяч стихов) с не менее длинным названием «Беседа Опыта Людского с Одним Придворным по поводу Плачевного Облика Нынешнего Мира», в которой описывается всемирная история от сотворения мира до возникновения папства. Из нее и взят эпиграф к роману (пер. Н. Доброхотовой). См. также Быт. 11.

С. 358. *Донн*, Джон (1572—1631) — английский поэт т. н. метафизической школы, позднее (с 1615 г.) — священник, блестящий проповедник. Жизнь окончил настоятелем лондонского собора Св. Павла, в котором и похоронен. Донн пользовался успехом при жизни, но в последующие века был совершенно забыт. Интерес к нему оживился в период между мировыми войнами, когда он стал настоящим идиолом критиков и поэтов. Писать о Донне или находиться под его влиянием стало в то время модным, поэтому нет ничего удивительного, что Джейн пишет диссертацию именно о Донне, — так сказать, «диссертательная» тема по тем временам.

С. 359. «*Алхимия любви*» — стихотворение Донна, относящееся к 1601 г. — ко времени его роковой женитьбы на Энн Мур, окончившейся для поэта тюрьмой и крушением светской карьеры. В этом стихотворении Донн выступает против поклонников платонической любви, уподобляя их алхимикам, которые, несмотря на все усилия, так и не смогли получить золота из неблагородных металлов; отсюда мысль о «победном оправдании плоти», которую Джейн хочет положить в основание своего исследования.

С. 360. *Брэктон* — Брэктон-колледж. *Генри де Брэктон* (ум. 1268) — известный юрист, автор трактата о законах и обычаях Англии. В 1923 г. в соборе, где он похоронен, поставили камень с надписью (т. н. «The Bracton Memorial»). Льюис, несомненно,

читал об этом в газетах, а может быть — и присутствовал на торжествах.

С. 360. *Эджстоу* — такого университетского города нет; Льюис выдумал его отчасти под впечатлением Дарэма, крохотного городка с университетом на севере Англии, где он был с братом в феврале 1943 г. Дарэм многими своими чертами напоминает Эджстоу: норманнская архитектура (знаменитая церковь Св. Освальда), Брэгдонский лес (рядом с Дарэмом расположена Мэйден-плэйн — местность с многочисленными остатками доримских строений), и даже мысль о гробнице Мерлина, возможно, была подсказана находящимся в Дарэме склепом св. Кутберта, одного из самых древних бриганских святых (VII в. н. э.). Богатство же исторических аллюзий и описание старого, с традициями университета (Ньюкаслский университет, расположенный в Дарэме, основан только в 1832 г.) в большей степени отсылает нас к столь знакомому Оксфорду.

С. 363. *Иниго Джонс* (1573–1652) — один из величайших английских архитекторов, вдохновлявшийся в своих работах итальянским Ренессансом. Под его руководством были построены многие загородные дворцы, лондонский Ковент-Гарден, реставрирован собор Св. Павла. Главное творение Иниго Джонса — так и не реализованный проект нового королевского дворца в Уайтхолле.

В элегическом описании прошлого Эджстоу писатель произвольно смешивает ряд действительных лиц с вымышленными персонажами. Так, несомненно вымышлены *леди Элис*, *ректор Шоуэл* и *Ричард Кроу*, возможно, *Натаниел Фокс*. Из исторических же лиц Льюис вспоминает *Джона Беньяна* (1628–1688), протестантского проповедника, человека незаурядной и легендарной судьбы, основной труд которого «Путь паломника» («Pilgrim's Progress» — 1666 г.) был написан в тюрьме, куда Беньян попал за свои религиозные убеждения; *Айзек Уолтон* (1593–1683) — друг Джона Донна, автор прославленного «Удильщика» — книги, в которой описание правил рыбной ловли перемежается стихами, лирическими отступлениями, философскими эссе

и житейскими анекдотами; *Дигби, сэр Кеннелм* (1603–1665) — английский дипломат, флотоводец, философ и писатель. Входил в католическое окружение королевы Генриетты-Марии (см. примечание к с. 419). После победы кромвельанской революции отправился в изгнание с королем Карлом I и боролся за реставрацию монархии Стюартов в Англии. Основное произведение его — «Рассуждение о бессмертии разумных душ», сплав видений и рационалистических рассуждений на эту небезынтересную тему; *Коллинз, Уильям* (1721–1759) — английский поэт, считающийся, наряду с Греем, крупнейшим лириком XVIII столетия. Умер молодым от страшной болезни, позабытый даже ближайшими друзьями; *Георг III* (1738–1820) — король Англии с 1760 по 1811 г. Страдал редкой болезнью обмена веществ, последствиями которой были слепота и умственное расстройство. Болезнь особенно усилилась после смерти любимой дочери Амелии; Георг был отстранен от правления и учреждено регентство. Последние годы своей жизни провел в загородных имениях под надзором врачей. Все эти люди — персонажи столь близкой и знакомой Льюису английской истории и литературы в период от Реформации до Реставрации.

С. 364. *Мерлин* — волшебник, наследник дохристианской традиции друидов, жрецов кельтского язычества (поклонявшихся, кстати, планетарным божествам и неплохо разбиравшихся в астрономии).

...высоты и жертвенники... — В древнем Израиле благочестивые цари вели борьбу против «высот и жертвенников» — альтернативных Храму в Иерусалиме мест жертвоприношений. Наличие множественных мест культа, в принципе, противоречило строгим предписаниям закона и было питательной средой для отхода в многобожие. Поэтому ректор Шоуэл в своем ригоризме и уподоблен самым благочестивым из иудейских царей.

С. 370. *Мэлори, Томас* (ок. 1417–1471) — английский писатель, принимал активное участие в войне Алой и Белой Розы на стороне Уоррика. После поражения последнего оказался в тюрьме, где и написал «Смерть Артура» — перевод-компиля-

цию с французских романов о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. Книга эта в дальнейшем стала для многих основным источником для знакомства с артурианским эпосом. Артур Пендрагон, сын Утера и Игрейны, полупоэтический король британских кельтов, воплощенный идеал христианского короля и рыцаря. Место действия преданий об Артуре позже, в IX—XI вв., валлийские барды перенесли в Уэльс, но в самых ранних вариантах сердце артуровского королевства располагалось в Северной Англии, между реками Северн и Трент (Нортумбрия) — близко к тем местам, где находится Дарэм-Эджстоу (обратите внимание, что один из колледжей в Эджстоу называется Нортумберленд). Королевство Артура называлось Логрис (Логрия), столицей его был Камелот (Камальдунум).

С. 371. *Гиневера, Ланселот и сэр Кей* — другие персонажи артурианы.

...валлийский язык — язык нынешних обитателей Уэльса — валлийцев. Наряду с бретонским и вымершим корнским, представляет собой остаток языка обитателей Британии во времена, предшествовавшие вторжению англов и саксов. Христиане-британцы были окончательно сломлены вторгшимися с континента язычниками-саксами в 689 г. в битве под водительством последнего британского короля Кадвалладера. Если Артур существовал (а мы, вслед за Мэлори, Теннисоном, Уильямсом, Льюисом и многими другими, будем в это верить), он и его рыцари говорили либо на каком-то близком к валлийскому диалекте, либо «на окрашенной кельтским влиянием латыни».

Грааль — по основной версии — чаша с кровью Христа, собранной св. Иосифом Аримафейским после Распятия; также есть версия, что это чаша (потир) Тайной вечери. Играет центральную роль в преданиях артуровского цикла. Именно она конечная цель странствий, предпринимаемых рыцарями Логриса.

Лайамон — первый из поэтов, писавших на среднеанглийском языке. Он жил около 1200 г., когда Британия еще только

утрясалась после норманнского завоевания и снова начинала осознавать себя страной одного народа. Все, что дошло от Лайамона, — поэма «Брут», написанная на основе «Le Roman de Brut», англо-нормандского перевода «Истории Британии» Гальфрида Монмутского, выполненного Робертом Васой. Брут, по представлениям Средневековья, прародитель британцев, один из спутников Энея в его бегстве из пылающей Трои: таким образом, Лондон если и не третий Рим, то вторая Троя.

С. 374. *Клаузевиц*, Карл фон (1780–1831) — военный теоретик, генерал-майор прусской армии. Феверстон имеет в виду знаменитый принцип Клаузевица из его основной работы «О войне» (1833): «быстрота и натиск важнее перевеса в силах».

С. 377. *Прагмометр* — прибор для измерения пользы, со-творенный бэлберийскими мудрецами, выполнен вполне в духе позитивистской философии. О таком чуде мечтали многие спасители человечества нашего века: ведь так завлекательно измерить пользу от наших бесполезных жизней. От такого не отказался бы и отец наглядной агитации Отто Бауэр, который до сих пор жив в наглядных столбиках «производительности труда» у проходной какого-нибудь завода, не отказался бы и «социальный инженер» Богданов, ни многие другие взвешиватели смысла жизни.

С. 378. *Ящер Билл* — персонаж из «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. «Билл» — сокр. от «Уильям». Возможно также, что прототипом Ящера послужил Резерфорд — слишком явственно портретное сходство, и, кроме того, в Кембридже у Резерфорда было прозвище «Крокодил».

С. 391. *Хинджест* — вымышленная фамилия, вероятно образованная Льюисом от англосаксонского имени «Хенгест». Хенгест и Хорса были первыми саксами, явившимися с континента в Британию в V в. со своими дружинами. Они предложили свои услуги королю Британии Вортигерну и помогли ему в борьбе с норманнами. С этих двух воинов началось, по легенде, проникновение германского элемента на остров.

С. 392. *Бройль*, Морис де (1892), герцог, — физик, лауреат Нобелевской премии (1929), первооткрыватель волновых свойств

материи. Фамилия де Бройль — одна из славнейших в истории Франции; она восходит к XIII в. Среди де Бройлей — маршалы, военные министры, крупнейшие дипломаты.

С. 396. ...*этот сад*. — Сад из «Кролика Питера» — сказки Беатрис Поттер, *сад Клингзора* — колдуна из оперы Вагнера «Парсифаль», аллегорический волшебный сад из средневекового «Романа о розе», сад кэрролловской «Алисы» и всяческие сады Семирамиды на вавилонских зиккуратах — все эти сады объединяет дух волшебства и чудесной красоты, присущий и увиденному глазами Джейн садику в Сэнт-Энн.

С. 398. *Тюдор, Уорикширская ветвь* — дом Тюдоров, валлийского, а иначе говоря, британского происхождения (sic!), дал Англии пятерых монархов: Генриха VII, Генриха VIII, Эдуарда VI, а также королевы Марию и Елизавету I. Впервые Тюдоры появляются при дворе инфанта Генриха VI в 1428 г. Оуэн Тюдор становится морганатическим супругом королевы-матери Екатерины; из их пятерых детей только двое дожили до зрелого возраста. Старший сын, граф Ричмонд, становится в дальнейшем королем Генрихом VII, а один из младших — Джаспер, впоследствии граф Пемброк — принимает активнейшее участие в войне Алой и Белой Розы под знаменами Уоррика. У него от законной жены потомков не остается, но существует предание, что были и незаконные. Таковые, разумеется, не могли носить фамилию Тюдоров, но писатель вправе и домысливать.

Битва при Вустере (3 сентября 1651 г.) — эта битва положила конец надеждам Карла I отвоевать трон при помощи шотландского экспедиционного корпуса (20 000 человек). Потерпев сокрушительное поражение от войск Кромвеля, Карл был вынужден бежать во Францию.

С. 406. *Эта женщина у Ибсена, ну, с куклами*. — Видимо, Нора из «Кукольного дома» Генриха Ибсена.

С. 409. *Сотрудничал ли Господь с Киром?* — Стрейк имеет в виду царя персидского Кира, который в 538 г. до Р. Х. издал указ, позволявший евреям вернуться в Иерусалим из вавилонского пленения. Бог, устами пророка Исаии, предсказал это собы-

тие за 120 лет до того, как оно произошло. Стрейк подразумевает, что в руке Божьей Кир был таким же простым орудием, каким, по мнению Стрейка, является институт в его руках. См. также Ис. 45:1 и Езд. 1:1–3; «...положили руку на плуг» — Лк. 9:62.

С. 417. «*Seva sonare verbera, tum stridor ferri tractaque catenae*» — «Свищут зловеше бичи, грозно грохочет железо» — Вергилий, «Энеида», гл. 6, ст. 558. (В переводе В. Брюсова: «Звуки доходят ударов // страшных, треск желез теребимой бряцанием цепи».) Эней созерцает в подземном царстве видение Тартара.

С. 419. *Генриетта-Мария* (1609–1669) — королева Английская, жена Карла I, дочь Генриха IV Французского. Ревностная католичка, принимала большое участие в борьбе короля с парламентом, а после поражения — в попытках реставрации Стюартов. Надпись на стекле в Эджстоу она могла бы сделать во время Шотландского похода 1640 г.

С. 424. *Выдумали ученые язык попроче...* — Фея имеет в виду т. н. «бейзик-инглиш», упрощенный вариант английского, разработанный в 1932 г. неким Огденом, директором Института орфографии. Этот «язык» со словарем в 600 существительных и 16 глаголов был принят на ура многими педагогами, которые начали рьяно продвигать его в школьное обучение. Был предпринят даже перевод Библии на «бейзик-инглиш»: для этого, правда, пришлось расширить словарь на целых 150 слов! Пропаганда «бейзика» способствовала правительственная поддержка, которой, к счастью, был положен конец в 1943 г. — не без личного участия Уинстона Черчилля.

...когда этот самый отрекся от престола... — Эдуард VIII (1894–1972), король в 1936. Женившись на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон, был вынужден отречься от престола. (Король — формальный глава церкви Англии, которая, вслед за римско-католической, не признает развода а *vinculo matrimonii*. Тем самым брак короля оказался незаконным.)

С. 434. «*Печальной, жалкой и ненужной*». — См. «Гамлет» I, 2. (В переводе М. Лозинского: «Каким докучным, тусклым и ненужным мне кажется все, что ни есть на свете!»)

С. 445. *Бидл* — должностное лицо в трех английских университетах (Оксфорд, Кембридж, Лондон). Замешает канцлера при официальных церемониях, вынося символы его власти.

С. 446. «*Сеется в тлении, восстает в нетлении*» — слова заупокойной службы, 1 Кор. 15:42, 44.

С. 447. «*Мертвых воскрешайте*» — Мф. 10:8. Здесь, как и раньше, Стрэйк продолжает сыпать цитатами из Писания, придавая им весьма произвольный смысл.

Овидия не читала... — Феверстон, скорее всего, имеет в виду вошедшую в поговорку цитату из «Понтийских посланий» римского поэта Овидия Публия Назона: «Капля точит камень не силой, а частым падением».

С. 459. *...забыла свой народ...* — Пс. 44:11, слова псалмопевца обращены к иноплеменной жене царя Соломона.

С. 467. *...сфера Юпитера...* — см. примечания к «Переландре».

С. 474. *Метапсихология* — изобретенная Феей «наука», очевидно, нечто среднее между психологией и метафизикой.

С. 476. «*Мэнсфилд-парк*» — популярный роман английской писательницы Джейн Остен (1775–1817). Романы Остен отличаются нравственной чистотой и тонким знанием души. В них, как правило, описывается повседневная жизнь провинциальных английских семей того времени, их любовные коллизии.

Макдональд, Джордж (1824–1905) — шотландский писатель и поэт. Писал романы и стихи, но наибольшее впечатление на Льюиса (как, впрочем, и на Толкина) произвели сказки.

С. 478. *Мистер Макфи* — Льюис брал уроки и жил у старого учителя Керкпатрика, у которого учился еще его отец. Этот пожилой шотландец, рационалист и скептик, во многом послужил образцом, с которого Льюис списал Эндрю Макфи — честного ученого-атеиста, противостоящего бесчеловечному позитивистскому наукообразию Бэлбери.

С. 498. *...шесть лет назад...* — Если принять датировку Макфи, то действие романа происходит примерно в 1943 г., что невозможно, потому что война в «Мерзейшей мощи» уже давно закончилась и о ней у Джейн сохранились только детские воспоминания.

С. 502. «*He торопи грядущего, глупец*» — цитата из поэмы «Талиессин в Логресе» английского поэта и писателя Чарльза Уильямса (1886–1945). Уильямс, вместе с Льюисом и Толкином, входил в круг «Инклингов» и оказал большое влияние на их творчество. Талиессин — британский поэт VI века, творения которого, вместе с поэмами более поздних авторов, были собраны в XIII веке в Уэльсе в т. н. «Книгу Талиессина». По одной из легенд, Талиессин был последним учеником Мерлина: тот послал его учиться в Арморик (ныне Бретань) к святому Гильдасу; Талиессин не вернулся.

С. 507. *Coeur Hardi* — староангл. «Отважное сердце»; валлийск. *Coeг Hardi* — «город Артура».

Фауст, Просперо, Парацельс, Агриппа — здесь Льюис собирает воедино как вымышленных (Фауст, Просперо из шекспировской «Бури»), так и вполне реальных прославленных магов и колдунов. Среди последних: Парацельс (Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм) (1493–1541) — врач и естествоиспытатель, один из основателей лекарственной медицины; Агриппа фон Неттешейм (1561–1620) — немецкий оккультист, автор труда «Об оккультной философии».

Бэкон, Френсис (1561–1626) — английский ученый и философ, один из создателей первой науки, основанной на эксперименте. В своем основном произведении «Новый Органон» определяет цель науки как увеличение власти человека над природой и отвергает магию и алхимию из-за их неспособности достичь этой цели. В другой своей книге — «Новая Атлантида» — рисует идеальное общество, построенное на началах рационализма и практической пользы.

С. 509. *Élan vital* — жизненный порыв (фр.); *Anima mundi* — мировая душа (лат.) — понятия панпсихического учения, согласно которому существует «мировая душа», которая соотносится с материальным миром так же, как душа человеческая соотносится с телом. Учение восходит к Платону, а в наиболее развитой форме представлено Шеллингом.

С. 522. ...любовь всегда надеется.— См. 1 Кор. 13:7.

С. 524. *Брат Лаврентий* (1614–1691) — французский монах-кармелит, оставивший свои «Письма» и «Досуги», в которых повествует о том, как умиряется душа в наслаждении благодатным присутствием Бога.

С. 530. «*Темные века*» — распространенное название европейского Средневековья с VI по IX в.

Глестонбери... — В Глестонбери расположено бенедиктинское аббатство Св. Марии, выстроенное, по преданию, на месте первой в Британии церкви Св. Девы (166 г.). Расположенный неподалеку на озере островок Бекери связывают с островом Авалоном кельтских преданий, а в самом аббатстве расположены захоронения, которые считают могилами Артура и Гиневры. Там же находится крипта Св. Иосифа Аримафейского, у которой еще в XVI в. совершались чудеса. Со св. Иосифом и Глестонбери связано много преданий, назовем, к примеру, предание о цветах особого вида боярышника, растущего только там и выросшего из посоха св. Иосифа; красные цветы раскрываются на Рождество и несут в себе капли крови Христовой.

...стены, замешенные на младенческой крови. — Строители древних городов Ближнего Востока при начале строительства приносили в жертву младенцев, посвященных богу — «царю» города Мелеху, или Молоху. Правда, не известно ничего о подобном обычае у древних британцев.

С. 554. *Апостол об этом пишет.* — Вероятно, Кол. 2:18–19.

С. 556. *Magister Merline... Sapientissime britonum secreti secretorum possesor, incredibilii quondio afficimur quod te in domum nostrum accipere nobis... ah... contingit. Scito nos etiam baud imperitos esse magnam artis... et... ut ita dicam...* — Магистр Мерлин, мудрейший из британцев, владеющий тайнами тайн, с невыразимой радостью принимаем мы тебя в этом доме. Ты поймешь, что и мы не совсем несведущи в великих искусствах и, если могу так выразиться... (*лат.*)

С. 557. *Ah... eh... domine... nihil magis mihi displiceret quam ut tibi ullo modo... ah... molestiam essem. Altamen, venia tua...* — А... э...

господин мой, я ни в коей мере не хотел бы тебе мешать. Однако с твоего разрешения... (лат.)

С. 558. *Джеком-победителем...* — имеется в виду английская народная сказка «Джек — Гроза великанов».

С. 559. *Теизм* — религиозное мировоззрение, исходящее из понимания Бога как деятельного начала, пребывающего вне мира, но действующего в нем.

С. 560. *Sta... In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti dic mihi qui sis et quam vinisti.* — Стой. Во имя Отца и Сына и Святого Духа скажи мне, кто ты и зачем пришел (лат.).

С. 562. *Енох, Илия*, — см. примечание к с. 631.

С. 567. *Cruciaris* — тот, кого распяли на кресте.

С. 568. *Кельт, сакс* — см. примечание к с. 371.

С. 569. *...веют, как пшеницу.* — Лк. 22:31.

С. 570. *У Павла об этом говорится.* — Ср. 1 Кор. 8:5.

С. 573. *Нимрод* — царь Вавилона и Аккада (Быт. 10:8–9). Считается, что при нем строилась Вавилонская башня.

С. 574. *...силы и сильнейшие их.* — Силы — один из девяти ангельских чинов (Рим. 8:38; Ефес. 1:21). Отцами церкви Силам усваивается место второго чина второй степени. Церковь празднует Силы вместе с Собором Ангелов и всех Сил Небесных 8/21 ноября. «Сильнейшие их» — вероятно, Три Лица Троицы, или, у Льюиса, олицетворяющие их Древний, Малельдил Юный и Третий.

С. 575. *...им требуется... орудие.* — Букв. по обетованию (Мф. 10:20): «Дух, будет говорить в вас»; ср. в «Переландре» через Узстона тоже говорил дух.

С. 576. *...саксонский король, сидящий в Виндзоре...* — В эти годы Георг VI, король английский с 1936 по 1952 г.

...Логрис состоял из меня, одного рыцаря и двух отроков. — Мерлин, сэр Эктор и отроки Кэй (его сын) и Артур (воспитанник).

Нейстрии... Бенвика... — Нейстрия (букв. «невосточная») — западная часть франкского государства, удачнее всех берегшаяся от внешних влияний; именно там зародилась французская

нация. Бенвик — по версии Мэлори, местность «севернее Галлии», которой владел отец Ланселота, Бан Бенвикский.

С. 577. «Жизнь — это встреча» — сокращенное заглавие романа Дж. Олдэма «Истинная жизнь — это встреча», опубликованного в 1942 г.

С. 578. Уоддингтон-Кастюс, Шарль — французский теолог, пытавшийся примирить христианство с философией позитивизма и эволюционной теорией. Главный труд — «Эссе о логике» (1851). (Возможно, Льюис имеет в виду Конрада Уоддингтона, см. трактат «Человек отменяется».)

Гексли, Томас Генри (1825—1895) — биолог, агностик, сперва противник, а затем страстный проповедник эволюционной теории, популяризатор науки.

С. 580. ...сюжеты... из Евангелия. — Эти картины, вывернутые наизнанку цитаты из Писания у Стрэйка — как это напоминает обход атеистической критики!

С. 582. Эпиталама — свадебное стихотворение или песня.

С. 584. Минойская культура — культура догреческого населения Пелопоннеса и Архипелага, с центром на острове Крит. Названа по имени критского царя Миноса, сына Зевса и Европы, бессердечного и нечестивого, господствовавшего над морем и прилегающими островами. Широко известна минойская керамика.

С. 592. Картина Тициана... — В реплике Рэнсома смешаны, вероятно, впечатления от двух известных картин великого итальянского живописца Тициана Вечеллио: «Любовь священная и любовь земная» (1516) и «Празднество Венеры» (1518).

С. 594. ...зверей и колес.— В таком обличье предстают херувимы пророку Иезекиилю (Иез. 10) и Уарсы Рэнсому в «Переландре».

С. 595. Даже в земле нашей есть медь. — С халдейских времен с каждой планетой связывали определенный металл. Металлом Венеры традиционно полагали медь (одно из имен Венеры — «Кирида» — прямо связано с названием острова Кипр, служившего в древности основным источником меди, и отсюда же происходит латинское наименование меди «сиргит»).

С. 601. ...звали на Земле Юпитером... — См. примечания к «Безмолвной планете».

С. 603. ...*venia tua... venia vestra...* — С твоего разрешения... с вашего разрешения (*лат.*).

С. 606. *Дихотомия* — воззрение, в котором противопоставлены друг другу две полярные категории.

С. 608. *Геккель*, Эрнст (1834–1919) — немецкий дарвинист и философ-материалист.

С. 611. «*Золотая ветвь*» (1892) — классический труд по фольклористике английского антрополога сэра Джеймса Фрейзера (1854–1941). Книга пользовалась большой популярностью в образованном обществе Европы начала века.

С. 618. *Qui verbum Dei contempserunt, eis auferetur etiam verbum hominis!* — Кто слово Божье презрит, утратит и слово человеческое (*лат.*).

С. 620. *От Гегеля он перешел к Юму...* — т. е. развитие воззрений Уизера шло от гегельянства, которое признает исторический смысл бытия и свободу воли, к учению Юма, по которому все психические реакции суть автоматический результат внешних воздействий, и далее — логический позитивизм, отрицающий психическое (или, по крайней мере, стремящийся избавиться от него) и сводящий познание к фиксации наблюдаемых фактов.

С. 631. *Барбаросса, Енох, Илия*, — всех этих персонажей (а в скором будущем и Рэнсома) роднит то, что все они живыми взяты на небеса и ожидают возвращения в этот мир в предусмотренный час. Барбаросса, Фридрих I (1123–1190) — император Священной Римской империи. Погиб в Малой Азии, утонув в реке Каликалнус, однако предание утверждает, что он покоится в летаргическом сне в пещере внутри горы Кюфхайзер в Тюрингии и ждет, когда родина призовет его, как и Артура. Пророк Илия (IX век до Р. Х.) был вознесен на небо на огненной колеснице (4 Цар. 2:1–18). Он является Христу во время Его Первого пришествия (Мф. 17:3–13). Енох (Быт. 5:18–24) — прадед Ноя; согласно апокрифической «Книге Еноха»,

побывал живым на небесах, видел, как они устроены и как движутся светила небесные. Ему были раскрыты судьбы мира и час Страшного суда. О Енохе говорится и в Новом Завете (Евр. 11:5; Иуд. 1:14). И Енох, и Илия по церковной традиции — те самые два свидетеля, упомянутые в Апокалипсисе (Откр. 11:3–7), которые появятся перед Вторым пришествием.

С. 632. *Мордред* — племянник (по некоторым версиям — незаконный сын) короля Артура. В его отсутствие покушался на честь королевы Гиневры. В поединке, на который вызвал его Артур, Мордред коварно убил короля.

Мильтон, Джон (1608–1674) — великий английский поэт, автор поэм «Потерянный рай» и «Возвращенный рай».

Кромвель, Оливер (1599–1658) — вождь английской революции, впоследствии лорд-протектор и диктатор.

Сидни, сэр Филип (1554–1586) (в прежней русской традиции — Сидней) — поэт, воин, государственный деятель, меценат. Один из ярчайших представителей английского Возрождения.

Родс, сэр Сесил (1853–1902) — английский путешественник, предприниматель и политик, основатель Британской Южно-Африканской компании. Стал символом британского империализма Викторианской эпохи.

С. 633. *Сэм Уэллер* — персонаж «Записок Пиквикского клуба» Чарльза Диккенса.

С. 638. «*Sine Cerere et Baccho*» — слегка переиначенная по-латински поговорка «*Sine Cerere et Libero friget Venus*» («Без Цереры и Либеры замерзает Венера»), знакомая нам по комедии «Евпуч» Теренция. Церера (греч. Деметра) — богиня плодородия, здесь — символ еды, пира; Либер — староримский бог оплодотворения, позднее отождествленный с греческим Вакхом (Бахусом), богом вина.

И. Кормильцев

Содержание

ЗА ПРЕДЕЛЫ БЕЗМОЛВНОЙ ПЛАНЕТЫ	5
<i>Перевод С. Кошелева, М. Мушинской, А. Казанской под ред. Н. Трауберг</i>	
ПЕРЕЛАНДРА	163
<i>Перевод Л. Сумм</i>	
МЕРЗЕЙШАЯ МОЩЬ	353
<i>Перевод Н. Трауберг</i>	
КОСМИЧЕСКАЯ ТРИЛОГИЯ	644
<i>Н. Трауберг</i>	
ПРИМЕЧАНИЯ	647
<i>И. Кормильцев</i>	

Литературно-художественное издание

ШЕДЕВРЫ ФАНТАСТИКИ

Клайв С. Льюис

КОСМИЧЕСКАЯ ТРИЛОГИЯ

Выпускающий редактор *Е. Березина*
Ответственный редактор *А. Етоев*
Художественный редактор *А. Сауков*
Технический редактор *О. Шубик*
Компьютерная верстка *И. Варламова*
Корректоры *Е. Шнитникова, Н. Тюрина*

В оформлении обложки использована иллюстрация *Фрэда Гамбино*

ООО «Издательский дом «Домино».
191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 80.
Тел. (812) 272-99-39. E-mail: dominospb@hotmail.ru

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел. 411-68-86, 956-39-21.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Подписано в печать 15.11.2010.
Формат 84x108 1/32. Печать офсетная. Усл. печ. л. 35,28.
Тираж 5 000 экз. Заказ 944

Отпечатано с электронных носителей издательства.
ОАО «Тверской полиграфический комбинат». 170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.
Телефон: (4822) 44-52-03, 44-50-34. Телефон/факс: (4822) 44-42-15
Home page - www.tverpk.ru Электронная почта (E-mail) - sales@tverpk.ru



ISBN 978-5-899-46484-5



9 785699 464845 >

ФАНТАСТИКИ ШЕДЕВРЫ ФАНТАСТИКИ ШЕДЕВРЫ ФАНТА

КЛИВ СТЕПЕН
ЛЮИС



Clive Staples Lewis

ISBN 978-5-699-46484-3



9 785699 464845 >

ФАНТАСТИКИ ШЕДЕВРЫ ФАНТАСТИКИ ШЕДЕВРЫ ФАНТА